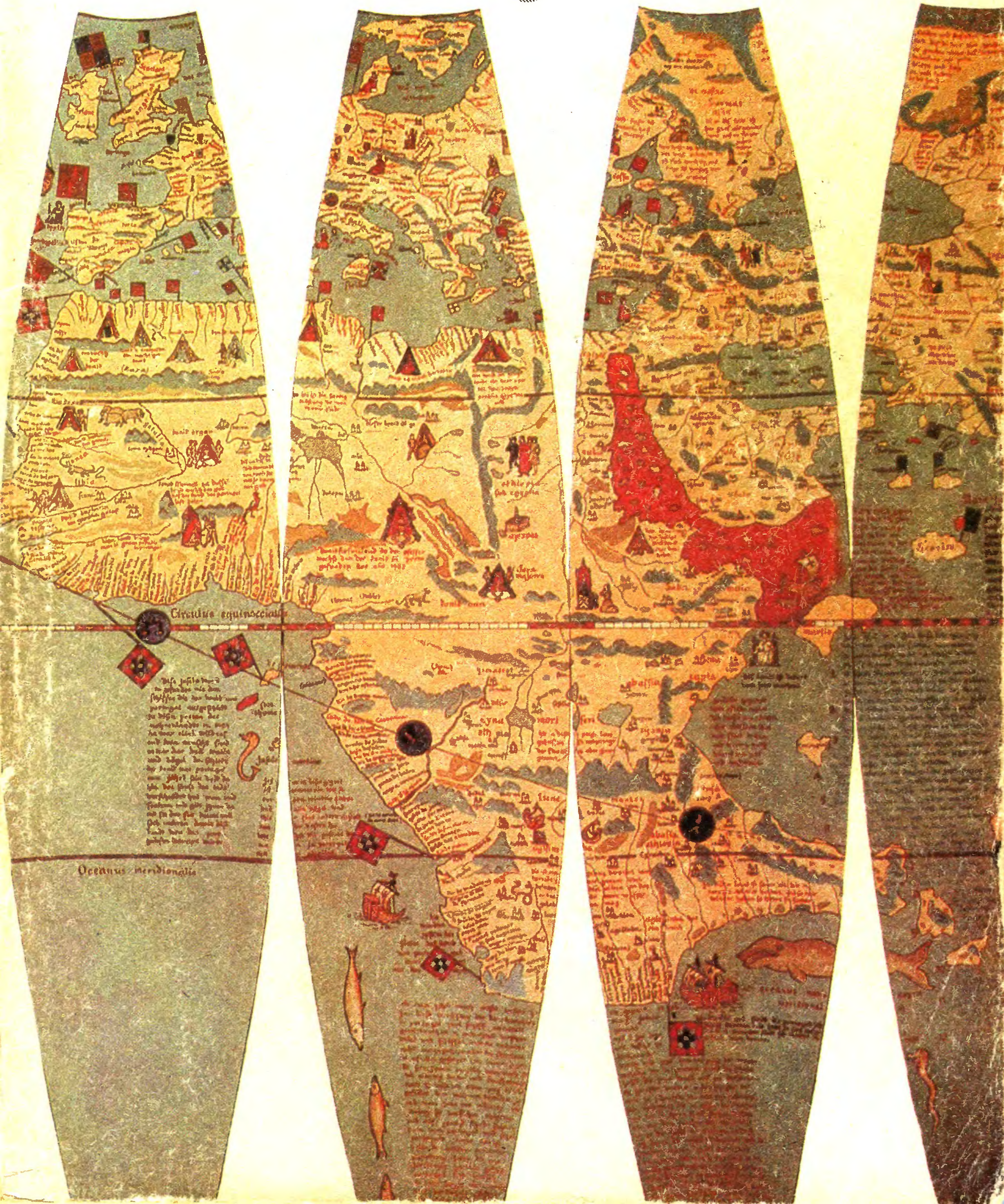
ISSN 0130–6545

8-9.1992

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА, В. П. ГОЛЫШЕВ,
Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА, В. Б. ИОРДАНСКИЙ,
А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА,
А. С. МУЛЯРЧИК, В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

8-9 август — сентябрь

1992

СОДЕРЖАНИЕ

АБЕЛЬ ПОССЕ — Райские псы (*Роман. Перевод с испанского Н. Богомоловой*) 5

ЭДУАРДО ГАЛЕАНО — Первые голоса *(Мифы, легенды, пророчества. Перевод с испанского и предисловие Ю. Ванникова)* 130

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Три стихотворения *(Перевод с испанского Бориса Дубина)* 153

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ — Франц Ф (*Рассказ. Перевод с английского В. Бошняка)* 155

ИЗ БРАЗИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ *(Перевод с португальского Валерия Перелешина. Вступление Е. Витковского)* 163

МАРЕК ХЛАСКО — Петля *(Повесть. Перевод с польского Е. Твердисловой)* 170

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС — Расшитый бисером ридикюль. Вьюнок. Песок *(Рассказы. Перевод с английского Наталии Падалко)* 203

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ — Вестник беды. Islama nox. *(Новелла. Перевод с албанского О. Колпаковой)* 215

Литературное наследие

УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ — Слабоумный мальчик *(Баллада. Перевод с английского А. Карельского)* 232

Документальная проза

САЛЬВАДОР ДАЛИ — Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод Н. Малиновской)* 238

Публицистика

Мифы и мифотворцы нового времени

Н. СОСНОВСКИЙ — Хайле Селассие, песенки рэгги и мифы исторического сознания 281

Критика

Сведенборг, Достоевский, Милош: уравнение с тремя неизвестными

ЧЕСЛАВ МИЛОШ — Достоевский и Сведенборг *(Перевод с английского Б. Дубина)* 289

БОРИС ДУБИН — Милош о Сведенборге, удвоении мира и ереси человекобожества 297

ЭМАНУЭЛЬ СВЕДЕНБОРГ — Из книги «Истинная христианская религия» 302

У книжной витрины 307

Курьер «ИЛ»

Авторы этого номера 315

© «Иностранная литература», 1992

В оформлениии номера использована графика современных латиноамериканских художников.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.
Номер выпущен при содействии банка «Деловая Россия»

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 08.05.92. Подписано в печать 17.07.92. Формат 70x108¹/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 28,0. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 31,55. Заказ 2872.

Тираж 142 000 экз. Цена для подписчиков 3р. 75к.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

АБЕЛЬ ПОССЕ

Райские псы

РОМАН

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

От автора

Благодаря журналу «Иностранная литература» я имею возможность обратиться к русским читателям на их собственном языке. Это для меня большая честь. Мы, аргентинские писатели, как и вообще писатели Латинской Америки, формировались под влиянием русской литературы, восхищаясь ею и преклоняясь перед ней. Это великая литература. И она тесно связана с высокой, а порой и бездонно жуткой душой породившего ее народа. В ней есть все: экзистенциальный надрыв Достоевского, масштабность Толстого, есть Гоголь, Тургенев, Чехов, Паустовский, Набоков... А поэты? Начиная с Пушкина и Лермонтова, они были выразителями судьбы народной, ее героики, повседневной трагичности. Среди прочих литературных универсумов русская литература занимает особое место: она ведет напряженный диалог с жизнью, ища пути к ее усовершенствованию.

Латиноамериканская литература многое взяла от литературы русской, но пошла собственной дорогой и в поисках собственного языка, собственных форм выражения оставила несколько в стороне традиционный реализм. Вероятно, наша действительность требовала иных художественных подходов, нежели те, что с успехом прошли испытание в Европе.

В латиноамериканском романе поэтические, фантастические, барочные и сюрреалистические элементы — не эстетические украшения. Без них нельзя освоить нашу действительность. Нам стали узки имманентные категории европейского романа. Я никогда не забуду, как Алехо Карпентьер на какой-то конференции рассказывал итальянским критикам и литературоведам, что в американской сельве или в Андах никто никогда не скажет, будто самый короткий путь от одного пункта до другого — прямая линия. То же происходит и в нашей литературе. Приблизиться к нашей действительности можно только с помощью эллипса, арабески, барокко, дерзкой фантазии. Именно наша повседневность заставила нас обратиться к магическому реализму, а не преходящая эстетическая мода.

В какой-то мере в моей книге отразилось все, о чем я только что говорил. Я обратился к истории, но отказался при этом от традиционных приемов, избегая пресловутой «реконструкции» событий, обстановки, персонажей и их языка. Кроме того, я поведал об истории так, как о ней до сих пор не рассказывали в Латинской Америке, да и не очень хотели бы здесь узнать такого рода историю. В моем романе само открытие Америки — нечто вроде поворотного момента: начиная с него, все события будут последовательно повторяться. Но главное: именно этот момент может объяснить и особенности Латинской Америки, и ее драматическую судьбу — с того дня, как Колумб впервые ступил на новую землю, до сегодняшней поры.

В день 12 октября 1492 года американские аборигены открыли Европу. Роман мой по природе своей культурологичен, в нем повествуется о столкновении двух космовидений: европейского — монотеистического, подчиненного идее «грехопадения и покаяния», и американского — гелиологического, языческого, безоружного перед лицом невротической активности (то есть формы, в которой практически выражается поведение человека европейской цивилизации).

«Райские псы» — история двух гениальных юнцов, соединенных всепоглощающей страстью,— Католических королей Фердинанда и Изабеллы. Они — центр авантюры, главную роль в которой сыграл неистовый первооткрыватель новых земель Христофор Колумб. Иудей и католик, герой и работорговец, пророк и алчный искатель золота, он воплощает все противоречия, свойственные западному человеку.

Я пытался сделать так, чтобы мой роман стал синтезом культуры целой европейской эпохи, пытался показать, как сложно переплеталась эта культура с враждебным ей религиозным сознанием. Связующим звеном должна была стать эротика: та сила, что служит продолжению рода человеческого, созиданию, движению вперед.

Но нет для писателя ничего более опасного, нежели свести разговор о книге к перечислению затронутых в ней тем. Роман — это прежде всего язык. Роман — это система знаков, выстроенных в определенном порядке так называемым «автором», чтобы читатель, опираясь на собственное воображение, воссоздал мир, который станет его романом, его «Райскими псами».

Памяти моего сына Ивана посвящаю эту книгу, название которой он подарил мне, пока еще был счастлив и не сказал последнего «прости».

I
ВОЗДУХ

Хронология

1461 Истоки современного Запада: 12 июня Изабелла Кастильская публично объявляет об импотенции своего сводного брата короля Энрике IV. Бельтранша.

1462 Христофор Колумб крадет в приходской церкви алфавит. Он говорит, что станет поэтом. Побои, угрозы. «Ты будешь шерстянщиком или портным. Это твоя судьба».

1468 Запоздалое, двусмысленное и практичное обрезание Христофора Колумба.

2-Каса Неудавшиеся инко-ацтекские переговоры в Тлателолько. Нежелание снаряжать флот для захвата «холодных земель Востока». Воздушные шары инков. Перелет Наска — Дюссельдорф.

1469 Ландскнехт Ульрих Ницш, обвинённый в скотоложстве за то, что поцеловал лошадь, прибывает из Турина в Геную. Земля «Wo die Zitronen blühen»[1]. Онтологические муки и иудео-христианское мошенничество. «Бог умер».

1469 Упоение дивными плодами юности. 17 ноября Фердинанд Арагонский и Изабелла вступают в церковный брак. Надежнейшие «*SS*». Зарождение империи, над которой никогда не заходит солнце.

И мир начал задыхаться без притока свежего воздуха. Агония, всюду агония. Пир смерти. Маятники всех часов, не давая забыть, отбивали: ад-рай-ад-рай. В Роттенбурге, Тюбингене, Авиле, Урбино, Бордо, Париже или Сеговии.

Сама жизнь задыхалась без новых просторов. А грозный иудейский Бог все твердил о Грехе и вконец запугал легион своих неистовых приверженцев.

Без устали хлестали себя плетьми флагелланты[2]. Посыпáли солью раны. Даже краснощекие жизнелюбы грезили теперь об одном: принять нескорую мученическую смерть на кресте. Умереть во святости.

Славные времена для юдоли Скорби. Totentanz[3]: мчится меж могил исступленный ручеек взявшихся за руки людей. На черных туниках белой краской — ребра. Пугающе бледны гипсовые черепа. Но вот еле заметный трепет пробегает по пляшущей цепочке. Тень страсти, не больше. Улыбка под черным тюлем. Лукавый глаз. Чуть видное движение бедер. И — сломан траурный ритм барабанов Танца Смерти, Danse Macabre.

Что это? Ветер, аура, эрос? Мягкое дуновение, что долетело сюда с далекого Карибского моря?

И все чаще разбредаются парами изнуренные пляской грешники, все чаще находят приют у кладбищенских надгробий. Точно бешеные псы рвутся из черных балахонов их так и не раскаявшиеся тела. В сторону летят бутафорские черепа.

А виноват во всем ветер. Это он смущает на закате покой семинаристов.

---

[1] «Где цветут лимоны» (*нем.*) *(Здесь и далее прим. перев., кроме оговоренных случаев).*

[2] Флагелланты — итальянская религиозная секта бичевателей, возникшая в XII в.

[3] Пляска смерти *(нем.)*.

Он наполняет воздух кисло-сладким ароматом. Так пахнет далекое море или спящая под летним дождем женщина.

Но самые заметные следы беспокойного ветра обнаружились в Италии. Достаточно сказать, что у Антонио дель Поллайоло[1], писавшего Мадонну для монахов Сан-Джеронимо, кисть вырвалась из рук и сама заскользила по полотну. Дерзко мечтая о новых чувствах, формах, красках, изобразила она красавицу Симонетту Веспуччи с обнаженной грудью. И тут же испугалась, поспешила нарисовать рядом символ зла — змею. Змея же, играя, обвилась вокруг шеи Симонетты и застыла прелестным ожерельем.

И то был не единственный случай. Во второй половине апреля 1478 года у молодого живописца Сандро Боттичелли полотно вдруг стало заполняться нежными полунагими юницами. Они славили танцем приход поры цветения. «Non c'e piu religione»[2],— ворчали, крестясь, усатые монахини монастыря Святой Безнадежности.

Дикая кошка срывалась в прыжке с карниза старого готического собора. И все это видели.

Запад не просто задыхался, он бился в предсмертных судорогах. Напуганные правители спрашивали друг у друга совета. Нужны были срочные меры.

Куда выпустить пар из готового взорваться котла агоний и скованных страстей? На Юге весь Магриб и славные земли Андалусии заняли мусульмане со своим сильным и гордым, как ятаган, богом.

Не даст себя в обиду и древний православный мир Московии.

Бессильной оказалась церковь. Дюжинами возвращались миссионеры из земель Ислама, из Центральной Азии. Измученные, высохшие, как урюк, задирали они порой прямо на глазах у папы свои ветхие рясы и являли взорам жалкую картину: ягодицы с вырезанными на них стихами из Корана, с изречениями типа «Аллах велик. Мы тоже готовимся к Судному дню».

Константинополь перешел под власть турок. Это стало последним ударом. Папа Сикст IV скорбно возвестил владыкам Запада: «Плотная стена ятаганов движется на нас, простерлась она от Кавказских гор до южной оконечности нашей излюбленной Испании...»

Не с кем было торговать прежде сильным купцам. Умирали, задыхаясь в тесноте, мультинациональные компании. С гневным нетерпением взывали о помощи кланы Берарди, Ибарра и энергичный предприниматель из Антверпена Ван дер Дине, семейства Негри, Каттанео, Спинола, Будденброки из Любека, судовладельцы Ганзейского союза и каталонские ткачи во главе с Пуигом. Они знали, что способны на гораздо большее. И обзывали моряков трусами, астрономов — невеждами, королей — скаредными и ленивыми тугодумами. Доставалось и феодальной знати. «Дайте нам простор! Драгоценную древесину! Рынки! Специи и слоновую кость Востока! Довольно терпеть проклятых турок в Mare Nostrum[3]!»

Запад погибал, жадно тянулся к своему мертвому солнцу, пытался воскресить засохший жизненный нерв, уже похороненный праздник. Во мгле монастырского подвала нащупывал он статую греческой богини (которую кто-то когда-то выбросил в море). Люди, утратившие плоть, почти не оставляющие тени, искали себя.

Запад — старая птица Феникс — из душистых поленьев коричного дерева складывал костер для последнего воскрешения.

Ему нужны были ангелы и сверхчеловеки. И рождалась с мятежной силой секта ищущих Рай.

Июньский полдень. Горы Кастилии плавятся в прозрачных языках пламени. Потрескивают скалы под ударами неумолимого солнца. Спит в тени кустарника с открытыми глазами, как ящерица, пастух. Недвижно сидят на ветвях воробьи. Их манит водоем, но, вспорхнув с дерева, можно изжариться на лету.

---

[1] Антонио дель Поллайоло (1433—1498) — флорентийский живописец, скульптор, гравер.

[2] Нет больше религии *(итал.)*.

[3] Средиземном море *(лат.)*.

Слышится голос Изабеллы Трастамары:

— Пошли, пошли, самая пора!

Только дети снуют туда-сюда в сонном мадридском Алькасаре. Да босые и полуголые стражники играют в мус[1] у крепостных стен. То и дело льют они из бадеек воду, чтобы хоть чуть прибить к земле раскаленную пыль.

Маленькая принцесса Хуана, прозванная Бельтраншей[2], всюду имеет шпионов и знает, что затевается что-то важное и плохое. Ее юная тетка Изабелла Трастамара — враг. Хуана не даст себя обмануть и спешит за остальными. Даже в жару не расстанется она с королевскими атрибутами: найденной в старом сундуке тяжелой зеленой мантией, конусообразной, точно у феи из сказки, шляпой с тюлем, который окутывает ее всю — до кончиков кожаных башмаков на пробковой подошве, украденных в будуаре у легкомысленной матушки, большой охотницы до моды. Она кричит Изабелле:

— И я вот тоже пойду! И не думай, не спущу с тебя глаз.— От бешенства она шепелявит.

Изабеллу сопровождают восемь графов (старшему десять лет). Жаль, но проделать все тайком не удастся. На ней довольно короткая туника, из-под которой — к ужасу придворных дам и монахинь-прислужниц — выглядывают узенькие панталоны с кружевами из монастыря святого Иосифа Вечно Тоскующего. Настоящая *baby-doll:* веснушчатая, белокурая, прелестная. Волосы собраны сзади в хвост.

Изабелле нравится вдруг замереть — слегка расставив ноги, выгнув спину, откинув голову назад — и медленно провести рукой по волосам. Пусть все любуются ее чуть оттопыренным соблазнительным задом. Дерзкий придворный поэт Альварес Гато не преминул записать в потайную тетрадь:

У нее задок,
как сырок.
А грудки,
как незабудки.

Монахини шипели:

— Ах, какая девчонка! Какая девчонка! Разве принцессе пристало вести себя так!

Теперь же Изабелла шагает впереди всех. В руке у нее длинный голый прут, сорванный у пруда — там, где водятся жабы.

Один за другим текут каменные коридоры. Все погружено в полумрак. Здесь, в Кастилии, знают: всякий свет таит в себе жару.

Они проходят через дворцовую трапезную. Сильный чесночный дух напоминает о съеденном накануне барашке. Кое-кто растянулся прямо на мозаичном полу и спит, блаженно впитывая телом его прохладу.

— Т-с-с! — приказывает Изабелла. А Бельтранша в ответ:

— Кто ты такая, чтобы говорить мне «т-с-с»! Я — принцесса!

Вот перед ними весьма скромный королевский оружейный зал. Он больше говорит о прошлом, нежели о настоящем: шпага короля-деда, арбалеты с истрепавшейся тетивой, что-то похожее на мушкеты. Траченные молью головы огромных кабанов — их мясо так кстати пришлось когда-то в котлах с ольей[3]. Ведь охота была в те времена не столько изящной забавой (в подражание Бургундии и Британии), сколько способом раздобыть пропитание.

Вот трон: деревянное кресло, отделанное тисненой кожей и покрытое для внушительности — или для мягкости — шкурой эфиопского тигра. До самой смерти восседал на нем во время пиров король Хуан. Здесь мечталось ему о новых землях для Кастилии, о походах за моря, о том, как обратит он в истинную веру раскинувшиеся на юге счастливые королевства мавров.

---

[1] Мус — карточная игра.

[2] Принцесса Хуана (1462—1530) — дочь короля Энрике IV Кастильского и Хуаны Португальской. Считалась незаконной дочерью королевского фаворита Бельтрана де ла Куэва.

[3] Олья — блюдо из мяса, сала и овощей.

Вот, пожалуй, и все, что осталось от той старой и нищей Испании, где после дворцовых застолий счищали мясо с костей, чтобы было что приготовить на завтра, а из бокалов сливали в кувшин недопитое вино, дабы подать в следующий раз. Где ликовали по поводу попавшей на стол курицы. Где короли еще умели, мельком взглянув на оливковую рощу или скотный двор, подсчитать, какая прибыль ждет их в конце сезона.

Теперь все иначе. Энрике IV, Энрике-Импотент, погрузил страну в чванливую роскошь инфляции. Прежде монетных дворов было пять, стало — сто пятьдесят. Богатые наряды и украшения — а в карманах пусто.

Бельтран де ла Куэва, фаворит, словно модный тореро, носит расшитые драгоценными каменьями и бисером сандалии.

Король рядом с ним — оборванец. Он млеет от восхищения перед любовником королевы и велит заложить монастырь в том месте, где Бельтран победил в поединке соперников. Энрике IV — услужливый рогоносец.

Унылая погоня за наслаждениями. Двор призраков, где вечно царствовало безумие. Принцы бились с дьявольскими монстрами, что вылезали из зеркал. Привидения оставляли подпалины на переплетах Библии, указывая путь в преисподнюю. Монахини в часы пиров чувствовали на челе шипы венца Христова и медленно истекали кровью. Мистические дамы левитировали на рассвете, а служанки хватали их за ноги и возвращали на землю — к законам гравитации и к реальности.

Маленькая Изабелла часто шпионила за королем, своим сводным братом. За тем самым импотентом, что медленно погружался — вместе со всем королевством — в маразм мрачной меланхолии. Она устраивалась у слухового окошка: Энрике (он старше ее на 26 лет) полулежит в кресле, укрывшись залитой супом мантией, похожей на мавританский плащ, перед ним — неизменное серебряное с рубинами блюдо, где горой лежат свиные шкварки, и кувшин с водой (вино король ненавидит). Придворные шлюшки, что-то бессвязно лепеча и хихикая, шумно и весело, точно хмельные сестры милосердия у ложа глухого богача паралитика, снуют вокруг. Две или три из них кошками льнут к большому, но безвольному королевскому телу и играют его равнодушной плотью. Здесь же, в дальнем конце зала, кардинал и нотариус громко читают посольские депеши. Время от времени они замолкают и начинают натужно кашлять, наглотавшись зловонного дыма. Энрике имеет обыкновение подбрасывать в очаг волосатые копыта першеронов (летом пронзительный запах горелых костей и кожи уступает место навозному смраду, со скотного двора и из псарни приносят сюда большие бадейки столь любезной королевскому обонянию жижи). Вонь так сильна, что маркиз де Вильена, по совету хитроумного Бельтрана де ла Куэва, своего врага, неизменно носит в кармане пучок свежей альбааки, которую, растирая меж пальцами, вдыхает.

Всякий раз, покидая наблюдательный пункт, Изабелла задыхается от бешенства. От ненависти и отвращения к брату. Что-то подсказывает ей: вместе с ним агонизирует целая эпоха. И ноги сами несут ее прочь. Быстрее, быстрее — на воздух. А в ушах звучит голос матери: «Никогда не уступай безумию. Это пропасть, страшней которой нет ничего. Помни о бабке, деде, отце... Не слушай Демона, не отвечай ему. Взгляни на Энрике: его окружают адские чудища, под постелью у него прячется окутанный облаком тумана кабан, из преисподней летят к нему пылающие уроды и кричат о скором бесславном конце... Беги всего призрачного. Держись подальше от теологов. Люби тело свое. Пусть рядом с тобой всегда будут звери и солдаты. Не поддавайся искушению, не говори сама с собой. Прокляни покой! Запомни: покой — пустота, куда устремляются злые духи. Да, умирать придется, но прежде надо жить!»

Следом за властной Изабеллой входят дети в зал аудиенций. Рой царящих здесь дворцовых развратниц поспешно разлетается, при этом должные знаки почтения не отдаются. Быстро мелькают выбеленные гипсовым порошком (по последней моде) ножки. Подкрашенные в черный или

фиалковый цвет лица. Золоченые веки. Огромные, как у фламандских щеголей, шляпы с желтыми, синими, зелеными перьями. Веселые красотки спешат спуститься во двор, где уже ждут их мулы: как нравится им мчаться галопом по засеянным полям, пугая кур и бедных крестьян.

Полумрак. Скучающий писец склонился над книгой аудиенций. Больше не видно никого. Но вдруг в каком-то углу, на маленьком пятачке вечного круговращения времен возникают смутные видения: генерал Кейпо де Льяно[1], в начищенных до зеркального блеска сапогах и идеально наглаженных бриджах, идет во главе делегации академиков, ученых (кто они? Диас Плаха? Доктор Дериси? Баттистеса? Д'Орс?). Они станут просить у короля средств на проведение Конгресса испанской культуры 1940 года.

Сумрачная средневековая Испания. Она пахнет отслуженной мессой, последней свечой, что погасил своим кашлем чахоточный служка.

Меж тем Изабелла, маленькие графы и настороженная Бельтранша вбегают в галерею возле спальни Энрике IV. Там их ждет дон Грегорио, королевский камердинер. Он подкуплен заранее и сумел отослать куда-то стражников.

Но старик смущен, мямлит о досадной помехе и указывает на разлегшегося во всю ширину порога льва (внука того, что принадлежал королю Хуану). Полузакрыв глаза, в которых больше скуки, чем дремы, он внимает ритмичному похрапыванию монарха. Лев не голоден, но к пустым разговорам не расположен. Что с ним делать? Как вести переговоры? Резко пахнет зверем. Зверем, что согласился на перемирие, но не покорился (всего три года назад он сожрал одного епископа).

Бельтранша смотрит насмешливо. Старик пытается сдвинуть зверя с места, робко пихает его в зад. Но тот лишь равнодушно зевает.

Тогда Изабелла делает шаг вперед и кричит:

— Вон! Прочь!

Тщетно. Она дает льву крепкую затрещину. В ярости хватает за гриву, впивается острыми зубками в ухо. Короткое, грозное молчание — и зверь отступает (чужая решимость, а вовсе не сила ударов заставляет его подчиниться). Он показывает клыки, трясет головищей, а когда все же хочет зарычать, получает новый удар, прямо в морду. Нет, лучше уж лечь у окна, подальше.

Дети открывают двери. Дону Грегорио позволено удалиться. Ему не хватит духу взглянуть на голого монарха. Бельтранша проскальзывает в опочивальню первой.

Тишина. Мерное дыхание крепко спящего человека. Изабелла цепляет прутиком подол его рубашки и обнажает тело по грудь.

Они увидели бледные, немощные, волосатые ноги. Выше — что-то темное и непонятное. Они постарались вглядеться попристальнее и различить неразличимое. Почему-то вспомнился им хрупкий пергамент. Или ломтики сушеного персика, что путник приготовил себе в дорогу. Или съежившаяся за века кожаная сандалия римского легионера, сраженного у врат Самарканда. (И как опять не процитировать язвительного Альвареса Гато:

Вот погляди: морской конек усох в песке,
на берегу...
Ужель резвился он когда в волнах?..)

Маленькая Бельтранша бледнеет. Изабелла не опускает прута. Юные графы смотрят и выносят свое суждение.

Сомнений нет. Ни малейшего признака жизни. Ни капли человечьего сока. Беатрис де Бобадилья говорит, что это похоже на каменистый пейзаж Сории. А Хуан де Виверо говорит, что нет: скорее стоит вспомнить пустые ракушки, которые выносит на берег моря прибой. Мстительная Изабелла заставляет бедную Бельтраншу тоже смотреть. Та взрывается жалким криком:

---

[1] Гонсало Кейпо де Льяно (1875—1951) — испанский военный, после установления Республики в 1932—1933 гг. занимал важные посты, в начале гражданской войны (1936) перешел на сторону Франко и стал главнокомандующим войсками мятежников в Андалусии.

— Все равно королевой буду я! Я! Я! Ненавижу тебя! — И бросается бежать, спотыкаясь и едва не падая в больших для нее материнских туфлях.

По дороге назад Изабелла довольно бросает:

— Теперь вы убедились. Она не могла быть его дочерью. Королевой буду я!

Так была объявлена война. Война амбиции против незаконной законности.

Он белокур и силен, словно ангел, любила повторять его матушка, Сусанна Фонтанарроса. Да, мальчик не был похож на других. Он не хотел осваивать унылое портняжье мастерство. Не хотел становиться ни ткачом, ни сыроваром, ни трактирщиком. Словом, отвергал все, что сулило спокойную жизнь.

Для него были живыми неистовые боги моря. Он верил, что удостаивался чести слышать их голос. Зимой — суровый, хриплый. Летом — едва различимый шепот, доступный лишь пониманию избранного, посвященного.

Вот и сейчас он бежит вдоль кромки прибоя. Вдыхает мягкий ночной ветер. На нем почти ничего нет, только — как всегда, скрывая от посторонних глаз тайну,— толстые вязаные чулки. Мальчик бежит ровно, не изменяя скорости. И в этом есть что-то завораживающее, так умеют двигаться лишь бегуны-ламы тибетских плоскогорий. Цель у него только одна — заглушить тревогу, разрядиться, укротить бурлящую кровь.

Он пробегает мимо Морской Башни и знает, что дядя его, стражник, поспешит рассказать о встрече своим сыновьям, завистливой своре сыроваров и портных, уже учуявших в нем врага, мятежный дух мутанта и поэта.

Еще две лиги. Горят расцарапанные ракушками и крупным песком ноги. Движения стали почти автоматическими. Он поднялся по отмели, покрытой колониями мидий, и нырнул в воду, уверенно, решительно — как посвященный. Смело поплыл в темноту. Замер на воде, вновь убеждаясь в собственной сверхъестественной плавучести. Лежа на спине, дал течению нести себя к берегу и выбросить на песок. Долго не поднимался, зачарованно глядя в небо. И глаза у него были широко открыты, неподвижны, точно у мерлана, которого утром мальчик видел на городском рынке.

Сейчас, как и прежде, он вслушивался в скрипящее карканье прибоя, в шелест ракушек и песка. Вот накатывает волна, падает и разбивается пеной, и ее тут же выпивает земля.

Голос моря словно шепчет стихи. Зовет его. Очень отчетливо произносит:

— Ко-лумб!

— Ко-лумб!

Море не говорило «Ко-лом-бо». Нет. Звучало ясно, по-испански: «Колумб». Последнее «лумб» сухо и быстро, даже повелительно. Так произносят слово, готовясь чихнуть.

Он увидел, как заря — та, что с пурпурными перстами,— осторожно приоткрыла завесу ночи (так Ариадна входила в убежище Минотавра).

Вода стала холоднее. Вдалеке, на фоне уходящей ночи, он увидел светящиеся белизной рубашки кузенов. Парни двигались к берегу с юга.

Надо было бежать, спасаться от их неумолимой и тупой жестокости. И он помчался, забыв о боли в усталых ногах. Мощенная брусчаткой улочка привела его к крепостной стене, за которой уже зарождался утренний гомон молочниц и рыбаков.

Он попал в ловушку. Они уже были здесь. Вся орава во главе с Сантьяго Баварелло, женатым на его сестре Бланките, стояла, перегородив узкий проход Вико де Оливелла.

Он зачем-то начал колотить в запертые ворота. Но ответом было лишь ржание белого жеребенка из глубины стойла.

Он глянул на ряды деревянных балконов, украшенных горшками с геранями, и наткнулся на неподвижный взгляд Сусаны Фонтанарросы, которая с первыми же лучами солнца уже принялась прясть.

Она понимала: ему нужно пройти этот ритуал. Ненависть и зависть посредственностей готовят ему испытание. Но оно лишь закалит и укрепит его доблесть. Ведь сын ее — из рода гигантов.

Послышались глухие удары. Сдавленные стоны. Его прижали спиной к воротам, из разбитого носа сочилась кровь. Колотили в ребра, в живот, от удара в солнечное сплетенье перехватило дыхание. Он и раньше успел убедиться, насколько крепки кулаки у испуганных или жестоко обиженных. Его били молча. С холодной расчетливостью профессионалов отыскивали самые болезненные места.

Наконец его деверь Баварелло, ослепленный злобой, вышел из дома — на одной ноге у него был сапог с железными шипами. Такие сапоги в семье надевали, когда отправлялись в горы искать заблудившихся коз.

Двое крепко держали его раздвинутые ноги. Баварелло примерился и ударил. Пронзительный крик. И блаженный обморок — спасенье для всякого истязуемого.

Он остался лежать на улице, а они поспешили к завтраку, что уже дымился на очаге.

То была месть. Нормальная месть. Их терпение лопнуло, когда он заявил, что не будет больше чесальщиком шерсти.

— Я стану мореходом,— сказал он самым естественным тоном. И будто высыпал мешок пауков на уютную, сверкающую белизной воскресную скатерть.

Женщины оплакивали его на своих балконах. Сестра, кузины, юная тетка. Все женщины в душе бывают на стороне того, кто Дерзает. Он будто овладевает ими (в метафизическом, конечно, смысле), всеми вместе и каждой в отдельности; в своем воображении он расчленяет их, чтобы затем вновь восстановить, исключая недостатки и шлифуя достоинства.

Всхлипывая, поглядывали они на Сусану Фонтанарросу. Но та, женщина крепкой породы, не подняла взгляда от пряжи. И лишь прошептала, сжав зубы:

— Что ни делай, все впустую. Он из племени исподинов. Никто и ничто не удержит его.

Ландскнехт Ульрих Ницш забрел в Вико де Оливелла в поисках источника — набрать свежей воды во флягу. Кем он был? Дезертиром, бежавшим с войн, проигранных излишне эмоциональными вождями. Страдальцем, испытавшим всю горечь абстрактного мышления, всю опасность его бездн. Жертвой теологических преследований и тирании иудео-христианского монотеизма, всей этой банды неистовых проповедников. В скитаниях своих он двигался все время на юг и наконец достиг солнечных земель, где цветут лимоны.

Он мечтал валяться в зарослях винограда, беспечно воровать груши, засыпать в древних руинах, где тень его оживала бы в танце. Послеполуденный сон фавна, но — в обличье Аполлона.

У него был облик воина, выбравшегося живым из пламени жестокого боя, уцелевшего в сражении с варварами. Он вызвал переполох среди рыбаков. А портные тут же громко защелкали ножницами, дабы собратья по цеху знали — близко опасность.

Его усищи топорщились, словно шерсть у кабана, самку которого коварно подстерегли и бесчестно убили охотники. Взгляд тигра, загнанного в клетку. Глаза с коричневыми прожилками метали золотистые искры. От него пахло потом, как пахнет от путника, долго ночевавшего под открытым небом. Пахло кожей военного снаряжения и проржавевшим под дождем оружием.

Он поднимался к Вико, грохоча коваными сапогами и звякая старыми ножнами. Кто бы поверил, что путь его лежал от самого Туринского герцогства, где был он застигнут in fragranti [1] обнимающим лошадь и целующим ее в губы — прямо посреди Piazza San Carlo — и где его обвинили в скотоложстве.

---

[1] На месте преступления *(лат.)*.

Он бежал от холодной могилы туманов. И искал всего лишь возможности жить, не превращаясь в собственную тень.

В ненавистном Берне, городе часовщиков, он осмелился сказать, что «человек должен уметь преодолеть самого себя». В ту же ночь его жестоко поколотили.

(С той поры он ревниво оберегал свою страшную тайну и мог открыть ее только тем, кто заложит фундамент подлинной Империи.)

Некоторые исследователи, Джорджо Тибон например, ошибочно полагали, что он оказался на юге в погоне за местом в ватиканской гвардии. Нет, планы его были иными, более высокими. Скажем, в данный момент он желал быть свободным и неукротимым, как те его предки, что голыми вскакивали на коней и мчались по промерзшим насквозь германским лесам, спасаясь от общественного порядка и коллективного образования.

«Морской воздух обожжет мне легкие, а солнце теплых стран покроет кожу бронзовым загаром». Эта мечта была самым серьезным его проступком, самой главной изменой. И его не простил бы ни один из военных трибуналов тех времен.

Так вот, точно известно, что воды он в Вико так и не нашел. Зато наткнулся на белокурого юношу, лежащего без сознания у ворот скотного двора.

Он смочил ему виски и губы водой с уксусом и, утешая, сказал с жутким германским акцентом:

— Держись, парень. После таких передряг мы становимся сильнее...

Но дальше основ сей варварской педагогики он продвинуться не успел. Совсем близко уже подступали мальчишки, что гнались за ним от самого порта. Они вопили. Швыряли камни. (Тогда в германцах все еще видели варваров, оборванцев и бездельников. Столь же диких, как болгары или цыгане.)

Юный Христофор навсегда запомнит тевтонские усищи. Вода с уксусом показалась ему сладкой.

Мачта «Санта Марии»? В ту пору она была стволом огромного пиренейского кедра, росшего на крутом берегу в Сантандере.

Во время январской грозы молния спалила ему верхушку — как раз там, где потом будет марс. (Родриго де Триана ухватится за это место, когда раздастся его крик: «Земля!», «Земля!» — ведь он полагал получить сто тысяч мараведи, но коварный Колумб заглотит их сам, объявив, будто видел землю еще накануне ночью.)

Итак, то был кедр, чья жизнь прошла в борьбе с дикими ветрами Бискайского залива. Он вырос на безлюдном склоне горы, ухватившись корнями за камни так крепко, как тигр хватает когтями добычу.

Счастливым он бывал лишь в апреле. Когда ветер переставал свистеть и стихал. Только в апреле он веял с земли и доносил сюда мирный запах конского навоза, мычанье коров и голоса крестьян, перекликающихся в сумерках.

Его увидали с моря галисийские рыбаки (а до того ни один человек к нему не приближался). Какая великолепная грот-мачта! Целое утро они карабкались на кручу и всего за час свалили дерево.

Потом весь день обрубали ветви, и к ночи на палубу погрузили готовую мачту — ровную, гладкую, без сучков.

Ее продали на верфи в Ла Корунье. Позднее она будет выбрана хозяином «Галисийки», она же — «Мария Галанте». А Колумб наречет «Марию Галанте» «Санта Марией» и вместе с новым именем возвратит ей девство.

Детство Избранного было безмятежным. Только таким оно и могло быть в тогдашней Генуе. Генуе лавочников. Генуе, кольцом суровых гор обороненной от воинственных соседей. И — от культуры. В Генуе, где умели радоваться лишь стуку ткацких станков, удачным торговым сделкам да нехитрым плутням с векселями.

Невежество без изъянов, без намеков на всяких Данте и Микеланджело стояло на страже общественного порядка и муниципального прогресса. Католическая церковь не была здесь слишком суровой, вполне терпимо относилась к иудеям и маврам, зато не одобряла интереса некоторых молодых людей к мистике и теологии, способных отвлечь от служения конкретно-полезному. Город умел ладить с Ватиканом. Раз в полгода отсылали туда подношение в виде больших партий саржи для сутан по цене всего в два секи [1].

Генуя: горы в три ряда, точно акульи зубы, отгораживали ее от эпохи, от ветров перемен.

Правда, со стороны моря сюда все-таки могли проникнуть турецкие и венецианские корабли. Но на каждого, кто пытался поближе подплыть к скалистым берегам, обрушивалась ярость ринувшихся в бой лавочников. (Известно ведь, что самое отчаянное сопротивление оказывают почитающие себя беззащитными или праведниками, или теми и иными вместе.) Плохо приходилось неосторожным пиратам. Дело довершали бродячие псы. Они спускались на берег и пожирали уже растерзанные тела.

Именно детские годы подготовили Христофора к будущим подвигам. Как он рос? В объятиях немудреных семейных традиций, черпая познания — поостережемся говорить об образовании или воспитании — в приходской церкви. Ему повезло, он не ведал чумы, не видел властных, победоносных дуче.

Он мягко втягивался в сеть заблуждений и словоблудия своей эпохи. А та вкрадчиво готовила его к убогой кабале благоразумия.

Священник, падре Фризон, дождливым зимним днем, наскоро прочитав привычную молитву и щедро наделив детишек тумаками, принимался за рассказы об огненных драконах у адских врат, о вечных (вечных! вечных!) муках. Или расписывал доброту Христа, да так, словно речь шла об его собственном богатом и влиятельном дядюшке, которым так приятно похвалиться.

Еще он давал им уроки сурового милосердия: убей мавра, уничтожь, но не забудь помянуть его потом в воскресной молитве (и даже попроси ему местечко попрохладней в чистилище для неверных).

Но надо признать, именно падре Фризон заразил Христофора страстной и мучительной мечтой о Рае. В одну дождливую пятницу (в самый разгар зимы), осушив за обедом полную бутыль «Lacrima Christi» [2], священник изумил детей рассказом о берегах, покрытых белейшим песком, о пальмовых рощах, что перешептываются с ласковым ветром, о ярком полуденном солнце и небе эмалевой голубизны. О молоке кокосов и несказанно сладких фруктах. О нагих телах купающихся в прозрачных струях людей, о нежной музыке. Разноцветных птицах, их трелях. О мирных хищниках и колибри, вкушающих сок розы. О мире совершенном, забывшем о времени. И населенном ангелами! «Вот что такое Рай! Вот откуда изгнали нас по вине Адама и иудеев! А теперь нас манит смерть, возможность расстаться с грязной и безрадостной плотью, с чередою унылых дней! А Рай — мечта, детки! Нет ничего лучше Рая...»

Священник взволнован, он плачет. Какая боль! Какая тоска! Хотя, заметим, он, кажется, составил себе представление о Рае по гравюрам из тех соблазнительных книг — поддельных дневников странствий,— что уже начали выпускать в Венеции на новомодном аппарате — печатном станке.

А дети услышанным потрясены. Христофор рыдает во сне. Ему открылось, что произошло ужасное несчастье. Владея всем, мы потеряли все. Нас лишили настоящей жизни!

В доме царит белый цвет: овечьи шкуры на стульях и лавках, шерстяные покрывала на кроватях, крынки с молоком для сыра, мучные облачка, что поднимали дядья-булочники. И неизменные белые нити в руках Сусаны Фонтанарросы, его матери.

[1] Старинная золотая монета.
[2] «Слеза Христова» *(лат.)*.

Белая шерсть выходила из чесальной машины — мягкая, воздушная, больше похожая даже не на снег, а на сахар. Стоит дунуть, и белые комочки взлетают вверх, кружатся, парят.

По субботам отец Христофора, Доменико, ровно в семь садился за стол, придвигал к себе кувшин вина и заводил песню. В восемь, уже изрядно повеселевший, брался за мясо. В девять вопил с крестьянской удалью:

Прочь, чума! Прочь, чума!
Будем жить веселей!
Смерть нам тут не нужна!
Ты ее одолей!

Следом шли песни вовсе уж непристойные, как, скажем, небезызвестный «Пилигрим», и Сусана Фонтанарроса спешила запихнуть мальчишку в постель и накрыть с головой толстым шерстяным одеялом, а также поплотнее закрывала ставни.

Ребенок прислушивался. Со стола падал и разбивался стакан. Смех сменялся вязким молчанием. Потом опять лилось вино. Доменико пел один. Славил Господа. В третий раз подсчитывал выручку за полмесяца.

Иногда мальчик подсматривал из-под одеял и видел: ее влажное от пота тело с прилипшими завитками волос, рядом — розовокожий Доменико, напоминавший огромного индюка, общипанного бабушкой перед Рождеством.

Они занимались своим делом с чистым, простодушным крестьянским упорством. Как же иначе? Весь феодально-католический уклад служил им надежной опорой. Потом они засыпали, довольно похрапывая.

Да, они были в своем роде либеральны, горды собственной посредственностью, не знали страстей, которые хоть намеком звали бы к великому и необычному. И хуже смерти боялись одного: что сын будет лучше, чем они. Что станет он поэтом, мистиком либо кондотьером. Слава воинов казалась им дымом. Культура — несчастьем. О героях, открывателях новых земель и тому подобном — нечего и говорить.

Семейство Коломбо было в меру религиозно. По воскресеньям они ходили к мессе — послушно, чванливо и не скрывая некоторого здорового скептицизма. (Мелкие буржуа всегда высокомерны по отношению к Великому.)

Молва называла их иудеями. Да, среди родственников-портных многие могли похвалиться и крючковатым носом, и заостренным книзу ухом.

Случалось им есть птицу, кровь из которой выпускали в одном дворе на Вико, о чем, думается, не ведали ни в Доме Берарди, ни управляющий Дома Спинолы, большой мультинациональной компании.

Они считали себя скорей италийцами, чем генуэзцами. Скорей рабами одного великого Бога, нежели католиками (слишком хорошо было известно, что от многих и вечно враждующих между собой богов на земле возникают жесточайшие бойни.)

Итак, они были скептичны, эклектичны, синкретичны и — хитры. Одним словом, ловили рыбку в мутной воде оппортунистического политеизма (или, скажем попроще,— многобожия).

Мальчик принес им первые большие огорчения в девять лет. Он показал характер. Все произошло после причастия: он съел кусочек Бога, как все, в благоговении закрыв глаза, а потом стащил у зазевавшегося ризничего алфавит и картонку с образцами букв. Священник прекрасно знал, какая опасность таится в двух дощечках алфавита, и хранил их с особым тщанием. (В те времена лишь один-два отпрыска из каждой аристократической семьи рисковали пуститься в нелегкое плавание по четырем действиям арифметики или окунуться в таинственный мир грамматики.)

А Христофор за три ночи при свете неяркой свечи сумел проглотить всех этих черных, вездесущих, непоседливых жучков, что звались буквами. Запретные плоды с Древа Знания. На четвертую — и тем памятную — ночь он составил первое слово: РИМ. И задохнулся от колдовского очарования, когда смог прочесть и наоборот: МИР.

Через неделю ему уже удалось расшифровать канон падре Фризона: «Нож в спину врага терпимости и веры в Господа нашего Иисуса Христа».

Преступление раскрылось. На Христофора надели желтый колпак, и мальчишки-подлизы плевали в него. Получил он и тридцать ударов линейкой по пяткам. И можно сказать, легко отделался. Ибо никто не мог подумать, что уже выучился он читать, сняв точные копии с двух запретнейших табличек.

И тайну свою мальчик тщательно оберегал.

Случалось, на улочку Олика забредали странные люди — в провощенных сапогах и передниках, с прилипшими к ним водорослями и ракушками.

От них пахло солью, портом, растоптанными моллюсками. Они всегда казались промокшими, даже если светило солнце.

Это были люди Моря. Они приносили корзины с живыми игрушками: морскими ежами, крабами, раками, лангустами, которых надо было подталкивать, и тогда они медленно двигали своими бронзовыми антеннами.

Мальчик смотрел на чудищ издали, они были страшны, но не омерзительны, как, скажем, пауки, сороконожки и прочие земные твари.

Люди Моря всегда говорили громко. Раскатисто хохотали. А портные недоверчиво высовывали носы сквозь балконные решетки. И со злобой смотрели, как их женщины — взвешивая на руке рыбу или проверяя, насколько красны жабры у мерлана,— не только принимали, но и неуклюже поощряли вольные шутки с намеками на их соблазнительные формы.

Порой пришельцы от слов переходили к делу. И до балконов долетал звук мягкого шлепка. Тогда портные хватали ножницы и принимались погромче щелкать, притворяясь, будто готовы ринуться в бой.

Людей Моря приходилось угощать вином, пусть даже самым плохим — им было все равно. Видно, глотки их совсем огрубели от соли.

Они рассказывали истории о штормах, о неизвестных созвездиях, о кораблях, плывущих по воле волн, о кораблях, где горят поленья в очагах, но нет людей.

Они отчаянно сквернословили и щедро раздавали свой товар вдовам и калекам, что следовали за ними, словно чайки за каравеллой.

Они жили по иным законам. То было видно сразу. И врали с величайшей серьезностью: как отобедали на спине кита святого Брандана, как их товарищи теряли руки в сражениях с гигантским Спрутом или с Касаткой-убийцей.

Один из них поведал растерянному Христофору, что Мальстрем[1] вынес его к самому краю света. Тут он потерял сознание и очнулся уже на берегу Бристоля, где жизнь ему спасла веснушчатая крестьянка, напоив молоком из собственной груди.

Христофор глядел на него в восторге. Морской человек протянул руку и потрепал по щеке белокурого мальчугана. А тот почувствовал, как больно царапнул его жесткий, потрескавшийся, покрытый солью палец. Он поднял глаза и увидел сухие губы, всего несколько желтых, цвета нарвальего рога зубов, торчащих во рту.

Ребятня бежала за ними до самого порта, куда рыбаки возвращались с деньгами портных и ткачей. Здесь опрокидывали они в себя бутыль вина, громко орали песни. Опьянев, кидались на необъятных сирийских проституток: жирных, ленивых, наряженных в пестрые тряпки. Простертых на жалкой роскоши дешевого бархата. Но тут мальчишкам приходилось отлипать от узких оконцев, ибо к ним уже спешил хромой Стаффолани, потрясая дубинкой муниципальной морали.

С тех пор мальчик знал, что море — иной мир. Море — суровый, гневливый, капризный бог. Оно могло вести себя совсем как начальник дворцовой стражи Риццо, когда его дочь Нинфетта удрала в горы с ризничим. Когда море ревело особенно сильно, Сусана Фонтанарроса спешила поплотнее закрыть ставни. А к вечеру хорошо укутанные дети ткачей и сыроваров могли сойти на берег и рассмотреть взбесившегося зверя.

---

[1] Опасное течение у берегов Норвегии.

С высоты было хорошо видно, как бил он лапищами о берег. Густой, вновь и вновь накатывающий грохот. Летящая по ветру соленая пена — слюна обезумевшего в цепях праведника. Зверь швырял на песок рыб, морских тварей, остатки кораблей. И даже щупальца гигантского кальмара.

Когда приступ длился более трех дней и надо было как-то успокоить взбесившегося бога, в ближней деревне покупали ребенка-урода и, надев на него ожерелье из сухого инжира и плащик из куриных перьев — чтобы облегчить несчастному полет в чистилище идиотов,— бросали с кручи.

Через день-два зверь утихал, и можно было снова без опаски рыбачить. О миновавшей вспышке гнева напоминали раскиданные по берегу рыбьи скаты, обломки досок да ракушки. Однажды у берега остался даже кит, которого спешно поделили меж собой акулы и нищие.

По правде говоря, ацтеков волновало лишь одно — решение солнечной проблемы. Они стали заложниками собственной непомерной веры, ибо вбили себе в голову, что их богов, пьющих лишь кровь, обуяла жажда. И решили: без великого последнего переливания крови не обойтись. Только многотысячная жертва даст силы анемичному светилу и поможет ему дожить до конца временного цикла.

Уаман Кольо, посланник Инки Тупак Юпанки, надевал знаки отличия, готовясь приступить к заключающему этапу переговоров. Луны Мехико-Теночтитлана текли быстро, точно зерна маиса сквозь пальцы юной крестьянки. Как давно поднимался он со своими людьми на плотах по реке от Пиру к берегам ацтекской конфедерации.

Трудно иметь дело с людьми, чья воля целиком подчинена безрассудным богам.

К тому же они слишком верили в злосчастные знаки судьбы. Не видели разницы между символом и реальностью. Покорно ждали свершенья пророчества изгнанного Кецалькоатля: «Я вернусь в год 1-Канья» (1519). И откуда только они взяли, что солнце их умирает? Да, на главной площади Куско, на Уакайпата, к ногам Инки тоже упал пораженный молнией орел. Ну и что? Что общего у мертвого орла с концом империи?

А они верили, что Земля — безмятежно спящая в иле ящерица. Глупцы! Нет, Земля — это пума в момент прыжка из тени в туман. Жизнь...

Непросто иметь дело с людьми, которые магию и воображение ставят выше разума чисел и наук.

Он поправил маскайпачу и вышел на балкон, откуда хорошо были видны рыночная площадь и Большая Пирамида. Теночтитлан! Теночтитлан! Вихрем летящий праздник Мехико. Прекрасный звон гонгов, мальчишки ударяют по ним обсидиановыми ножами, когда вниз спускаются обрызганные жертвенной кровью жрецы.

Ликованье закатного часа. Крики, игры. Толпы народа на улицах. Будто муравейник, где текут медовые реки.

Крики продавцов и менял. Перехлесты петель купли-продажи. Уаману знакома такая веселость: ее сеют вокруг себя только торговцы. У них есть даже собственный бог — Якатекутли. Разве достоин он места в священной иерархии? Не слишком ли много чести? Уаман, стоявший, как и подобает чиновнику, на позициях ортодоксального и официозного социализма, негодовал. Само устройство их жизни шло вразрез с действительностью (как можно, скажем, отрицать науку кипу [1]?)! Ацтекам и в голову не пришло бы принять закон, подобный тому, что ввел у себя Тупак Юпанки: шестичасовой рабочий день для горняков и не больше четырех месяцев в году работы в шахте. Шестичасовой рабочий день!

Безумный ритм жизни. Солдаты учатся играть в мяч. Их крики заглушают музыку и песни. С вершины храма Тлалока [2] слышен мрачный бой барабанов и одинокий, пронзительный и бесполезный вопль жертвы. Опять

---

[1] Кипу — узелковое письмо, существовавшее у ряда народов Южной Америки.

[2] Тлалок — в мифологии ацтеков бог дождя и грома, повелитель всех съедобных растений.

жрецы, злосчастные прислужники божьи, вырывают у кого-то сердце — чтобы вложить его в грудь чак-мооля [1].

Снуют туда-сюда цветочники. Хлопают крыльями плененные туканы. Паясничают на шестах обезьяны. Сильный запах острых соусов, лепешек с начинкой из собачьего сердца. Теночтитлан! Праздничный вихрь. Беспечная и пестрая жизнь большого города.

Да, ацтеки знали толк в изящном и презирали выверенность и точность. Легко совмещали свободу торговли с лирикой. Империя же Инков была, напротив, геометричной, симметричной, статистичной, рациональной и двумерной. Иными словами, социалистичной.

Пропели рожки и раковины, возвещающие приход ночи. Тут же, как и прежде, в комнату вошла прелестная тлацкальтекская девочка со стаканом пенистого какао и кубком, полным перышек. Уаман сделал то, чего она так ждала: зачерпнул горсть перышек и, дунув, пустил их в сторону окна. Переливчатое облако взмыло вверх. Уаман почувствовал, как спадает с него чиновничья спесь. Снова и снова повторял он игру. Пока чаша не опустела. Пестрые перышки продолжали парить в воздухе, порхали и кувыркались, точно молодые бабочки из жарких земель. Или бумажки-конфетти — забава богов. Сколько красоты и счастья дарят они в краткий миг своей жизни.

— Итак, вы считаете, что стоит идти войной на земли бледнолицых? — с сомнением в голосе обратился Уаман к вождю текутли из Тлателолько.

— Эти земли можно завоевать, покорить,— сказал текутли, словно не слыша вопроса.

Уаман уже понял: им было нужно двадцать или тридцать тысяч белых варваров, чтобы в год 219-й по ацтекскому календарю открыть храм Уицилипочтли и не дать солнцу погибнуть от малокровия. «Ведь кровь у всех нас одна — у зверей, у людей, у богов».

— Мы должны завоевать их. Освободить. Надо добраться до тех берегов,— твердил ацтек.— Вам ведомы секреты морских течений. Разве нельзя...

Уаман Кольо помнил, сколь осторожен, разумно недоверчив был в этом вопросе его господин Тупак Юпанки. Предполагалось, что торговцы из Теночтитлана хотят всего лишь нарядить бледнолицых в шкуры ягуара и плащи из перьев. Приучить их к табаку и коке, научить их взор радоваться яшме, а вкус — какао.

Ах, эти бледнолицые — бородатые, сильные и недалекие. Сколько раз в погоне за тунцом терпели они бедствие в теплом море или высаживались на острова, чтобы запастись водой и фруктами. А потом спешили вернуться в свое холодное море.

Даже ацтеки, не слишком умелые мореходы, не раз встречались с ними. Например, когда отправлялись исследовать то место (две недели пути от Гуанаани), где сливаются воедино течения ветров и вод. Недвижное озеро среди моря. Здесь собирался хлам, отбросы двух миров: ритуальная трубка, собака-фокстерьер, раздувшаяся как бурдюк, жезл касика и несколько тонких кишок, завязанных с одного конца узелком (якобы изобретение лорда Кандома, летними ночами любовники щедро бросали их прямо в Темзу). Плавала здесь голова коня, наверняка отсеченная сарацином в приступе подлой ярости, и набедренная повязка из оленьей кожи (ее завязки весело вились в воде), плавали и деревянные четки с крестом, потерянные каким-нибудь галисийским священником в праздник местной святой.

Ацтеки тщательно изучили все эти предметы и, применив дедуктивный метод, составили себе представление о мире бледнолицых. Он показался им малопривлекательным.

И все же инки знали гораздо больше. И больше умели.

Вот и сейчас, не слишком вдаваясь в детали, Уаман рассказывал о трансатлантических перелетах инков. Как о чем-то вполне обычном сообщил, что они смогли пролететь над Курящимися Островами (Канарами), над оконечностью Носа Ягуара (Иберией).

---

[1] У индейцев майя скульптурное изображение богов.

И как можно небрежнее, дабы не ранить болезненного ацтекского самолюбия, заметил:

— Один из наших шаров достиг Дюссельдорфа. Там тоже обитают бледнокожие, по всем признакам они весьма бедны.— Произнес он это с подчеркнутым безразличием.

Огромные шары — из тонких тканей, выделанных в Паракасе, с маленькой тростниковой лодочкой снизу — плыли в раскаленном воздухе Наски и Юкатана. Ими управляли те, кто постиг трудную науку о движении теплых ветров. «Небо, как море, но это море совсем иное».

Текутли понял, что вряд ли ему удастся преодолеть безразличие инков к бледнолицым. Инки не станут участвовать в имперском походе в холодные земли. Переговоры провалились.

Уаман был великим скептиком. Он считал: люди — злая шутка богов над живым миром. Они — часть общего процесса, непрерывной цепочки. Так почему же они то в жестокой тоске оглядываются назад, то отдаются несбыточным надеждам? У них две ноги, как и у макак, но ходят они неуклюже, так и не приспособившись к реальности. И ждут возвращения к Безбрежному, туда, где нет теней. Для чего же тогда тратить силы на подвиги, на новые завоевания?

А теперь Уамана церемонно ведут на банкет во Дворец Императора. О нем расскажет нам *Codex Vaticanus C* [1], третья часть, навсегда погибший в костре вместе с другими ацтекскими документами. Приказ свирепого епископа Сумарраги.

Итак, они входили в *Codex* медленно и важно. «Торжественные, словно карточные короли». Ведь то был последний банкет. Юноши и девушки, помахивая опахалами из пестрых перьев, приветствовали их с двух сторон. Идеограммы не сохранили последней попытки текутли, весьма опытного политика, переманить на свою сторону Уамана:

— Ну что ж, давайте поскорее пообедаем... пока бледнолицые не поужинали нами!..

Холодное туманное утро. Сквозь серую мглу уже начинают пробиваться солнечные лучи. Осенний ветер налетает на стены Дворца.

Появляются охотники. Позвякивание копыт. Пение рожков, созывающих возбужденных собак. Дети, стражники, слуги сбежались отовсюду, чтобы поглазеть на еще окутанную последним дыханием жизни добычу.

На самой верхушке колокольни (и как она туда забралась?) маячит Бельтранша. На ней немыслимое боа из перьев ибиса, наверняка украденное у одной из дворцовых шлюх. Лицо подкрашено в модные цвета: лиловый, желтый, красный. Но подкрашено без зеркала, и поэтому напоминает оно скорее «пятно». Ветер пытается сорвать уже известную нам остроконечную шляпу, тюль завился вокруг колонок звонницы.

Немного пониже, но так, чтобы хорошо были видны водоем и утоляющие в нем жажду всадники, сидят меж зубцов крепостной стены Изабелла и ее друзья. Принц Фердинанд Арагонский, кузен Изабеллы, прибыл сюда инкогнито, проездом. Он не хочет превращать краткую передышку в пути в скучный — и нежелательный — официальный визит.

Фердинанд одет как зажиточный козопас. Это юноша с внешностью горца: светло-каштановые волосы, широкое лицо, миндалевидные глаза, живые и лукавые. Молокосос с поступью короля. Он ходит меж мулами, что-то проверяет, подправляет. Приказывает:

— В Сарагосу отбываем до полудня.

Ему подносят бурдюк с вином, он жадно пьет. И, откинув голову назад, отыскивает взглядом то, что на деле интересовало его в сем мрачном дворце.

Можно было залюбоваться тем, как ходил он по каменным плитам: шаг печатался на темном граните по-военному звонко, шаг настоящего мужчины. Почти так же решительно ступал король-дед. Фердинанд

---

[1] Ватиканский Кодекс С *(лат.)*.

пересчитывал охотничьи трофеи: зайцев и кроликов, растерзанных собаками (их так и не удалось воспитать по-английски), забитую палками кабаргу, двух кабанов, истекавших кровью — вязкой, густой, все еще теплой.

Слуги начищали потускневшую от сырых туманов бронзу. Укладывали кинжалы, шпаги, арбалеты. Заметим, что излюбленным оружием этих не слишком изысканных храбрецов была гаррота. Ею владели они с особым мастерством: уверенно могли уложить дикого быка. (А руку арагонцы тренировали, охотясь за каталонцами. Сей замечательный народ был обречен служить заслоном для прочих испанских земель.)

Снова раздается голос Фердинанда. Он велит привести собаку, струсившую во время атаки на третьего кабана. Берет легкий лук и, не внимая мольбам слуги, выпускает стрелу, и та пронзает пса насквозь, от затылка до хвоста.

Сразу видно: это настоящий мужчина. На алтарь справедливости, не колеблясь, принес он дорогую собаку. Стражники застыли в задумчивости (справедливая жестокость всегда почиталась в Испании).

И дело было, конечно, не в собаке. Выстрел этот говорил о великой силе характера. (Не кольнуло ли что в этот миг Атауальпу, последнего Инку?)

Изабелла — с трогательной косицей, в коротком плаще — крепко ухватилась за шершавый камень зубца и перекинула ноги через стену наружу. Фердинанд сделал вид, будто подтягивает подпругу мулу, и бросил взгляд наверх. Взгляд стальной, жесткий, акулий. Взгляд, взлетевший по гранитному скату, мягко замерший на крепких икрах и скользнувший к последней тревожной тени. В ушах у Фердинанда вдруг зазвенело от слабости. Он судорожно сглотнул воздух, вскинув голову, как попавший в трясину олень. Или как боец, получивший удар с неожиданной стороны. Перед глазами его стояла дразнящая тень, лощина. Лисий хвост, что мелькнул на рассвете в зарослях ежевики.

Изабелла же не могла отвести взгляда от затылка гостя. Ей вспомнилась холка быка в период гона, мощная шишка власти, колено римского гладиатора.

Девочка-принцесса почувствовала, как ноги ее слегка раздвинулись, как она мягко вспорхнула и стала кружить над затылком кузена-арагонца. Бледная бабочка-недотрога, что пляшет вокруг огня. Когда же Фердинанд протягивал руки, чтобы схватить ее, она поднималась чуть выше, вся во власти капризной и хрупкой игры в полет.

Маленькая Хуана, затаив дыхание, следила за всем происходящим.

Она не могла сдержать злых слез. И даже несколько раз отчаянно взвыла, как зверек, которого настигает волна наводнения.

— Брат и сестра не должны так смотреть друг на друга!

Она почти повисла на веревках и в бешенстве стала раскачивать языки колоколов. Боа из истрепанных перьев совсем запуталось. А бой колоколов больше походил на звон разбивающегося стекла.

Хуана заскользила по канатам вниз (во мраке башенного канала легким облачком летел небесно-голубой тюль). Спустившись, бросилась в исповедальню к благодушному Торквемаде, духовнику принцесс. В мрачном ящике, где монах проводил дни, стоял странный и резкий запах французского писсуара.

Священник выслушал новость, но не успел промолвить ни слова, Хуана мчалась в отчаянии к трону отца-короля. Надо было быстрее сообщить ему: Изабелла потеряла невинность, позабыв о приличиях, она отдалась своему кузену Фердинанду Арагонскому, переодетому козопасом.

— Никогда, никогда не получит она теперь кастильской короны!

Меж тем арагонцы с рожами висельников раскладывали на красных от крови плитах добычу. Уже была отложена в сторону кабарга, которую зажарят в поле, по дороге домой.

Но самый главный трофей — кабан, весь в кровавых струпьях, с комьями грязи и навоза в щетине, с расщепленной стрелой, впившейся в глаз,— не был предназначен королю Энрике, как можно было подумать.

То был дар любви, о чем и гласила billet-doux [1], адресованная Изабелле:

Для Изабеллы, принцессы кастильской,
сей поверженный кабан с нежным мясом...

Незнакомец

Не было никакого сомнения: за немудреными словами крылся тайный смысл. Как взволновал Изабеллу кусок пергамента с черными пятнами крови! Она поспешила спрятать его в молитвенник.

Пять недель спустя безымянный посланник прибыл в Сарагосу, в Королевскую резиденцию и передал принцу Фердинанду, королю Сицилии, крошечного сахарного кабанчика с нацарапанной булавкой гривой. Грудь его пронзала раскрашенная в пурпурный и желтый цвета щепочка. Письма не прилагалось.

Тайком от Хуаны, Торквемады и придворных соглядатаев изготовила Изабелла сей трогательный и понятный без слов символ.

Совсем легкий срез, как бы половинчатое обрезание — вот что было нужно Христофору, считал Доменико. Ведь не сегодня-завтра он пустится в жизненное плаванье.

Отец и сын направились в *гетто*. Глянув с высоты холма на море, Доменико с досадой проговорил:

— Вот к чему ты рвешься! Но тебя ждет разочарование: ты еще вспомнишь о козлах чесальщика, о спокойной жизни. Вспомнишь о похожих один на другой вечерах, о беспечных беседах за ужином, о крепком сне в собственной постели. Бог Яхве карает нас гордыней, мальчик. Чтобы погубить человека, достаточно дать ему то, о чем он мечтает.

Они вошли в лачугу Ибн-Соломона: то ли раввина, то ли знахаря. Чего тут только не было! Старинные вещи и кабалистический хлам. Забальзамированные птицы и рыбы. Книги по мистике. Талисманы с изображением Изиды. Словом, старик занимался всем понемногу.

Он жил сам по себе, и к нему не цеплялись ни ортодоксы, ни диаспора. Коньком его было толкование снов — на рынке, по секину за штуку. Он, конечно, не ведал, что был пионером злосчастного психоанализа. Увидев Христофора, старик язвительно заметил:

— А вот и еще один мальчик готов прибиться к истинной вере!

И стал раскладывать инструменты: ножички, промытые смесью уксуса и виноградной водки, тонкие шерстяные тряпочки, точильный камень, горшочек с паутиной, которая считалась отличным заживляющим средством.

Взволнованный Христофор глянул на стену. Там висела геометрическая схема Древа Жизни с тридцатью двумя бегущими от него дорожками. С веток Древа свисали бумажки, на каждой из них указана дата истечения какого-то срока (старик давал ссуды — надежным людям и под умеренные проценты). Рядом — бронзовая звезда Давида, сочлененная так, что в мгновение ока могла превратиться в Святой Крест. Хозяин был искушен во всем, что касалось pogroms.

Он точил нож и объяснял:

— Всякая Магия идет от Сетха, сына Каина, зачатого у райской стены, но уже снаружи. Имей в виду, мальчик, сперва магия была бунтом и возмущением, а затем начала учить покорности. Разум должен повелевать, инстинкты — подчиняться. Кто забудет сей закон Яхве, не умрет в своей постели. Не сомневайся.

Доменико заранее условился с раввином: им нужно обрезание практичное, чтобы мальчик без хлопот мог получить место в мультинациональной компании. Ибн-Соломон предложил свой фирменный способ, годный на все случаи жизни: «обрезание плюривероисповедальное». Пусть оно не покажется достаточно убедительным для синагоги, зато вполне устроит банкиров, судовладельцев и ростовщиков. А главное, не подставит юношу под удар антисемитизма, крепнущего вместе с новыми империями. (Перемены коснулись всего. Со всех четырех концов цивилизованного мира шли вести

[1] Любовная записка *(франц.)*.

о том, как евреев с энтузиазмом побивают камнями и отправляют на костер.)

Ибн-Соломон несколько раз провел лезвием ножа через пламя зеленой свечи (той, при свете которой бросались кошачьи кости для предсказания судьбы). Затем окунул нож в золу от ладана. И грубо пошутил:

— Не бойся, парень. Я набил себе руку, холостя баранов в Ливане...

И неожиданно быстро, пока Христофор еще гадал, будет ли больно, отхватил кусочек кожицы.

— Да, мы единственный народ, законченный вручную! — сказал старик.— Промывай рану дважды в день борной кислотой, и скоро все у тебя потечет как надо. Будет жечь — смажь свиным салом. Будет кровоточить — приложи паутину. Да не забывай, селезня за хвостик ловят... Ну вот, теперь ты можешь по субботам быть избранным, по воскресеньям — гоем.

Он бросил кусочек человечьей кожицы в коробку, где другие такие же успели уже потемнеть и высохнуть, точно изюм. С гордостью мастера встряхнул коробку: послышался звук, похожий на шуршание кожаных денег — такие использовали для торговых сделок персидские погонщики верблюдов.

Ибн-Соломон получил условленное: добрый кусок ягненка и отрез плотной саржи.

— Ну, значит, мы подправили задумку Яхве, мальчик! Отныне ты — demi [1], как говорят франки. Только смотри не напутай, предъявляя свои документики!

Христофор прикрылся салфеткой, специально связанной сестрой Бланкитой из лучшей шерсти, к тому же выстиранной в дождевой воде и прожаренной на солнце.

А две недели спустя они уже искали, в какой из крупных торговых домов пристроить Христофора: Дориа, Пинелли, Берарди (с главной конторой во Флоренции, где хранился капитал семейства Медичи).

Под конец на него решили посмотреть в банкирском Доме Чентурионе.

По дороге на переговоры Доменико сказал отпрыску:

— Не могу понять тех, кто от добра добра ищет! Чистое безумие! Учти, ты хлебнешь всякого: мир полон убийц, заносчивых вельмож, проходимцев. Чего тебе не хватало? Только дураки считают, что орлом быть лучше, чем волом. Да что с тобой говорить...

Никколо Спинола, управляющий компании Чентурионе, заявил, что нужно хорошо знать испанский и уметь вести всякий счет.

— Ты будешь плавать на торговых кораблях, парень. Но не забудь — испанский язык и голова на плечах. В наше время без этого никуда...

Энрике-Импотент плел международные интриги. Он мечтал разлучить свою сводную сестру Изабеллу с опасным Фердинандом. А заодно и с кастильским троном. Он подыскивал ей женихов: тщеславных принцев, рыцарей-эротоманов, достаточно знатных юношей. Но Изабелла не могла забыть затылка арагонца. И в бешенстве отвергала всех претендентов.

Тогда коварный Энрике остановил свой выбор на известном сластолюбце Магистре де Калатрава. Тот мигом получил от преданных людей все сведения о прелестях шестнадцатилетней принцессы. (Подкупленные монахини во сне обмерили ей грудь, бедра, талию. По этим меркам Магистр приказал изготовить плюшевую куклу, чтобы получить пусть приблизительное, но вполне наглядное представление о красоте, которую вручали ему интересы государства.)

Господь Бог, решил похотливый подагрик, еще при жизни награждает меня за службу. И маркиз тронулся в путь, из Альмагро в Мадрид — за счастьем. (Он все уже знал о хитончиках, о шелковистых волосах, о тонких лодыжках, затянутых в узкие сапожки.)

В дорогу отправился пышный кортеж из восьми экипажей. Причем в двух из них ехали швеи с исколотыми в кровь из-за тряской дороги пальцами. Они шили и весело пели.

---

[1] Наполовину *(франц.)*.

Готовилось приданое. Магистр в своей карете, как безумный, лист за листом чертил углем эскизы, придумывал фасоны соблазнительного нижнего белья. Он изобретал шелковые панталоны с немыслимыми тайными прорезями, пестрыми оборками — они как бабочки замерцают в простынной полутьме, добавлял неожиданные пуговички, бахрому, строчки, ленточки. Нервными стрелками указывал: «лучший шелк», «полотно из самых тонких», «узор», «вышивка на сюжет Венериного холма».

По правде говоря, старый Магистр не был оригинален: все это он когда-то видел в борделях Венеции и Парижа.

Тряска мешала сосредоточиться. Магистр откидывал голову назад и под стук колес предавался мечтам. Мечтам о восхитительном мраке брачного покоя. Как только они поженятся, как велит Господь, никто не сможет их разлучить, никто не помешает ему воспользоваться своими правами. Сразу по возвращении в замок Альмагро он положит совершенно нагую принцессу на дубовый стол и станет вдыхать запахи ее лона — час за часом, день за днем. Его дикая, совсем особенная, глубокая и чистая любовь потребует от супруги вечной девственности.

Изабелла меж тем металась по дворцу, в отчаянии ожидая конца долгого путешествия жениха. Сюда доходили точные сведения обо всем, что происходило дорогой. Известно было и о двух экипажах с поющими швеями.

Лучшая подруга Изабеллы, ее наперсница Беатрис де Мойя кричала:

— Бог этого не допустит! Лучше умрем!

Пришлось даже вырвать у нее из рук кинжал. Беатрис и Изабелла, обнявшись, проплакали всю ночь.

Все шло по замысленному Энрике-Импотентом плану: пока Магистр де Калатрава двигался ко двору, он, чтобы окончательно разрушить тщеславные замыслы сестры, бросился доказывать собственную мужскую полноценность: никто не должен сомневаться в том, что в жилах маленькой Хуаны течет его кровь.

Архиепископ, по его настоянию, засвидетельствовал:

> «После того, как лично мною были опрошены четыре проститутки из Сеговии, УСТАНОВЛЕНО: Его Величество с каждой вел себя, как подобает мужчине вести себя с женщиной, имел притом мужской член твердым, что дало свои результаты, семя было извергнуто, как то бывает со всяким мужчиной, имеющим силу».

(Много позднее документ был опубликован Грегорио Мараньоном, которого, очевидно, тема эта интересовала.)

Энрике же бумагу должным образом узаконил и довел до сведения недоверчивого двора. Но здесь продолжали считать, что подобные обобщения отнюдь не проливают света на конкретный вопрос. На вопрос о Хуане Бельтранше.

Да и вообще, все это слишком напоминало покупную славу постаревшего итальянского жиголо.

Это были тревожные дни. Но план короля с треском провалился. С прибывшим на почтовую станцию Магистром случился приступ «внезапной злой лихорадки», хотя камердинеры поначалу решили, что речь идет об обычном и естественном мастурбационном кризе.

Утром его нашли мертвым — со звездой Давида в крепко сжатом кулаке (вот он, его Бог, в час истины) и с девичьими панталонами из приданого, закрывающими правую щеку.

Следует упомянуть: именно в те отчаянные дни Изабелла и Беатрис послали к Фердинанду в Сарагосу проворного всадника с вылепленной из теста голубкой, ее терзала страшная птица из жженого сахара.

Через несколько часов после известия о внезапной кончине Магистра, случившейся в Вильяррубии, Изабелла получила от Фердинанда любезнейший (не напрасно он был королем Сицилии) ответ, достойный самого галантного кавалера:

> «Сдается нам, будто следующий к Вам жених,
> тот, что из Калатравы, почувствовал себя дурно,

внезапно, в Вильяррубии.
Видно, на ином брачном ложе —
вечном — ждет его истинное блаженство...
Друг...»

Любовь жестоким пламенем сжигала тело девочки-принцессы. То были дни восторгов и смятенья. Любой ветерок, стоило ему приблизиться к ней, начинал дышать жаром. Даже студеный сентябрьский ветер не нес успокоения.

Пытаясь справиться с собой, она вскакивала на коня и неслась галопом по холодным полям. И в десять дней загнала трех коней.

Как сообщают хроники, от принцессы стал исходить сильный запах (о нет, нет, конечно, не неприятный!), запах львицы, ждущей самца.

В сумерки ей становилось особенно плохо. Придворные дамы неустанно прикладывали ко лбу ее ледяные компрессы и давали нюхать нашатырь. Только так могла она выдержать положенный час молитвы.

Жестоко страдала в те дни и Бельтранша. Она все понимала: перед ней был надменный лик, дикий лик настоящей любви, губительной и безжалостной страсти.

Она кидалась к безвольному отцу и требовала срочных мер:

— Найдите же еще одного Магистра де Калатрава, еще одного французского принца, кого-нибудь, ради Бога, кого-нибудь!

Она билась в истерике, рыдала, угрожала. Пыталась расшевелить мрачного Торквемаду: ее тетка Изабелла — иудейка, она точно узнала. Ей всюду мерещились посланцы влюбленных. По ее наущению усилили стражу у покоев Изабеллы.

Каких-то ни в чем не повинных козопасов, прибывших с запада, по ее приказу побили палками и даже пытали. Спотыкаясь на высоких каблуках, походкой скороспелой шлюшки кидалась она к торговцам и цепкими ручками ворошила их поклажу. Отыскивала сахарных кабанчиков, раскрашенные стрелы, неподписанные послания... В каждом чужестранце виделся ей гонец любви.

Кольцо вокруг Изабеллы сжималось. Кольцо ненависти и подозрительности. Жизнь становилась невыносимой. Как нарочно, словно дразня врагов, груди ее налились и вызывающе выпирали из платья, точно тугие и полные тыковки. Словно бутоны апрельских роз. Принцесса боялась, что в любой момент они могут лопнуть, и брызнет из них густое молоко.

Бывало, в часы молитвы, вдруг слышалось легкое шуршание, а за ним громкий, скандальный треск: платье разлеталось по швам — от пояса до щиколотки. Принцесса остро ощущала приближение мига, когда плоть ее взорвется, как спелый плод граната под жарким июньским солнцем (под солнцем Гранады).

А стены замка уже не могли скрыть происходящего. Запах, о котором мы упоминали (запах течной львицы), проникал наружу и манил стаи диких собак. Охваченные бешеной похотью, они мчались сюда из полей Сеговии, Авилы, Саламанки. Их было видно издали: одно огромное адское чудище, обезумевший дикий зверь. Ночами уснуть не давали лай, вой, рев — океан буйства, волны ярости, жестокие брачные бои.

Пришлось посылать на псов отряды вооруженных топорами и гарротами мужчин.

(Тогда, кстати, зародилась мода, которой суждено было стать традиционной: чтобы предохранить волосы от брызг собачьей крови, воины сего братства начали покрывать головы чудными импровизированными шапками из прорезиненной ткани — материи моющейся, мягкой, непромокаемой.)

Медленно подступала осень. Дни делались короче. А ночи — в плотном облаке неутоленной страсти — все длиннее и мучительнее. Уже в три утра просыпались спавшие вместе Изабелла и Беатрис и, как могли, коротали время до спасительного рассвета. Молились. Вышивали, придумывая особенно сложные рисунки. Ничего не помогало: девочка-принцесса задыхалась, то и дело бежала она к окну, чтобы глотнуть холодного и влажного ночного воздуха.

Надо было решаться. Надо было действовать. Пока же Изабелла, воспользовавшись отлучкой неумолимого цербера маркиза де Вильены, отправилась туда, где провела раннее детство,— в Мадригаль-де-Альтас-Торрес. Там, заливаясь слезами, расцеловала она вырастивших ее монахинь и долгие часы провела в беседе с бедной своей матушкой, которая, прежде чем впасть в привычную немоту, сказала:

— Дочь моя, усмиряй как можешь зверя страсти. Страсть порождает все зло. Человек раскаивается, лишь когда чего-то не совершил. Убей страсть раньше, чем она убьет в тебе жизнь. И берегись безумия, больше всего страшись безумия...

Даже в своем замке Изабелла была в опасности, отовсюду ждала предательства. Срочно перейти Рубикон! Сжечь корабли! Ненадежные стены домашнего очага не спасут. Спасет — риск!

— В Вальядолид! Скорее — в Вальядолид!

Именно в этот день, именно этим громким кличем начала Изабелла войны и смуты, которым суждено было продлиться два десятилетия. Затянутая в кожу принцесса вскочила на коня. Следом за ней — верные люди. Кожаный костюм, полагает Изабелла,— самая удобная одежда в пору суровых испытаний. К тому же — и это весьма немаловажно — он станет крепко держать ее плоть, жаждущую воли. (Изабелле стукнуло девятнадцать, и у нее, утверждают хронисты, уже были «широкие, совершенной формы бедра». И тело тридцатилетней танцовщицы румбы. Очень похожее на тело танцовщицы Бланкиты Амаро в лучшие ее годы.)

Принцесса упрятала копну светлых, цвета старого золота, волос под фетровую шляпу с широкими полями. Как хороша!

Изабелле вдруг открылось, что буйную силу страсти можно обратить на богоугодное дело, зарядить ее энергией новый крестовый поход — всенародный, национальный. Совсем по Фрейду — направить брызжущую через край чувственность в идеологическое русло, найти ей подходящую надстройку.

— Посягнем на невозможное! — провозгласила она.— Выше поднимем наше знамя, сделаем наш лозунг понятным всем!

И заговорила о жизни без ростовщиков, педерастов, ниспровергателей-бунтовщиков. Пообещала объявить войну инфляции. Испания, клялась она, не будет больше униженно пресмыкаться, она сможет наконец, устремляясь вверх, хотя бы подняться на колени. Было упомянуто о хлебе, работе, величии нации. Демагогии в речи, как и должно, хватало: ведь народу нужны лишь посулы (все равно как капризным горничным), тогда он, народ, не терзаясь сомнениями, с отчаянной смелостью ринется вперед.

Текста сей пылкой речи хронисты, конечно, не запечатлели. Их внимание обычно привлекало лишь заурядное и примитивное.

Изабелла во главе отряда приверженцев устремилась в Вальядолид. И долго (лиги две, не меньше) в стуке копыт кавалькады слышался ритм и энергия горячих ее слов.

Однажды им пришлось завернуть в тополиную рощу и переждать, пока мимо промчится отряд погони — полные злобной решимости люди маркиза де Вильены. Впереди всех скакала Бельтранша. Она поняла, что в дорожной пыли потеряла след своей тетки, и рыдала от бессильной ярости.

С триумфом вступила Изабелла в Вальядолид. Отныне это будет ее крепость.

Он никогда не забудет запаха первого своего корабля — большого грузового парусника компании Чентурионе, что направлялся на остров Хиос.

Сусана Фонтанарроса приготовила моряцкую суму и вышила на ней ангела-хранителя (повод для грубых шуток товарищей по трюму). Сунула туда кулек домашней карамели, талисман с ликом Изиды и мешочек с сухим куском эвкалипта — средство против частых на борту отравлений. Не забыла и четки, освященные доном Аббондио, святым человеком, по общему мнению.

На рассвете Христофору зажарили шесть яиц со шпигом и впервые дали к завтраку не молока, а вина. Затем втроем, не разбудив сестры Бланкиты, которая принялась бы рыдать, точно Магдалина, с помертвевшей от тоски душой отправились они в гавань.

Грузчики, водоносы, моряки. Бледный туманный рассвет. Кипит работа. Сворачивают запасные паруса из толстой парусины. Крепят якоря. Слышатся сердитые крики.

Цепочки грузчиков-муравьев тянутся с мола к кораблям. Бочонки с каштанами в сиропе. Виноград в агуардиенте. Ящики с черепаховыми гребнями. Вина Фраскати в амфорах, напоминающих римские. Бочонки с маслом, от которых сильно пахнет оливковой рощей. Легкие ткани. Шелка, вышитые словно по заказу султана и его жен. И корзины, множество корзин с неаполитанской и флорентийской церковной утварью — като-
лический *kitch*, что на волне венецианской экспансии пытался проникнуть в зону Эгейского моря. Складные алтари на любой вкус — с канделябрами, ангелочками из золоченого дерева и трафаретными образами Голгофы.

А что же везут из Хиоса, центра торговли с владениями Великого Хана? Знатные «мастики», благовонные смолы, отличные камеди и непромокаемую замазку — вещи крайне нужные в эпоху бурного развития мореплавания. Бирюзу и золотую восточную парчу. Стойкие египетские благовония.

Стоило старшему боцману, читавшему список, крикнуть «Коломбо!», как он птицей взлетел на борт. И был настолько взволнован, что не заметил слез своих стариков. Такими он их навсегда и запомнил: рядышком среди шума и суеты мола.

Запах прочной древесины, солонины, краски, индийской канатной пеньки, эссенций. Навеки будет он связан с этим духом плавучего лабаза, трюмового пота, скисшего вина. Всего того, что облагораживается, вбирая в себя целебную силу соли и йода.

Теперь, на палубе «Мариэллы», видел он, как медленно надуваются паруса под нестройные крики моряков.

Закрывая собой рассветное небо, неспешно росли огромные — словно налитые молоком — груди. Не случайно в мореходном искусстве так силён культ женского начала, *йони* [1]. Пойманный в ловушку воздух, полное новой жизни чрево, легкое дыхание ветра, вдруг ставшее крылатой мощью, энергией, движеньем. Запутавшиеся в белой сети ангелы. Снисходительный Бог, что с усмешкой взирает на человечьи увертки.

Суровые, отрывистые, резкие голоса:

— Фал, фал, фал! Давай поднимай! Поднимай!

Галеон вздрагивает, стряхивает оцепенение. Христофор видит, как плывут назад башня Сан-Андреа и Генуэзский маяк.

Он будто принимал крещение дикой свободой. Взбежав на мостик, чувствовал на лице своем воздух, в который врезался нос корабля.

Чья-то суровая и всемогущая рука двигала судно в сторону Эгейского моря. В чем секрет? Как познать его? Как заключить союз с незримыми силами?

Сначала — постичь искусство обходиться с морем столь же ловко, как чайки или галисийцы.

Он чувствовал, что в этом деле (и во многих прочих) главное — инстинкт и безрассудство.

Забыть о себе. Отрешиться от себя. Броситься в бездну — чтобы обрести спасение!

Когда башня Сан-Андреа растаяла в тумане, стало ясно: ушел в прошлое мир портных, сыроваров и шерстянщиков, забыты их убогие радости и печали.

Христофор знал: он минует рубеж между существованием и жизнью. Теперь всюду его подстерегала опасность, отныне не защитят его ни крепостные стены, ни домашний кров, ни стеклянный колпак субботнего катехизиса, ни душеспасительные беседы приходского священника.

[1] Йони (*др.-инд.*) — в древнеиндийской мифологии символ божественной производящей силы.

Радость ухода! Радость встречи с морем! Новое! Все новое! Утро, отличное от прежних. Опасный шаг в неизвестное. Чистый воздух.

И было — самое главное — мгновение, мимо которого, конечно же, прошли историки и хронисты, когда позади остался причал, все привязанности, все грузы прошлого. Свобода человека, вверившего себя великому богу риска, богам ветров. Навсегда связавшего с ними свою жизнь.

Стало известно, что Фердинанд прибудет в костюме козопаса. Путешествие будет совершаться в величайшем секрете. Вальядолидский замок забила лихорадка ожидания.

Изабелла, Беатрис и придворные дамы застыли на коленях перед прибывшим сюда вместе с принцессой складным алтарем. Изабелла задыхалась. Порой на нее нападали приступы, подобные приступам астмы. Дамы спешили к ней и обмахивали веерами. Но с таким же успехом можно дуть на раскаленные угли. Целомудренное лоно принцессы издавало тонкий, но неудержимый свист (или стон?), который едва-едва приглушали четыре нижние юбки и одна верхняя, шерстяная. Как только замолкали читавшие молитву голоса, он слышался и вовсе отчетливо. Христос из слоновой кости начал странно подрагивать. Испуганная Изабелла закрывала рукой глаза, затем снова отваживалась взглянуть: нет, все то же, он так дрожал, что казалось, сейчас сорвется с креста из сандалового дерева.

Племенные жеребцы и кобылицы в своих стойлах ржали и яростно били копытами в перегородки.

И хотя не было промолвлено ни слова, все понимали, в чем дело.

Часы текли медленно. В замке опасались худшего, ведь королевские отряды перекрыли все подступы к Вальядолиду.

У людей, стоявших теперь у власти, сомнений не было: двух юнцов толкает в объятья друг другу страсть космического масштаба, и союз их породит невиданные политические, экономические и социальные перемены. Феодальная знать не слишком высоко ставила злосчастного Энрике IV и знала цену его политике. Но новый режим таил в себе опасность для всего западного мира и, в частности, для главного его бастиона — церкви. Помешать соединению ангелоподобных и необузданных влюбленных! Иначе — весь мир должен готовиться к ужасам Возрождения. Шесть, по крайней мере, веков назад — во времена Карла Великого — впал континент в спячку, в блаженное оцепенение. И ничто не тревожило сей сон.

Юные же принцы, которые, как казалось на первый взгляд, мечтали лишь об одном — «отогнать поцелуями смерть», на деле несли в себе заряд неисчислимой мощности.

Самоотверженный гонец, пронзенный тремя арбалетными стрелами, домчался до линии дворцовой стражи и, обливаясь кровью, успел перед смертью передать благую весть: темной ночью 5 октября Фердинанд отправился в путь.

Да, непросто будет распознать его среди толп чужестранцев, прибывающих в город.

И вот 14 октября в одиннадцать ночи шесть полумертвых от усталости, измученных жестокой непогодой пастухов остановили своих осликов у источника. Их лица надежно скрывала маска из грязи и слоя рыжей пыли, замешенной на туманной сырости.

Узнал их Гутьеррес де Карденас. Именно он закричал, указывая на статного козопаса:

— Это он! Это он! Это он!

Чакон и Алонсо де Паленсиа бросились к юноше. А тот — после шести ночей без сна — уже не в силах был стоять на ногах и рухнул им на руки.

Все поздравляли Карденаса: если бы не он, одуревшие от бессонницы путники проследовали бы дальше. Они решили, что Изабелла, спасаясь от врагов, отправилась в Леон. В ту же ночь Изабелла дала верному Карденасу право носить на родовом гербе знак *«SS»*. Так родилась конгрегация преданных королевской чете людей: Беатрис де Бобадилья, Алонсо, Чакон,

Фернандо Нуньес, адмирал Энрикес, Каррильо, архиепископ Толедский и другие посвященные [1].

До шести утра отмывали изнуренного, сонного принца. Чакон, архиепископ и сам Карденас без передышки терли его щеткой из кабаньей щетины. Молодой человек достиг восемнадцати лет, но после купели так и не испытал — как и требовала строгая арагонская традиция — другого полного омовения.

Какой-нибудь дотошный антрополог, какой-нибудь Леви-Строс обнаружил бы в том, что осело на дно лохани, где его теперь мыли, структуральные символы не только одной жизни, но и целой культуры: сухие листья и семена хвойных деревьев из лесов, по которым принц, неутомимый охотник, успел промчаться; захлебнувшихся зверюшек, что счастливо обитали в путанице его волос (и других постояльцев сих зарослей); накопленные за многие годы слои (всего — восемнадцать) жаркого летнего пота, точные, как круги на спиле дерева; заржавевший наконечник стрелы, застрявший неведомо когда то ли во впадине пупка, то ли за складкой крайней плоти, то ли в бороздке ушной раковины.

В шесть утра на него надели рубаху из плотного льна, вполне достойную близкого брачного таинства. И оставили спать до следующего рассвета.

Именно в эту ночь Изабелла, прорвав кольцо королевской стражи, в приступе безумия устремилась на север. Беатрис Бобадилья де Мойя вместе с другими придворными дамами кинулась за ней, пустив по следу собак.

Случившееся легко объяснимо. Помрачение рассудка перед лицом близкого соединения с самцом, с мужчиной. Это не значит, что мощная страсть ее потухла, нет, она перешла в кинетическую энергию. (Ее бессмысленный поступок чем-то сродни дерзким выпадам тореро, охваченного страхом.) По сути то было проявление «синдрома Марии», как его называют психоаналитики. Что гнало принцессу прочь из дворца? Преклонение перед собственным девством? Невыносимость мысли о том, что кто-то посягнет на него? Как бы то ни было, ни Грегорио Мараньон, ни Лопес Ибор, современные специалисты, объяснить нам этого не сумели.

Но бегству бросившейся в ночную мглу амазонки слишком явно не хватало решительности. В душе она желала поскорее вернуться в эпицентр эротических волн. Вполне диалектическая реакция: желать-отвергать-возвращаться. В результате долго искать ее не пришлось. Страсть, словно злой янычар, остановила бег Изабеллиного коня.

На рассвете она, неровно дыша, спала на своем — теперь уже окруженном слугами — ложе.

Все случившееся потом, в те четыре дня, что предшествовали гражданской церемонии бракосочетания, хроники подробно не описывают.

Главные свидетели, люди «*SS*», как раз о подробностях-то и умолчали.

Точно известно следующее: глубокой ночью бродившие как сомнамбулы по каменным коридорам дворца принц и принцесса неожиданно встретились и направились в издревле пустующие покои.

По поведению Фердинанда и Изабеллы во время официальной церемонии бракосочетания (20 октября) можно кое о чем догадаться.

По всей вероятности, Изабелла в любовной схватке подчинила себе Фердинанда, не обращая внимания на то, что ящерка арагонца цинично прикинулась недвижным корешком.

Гордость рода Трастамара, прославленная властность его женщин сделали для нее омерзительным любое подчинение.

Скорее всего, она отдавалась овладевая. Да, девство ее было нарушено

---

[1] О возникновении секты см. «Историю» Прескотта и труд Бальестероса Гэбруа среди прочих. Таким авторам, как Пауэлс, Санчес Драго, Бержие и др., было абсолютно понятно, почему Гитлер в присутствии Геринга и своих приближенных выразил глубокое восхищение Изабеллой Кастильской. Заметим, что фюрер — австрияк и человек откровенно вульгарных вкусов — носил на груди ладанку желтого бархата, где хранил колос пшеницы из Ла Манчи и портрет Изабеллы. *(Прим. автора.)*

(так прорывается тонкий и прочный шелк ханского шатра под напором нежданной летней бури). Но причина была не во внешнем натиске, главную роль здесь сыграла внутренняя, рвущаяся наружу сила.

Иными словами: в ночь с 15-го на 16 октября мощная плоть арагонского принца столкнулась, мерясь силой, с воинственной Изабеллиной плотью.

После первых соитий, простых, как крестьянский рассвет, Фердинанд дал волю своим необычным наклонностям. И очаровал Изабеллу. Он отдавал предпочтение окольным путям. Что-то в этом было от садизма обиженного обществом земледельца. Садизма чиновничьей медлительности или садизма варварских налетов на чужие земли, когда избегаются проторенные пути.

Как молодые благородные животные, они искали укрытия от посторонних глаз. О той части замка ходила дурная слава, здесь будто бы обитали привидения, что и спасло юную пару от докучливого внимания придворных.

Они проникли в покои, запертые со времен правления королей-основателей. И словно аркадийские пастухи, ели хлеб и сыр, жадными глотками пили вино из бурдюка (хитрый Фердинанд все предусмотрел).

Никто, никто не слышал ни их криков, ни напряженной вязкой тишины, ни шума погонь и схваток, когда с грохотом опрокидывались наземь гора старинных шлемов или ряд пыльных копий.

Можно предположить, что потом, блуждая по длинным коридорам, возвращались они туда, где были люди. Отыскивали путь по запаху чеснока, который шел от солдатской похлебки. И были неузнаваемы: синяки, кровоподтеки, царапины покрывали их лица. Но как и подобает ангелам, не печалились о грязной, разорванной в клочья одежде.

Страсть накрыла их стеклянным колпаком. Будто сквозь сильный ураганный ветер доходили до них голоса друзей и слуг. Любовникам повезло, ведь они жили в век обостренного идеализма: все, что касалось королей, воспринималось в ореоле возвышенного. Поэтому можно было заниматься любовью на глазах у всех, и этого все равно никто бы не увидел, в это никто бы не поверил. Двор продолжал готовиться к свадьбе. Капитаны готовили солдат к обороне замка на случай, если разгневанный Мадрид предпримет атаку. То была эпоха разнузданной метафизики. И никто не замечал, как в разгар пира принцы забирались под стол и предавались усладам, пока их не унюхивали псы или карлики-шуты.

В чистоте жениха и невесты никто не мог усомниться. Девственность Изабеллы была догмой.

А они уже в шесть вечера удалялись в свои покои, «дабы уточнить программу брачных торжеств и обсудить будущие дела королевства», как отмечает в своих записках славный Фернандо дель Пульгар.

В одну из ночей, часа в три, где-то поблизости раздался жалобный вой тоскующего волка. Колючий октябрьский ветер донес со скал протяжный крик, отчаянный вопль. Принц и принцесса поспешили к окну и успели заметить летящую прочь белую кобылицу, любимицу Бельтранши (Изабелла сразу ее узнала). Хуана! Неприкаянная душа. Сгусток ненависти и отчаяния. Великодушные на свой манер любовники поклялись друг другу помочь ей как можно скорее избавиться от мучительной *не-жизни*.

Лихорадка первых наслаждений, когда от усталости они лишались голоса, а лица их превращались в суровые маски нотариусов (либо палачей), сменилась неспешностью первых бесед.

— Пора покончить с греховным процветанием мавров в землях Андалусии!

— Одна империя, один народ, один вождь!

— А террор? Возможно ли достичь единства без террора?

— А деньги?

— Деньги есть у евреев. И они дадут их нам... Почему бы не позаимствовать у них капиталы — во имя истинной веры? Иудей должен страдать, иначе он становится тривиальным как заурядный христианин... Разве не так?

— Сколько предстоит сделать! Целый мир! Вся жизнь! Надо завоевать Францию, Португалию, Италию, Фландрию! Разбить мавров! И еще — моря! Моря!

— И Святой Гроб Господень!

— Уж о нем-то мы не забудем.

И так далее. Пока уста не сливались в поцелуе. Пока тела вновь не проваливались друг в друга, точно в бездонный колодец. Гражданское бракосочетание состоялось 18 октября. С папского позволения (подделанного Фердинандом и кардиналом Толедским), гласившего, что, хотя жених и невеста доводятся друг другу двоюродными братом и сестрой, они не совершают греха кровосмешения, вступая в союз.

Венчались же они — с подобающей королям пышностью — 20 октября.

Все свершилось согласно тайным кастильским обычаям. Кардинал Сиснерос омыл гениталии принца апрельской дождевой водой, освященной церковью. Так слуги Господни, убежденные в силе своего нравственного влияния, надеялись обрести власть над скороспелой, порочной и чрезмерной чувственностью Фердинанда.

Официальная брачная церемония проходила в огромном зале, где воздух освежался жаровнями с эвкалиптом и ладаном. (Но даже сей аптечный запах не испортил молодым настроения.)

Изабелла
скачет, скачет,
Фердинанд не отстает.

Народ веселился всю ночь. На рассвете люди из «*SS*» вышли на эспланаду дворца, радостно размахивая простыней с традиционным красным пятном — подозрительно правильной формы — в центре.

Предусмотрительный Фердинанд случайно отыскал в нижнем ящике комода, который принадлежал когда-то Хуану II, флаг посольства японского микадо.

Уаман Кольо и текутли из Тлателолько осторожно скользили в своих изящных сандалиях по тонко расписанной бумаге *Codex Vaticanus S.* Именно он повествует о прощальном обеде, устроенном в честь посланца инков в несравненном Теночтитлане.

С двух сторон их почтительно приветствовали чиновники, надевшие лучшее платье, и прекрасные женщины с черными косами. От курильниц шел аромат душистых смол.

Воины-ягуары и воины-орлы. Звук тамбуринов, обтянутых кожей варваров. Рожки из кости цапли. Свет факелов и масляных ламп. Яркий, точно дневной.

Забавный оркестр карликов и уродцев (творение искусных хирургов). Достигшие совершенства в аритмичном пении солисты. На них накидки из перьев тукана, шапочки из перьев райских птиц. Два акробата, которым помогли избавиться от лишних костей, выкидывают немыслимые трюки.

Дети в коротких уипилях подносят тортильи. Их следует намазывать икрой из водяных личинок — изысканнейшее блюдо, аксайякатль.

(Император, дабы не смущать гостей своим божественным присутствием, покинул зал и удалился в свои покои.)

Красивейшие тольтекские рабы — им дарована была счастливая привилегия вскоре лечь на жертвенный камень — скользили среди приглашенных с новыми и новыми блюдами. («Зачем им рабы? Почему нельзя сделать так, чтобы все были просто тружениками империи, как в королевстве инков?» — думал Уаман.)

Тамали острые и тамали сладкие. Из кукурузных или банановых листьев. Вареные и запеченные. Индюки, фазаны, обитающие в сельве, голуби, молодая обезьянка в перце. Великое богатство императорской кухни, почти достойное инков. Этого Уаман не мог не признать.

Его усадили за отдельный стол и поднесли два кувшина для умывания. Одно за другим подавались блюда. Жареные перец и помидоры. Улитки

в цветочном соусе, лягушки с перцем чиле, непременный аксолотль, жаренные на рашпере заячьи потроха, кабанчик, фаршированный душистыми травами.

Текутли любезно пододвигал Уаману лучшие куски.

Два гиганта ольмека эффектно поднесли им железный вертел. На нем в цепочку, будто гонясь друг за другом по раскаленной оси, была нанизана дюжина маленьких собачек с хрустящей корочкой. Они походили на юных провинциалов, что рискнули проникнуть на бал к какому-нибудь маркизу. Важный шеф-повар поставил на стол соус из меда с острым перцем, а к соусу — кисточку из коротко остриженных перьев. Как сказано в *Codex*, собачки сверкали, точно покрытые глазурью.

Следом появились большие вазы с фруктами, на которых застыли капли свежей воды. Дрессированные птички сидели на плодах и ничего не боялись: если рука тянулась к чиримойе, они перелетали на папайю.

Фруктовые тропики. Жаркие земли. Юкатан, пальмовые рощи, прибрежные долины.

И здесь в *Codex* следуют рисунки, выполнить которые можно лишь перышком колибри. Иначе не воссоздать все эти дольки, грозди, припухлость гуайабы, парадные плюмажи ананасов, крапинки на стройных рядах бананов. Бананов совсем маленьких — не чета тем длинным и безвкусным, что посылаются тлацкальтекам, чичимекам и прочим вассалам империи (те полагают, что большое и гладкое всегда лучше маленького и пятнистого, словно речь идет о женщинах или обсидиановых кинжалах).

И снова перед ними возникли кувшины для умывания и льняное полотно для рук и губ.

И наконец, пришел черед первых трубок, наполненных табаком, а музыканты, до сих пор пребывавшие где-то на полях *Codex*, перебрались в центр свитка.

Меж гостей закружили исполнители ритуальных танцев в потрясающих (мы бы сказали — барóчных) одеждах. Они изображали светила, божества, услады и напасти.

Уаман легко разгадал, что балет еще раз повествовал о мучившей ацтеков заботе: солнечной анемии, неминуемой гибели тепла и света.

Невозможно удержать в памяти имена всех представших пред гостями божеств, в основном неудачливых и злобных. Теперь нам трудно проникнуть в символику *Codex*, трудно расшифровать некоторые из прочерченных там линий. Знаки и цвета переплетаются, наплывают друг на друга — и делают совершенно недоступным для человеческого разума смысл сообщения. Плотным облаком скрывают они тайны богов.

Как только завершилась и эта церемония, вновь запели раковины, возвещая начало последнего акта длинной ночи. Мексиканской ночи.

Опять явились прекрасные юные прислужники и прислужницы. (Кто бы сказал тогда, что после 1519 года их станут продавать кому угодно — галисийскому солдату, беспрестанно щелкающему бобы, или золотушному приходскому писарю; что, пройдя через насилие и издевательства, дадут они начало новой расе. Кто бы сказал тогда, что юные принцессы с губами пухлыми и чувственными, как у камбоджийских богинь, станут посудомойками и уборщицами в self-service *Nebraska* [1] «всего в пятидесяти метрах от площади Трех Культур. С паркингом»?) А пока они предлагают гостям на подносах всевозможные наркотические вещества — галлюциногены. Уже настало время омыться водами безумия, переступить порог Начала Начал.

Довольно странные картины возникают теперь на свитке, некогда сожженном свирепым священником Сумаррагой (он да еще епископ Ланде причинили вреда не меньше, нежели злосчастные языки пламени, испепелившие Александрийскую библиотеку).

Итак, на рисунках и идеограммах запечатлены человечки с вылезшими из орбит глазами. Важные сановники, присев на корточки, оплакивают утерянную гармонию. Придворные дамы плывут посуху в мучительной

---

[1] Кафе самообслуживания «Небраска» *(англ.)*.

попытке вернуться в материнское лоно. Капитанам-орлам кажется, что они летят к солнцу — чтобы поддержать его и не дать упасть.

Большинство гостей приняли пейотль, некоторые теонанакатль.

Так удавалось им смыть все наносное со своего «я», увидеть его оборотную сторону: ненависть, страсть, любовь, страх.

Они плакали, смеялись. Одни умирали от ужаса, другие от наслаждения.

С удивлением взирал Уаман (он сохранил верность кукурузной водке чиче) на вождя из Тлателолько. Тот свернулся калачиком под столом и надрывно рыдал.

Сеанс коллективного заклинания духов. После чего настал черед всевластной покровительницы грешников, богини любви Тласельтеотль. Сановники последовали за юношами и девушками в самые потаенные главы *Codex*.

Они знали: угождая собственному телу, можно угодить и богам.

Наконец подала о себе первую весть заря. Птицы в богато разукрашенных клетках дружно захлопали крыльями.

И множество голосов слилось в гимне. Зазвучали звонкие, словно рожденные заново, тамбурины и литавры.

И гости, прикрыв от яркого света утомленные праздничными трудами глаза, поспешили к огромным окнам — приветствовать солнце.

Бог не умер. Он дал им новый день. Новую надежду.

Они опять запели — нестройными, но искренними, полными страсти голосами. Запели оду, сочиненную любимым ими правителем-поэтом Несауалькойотлем:

Пусть никогда не умру я!
Пусть никогда не исчезну!
Туда, где не знают смерти,
туда, где сияет победа,
Туда уйду я.
Пусть никогда не умру я.
Пусть никогда не исчезну!

II
ОГОНЬ

Хронология

1476	Колумб в Португалии. Женитьба. Последняя попытка бежать от судьбы. Секта ищущих Рай, тоска по Раю.
1485—1492	Испания. Колумб стремится проникнуть в свастику власти. Годы гражданской войны. Укрепление империи. Грозные признаки ангельской породы у Фердинанда и Изабеллы. Торквемада и энергия грехоборения. Римско-католическая империя.
4-Калли	Беседы в Теночтитлане. Верховный Жрец предсказывает воинам-орлам приход бородатых людей из-за моря, речь о чистоте и благородстве христианской доктрины.
1487	27 февраля. Тайный ритуал. Родриго Борджиа, будущий папа Александр VI, помазан Фердинандовым семенем. Ватикан избавляется от пиетистской дряблости. Возрождение.
1488	9 апреля. Паноргазм Колумба. Тайная секта ищущих Рай учреждена. Договор с Изабеллой Кастильской скреплен печатью.

Таверна «К новой Македонской фаланге». Вольные солдаты, проститутки, карточные шулера, игроки в кости, проповедники без сутан, карьери-

сты без плана действия. Дождь лил все сильнее, и грязь летела на желтые башмаки Христофора.

Он знал, что добрался лишь до периферии, одной из самых сухих и дальних ветвей древа власти, структуры, которая в те времена представлялась не вертикальной (как знаменитая пирамида Вэнса Паккарда), а плоской, закрученной вправо галактикой, свастикой, совершающей разрушительное круговое движение, и щупальца свастики сходились в эпицентре — почти недоступном, вожделенном,— где одетая в зеленую — королевский цвет — парчу из Антверпена восседала, спокойно выщипывая себе брови, Изабелла Кастильская.

Как проникнуть туда? Понадеяться на удачу? Прибиться к какой-либо шальной компании и пуститься, так сказать, во все тяжкие?

Самыми надежными путями были искусство, медицина, приворотные зелья, религиозные учения, спиритизм и спорт. Быть астрологом или педерастом — тоже недурно. Для женщин же, как и во все времена, трамплином служили проституция и любовь.

Зеваки нередко видели, как за одно утро в путь отправлялись артель прокаженных, компания звездочетов, готовых предсказать скорую гибель Боабдилю [1] и счастливую судьбу принцу Хуану, а также итальянские канатоходцы в обтягивающих трико и расшитых блестками куртках — они тащили на себе стойки, канаты и трапеции.

Но уже к вечеру или несколькими днями позже они возвращались назад — потерянные, разочарованные, вновь выплюнутые на темную обочину галактики, раздавленные конкуренцией. Кое-кто успел изведать палок Святого братства. Кого-то ограбили болгары, а кого-то и прикончили (в канавах постоянно вылавливали трупы), если несчастный по оплошности не имел чем откупиться от грабителей.

Да, от всякой власти исходит жуткая реактивная сила.

— Хочется в рай, да грехи не пускают,— досадливо пробормотала толстая толедская проститутка, расправляясь с заварным кремом. (Веки покрыты изящным голубым с золотом узором.)

Серый, мрачный вечер. Тоска, одиночество. Он снял желтые башмаки, купленные у испускавшего дух миланца, и принялся счищать с них грязь. Вот ведь не просто покупка, а выгодное вложение капитала. Башмаки были не только вытянутыми и остроносыми, как того требовала французская мода. Главное, носы их поднимались вверх и закручивались спиралью в три оборота. А внутри спирали располагался прелестный бронзовый бубенчик.

С тупой покорностью отчаявшегося человека оттирал он их теперь влажной тряпкой, пока не проглянул, победно сияя, его любимый канареечно-желтый цвет.

Отовсюду послышались шутки. Кто-то швырнул в него костью, разумеется, уже обглоданной собаками.

Ужасные люди. Их гнал в Испанию нюх. Здесь, чуяли они, затевалось что-то великое. Сюда стекались ландскнехты (как Ульрих Ницш), которые не соглашались на ту новую роль, скорее полицейских, чем воинов, что уготовили им бургомистры. Сюда бежали люди, смелые поступком и мыслью, бандиты и праведники из ганзейских городов, где на первые роли выходили судейские, богатые галантерейщики и евреи, подвизающиеся на ниве науки и искусства и уже заполняющие полотна немецких и фламандских костумбристов (семейство Арнольфини и толстозадые важные аптекари с трубками в зубах на картинах Гольбейна).

Испания давала великий шанс. Искатели приключений ехали сюда из Фландрии, Бургундии, Франции...

В Испании той поры легко могли найти себе удобные щели наглый авантюризм, любая низость и цинизм.

Грозные властители Фердинанд и Изабелла — католики в строгом смысле этого слова — стояли за разрушение всех устоев, мешавших человеку быть человеком.

[1] Боабдиль (Абу-Абдулла) — последний мавританский правитель Гранады, царствовал с 1482 по 1492 г.

А пока? Какая мука! Какие тоскливые дни! Какие серые вечера!

Колумб с зажатыми в руке желтыми башмаками — двумя эоловыми арфами, ждущими порыва ветра,— сидит одинокий, опустошенный, тупо глядя на слепого гитариста, который сменяет лопнувшую струну.

— Какая тоска! — восклицает Христофор.

Ковалась великая, единая, сильная Испания. Но без насилия, насилия всякого рода, цели не добиться. Об этом знали и Фердинанд, и Изабелла.

Так, разом, переселить смирный, трусливый народ в империю. Вытащить его за волосы из болотного покоя. Ведь все вокруг было заражено глубинной ненавистью к жизни, затянуто средневековым мраком. Все было строго рационализировано, враждебно человеческой плоти, враждебно инстинктам и чувству. Рациональное христианство укрывшихся за монастырскими стенами клириков, выцветших монахинь и сплетничающих семинаристов. Тихая заводь для отчаявшихся и немощных, чья добродетель рождалась бессилием. Вечером — шелест литаний. Ночью — бесовские соблазны. Сон при свете дрожащей свечи. Безрадостный блуд.

Настоящий король — не больше чем выразитель глубинных инстинктов целой расы, целого народа. Фердинанд и Изабелла ощущали, что, бросая в костер еврея, они прижигали in nuce [1] извечную христианскую язву.

Ничто не мешало им встать на сторону римского католицизма.

Но в Испанию стекались крепкожильные кондотьеры. Прибывали люди, погибавшие в узколобой обывательской Европе, которая мечтала превратиться в интернациональное купеческое сообщество. Эта Европа предлагала тем, кто хотел выплыть, два пути: оптовая торговля либо разбой.

Юные монархи были мудры: на разнузданное языческое празднество можно попасть лишь сквозь дверцу закостеневшего суеверия. При народе они поддерживали папу. И соперничали с епископами в изнурительных молитвенных турнирах. (Изабелла в бешенстве кричала, когда задремавший монах из хора вдруг пускал петуха.)

И далеко не один искренне и бесхитростно верующий священник пошел на костер, обвиненный в тайной симпатии к иудейству.

Королевство только начало крепнуть. Параллельно шли две войны: тайная, внутренняя, и внешняя. Вторую и описывали историки. Ведь история сообщает нам лишь о великом, громком, видимом. О тех событиях, что завершаются парадами и торжественными мессами. Потому-то история, изготовленная для официального потребления, столь пуста и банальна.

Так вот. Шла война между Фердинандом и Изабеллой, и значение сих сражений трудно переоценить. Война тел, война двух полов — она-то, по правде говоря, и легла в фундамент современного Запада и предопределила все ужасы, с ним связанные.

Все началось с коронации Изабеллы. Шага, с ее стороны, внезапного, удивительного и, пожалуй, опрометчивого. Это событие произошло на следующий же день после смерти Энрике IV. То был настоящий putsch 13 декабря 1474 года. Мужская гордость Фердинанда была задета самым чувствительным образом. Он находился тогда в Сарагосе, и с ним не сочли нужным даже посоветоваться. Ему, мужчине, Изабелла не уступила главной роли.

Сегодня мы вправе предположить, что во дворце в Сеговии Изабелла страстно мечтала о смерти Энрике IV, ждала ее. Подгоняемые принцессой, день и ночь трудились швеи, готовя ей облегающее платье из шелка и пышную горностаевую мантию, расшитую жемчугом.

В тот день, когда стало известно о вполне естественной кончине короля, принцесса спустилась к ужину в глубоком трауре. Но уже утром 13-го числа, как никогда прекрасная, вся в белом, шла она во главе процессии архиепископов и рыцарей. Шла следом за кастильским мечом правосудия. Никогда еще ни одна женщина не отваживалась завладеть оружием, соединявшим в себе жизнь и смерть.

---

[1] В зародыше *(лат.*

А на старой кобылке, самой смирной, как того и требовал протокол, плыла на красной подушечке корона Кастилии.

Залпы из мушкетов и аркебуз. Крики и плач черни, ослепленной лицезрением знати и роскоши. Нищие, прокаженные, толстые матроны дают волю слезливому умилению. Хриплые бомбарды сотрясают воздух. Ржут, бьют копытами землю рыцарские кони (солдатские же лишь отгоняют хвостами мух). Мечутся в небе ошалевшие голуби.

Ей удалось провести всех: стать королевой раньше, чем об этом узнали феодальная верхушка и собственный муж. Что касается Бельтранши, то она, казалось, уже не вырвется из пут безумия. Хуана носилась вокруг отцовского гроба, а когда пришло известие о коронации Изабеллы, принялась кататься по нечистому дворцовому полу и посыпать себе голову пеплом от тех самых копыт, что сжигал в очаге ее мнимый отец.

В ту же ночь отправила Изабелла гонца в Сарагосу:

> «Пришла к нам Смерть, никем не ожидаемая сеньора, за душой беззаботного праведника. Я шла нынешним утром за мечом правосудия, но то — лишь метафора. Только ты, Ваше Величество,— средоточие всех моих помыслов».

С того момента начала она испытывать все неистовство мести озлобленного, униженного мужчины. Фердинанд напоказ начал окружать себя другими женщинами, так как главная, единственная, его предала. (Изабелла не наставила ему рогов физически, но она захватила в свои руки прочный и короткий меч власти. И смириться с этим в эпоху непримиримой фаллократии было невозможно.)

Уже наутро, в пятницу, Фердинанд обходил строй гвардейцев в сопровождении Альдонсы Иборры де Аламан — «немки», как звала ее разгневанная Изабелла. (Альдонса была одета в экзотический костюм французского бретера, на ней были и высокие сапоги, доходившие до середины бедра.)

Изабелла попала в западню и всю силу любви познала, лишь катясь по горькому склону в бездну ревности.

Ночью она склонилась над обнаженным Фердинандом и тревожно, как зверь, идущий по следу, кинулась обнюхивать его кожу. Потом наступил черед одежды, шляпы, сапог, шпаги. И в какой-то миг она поймала намек на запах чужой женщины — соперницы.

Вновь и вновь утыкается королева носом в локоть рубашки, которая в темноте опочивальни кажется куклой-марионеткой — анемичным монахом. Что это? Египетские духи или пот? Бобадильи, Немки или отвратительной французской шлюхи по прозвищу «Обезьяний Хвостик»? Острая боль мгновений, когда над головой обманутой супруги висит топор решающего доказательства, а она все еще надеется на возможную ошибку. (А может, то запах пота взмыленной кобылицы, на которой Фердинанд вчера скакал?)

Отчаяние, боль, сомнения, страсть. Сейчас она жаждала лишь одного — пусть мучивший ее душу пожар будет погашен другим пламенем, пламенем Фердинандовой плоти.

Да, они были натурами возвышенными, руководствовались богословскими категориями учения святого Фомы и старались не обращать внимания на безрассудные порывы тел и страстей. Относились к последним снисходительно и пренебрежительно, как обычно относятся к домашним животным. Но тела капризно бунтовали. И следовало дать им порезвиться вволю (словно коням, которых понесло), и тогда они успокоятся сами...

Ах, эта плоть! Бесстыдная, самовластная...

В те времена реальность не могла допустить в высокие категории своих ценностей опасный омут человеческих инстинктов.

Все вокруг было «идеальным». Всем правил из пещеры времени Платон. Его именем освящались нелепости, состряпанные профессионалами божественного, которые бесстыдно спекулировали на геометричности аристотелевских идей.

Страсть, бросившая Изабеллу и Фердинанда в объятия друг друга, была вселенского масштаба. Но юные монархи сумели — не слишком над сим вопросом размышляя — освободить ее от плоской приземленности.

А вообще-то они послушно отдавались своим порывам — по-королевски священным. И потому с самого дня свадьбы отвергли готические ритуальные *sarcophages d'amour* [1]: два соединенных вместе гроба, обитых стеганым шелком, с тонкой деревянной перегородкой посредине, а в ней — отверстие, как раз такое, чтобы позволить проход *лингаму* [2]...

По обычаю супругов запирали в двойной саркофаг — строго в период между Пасхой и Троицыным днем,— зажигали четыре свечи и читали литании De Mortalitate [3] и заупокойные молитвы. Именно таким образом благородная пара снисходила до плотских дел: с мыслями о тщете наслаждений, о суетности жизни и о справедливости хайдеггеровского «sein zum Tod» (жить ради смерти).

С почти хирургической точностью соитие было жестко ограничено областью гениталий («Царапаться в перегородку» — поговорка с весьма пикантным смыслом. Ее, что любопытно, не зафиксировал Касарес, однако она еще жива в некоторых кастильских селениях. В ней намекается на ситуацию, близкую той, что подразумевается во французском выражении «faire mordre l'oreiller» [4].)

Так вот. Саркофаги гарантировали исключение из супружеских отношений всяческих объятий, поцелуев, недолжных касаний, созерцания обнаженных тел друг друга и прочих «дьявольских приложений», говоря словами духовных наставников той эпохи.

В sarcophages d'amour два горячих источника, два центра любви чувствовали себя нелюбимыми детьми, брошенными в пустыне. Их лишили ласки, лишили игр. Осталась мимолетная вспышка страсти. И очень скоро они увядали, точно пучок петрушки без воды, ибо неоткуда было им черпать силы для возрождения.

А Фердинанд и Изабелла отважно плутают по бесконечным тропкам наслаждений, благословляя свои тела на непримиримую войну. И с трудом возвращаются с неба на землю, падают с вершин бестолковой метафизики к тайнам реальности.

Они возрожденцы, и они питают собой Возрождение. Их сплетенные в объятиях тела — такое же знамение времени, как женщины Боттичелли и Тициана, прекрасные тела Микеланджело.

В пламени безрассудной страсти этой дивной пары умирает навеки средневековье.

Фердинанд и Изабелла вихрем ворвались в эпоху гнетущей тоски. Они из породы ангелов. В этом их сила. Красивые, неистовые, всегда готовые переступить последнюю черту. Существа без изъянов, излучающие сияние. Да, они на самом деле *были* ангелами, а не только казались. Не случайно римские историки, в основном церковные, хоть и сделали довольно, чтобы поблек блеск их славы, принуждены были описывать монаршую чету по канонам *ангелологии*.

Ни одна проблема морального порядка не могла заставить их свернуть с пути. «Мораль» — аргумент для сломленных, для жалких человеколюбцев, для слабых. Для тех, кто в жизни должен пробиваться и защищаться.

Фердинанд и Изабелла не были, конечно же, отягощены подобными нелепыми комплексами, им, впрочем, были чужды и прочие спасительские выверты [5].

---

[1] Саркофаги любви *(франц.)*.

[2] Лингам *(др.-инд.)* — в древнеиндийской мифологии символ божественной производящей силы, обозначение мужского детородного органа.

[3] О бренности земного *(лат.)*.

[4] Заставить кусать подушку *(франц.)*.

[5] В мусульманской ангелологии есть прямые упоминания об этой категории ангелов. Их насылают на землю божества, разгневанные неразумной страстью человеков к познанию.

Главное в ангелах — вестничество (см. Генри Корвина). По мнению Прокла («Платоническая теология», кн. 1), в своем менее софистичном и более «человечном» облике они обретают характер «даймонов», или героев. В схеме святого Фомы и схоластов Фердинанд и Изабелла заняли бы место в третьей иерархии (по природе своей самой близкой к человеку). Ангело́логи почти единодушно подчеркивают: эти существа обладают большой силой и дерзостью, ибо пребывают за гранью христианского свода законов: им чужда идея спасения. Им не нужны ни вера, ни надежда, ни милосердие. Вполне возможно, человеколюбие им даже отвратительно. Они выполняют свою миссию. И этого довольно. (*см. продолжение на след. стр.*)

Христофор поразмыслил над своим положением. Почувствовал себя жалким сиротой и спросил еще кувшин вина. Ровный, бессмысленный гомон таверны, по сути, ничем не отличался от полной тишины и не мешал погрузиться в думы. Колумб смаковал свою тоску. Затем неосторожно забрел в коридоры прошлого. Растравил душу, оплакивая несчастную судьбу. Словом, упивался тоской (много позднее людям с успехом будет помогать в этом танго).

Будто с высоты птичьего полета взглянул Христофор на минувшие двадцать лет. Он был мореходом, терпел кораблекрушения, обучился картографии, стал мужем богатой жены. Затем лишился супруги. И месяцы в море, долгие месяцы в море. Торговое пиратство. Порты, освещенные солнцем, и порты, затянутые холодным туманом.

Что успел он сделать? Почти ничего. А ведь он был тщеславен. И без лишней скромности считал себя потомком пророка Исаии.

Да, до сих пор — ничего. Один, без родины, перекати-поле, вдовец без наследства, нищий, обремененный единственной ношей — своим тайным знанием, которое, как оказалось, никому не нужно.

И все же, несмотря ни на что, он остался верен призванию искателя нового. Он накопил опыт. Окончательно убедился, что принадлежит к числу избранных, что ему предначертано исполнить Миссию.

Долгие годы собирал он факты. Отыскивал знаки, ловил намеки. Крал изъеденные молью карты в нижних ящиках комодов у вдов моряков, когда те засыпали, сомлев от греховной сладости.

Безжалостно хлестал по щекам матроса, которого море вынесло на берег в Мадейре. Тот умирал.

«Ну говори же, говори!» — «Мы видели два трупа: светло-медная кожа, черные прямые волосы. Видно, люди из земель Великого Хана. Чуть поодаль плавал их плот с навесом из пальмовых листьев, он двигался под совсем простым парусом — желтым, с лицом улыбающегося простодушного бога в центре (бог их похож на маски валенсийского праздника)».

Тут матрос испустил дух, и даже во имя науки нельзя было больше ничего от него добиться.

А в Роке, где-то на краю света, в Исландии, он жестоко избил какого-то викинга, требуя, чтобы тот объяснил с помощью двух дюжин латинских слов: как выглядел Винланд, куда попал гонимый пасторским рвением епископ Гнуппрон.

Христофор успел узнать, сколь тяжело, когда тебя переполняют знания, которым нет выхода. Так как же попасть к Ней?

Двадцать лет странствий и испытаний. Теперь он здесь: сидит в таверне и не знает, что делать дальше.

Как трудно ему было принять правила игры, установленные в мире! Пришлось поверить, что никак нельзя броситься бегом к королевскому шатру, вопя о своих открытиях. Тебя растерзают сторожевые псы.

Но ведь вместе с ним погибнут бесценные знания: о раздвоении всего сущего, о воздушной и морской природе живого (ведь в книге Бытия говорится, что сначала были только воздух и вода; скорее даже, туман, то есть смешение того и другого). Все мы тайно остаемся рыбами или птицами! Человеческие волосы: разве не похожи они на остатки великолепного оперения, выродившегося без полетов? И человек не тоскует больше по полетам — он им завидует.

Но самое главное из его тайных познаний — сведения о Рае Земном.

Они отрицают понятие первородного греха, не знают покаяния — отсюда их высокомерие и отчужденность.

Не лишним будет здесь вспомнить, что Райнер Мария Рильке 8 января 1912 года, находясь в замке Дуино, подвергся нападению ангельского воинства — существ великолепных и дерзких.

Изысканного поэта как следует напугала их мощь, и он поспешил укрыться в первой из «Дуинезских элегий», где и описал сие рискованное происшествие.

Вопреки мнению Сальвадора де Мадариаги, Христофор Колумб представлял собой иной случай. Он был сверхчеловеком, страстным созидателем нового, так же как, скажем, Гонсало де Кордова, или граф де Кадис, или Боттичелли, или Микеланджело. *(Прим. авт.)*

Нет, он не станет терять драгоценное время и описывать великие свои открытия. Как только окажется пред лицом монархов, сразу возьмет быка за рога: объяснит то, чему суждено сыграть огромную геополитическую (как тогда не выражались) роль. Объяснит, почему вопреки общему мнению Земля все-таки плоская. И можно доплыть до конца Моря-Океана, достичь последнего приподнятого края земли, удерживающего воду, словно в чане.

Колумб очень много беседовал с моряками и убедился: они боятся скатиться с палубы в пучину морскую, так как судно идет вперед по сферической поверхности Земли. На подошвах их нет липкой смолы, вода не может удержать корабль, поэтому как только будет нарушен допустимый угол кривизны, свойственный — считали они, конечно ошибаясь,— нашей планете, их ждет падение в Звездную Пустоту.

Колумб же пришел к выводу и мог защитить его перед всеми учеными Саламанки: крошечный муравьишка ползет вокруг дыни и не падает вниз, так как липкие лапки помогают тщедушному тельцу удержаться в поединке с Отрицательной Силой (так называл ее Христофор), которая всякую вещь либо живое существо влечет в первозданный Хаос, во мглу или тишину. (Так считал и Анаксимандр.) Напротив того, человек рождается физически ущербным — и его ущербность прогрессирует, у него нет преимуществ, упрощающих жизнь насекомых. (А когда-то они были, об этом напоминает повышенная потливость ног — бóльшая, чем в других частях тела.)

Но человек будет действовать смелее, если узнает — Земля плоская, хотя мир и кругл! Тогда человек бесстрашно поплывет к Индиям! Королям еще это неведомо!

Он чуть не закричал, но вовремя сдержался. Раньше его врагами были портные, теперь — Святое братство!

Беспомощность ученого пред лицом непроницаемого невежества.

Надо признаться, тот вечер стал одним из худших в его жизни. С тоской вспоминал Христофор об окончательно утраченных надеждах на покой и счастье, вспоминал свой брак с Фелипой Мониз де Перестрелло, Лиссабон. Все, что навсегда осталось в прошлом.

Она жила пленницей в неприветливом пансионе и лишь по воскресеньям выходила на прогулку. Шла об руку с пожилой женщиной к мессе — стройная, сияющая юной прелестью. Колумб приветствовал их лучшей из своих улыбок. Она отвечала милым кивком. А бронзовые голоса созывали к утренней мессе!

Блистающий в лучах солнца Лиссабон, широкая лестница монастыря Всех Святых.

Христофору 28 лет. Тщеславный неудачник, одержимый сомнениями и идеями, но отнюдь не желанием «делать карьеру». Нерадивый служащий генуэзских мультинациональных компаний, которые, как и нынешние, направляли свою деятельность в два русла: торговля и разбой, пиратство.

Все казалось ему фантастическим: яркое солнце, спешащие к мессе девушки, скрывающие под вуалями лица от нескромных взглядов. Но когда появилась Фелипа Мониз де Перестрелло, одновременно с нею со стороны Тежу, по проспекту, что тянется от Морского арсенала до королевского дворца, примчался со скоростью шесть или восемь узлов легкий ветерок и приподнял вуаль Фелипы. Христофор почувствовал, будто его ударило в затылок, ноги стали ватными, лицо запылало. Он увидел ямочку на щеке, крылья носа, похожие на крылья бабочки, пушок на щеке цвета спелого персика.

Совсем как Данте, увидевший Беатриче Портинари (ей в ту пору как раз исполнилось полных девять лет), в котором задрожал «Дух жизни».

Португалия, апрель. Если быть более точными — 14 апреля 1477 года. В этом месяце бесплодная почва северного полушария спешит убежать от зимы, и на ней расцветают прекрасные цветы.

Итак, он был неудавшимся пиратом, собирателем морских карт и трудов по навигации, нищим (но не совсем честным). И встреча с этой молодой

порядочной девушкой явилась для него великим событием. (С той поры ямочка на щеке и нежный пушок — точно шерстка беззащитного олененка — станут обязательной чертой создаваемого его воображением изменчивого женского образа.)

Христофор почувствовал, как в этой ямочке тонет его тщеславие.

13 августа 1476 года он достиг скалистого португальского берега — полуголый, плывя на спине, с трудом подгребая одной рукой, а второй ухватившись за разбитое весло. А сколько его товарищей пошло ко дну! Его спасла несгибаемая вера в свою миссию. И еще то, что по природе он был амфибией (в воде он потерял толстые чулки, но на берегу, к счастью, сразу нашел чем прикрыть свою тайну).

Его выбросило на отмель меж неприветливых рифов. Будто песчаные ладони Бога нежно подхватили его, сперва жестоко встряхнув. Он ощутил уверенность, ощутил себя наделенным божественной благодатью. Стало ясно, с пиратством, столькому его научившим, покончено навсегда.

Полуголый, растерянный, вместе с каким-то шелудивым псом, который бежал за ним от самого берега, предстал он в конторе генуэзской мультинациональной компании Дом Спинолы. Ему помогли устроиться на должность торговца книгами по навигации и переписчика. Именно здесь намекнули на преимущества удачного брака.

— Кто это? — спросил он кого-то из стоявших на ступенях собора Всех Святых.

— Фелипа Мониз де Перестрелло и ее матушка-вдова.

Девять месс спустя он добился от нее благосклонного взгляда. Через восемь воскресений — первого, пока очень робкого, приветствия — «это генуэзский кабальеро, он, как и твой покойный батюшка когда-то, служит в Доме Спинолы».

Еще через три недели он был принят у Перестрелло (на нем был вполне приличный костюм, в Доме Берарди такие дают напрокат для свадеб и других торжественных случаев). Глядя на портрет покойного хозяина, слывшего отличным моряком, он безудержно нахваливал морские обычаи. И был, как говорят, неотразим.

«Прекрасная Португалия! Благословенные времена!» В фирме Берарди ему по льготной цене (только для служащих!) подготовили фальшивую родословную: Сусана Фонтанарроса превратилась в достойнейшую супругу французского адмирала Доменико Колумба. Появились две сестрицы-снобки, старая кормилица, называвшая его «деткой», и даже резвая собачка, растолстевшая на *marrons glacés* [1].

Свадебный обед был скромным — чтобы не задеть безнадежно утратившего аппетит покойного Мониза де Перестрелло. Молодых осыпали сухим рисом и заперли вдвоем в огромном фамильном доме. Всхлипывающая сеньора де Перестрелло отправилась со своими пожитками в дом брата, лиссабонского архиепископа.

Итак, они остались одни. Фелипа в искусно расшитом платье. И он, Колумб, вытирающий полотенцем крупные капли пота, стекающие с плебейского затылка — не затылок, а плечо ассирийского борца.

Невероятное волнение. Головокружительность происходящего.

Два часа простоял он на коленях, прижавшись щекой к ее ноге, всхлипывая в порыве восторженной благодарности. Девушка глядела на него растерянно, онемев то ли от ужаса (ведь она должна вручить свое тело тому, кто Богом дан ей в супруги), то ли от пьянящего и неведомого желания. Оно своими симптомами напоминало ей грипп, которым она переболела два года назад: боль в мышцах, расстройство кишечника и странный пульсирующий жар на поверхности кожи.

Долгие часы провели они недвижно. Ведь перед ними открывалось столько возможностей! Пусть даже сомнительных с точки зрения строгой морали. (Возможность, как оказалось, может производить и парализующее действие, четыреста пятьдесят лет спустя об этом во всеуслышание заявит Сартр.)

---

[1] Засахаренные каштаны *(франц.)*.

Колумб открыл пахнущий лавандой сундук и отыскал там панталоны из тончайшей ткани, алые подвязки (непременная принадлежность старинных свадеб), чулки, вывязанные с фантастической изощренностью святошами из Алентежу.

Он несколько раз одел и вновь раздел ее, точно маньяк хозяин надувную куклу. Чудесное создание, видно, было отдано в его руки по невероятному, но счастливому недоразумению. И за это рано или поздно придется дорого заплатить. (Колумба долго преследовало потом ощущение, что он получил что-то обманом.)

А дом постепенно наполнялся странным ароматом. Так могла пахнуть подступающая от моря к дому вода. В богатой, искусно подобранной библиотеке Христофор нашел нужную ему балку. Сделал блок и приготовил скользящий узел. И Фелипа оказалась подвешенной за щиколотку, как одна из фигур в карточной колоде, которую какая-то цыганка подсунула ему в марсельском порту.

Она висела, словно вывернутая наизнанку, словно изломанная. С волосами, спадавшими почти до пола. И только теперь плоть ее стала для Христофора явью. Он мог охватить ее взглядом, мог чувствовать ее запахи, мог коснуться каждого члена отдельно, заглянуть в самые восхитительные и тайные закоулки. Он действовал со спокойной настойчивостью и лишь на мгновения застывал в исступлении освобождения.

Восхитительная собственность! Трудно было поверить, что благодаря каким-то религиозно-юридическим установлениям волшебное тело Фелипы стало вещью, перешедшей в его исключительное владение.

Только поздней ночью решился он двинуться дальше, по самым заветным тропам. Чудесная, воспетая поэтами «плоть» брала его в плен, подчиняла своей власти.

Его охватил восторг: «Теперь никто и ничто не сможет разлучить нас, ничто не сможет помешать нам. Бог соединил нас». Из глаз его хлынули слезы сладостной благодарности.

Так в первый раз познавал он предназначенную только ему женщину.

Теперь, в 28 лет, Колумб спустился с вершин метафизики к реальности.

Он слегка прикусывал ее мягкое тело. Исследовал, как и почему покрывается оно нежной влажностью. Языком пробегал по обширным территориям, покрытым благородной кожей. И с восторгом наслаждался слегка солоноватым ее вкусом, что подтверждало — он же ученый, черт возьми,— его теорию о морском происхождении человека, включая и женщину. Соль, оставшаяся в порах,— память о таинственной океанической жизни.

Так как веревка терла Фелипе лодыжку, он отыскал в комоде кусок шерстяной материи и подложил под узел.

В том же ящике комода, на самом дне, справа, нашел он знаменитое секретное письмо флорентийского географа и космолога Паоло Тосканелли к покойному ныне Перестрелло, а в нем — отчетливый набросок карты Антильских островов и Сипанго, недалеко от португальского берега. (Несмотря на владевшее им тогда возбуждение, Колумб тут же понял, насколько важно письмо, и в последующие недели он будет долго и внимательно изучать чертежи.) Случайность эта сыграла решающую роль в его судьбе: география вперемешку с эротикой показалась ему фантастически прекрасной, будучи не слишком сведущим в сем сплетении, он решил, что открыл карту Рая Земного.

До рассвета наслаждались они полетом меж сном и явью. И только когда в саду захлопали крыльями первые утренние птицы, Христофор решился двинуться вглубь. Но понадобилось еще два дня, чтобы брак их можно было считать в действительности заключенным.

Шесть месяцев они никого не принимали. Встревоженная вдова де Перестрелло стучала в ворота и ставни, закрытые так плотно, будто хозяева уехали на летние каникулы. Ей пришлось примириться и поддержи-

вать связь с дочерью через корзинку, которую спускали вниз с высокого балкона. В ней и отсылала она наверх проукты и советы (как по женской части, так и духовные) для Фелипы.

Несколько недель спустя они отбыли в Порто-Санто, на один из Азорских островов, владение семейства Перестрелло. Предполагалось, что Колумб возродит там кролиководство и будет действовать с размахом, ведь именно на этом поприще в действительности отличился покойный хозяин.

Колумбу пришлось постигать новую науку и изучать кроличьи болезни. Счастливые дни. Родился маленький Диего. Первые партии кроличьих шкурок и соленого мяса для лиссабонских рабов были отправлены на материк.

Но Порто-Санто, атлантический островок, расположенный недалеко от Мадейры, не сумел сделать из Христофора настоящего буржуа, не заставил его забыть о том, что один из предков его — пророк Исаия (об этом не раз упоминал он в кругу друзей).

Фелипа же постепенно перестала понимать смысл долгих прогулок мужа по белому песчаному берегу, ее удивляло, когда он ночи напролет смотрел на море. Кролики были заброшены и скоро превратились в несметную массу, пожиравшую все: от растений в саду до одежды отважных колонистов, которых привела сюда мечта о быстром обогащении.

Через три месяца после рождения Диего случилось следующее. Колумб, менявший пеленки младенцу, почувствовал сильное сердцебиение, его прошиб холодный пот: он ясно увидел, что изменил своей Миссии.

Обедали они в двенадцать, ужинали в шесть. Но он мог вернуться домой и в три, даже не заметив, что опоздал, с кусками дерева, обломками, отысканными на отмели. Ему хотелось разглядеть в них знаки, намеки на близость неведомого Континента.

Однажды он вернулся в час ночи и сказал рыдающей Фелипе:

— Раньше я не мог. Я был на мысе Агуха и нюхал воздух. Ветер принес запах неизвестных цветов, будто были они цветами иного мира!..

Все это убивало Фелипу. Она не ухаживала больше за голубями, кролики завладели и голубятней. Из души ее ушли радость, покой, мелкие удовольствия. Фелипа молча чахла. Так нередко случается с тонкими натурами, когда к ним приходит разочарование и нет от него защиты. Она вышивала и молилась.

И понимала, что супруг ее — исполин, подстерегающий свою удачу, любовь же не дает ему счастья. Сделать ничего нельзя, в ее дом пришло большое горе.

В марте 1484 года она весила 38 килограммов, он брал ее на руки и выносил на солнце, а следом семенил маленький Диего. Если день был теплым, они добирались до источника, и там Колумб устраивал для жены купания, ибо считал воду весьма полезной для здоровья.

— Тебе надо укрепить кровь,— говорил он ей.— Надо есть кроличье мясо, побольше моркови и чеснока...

Но она не могла проглотить ни кусочка. Ее тошнило от одного вида мяса.

А он почти перестал спать, его раздражала возня кроликов, которые захватили почти весь дом и мешали слушать музыку прибоя. При свете масляной лампы он читал и перечитывал книгу кардинала д'Айи [1]. Крепло убеждение: 1. Можно вернуться в Рай Земной, где, как писал кардинал, «есть источник, он орошает Сад Наслаждений и дает начало четырем рекам». 2. «Рай Земной — приятнейшее место, расположенное на Востоке, весьма далеко от нашего мира». (Колумб пометил на полях: «За Тропиком Козерога находится прекраснейшее из всех мест — самая высокая и благородная часть мира — Рай Земной».) 3. Он узнал, что не может там быть иных украшений, кроме золота и драгоценных камней. А значит, есть чем поживиться, чтобы вложить в генуэзские предприятия и купить контрольные пакеты акций! И наконец, конечно же, можно отвоевать

[1] Пьер д'Айи (1350—1420) — французский теолог.

Гроб Господень, вновь открыть путь на Восток и, потеснив татар, прорубить проход в «железном занавесе из ятаганов». 4. А еще Христофор сделал некоторые выводы из своего эзотерического опыта, но не доверил их бумаге, а решил сохранить в памяти.

В те дни он пребывал в страшном возбуждении. Солипсизм, замешанный на мании величия, отдалил его от реальности... Колумб нервно ходил по саду, пинками отшвыривая с дороги кроликов. Со свойственными ему непринужденностью и скромностью он решил: гений победил в нем просто человека.

Что касается супружеских отношений, то в них нежность, точно сорная трава или кролики, окончательно победила эротику. Страсти больше не было, она иссохла.

Итак, осталась нежность (а была ли любовь?). По правде говоря, Фелипа напоминала теперь фигурку из выцветшей бумаги. На его глазах она теряла всякую выпуклость: сначала опали груди, потом бедра, затем лицо. Она превратилась в плоскую картинку, совершенно лишенную объема. Так что ни о какой плотской близости речи идти не могло. Сама мысль о ней казалась нелепой, даже преступной.

В конце того же 1484 года все закончилось: больше в ней не осталось никакой «значимости» — только портрет, воспоминание. Ее можно было вставлять в рамку и вешать в столовой над буфетом. А кролики уже сожрали всех голубят. В довершение всех бед король Португалии отверг проект Христофора плыть новым путем к Сипанго и Антильским островам. Отверг со смехом и издевками. Никто не воспринял предложение всерьез.

Историки не могут прийти к единому мнению: убил он ее по приезде в Лиссабон (точнее, лишил жизни) или, проявив определенное великодушие (как могла она дальше сносить позор и продолжать жить с человеком, повесившим ее в рамке над буфетом?), продал мавританским торговцам белыми женщинами, а те перепродали за хорошую цену на рынке в Касабланке.

Этого никто никогда не узнает. Точно установлено следующее: могила Фелипы, для которой с самого рождения было приготовлено место в семейном склепе на самом шикарном кладбище Лиссабона, обнаружена не была.

Именно в те времена Христофор вместе с маленьким Диего спешно и тайно двинулся в Андалусию — бросив все имущество, почти без денег — и укрылся в монастыре Ла-Рабида, что находился немного дальше Пунта-Умбриа.

И пока падре Торрес, успокоенный присутствием ребенка, доставал большой ключ, Диего спросил:

— Папа, а где наша мамочка?

Колумб почувствовал, как судорогой сжало ему горло. Он отвернулся, сделав вид, что справляет нужду, и не показал сыну слез. Когда кто-то умирает — по нашей вине или нет,— горе ощущаем мы, остающиеся, мы страдаем от утраты, на нас обрушивается пустота. А умерший, как нам кажется, обретает свободу. И мучает нас пустота, которую он нам оставляет. (Поэтому-то мудрые китайцы радуются и смеются, видя перед собой смерть. Они думают о покойном, а не о себе.)

Каонабо, Анакаона, Сибоней, за ними Бельбор, Гуайронекс, касик Кубайс. Нежная и кокетливая Бимбу́. Все они стоят на береговом холме и смотрят на юношей, на посвященных, что отбывают в Мир Без Берегов. Они испили положенные настои, и некоторые уже начали раскачиваться, словно готовые взлететь бакланы. Радужная оболочка их глаз меняла цвет. Сине-зеленый взгляд — странный взгляд, обращенный куда-то далеко, за пределы реального!

Некоторые растягивались на песке и принимались выть. То был первый, целительный ужас. Ужас человека, который понимает — он растворяется в Пространстве, и пытается ухватиться за «реальность». Кто-то цепляется за траву или за пальмовый корень, но все бесполезно: ураганный ветер (правда, ни один пальмовый лист при этом не шелохнулся) подхватывает их. Они растворялись, потому и выли. Переступали порог Дома Не-Бытия,

о котором не должно забывать во время краткого пребывания в Бытии. Ведь хотя и Бытие и Не-Бытие суть все то же Бытие, человек, от природы наделенный болезненным разумом, неизбежно начинает тщеславиться своей эфемерной телесностью. Для него она, конечно, важна. А на деле? Нечто преходящее, весьма незначительное.

— Бедные юноши,— заметила прекрасная принцесса Анакаона.— Они так страдают.

Текутли из Тлателолько, редкий гость на островах, также наблюдал, как большая группа юношей, целое поколение, улетали к Тотальному.

Он прибыл, дабы предложить беспечным островитянам покровительство Ацтекской Конфедерации. Они страдали от излишнего религиозного рвения (об этом надо сказать прямо) карибских каннибалов. Те были теофагами и считали, что можно съесть бога, красоту, отвагу. Считали, что, выбирая для трапез самых красивых таинов, можно расстаться со столь характерными для их народа неприглядностью и свирепостью.

Великий таинский вождь Гуайронекс, видно, рад был вспомнить свое посвящение. Он прыгнул на песок и сделал несколько танцевальных па среди погруженных в транс.

Зазвучали тамбурины. Звонко запели большие раковины.

Теплый вечер в Гуанаани. 12 октября 1491 года (а для людей с Багамских островов, по их магическому календарю, то был год 16-Звезда).

Путешествие к Тотальному. Они отправлялись туда, чтобы не дать засосать себя трясине привычного и повседневного. Чтобы расширить границы пространства и времени. Со стенаниями, охваченные ужасом, растворялись юноши в первозданном Пространстве. Падали из человеческого времени в Вечность. Прикасались к Великому.

Лишь через три дня начиналось возвращение.

Девушки, послушные воле Сибоней и Анакаоны, под монотонные ритмы тамбуринов танцевали пленительные арейто. Прикрытые лишь ритуальными юбочками, прозрачными кусочками ткани, они очаровывали зрителей тенями своих Venusberg [1].

То был самый чистый зов плоти. Он помогал дерзким юношам найти дорогу назад. Вновь учиться ходить и смотреть. Они узнавали родные лица, предметы. Делали последний круг над землей и опускались на берег.

Некоторые сразу пытались войти в круг танцующих. А девушки брали их за руки и уводили в дюны. Женщина — гавань, лучше которой ничего не придумать.

Лишь один из прибывших не пошел к остальным. Он, страшно волнуясь, сказал, что на море, на Востоке, видел тени демонов-захватчиков *дзидзиминов* — свирепых тварей, способных отнять у людей священную непрерывность Сущего. Ему никто не поверил. Здесь слишком любили метафоры.

«Убивать надо как можно проворнее, дабы душа осужденного скорее покинула тело и имела больше надежд на спасение. И еще: будьте приветливы и милосердны со странниками и чужеземцами». Изабелла читала Инструкции для Святого братства. Без колебаний подписала. Она знала, что душа, задержавшись в грешном теле, развращается. Не случайно восточные люди такое значение придают этой проблеме. (Торквемада говорил ей как-то о барде Тодоле.) Что такое душа? Эфир, чистый полет, роса...

Нужен был самый строгий Общественный Порядок.

Годы гражданской войны. Годы походов, борьбы за власть Короны. Некогда думать о милосердии. Лучше день прожить львом, чем сто лет овцой! По коням! Вперед!

Изабелла
скачет, скачет,
Фердинанд не отстает.

Конница! Пехота! Алебарды, арбалеты! Уж если умирать, то в честном

[1] Венерин холм *(нем.)*.

рукопашном бою! Огня, как можно больше огня! Пока не укрепится единство, пока не победит терпимость! Смерть нетерпимым!

Ей подводят Аполлона (верхом она ездит на мужской манер), и конюшие в смущении опускают глаза, поддерживая ей стремя.

— Наша цель — Христианство! Наш девиз — Гуманизм!

Она неотразима: узкие панталоны-чулки из лосиной кожи, лаковые сапожки. Радостно, самозабвенно, стремительно взлетает на коня (две монашенки судорожно крестятся, глядя, как парит над седлом хрупкая женщина). Алый лиф с золотой шнуровкой. Плотно облегающая грудь куртка с наглухо закрытым (по-военному) воротом. Поверх всего короткая накидка черного бархата с серебряной цепочкой (она тянется от крючка в виде буквы «*F*» к изящной «*Y*» на колечке). Широкополая шляпа с зеленым пером — фазан с заливных лугов Припта. И дивные золотые волосы, летящие по ветру.

Мадригалехо — сровнять с землей! Все на славный праздник войны! Лихорадочные дни. Ярость и счастье сражений. Время, измеряемое загнанными лошадьми: Мадригал рухнул у лисьих пещер Авилы, Аполлон пал в Деспеньяперросе, потом настал черед Батурро-Арагонца — он не выдержал палящего солнца Ла Манчи.

Ночи напролет — галопом по туманной Галисии. От рассвета до заката — по раскаленной пыли Кастилии. Кто видел Башню? Где она? Дальше, на юг! На юг!

Под копытами Испания — пересохший барабан. В бой — на нерешительных графов и предателей баронов. Они встали на защиту сомнительных прав Бельтранши.

Пробуждения у схваченных льдом ручьев. Пронзительный январский холод, тоскливая песнь солдат у костра, где зеленым пламенем горит черный тополь.

Безжалостно разрушены укрепления Мадригалехо. Обезглавлены бунтовщики. Их тела гроздьями свисают с дымящихся стен. Славно поработала артиллерия: для ядер привезен белый мрамор из самой Каррары (там открыты жилы, там Микеланджело найдет безупречный блок для *La Pieta* [1]).

Изабелла устала (и как назло, в шатер ее налетели тучи комаров). Она не может заснуть и пишет письмо Фердинанду:

> «Король мой, Господин мой! Мы с моим конем Мадригалом еще не отошли от грохота орудий, пения ядер (тех, что из Каррары). Удалось ли очистить от скверны Сарагосу? Да не дрогнет рука твоя! Только мы можем указать обветшавшему Западу путь — на четыреста-пятьсот лет вперед! Кстати: не повстречался ли тебе белокурый валет, обещанный колдуньей-цыганкой? Черный рыцарь уже объявился, в том нет никаких сомнений: зовут его Гонсало, он из Кордовы. Теперь о деле: новый галисийский полк великолепен. Представь, кровь у них течет, только когда задета артерия. Может, они из камня? Я вместе с графом Кадисом устроила питомник для непальцев. Они плодятся все равно как люди, каждые девять месяцев. На вид маленькие, но очень сильны — как раз для штурма крепостных стен.
>
> *Я, Королева*».

На следующее утро она вошла в Трухильо — следом за красивыми как картинка, но и отважными герольдами. Изабелла одета в парчу, на плечах горностаевая мантия, на голове корона. Королева наконец научилась носить ее как подобает: корона сидит крепко, не шелохнется. Глупый, доверчивый народ всегда готов положить голову за обсыпанную драгоценностями королевскую власть:

> Арагона цветы
> У Кастилии внутри.

Но довольно медлить! «Вперед! Вперед!» Той же ночью, по прохладе, Изабелла мчалась во главе отряда быстрых всадников на Касерес. Без отдыха летели две тысячи улан, жевали на ходу маслины, украденные при свете луны в оливковых рощах Эстремадуры.

---

[1] Имеется в виду работа Микеланджело «Оплакивание Христа».

Утверждался Новый Порядок. Во все города прибыли черные люди — Инквизиция. Не успевшие нагрешить дети и юные девицы с улыбчивым любопытством спешили поглазеть на всадников в траурных одеждах. Вместе с ними появлялись дюжины мулов, груженных чем-то похожим на передвижные мастерские: блоки, ролики, колеса, тиски, переносные горны, маленькие печи. Сундуки из тисненой кожи, набитые распорками, щипцами, неаполитанскими сапогами, бронзовыми глазоколами, марокканскими бичами, изящными крючьями для сухожилий, распятиями.

Именно Изабелла убедила Торквемаду: «Монах, как ты можешь сидеть в тиши дворца! Иди отыскивай грех — на улицы, в дома! Только спасая других, обретешь ты спасение!»

Они знали: Запад мог возродиться, лишь укрепляя свои греко-римские корни.

Для масс: смирение и молитва. Для знати: праздник отваги и силы.

Всяк на свое место: люди-собаки, растения, рыбы, государственные служащие.

Культ Девы Марии дошел до языческих крайностей. Множились крестные ходы. Каждому святому не только по свече, но и по алтарю! Христомания топила всякую мысль. Возникали целые полки монашек и клириков — фанатичных, безрассудных.

Трижды в неделю — пост. Скудость черного хлеба и колодезной воды. Принудительные покаяния. Бичевания.

Изабелла дала им захлебнуться в порожденном ими же абсурде, в презрении к телу, в страхе перед ним.

В каждом селении появилась своя гора Кармель [1]. Священники за неделю стаптывали башмаки, водя туда процессии. Как грибы после дождя росли слухи: о левитации, мистических видениях, святых, возвращении на землю усопших, которые рассказывали об ужасном огне чистилища, отчаянных муках адских котлов. Дети выходили из церкви бледные и трепещущие.

С прозорливостью гениальных политиков Фердинанд и Изабелла поняли: им нужно папство, скроенное по меркам их империи. Ватикану пора проснуться, стряхнуть с себя чудовищное оцепенение пиетизма.

Историки правильно очертили роль, выпавшую на долю валенсианского кардинала Родриго Борджиа: создать новый, имперский католицизм, жестокий, возрожденческий. А также Католическую Церковь, которая не будет бояться Человеческого в Человеке, не будет цеплять гипсовые набедренные повязки к чреслам борцов скульптора Фидия.

Родриго Борджиа был бы подходящим папой. Папой-возрожденцем. Его будут питать своей силой ангелоподобные юные монархи. Когда он прибыл из Рима в Испанию, ему исполнилось 42 года. Атлет с черными глазами и «фигурой внушительной и величественной». Большой поклонник земных радостей. Человек, способный положить насилие в фундамент своей власти.

Итак, он прибыл в Валенсию 20 октября 1472 года. Здесь, вместо приветствия, ему преподнесли новость: в Кордове побили много евреев и обращенных.

Он въехал в город торжественно. Впереди стражники-негры, бьющие в барабаны, и оркестр дворцовых музыкантов. Был дан обед из тридцати двух блюд. Вино подавалось в золотых церковных чашах — в честь Педро Гонсалеса де Мендосы, который жаждал получить красную кардинальскую шапку. (Позднее он сыграет важнейшую роль в империи монархов-ангелов).

Но союз Фердинанда и Изабеллы с Родриго Борджиа (будущим Александром VI) — невероятно важный с исторической точки зрения — требовал освящения.

И оно состоялось: близ Алкалы, в день 27-й февраля 1473 года.

Не слишком холодный рассвет. Юная пара поднимается на вершину

[1] У подножия горы Кармель в Палестине жили монахи-христиане — основатели ордена кармелитов. В XIII в. кармелиты переселились в Западную Европу.

холма. Войлочный плащ Фердинанда, спадающий до земли, укрывает сразу два тела. Издали кажется, что гору венчает черный конус — что-то вроде сооруженья друидов.

Кардинал Борджиа без сопровождающих (он совершает поездку в строжайшей секретности) поднимается наверх. Он видит над черным конусом две головы — Фердинанда и Изабеллы. Рыже-золотым пламенем сияет на фоне серого тумана копна ее волос.

Фердинанд стоит сзади, тесно прижавшись к Изабелле, и овладевает ею с невозмутимым спокойствием. Плащ стал убежищем, укрытием для двух напряженно слившихся тел.

Вся сцена имела глубокий и невыразимый ритуальный смысл.

По их телам уже пробежал едва заметный трепет, когда прелат оказался всего в нескольких шагах от сей эротической скульптуры.

Посвящение свершилось, святое таинство, зачатие новой власти.

Рождались империя и имперско-католическая церковь. Как пустую породу отбрасывала она от себя зловещее ханжеское христианство. Борджиа на миг приблизился к застывшей в недвижности юной паре: полузакрыв глаза, они катились вниз по бархату блаженной слабости с вершины любовного наслаждения. Он просунул правую руку с большим фамильным перстнем внутрь войлочного конуса, поймал на теплом бедре принцессы каплю драгоценной спермы, рожденной самой сильной и чистой в мире любовью, и помазал ею себе чело [1].

Плащ был сброшен на землю. Все трое преклонили колена прямо на мокрой от росы траве и, ведомые звонким баритоном кардинала, пропели взволнованно три *отченаша* и три *богородицы*.

На балке висело, покачиваясь, тело сеньора Хименеса Гордо — влиятельного купца, который не сумел вовремя разгадать линию нового имперского режима. А она была антибуржуазной (направлена против мелких собственников) и антилиберальной.

Фердинанд усмирял Сарагосу.

Купца он пригласил на обед. По знаку — во время десерта — стражники повесили его на балке. Он был мятежником, бунтовщиком.

Тело тихо покачивалось. Круглый живот, обтянутый жилетом из фламандского шелка, был похож на маятник. Фердинанд вспомнил маятник прибора для измерения времени, виденный им в Бернском соборе.

Он продолжал очищать апельсин. Затем велел принести бумагу, смахнул крошки хлеба со стола и стал писать Изабелле. Она с головой окунулась в дела гражданской войны и пропадала где-то в полях Кастилии.

> «...естественно, я дал этому обжоре и сквернослову доесть заварной крем.
>
> Ну, встретила ты валета с глазами цвета морской волны? Меня уверяют, будто в арагонских карточных колодах у всех валетов темные глаза. Только у рыцарей и у двух из четырех королей они голубые. Но будем стоять на своем: всякой империи необходим один адмирал и один великий маршал.
>
> Мне страшно надоело усмирять Сарагосу. Единственное развлечение — охота в сопровождении архиепископа Сарагосского. Ему уже исполнилось десять, и, к счастью, он не успел заразиться ватиканским коварством и занудством. Внешне он все же чуточку похож на меня! [2]
>
> В эти мрачные дни я развлекаюсь еще и тем, что скачу по скалистым долинам вместе с Беатрис де Бобадильей, племянницей маркиза де Мойя. Я следую на некотором расстоянии за хрупкой амазонкой и архи-

[1] Удалось установить место, где происходила вышеописанная сцена. Оно расположено в нескольких милях от Алкалы (где обитала тогда Изабелла), между Лечесом, сегодня — Лоэчес, и Торрехоном де Ардор, слегка на север от Торрехона дель Рей. На холме в настоящее время действует мастерская по починке изделий из резины и вулканизации шин. *(Прим. авт.)*

[2] Фердинанд, лукавя, упоминает здесь Альфонсо Арагонского, своего незаконного сына от виконтессы Эболи. Альфонсо сделал блестящую карьеру: в шесть лет стал архиепископом, в восемь — кардиналом. И при этом никогда не отличался чрезмерной религиозностью. *(Прим. авт.)*

епископом. Как освежающе хороши взрывы их смеха, когда они гонятся за лисой! Как свежа и порочна их наивность!

Помнишь ли ты моего маленького сокола Копете? Представь, сегодня утром он долго летал и не мог отвязаться от приставшей к нему молодой ласточки. Он бил ее клювом, но все впустую. Измученный, вернулся он ко мне на плечо. Без добычи, с сильно бьющимся от злополучной гонки сердцем. Мне пришлось впрыснуть ему под крылья агуардиенте, как делают петушатники. Уверен, завтра или послезавтра злопамятный Копете отомстит ласточке. Пишу эти строки и слышу, как он беспокойно бьет крыльями у себя в железной клетке.

Фердинанд».

Изабелла чувствовала, как к ней подкатывает худшая из мук — ревность. Ее старый, так и не побежденный враг. Черная туча заволакивала покой ее души. Ах, ласточка! Ах, негодяйка!

Дневное отупение к ночи сменилось приступом ужасного возбуждения. Походный шатер наполнился тенями и шорохами — неотступными образами первой брачной ночи. Шум ветра чудился ей стоном покорной девственницы.

Падре Талавера и граф Бенавенте пытались успокоить королеву. Один напоминал о благопристойности, другой — об интересах государства.

Ее напоили настоем из трав. Порой Изабелле удавалось заснуть, но она тут же просыпалась от собственного дикого крика (крика рожающей львицы), покрытая холодным потом. Зубы стучали, как кастаньеты.

Бешеное возбуждение королевы передалось солдатам. Они слонялись по лагерю, не находя себе места, без всякой причины кидались друг на друга и жестоко бились, пуская в ход не только кулаки, но и зубы. От безделья они стали агрессивны. Воинская дисциплина стремительно рушилась.

На рассвете, сломленная силой припадка, Изабелла решилась: к Фердинанду помчался гонец с приказом явиться на тайную встречу в монастырь Альмагро.

А Бобадилья все изображает из себя капризную девочку! Изабелла знала от ее тетки, своей лучшей подруги, что та была слишком хорошо развита для своих лет. Нет, не подобало юному архиепископу водить с ней компанию.

Еще во дворце Изабелла заметила, как любит Бобадилья эксцентричные выходки. Например, облачаться в металл: никто, кроме нее, не носил вместо юбки бронзовых доспехов (от пояса до колена). Когда-то были они в большой моде при фривольном бургундском дворе, так как подчеркивали форму ягодиц (а дерзкая Беатрис носила еще и узкие черные панталоны). Да, со времен мистической Жанны д'Арк образ закованной в броню девственницы волновал воображение благородных юнцов.

Поговаривали, будто предметы интимного туалета были у нее тоже из металла. Их изготовил известнейший мастер Станислав Малер (десятилетия спустя он прославился, сделав доспехи для дона Хуана Австрийского, которыми и сегодня можно полюбоваться в Эскориале). Много судачили и об ее поясах девственности — с камеями, где толедские ремесленники вырезали сцены охоты или гербы.

Как утверждали придворные сплетники, летними ночами Беатрис в своем средневековом одеянии проносилась мимо постов стражи. Ей нравилось — она хохотала как безумная — видеть капитанов, в ярости бросающихся друг на друга или отыскивающих нужный ключ. Но найти они его не могли. Он был спрятан в ее спальне, под статуэткой обожаемой Девы Кармельской. (Поговаривали также, что только Фердинанд педантично обшарил ее покои и отыскал что нужно).

Заметим по ходу дела: ярость получившей письмо Изабеллы была лишь обязательной частью установившегося ритуала — ритуала обновления пламени страсти, чтобы оно окончательно не угасло.

В то же время Фердинанду необходим был сей механизм эротической мести, дабы отплатить Изабелле за все ее превосходства: латынь, которую он так и не одолел, изысканность рода, стихи Петрарки, изящный почерк. Здесь было бы уместно напомнить, что он-то был угловатым крепышом,

по-крестьянски упрямым и совершенно лишенным воображения. У Изабеллы были тонкие вытянутые лодыжки, а на подъеме ноги (весьма знаменательный знак) хорошо было видно переплетение голубоватых жилок и тугих сухожилий. Совсем как у нормандской кобылицы! Сухожилия отчетливо выступали и на затылке: над ними взмывала вверх лавина прекрасных волос — наследство ланкастерского рода Трастамара, начало которому положил дон Хуан де Ганте.

У Фердинанда же, напротив, ноги были попросту плебейскими, с наростами и чешуйками, точно у какой-то ящерицы.

И все это имело большое значение, все следует принимать в расчет.

Сексосоциальное неравенство заявляло о себе по ночам, когда в битву вступали две страсти. Плоть Фердинанда издавала приглушенный, уверенный звук — так напевает что-то себе под нос довольный лавочник, наводя порядок на полках. От *йони* Изабеллы, наоборот, исходил тонкий, нежный посвист — будто едва слышный зов колумбийских орхидей в период любовного томления.

Итак, Изабелла мчалась во весь опор, покинув свой лагерь (сегодня на этом месте находится Вента дель Прадо на Национальной, 630).

— Быстрее! Быстрее! Вперед!

Сумасшедший галоп. Перед глазами ее стояла бесстыжая Беатрис, скачущая в кокетливых доспехах перед Фердинандом и мальчиком-архиепископом. Призрак ее, приукрашенный ревностью, то исчезал, то вновь возникал из дорожной пыли.

В знойные предутренние часы видели крестьяне, как вихрем мчалась мимо монахиня-кармелитка, покрытая пылью, застывшая в седле. Казалось, ее преследовал и никак не мог догнать отряд свирепых всадников. На лицах их, словно маски в безвкусной драме, лежал слой желтой пыли.

Ботихас, Вильямасиас, Орельяна ла Вьеха, а потом селение дона Родриго с источником и пузатыми ребятишками, что глазели на монахиню, у которой были сверкающие глаза и — удивительное дело — кинжал у пояса.

В то же время по дороге из Теруэля въезжал в Ла Манчу загадочный францисканец. На лице его не было и следа смирения и благодушия, отличающих членов известного ордена. Всадники остановились на отдых в долине Аларкон, копыта их коней были сбиты каменистыми дорогами Арагона.

Внутренний огонь сжигал и его и ее, и был он сильнее огня, полыхавшего снаружи.

Они прибыли в монастырь Альмагро с разницей в несколько часов, два дня и две ночи гнал их навстречу друг другу ветер страсти.

Францисканец представился учителем латыни. Кармелитка объяснила, что везет инструкции ордена в монастырь Бальбастро.

И только почти два века спустя, в Венеции, в 1687 году в серии «Кастильская пикареска» был напечатан рассказ одного аббата. Опустив привычные для той эпохи порнографические описания, можно почерпнуть следующее. После омовения у родника они встретились в келье кающихся. Аббат пишет: «Грубые одежды скользнули к ее алебастровым ногам, и в лунном свете засверкало прекрасное обнаженное тело. На ней еще оставалась белая накрахмаленная тока (чепец — пикантный в данной ситуации знак принадлежности к религиозному ордену, белые крылья токи походили на крылья мраморного ангела с надгробия Лоренцо Медичи во Флоренции. Была снята и тока, и волосы переливчатым потоком — так расплавленное золото течет по склонам вулкана — хлынули вниз. Рванулись на волю, как рванулся бы леопард, случись какому-нибудь глупцу упрятать его в мешок».

Ночь для этих двух кающихся грешников была долгой и многотрудной.

На следующее утро в монастырской трапезной аббат отметил удивительное совпадение: почти у всех семинаристов сны в прошедшую ночь были какими-то зоологическими. Один сказал, что видел осла, который

в агонии хрипло ревел. Другой — что зеленая гиена рычала под сводами соборной церкви. Юноша астуриец описал свой кошмарный сон: стая волков с завываниями образовала пылающий клубок, который катался по снегу, растапливая его.

Аббат, вероятно, также спал дурно, поэтому пребывал в тяжелом настроении. Он приказал всем замолчать и с аналоя начал читать «Мучения Святой Лусии».

Уже у дверей падре Аскона позволил себе заметить:

— Как странно, ни францисканец, ни кармелитка, что прибыли вчера, не позавтракали и не слушали мессы, отправляясь в путь. Видел ли их кто-нибудь в молельне?

Аббат в свою очередь добавил:

— На рассвете у водоема умер конь... Отдано ли приказание разделать тушу? Наверно, это он так громко кричал ночью...

(Бла́городный Мадригал погиб оттого, что неосторожно утолил жажду, измученный раскаленными дорогами и шпорами кармелитки. Его разделали на части и засолили для монастырских нужд. Голова, хвост и конечности пошли на благотворительные цели.)

Праздник, устроенный в честь графа де Кабры, длился семь дней и семь ночей. Никогда еще в Кастилии не видели ничего подобного. От эпицентра всегда вращающейся только вправо спирали шли бурные волны к внешним оконечностям. Граф переходил в самую заветную, самую близкую к королям сферу галактики: его посвящали в *«SS»*.

По сему случаю Изабелла оделась так, как имела право одеваться лишь она. Зеленого шелка одеяние с пышнейшими рукавами. Знаменитое ожерелье из рубинов. Широкий пояс с инкрустациями из лазурита. Конусообразная шляпа на проволочном каркасе в три фута высотой, с ее вершины падала вниз пятиметровая вуаль, она походила на плывущий по ветру туман.

Алая юбка с фижмами из золотой парчи. Когда свежело — накидка из рыжих лис, подарок германских родственников, неутомимых охотников.

Она просто неотразима! Лицо покрыто пудрой из Александрии. Духи натуральные — сок, выжатый из цветов апельсина.

Рядом с ней Фердинанд. Весь в черном. Короткие штаны, высокие сапоги. Шляпа из черного сукна со страусовым пером, тоже черным. На груди пять крупных серебряных слез — символ печали, ибо мавры еще остаются на иберийской земле.

Следом за ними идут граф и графиня де Кабра. Их цвет — девственно белый. Цвет жертвенности и цвет именинников. Лица оттенены желтым. Веки графини покрыты переливчато-розовой, как лепестки мальвы, краской.

Далее — маркиз и маркиза де Мойя. На них мавританские одежды. Они, очевидно, изображают побежденного короля Боабдиля и его матушку.

Торквемада, как и положено, без пары. Он идет босиком, в заштопанной сутане. Ступает осторожно, ибо при каждом шаге в поясницу ему впиваются шипы железного пояса.

Беатрис Бобадилья, как всегда, экстравагантна. В доспехах из голубоватой стали, в шлеме с опущенным забралом. На штанах — соблазнительная застежка из красного бархата. Идти она, понятно, не может, ее везут на тележке два нелепых карлика-венгра, одетых в матросские костюмчики.

Торжественно шествует процессия к почетному месту. Ей предстоит открыть бал. Герольды выстроились в два ряда и выкрикивают имена гостей — не слишком стройно, зато с большим рвением.

Флейты-пикколо. Тамбурины. Свирели.

Изабеллу тяготят протокольные церемонии:

— Пора покончить с гражданскими войнами! Они отвлекают! Время начинать священную войну!

Фердинанд осторожно возражает:

— Нет, еще не время. Еще не время, сеньора. Сначала следовало бы

отыскать валета с голубыми глазами и заручиться поддержкой черного рыцаря...

Между тем со стороны Эстремадуры уже спешат сюда грубые и тщеславные португальцы. Верховодит над ними маленькая Хуана Бельтранша. С ней король Альфонсо, ее новоиспеченный придурок-муж (как мы увидим, они отправились в сей трагический поход, не успев довести дело до конца. Так что в медовый месяц мед свой тучный Альфонсо, никудышный вояка, получает из рук бога Марса). Бельтранша рвется вперед и всем видом будто показывает: «Ну, что скажешь, Изабелла? Видела? И у меня есть свой мужчина, свой король!»

Бал начался. Очень серьезная, скованная из-за опутавшей ее вуали Изабелла вывела танцевать донью Леонор де Лухан.

Фердинанд остановил свой выбор на Альдонсе Аламан, чтобы таким, весьма ловким, способом отвести от себя подозрения (открытая наглость порой бывает выгоднее притворства).

Танцы послужили аперитивом. Через полчаса все перешли к столам, поставленным вдоль поляны, камни на которой в подражание бургундским изящным забавам были выкрашены золотой краской.

Пока подавали легкое молодое вино и закуски, гостям показали удивительный часовой механизм. Он был заказан специально для виновников торжества. Дюжина латунных козочек с тщательно нарисованными завитками, кудряшками и локонами вращалась по кругу на трех дисках, сцепленных друг с другом зубцами. Диски в действие приводились валом. Он же в свою очередь получал энергию от двух мулов, которые были спрятаны под прямоугольные металлические короба — дабы не изменить механистической моде эпохи.

Проплывая мимо главного стола, козочки блеяли с чуть приметным металлическим поскрипыванием.

Графиня де Кабра не могла скрыть слез умиления пред лицом столь изысканных и щедрых знаков королевского благоволения.

В таверне «К Новой Фаланге» сбивались новые «команды». Амбиции били ключом. Колумб понял, что пришло время рискнуть.

По слухам, те, кто делал ставку на науку, поэзию и музыку, нынче терпели неудачи. Изобретатели и толкователи снов возвращались битыми. Чуть больше везло служителям эротического фронта и новомодным оружейным мастерам.

Ульрих Ницш был в числе тех, кому не повезло. Он представился проповедником. Подумать только, независимый мечтатель в эпоху, когда любые безумства тщательно готовятся церковью!

Он отведал палок патруля Святого братства, и его полуживого притащили в таверну.

Вот такой случай, такой жизненный поворот: прошло более двадцати лет, и судьба, словно придуманная начинающим романистом, распорядилась так, что теперь Христофору пришлось утешать Ульриха Ницша, ставить ему на ушибы уксусные компрессы и поить колодезной водой.

В моменты просветления отставной ландскнехт рассказал: под покровом ночи, тайком достиг он самой сокровенной зоны в галактике власти. Через одного евнуха из прислужников королевы он передал во дворец отчаянное философское послание. Но его, к сожалению, приняли за любовную записку сексуального маньяка. А ведь там говорилось: «Вперед! Человек должен преодолеть себя! Полночь, которой мы окружены, предвещает величественный рассвет сверхчеловека! Вперед! Не станем оглядываться на мораль — прибежище стариков и немощных, тех, кто отрекся от жизни».

Так вот, его отколотили палками. И, посчитав мертвецом, бросили в канаву. Тевтонские усищи испачкались в тине. На счастье, стая бродячих собак уже успела отужинать и не желала прерывать сладкого и сытого сна.

— Ну что? Поговорил, теперь подумай! — бурчал начальник отряда Святого братства, устав работать палкой.

Ландскнехт не мог понять — он был все-таки немцем,— что и боги и сверхчеловеки уже *существуют* и презирают риторику.

Мало того, они приходят в бешенство, когда их описывают или просто называют, будто называющий украл у них огонь и потушил его в ледяных ущельях *логоса*.

Общество вновь отвергло Ульриха Ницша. Врагом его на сей раз стал чистый инстинкт, не терпящий умствований или «теорий инстинкта». И в этом был здравый смысл. Колеса Повозки Власти закрутились. Изабелла и Фердинанд отыщут своих героев, своих сверхчеловеков (Гонсало де Кордова, свинопас Писарро, развратный генуэзец, авантюрист Кортес. Этим сверхчеловекам будет плевать на теорию сверхчеловечества. В них будет мало благочестия и благородства. Для Испании короли найдут подходящего кардинала — Сиснероса, который скажет: «Запах пороха мне приятнее запаха самых нежных духов Аравии»).

Ульрих узнал Христофора:

— Помнится, когда-то я сказал тебе, будто то, что нас до конца не убивают, делает нас сильнее...

Но и Христофор, пытаясь достичь эпицентра власти, потерпел неудачу. Он отчаялся ждать впустую, оставаться в безвестии, неузнанным теми, кто искал, кто предчувствовал его существование. Колумб решил прибиться к «команде» от корпорации производителей апельсинов. Поступок оппортунистический и нелепый.

На большой повозке была устроена аллегорическая картина: богиня Церера и три больших шара-апельсина, наполненных мармеладом. Аллегорию тянули шесть воловьих упряжек.

Колумб и еще шесть парней ехали, погрузившись в желе. Когда повозка будет проезжать мимо королевской ложи, они выпрыгнут на манер фруктовых гномов и пропоют куплеты о протекционистских ценах на апельсины и таможенных барьерах.

Но было наивностью думать, что подобное могло кого-либо заинтересовать. Им даже не позволили проехать, а на подходах к лагерю повозку разграбили цыгане с рисовых полей. При этом два участника погибли, утонув в сладком желе.

Двумя днями позже Колумб использовал еще одну возможность — как ему казалось, вполне надежную — передать послание по назначению.

Теперь речь шла об аллегории механической. То была изготовленная непревзойденными германскими мастерами грандиозная модель солнечной системы. Большие цветные шары вращались на длинных жердях. На вертикальной жерди, на трапеции в форме золотой дуги висел Колумб. Он изображал Аполлона — бога, всем управляющего и все упорядочивающего, заклинателя звездного Хаоса, что вечно угрожает миру.

К несчастью, его вращения на шесте вскоре приобрели весьма причудливый вид, так как слепые мавры, крутившие вал, разделились на две враждующие группы — интегристов и баасистов [1]. От резких рывков с торса Колумба начали отлетать позолоченные чешуйки. Полный провал. Христофор еле удерживался на шесте и с трудом успел прокричать:

— Земля плоская! Можно плыть на восток и не бояться упасть в пустоту! Она плоская! Можно доплыть до самых Индий, до пряностей, до специй!

Ехидная Альдонса Аламан, сидевшая рядом с Фердинандом, заметила лукаво:

— Не добавить ли Вашему Величеству в вино немного перца?

Из-под стальной решетки забрала внимательно следила за полетом Аполлона Беатрис Бобадилья. Она любовалась торсом незадачливого атлета.

А Изабелла даже не подняла глаз. Они обсуждали с главным поваром фантастическую смету банкета. Потом, будто в бутылку из плотного стекла, погрузилась она в разговор с Торквемадой. (Тот долго бился — как тунисский скорпион бьется о стенку стакана-ловушки — с историей

[1] Баас (*араб.*, *букв.*— возрождение) — употребляемое в литературе название Партии арабского социалистического возрождения.

о предсказаниях встревоженных привидений. Монах, несомненно, обладал тем, что итальянцы называют *fascino* [1]. Он был сыном тумана и ночи. Время от времени капля крови от вериг стекала у него по холодным бедрам и, щекоча, пробегала по лодыжке.)

Шла к концу первая неделя празднества. Кроме удивительных механических козочек, столь прямо намекавших на виновников торжества, большое впечатление на гостей произвели неаполитанские иллюзионисты, которым удалось трех внушительных по размеру фаршированных индюков превратить в трех жареных воробышков (когда сняли крышки с серебряных блюд, они лежали там лапками кверху).

Помимо барашка и уже упомянутых индюков, хронист-гурман описал нам следующие детали гомерического меню (обед и ужин):

I. Мясо с сыром, кукурузой и пряностями (капиротада).
Сосиски, куропатки.
Утка в айвовом соусе.
Телятина в соусе из дикой горчицы.
Дрозды жареные с гренками.
Форель фри с постной свининой.
Пирог из слоеного теста.

II. Олья подрида.
Свиные ножки в слоеном тесте.
Лесные голуби под черным соусом.
Воздушные пончики (pets de nonne).
Бланманже.

Он описывает также фрукты, выпечку, маринады, вафли, приводит длинный список вин местных и завезенных из Франции.

Именно в эти неспокойные дни в таверну «К Новой Фаланге» прибыл с проверкой патруль Святого братства. Плоские лица, грубая кожа. Наглые глаза игроков в чинчон — тусклые, без живого блеска.

Они потребовали предъявить доказательства христианской благонадежности. Колумб почувствовал близость конца. И в душе слегка успокоился. Государственный терроризм порождает безумную диалектику: с одной стороны, стремление спастись, убежать; с другой — желание сдаться, испытать наконец-то худшее. У него дрожали руки, и пришлось ножом обрезать затянувшийся узлом шнурок от обшитого полубархатом того же цвета, что и панталоны, черепахового панциря-накладки. Такое защитное приспособление было обязательной частью туалета в ту эпоху. Как известно, во всем животном мире единственный самец, способный покуситься на гениталии врага,— человек.

Начальник патруля взглянул на предъявленное с профессиональной недоверчивостью. Тощий помощник-андалусец поспешил вмешаться:

— Чуть не хватает, но вполне годится. Давай!

Колумб с бережностью, с какой люди простого звания всегда относятся к документам, поторопился спрятать свое природное удостоверение личности.

Грозный командир голосом, хриплым скорее от крепких напитков, чем от тяжкой службы, сказал:

— Мы ищем блондина с голубыми глазами, возможно, тайного иудея. Приказ короля! — И он показал валета из карточной колоды.

Ноги у Христофора сделались ватными. Он почувствовал, как у него — если воспользоваться элегантным выражением дядюшки Баварелло — «подкачали почки». Черепаховый панцирь наполнился горячей жидкостью.

Толедская проститутка оторвалась от всегдашнего заварного крема и посмотрела с усмешкой.

Командир сунул ему под нос валета.

— Mai visto [2],— сказал Христофор с уклончивостью мафиози. От страха он перешел на родной язык.

Эти люди были галисийцами и андалусцами. Они получили приказ, но

---

[1] Обаяние *(итал.)*.

[2] Не видел *(итал.)*.

не поняли, что значит «блондин», и были не слишком уверены, какой цвет на деле соответствует слову «голубой». Кроме того, у карточного валета были на ногах плоские, как у тореро, тапочки, а не желтые башмаки с закрученным спиралью носом — как у миланского сутенера.

Христофор был уверен: сейчас начнется *погром*. Ему и в голову не пришло, что кто-то вздумал искать его. Всякий гений — по определению — скептик.

Они задержались у распростертого тела Ульриха Ницша. Почему-то решили, что умирающим он только прикидывается. И жестоко избили рукоятками алебард.

Ницш приоткрыл желтые, как у затерявшихся на лесной поляне хищников Руссо-Таможенника, глаза. Его снова побили, так как в бреду он попытался обнять начальника патруля и назвал «королем Фердинандом». Перед смертью он спешил — хриплым голосом, на родном языке — щедро поделиться самым сокровенным:

— Gott ist tot! Gott ist tot! [1]

И умолял записать его слова, обнимал ногу шпика. Затем снова окунулся в спасительный обморок.

Один из андалусцев, когда-то воевавший во Фландрии, перевел со свойственной иберийцам нечуткостью к языкам:

— Он говорит, что Бог — дурак. Именно это он говорит. Тоже мне новость!

Это случилось на девятый день банкета в честь графа де Кабры. В Королевском лагере смеркалось, легкий ветер разносил от костров аппетитный, многообещающий запах. Там поджаривались на решетках гренки с кусочками коровьего вымени, козлятина, нашпигованная салом, перепела, кровяная колбаса с луком, изысканная птица — фазаны и индюки. Все это будет подано как закуска. Потом придет черед сметанного супа.

Слуги переливали вина Галисии, Риохи и Франции из благородных глиняных кувшинов в королевский хрусталь.

Развеселый оркестр пытался попасть в такт движениям труппы турецких акробатов: мужчин с усами, как у Ницша, и толстозадых женщин, обсыпанных блестками и дешевыми каменьями.

Именно в этот момент послышался топот стражников и пронзительные крики:

— Бельтранша! Бельтранша! Это она! Она!

Капитаны бросились к коням, что стояли неподалеку в загонах.

Раздался громкий лай легавых и волкодавов, которые сопровождали португальский авангард.

Во главе отряда скакала донья Хуана, Бельтранша. Скакала без седла на невероятных размеров буланом тевтонском першероне.

Итак, португальцы мчались, все снося на своем пути: походные палатки и шатры, временную молельню, королевское отхожее место, жаровни, столы. Они разрушили даже площадку для танцев.

Бельтранша — ироничная, мстительная, жестокая, но не способная радоваться, даже когда побеждала, даже когда унижала врага,— сделала полный круг вокруг королевских столов.

Затем резко остановила першерона. Длинная грива его была заплетена в косички и спадала до самых копыт. На широченной спине коня Хуана казалась чем-то случайным, эфемерным — факир с печальными глазами, похищенный боевым конем Веласкеса.

— Бельтранша! По коням! По коням! Прикрыть южный фланг!

Звон шпаг. Свист стрел. Заплутавшая арбалетная стрела пролетела через весь лагерь и вонзилась в оркестровую виолу да гамба.

Капитаны торопили конников. Выстраивалась пехота. Но было уже поздно: оскорбление нанесено, злая шутка сыграна.

А Фердинанд не придумал ничего лучше, как снять шляпу с перьями и церемонно раскланяться перед Бельтраншей — будто вассал перед

---

[1] Бог умер! Бог умер! *(Нем.)*

королевой. Бельтранша же побледнела от ярости, а ее першерон чуть не упал на передние ноги после резкого прыжка.

Вообще-то дерзкое нападение (португальская вонь заглушила волнующие запахи жаровен) не преследовало военных целей. Главным было — оскорбить и унизить. Они промчались сквозь лагерь и уже исчезали во мраке. Только самые умные и дерзкие легавые задержались на миг, чтобы вознаградить себя за труды и стянуть с огня куски вымени или остатки козленка.

Изабелла не могла снести обиды. Завороженный граф де Кабра видел, как одним движением разорвала она узкую зеленую юбку — по всей длине ноги, до самого бедра,— как одним прыжком взлетела на первого попавшегося коня (к несчастью, то была цирковая лошадка с красным плюмажем на лбу, которую турки гимнасты ценили за невероятное спокойствие и делали с ее крупа двойное сальто-мортале).

Изабелла врезалась в темноту. Она положилась на свое чутье, на инстинктивную ненависть женщины к женщине. Она проскакала четверть лиги и различила впереди отблески лунного света на мокрых от пота спинах скачущих по дороге на Эстремадуру першеронов.

Она попыталась выжать все что можно из проклятой никудышной лошадки. Впереди раздавался истерический хохот Бельтранши:

— Я — королева! Я — королева!

Изабелле казалось, она вот-вот настигнет соперницу. Но та движениями опытного тореро, знакомого с премудростями португальской школы, заставляла коня выделывать вольты и уводила его круп из-под ударов вражеской шпаги. Вот так-то! Изабелла готова была в голос зарыдать от унижения. Обратно она возвращалась рысью. В довершение всего за ней увязалась свора отставших от хозяев португальских псов.

Этот инцидент должен был положить конец ее двусмысленному положению. Все подводило к началу долгой гражданской войны, которая и ляжет в фундамент Нового Порядка.

Изабелла обратилась к народу с торжественной речью:

— Господи, только Тебе ведомы тайны сердец, услышь же, призываю Тебя, молитву горькой Твоей рабы и укажи нам путь — как защитить правду и законность, от лица которых и было вручено мне королевство!

Изабелла знала, гражданская война, кровавая война нужна. Без нее нельзя было укрепить империю, овладеть миром, закрыть Турку путь на Запад. Знала: огонь, что хлынет наружу, дабы покорить другие народы и образовать империю,— лишь малая часть внутреннего огня, огня гражданской войны.

Португальцев удалось окончательно разбить на Дуэро, в трех лигах от Торо. Никогда еще шпаги не мелькали так лихо. Обрубки тел, кровь, обезумевшие лошади. И, как случается вечно, больше всего от сей застарелой ненависти пострадали невинные.

Король Альфонсо бежал во Францию. Бельтранша, его супруга-девственница, вернулась назад — вместе с измученными першеронами и псами. Она удалилась в монастырь и до конца своих дней подписывала заказы на белье и шерсть для вязания словами — «Я, Королева».

То были самые тяжелые для Испании годы. Огонь созидания, зажженный Фердинандом и Изабеллой, не всегда поражал нужную цель (что характерно для всякого терроризма). Посему Колумб после неудачи на банкете в честь графа де Кабры все четыре года гражданской войны старался держаться в тени.

Его брат Бартоломео — тоже служащий то одной, то другой генуэзской компании — попытался продать космологию Христофора английскому королю. Безнадежное дело.

Годы террора Колумб провел в Кордове, спасаясь под маской гуманиста. Он стал завсегдатаем аптеки, что находилась на улице Сан-Бартоломе и принадлежала семейству Арана. По вечерам там собиралась теплая компания новых христиан, чтобы отдать дань антисемитизму и упрекнуть

чиновников инквизиции в нерешительности и обюрокраченности. Порой, чтобы обеспечить себе несколько месяцев спокойной жизни, они доносили на какого-нибудь знакомца.

Торквемада со своими неистовыми доминиканцами прочесывал города и села и постепенно пришел к ужаснувшему его самого выводу: зараза была везде! За те сто лет, что строгости только крепли, дурная кровь пропитала все общество.

Данные о числе высланных и казненных внушали трепет. Только за одну неделю 1487 года Торквемада проверил 648 природных мужских документов. В своих урологических исследованиях он был неутомим. «И урывал часы у сна»,— как говорят о подвижниках науки.

Зло просочилось весьма глубоко. Много евреев успело укрыться за стенами церкви: то и дело у какого-нибудь архиепископа появлялось на столе кошерное мясо. А сколько новых христиан выдало себя привычкой готовить пищу с базиликом, жарить на сковороде, а по субботам довольствоваться скудной трапезой.

Любой общественный писсуар превращался в источник доносов.

При дворе, в магистратуре, среди высших военных чинов встречались и крючковатый нос, и по-особому торчащие уши, и робкий взгляд. Все это безошибочно выдавало евреев.

Так что здоровая жестокость гражданской войны в какой-то мере даже смягчала гнусность повседневного террора.

В аптеке Араны почувствовали, как круг замыкается. Шутки и всякий интеллектуальный вздор встречались теперь невеселым смехом. В нем ощущался трепет тоски, страх перед чеканной дробью шага Святого братства и палачей-доминиканцев, которые проникали повсюду, выпрашивая милостыню и шпионя.

— Нам не до судов! В огонь! Бог покажет: горит — значит еврей! Настоящие христиане не горят, они подобны зеленым ветвям с Древа жизни...

Той ночью началась очень странная и весьма важная для Колумба связь. Но сперва он пережил сильное потрясение.

В полумраке аптеки — лампа еще не была зажжена — он, задрожав, вдруг увидел Фелипу Мониз де Перестрелло. Бледную и прекрасную. Сердце его застучало. Да так сильно, что он сел прямо в чан с пиявками. В ушах зазвенело, как при обмороке.

У него хватило сил вглядеться попристальней: нет, то была не она, а Беатрис Энрикес Арана, бедная родственница аптекаря, дочь скромных торговцев базиликом, чесноком и корицей, казненных Торквемадой (он был родным дядей Беатрис и уничтожал — вместе с родственниками — свидетельства о собственном происхождении).

Беатрис спряталась в амбаре и смерти избежала. Потом ее принял у себя аптекарь, и теперь она жила у него. Жила, как может жить лишь человек, который хоть и не мертв, но спокоен и отрешен ото всего, будто принадлежит царству усопших. Поэтому никто не докучал ей любовными приставаниями и предложениями. И всякий луч света — натуральный или искусственный,— падая ей на лицо, казался отблеском костра.

У нее был мягкий, покорный взгляд. С первого дня своего пребывания в аптеке занималась она самыми черными работами. Из вежливости ее никогда не просили зажечь свечу, когда смеркалось, или принести дров для очага. Она все понимала без слов и безропотно брала огниво и принималась за дело.

Итак, Христофор убедился: перед ним стояла не та, другая, не покойница. Он увидел нежный профиль, юное тело, гладкие волосы, падающие на лоб, когда она вставала на колени и раздувала угли.

Тремя днями позже он увидел ее за той же работой. И почувствовал здоровое животное желание.

Все случившееся далее можно объяснить и так: Колумб — в целях самозащиты — старался выглядеть пламенным католиком и здесь хотел

показать, что чудом спасшаяся еврейка Беатрис — для него не больше чем предмет. Он подошел и запустил руку ей под платье. Это видели все. Но никто не придал его жесту эротический смысл: ведь она была лишена субстанции.

Она смотрела на него молча и, должно быть, все понимала. Такая связь была бы весьма удобна для Христофора. Никто не станет судачить об их отношениях. Беатрис была даже не вещью, чем-то ничтожным и скверным, она, если хотите, не имела товарной стоимости. Хуже мавританской проститутки.

Она отдавалась покорно, нежно и никогда сама не испытывала наслаждения (видно, считала себя недостойной его или, как скажет потом Томас Манн, боялась прилепиться к жизни).

Но и Христофор из-за своей метафизической ущербности не воспринимал ее как что-то реальное. «Она вроде из плоти, но все-таки...»

Беатрис не жалела об уходящем дне и без радости встречала день грядущий. Восточная мудрость? Нет, просто-напросто она устала бояться и думать о неизбежной смерти.

Скорый конец — лучше долгой и мучительной тоски.

Ее экзистенциальное положение было столь отчаянным, что вздумай она пожаловаться на холодный суп или порезанный палец, это звучало бы дико.

И вместе с тем ни одна женщина не западет так глубоко в душу Колумба, как эта. Их *не-связь,* основанная на презрении экзальтированного христианина к нечестивой иудейке, продлится двадцать лет (до самой смерти).

Каждое их объятие было окутано тайным очарованием путешествия Орфея в мир мертвых. Она обитала в царстве смерти. Жертва, о которой, как видно, забыли палачи, ошибившись адресом в первый раз.

После того как они сошлись (но не соединились), Беатрис следовала за ним повсюду на расстоянии трех шагов — молчаливая, хрупкая, покорная. Как только они входили в аптеку, она скрывалась за стойкой и принималась за работу, а он садился в почетное кресло, в самый угол.

Ее *предсмертие* не давало им привыкнуть друг к другу. Как-то Христофору пришлось отправиться по делам в Мурсию. Возвратившись в аптеку, он спросил:

— Ты еще здесь?

Она кивнула, опустив глаза, как если бы то, что она еще жива, было случайностью или проступком.

Где бы она ни была, дома или в аптеке, рядом с ней лежал скромный узелок с самыми необходимыми тюремными вещами. С тем, что, по ее мнению, можно держать в застенках Святой инквизиции, пока не наденут на тебя предписанный костровым этикетом санбенито.

Когда Колумб, сидя в аптеке, распространялся о насущной необходимости уничтожать евреев, она согласно кивала из-за прилавка. А он говорил о чистоте крови, о глубинной связи с землей, о значении принципа — Один Народ, Одно Королевство, Одна Вера.

Через девять месяцев, день в день, родился Эрнандо Колумб (историк). Христофор окрестил его так в честь короля.

Она подняла завернутого в льняную мантилью младенца и важно, на глазах у повитухи и соседей, передала Христофору, будто говоря: «Возьми, он твой, и только твой. Родила его. я, но я — иудейка...»

Меж тем беспокойство Христофора росло. Казалось, за ним следили, шпионили. В те времена, как и при всяком терроре, нельзя было наверняка знать, для чего тебя призывают, кем собираются сделать — палачом или жертвой.

По правде говоря, Колумбу и в голову не приходило, что его грандиозные планы могли переплестись с планами иных людей.

Погромы принимали масштабы невиданные. Сомнений не было: у евреев отнимут в конце концов все — добро и земли. Завершится это страшным массовым изгнанием.

Диаспора искала землю, где укрыться.

Уже давно такие люди, как Сантанхель, Колома, маркиз де Мойя и другие влиятельные обращенные, знали, что нужно найти отчаянного человека, способного повести за собой еврейство в Новый Израиль.

Их планы предполагали два этапа: отыскать новые земли и отыскать золото (не у евреев), чтобы оплатить (не из своего кармана) исполнение великих замыслов Фердинанда и Изабеллы: разбить мавров, захватить Францию, подчинить себе папу, утвердив на престоле род Борджиа, и, наконец, овладеть миром.

До нас не дошли подробности тех совещаний, что происходили в финансовых фирмах. Очень мало действительно важного остается на бумаге, отсюда и изначальная необъективность исторической науки.

Точно известно лишь одно: таинственные эмиссары зачастили в аптеку Араны.

Сегодня мы уже хорошо знаем, почему Колумб долгие годы не решался проникнуть в центр правовращающейся галактики власти. Как замыслы короны, так и планы межнациональных компаний казались ему легковесными, мелкими, корыстными. Казались повторением уже давно пройденного.

Он же, как известно, был потомком Исаии. И мечтал о единственном в своем роде, важнейшем для судеб мира подвиге: о возвращении в Рай, туда, где нет смерти.

Да, еще можно было вернуться в сад, откуда Иегова изгнал доверчивого Адама. Можно преодолеть высокую стену. Яхве не сказал последнего слова и в последний миг остановил руку Ангела Изгоняющего, изумившись отваге и разуму человека. Иными словами: Прометей освободит истекающего кровью, скорбящего Христа.

Идея Колумба имела графическое воплощение: на пергаменте, сделанном из кожи нерожденного козленка, посреди Моря-Океана был отмечен пункт, где реальность перетекает в трансреальность и где посвященному дано перейти от ничтожности человеческого времени к открытому пространству вечности без смерти.

Разумеется, он не мог так запросто доверить свою тайну кому попало. Слишком рискованно. Но — чем выше истина, тем больше риск, размышлял Христофор.

Испанский папа вел к обновлению церковь, приниженную излишне благочестивыми клириками, культом смерти и монашеской ленью.

Родриго Борджиа, теперь уже Александр VI, папа римский, выехал на площадь Святого Петра следом за труппой негров-паяцев и за внушительным оркестром, играющим скорее военную, нежели церковную музыку.

Александр едет на белой лошади, одет в черный бархат, на поясе шпага и кинжал с золотой рукояткой. На груди — цепь с небольшим распятием — фигурка Христа из китайского нефрита.

Рядом с ним очаровательная Джулия Фарнезе, его любовница, чей брак он благословил, дабы иметь возможность всегда держать ее при себе.

Они возвращались из замка Сант-Анджело, где почтили своим присутствием благотворительный обед для народа (туда намеренно были приглашены проститутки и нищие из Рима). Долго еще на дороге от Лунготевере стоял запах перца, чеснока и шафрана.

Плебс, привыкший к макаронам и жареной свинине, угощали великолепной паэльей из цыплят, кроликов и креветок, приготовленной в огромных металлических котлах.

Папский стол обслуживали повара из Аликанте, для него был приготовлен нежнейший рис.

Следом за папой и Джулией Фарнезе ехала Лукреция Борджиа, одетая строго по-испански: черное платье, вышитая мантилья. Правда, плащом-накидкой и цыганистыми оборками она слегка напоминала героинь Федерико Гарсии Лорки.

Здесь же был и сын святого отца — Чезаре, кардинал Вениер, принц

и кардинал Орсини, архиепископ Неаполя и Сицилии, а также венецианские синьоры: Морозини, Гримальди, Марчелло, князья Колонна и Патрицци. Официальный палач дон Микелетто Корреджиа и отравитель при доме Борджиа — Себастьян Пиндзон.

Площадь была огорожена деревянными щитами, выкрашенными в цвета Ватикана. Был воздвигнут помост для знати и ложа под балдахином для папы, его любовницы и Лукреции. Таким образом, получилась импровизированная арена для боя быков. А далее произошло самое ужасное (этим несказанно возмущался Моммзен [1]). Дело в том, что единственным матадором предстояло стать кардиналу Чезаре Борджиа.

Первого, довольно вялого быка он сумел сразить с лошади одним ударом копья. Ко второму, очень опасному и будто взбесившемуся, долго прилаживался и наконец прикончил одним ударом большой шпаги, которую держал двумя руками. Тем самым Чезаре подтвердил свою славу «головореза» и показал, как ловко умеет управляться со шпагой.

Третьего быка он поджидал прямо у дверок загона. Жест красивый, но отнюдь не опасный. А невежественная итальянская публика ревела от восторга.

Четвертого он убил легкой рапирой — и положил начало изысканной моде. Отважно и проворно бросился меж рогов и помешал быку нанести нежданный удар.

Пятый, не успев вырваться на арену, вспорол брюхо нескольким лошадям и вызвал обмороки у местных маркиз. Чезаре подождал, пока крики утихнут, и взмахом красной кардинальской шапки посвятил быка публике. Бык был черно-белым, тонкорогим, слегка косоглазым. Стать его и порода были достойны высшей похвалы. С ним Чезаре испробовал неизвестный до сих пор прием, который заставил зайтись от крика понимавшую толк в корриде испанскую солдатню. Он дразнил быка пурпурным кардинальским плащом и принял атаку зверя вдохновенным выпадом. На один быстротечный, волшебный по силе напряжения миг человек и животное составили утонченно прекрасную фигуру, и красота затмила мрачный смысл противостояния.

Леонардо, военный инженер из Винчи, не смог удержаться и сделал несколько быстрых набросков, стремясь запечатлеть этот варварский и изысканный ритм. Он заполнил шесть блокнотных листов (к несчастью, они погибли во время пожара ратуши в Форли во время второй мировой войны).

Последний бык — пятнистый, красно-коричневый, с огромными рогами — дал Чезаре возможность блеснуть отвагой. Кардинал вел бой пешим, с плащом, обернутым вокруг руки. Папа, его родитель, млел от восторга, созерцая сию достойную пера Данте доблесть. Он не мог больше сдерживаться. И в тишине арены, устроенной на ватиканской земле, зазвучала испанская речь:

— Вытаскивай его, вытаскивай его из-за барьера, что он там у тебя прирос? Веди его понизу! Свободней, свободней! Теперь левой!

Для последнего удара Чезаре выбрал рапиру и нанес два добрых пробных и один финальный, к сожалению немного низкий, удар.

Послышались приветственные крики простолюдинов и одновременно — сдержанные, но резкие протесты христиан из тех частей Европы, где имели обычай изгонять беса жестокости иными способами.

Клирики, с телами, похожими на луковицы, сторонники сурового пиетизма, были возмущены.

Они, естественно, не сумели разглядеть в корриде обновленный символ гармонии. Им было неведомо, что бой человека с животным обретает разный смысл в зависимости от обстоятельств, свой для каждого зрителя. Быки на арене — точно гадальные карты. Привычные фигуры складываются в разные комбинации и могут означать предупреждение, пророчество или наставление.

---

[1] Теодор Моммзен (1817—1903) — немецкий историк, автор труда «Римская история».

Когда Александр VI покидал площадь вместе с Джулией Фарнезе, он понял смысл еще одного символа: вместе со свирепым пророком Джироламо Савонаролой уходит эпоха ненависти к телу, зависти, неприятия плотских радостей и умения быть счастливым. Еще во время боя с четвертым быком он принял внутреннее решение — сжечь Савонаролу на костре и пепел развеять над Флоренцией. Сжечь, как сам он сжигал на паперти в своем приходе венецианские гравюры с прелестными обнаженными девушками. И для церкви то будет концом целой эпохи.

На ночном празднестве было что посмотреть. Никогда еще не запускалось столько взрывающихся огнями и грохотом ракет. С особым радушием принимали венецианскую знать. Большие, умело подсвеченные картонные гондолы, казалось, плыли по воображаемому Canalazzo [1]. А в них юные девушки и женоподобные мальчики распевали такие песни, от которых святоши убегали, крестясь на ходу:

Помни, кто во цвете лет,—
Юн не будешь бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет [2].

Банкет в честь графа де Кабры возобновился лишь по прошествии четырех страшных лет. За годы гражданской войны спираль власти как-то скособочилась, теперь она вновь восстанавливалась, уже в Кордове.

Колумб все меньше стремился примкнуть к одной из «команд».

В душе он еще надеялся на генуэзских купцов и библейские предсказания. Все эти годы он читал, много читал. Больше всего — Библию, вместо семейной хроники.

— До чего замечателен Давид! А Исаия? Весьма мудр! — восклицал он, пока Беатрис, как всегда молча, сушила у окна вымытые в настое левкоя (чтобы Христофор не почувствовал аромат смерти) волосы.

По вечерам Колумб все так же болтал с философами из аптеки. Случалось, запирался и что-то сочинял, считал себя поэтом и верил, будто любое великое деяние — частное или общественное — должно венчаться великой книгой. Только тогда оно обретет истинную значимость.

В аптеке обсуждались детали банкета.

Как стало известно, корпорация германских оружейников (они были извечными соперниками оружейников фламандских и мечтали заполучить рынок с большим будущим) привезла огромного механического дракона. Сраженный святым Георгием, он выпускал на волю голубку (из плоти и перьев). Голубка, выученная с помощью хитроумных пыток, сначала в растерянности кружила в небе, а потом находила приют на груди королевы Изабеллы.

Было очевидно: достижения механики и чудеса часового искусства подвели мир к порогу беспрецедентной технической революции.

На банкете подавали незабываемых куропаток в лимонном соусе. О них так пишет хронист Фернандо дель Пульгар:

«Если ранее летали они вольно в окрестностях Бальсы, сегодня, подрумяненные на огне апельсиновых поленьев, летают они еще выше — будто ласточки в небе монаршего гурманства. Сытным своим мясом, смертью, наступившей в нужный час, заслужили они завиднейшую из судеб — доставить наслаждение королям».

Но той веселости, что царила здесь в былые времена, уже не наблюдалось. Мешала тяжелая атмосфера супружеских раздоров.

Вокруг Фердинанда так и вилась Альдонса Аламан. Теперь он почти не обращал внимания на Беатрис де Бобадилью, утомившую его своим высокомерием.

Фердинанд неизменно брал с собой Аламан на все военные церемонии.

Изабелла — живое воплощение страдания и упрека — ходила в одежде кающейся грешницы. Случалось, надевала и власяницу и при этом громко что-то выкрикивала на латыни.

---

[1] Одно из названий Большого канала в Венеции *(итал.)*.

[2] Лоренцо Медичи. Вакханическая песня. *Перев. Евг. Солоновича.*

Ярость ее обрушилась на Бобадилью: Изабелла обвинила ее во всех смертных грехах и выдала замуж за губернатора Канарских островов. Изощренная форма устранения соперницы: наказывать награждая.

Всего за две недели до того появилась на свет Хуана Безумная. Долго ждать не пришлось, очень скоро показала она свой странный и трагический нрав. Придворные священники, астрологи и прорицатели узрели в том грозную печать рода Трастамара.

Изабелла убедилась: она рождала на свет детей слабых и Испании еще долго будет нужна ее твердая рука.

Инфант Хуан был необыкновенно умен, но настолько нежен, что однажды, когда конь его понес, не мог решиться натянуть узду (чтобы не причинить животному боли железным штырем) и чуть не погиб.

Ситуация была крайне сложной. Пришло новое сообщение. Великий Турка напал на Родос, сровнял его с землей и намеревался растянуть занавес из ятаганов до юга Италии, до Отранто. Фердинанд решил встать во главе сорокатысячного войска и покончить с арабским вопросом в Испании.

Именно так начался последний поход — на Гранаду.

Хроники доносят до нас подробности великого подвига. Разгром графа де Кабры в Моклине. Затем — путь войску Фердинанда преграждает гора между бастионами Камбиса и Алабара. Изабелла и епископ Хаэнский нанимают шесть тысяч землекопов, и те срывают холм, мешавший пройти артиллерии. На все потрачено двенадцать дней. Путь к победе для Фердинанда открыт.

Потом — Малага. Поражение турецкого флота на Мальте. Задержка в Альмерии. Каравака-де-ла-Крус. Осада Басы. И наконец, падение славного Гранадского королевства, падение короля-поэта, который теперь мог, как женщина, оплакивать то, чего не защитил как мужчина.

После 777 лет магометанского владычества имперский католицизм воцарился повсюду.

Всем стало понятно: начинался новый период — период моря, хотя пламя костров еще полыхало.

Священная война завершалась, и пора было — непременно — спасать мир.

В аптеке строились скептические прогнозы.

И вот однажды в полдень там услышали звон сабель и цокот копыт, которые замерли перед их дверью.

Мальчишка-посыльный подсмотрел в щелку: воины Святого братства заполнили всю улицу, так что ускользнуть было невозможно. Люди в черном с белыми крестами на груди замышляли что-то важное. *Погром* или просто выборочную проверку?

Беатрис Арана поняла. Молча, покорно отпустила она фунт пиявок вдове Торреса, тщательно, чтобы не осталось тины под ногтями, вымыла руки, поправила перед мутным зеркалом валик волос и взяла узелок смертницы.

Ровно попрощалась с каждым по очереди.

— Пока, Бернабе. Прощайте, сеньора Торрес. Счастливо оставаться, дядюшка. До свидания, дорогой Христофор...

И спокойно направилась к двери, но проход уже перегородили толсторожие воины Братства.

— В сторону! — приказали ей.

— Мы разыскиваем Колумба Христофора, или Христовао де Коломб, или Колона Мальоркинца. Блондина с голубыми глазами. Приказ Королевского дома. Велено доставить ко двору.

Беатрис посторонилась. Она была разочарована, покончить со всем разом не удалось.

Колумб, раздувшись от гордости, вышел. Он ни с кем не попрощался. Почему-то он верил — его не убьют. Верил — пришел его счастливый час. Христофор был игроком, и теперь к нему пришла счастливая карта.

Он сел на мула, будто век на них ездил, и в окружении неразговорчивой стражи, которой был дан приказ доставить его в условленное место, тронулся в путь.

Его привели в бывшую мечеть Кордовы. Двор Апельсиновых деревьев. Святые братья удалились. Он остался один, верхом на муле. Неумолчно звенел фонтан. Уже сам звук его рождал ощущенье прохлады среди полуденного зноя. Мул время от времени взмахивал хвостом, отгоняя мух.

Колумб наконец решился спешиться и двинулся к скромным вратам этого седьмого чуда света.

Он вошел в лес, тенистый и почти прохладный. Стройные стволы колонн. Робко и боязливо шагнул вперед — во дворец божества, побежденного политикой.

Из темноты до него долетел громкий взрыв хохота, осколки которого были подхвачены эхом.

Он шел, словно кошка, входящая в незнакомый дом. Где-то рядом, в рощице мраморных колонн кто-то быстро пробежал, и вновь воцарилась тишина.

Молнией сверкнула догадка. Он помертвел от ужаса.

Там, в полутьме, различил Колумб легкую фигуру, летящую в танце. Босые ноги на хладном мраморе.

И певучий голос со смехом произнес:

— Ко-лумб! Ко-лумб! Ко-лом-бо...

Жалкая копия того божественного гласа, который посылало ему когда-то море.

Новый взрыв смеха. И тут же иной голос — властный, мужской. И опять тишина.

Он ясно различил в просвете меж колоннами силуэт женщины, одетой в греческую тунику или просто окутанной вуалью. Она танцевала.

Прекраснейшая из женщин. Колумб почувствовал страх, любопытство и желание.

У нее были прямые длинные волосы. Ноги женщины с волнующим сухим стуком касались пола и спешили оторваться от него, газовые одежды взвивались вверх. Ему чудилось, что до него долетало ее дыхание, дыхание женщины-самки.

Да, то была она. Он упал на колени. Его душило волнение, какой-то священный ужас, словно в небе внезапно появилось светящееся тело.

Круг танца сужался. Что это? Сегидилья? Ритм движений настолько четок, что заставляет услышать несуществующую музыку. А танцовщица не перестает улыбаться.

У Колумба не было больше сил, он рухнул спиной на плитки пола. Страх сковал его члены.

Танцовщица сделала два круга вокруг поверженного мужчины и наконец остановилась рядом. Он ощутил, как нога, хранящая свежесть мозаичного пола, опустилась ему на грудь — жаркую и трепещущую. Грудь жалкого плебея.

Губы Колумба дрожали, но ему никак не удавалось разрядиться плачем. И тут он познал нечто совершенно неожиданное: мужская плоть его втягивалась внутрь, точно улитка, почуявшая опасность.

Он дерзко скользнул взглядом по прекрасной ноге, увидел тонкую лодыжку, очертания сильного бедра. А выше — синюю тьму полуночного моря.

Дикая страсть заполнила все его существо, но — как ни странно — то, чему следовало возмутиться, оставалось спокойным.

Ее присутствие, тяжесть ее ноги на груди — все это несло Колумба к берегу несказанного блаженства.

Естественно, он не мог знать, что испытывал то редкое эротическое состояние, которое, по выражению некоторых ученых, ведет к «экстрагенитальной поллюции», или «интраоргазму».

Все обращается внутрь, тьма сперматозоидов, бунтуя, выбрасывается в поток крови и вместе с ней проходит сквозь мускулы, попадает

в органы — в каком-то диком, неистовом cross-country (или cross-body) [1].

Хотя от прародителей наших ведется, что должны они стремиться наружу, отыскивая «другого».

Колумб чувствовал, как вены и артерии его наполнялись кипящим, играющим вином Шампани (или сидром — такое сравнение в его случае более уместно).

Душа его, смятенная мучительным желанием, расправляла крылья. Глаза сияли в темноте золотистым огнем. Крошечные отважные борцы, несущие в себе невероятную силу наслаждения и оплодотворения, заполнили все уголки его тела — от большого пальца ноги до кончика носа.

Миллионы легких, но настойчивых и тревожных толчков. Так ищет выход к свету рождающийся младенец. Поры Христофора раскрылись, ему захотелось смеяться, хохотать, словно по всему его телу прошлись щекоткой.

Именно тогда достиг он второй высоты паноргазма. Вся кожа его трепетала — как пыльный коврик, что выбивает у окна старательная португальская горничная.

Он достиг ауры, глубокой, как небо.

Уши заложило, будто он резко перенесся на большую высоту. Глаза, как у эпилептика, вылезли из орбит.

Всего лишь краткий миг, но дал он наслаждение неизмеримое. Всего лишь миг, но был он насыщеннее целой жизни аскета или учителя латыни.

Семя вышло из него вместе с влагой пота. Едва различимым запахом молотого эстрагона.

Он лежал, весь покрытый млечной сукровицей, нестерпимо усталый: руки, пальцы сделались вдруг свинцовыми.

Нам сегодня не так уж трудно — в свете достижений психоаналитической науки — объяснить данный случай: потенция плебея Колумба была блокирована присутствием королевы. Торможение, вызванное классовым неравенством.

Пред ней, королевой, плоть его стала недвижна. (Потому ошибается великий Алехо Карпентьер, предполагая, будто существовала сексуальная связь, полноценная и свободная, между мореплавателем и его госпожой. Благородный демократический пафос приводит Карпентьера к извинительному заблуждению. Но этого просто быть не могло. Абсолютно. В физическом плане робость плебея оказалась полной, тотальной. Но в то же время тотальной была и его метафизическая раскрепощенность, потому и достиг он освобождения через паноргазм.)

В роще недвижных колонн они также застыли недвижной фигурой, будто из камня изваянной.

Вот так стал Колумб адмиралом Моря-Океана (а еще он получит восемь тысяч мараведи, право называться доном и носить золотую шпору).

А Изабелла продолжила свой молчаливый танец. Теперь она удалялась, скользя, описывая ровные круги, будто чертила спираль.

И снова раздался грубый хохот. Так обычно смеются арагонские крестьяне.

Потом колпаком опустилась тишина, и он, должно быть, потерял сознание. А очнулся от ударов и пинков воинов Святого братства.

— Ну пошли, пошли! Иудейское отродье!

Они смеялись. Снова пинали его. Он попытался улыбнуться, задобрить их.

Дневной свет ослепил Колумба. Он вновь очутился на том же муле. Ему сказали, что жалованье заплатят после первого марта и что одиннадцатого он должен явиться ко двору. Королевская свита будет репетировать церемонию вступления в покоренную Гранаду.

Они ушли, гогоча и поплевывая бобовую шелуху. Грубые животные. Чиновники! Что с них взять!

---

[1] *Здесь:* встречном вихре *(англ.)*.

То, о чем мы только что рассказали и чему, по общему мнению, столь важную роль суждено было сыграть в судьбах Запада, случилось 9 апреля 1486 года. Колумб знал: пережитое им в тот день словно печатью скрепляло великий договор. Королева стала его тайной союзницей в самой тайной из авантюр — поиске Рая!

Воины-орлы и воины-леопарды смотрели на него недоверчиво. Они были верны своему богу — Тескатлиплоке, богу-воину, вечному противнику всезнающего и хитрого Кецалькоатля. Но Мехикатль Теоуаицин, Верховный Жрец, готов был к тому, что их нелегко будет заставить вникнуть в настоящую теологию. Ведь известно: «солдат думает ногами, действует руками, а в конце концов расплачивается за все головой».

Да, они молоды и красивы. У них несгибаемая воля. Но к несчастью, они слишком верны принципу Эффективности.

Сейчас они сидят на длинной скамейке вдоль стены, расписанной символами орлов и ягуаров, в зале Посвящения Главного Храма Теночтитлана.

Великолепное утро. Прозрачный воздух. Чистейший воздух. Ветер принес его из Теотиуакана, «края безоблачной ясности».

Едва золотится нежаркое солнце. Умирающее солнце, чьи щупальца-лучи уже обглоданы черными орлами — эмиссарами ночного поднебесья и первозданного хаоса.

Кровь тысяч воинов, принесенных в жертву при открытии храма Уицилипочтли, не вдохнула жизни в анемичное светило.

Священник посмотрел на воинов сурово, властно и сказал:

«Нет! Нет же! Люди, что придут из-за моря, бородатыми будут. У одного из них борода будет рыжего цвета. Они уже близко (есть донесения). Нет! Они отнюдь не дзидзимины — демоны мрака, ждущие в глубине восточного неба, когда наступит час пожрать последнее поколение людей. Нет!

Те, что теперь направляются к нам,— последние из младших богов. Идут они из Великого Моря. Ведет их Кецалькоатль, он и предсказал их пришествие. Говорю вам: они бородаты, добры и, возможно, даже слишком похожи на людей...»

Воины-орлы и воины-леопарды глядели на него со спокойным изумлением, как люди, привыкшие доверять только ловкости собственного тела и крепости рук. Они уважали теократический порядок. И никто из них не отважился возвысить голос сомнения.

А Мехикатль меж тем напомнил им строки священного поэта:

Всякая луна
Всякий год
Всякий день
Проходят свой путь и исчезают.
Так же и всякая кровь
Спешит туда, где ждет ее покой.

О близком будущем он говорил им с уверенностью профессионального мечтателя:

«О! Те, что спешат сюда,— несказанно хороши! Они дети мутации. Добрые! Они щедры себе во вред: вынут хлеб изо рта, дабы утолить голод ваших детей. Знаю: их человекоподобный бог повелевает им возлюбить ближнего своего, как самого себя. Они не несут нам гибели, так как ненавидят войну. Они будут уважать наших женщин, потому что бог их — бесконечно справедливый — велит им не желать жены ближнего своего. (И в этом они особенно строги.) Они поклоняются книге, написанной мудрецами и поэтами. Их бог — несчастный человек, претерпевший муки, пытки и погибший от рук военных. Они не презирают слабого! Слабого они любят!

Я говорю, возвещаю вам: они ненавидят войну, жестокость и насилие. В чем же их сила? — спросите вы. И я отвечу: в доброте и любви. В этом их сила.

Видя раненого, лобызают они язвы его и врачуют их. Даром накормят голодного. Укажут путь слепцу. Им ненавистно богатство, ибо они почитают его сетью, расставленной демонами зла.

Как стало известно, если кто-то ударит их, с кротостью подставляют другую щеку, дабы получить еще один удар. Можете ли вы себе такое представить?

Однако не отворачиваются они и от суетной жизни: умеют приумножать пищу, вещи, дома. Покорили они молнию небесную и заточили в металлические трубки длиной в руку...

А теперь я спрошу вас, воины: если они покорят нас, не будет ли то и нашей победой?

Вот почему вождь из Тескоко — с присущей ему благородной мудростью — в год 4-Калли приказал закрыть военные школы.

Наступает цикл доброты. Зачем нам оружие? Приходит солнце братства и цветов. Вспомним же песнь Уэксотсинго:

Вот так я и должен уйти?
Как увядают цветы?
Ничего не останется от моего имени?
Моя слава здесь, на Земле,— ничто?
Пусть — хоть цветы!
Пусть — хоть песни!

III

ВОДА

Хронология

1492—1502 Отплытие, которому суждено продлиться десять лет. Крест-виселица (запатентовано в Испании). Девственницы оптом. Сеппы и молоты. Необычное явление Иеговы. «Только один ищет Рая, остальные бегут из испанского ада».

1492 Владения Кровавой Дамы. Попытка адмирала бежать весьма необычным путем. Цирцея: пароксизм и жестокость женского лона. Открытое море. Два пути развития западной диалектики.

1492 Сентябрь-октябрь. Тайные знаки. Mare Tenebrarum [1]. Ничто и Бытие сливаются: двусмысленное явление умерших. Образы грядущего. «Rex». «Queen Victoria». Броненосцы. Тракончана и ее зловредные последствия для дисциплины. «Mayflower». Румба Лекуоны несется над морем.

1498 4 августа. Omphalos [2] земли. Наслаждение. Земной Рай! Голый адмирал. Вступление в земли не-смерти.

— Похоже, все, кто здесь есть, торопятся убежать из ада,— заявил скептику Сантанхелю толстый, как боров, марран [3], агент мультинациональных компаний при испанском дворе. Он сам лично вложил миллион мараведи в это никому не внушающее доверия предприятие (деньги не слишком большие, можно и рискнуть). Сантанхель повернулся к Колумбу, окинул его вызывающим, почти неприязненным взглядом и спросил: — А вы, что думаете по этому поводу вы?

И Колумб ответил, собрав все те крохи скромности, которые еще в нем оставались:

— Думаю, что я единственный, кто отправляется на поиски Рая и земель для неправедно гонимых...

Сантанхель решил, что речь шла о какой-то очень сложной метафоре.

---

[1] Море тьмы *(лат.)*.
[2] Пуп, центр *(греч.)*.
[3] Нечистый (относится к евреям).

Как известно, все безумцы обожают поэтические преувеличения (если не впадают в другую крайность и не стремятся к сугубой точности).

Как бы то ни было, Христофор уже стоял на капитанском мостике «Санта Марии». Было 2 августа 1492 года. Ясная лунная ночь. Так случилось, что это плавание длилось почти десять лет (1492— 9 мая 1502). Адмирал видел, как несколько раз повторялось все то же. Немного иными были декорации. Итак, с мостика «Санта Марии» он следил за погрузкой «Марии Галанте» (Кадис, 1493), или «Галисийки». Грузили лопаты, мотыги, кирки, блоки, токарные станки, Библии, колеса. Ведь там природа «еще не покорена человеком». И люди верят, что просто обязаны превратить крокодилов в портсигары, ягуаров — в дамские манто, змей — в шланги для поливки газонов! Люди готовятся к широкому и глубокому наступлению на природу — во имя *дела,* с презрением к чистому *бытию*. Упадническому бытию.

— Грузи! Давай! Давай!

Братья Пинсон успевают приглядеть за всем, все проверить. Они знают, кто трудяга, кто лентяй.

— Ну-ка! Под песню моря! Давай!

Ремнями и веревками крепят балласт. Присматриваются, верно ли распределен груз.

Пристань переполнена завтрашними вдовами и возможными сиротами. Наперебой предлагают себя искатели приключений.

Мотки веревок. Солонина. Мешки с солью. Пласты вяленого мяса. Связки едкого чеснока. Свиные ножки в бочках с жиром. Горы сушеных тунцов и катранов — уже не рыбы, а скучный намек на рыб.

Кто-то сгибается под тяжестью мешков с мукой. Кто-то подвешивает длинные бурдюки из оленьей кожи, наполненные порохом,— туда, где повыше, куда не достанут морские брызги.

Большой крест никак не удается уместить под палубой. Его укрепляют рядом с маленьким запасным якорем. На хрупком бледном теле Христа ярко горят традиционные алые капли. Есть и настоящий терновый венец, только сейчас он не на челе: его прикрутили бечевкой к пронзившему руку гвоздю — чтобы не пропал за время плавания (так стараются понадежнее приладить шляпку куклы-марионетки в цыганской таратайке).

Объятия. Смех. Плач. Среди мешков шныряют цыганята. Проститутки дефилируют между пристанью и ближней рощей. Стражники Святого братства жуют фисташки и тупо сплевывают скорлупки. Бесцветные, мутно-серые, словно кактусы-альбиносы.

Адмиралу снова становится плохо. Его замучил понос: ведро в его каюте выносили уже одиннадцать раз. В темноте он ловит ухмылки и перемигивания. Весь этот сброд тайком потешается над «генуэзцем». Иберийцы спешат выместить свою досаду и говорят, что он просто струсил.

Со стороны рощи доносятся голоса еврейских матерей. Им запрещено появляться в порту. А здесь за каждым их шагом следят грабители. Голоса их глухи, в них нет ни гнева, ни смирения (3 августа — последний срок, до которого все евреи должны покинуть Испанию). Они просят, но, конечно, впустую, чтобы их сыновей взяли на корабли.

Как трудно им было добраться до побережья! Какие страшные испытания пришлось преодолеть! На них нападали, их грабили. Но некоторым все-таки удалось сберечь — в самых укромных местах — золото и драгоценные камни, чтобы было чем заплатить за жизнь своих чад.

Опять и опять горестный хор поет старую поэму Иммануэля Бен Саломо́:

О Господи, убей меня,
Все равно буду верить в тебя,
У тебя искать защиты!

Иного выхода нет: придется вести переговоры с мавританскими пиратами. Те уже ждут. Вон там, на берегу у Айямонте, горят их огромные костры. Пираты устроят им страшные промывания — из морской воды с порохом. И в поисках золота и жемчугов в нетерпении будут рубить

напополам стариков — одним ударом сабли (так швейцарские таможенники потрошат подозрительный мешок). Будут насиловать и продавать хрупких еврейских девушек, воспитанных на субботнем талмуде и под нежное пение флейты. Будут ослеплять юношей, чтобы, закованные в цепи, работали они на марокканских водокачках.

Меж тем Колумб слушает, как выкликают фамилии завербованных. Пинсон делает пометки и строго следит за теми, кто поднимается на борт:

— Хуан де Медина, портной! Зачем нам портной? Чтобы шить паруса! Проходи. Рейналь Хуан, Гарсиа Фернандес, Фернандо де Триана. Дальше! Поторапливайся! Вперед, по одному! Ткач, с поручительством от Хуана де Могера. Проходи. Абраэс, Руис де ла Пенья. Многовато басков! Перес. Давай!

Родригес де Эскобедо, нотариус. Он требует особого места и особого к себе отношения. «Место посуше, где можно было бы без опаски хранить официальные документы».

Луис де Торрес, толмач. Он знает арабский и халдейский, сможет понять и обитателей Индий, и пионеров далеких колен Израилевых.

Боцман Чачу следит за погрузкой тюков.

Плотники, конопатчики, канатчики, парусные мастера, бондари, маляры. Есть даже один ювелир и промывальщик золота, ловко вставленный в список агентом Дома Спинолы.

На борту слышна итальянская речь: Джованни Везано, Антонио Калабрес, Микель де Кунео, Джакомо Рико.

Со своего мостика Адмирал видит, как скачет к ним всадник. Говорит неприступной страже, что прибыл из Севильи. Он весь покрыт светлой пылью и в лунном свете кажется призраком.

Он называет свое имя и передает Адмиралу еще одно послание от Сантанхеля.

Кладет на перила плащ и шляпу, ждет, пока Колумб прочтет последнее письмо от влиятельных марранов:

«*Bnei Israel* [1] поведали нам о желтых евреях, которых встретишь ты в Катае и на Сипанго. Есть верные сведения и о царстве хазаров. Запомни, вождь их Шахан Булан умер, но в ангельском обличье продолжает управлять ими. Есть еще десять колен за реками Самбатион и Евфрат. Попытайся войти и с ними в контакт, они помогут нашему народу в беде, мы в этом не сомневаемся... Они существуют, ты убедишься в этом, как только ступишь на остров Киш: там хранится священное зеркало Храма Соломонова. Но не вздумай смотреться в него: оно крадет отражение. Втягивает в Иной Мир. Даже не пробуй. Сейчас у нас 1492 год: он назван в Кабале как год избавления после долгих горестей.

Ты ниспослан нам! Евреи Азии ожидают тебя, дабы обрести — для всех нас — землю обетованную. Исполни свою Миссию: ты должен достигнуть реки Самбатион. Мы определили на корабль и других людей, но у них свои задачи. К берегам Самбатиона! Там, да поможет нам Иегова, заложим мы Новый Град! И поспеши покинуть эти берега раньше, чем истечет срок, определенный евреям,— иначе покончат с ними немилосердно и безнаказанно! Помни: если тебя постигнет неудача, то будет победа царей ночи, тогда они смогут довести до конца задуманное. Пусть не беспокоят тебя расходы. *Eretz Israel*! [2]»

И он передал Адмиралу секретнейшие карты, упрятанные в кожаный мешочек. Потом так поспешно покинул корабль, будто за ним гнались.

У Колумба не было времени высказать ему свои сомнения.

Теперь, как и раньше, ему были абсолютно чужды все эти цели — имперские, спасительские или коммерческие. От похода в Индии он ждал совсем иного, нежели короли, купцы или бегущие костра иудеи.

Он был совсем одинок и никому не мог рассказать о возложенной на него тайной — и великой — миссии: найти начало океанских вод, откуда посвященный мог бы проникнуть в недоступные доселе — потерянные! — земли Рая Земного!

---

[1] Дети Израиля *(иврит)*.

[2] Государство Израиль! *(иврит)*

Ему было ведомо: есть такая точка планеты — и немногие избранные сумели угадать ее,— где лежат территории, утраченные из-за слабости Адама и вероломства его жены.

И эти места все еще оставались царством *не-смерти*. Волшебные сады. Без коварных яблок, без говорливых змиев, без греха. Там живут новые адамы и у них есть новые жены — с роскошными длинными волосами, нагие и стройные (как та утопленница, предшественница леди Годивы, которую нашли на берегу Голуэя, в Ирландии).

Адмирал записал в своем Секретном дневнике:

«Стройные тела, гладкие волосы, золотистая кожа. Они погибли, ибо были наказаны — наверняка за какие-то любовные шалости — и из райского тепла выброшены в липкий туман ирландских земель».

Адмирал сам был на том берегу, сам любовался нагими телами, вокруг которых уже рыскали бродячие псы. А веснушчатые священники щедро лили на усопших святую воду. Он сразу понял: ангелами они не были. Они — люди, совсем как те, что были раньше, давно, до того, как начали вырождаться в наказание за первородный грех.

И надо найти те бескрайние, счастливые земли! Надо доплыть до них! Только в них спасение. Вот единственная империя, за которую стоит бороться. Все прочие человечьи заботы — замкнутый круг, суета, ничто!

И он, потомок Исаии, должен был взвалить себе на плечи тяжкий груз ответственности. Он откроет то место, где теряют смысл все наши умствования, где разрывается сеть-ловушка, сплетенная из двух нитей: Пространства и Времени.

Нет, он не повторит проступок неразумного Адама. Не станет красть злосчастных яблок. Пришла пора зрелости. Мы должны вновь попасть туда, где растут эти яблоки!

Плыть все время на Запад! Вот путь посвященных. А как поступит Господь? Велит ангелам с огненными мечами покарать их? Сумеет ли он, Адмирал, преодолеть Райскую стену, как когда-то Енох и Иешуа Бен Леви?

Какая тяжкая ноша! Как он одинок! Его цель выше любых самых тщеславных замыслов самых тщеславных из земных героев. Его не оставляют сомнения. Да и просто страх. Он вновь ощутил, как вихри закрутились у него в животе.

Да, он знал — и скромность здесь неуместна,— что идет на подвиг, достойный Авраама, Моисея, Давида...

Его лихорадило, холодный пот проступил на лбу. Казалось, целый мир всей своей тяжестью лег ему на затылок.

Но еще есть время. Бежать!

Представилось: вот он собирает самые важные бумаги (план пути в Рай, заметки к Библии и Кабале), под покровом темноты выскальзывает наружу. «Пойду разомну ноги»,— бросает он Пинсонам, стоящим на страже у сходней.

Бросить все! Бежать с Беатрис и мальчуганом. Затеряться в безвестии, научиться радоваться простой — без всяких подвигов — жизни. Открыть аптеку во Фландрии или колбасную лавку в Порто. Бежать от Истории!

Он вернулся в рубку. Ему опять понадобилось ведро. Затем взял бумаги, записи, сделанные за долгую жизнь. Жизнь искателя абсолюта.

Как это легко! Предать всех, бросить за несколько часов до отплытия.

Представилось: «А где Адмирал? Куда подевался Адмирал?» Растерянность в голосах. А он в это время на муле уже едет в сторону Кордовы. И никто-то его не знает, никому-то он не нужен. Как легко!

Он будет растить Эрнандо, научит его ценить уют посредственности, они отгородятся от мира скорлупкой розничной торговли.

Адмирал вышел из рубки, в лицо ему ударил какой-то необычный ветер. Как-то иначе плыли облака. Он упал на колени, пронзенный страшным предчувствием. Жуткий, почти животный страх, паника.

Что-то содрогнулось в небесах. И из мрака ночи явилось Видение. Все вокруг потеряло значимость, умерли звуки на пристани, и слуха его коснулся идущий издалека, звенящий мужеством глас (само собой, не баритон):

— О маловерный! Встань! Я обращаюсь к тебе! Забудь свой страх! Не бойся, верь! Все, что выпадет тебе на долю, начертано на мраморе, и на то есть причины. Разве пойдешь ты против Бога всемогущего? Против того, кто отличил тебя в самый миг твоего рождения, кто скромное твое имя заставил звучать в обители вышней Власти? Внемли: тебе вверяю ключи от пут, замыкающих Море-Океан. В тебе ли должен я обмануться? Какую судьбу изберешь: вола покорного либо орла? Вспомни, что пастуха Давида сделал я царем Иудейским. А тебя — Адмиралом, Сеньором Золотой Шпоры. Вперед! Тебя ожидаю...

Ощутил он гордость и робость пред лицом misterium tremendum [1].

Рухнул на палубу, словно лебедь со сломанной шеей. Обессиленный, опустошенный, обмякший.

Затем попытался, как мог, восстановить силы. Так скомканная рубашка жаждет вернуть себе форму тела хозяина.

Меж тем на пристани разложили огромный стяг и краской рисовали на нем крест и инициалы Фердинанда и Изабеллы.

«Здесь только один стремится в Рай, остальные бегут из ада». И как тяжко сие бремя!

Он видит группу евреек из Центральной Европы. Убегая от царских погромов, они попали в иберийскую западню. На них желтые платки, они поют хором, обреченно:

Новый Град!
Новый Град!
Gute Winde!
Gute Winde! [2]

Четверо молодых священников кокетливо примеряют облачения, сшитые их провинциальными тетушками. Они молитвенно складывают руки, паясничая, делают два-три поворота и наслаждаются собственной развязностью.

Грузчики, обливаясь потом, с помощью блоков втаскивают на палубу крест-виселицу. Сооружение из крепкого дерева, годное сразу для двух целей. Оно будет водружено на Эспаньоле (испанское изобретение, имеет надлежащую епископскую лицензию, которая хранится в Ватикане). К его подножию на Святой неделе станут идти via crucis [3], и здесь же в течение года (и прямо скажем, довольно часто) будут находить бесславный конец воры, убийцы и бунтовщики.

Падре Лас Касас, непоколебимо уверенный, что со временем быть ему причисленным к лику святых, прощается с сестрицами и кузинами. Они принесли ему в дорогу сахарные леденцы и красные панталоны (весьма похожие на обычные домашние шаровары с резинкой, если говорить честно). Это — намек на ожидающий падре епископский сан. Юный миссионер принимает сей дар со скромным достоинством и извиняюще улыбается.

Фрай Буиль пересчитывает экземпляры «Книги методов ведения следствия», принадлежащей Инквизиции, и все то, что к ней прилагается: блоки, неаполитанские сапоги с трубкой для вливания кипящего масла, две дюжины санбенито из грубого полотна, щипцы для экстракции ногтей, зубодробильные зажимы, тостеры для гениталий, несколько пар китайских крыс на развод. А также пики для церковных дозоров, которым предстоит крушить *интиуатанов* и других дьявольских идолов.

В спешке, обливаясь потом, прибывают падре Скварчиалуппи и Бонами:

— Credevi che no ce la facevamo! [4]

Они везут с собой коробку с церковными облатками и две огромные бутыли с вином, чтобы хватило на то время, пока за морем вырастут собственные виноградники.

А озабоченный падре Вальверде, не выпуская из рук кружку для подаяний, вопрошает:

---

[1] Ужасная тайна *(лат.)*.
[2] Попутного ветра! Попутного ветра! *(нем.)*
[3] Крестным ходом *(лат.)*.
[4] Ты думал, что мы не справимся! *(итал.)*

— Не видели, куда подевалась рака с фалангой святой Лусии?

Библии, катехизисы, пять пачек чистых бланков с папским благословением и штампом «Aloysus — Cardenalis — Katzoferratus».

Дешевые скрипочки — чтобы укрощать бурные индийские шествия. Трубки для орга́на. Алтари в стиле барокко — складные, с толстозадыми putti [1] серийного производства. Одним словом, католицизм, льющий через край, почти — на турецкий манер, почти — как при Бурбонах. Первый великий звуковой фильм Запада, первый son et lumière [2].

Построенные в два ряда, застыли на пристани полторы дюжины новеньких дев. На восковых лицах будто приклеено туповатое и одновременно насмешливое выражение — точно у португальских прачек в день причастия.

Они взойдут на троны в своих святилищах: Канта, Гуадалупе, Мутото, Росарио. Некоторые сделают карьеру: будут творить чудеса или станут покровительницами войска (в походе их повезет на крупе своего коня мрачный полковник, а рядом будут трусить итальянский кардинал и североамериканский консул).

Цыганята крутятся вокруг и задирают подолы их туник, расшитых драгоценностями из бутылочного стекла — ad usum indianis [3],— и хотя видят под ними лишь в спешке обструганные и ошкуренные доски, эта первозданная нагота все же возбуждает, и они дружно мастурбируют, точно стайка обезьянок, подражающих скрипачам в аллегро «Полета шмеля».

— Пусть их, ведь девы еще не освящены,— в бессильной злобе шепчет падре Пане.

Ульрих Ницш вместе с другими ландскнехтами пытается проникнуть на корабль. Он делает знаки Адмиралу, стоящему на полуюте, но тот не видит. Он замечает обычно лишь то, что желает замечать.

Прокладывает себе путь доктор Чанка с целым складом лекарств и простейших хирургических инструментов. Еще он несет две посудины с пиявками в иле и, проходя мимо ландскнехта Сведенборга, спотыкается и роняет банки, содержимое которых полагает весьма полезным при лечении простуды и последствий обычной для тропической ночи холодной росы.

Ксимено де Бривьеска, государственный чиновник, спорит с врачом и недоверчиво пересчитывает пачки бельгийских презервативов высшей марки, спрос на которые подозрительно вырос. Он не слушает возражений и заставляет открыть коробки: и видит сухие, сплющенные кишочки, пересыпанные рисовым тальком. Крошечные бледные призраки, точно бесплотные изделия французского пекаря. В те времена они еще делались из бараньих кишок — с узелком на конце (но скоро уже появится и американский каучуковый сок). Сначала их везли, чтобы обойти церковный запрет на «плотские контакты». А теперешний бурный спрос объяснялся быстрым распространением сифилиса (который благодаря семантической победе испанской дипломатии стал называться «французской» либо «неаполитанской» болезнью).

Одна из самых забавных сцен третьего по счету отплытия была связана с закованным в броню рыцарем Хименесом де Кальсадой. Он свалился в воду с подъемной стрелы, и восемь расфуфыренных проституток бросились его спасать. Благородному сеньору кинули веревку, позаимствованную у какого-то францисканца, и не дали пойти ко дну.

Кто есть кто в этой пестрой толпе? Иудеи, переодетые монахами, в подштанниках, набитых часами и серебряными ложками. Священники в костюмах мушкетеров (агенты Инквизиции или Ватикана). Шпионы английского двора (записанные в судовой журнал танцовщиками).

Удрученные скорым отплытием сутенеры поют саэты о родной матушке или Пресвятой Деве Трианской. Дьяволица, Шпагоглотательница примеряют вуалетки, кокетливые береты с перьями и полумаски.

---

[1] Младенцами, амурами *(итал.)*.

[2] Звук и свет *(франц.)*.

[3] Специально для индейцев *(лат.)*.

— Кто стащил у меня коробочку с перманганатом? — рычит Болоньянка.

Каждая мечтает о собственном борделе — с английским баром и игорным залом. Каждая прячет за линялой подвязкой камею «мадам».

Адмирал смотрит на всю эту суету, на шлюх, точно выброшенных на берег после кораблекрушения, с полным безразличием. Должная дистанция укрепляет власть.

За его спиной, у приоткрытой двери рубки, стоит Беатрис де Арана. Она пришла проводить его.

Они уже успели проститься. Позади была ночь любви — как всегда бессловесной и бурной. Любви, лишенной всякой надежды.

Пристань полна народу. Лихорадка последних приготовлений. На корабли пытаются проникнуть и «нежелательные». Если в плавание, не скрываясь, вербовали шлюх и убийц, то почему бы не отыскать местечка и для философов?

Адмирал знает, что на «Горду» и «Вакеньос» вовсю сажают посторонних. По сообщениям информаторов, прокаженные, которым почти уже нечего терять, организовали целое дело — ночной фрахт. Попав на корабли, «нежелательные» прячутся среди тюков в импровизированных пещерах.

Там уже бродит однорукий отставной солдат, его дважды прогоняли, когда он просился в плавание писцом. И сумасшедший француз, еще вчера вещавший о том, что ума-то у людей более чем достаточно, а вот метода им не хватает.

Им удастся проникнуть в трюм.

Но воины Святого братства более всего опасаются татар со сверкающими словно уголья глазами. И за ними следят неотступно.

Адмирал не устает удивляться: как сильно — и как благотворно — повлияла теология на развитие торговли текстилем.

Когда-то нагой американец познал греховность своего бытия.

Колумб вспоминает слова из Библии, их любил повторять его отец Доменико во время воскресных ссор, убеждая сына не ступать на опасный путь: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Так изгонялись они из Рая.

Нечего и спорить: Господь был первым портным. Но в одном Доменико заблуждался. В жизни портных и лавочников есть свои подводные рифы.

Но теперь уже поздно вновь возвращаться к этой теме: он жаждал отыскать Рай и готов претерпеть любые испытания. Выбор сделан.

Беатрис не изменилась. Она появилась на площадке во всегдашней юбке серого сукна, в мантилье, с неизменным узелком смертницы в руках. И была как всегда лаконична:

— Возможно, мы еще увидимся. Возможно, через несколько месяцев... или лет... Но если я буду жива, ты найдешь меня в аптеке. И пока я жива, обещаю тебе, Эрнандо будет учить латынь. И еще: мне каждый раз кажется, будто это ты отправляешься в мир иной. Странно, не так ли? А потом возвращаешься. Из царства мертвых...

Он смотрел, как удаляется она по причалу, как обходит тюки и закрывается от сальных взглядов конторщиков и алькальдов. Они тоже ждут свой черед на посадку. Канцелярские крысы в треуголках, в куртках с длинными фалдами (все как у сеньоров), стерегущие свои печати и гусиные перья. Однако, Адмирал вынужден признать это, именно они — костяк муниципальной власти, они нужны империи, чтобы обуздать безумие первопроходцев и конкистадоров.

Еще он заметил: теперь дорогу уступали, и даже подобострастно, межевщикам и нотариусам. С тех пор как на экспорт пошли понятия «собственность» и «владение», пред ними заискивали.

Любое завоевание не стоит ни гроша, если обретенное должным образом не промерить, не размежевать, если не составить кадастры и описи.

А где-то на самом краю мола одиноко, без друзей, словно прокаженные, пропуская мимо ушей непристойные шутки шлюх (которые никогда и ни за что не согласились бы иметь с ними дело), стояли два знаменитых в Севи-

лье палача — отец и сын, Капуча и Капучита. Их тоже необходимо было везти с собой.

Они глаз не спускают со своих отличных инструментов и веревок. Их жены одеты в черное, на лица опущены вуали — дабы не быть узнанными. Даже перед расставанием не решаются женщины поцеловать мужей.

Пришел рассвет 3 августа 1492 года и розовыми перстами распахнул иезуитскую сутану ночи. Рождался новый день. И день необычный.

Сотни августовских воробьев и ласточек, гнездившихся в роще, радостными криками встретили первые лучи солнца.

А старые моряки почти с надрывной веселостью запели:

Будь благословен рассвет
и Господь, нам его посылающий.
Будь благословен новый день,
и Господь, нам его дающий.

При свете слабого утреннего солнца три кораблика — «Санта Мария», «Ниньа» и «Пинта» — казались совсем беззащитными.

Колумб был сильно взволнован. Он вспомнил свое самое первое плавание — на Хиос (Доменико и Сусана Фонтанарроса, Генуэзский маяк, ладанка с кусочком эвкалиптового дерева).

Лодки прокаженных натянули тросы, и каравеллы медленно двинулись к морю.

Гулко звучали удары корабельного колокола.

Кто приказал отдать швартовы? Пинсоны, Ниньосы, Хуан де ла Коса. Они хорошо понимали друг друга. Адмирал же был чужаком. Его называли колдуном, педерастом, говорили, что он снюхался с морскими демонами, растратил государственные деньги, занимался магией...

Когда он появился на палубе — в адмиральском плаще, венецианской шляпе, в очках с цветными стеклами и желтых башмаках,— послышались смешки. Но скоро шутки утихли, пора было приниматься за работу.

— Лево руля!

— Давай! Давай! Давай! Фок!

— Подтягивай шкоты!

Босые ноги. Рыбачьи штаны и куртки. На шее нож с деревянной ручкой.

А вот и первые удары морской волны. После усталой немощи реки море встречает их нетерпеливой дрожью зверя.

Мирные рощи, песчаная кромка берега. Адмиралу почудилось, будто в утренней дымке видит он вдалеке одинокого, задумчивого ребенка. Но нет, то просто игра воображения.

Внезапно жестокая утренняя депрессия наваливается на него. Он входит в рубку, растягивается на койке. Невыносимая жалость к себе. Неприкаянность. Приступы тошноты. Глупые слезы на глазах.

Мерное покачивание судна только усиливает внутреннее смятение. Вновь явились к нему тени: он увидел грозовую ночь, человека, копающего могилу, смоляной факел, топор, бледное лицо покойницы. Будто вспышка адской молнии. Будто Орфеево падение в бездну.

И снова обступили его призрачные видения. Он потешил себя мыслями о бегстве: скользнуть вдоль борта, вплавь добраться до берега. Крики: «Адмирал! Адмирал!» Ищут в рубке. Натыкаются на карту Рая, но по тупости своей думают, что то путь в Неаполь. Микель де Кунео, сложив руки рупором, кричит: «Cristoforo, dove sei? Per carita!» [1]

Мартин Алонсо, раздувшись от гордости, объявляет, что временно берет бразды правления в свои руки. Тоже мне командир! — возражает Джакомо Генуэзец.

Ему нравится воображать их обманутыми, оставшимися один на один с собственной ничтожностью, без настоящего командира. Ведь тогда потерпят крах все их надежды — завладеть недвижимостью, награбить жемчуга, настроить себе отхожих мест из золота.

---

[1] Христофор, где ты? Ради Бога! *(итал.)*

Скрип деревянной обшивки и сильная, но ровная качка — корабль вышел в открытое море.

Поднимай, поднимай, поднимай!
Давай, давай! Грот!
Крепи бакштаги!
Поднимай, поднимай...

Да, бежать было поздно. К нему вошел кок Эскобар и известил, что пробило одиннадцать (должно быть, Адмирал от волнения уснул). Эскобар протянул ему кружку бульона и не забыл о ритуальном приветствии:

— Дай нам Бог счастливого плаванья! Добрый путь кораблю, сеньор Адмирал!

Христофор выходит на наблюдательную площадку и вдыхает воздух — чистый и соленый. Большие и покладистые воздушные кобылицы трудились, надувая паруса.

Уже потом, подойдя к пюпитру, Адмирал знаменитым своим каллиграфическим почерком внесет первую запись в Секретный дневник, который много лет спустя безнадежно изуродует его незаконный сын Эрнандо. А падре Лас Касас попытается собрать хоть горстку пепла — хоть обрывки его рассуждений.

Воскресенье 5 августа. Совсем близко Канарские острова. Море это называют Заливом Кобылиц. Должно быть, из-за того, что животные часто бросаются тут в воду, когда на море великое волнение,— когда Море-Океан бьется в лобастое лицо Африки.

Кобылицы кидаются в волны и плывут, обезумев от страха, с мольбой в глазах, с намокшими гривами. Плывут, пока не погрузятся в ничто.

Мартин Алонсо Пинсон, Кинтеро и Гомес Раскон что-то замышляют. Наверняка руль «Пинты» повредили они.

У Адмирала есть шпионы. Ему известно: кое-кто хотел бы повернуть назад, ведь после Канар каравеллы пойдут на запад, по линии Тропика, а значит, могут найти только жаркие земли.

Их же гонит вперед великая крестьянская мечта о зеленых и тучных землях — таких, как в Бургундии, где так хорошо растут салат-латук и лук-порей и где так много добрых пастбищ.

Да, большего им не надо. Но своего они станут добиваться упорно и зло, точно муравьи (горе садовнику, если он забудет, на что способны эти твари).

9 августа. На море сильное волнение. Адмирал не слушает боцманов и не убавляет паруса. Пусть все испытают себя еще до Канарских островов, до того, как понадобится биться со страшным, настоящим морем. Пусть всякая вещь и всякий человек на каравеллах покажут, на что они способны, от грот-мачты до кливера, от кормчего до кока.

Адмиралу в рубку приносят лохань.

Теплая вода переплескивается через край лишь при сильных ударах волн о борт корабля.

Христофор погружается в воду. Как уютно ему в этой стихии! Нет никаких сомнений, по природе своей он амфибия.

Лохань — маленькая модель Моря-Океана. Здесь изучает он законы движения волн. Закрыв глаза, размышляет о тайнах, раскрыть которые умеют лишь мудрецы. О мистических мостках между макрокосмом и нашим ближайшим планетарным окружением.

Лохань — укрощенное, крошечное море. Кусок губки дрейфует.

Адмирал получает драгоценные знания о Божьих установлениях.

Воскресенье, 12 августа. Ночью вдали видны огни вулкана Лансароте. Столбы пламени. Иегова продолжает трудиться.

Земля показалась через шесть дней. Лоцманы удивлены: обычно на этот путь уходит времени вдвое больше. И порвалось всего два паруса.

«Пинта» плохо слушается руля и должна остерегаться прибрежных течений. Ей следует переставить паруса и укрепить переборки. Заговорщики, Кинтеро и Пинсоны, мечтают изменить курс флотилии. Но им

придется сразиться с агентами Дома Спинолы, с Соберанисом и Риверолем. Возможно, придется заменять каравеллу.

Землепашцы — они землепашцы и на море. Не видят дальше собственного носа.

Верят во что-то, не пытаясь проникнуть в суть вещей. А если проникают, бросают верить.

Когда-то эти острова величали «счастливыми». Теперь ими правит Кровавая Дама.

Суровый берег, черные, пористые камни — будто застывшая пена, затвердевшее пламя.

Моряков почему-то не радует близость земли.

Здесь какая-то затаенная, обманная жизнь. Не видно ничего, кроме костров береговой охраны.

Ближе к полуночи со скалистых вершин докатился до них, разбившись на леденящие кровь осколки, крик вождя гуанчей. Четвертованный, висел он на стене у Башни Владычицы.

Урок непокорным и слишком гордым. Нечего церемониться с туземцами и поощрять националистические настроения.

Канарские острова — трамплин имперской экспансии. Здесь испытываются методы широкого цивилизующего истребления. Первым пришел сюда Рехон, за ним — Пераса и епископы-убийцы. А сейчас правит Вдова (не сама ли она сделала себя вдовой?) — Беатрис Пераса Бобадилья.

Это уже не та дерзкая девчонка, что прославилась короткими доспехами и искусной чеканкой на предметах туалета. Ей уже 27 лет, и теперь она — Кровавая Дама.

Ревнивая королева насильно выдала ее замуж за Эрнана Перасу и отправила их наместниками в земли, которые еще предстояло завоевать в жестокой борьбе. Те территории, как всем известно, были одним из последних творений Господа (по мнению падре Марчены, работа над ними завершилась в пятницу, ближе к вечеру), потому-то из недр здесь еще вырывались клубы дыма.

Клокочущая жизнью земля. Смешение металлов. Огромные морские животные. Минеральные испарения. Новая бурная растительность, жадно поглощающая свежую влагу земли. Пальмы, что вырастают за шесть недель.

Любой клочок земли, отбитый у аборигенов, в Севилье идет по хорошей цене. Да и самих гуанчей можно продавать как рабов. Так что Канары стали первой из тех двадцати с лишним частей, на которые вскоре поделят Америку.

Итак, Изабелла в приступе ревности покарала Беатрис, выдав замуж за душегуба Перасу и наградив губернаторством в новых землях. Правда, ревность ее была запоздалой. Фердинанд к тому времени уже успел исполнить последний эротический каприз Беатрис: сумел овладеть ею, несмотря на то, что была она закована в доспехи из стали,— через обшитую красным бархатом прорезь. (Произошло это в дни банкета в честь графа де Кабры, именно в ту ночь, когда Беатрис приглянулся акробат Аполлон, который вращался в воздухе, теряя позолоченные чешуйки с одежд.)

Изабелла пришла в бешенство. Она возненавидела беспутную девчонку — соблазнительницу, «ласточку», любительницу охоты, которая, дразня дворцовых сплетников, голой разгуливала ночами среди стражников и монахов и громко умоляла помочь ей отыскать ключик от крошечного пояса невинности.

Но ненависть была взаимной. И она свяжет двух женщин на всю их жизнь. Пока в 1504 году, в Медине дель Кампо одна из них не умрет от яда, подсыпанного другой.

Фердинанд не защитил Беатрис от жестокой награды. И с тех пор она лелеяла в себе ненависть, жуткую ненависть ко всем мужчинам. Ее супруг, жестокий Пераса, успел испытать ее на себе.

Она жила в Башне одна. Только со слугами и грозной Галисийской

гвардией. Держала волков и львов. Питалась мясом кабанов и оленей, подстреленных высоко в горах. Порой приказывала доставить в Башню акульи плавники и скатов и готовила их по-японски — в маринаде из горького лимона. Из этого варились густые супы, они помогали ей в любовных делах.

О дьявольской похотливости Беатрис шла слава на всю округу. Если рыбакам случалось ночью приблизиться к острову Гомере, они слышали отчаянные вопли ее незадачливых любовников. Блоки, хлысты, колодки, кожаные ремни с шипами, кипарисовые розги, размоченные в рассоле и уксусе. Прислужники в надвинутых на лица капюшонах.

Любовь бывает красной или желтой, любовь Беатрис была темно-коричневой.

Почти все ее любовники — рыбаки, заблудившиеся моряки, пленные вожди-гуанчи, не в меру прыткие церковные служки — на исходе ночи сбрасывались вниз, в море, через северное окно Башни.

Но и в этом была своя притягательная сила. Несмотря на жуткие слухи, трудно было не принять приглашения знаменитой красавицы. В эпоху суровых запретов на любые чувственные порывы кто же упустит случай, кто откажется вынести пытки от обнаженной женщины? Кроме того, каждый, должно быть, надеялся укротить ее нрав мягкой нежностью, пробудить ответную любовь.

Да, были и такие, кому удалось уйти живым. Но они не смели произнести ни слова о том, что испытали,— под страхом лютой кары.

Так, Нуньес де Кастаньеда, бахвалясь, открыл кой-какие тайны. И вскоре был вновь приглашен в замок, да там и удавлен. А на деревенскую площадь приплелся осел с покойным наперевес, язык у несчастного был завязан узлом, словно пояс.

Непонятный страх овладел матросами. Они не решались ступить на берег. Только люди с «Пинты» сошли в порт, ибо не было у них другого выхода.

Им чудилось, будто за ними все время следят, даже когда рядом никого заметно не было. Причина была проста — на острове царил дух террора. Прокаженные и те страшились арестов. Стражники в часы, свободные от службы, прятались от стражников, заступивших в дозор.

Пералонсо Ниньо спросил прибывших:

— Учуяли? Учуяли запах серы? Он идет из-под земли! Вот там, на юге, в горах есть пещеры — врата в Преисподнюю...

Он был здесь три года назад, на большом венецианском парусном судне приплывал за рабами-гуанчами.

Колумб решил сойти на берег и как-то подбодрить своих людей. Раздобыть им свежего мяса, ключевой воды.

На рассвете он выбрал шлюпку и спустился в нее вместе с другими генуэзцами. Без большого труда — тогда еще звери не боялись человека — свалили они оленя с роскошными рогами и изрядно попотели, пока связали ему ноги и перенесли в шлюпку.

Матросы повеселели. Целый день, пока не спряталось солнце, набивали они брюхо мясом и пили молодое вино.

Но в поступке Адмирала увидели лицемерие и скрытый смысл.

Матросы-иберы не переставали шушукаться. Что за нужда менять паруса на «Пинте»? Месяц, не меньше, придется болтаться в этих опасных землях. Где пахнет серой, где морская пена чудится пеной кипящего сока земли, где у яблок железно-никелевый вкус.

Зачем Адмирал, никогда не любивший охоты, вдруг стал гоняться за оленем? Кого хотел удивить?

Чего ради, надев шляпу с перьями, часами простаивал на площадке, на солнцепеке? Никто не сомневался: проклятый иудей мечтает связать их по рукам и ногам и продать Владычице. И тогда корабли их займутся рыболовством и контрабандой. А сам он станет жить при Бобадилье — станет ее Главным Хахалем. Разве упустит подобный тип пустующее место?

Два дня спустя они увидели, как какой-то глухонемой подавал им с берега знаки. Он доставил записку: «Адмирал, ужин в девять. Наместница».

Колумб готовился к выходу целый час. Стало понятно: безрассудство генуэзца не имеет границ.

В семь часов он вышел на площадку не просто разодетым — расфуфыренным: адмиральский плащ с позолотой, орнитологическая шляпа и все те же чудные башмаки с золотыми шпорами — знак его высокого положения.

Он покидал «Санта Марию» навсегда. Это почувствовали все.

— Адмирал, она убьет тебя, отравит. Берегись, она ведьма,— предупредил его Эскобар. Но Колумб притворился глухим.

Ему еще предстояло решить, что делать с картой Рая. Поколебавшись, он спрятал ее в потайное дно сундука. Уже спустившись в шлюпку, Адмирал сказал:

— Надеюсь, к моему возвращению все будет должным образом подготовлено,— и глянул на итальянцев.— *Mi raccomando!* [1]

До его слуха долетели ругательства матросов:

— Чучело! Сукин сын! Подпалит она тебе кое-что, если, конечно, там есть у тебя что палить!

Они надеялись, что по-испански он понимает не слишком хорошо.

А он последовал за калекой. Путь к Башне оказался нелегким. Приходилось цепляться за стебли вереска. Два раза он буквально повисал над обрывом, ухватившись за какие-то корни. С верхних каменных выступов на него глазели легкомысленные ящерки и царственно-неподвижные игуаны.

Не без тревоги вспомнил он строки из Тайного Апокалипсиса святого Павла: «Ангел вел меня в сторону запада, туда, где были лишь мрак, боль и печаль».

Уже на самом верху им пришлось пройти мимо львицы. Но видно, она лишь недавно насытилась человеческим мясом и равнодушно зевала, словно взгляд ее был, как всегда, обращен к родной Сахаре, а оттуда любое явление казалось ей скучным и лишним.

А вот и железные врата Башни. На крепостной стене висели тела казненных. Как видно, Бобадилья, верша закон, радела о воспитании и назидании.

Тут Адмирал обнаружил, что калека исчез.

Ему очень захотелось запеть или громко засвистеть, как бывает, когда идешь через кладбище в безлунную ночь.

Правда, солнце еще припекало довольно сильно.

Галисийская гвардия — «ГГ», как называли ее запуганные островитяне,— довольно бесцеремонно обошлась с Адмиралом. Его проводили во внутренний дворик, мощенный плитами. И не только раздели донага, но и грубо вспороли все швы на одежде. Что там было искать? А действовали они молча, уверенно, как таможенники после доноса.

— Вы ищете яд? Или кинжал? Или еще что-нибудь?

Но они не отвечали. Пустые, невыразительные лица. Удручающе однообразные, будто у каждого от уха до уха пролегла целая лига бесплодной пампы. И прищуренные глаза. Казалось, они вечно подглядывали в прорези жалюзи. А где-то в глубине серо-стальные зрачки — зловещие, кельтские.

Раздев, его решительно принялись поливать из ведра. Морской водой со щелоком и каким-то дезинфицирующим средством.

Он хотел было возмутиться, но сообразил, что то была неприятная и обязательная для всех, невзирая на лица, процедура. Они действовали проворно, молча, выказывая большой опыт и слаженность. Сильные, ловкие, они поливали его водой, точно он был телегой, на которой привезли в сад навоз, а теперь надо привести ее в порядок и украсить для праздника в честь Пресвятой Девы дель Кастро.

Как ни странно, Колумб не чувствовал себя оскорбленным. Необходимый ритуал (как при входе в тюрьму или еврейское кладбище).

---

[1] Я прошу! *(итал.)*

Его обтерли куском грубой ткани. Дали гребешок из кости каракатицы. Вручили сандалии и бурнус из довольно тонкого льна. Распорядились составить список всех вещей, чтобы — случись что — отдать их родственникам.

Колумба усадили за стол, по-монашески скромный. Люди из «ГГ» остались в коридорах и только время от времени просовывали в двери тупые тыквообразные головищи.

За столом прислуживали четыре обворожительные девушки. Одна из них подала ему бокал, где крепкое местное вино словно дробилось изломами в манящей прохладе серебра.

Тогда Христофор увидел ее. Она вошла следом за двумя гвардейцами, тут же исчезнувшими. С природным величием спустилась по лестнице. Да, любые слова здесь были бессильны: при появлении Владычицы все вокруг будто застыло, все потеряло значение — вкус еды и вина, звуки нежной флейты, на которой играла на возвышении девушка-гречанка.

Широкие бедра. Тончайшая талия. Ягодицы — планетообразные, как у женщин Пикассо. Щиколотки — узкие и хрупкие, словно запястья венского органиста.

Одетая и почти нагая, сдержанная и все сулящая — в полупрозрачных одеждах, похожих на эллинские. Сандалии из позолоченной кожи. Густые черные волосы — по плечам. Большие зеленые глаза — глаза пантеры, а отнюдь не испуганной газели.

«У нее бедра уроженки Лакедемона»,— подумал Колумб, воображая любезности, какие можно будет сказать ей в постели.

Золотой ремешок не давал волосам упасть на лоб. И никаких драгоценностей. Только ожерелье из каких-то мелких ракушек цвета слоновой кости или из высушенных и нанизанных на нитку маленьких сухих фиников (позднее Колумб узнает: то были клиторы крестьянок и горожанок, имевших несчастье спутаться с ее любовниками — бывшими, настоящими либо будущими).

Без лишних церемоний заняла Беатрис место на противоположном конце стола и вела себя так, будто всю свою жизнь принимала его ежедневно. Вот она, светская женщина!

На стене висела кираса покойного наместника, похожая на те латунные марионетки, что так популярны в Сицилии. Кроме нее, ничто здесь не напоминало о средневековой суровости и аскетизме. Амфоры с фавнами, триклинии, бронзовые кувшины для умывания, бюст Сократа или Цезаря (никогда нельзя угадать наверняка). Мозаики, мраморный стол, золотые и серебряные кубки. Дух Рима и Греции. Множество изысканных птиц (поднадзорно свободных): фазаны, нильский ибис, малайские попугайчики, орел с золотой шейкой.

На столе — дары моря во всей красе. Козий сыр в перце. Виноградные листья с творогом. Молодое вино.

Она ела, ничуть не тяготясь долгим молчанием. Колумб, напротив, начал чувствовать себя неловко и пытался заинтересовать ее сообщением:

— Изабелла, наша королева, очень похудела...

Фраза повисла в воздухе, одинокая, несчастная... Слишком явно прозвучало желание показать себя человеком, приближенным ко двору, даже лицом доверенным. Он уже раскаивался, что произнес ее, но вернуть назад сказанного было нельзя. Она же лишь подняла бровь и что-то процедила сквозь зубы.

Несомненно, Колумб выбрал худшую из тем. Он упомянул здесь об Изабелле — то есть заговорил о веревке в доме повешенного.

Новая попытка:

— На островах... наверное, много проблем? Политических... имею в виду. Я видел останки казненных...

Она выслушала его спокойно, с приветливой, но ироничной улыбкой. И тогда, в первый раз, прозвучал ее голос:

— Обращать в христианство не просто, Адмирал.

Беатрис отвечала любезно, но сохраняла при этом жесткую дистанцию.

«Так где же повесила она Нуньеса де Кастаньеду? Прямо здесь? И когда: до или после десерта?» — размышлял между тем Христофор. Он оглядел высокие балки, но не обнаружил никаких следов.

Девушки-прислужницы наполнили бокалы вином. Две другие внесли нашпигованного салом козленка. Салаты, суп из фасоли, жареный перец.

Она бесстрастно смотрела, как он взял ногу козленка и решительно впился в мясо зубами. Прожевал несколько кусков. Запил вином. Несчастный, при этом — чтобы выглядеть хорошо воспитанным — он старательно отставлял мизинец в сторону.

Она сохраняла все то же жутковатое спокойствие. И не слишком строго судила промахи смущенного плебея, который, чем больше сражался с собственной вульгарностью, тем больше совершал оплошностей.

— Вы задумали великое дело, Адмирал,— сказала она снисходительно.

— Индии. Специи. Сипанго. Великий Хан...— пробормотал он.

— Но все это дальше, чем вы полагаете. Местные жители — кто больше, кто меньше — знают о тех жарких землях. Многие видели их своими глазами, их занесло туда море... Но никто, возвратясь, толком не мог объяснить, где побывал... Так что первыми вы не будете! Просто надо погромче кричать о своем подвиге... Кстати... Те люди тоже несколько раз подплывали сюда на своих странных кораблях... Могу сказать, что они робки и нерешительны. Слишком добродушны, поэтому их мир обречен... Один из них — потом гуанчи убили его, приняв за какого-то бога,— успел рассказать, будто Европа открыта ими в 1392 году. Они смогли подойти к ней сразу в трех пунктах... Как знать...

Все возможно. Возможно... Они достигли Порто, Азорских и Канарских островов. Это точно. Но дальше не пошли... Их кораблями управляет не ветер, им удается найти иной язык с морем. Они отыскивают в море реки и умеют следовать по ним. Возможно, так и надо. А мы их не интересуем. Да и кого может привлекать мир, все глубже погрязающий в трясине демократии и народного образования?

Подали свежайшие фрукты. Она жадно и почти механически — и здесь неуместно было бы рассуждать, элегантно это выглядело или по-звериному естественно (так тигрица спешит утолить жажду у ручья),— схватила сразу два блюда.

Потом, когда они поднимались на «наблюдательный пункт» (ее выражение), Беатрис с насмешкой заметила:

— Аполлон! Не желаете ли взглянуть на мою коллекцию ракушек? — и рукой сделала кругообразный жест. Колумб с досадой понял, что узнан, что она знала, чем он занимался в не самые для себя счастливые годы.

Они продолжали подниматься по каменной лестнице. И на всем пути за ними следили глаза здоровенных галисийцев, которые время от времени просовывали головы меж портьерных складок и тут же прятались вновь.

С одной из площадок она бросила горсть фисташек гулявшим по столовой фазанам. Выпустила из клетки белую мышь — на десерт королевскому орлу, который с изысканной, сдержанной жестокостью тут же спланировал с железной балки.

Что же произошло потом? Что Колумб имел в виду, когда в предсмертных беседах с падре Горрисио упоминал о «самом сильном в жизни впечатлении» (Вальядолид, 1506)?

Можно ли верить тому, что пятьдесят лет спустя со слов одного из бывших галисийских гвардейцев записал юнга Моррисон?

По выражению Микеля де Кунео, Адмирал вернулся «потрясенный любовью, преображенный».

Кое-что об интересующем нас эпизоде рассказала и одна из прислужниц (и только после того, как стало известно о трагической гибели Беатрис Бобадильи в Медине дель Кампо). По ее свидетельству, Беатрис, увидев, как он впился зубами в ногу козленка, «почувствовала, что все в ней всколыхнулось от присутствия настоящей, бьющей через край мужской силы».

По лестнице она шла впереди. От масляной лампы и канделябров шел мягкий свет. Вино дало легкую веселость и раскованность. Возбуждение от очень соленых креветок и чеснока. Колыхание прозрачных тканей в такт шагам. Ветер с моря. Трогательное воспоминание о мощном торсе Аполлона, который неуклюже вращался на шесте над пирующими, теряя свои золоченые чешуйки, лавровый венок... Нежность? Неудовлетворенная страсть, сжавшаяся в комок до часа, когда ей воздастся должное? (Не забудем, тогда, давно, она смотрела на него сквозь прорезь шлема и была — нагая — заточена в железные доспехи. Ключ же от них Фердинанд, злой насмешник, бросил в пруд и шепнул ей о том, проходя мимо. Но все это обходят молчанием легковесные хроники, хотя им-то следовало бы заглянуть в тайные лаборатории, где выковываются страсть и ненависть.)

Они вошли в сумрачную и прохладную комнату. Что-то обволакивало Колумба — как тень, как сон. Дивная Повелительница! С каким мастерством владела она искусством, то отдаляясь, то вновь подходя совсем близко, разжечь страсть.

По слухам, она знала секреты приготовления снадобий, умела делать и другие запретные вещи. Не случайно осторожный Колумб, собираясь в гости, велел приготовить себе особый отвар.

При свете луны Беатрис показала ему свои раковины — крошечные соборы Гауди [1]. Прекрасные и таинственные. Можно было приложить их к уху и услышать далекий и веселый гомон нереид со дна морского (такими сентиментальный человек, тоскуя о былом, вспоминает девчоночьи голоса на школьном дворе).

Она провела его пальцами по спиральной выпуклости *Nautilus Tilurensis,* чтобы «он ощутил агатовую нежность сего чудного творения Господня...». Колумб же почувствовал другое: от волнения у него взмок затылок. Досадный порок, порожденный сверхчувствительностью.

От нее шли невидимые лучи. Тело ее влекло, смущало, заслоняло собой все остальное, хотя внешне она оставалась невозмутимой и светски холодной.

Лунные отблески на водной глади. Мерцание старинного серебра. Желто-серые лунные пятна на поверхности моря.

Ему вдруг перестало хватать воздуха, пространство вдруг стало сжиматься, вертикальность их тел вдруг показалась фантастически противоестественной.

Он обернулся. Они находились в спальне: взгляд наткнулся на кровать в восемь вар шириной, где вполне уместились бы три юные пары. Сверкающая белизна бараньих шкур. Глубокая чернота шелковых простынь и груды подушек.

На них надвигалась ночь, ночь без луны, без перемирий. Пылающая пожаром ночь — длиной в три дня и три ночи. Как свидетельствовали потом Колумбовы друзья, долгих вступительных речей там не было. Генуэзец имел богатый портовый опыт и давно успел усвоить, что «хватать надо, пока горячо» и что «кто смел, тот и съел».

Вероятно (у нас есть все основания предполагать это), в первые часы чрезмерное возбуждение мешало любовникам.

А вообще-то они были торжественны и серьезны. Серьезны, как два нотариуса, которые составляют самую важную в их жизни бумагу. (Ведь в сем ритуале от случайной улыбки все могло рухнуть, словно карточный домик. Порой нет ничего разрушительней смеха.)

Мы уже упоминали о записанном Моррисоном рассказе гвардейца. Но случилась их беседа все-таки через пятьдесят лет после событий. И кроме того, наблюдавший любовников молодой галисиец был безнадежно двухмерен в своем восприятии секса. Двухмерность — изначальное отсутствие воображения, неумение видеть выпуклое — продукт примитивно-девственных воззрений эпохи.

Короче, даже если кто-то что-то и сумел увидеть, в повествованиях

---

[1] Антонио Гауди-и-Корнет (1852—1926) — испанский архитектор.

о сем были опущены необходимые слова и выражения, с помощью которых только и можно описать происходившее в темноте между Христофором и Беатрис. А для юного галисийца они так и остались китайскими тенями, какие показывает на экране фокусник-цыган. Рычащими драконами. Кентаврами. Быком о двух головах.

С уверенностью можно сказать, что Колумб многое ставил на карту. Ведь он решил покорить Кровавую Даму. А говорили, будто она была лонозубой (два мощных резца и крепкие коренные стояли на страже у врат ее тайны) и имела обыкновение жестоко наказывать тех, кто слишком ретиво рвался вперед. Уверяли также, что, когда подходило время течки, водила она шашни с вожаком (региональным) волчьей стаи.

Итак, часы шли за часами, а людей из «ГГ» с их неприятнейшим рабочим инструментом так никто и не призвал.

Колумб вел себя все смелей, все больше ощущал себя хозяином на дивном ложе. Завещанное Онаном давало волшебные плоды. (Богатое воображение, мечты о буйстве тел в конце концов предвосхитили реальный опыт и многому сумели научить.)

Беатрис де Бобадилья решила позабыть свои кровавые забавы и возжелала насладиться покорностью.

«Поединка с фаллосом» на сей раз не было. Поэтому ей не пришлось прибегать к эротическим пыткам. В святилище полновластно воцарился *лингам,* хотя орудие Адмирала и не превратилось в эпицентр, omphalos, града безумств, в который они вступили.

И во тьме его плоть — торжествующая, измученная, тоскующая и одинокая — тянулась вверх. Так гордо и высокомерно держит голову гений, которого долго осмеивали, но наконец признали.

Возможно, именно Колумб, а не Владычица отдал в том бою дань садизму. Он прикрепил два «умертвителя плоти» (такие морские бечевы с узлами нередко применялись в борделях Средиземноморья) к своему древку.

Где-то ближе к рассвету *лингам* превратился в равно служащий двум телам мостик. Случилось то, что немецкие сексологи называют Verfremdung,— отстранение и объективизация фаллоса, его обезличение, когда он превращается в чистый инструмент соития и проникает в *оба* тела, то есть над ним перестают довлеть понятия своего и чужого. Живой и реальный мостик, соединяющий ты и я. Ничейная земля. Символ двойственности. Он перестает играть роль кошмарного преследователя. Перестает принадлежать исключительно телу самца и начинает играть роль инструмента, которым по своему усмотрению могут пользоваться он и она. Демиург, не требующий ни ритуального поклонения, ни преданности. Демиург, отрешившийся от суетного тщеславия.

Новое ощущение покорности было столь остро, что уже поздно ночью, в какой-то особый миг, Беатрис прошептала с карибским акцентом:

— Ну, будь грубее, глупый! Как чудесно!

Он знал: она хотела, чтобы ее заставили умирать (в эротическом, разумеется, смысле). И Колумб позволил вырваться на волю всей таившейся в его плоти агрессивности. (Должно быть, именно тогда достигли они степени 8 — по шкале доктора Хите — наслаждения.)

Как всякая *дузе,* она требовала от своего *д'аннунцио* [1] самозабвенной отваги. Подойти к порогу смерти. Достичь состояния, когда наслаждение граничит с физическим распадом (как у пылких и изысканных чахоточных дам, коими изобиловал XIX век).

Сладострастие, голая чувственность, ни пятнышка любви. Тела утверждали свои законы жестокости-нежности без докучливой примеси метафизики (ах, Запад, старый ханжа, ему нужны потоки слов, чтобы описать цвет птичьего оперенья!)

Заметим между прочим, что все это время Адмирал оставался в чулках. И Беатрис отнеслась к сему факту как к курьезной, но извинительной экстравагантности.

---

[1] Имеется в виду многолетний роман Элеоноры Дузе и Габриеле д'Аннунцио.

Итак, именно поразительное эротическое согласие сделало Беатрис непривычно милосердной. Поэтому-то и не стала она звать на помощь ужасных «ГГ», и на рассвете они задремали в коридоре, склонившись друг к другу головами, напоминавшими до срока сорванные арбузы.

Занималась заря, и Колумб подошел к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха, а также поискать воды и какой-нибудь смягчающей мази. Неожиданно он увидел далекий огонь (сурепное масло) на корме «Санта Марии», стоявшей на якоре в бухте, услышал, как вахтенный, сверившись с песочными часами, оповещал:

Сеньор лоцман, сеньор капитан!
Пора, добрый час пришел!
А за ним придет и того лучше!

Все это казалось таким далеким. Условный мир, построенный на ритуалах, борьбе, амбициях... Наивный мир. Пустой мир.

Он вернулся на ложе. Именно тогда они ступили на самый край.

Удался целый ряд счастливых, весьма гармоничных фигур. До нас дошли сведения, что она едва не лишилась рассудка, когда он касался языком и алчно покусывал, словно бездомный пес, соблазнительные впадинки у нее под коленями.

Черные простыни поглощали любой свет, но даже они смогли донести отблеск влажного тела Бобадильи. Так моряк видит с корабля цепочку далеких огней, и они сулят ему покой и надежность суши.

Капельки пота, выступавшие на теле Беатрис, имели ртутную примесь. Они испарялись, оставляя благодатный аромат мускуса и славные запахи лавки заморских товаров, где торгуют крупной солью, джутовой тканью и листьями рыжего табака.

Да, они были точно заперты в арабской лавке или в апельсине Босха. И здесь Адмирал заметил, что когда его копье выныривало на поверхность, с острия его срывалось и поднималось вверх облачко белого пара. Оно тут же рассеивалось, но на плоти (поверх портовых татуировок, которые Колумб сделал на острове Туле или на Хиосе, скорее подражая другим, нежели по каким-то иным причинам) оставался налет из соляных кристалликов. Крошечные драгоценные камни, они мерцали — призрачные, прекрасные светлячки — в сумраке алтаря.

(Ни он, ни она не знали, что кристаллики эти — единственное из до сих пор известных доказательств существования так называемой любви.)

Их тела напоминали двух гимнастов, которые много лет проработали вместе и с полуслова понимали друг друга. А еще так положенные в очаг поленья медленно вбирают в себя пламя.

Уже совсем рассвело, когда удалась им поза, сложнейшая из известных, в которой потерпели неудачу и Овидий и Казанова (в обиходе ее вульгарно называют «фараонкой» [1]).

Микель де Кунео позднее запишет слова Адмирала: «Я почувствовал, как по нижней части тела у меня засновали сотни маленьких муравьев (из тех, красных и совсем крошечных, что щекочут, но не кусают). Сравнить это ни с чем нельзя».

Крики. Громкие стоны. Бесстыдный вой — словно волк сделал неловкий шаг и кубарем полетел в пропасть.

Совершенно точно известно: на вой этот гвардейцы поспешили в спальню, но обнаружили там лишь два безжизненных тела, двух людей, переставших понимать, что происходит вокруг, на лицах их светилось выражение расслабленного блаженства, какое бывает после эпилептического припадка.

Пришло утро третьего дня. Он проспал до одиннадцати, пока солнце не проникло под опущенные веки.

---

[1] Эта поза будет описана в «Камасутре» как высшая фигура любовного пилотажа (без помощи третьих лиц); когда змея Кундали достигает максимальной чувственной восприимчивости и даже раздражения, она ползет вдоль позвоночника и становится генерирующим центром страсти и наслаждения. Очень возможно, поза эта соответствует так называемой «позе Индрани» или «самому высокому соединению», когда партнерша издает звук «Хинн». В «Камасутре» дается описание данной позы: «Любовники доходят до такой степени исступления, когда эксцессы уже не замечаются. Страсть ослепляет их. Наступает миг, когда соединение воспринимается как что-то нереальное, как сон...» *(Прим. авт.)*

Четыре прислужницы заполнили комнату смехом и щебетаньем. Принесли фрукты и ключевую воду в запотевшем серебряном кувшине. И большой стакан молока ослицы со снегом.

Он выглянул в окно. Сверху голубое — «эмалевое» — небо, внизу несказанная синева моря. (И три каравеллы — три дрейфующих катафалка.)

Четыре рабыни, они выполняют в Башне все работы по дому, греют в бронзовой ванне о трех ногах воду.

И он с изумлением понял, что время стало вдруг течь в протяжном ритме деепричастий. Столь эфемерный всегда, миг настоящего стал разливаться почти недвижным свежайшим озером. Он попробовал кусочек дыни, с наслаждением подержал во рту глоток прохладного молока.

Как хорошо! Отрешенный, далекий от суеты, забывший о титулах и должностях.

Служанки опустили его в ванну, потешаясь над наготой и растерянным видом гостя. Плоть обмыли очищенным и холодным маслом и обернули салфеткой из ирландского полотна. И четыре пары молодых рук засновали, резвясь под водой, по его телу.

Временами от наслаждения он погружался в дрему, и тогда струйка слюны, знак буддийской гармонии, стекала по подбородку к поверхности воды.

Безмерное счастье. Она не только не убила его, но и сама преобразилась. Вот, вошла: платье с воланами, волосы заплетены в две косы — как у школьницы — с голубыми бантами. Соломенная шляпка, мелкие цветочки на ленте. Воплощение женственности. Трогательная женщина-девочка.

Она была бледна. Понимала — и этот миг есть продолжение их долгой ночи. Улыбнулась. Затем взяла серебряный кубок и присела перед ним на корточки. Тихо зазвенела медленная струйка. (Сам сей звук был переполнен влюбленностью.)

С чарующей естественностью протянула кубок ему. Он выпил. Они не отрываясь смотрели друг на друга, как в пропасть падали в чужие глаза.

Законы любовной игры вносят свои поправки в привычные ощущения. Великое причастие. Та жидкость получила освящение, пройдя via triumphalis [1] любви, их соединившей.

Обоих пронзило восхитительное жало желания. Но она — сама мудрость и сама женственность — взяла ивовую корзинку и спросила:

— Я схожу на рынок. Чего бы тебе хотелось: крабов или жареных омаров?

Колумба накрыло волной безмерной гордости. Этот жест — «схожу на рынок» — скромно потупившейся, будто только рожденной из раковины женщины заставил его ощутить себя победителем, львом, который только что завоевал обширную территорию со всеми обитающими на ней самками. Он замер, прикрыл глаза. Повелитель. Мужчина. Хозяин. Он возмечтал о том, как мог бы жить, счастливо, преступая все запреты: открыть большой бордель в Тенерифе (вот он входит — цветастая рубаха, высокие башмаки). Полдень, он сидит на террасе, украшенной жасмином и геранями. Легкий ветерок с моря. Турецкие шелка. Надежное дело: доставка рабов на континент. Высокие доходы. Он открывает представительство Дома Чентурионе, обходит, лишает влияния Дома Соберанисов и Риверолей.

— Prometeo é morto! [2] — вскричал он, очнувшись (по-итальянски, на языке его подсознания, языке редких мгновений искренности и денежных расчетов).

Юные галисийки расхохотались и снова принялись тереть его мылом. Что могли они знать о безднах его души!

---

[1] Триумфальный путь *(лат.)*.

[2] Прометей умер! *(итал.)*

Историкам так и не удалось объяснить, почему Колумб не решился остаться на Гомере и жениться на вдове. Нет документов. Видимо, люди не стремятся оставить будущим поколениям свидетельства о своих неудачах и страхах.

И все-таки непонятно: ведь Колумб был гедонистом, человеком довольно вульгарным и практичным, цепким (он часто повторял слова Цицерона: «Не понимаю тех, кто от добра ищет добра»), так почему же он так быстро покинул сей плацдарм?

Поговаривают, будто одна из рабынь успела ему шепнуть: «Нет ничего мерзей и опасней женщин, в голове у которых, как у этой, бродят фантазии...»

Сдается нам, то был не первый случай, когда Беатрис де Бобадилья усыпляла бдительность любовника обманчивой податливостью. Она притворялась покорной, но как только доверчивый простак начинал чувствовать себя властелином, настоящим мужчиной-самцом, неожиданно вновь утверждала свою грозную власть: косички с бантиками заменялись военными доспехами и хлыстами с металлическими наконечниками. Нечто подобное случилось с несчастным Нуньесом де Кастаньедой: стоило ему уверовать в призрак фаллократии, как последовала жесточайшая кара — инстинктивная месть пожирающей самца паучихи.

По предположению Микеля де Кунео, генуэзец успел подсмотреть какое-то едва заметное движение брови, какой-то тайный знак, который Беатрис подала командиру гвардейцев. Вполне возможно, любопытный Адмирал случайно наткнулся на дворцовые камеры пыток. Скорее всего, было именно так.

А может, он и Беатрис испугались мести Изабеллы?

А может, Колумб, человек весьма прозорливый, почувствовал, что новая власть на Счастливых островах не так уж крепка, а действия *герильи* опасней, чем сообщалось?

А может, та сложнейшая поза, которая удалась им в финале любовной игры, опустошила их? Сколько времени отпущено любви, случайной связи, супружеству? Когда умирает то, чему в отношениях несчастной человеческой пары неизбежно уготована смерть? Возможно, время любви анахронично, как время в сновидениях, и на деле три дня были тридцатью годами. И почему бы не предположить, что в последние десять лет из них Колумб и Беатрис отдали дань кастрюльной скуке, зевкам, разбору счетов из лавок и приторному сексу, как большинство супружеских пар, когда любовный сок перестает кипеть и становится чуть теплым и водянистым?

Точно известно только одно: шестого сентября любовные каникулы на Гомере завершились. И люди Колумба, решившие уже было продолжать путь без него — чужака, навязанного им короной,— увидели его спускающимся с горы, в сопровождении того же калеки, что днями раньше вел его наверх.

Он подождал, пока за ним пришлют лодку (правда, были споры, делать это или нет, но люди из Агентства взяли верх), и, когда шагнул на борт — все в тех же закрученных спиралью живописных башмаках (будто две желтые змейки прилипли к подошвам),— обронил лишь следующее:

— В море! Снимаемся с якоря сегодня же! — И обратился к Хуану де ла Коса: — Приказываю следовать условленным курсом: все время на Запад. Удалось ли починить руль на «Пинте»? Надеюсь, все в порядке. А местная вода превосходна...

Его резкость вызвала негодование. Уже поднимаясь к себе в рубку, он услыхал:

— Генуэзская свинья!

И тогда невозмутимо, с высокомерием командира, который пользуется случаем преподать урок подчиненным, он бросил:

— В свиней превратились бы в этих землях вы! Без моей хитрости, без меня! И даже хуже чем в свиней — в рабов! Запомните это и заткнитесь! Поднять паруса!

Громадные грифоны. Спрут. Свирепый кит. Да, теперь ему мешали, теперь с ним вступили в бой. Бездны Неведомого Моря. Фурии ветров: царство демонов.

Отчаявшемуся Колумбу казалось, что теперь-то Господь и вправду отдал его на волю собственным фантазиям. Коварство богов: наказывать, одаряя. И пусть боль твоя станет твоей победой! И твоей гибелью! Ответом на твои вопросы!

Эспиноса принес фасолевую похлебку и вяленое мясо. Стакан крепкого вина, которого Адмирал даже не попробовал. На десерт — горсть миндаля и изюма.

— Адмирал, нелегко будет следовать этим курсом...

— Разве я спрашивал тебя о чем-нибудь?

— Нет. Но они там говорят, что так мы обязательно окажемся в жарких землях. В землях Великого Хана или каких других... Говорят, что это безумие — добровольно выбрать засушливые, холмистые земли, как в Трухильо, Бадахосе, Эстремадуре. Безумие! Земли, где могут расти лишь чеснок и оливы. А цены-то на них как упали! Если Ваша Милость не изменит курса, тут такое начнется: ведь в жарких странах, в тропиках найдем мы лишь нищих, голых людишек. Где жара, там нищета!

Его, видно, подослали. На самом деле то было мнение Пинсонов и их людей. Черви! Карлики! Они ничего не знали о посланном ему небом гласе! О тайной Миссии потомка Исаии!

9 сентября. Воскресенье. Матросы не исполняют его приказов и пытаются тайком изменить курс.

Их манит север, манят нежаркие плодородные земли.

Они уверены, что Адмирал ничего не видит или — по малодушию своему — не желает замечать. И ошибаются. В этом-то он им не уступит. Адмирал приказывает кораблям собраться вместе, созывает капитанов и лоцманов. Крепкая взбучка.

Родригес де Эскобедо, нотариус, должен явиться на мостик. Он приводит себя в порядок перед зеркальцем у грот-мачты. Расчесывает бороду. Торжественный, с вечным Гомером под мышкой.

Появляются Пинсоны, Ниньо, Де ла Коса, Кинтеро. А также генуэзцы и королевский инспектор Санчес де Сеговиа. Пусть королевский нотариус при всех черным по белому запишет: «Никто не смеет хитростью изменять курс, который здесь торжественно провозглашается и указан нам Их Королевскими Высочествами: только на Запад».

Недовольство на лицах. Пусть. Теперь им будет труднее лгать, прибегать к недозволенным трюкам.

Подписывается Акт. Собрание распускается.

Адмирал возвращается в рубку. Погружается в лохань. Размышляет о силах моря.

Элементарная амфибиология. 10 сентября. Слово Адмирала к подчиненным. Нет ничего опасней забвения. А люди забыли, что по природе своей они амфибии, забыли даже моряки. Посмотрите на свои ступни, на ладони — они как у перепончатолапых, но без перепонок. А разве не похожи ягодицы на округлившиеся остатки исчезнувших плавников? Как можно не видеть очевидного?

На море удача ждет лишь того, кто усвоит эти истины.

И люди должны забыть все то, о чем с похвалой говорят как о морящких доблестях.

Адмирал приказывает совсем низко опустить прямой парус на грот-мачте, так что он едва тянет каравеллу над волнами. Он хочет, чтобы корабли стали одним целым с морем. Чтобы корабли не были слишком сухими, словно случайные гости в море.

Приказывает не конопатить дающие течь доски. Пусть внизу стоит вода, пусть люди слышат ее плеск, как слушает он, когда вода переливается через край лохани и бежит по полу рубки.

Держаться на воде как чайки. Как кантабрийские рыбаки. Не слишком отрываясь от морской массы. Не бороться с морем. Не сушиться. Он учит

людей: не спешите вытираться, спите в мокрой одежде. Пусть в это трудно поверить, но тогда вы забудете о простудах.

Чайка — поучает Адмирал — не ждет перемены ветра. Для нее хорош любой ветер. Не меньшей хвалы достойна ловкость галисийских рыбаков.

Любые другие доводы — выносит он приговор — французские выдумки.

Хуан де ла Коса пытается возражать, но скоро умолкает.

Колумб плавает в своей лохани, лицом вниз, как мертвый. Над водой торчит лишь дряблый, бледный зад (как у бельгийской монахини, изнасилованной солдатней и утопленной в канале).

Он довольно долго остается в таком положении. Он изумлен.

Потом утверждает, что, слившись с водной стихией, можно сообщаться с Морем-Океаном и что, только бросив вызов противнику, победишь страх.

На кладбище надо петь, учит он. В лесу в безлунную ночь — свистеть.

Ветер дует свирепо. Нос корабля врезается в бурлящую толщу вод. Каравелла разбивает пенные гребни. Летит снежная бахрома, кружево, белая слюна дикой кобылицы, что мчится во весь опор.

Адмирал выходит из рубки, и дерзкий ветер треплет, как хочет, его волосы.

Соленые капли-гиганты. Нити жидкого серебра.

Дрожат бакштаги и фалы. Надувшаяся парусина отважно дергает за бушприт. Упрямый мул, скачущий сквозь непогоду, только уши плотно прижаты под дождем и ветром.

Мокрые фалы, сдерживая паруса, становятся будто выжатыми. От трения о битенги и уключины от них идет пар. Поводья обезумевшего коня.

Протяжные стоны у оснований мачт — фока, грота и бизани, работающих из последних сил. В жестоком празднестве бури они превращаются в хрупкие стебли.

Глухие удары моря о судно-скорлупку.

— Эй! Эй! Эй! — кричит Адмирал. Он спускается из рубки на палубу. Созывает людей, которые ведут себя так, будто ничего не происходит. Слоняются без дела. Лениво переругиваются. Мрачные, скучающие.— Давай! Давай! Все, все! Подтягивай шкоты! Поднимай! Поднимай! — Он сам хватается за леер фок-мачты.

Корабль дрожит. Молодая кобылица в ожидании жеребенка. Скрипка в миг бурного *allegro*.

Теперь хриплым голосом поет ветер, проникая в люки и отсеки трюма. Леера, бакштаги — струны арфы, отдавшейся музыке.

Стонет, стонет ветер.

Адмирал кричит, приказывает. Как хотелось бы ему иметь хлыст, чтобы встряхнуть нерадивых. Проклятые.

Поднимается на площадку и получает благословение неистовых волн. Холодная пена падает на лицо, на грудь. Он стоит, простирая вперед руки. Он — корабль! Кричит:

— Эвоэ! Эвоэ! Эвоэ! Аллилуйя! Подтягивай шкоты! Еще! Давай: нижний прямой парус. Поднять марсель!

Сумасшедшая скачка по морским просторам. Восторг. Праздник. Экстаз. Слияние с пространством.

Весь промокший, он возвращается в рубку и по дороге видит их: они усмехаются, перемигиваются, считают его сумасшедшим. Большинство развалилось на мешках. Ковыряют в зубах. Мечтают о собственном огороде либо о том, как в императорском дворце украдут большие жемчужины у местного идола.

Священное благоразумье.

Пространство и Время. 13 сентября. Возвращение с Земли на Небо должно осуществиться тем же путем, каким шел в постыдное, но заслуженное изгнание Адам.

Мир, в котором мы живем (или нам кажется, что живем), есть письмена, и читать их следует наоборот, отраженными в зеркале.

Пространство и Время — имена карающих ангелов, изгнавших нас из

Эдема. И надо будет зорко следить за ними. Ведь только они смогут указать нам дорогу для возвращения к заветным вратам.

(Так вот чего ты хочешь, Адам! Измерить? Соизмерить? Иметь больше, чем тебе дано? Узнать о Добре и Зле? Упрямый измеритель! Вот оно Пространство, а вот — Время! Уймись, глупец! Они тебя раздавят! Сотрут в порошок, выпотрошат. Ты станешь как та покойница — спаси ее Господи — Фелипа Мониз де Перестрелло. Ведь она превратилась в плоскую картинку, и безбожный супруг повесил ее в столовой, Адам! Ты хочешь навеки запутаться в эту сеть? Хочешь стать изгнанником? Только взвесь все как следует!)

Но придет некто, потомок Исаии, и поведет за собой всех! И никогда еще люди, много людей не были обязаны стольким *одному* человеку! *Герою!*

Он спасет их от небывалого страдания.

Христос был всего лишь демиургом. Он мог бы сделать гораздо больше. Например, даровать спасение и плоти. Спасение на земле. В скорбях земных. А он указал лишь путь обращения души.

Но сие объясняется его небесным происхождением: его тело было проформой. Девственник, рожденный от девственницы. Его плоть безрадостна, пресна. Христос не умел даже потеть. (Адмирал с величайшим почтением записывает это. Он признает, что именно в образе Христа иудейский бог с наибольшим успехом мог распространиться по миру.)

Море все так же сурово. Крепкий ветер. Погода готова измениться. То и дело набегают облака, начинает моросить. Люди пробуют языком кожу на руках, запотевшую бронзу. Смотрят на лезвия ножей.

Обед. Общее оживление вокруг очага. Юнги разливают вино по кувшинам.

Капитан, лоцман, нотариус, инспектор Короны за отдельным столом. Матросы устроились кто где: у перегородки штурвала, на связке канатов. У каждого уже имеется свое излюбленное место, свое пространство. И этим они похожи на кошек.

Юнга обходит корабль с колокольчиком (будто кто-то мог замешкаться!):

— К столу! К столу! Сеньор капитан, сеньор боцман и вся корабельная команда! Стол накрыт, еда стынет! Слава Кастильским Королям — и на море и на суше!

Веселье. Взрывы хохота. Всегдашняя обеденная суета. Шутки.

Нынче день хороший: баранина с чечевицей, рисовый суп и рыба. Жареный перец. Большие галеты.

Крепкое, еще без горечи, вино.

Жадно обгладываются кости. До последней капли вычищается хлебом жир.

Сушеный инжир.

А потом: кому карты, кому сиеста, кому вахта.

14 сентября. Огненная ветвь в море. Ближе к вечеру небо расчистилось. Наступила ночь — столь звездная, какой давно не видали.

Непостижимая ночь. Грозное кружение светил. (Люди шепчутся. Многие созвездия точно падают за горизонт. Никто не слушает объяснений лоцманов, на них шикают.)

Вот что-то жутко сверкнуло. Разверзлась пропасть, которую человеческие существа могут увидеть лишь с хребта темной планеты.

А на западе словно застыла в падении чудесная огненная ветвь.

Люди в страхе указывают на нее друг другу. Твердят, что это взорвавшаяся звезда.

Несколько огненных шлейфов, отходящих от центра. Несомненно, так может вращаться только пылающий меч. Светящаяся свастика.

Сколь явный знак посылает Господь! Адмирал пал на колени на кормовой площадке.

— Боже! Ты изгнал нас из Дома нашего, и теперь указуешь нам путь возвращения. Слава Тебе! Господи!

Он чуть прикрывает глаза и видит в звездном пространстве ночи движение меча, спутать которое нельзя ни с чем, прямо у носа корабля.

...пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою.
...а над тобою воссияет Господь...
(Книга пророка Исаии, 60, 1,2)

А море становится все непроницаемей, сулит что-то неведомое. Его ритмичное спокойствие никого не обманывает, не рассеивает страха.

Адмирал понимает: его люди боятся неизвестного, уверены в собственной беззащитности. И каждое утро сообщает фальшивые данные, отсчитывая доли пути меньшие, чем пройдено в действительности. Что поделаешь, лошадям следует обязательно завязывать глаза, если нужно пустить их через огонь или наперерез дикому быку.

А вокруг уже не то привычное море, *Mare Nostrum*, с которым человек почти свыкся, которому почти доверяет. Это — *Mare Genebrarum* во всем своем величии.

Живой зверь. И лишь человек по наивности может намереваться укротить его. Гигант, дикий бог: он убивает людей не по злобе — просто иначе не может.

На рассвете они увидели у носа каравеллы трех касаток и их верных спутников акул.

Грозный знак. Люди собираются группами, шепчутся, рассказывают страшные истории, вспоминают моряцкие приметы. (Так где же прячутся чудовища — в пучине морской или в наших душах?)

Царство демонов. Их не следует будить. Адмирал велит вести себя потише. Не кричать, не смеяться громко, не затевать ссор, забыть о земном и суетном. Но его не слушают. Его не понимают.

Паук, скорпион, змея осознает себя злом. Морские же звери, что сохранили свои размеры с древних времен, творят беды невольно, словно неразумные дети, или можно сказать — словно голландцы.

Грифоны, прилетающие с неведомых островов, чтобы поживиться человечьим мясом,— помесь орла со львом. Гигантский осьминог, столько раз увлекавший корабли в бездну морскую,— кальмар с восемью щупальцами. Всем известно, он любит всплывать на поверхность в лунные ночи, но людей пожирает, лишь когда очень голоден, когда нет ничего получше.

Вот теперь каравеллы пересекают черту пространственно-временной зоны, куда люди если и попадали раньше, то по чистой случайности и сами того не ведая. Адмирал знает, и в этой зоне — промежуточной между бытием и ничем, между реальностью и тайной — не избежать встречи с мертвыми, которые ведут себя весьма вызывающе.

У Адмирала есть опыт, он умеет их видеть. Они являются во всякое время суток, но только в сумерках можно разглядеть эти бледно-молочные тени.

Адмиралу известно: нельзя давать им поблажки. Стоит зазеваться, они украдут у живых пространство и время, доведут до безумия. Ни в коем случае не бояться. Относиться как к уличным псам: смело идти вперед, не показывать страха.

Они назойливы. Опаловые призраки. Астральные протоформы, тоскующие по Земле. Только и всего.

Если подойти поближе, мертвые пахнут воском, точно монахини, принявшие обет затворничества. Или словно раковины, высушенные не до конца.

Адмирал делает вид, что не замечает мертвых. Хотя знает: они здесь. Знает: они сидят на такелаже, болтают ногами в воздухе — язвительные, капризные, не слишком добрые. Они не могут рассказать, что же дано было им увидеть. А может, они ничего и не видели? И просто бесстыдно паразитируют на мрачном авторитете смерти? И злобно сеют вокруг черные знаки и предвестия.

Но Адмирал на них не глядит. Страх сильнее любопытства. Он знает: мертвые похищают живых и никогда не отпускают обратно. Они заражают все вокруг презрением к жизни, хотя сами охвачены единственной страстью — бешеной завистью к здоровым телам и чувствам.

Адмирал ходит, глядя в пол. Ночью покрепче смежает веки. Старается поскорее заснуть и вспоминает яркие картины, людей.

Когда ему кажется, что они вот-вот победят, вот-вот разольются вокруг своим молочным свечением, он покидает рубку, бегом спускается вниз, заводит разговор с вахтенным, с рулевым.

Только в такие минуты бывает он прост, любезен и даже рассказывает что-то забавное.

Потому что боится мертвых.

А люди чувствуют себя все более беззащитными и жадно стараются встретить (и, конечно, находят) добрые знаки.

Они приносят Адмиралу морские травы и показывают свившего в них гнездо рака. Его опускают на доски палубы и заставляют ползти вперед. Дают крошки хлеба. Поливают морской водой. Ему поклоняются. И — приносят в жертву, дабы укротить свои страхи.

Верят — желанный берег, плодородные земли уже близки. Им кажется, что в небе пролетает множество перелетных птиц. (Памятный день 18 сентября.) Крики восторга. На корабль залетел старый глупыш, то ли потерявшийся, то ли покинутый стаей.

20 сентября на каравеллу прилетели еще несколько птичек, попели и до восхода солнца исчезли.

Нетерпение столь сильно, что глаза людей блестят, точно у одержимых.

Игла компаса отклонилась на четверть к северо-западу: это верный знак. Видно, близка уже та часть света, где рушатся привычные пространственно-временные схемы. Компасы любят истину, поэтому так быстро приходят в волнение.

На море поднимаются волны. Темное море, тяжелое как ртуть. Катят огромные валы. А ветра нет. Это беспокоит лоцманов. Они перекликаются с марсов трех каравелл.

Что происходит? Подобного никто никогда не видел. Только Адмирал спокоен: то Господь посылает еще один знак. Так было и в те времена, когда Моисей покинул Египет с народом еврейским: воды моря поднялись стеной, хоть и не было ветра.

Адмирал, закрыв глаза, возносит хвалы Творцу. Бог не оставляет его — это главное.

25 сентября. Обманные острова. Страстные желания могут рождать химеры. С «Пинты», где капитаном был Мартин Алонсо Пинсон, закричали наконец, что видят берег.

Страх и призраки идут рука об руку. Но Адмирал воспользовался случаем, он сделал вид, будто поверил в видение, и присоединился к всеобщему ликованию. Прямо на мостике он пал на колени и возглавил хор, затянувший *«Gloria in Excelsis Deo»*.

Люди карабкаются по снастям. Радостно машут шляпами. Все видят острова, покрытые золотым песком. «Как на Гвинее». Видят пальмы. Видят множество разных деревьев.

Пользуются внезапным затишьем и ныряют со снастей в воду: *Mare Genebrarum* осталось позади!

Они рады поиздеваться над морем (как над спящим львом). Смеются, резвятся в воде. Прочь все сомнения!

Вспоминают язык, на котором разговаривают лишь на суше, возвращаются к береговым заботам.

Даже самые измученные заснули в ту ночь спокойно. Теперь можно думать не о бунте, а о посадке растений (как странно, на море они мечтают вновь стать обычными земледельцами, в поле же и у ткацкого станка грезят морем...).

Но на рассвете берега уже никто не видит. Надо идти дальше.

Разочарование не слишком велико: скоро, уверены все, появится новый архипелаг.

Каравеллы бороздят теперь воды, где у ветров свои законы.

Справедливо заметил апостол Павел: Дьявол движет силами ветра.

И это самое страшное. Начинается буря. Кажется, небо сейчас расколется и рухнет.

Раскаты грома. Вспышки молний. Воистину, ярость Божия сияет ярче его доброты.

Когда совсем близко подступает тайфун, Адмиралу чудится, будто Бог — Бог-Отец — в гневе похож на его собственного деда. Напившись допьяна, тот терял рассудок и швырял в дверь стулья, бутылки, посуду. Вопил с пеной у рта. Пока не удавалось скрутить старика и окунуть в ров с холодной водой.

Дикие ветры нарушают привычный порядок: несут смерчи и огромные волны.

Белопарусные кораблики, точно бумажки в бурном ручье, скачут во весь опор по гигантским валам.

«Гром — рухнувшая скала».

Принять на себя шторм! Встретить шторм грудью! Мчаться вместе с волнами! Смелее! Не защищаться! Зачем?

Матросы не слушают его. Хотят поскорее спустить паруса. Бросить маленькие якоря. Преобразить призрачное пространство трех каравелл в три устойчивых и надежных острова. Но все пустое! Море разобьет их одним ударом своего кулака.

Адмирал кричит своим людям, требует: с радостью отдадим себя на волю волн. Пусть насилие будет побеждено любовью!

Чтобы усмирить ярость ветров, матросы завязывают узлами все, что попадается под руку, даже хвосты у крыс.

Закрыв глаза, читают молитвы.

Целой делегацией пришли они к Адмиралу. Даже отважились поднять-ся в рубку. Известно, у Адмирала есть вязаный мешочек с суставами, который купил он у шотландской гадалки. Пусть он не пожалеет и бросит по горсти на каждую из четырех сторон света.

А еще они говорят: «Фок и грот гнутся как тростник...»

Адмирал убеждает: «Глупцы, разве не знаете вы, когда человек считает, что стоит на краю гибели, он прошел лишь половину пути...»

А они его просят обратиться за помощью к Тата Панчо, просят надеть облачение францисканца. Морские традиции.

Лоцманы отказываются вести флотилию в центр урагана, в пекло, где куются громы и молнии, в кузню, пылающую над горизонтом. Вулкан, повернутый жерлом вниз.

Лоцманы изо всех сил рвутся прочь, их гонит обычный животный страх.

Адмирал кричит рулевому:

— Надо идти только туда! Туда, где спят демоны! В самое их логово! Только там можно найти спасение! В граде Зла. В центре, откуда один за другим вылетают дьявольские отряды!..

Надо попасть в ядро урагана. Там царят тишина и покой. Видно, как носятся вокруг черные облака, груженные холодом и огнем, как гоняются друг за другом, точно эринии.

Адмирал с трудом поднимается на марс, бросая вызов шторму, и оттуда швыряет на ветер пригоршни бумажных клочков, чтобы понаблюдать их винтовое кручение. Что-то кричит стоящему внизу у подножия грот-мачты Хуану де ла Коса, но шторм стирает, уносит слова.

Теперь-то Адмирал знает: ветер несется по спирали — как звезды в бесконечном пространстве, как воды, когда их всасывает страшная бездна.

Крепнет, мужает дух Адмирала в ужасных испытаниях, когда все обретает иной масштаб, когда смотришь в лицо опасности и надеешься только на себя.

Он имеет огромное преимущество перед остальными, ибо считает

человека изначально беззащитным, лишенным покровителей. Поэтому он не молит у урагана пощады, не просит, чтобы море обернулось спокойной равнинной рекой.

Он верит, что если одно испытание закончится, то за ним последует другое, еще большее. И он терпит, когда остальные слабеют и стенают.

Терпит, а люди вокруг него — его презирающие — вовсе сникают и становятся похожими на собственные страхи.

Адмирал же сияет особым огнем одиночества. Много часов подряд не покидает он капитанский мостик. А когда начинает проясняться и только огненный дождь еще падает с небес, он переходит на кормовую площадку и ждет появления знака спасения.

Как и многие гении (возможно, благодаря тому что в кожу его впитались соль и планктон), Адмирал излучает мерцающий свет.

Ферменты кожи лица окисляются, и возникают сверкающие отблески, хорошо видимые в темноте (такой прерывистый свет идет от маяков, что ставят у входа в свои порты англичане, чтобы указывать путь возвращающимся с грабежей и пиратских набегов судам).

Хулители и враги утверждают, что светится он благодаря люциферину, который вырабатывается его организмом, богатым люциферонами.

Простые матросы не любят его, но уважают. И с опаской подглядывают из-за переборок и мачт.

Порой он видится им огромным светляком.

27 сентября. Происходят странные вещи. Сапожник Перес явился к Адмиралу вместе с королевским инспектором Санчесом де Сеговиа.

А дело было вот в чем. Поздней ночью, пока Перес делал свои дела в «садике» (гальюне) у бакборта, он видел непонятные огни. Несколько движущихся и расположенных одна над другой горизонтальных светящихся линий. По его словам, то было огромное, небывалых размеров судно, такое же высокое, как собор в Севилье. А освещенная мачта была подобна Хиральде [1].

Перес умеет читать (мечтатель и мистик, как и подобает сапожнику) и утверждает, что сумел разобрать на корме чудовища, которое прошло мимо, разбрасывая горящую всеми цветами пену, слова «Queen Victoria».

Санчес де Сеговиа верит ему, потому и привел к главному человеку во флотилии. Он и сам заметил: происходят странные вещи. Сдается, они здесь не одни. Инспектор отваживается намекнуть, что лучше бы им было поскорее вернуться в Испанию.

Адмирал не удостаивает ответом подобную нелепость.

Инспектор утверждает: на каравеллах завелись недовольство и зломыслие.

«Говорить с ними — все равно что воду решетом носить. Мешок со змеями». Многие, кажется, уже начали замечать мертвых. Кое-кто не хочет справлять нужду за борт, где подстерегают их демоны-насмешники. (Инспектор рассказывает два грубых анекдота.)

Самые наблюдательные поняли, что сутки длятся уже не 24, а 32 или даже 33 часа, а каждая лига вмещает в себя четыре.

Люди точат ножи. Происходят тайные сходки. Адмирала, сообщает инспектор, называют дьяволом. Самые смелые даже предлагают сжечь его, обваляв в смоле, у грот-мачты.

Да, в чем-то они правы. Люди перед лицом больших перемен стремятся отвлечь себя чем-то, пусть даже насилием.

Адмирал требует от инспектора официального и широкого расследования. И пусть не преминет изложить все на бумаге. А Переса де Кадиса, мистика и сапожника, награждает, словно благородного коня, куском сахара, который сам же подносит ему ко рту.

В действительности это плавание длилось десять лет (как и отплытие). Как очень скоро понял Адмирал, цели своей он мог добиться, лишь

---

[1] Башня в Севилье, построенная в 1184—1196 гг.

полностью сломав установившийся пространственно-временной порядок, поколебав существующий образ мира.

То было новое дело, и в ходе его открывались, естественно, новые обстоятельства.

Нос «Санта Марии» вспарывал линию пространственно-исторического горизонта. Будто делал прореху в мешке с подарками, что разыгрываются на лотереях в Феррагосто. Ящик Пандоры, напичканный историей.

В пространственно-временной завесе возникла щель, и сквозь нее начали просачиваться люди, корабли, события. Адмирал был фантазером и принимал все как должное, не пытаясь найти объяснения, которые та эпоха, небогатая возможностями, дать и не могла.

Так, он мог перейти с мостика «Санта Марии» на мостик «Марии Галанте» (она снимется с якоря в 1493 году и пойдет во главе флотилии из пятнадцати больших и нескольких более скромных парусных судов) или на мостик «Вакеньос» (или «Висканины», пустившейся в плавание в 1502 г.).

Теперь его задача несказанно усложнилась. И если бы не природные скептицизм и невозмутимость, ему пришлось бы скверно при столкновении с небывалым и загадочным.

Так, в субботу 6 октября он имел возможность наблюдать три каравеллы, идущие к великому дню 12 октября 1492 года. Он смотрел на них с мостика «Марии Галанте» через подзорную трубу, подаренную ему в Барселоне (после триумфального возвращения) оптиком из Фландрии Цейсом, который пытался распространить при дворе свои изделия и требовал патент на изобретение.

На кормовой площадке «Санта Марии» стоял он сам! И старался сквозь завесу тумана будущего разглядеть очертания «Марии Галанте»!

Матросы облепили снасти. Им очень хочется что-то увидеть сквозь молочно-белую пелену.

Они говорят, что откуда-то доносится ржание и громкое, отчетливое мычание. А на рассвете — пение петуха.

Но на борту трех каравелл нет никого, кроме людей и пронырливых крыс.

Матросы шепчутся о демонах, о легендарном морском коне.

Но бык существует на самом деле. На борту «Ла Колины» Жоан Вельмонт готовит его к торжествам по случаю годовщины 12 октября. Зверь вырвался из временного загона и бушевал на палубе — к ужасу и ликованию (на испанский манер) матросов. Ну чем не праздник святого Фермина! «Оле! Оле!» — кричат зрители при каждом неудачном шаге Жоана Вельмонта, пытающегося загнать быка в трюм. А лошади ржут. Они испытывают ужас перед морем, перед его безднами.

От шума и криков на снастях всполошились голуби, воробьи, куропатки, которых везут с собой для развода.

Бык яростно ревет. Он учуял запах молочных коров с борта «Гальеги». Ругаются разгневанные земледельцы: рогач попортил их маленькие огороды, где путешествуют в новые земли всякие полезные растения, превратившие корабль в плавучий сад.

Наконец тореро, стоя у входа в трюм, отважно манит быка. И когда зверь на него кидается, уходит от удара, а бык летит в темноту. Бурное ликование публики. Аплодисменты. Героя несут на плечах.

Вельмонт приглашен отобедать вместе с лоцманами и капитаном.

Да, теперь уже многие, как и Перес де Кадис, утверждают, будто видели светящиеся корабли.

Внимательно следил за ними и Адмирал. То были суда без парусов, перевозили они большое количество людей и всякой всячины. Попадались корабли из металла, с огромными трубами, оставлявшие за собой на удивление ровный дымный шлейф, и он вовсе не походил на дым от пожара.

Один из кораблей, *«Rex»,* оглушил их веселой музыкой. Вечерело, и было отлично видно, как на палубе, рядом с чем-то вроде пруда, окруженного пестрыми зонтами, стояли молодые люди в соломенных шляпах,

в белых полотняных жилетах. И женщины в изящных, украшенных цветами и лентами головных уборах. Бокалы с соломинками и кружками лимона. Синкопированная музыка. (Откуда было Адмиралу знать, что сам Лекуона исполнял свою знаменитую румбу «Торговец жареным арахисом»?) Адмирал смотрит завороженно, словно бедный крестьянин на чужой праздник, и слегка завидует вольной и раскованной жизни удачливой буржуазии первых десятилетий одного из будущих веков.

И снова на помощь Адмиралу приходит здоровый инстинкт, мешая углубиться в размышления об увиденном. На головокружительные видения смотрит Колумб взглядом мула, что забрел высоко в горы.

Только так можно уберечь рассудок от помешательства. Колумб благоразумен.

Ему внушает тревогу другое: слишком часто падают из будущего эти корабли. И нагло, без должного почтения крутятся вокруг «Санта Марии»: то маячат где-то впереди, то возникают за кормой.

Правда — он успел в этом убедиться,— они никогда не пересекают линии, которая идет вперёд от носа «Санта Марии». Будто впрямую зависят от положения ее утомленного деревянного носа, разрезающего толщу времен. Так что при безветрии, а также когда каравелла сбивается с привычного курса либо замедляет ход, пришельцы из будущего мечутся, точно теряя ориентиры.

Вот, например, корабль под названием «Mayflower». Он полон грозных пуритан и следует курсом на Винланд, но сейчас кружит рядом с «Санта Марией», словно у него сломан штурвал или ведет его кривой рулевой. Судно все время заворачивает влево, как осел у водокачки.

Нечто похожее случилось и с кораблями английских пиратов Гуотеррала и Кэнделина Хокинса, любовников королевы-девственницы.

На север, к Новому Граду, к Плате плывут мрачные суда, груженные эмигрантами — сицилийцами, генуэзцами, эстремадурцами, ирландцами.

Они будут работать, плодиться, смешивать свою кровь с чужой, бороться за выживание.

По ночному морю несется песнь евреев из колена Ашкенази, неаполитанца, который соблазнит дочь венгерского раввина. От их любви родится нью-йоркский промышленник. А турчанка из Анкары родит сына от степенного эстремадурца, мечтающего, чтобы его отпрыск стал нотариусом, хозяином фермы либо кофейной плантации.

Ветерок доносит слова, понять которые Адмиралу не дано: фокстрот, Анды, отель для эмигрантов, Ла-Плата, милонга «Есть на Западе золото, Джим!».

Однажды ночью появился большой парусник голландцев христиан, занимающихся торговлей неграми. Сейчас он вез свой груз — в должном порядке оформленный — туда, где дадут за него лучшую цену — на Эспаньолу и в Портобелло.

Зловоние и смрад так сильны, что киты решили покинуть район между линией экватора и 35 градусом северной широты.

Но несмотря ни на что, из этого корабля смерти слышалось несокрушимое монотонное пение, громкое, стройное...

А виной всему был человеколюбивый совет падре Лас Касаса: «Раз негры всегда были рабами, а души у них почти и вовсе нет, почему не ввозить их сюда из Африки и тем самым уберечь индейцев от жалкой участи?»

9 и 10 сентября. «Всю ночь мы слышали, как над нами пролетали птицы». Глухая темнота. В ней слышалось хлопанье крыльев. Птицы наверняка были перелетными.

Каравеллы идут тем же путем, что и птицы. Это хорошо. К вечеру на корабле побывали грач, селезень и пеликан.

Что, вероятно, и спасло Адмирала от гнева людей, которые совсем потеряли голову среди всех этих видений и призраков. Заговорщики не могли прийти к согласию: многие считали, что земля уже совсем близка и что стоит подождать еще несколько дней, не поднимая бунта.

Королевский инспектор принес свой доклад, скрепленный печатью нотариуса. Половину беспорядков на борту он объяснял заговором, вторую половину — таинственными причинами.

Чиновник, больше всего на свете ценивший порядок, смущен. Он словно вдруг открыл, что мир у него под ногами колеблется. Что утрачено уважение к воле метрополии.

Итак, неожиданно выяснилось: все вокруг пронизано нитями заговора. Сам Пинсон приблизился к ним на «Пинте» и, чуть не столкнувшись с ними, закричал Адмиралу:

— Ваша Милость, бросьте-ка скорее полдюжины бунтовщиков за борт! А если Ваша Милость не может решиться, мы с братьями сами их перебьем!

Пинсон был простодушен, как все иберийцы. Адмирал же отвечал ему как всегда уклончиво:

— Успокойтесь, Мартин Алонсо. Не будем ссориться с этими кабальеро. Если через несколько дней не увидим землю, попробуем изменить курс...

Но есть сведения и совсем об иных заговорах, пострашнее прочих. Инспектор принес список имен. Это целая сеть. Он поясняет:

— Не будьте так доверчивы, Ваша Милость. Они имеют своих людей при дворе. И отправляясь в плавание, не собирались исполнять волю Господа и наших Королей. Их цель — подорвать систему. Вы думаете, их волнуют интересы Испании? Нет же! Это бегство от цивилизации, от христианства! Бегство из Испании и из Европы. Они — противники нашей Системы...

Он разворачивает свиток и читает имена:

— Командор Бобадилья, Маргарит, священник Буиль, Гевара и Рикельме. Охеда (этот готовит даже особый флот и везет с собой — в довершение всего — агента торгового Дома Берарди по имени Америго Веспуччи, родственника той, Красавицы...), братья Поррас, Франсиско Ролдан, аптекарь Берналь, Фонсека...

Эти — с одной стороны. На первый взгляд, они кажутся безопасными. Но бунтарство у них в крови. С другой стороны — чужаки, скажем вроде ландскнехтов. Язык их понять невозможно, потому трудно судить о намерениях.

Есть и еще один тип, и весьма опасный,— Мордехай. Он прячется в трюме, то на «Вакеньос», то на «Коррео». Живет в полутьме, среди крысиных гнезд. Говорит людям, что все равны, что надо объединяться, что собственность — воровство! Видно, начитался святого Фомы или того, несчастного из Ассизи [1]! Он даже заявляет, что религия — опиум для народа! Подумайте только, Адмирал!

— Мордехай?

Инспектор:

— Мы везем с собой заразу. Кое-кто из его сторонников попытался подпилить ахтерштевень на «Вакеньос». Мы обнаружили опилки. К счастью, мои агенты подоспели вовремя. Корабль с подпиленным ахтерштевнем рассыплется как цветок на ветру.

Есть тут еще семья андалусских цыган, дети Хехеля, они прячутся в самых темных углах и выходят лишь для того, чтобы поговорить со всяким отребьем: недовольными, больными... Сулят им рай...

— Рай? — в тревоге переспросил Адмирал. На что Санчес де Сеговиа ответил:

— Ну... в фигуральном, разумеется, смысле. Говорят, что люди должны иметь свой рай на земле и что они укажут им путь туда...

Адмирал пришел в ярость:

— Привести ко мне Мордехая и тех, других! Отыскать их в трюмах! Удвоить охрану! Пытать! За борт!

Тихая тропическая ночь приходит на смену адской дневной жаре, когда

---

[1] Имеются в виду философ и теолог Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) и итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226).

солнце палит нещадно, а мертвые паруса, словно расплавленный воск, струятся по мачтам-свечкам.

Так жарко! Тела готовы растаять. Только галисийские земледельцы не снимают одежды и не выходят наружу. Люди и животные рвутся на воздух. Но там их встречает пылающее солнце. Одуревшие куры пытаются сделать несколько шагов по палубе, но валятся замертво, с открытыми глазами, словно сраженные молнией.

Земледельцы со слезами на глазах смотрят на свою поникшую рассаду и смачивают — безумцы! — пожухлые листья морской водой. Но разве можно прикладывать соль к губам умирающего от жара? Нежные листья свертываются, покрывшись слоем селитры.

Плавится, чуть не течет железо гвоздей, клюзов... Бомбарды жгут руку, будто из них только что палили по невидимому врагу.

В записи под датой 13 июля говорится: «Каравеллы вот-вот запылают, полопались бочки с водой и вином, пшеница стала горячей как огонь. Сало и вяленое мясо изжарились. Все пропало».

Обезумел молодой жеребец, его пришлось выбросить в море. И в помешательстве своем — против закона природы — поплыл он к югу, к линии экватора, в то время как инстинкт должен был гнать его — вперед ли, назад ли — по курсу корабля. (А может, на юге он почуял близкую землю?)

Сначала в недвижном море они видели рыжую гриву, потом — ничего.

Однако для Адмирала невыносимая жара — добрый знак. Так и должно быть в той точке космического начала, которой они достигли. Жар исходит от огненных мечей, охраняющих Врата Рая.

Только к полуночи зной начинает спадать. Воздух сравнивается температурой с водой, над палубой дует легкий, как лань, ветерок.

Но ветер сей не несет покоя. То подкрадывается зловещая тракончана.

— Идет тракончана! — кричит вахтенный с марса.

Надвигается новый ветер — плотный, влажный, свадебно-торжественный. Он похож на сирокко, который окутывает в первую ночь любви юных венецианцев.

Ветер, поднимающий скрытые тревоги. «Повеяло женщиной» — как говорят в Неаполе.

Да, ветер этот обрушится бурей на души страстно тоскующих по женщинам иберов. Светит полная луна, и Адмирал вспоминает поговорку каталонских моряков:

Полная луна, вот идет тракончана,
А за наши грехи платить еще рано.

Ветер сладковатый и соленый одновременно. Он словно пропитан пóтом. Окутывает лица какой-то млечной росой. Проникает в трюмы, где валяются полуголые матросы.

Похоть у моряков-иберов — как у запертых в клетку и чующих течную суку кобелей. Она может взорваться нежданно и вылиться в самых недолжных формах: насилие, непристойные выходки, содомский грех... Словом — как ни тяжело в этом признаться,— сексуальность по-католически.

Уж кто-кто, а Адмирал знает: многие отважились пуститься в плавание через океан, чтобы добыть себе женщин, чтобы «потешить собачку» (или «начистить саблю», или «увидеть лик Божий»), как называют они это на трюмовом жаргоне.

Тихая ночь. Паруса едва-едва тянут каравеллы. Сейчас они не обогнали бы и пловца. Видно, поэтому матросы раздеваются донага (случай сам по себе редкий, почти никогда не расстаются они с пропотевшими штанами и байковой рубахой) и ныряют в воду. Плавают, плескаются, самые смелые подныривают под киль. Возвращаясь, карабкаются наверх по толстому канату, переброшенному на корму. Так негры Гвинеи забираются на гибкую пальму.

Надутые паруса под полной луной. Большие опаловые груди. Три каравеллы — три португальских кормилицы, шествующие на рынок.

Вот кто-то (и это тоже раньше случалось весьма не часто) карабкается

по снастям на марс и оттуда прыгает в провес паруса, чтобы скатиться к нижнему его краю, словно с детской горки, с хохотом валясь на палубу. За ним следуют другие. И снова, снова, веселясь от души, прыгают.

Большие груди парусов сдерживают ветер. Даосистский триумф бездействия, управляющего порывами. Паруса — средоточие женской силы кораблей. Гигантские самки-родительницы. Неприступные, невозмутимые крестные матери.

Словно бы нехотя старые морские волки сходятся у борта, там, где находится «садик», и смотрят, как справляют нужду юнги. Здесь ведутся беседы, назначаются встречи.

Адмирал понимает: они попали во власть Афродиты, богини любви, рожденной морем. Напрягши слух, можно различить ритмичное пение сирен. Три из них — с алебастровыми грудями, бледно светящимися под полной луной, резвясь и играя, как дельфины, проплывают недалеко от кормы. Адмирал велит держаться от них подальше. Его предупреждала Бобадилья: надо бежать голоса божественных сирен, стороной обходить места, где они так сладко поют. Адмиралу известно: Афродита смотрит на них и наполняет сердца их нежной истомой.

Моралист инспектор советует поскорее принять меры и прекратить бесчинства. Вон на «Коррео» жалобно мычат коровы, дошла очередь и до них.

А тридцать проституток, которых Адмирал согласился взять на борт в Севилье, вопреки строгому запрету, отдаются прямо на палубе, у подножия мачт.

Потянулись наверх и те, кто доселе прятался в трюмах, кто тайком проник на судно. Они и сейчас скрывают лица и выходят в масках, порой непристойных. Откуда-то появляются бабьи парики, панталоны с оборками и даже костюм цыганки-плясуньи.

Среди тех, кто толчется вблизи примитивного судового писсуара, и философ Жан-Лу Васселэн, автор «Traité de Modération» [1].

Все стремительнее погружается корабль в ночь, все богаче становится рынок любви. Вечный, первозданный его вариант: услуга за услугу, ты — мне, я — тебе.

А там, в складках паруса, идет потеха. Словно гипноз, неведомая сила втягивает в игру все новых участников.

Адмирал не поддается на уговоры Санчеса де Сеговии и нотариуса и не применяет карательных мер. Старается не слышать чрезмерно громких сетований падре Буиля (Скварчиалуппи и другие молодые священники — взбесившиеся развратники — сбежали из сооруженного на корме походного монастыря и смешались с толпой матросов. Узнать их легко: прямо на голое тело, точно халаты, надели они ризы — слава Господу, еще неосвященные).

Непроглядная тьма. Кругом шепот, вздохи, смех.

У борта бродит один из «нежелательных», плотно закутавшись в пальто и распространяя запах аптеки. Он что-то внушает палубному матросу Пересу, беззубому арагонцу в драной фуфайке и с ножом на груди. Но тот не понимает ни слова из рассказов о «тете Леони», о колокольне крошечной церковки Сен-Марсель-е-Де-Брагетт.

А меж тем запретная любовь, вырвавшись на волю, пускается в рискованные авантюры. Некоторым фигурам и позам позавидовали бы цирковые акробаты.

Вот у фок-мачты «Санта Марии» пляшет отчаянная мадридская красотка. Где пряталась она до сей поры? Какое обличье носила? Может, нотариуса Родригеса де Эскобедо?

Ветер тракончана всюду отыщет женщину, самку... Каплями пота просочится женское сквозь кожу мужчин. И вдруг, будто вывернувшись наизнанку, обернутся они собственной милой сестрицей, сестрой милосердия, проституткой, перезревшей монахиней либо любезной и заботливой тетушкой.

---

[1] «Трактат о воздержании» *(франц.)*.

С кормовой площадки разглядел Адмирал квакеров и пуритан на палубе «Mayflower». И туда проникла тракончана. Не покладая рук трудятся и они. Лихорадочно блестят в ночной темноте их глаза. С мрачным упорством пытаются они не замечать жестоких шуток похотливой природы. Из глубин многопуговичных штанов лютеранских пасторов грозной пантерой рычит их плоть.

Сия досадная жизненная сила не пощадила и падре Лас Касаса. Теперь он рыдает, встав на колени у гика «Марии Галанте», под издевательский смех вахтенных матросов.

Лишь инспектор с четырьмя верными солдатами не терял времени даром. Может, в ночь тракончаны удастся схватить Мордехая и его сообщников?

Но бунтовщики еще раз проявили революционную стойкость и твердость духа. Они не вышли на палубу, не отдались безумствам ночи любви.

И только перед рассветом увидели на стеньге «Ла Колины» левитскую, мессианскую фигуру бородатого Мордехая, одетого все в то же залитое супом пальто. Он подавал световые сигналы — наверняка секретным шифром — двум английским парусникам, на которых в южное полушарие направлялись заговорщики (то были «Джордж Кэннинг» и «Эйвон» с профилем Боливара).

Но захват не удался: Мордехай, повсюду имевший сторонников — среди матросов, солдат, «нежелательных» и шлюх,— успел улизнуть в трюм. А затем перебрался на борт «Ла Горды», где орудовала целая банда копиистов, множивших зловредные подрывные листовки.

Врата, открывающие путь к незримому, сами доступны взору человеческому. Это Адмирал знал твердо.

В рубке он еще раз изучил секретные карты. Многолетние поиски, сомнительные поступки, работа упрямой мысли, интуиция — вот что лежало за ними. (Многим доводилось читать эти священные тексты и тексты языческие. И только один, избранный — потомок Исаии,— получал ключ к тайному смыслу реченного...)

Повернуть на четверть к югу, придерживаться линии между тропиком и экватором. Нет сомнений, здесь прошел аббат Брандан в 565 году, здесь удалось ему *переступить порог*.

Адмирал уверен: несмотря на блуждания, несмотря на безветрие, они приближаются к Началу.

Господь послал ему столько знамений! Ужель теперь отступится? Незнакомые фрукты, звонкоголосые птицы, невиданная жара — все это знаки. И главный из них — дивный аромат, приносимый ночным ветром (быстроцветный жасмин, сорванный украдкой цветок апельсинового дерева). Эти знаки гнали его вперед. Они были наградой за бесстрашие, за дерзость. Он сорвал с себя волшебные цепи Бобадильи, поборол соблазн стать хозяином дышащих серой земель. (Кто не знает, что адские врата находятся неподалеку от врат спасения, это было известно Данте, но все-таки он совершил большую ошибку, назвав Счастливые острова, Канары, Земным Раем. До чего легковесны в своих сужденьях поэты!)

Долгие часы, забыв обо всем, стоит Адмирал на мостике. Не покидает его даже в сумерки. Приказывает отобрать юнг с острым зрением и посылать их на марс. Хотя в душе он уверен, что только ему будет дарована честь первым увидеть желанную цель.

При мерцающем свете лампы перечитывает он свои записи:

«Там, за Океаном, что окружает четыре края Континента, есть другая земля, в коей находится Рай — обиталище людей до Потопа».

Есть о том и иные свидетельства: «Я вправо, к остью, поднял взгляд очей, //И он пленился четырьмя звездами,// Чей отсвет первых озарял людей. (*Данте*, Божественная комедия, «Чистилище», песнь 1 [1].)

Но почему Исаак и Иаков не сказали ни слова о том, как побывали в Раю? Что за тайна запечатала им уста?

---

[1] Перевод М. Лозинского.

«Изгоняя Адама из Рая, Бог позволил ему взять с собой шафран, туберозу, сладкую кукурузу, корицу и много семян фруктовых деревьев.

Есть в Раю семь врат золотых и семьдесят престолов из золота и алмазов» (Иешуа Бен Леви сумел проникнуть в Рай с помощью известной бесчестной уловки. Его свидетельство, заверенное раввином из Генуи, стало решающим доводом для Банка Сан-Джорджо и финансиста Сантанхеля. Они пошли на риск и дали ссуды на экспедицию).

«Там, за Тропиком Козерога есть обитаемая земля — самая высокая и благородная часть мира. То Рай Земной» (*Аббат д'Айи.* «Образ мира»).

Но Адмирал не ищет ни злата, ни алмазов, ни жемчуга. Не станет он разграблять Райские врата, словно брошенный домишко в окрестностях Генуи.

Его устремления высоки, грандиозны, несказанно значительны. Он вернется назад, лишь одержав победу над смертью! Он швырнет вечность к подножию трона королевы Изабеллы! Он сбросит груз смертной тоски с плеч задыхающегося Запада (как перекидают лопатами тонны угля на берег с его каравелл наглые шлюхи, убийцы и завистливые земледельцы).

Он напишет в Банк Сан-Джорджо: «Ни одному смертному со времен царя Давида не была ниспослана милость, подобная той, что была дарована мне».

Они близки к цели. Пришла пора посвятить в Тайну других. Он призвал судового раввина Луиса де Торреса (до сего момента числившегося толмачом), сапожника-мистика Алонсо Переса де Кадис и инспектора Короны.

И Адмирал произнес:

— Кабальеро, вы не равны по рождению, но я собрал вас как равных, ибо хочу сообщить нечто весьма замечательное. Вот-вот достигнем мы земли. Какой земли? Индий, Востока, может, Сипанго либо Офира. Но как знать! Разве не можем мы обнаружить нечто большее? Нечто великое... Вдруг проникли мы в те недоступные смертным места, где побывал аббат Брандан?.. И думать нам следует не о географии, не о выгоде, не о земных благах... Хочу положиться на вас и на вашу преданность и хочу упредить вас: готовьтесь к встрече с Великим... Не каждому человеку дано пережить сие испытание...

Но понял смысл сказанного Адмиралом лишь один тайный раввин. Он пал на колени и благочестиво запричитал:

— Eretz Israel! Прав был Иаков: мир сей лишь преддверие мира грядущего. И мы должны приготовиться в передней, прежде чем войти в залу (так учит Талмуд!).— И он зарыдал, брызгая слюной.

12 октября 1492 года. Гуанаани. Всю ночь провел Адмирал на мостике. Наконец, еще до полуночи, появился в небе знак в виде огненного меча (но очень далекий, едва различимый — должно быть, подавал сей знак какой-то нерадивый ангел, тысячи лет проскучавший на не слишком почетном посту). «Словно свеча, которой провели сверху вниз»,— записал Адмирал в дневник.

Слабый ветер дует в корму. Адмирал указывает рулевым какую-то точку на горизонте, но они ничего не видят. Лишь королевский постельничий Гутьеррес подтверждает: да, там действительно что-то есть.

Итак, флотилия приближается к цели. Адмирал запирается в рубке и размышляет.

Он чувствует страх. А вдруг его ждет разочарование? Страх перед реальностью. Опять реальность? А если они действительно окажутся на Сипанго, или в Катае, или в Офире, со всем их золотом?

Но вот уже кричит с марса «Пинты» Родриго де Триана. Два часа по полуночи. Рассвет в тропиках: пурпурными перстами сеет заря зерна всех цветов и оттенков.

— Земля по носу! По носу, Адмирал! — размахивает он рубашкой. Голос андалусца катится по спокойному морю и разбивается о борт «Санта Марии».

Люди карабкаются по снастям. Вылезают из трюмов. Кричат. Смеются. Молятся. Поют «Salve Regina». Бреются, словно пришла пора идти на воскресную корриду.

Но Адмирал не участвует в ликовании толпы. Он прячется в рубке. Да, берег отчетливо виден, но нет там высокой горы. Нет и огромной волны, что домчит каравеллы до сердца Рая.

Видно, то лишь окраины Эдема. Земли, где побывал аббат Брандан.

Значит, их ждут новые тяжелые испытания — на море и при дворе. Значит, недостойны они еще права с окраин перейти в omphalos Эдема. Значит, опять он будет смотреть, как влачат свою жалкую жизнь люди, как без конца повторяется одно и то же: горести, крушения надежд, скука, смерть...

Ну что ж, он снова будет бороздить морские просторы, снова будет отыскивать верный курс — пока не найдет Начало Начал.

Но сейчас не время говорить об этом. Он молчит. И записывает в свой дневник знаменитые строки:

«...то был один из Лукайских островков, и звался он Гуанаани. Тут же увидели нагих людей, и Адмирал съехал на берег в лодке, а с ним были Мартин Алонсо Пинсон, Висенте Яньес Пинсон, Родриго Санчес де Сеговиа и нотариус Родригес де Эскобедо, чтобы засвидетельствовать, что он, Адмирал, первым вступил во владение этим островом от имени короля и королевы, его государей. А чтобы поддержать дружбу с нагими островитянами, я дал им несколько алых колпаков и стеклянные четки, какие вешают на шею, и много других пустячных предметов, и все это доставило им большое удовольствие...»

4 августа 1498 года. Omphalos. Как ни странно, но в жизни Адмирала, в подлинной его жизни, за 12 октября 1492 года следовал день 4 августа 1498 года.

Бесконечные немилосердно жаркие дни. Пустынное море. Готовая закипеть вода. Влажные росные ночи.

Пылающие огнем тропики. Воздух Америки — дыхание горячечного пса.

Вдали — полуостров Пария. Монотонная золотая лента. Пенная кромка безмятежного моря.

На фоне ночного неба едва заметно светится голова Адмирала, то фосфоресцируют впитавшиеся в кожу его морские песчинки и соль. Из-за этого голова кажется очень большой и напоминает хрустальные маски, которые в этих таинственных землях кладут на лица умерших вождей.

Его слепит утреннее солнце. Глаза Адмирала, утомленные вечным поиском признаков Входа, почти перестали видеть. Защищаясь от солнца, он прикрывает их красными веками — двумя сморщенными, высохшими кусочками кожи.

Ветра почти нет. Нос флагманского корабля разрезает прозрачную спокойную воду. Вдали белой полосой тянется берег. Зеленая нитка пальм. Пушистая бахрома пены.

Вот уже тридцать три дня, как не спит Адмирал. И почти не ест. Днем бродит по кораблю под палящим, слепящим солнцем, что-то шепчет. Порой начинает бредить, кричит. Принимает реальных людей за призраки.

Уже нет к нему прежнего уважения. Над ним потешаются. Бросают в спину злые шутки. Адмиралу желают смерти (и боятся ее — так бывает с любым тираном). С палубы «Вакеньос» кричат ему что-то, кривляясь, шлюхи.

Слуги словно забыли об Адмирале. Он находит себе пристанище то на баке, то на корме. Вспоминает о нем лишь ландскнехт Ульрих Ницш и приносит кувшин свежей воды.

Наконец пришел день, которого все так ждали, во славу которого принесено было столько жертв: 4 августа 1498 года.

Вот что рассказывает Адмирал в своем письме королеве Изабелле:

«В Рай Земной не сможет проникнуть никто, ежели не будет на то воли Божией. Алонсо Перес увидел горы, три вершины, и я нарек сие место именем Тринидад. А плавание наше протекает отныне не вовсе по горизонтали, как представляется лоцманам и матросам. Восходим мы по морской тропе неизменно вверх. Ночами Полярная звезда поднимается над нами на

пять градусов. Достигли мы благодатных земель. Климат здесь мягчайший, на берегу виднеются зеленые, прекрасные, как в садах Валенсии, деревья. Люди, которых мы то и дело видим, статного сложения и кожей белее тех, что встречались нам ранее. Волосы у них длинные и прямые...

Итак, мы поднимаемся вверх, ибо земля не совершенно кругла. Я достиг оконечности мира, того места планеты, где ближе всего поднимается она к небу...»

Три последних дня они, выжидая, почти, не продвигались вперед. Адмирал дремал у подножия фока.

Пересохшим от зноя голосом он сказал Луису де Торресу: «Пространство должно разверзнуться. Бурный поток — воды ли, ветра ли, или того и другого вместе — увлечет за собой каравеллы. То будет Начало Начал. Мостик, что приведет нас в неведомое!»

Так и случилось. 4 августа, ближе к вечеру, они увидели, как мощные потоки воды врываются в море — как каналы, как продолжение великой земной реки.

Адмирал записал: «На море поднялось невиданное волнение. С юга накатила исполинская волна, с устрашающим ревом подняла корабль. И все закричали от страха, и были раненые среди неосторожных» [1].

Позднее, уже в Севилье, Адмирал добавит к записи в Дневнике: «Даже сегодня, делая эти заметки, я испытываю ужас. Так высока была волна, больше похожая на гору».

В рубке Адмирал опускается на колени. Да, он избранник Божий. Его душат рыдания, счастливые слезы оставляют дорожки на просоленной маске лица. И промывают глаза, истерзанные солнцем и бессонницей.

Он пишет королеве, и сердце готово вырваться у него из груди: «Господь наш сотворил Земной Рай и поместил в нем Древо Жизни. От корней сего Древа светлый ключ дает начало четырем великим рекам Рая. И теперь мы плывем по водам одной из них!»

Он быстро делает какой-то набросок на полях своего знаменитейшего письма и продолжает: «Как говорил я ранее, мир не кругл совершенно, а имеет скорее форму груши, у черенка которой имеется возвышение. А еще его можно сравнить с мячом, на поверхность которого наложена женская грудь соском вверх — то было бы наиболее высокое место в мире, самая близкая к Небу часть земли. И находится все это на краю Востока, а называю я «краем Востока» те земли, где заканчивается всякая суша, всякие острова мира...»

Он слышит, что море понемногу утихает. Свершилось! Они вступают!

Теперь, забыв о страхе, все: матросы, шлюхи, монахи, убийцы, освобожденные в Кадисе и посланные цивилизовывать Америку, философы-отщепенцы, многотерпеливые земледельцы,— все решаются приблизиться к борту и вдыхают сладчайший воздух.

Вот он, omphalos.

Адмирал, торжественный и уже невозмутимый, величественно следует на кормовую площадку и, словно выполняя понятный всем ритуал, начинает снимать с себя одежды, пока не остается совсем нагим.

На сей раз он расстался даже с чулками!

---

[1] В рассказе Адмирала многое совпадает с описаниями другого первооткрывателя, участника другого замечательного плавания, но на сей раз — метафизического. Речь идет о Рене Домале, который пишет в «Горе Аналогий»: «Мы все находились на носу судна. Внезапно поднялся сильный ветер, лучше сказать, что-то похожее на мощный выдох, который резко толкнул нас вперед. Пространство опрокинулось пред нами пропастью, бездной, образованной крутящимися вокруг водой и воздухом. Судно, оказавшись в центре воронки, трещало по всем швам». (Гл. IV, «Вступление в пространство Горы Аналогий».) *(Прим. автора.)*

IV
ЗЕМЛЯ

Хронология

1498	Сладчайший воздух. Прекрасные, простодушные люди. Ландскнехт Сведенборг и язык ангелов. Райская нагота. Анакаона, Сибоней, Бимбу. «Из-за моря пришли к нам бородатые боги».
1499	«Декрет о наготе» и «Декрет об образе жизни». Греха больше нет. Последняя месса. Ульрих Ницш и рождение сверхчеловечества. Новые путы Колумба. Падре Лас Касас и очевидность отсутствия Бога.
1499	Ролдан: первая американская революция. Бордель Дьяволицы. Лихорадка трудолюбия. Ангелы в цепях. Конец трагической богословской ошибки. Разграбление Рая.
11-Ахау	Донесение в Теночтитлан: «Прибыли великие разрушители, те, что будут строить новое». Их злые псы. Конец солнечного цикла.
1500	Смерть возвращается в Кастилию. Конец Секты. Фердинанд подписывает приказ об аресте Адмирала. Восстание псов. Колумб в кандалах. Восточные Врата разобраны и отправлены в брюссельский Католический университет.

Славное апрельское утро. Вот уже две недели, как двор стоит лагерем в живописной долине, неподалеку от Альмагро. Короли направляются в Барселону — не то развлечься, не то по государственной надобности.

На рассвете отряд во главе с Фердинандом покидает лагерь. В болотах у Аларкона охотятся они на кабанов. Пускают стрелы из арбалетов в перепелов и диких индюков. Изабелла и ее дамы тешат себя иным: жарки́м из говядины со сливами, хрустящими хлебцами, яйцами по-фламандски, шкварками по-райски, молочными поросятами, куропатками в сидре. Хоть на несколько дней удалось избавиться от тирании франкских и пьемонтских поваров, от их утомительно изысканных блюд. Порой дамы и сами, слушая советы местных старух, принимаются за готовку. По долине летает смех. Он катится от ручья до столов, где трудятся хмурые чиновники.

Да, теперь они владели империей. Да, империей, а не аграрно-колониальным королевством. Появился и Департамент картографии. Вон несчастные немецкие и португальские ученые работают прямо под открытым небом. Их возмущает, что на бумаги падают листья с деревьев, что пролетающие воробьи пачкают карты Новых Земель.

За столами, покрытыми парчой, сидит Фердинанд с приближенными. О чем говорят они? До конца ли сознают, что управляют первой, по сути, мировой державой? Между охотничьими байками и посольскими донесениями решают судьбы земли?

Вместе с маркизой де Мойя выбегает из своего шатра Изабелла. Она спешит поймать легавую суку Диану, которая пытается смешаться со сворой призывно воющих собак Фердинанда.

На рассвете гонцы доставили сообщение чрезвычайной важности. Оно испортило настроение Фердинанду. Даже разгневало его. Ни кардинал Сиснерос, ни Андрес де Кабрера, самый верный из «*SS*», не смогли отвлечь его от тревожных мыслей.

Неужели все изложенное в письме Адмирала может оказаться правдой? Империи придется отказаться от своих обширнейших и лучших земель, спокойно смотреть, как на них наложит руку церковь: объявит священными и неприкосновенными территориями? Он вскричал:

— Проклятый генуэзец! Его посылали открывать новые земли, искать золото, а он шлет нам перевязанную лентами коробку, полную ангельских

перьев. Рай Земной! Разве это возможно? И как угораздило натолкнуться как раз на него! Тоже мне мистик-любитель! Небесный демагог!

Он велел, чтобы ему еще раз прочли некоторые куски из письма:

— Ну там, где о женской груди...

Изабелла услышала его громкий голос. Она уже подходила, волоча за цепочку упирающуюся Диану.

— Ваше Величество, наш Адмирал и вправду никогда не верил, что земля кругла. Помните, в Санта-Фэ он открыл нам свои главные географические секреты: земля плоская в человеческом восприятии, но сферична (хоть и не идеально кругла) в космическом плане, как и большинство планет... И теперь он повторяет то же, объясняя, что она имеет форму груши или мяча с женской, простите Ваши Милости, грудью наверху. Но его сообщение, если оно верно, изменит весь мировой порядок. Рим уже не сможет считаться подходящим местом для Ватикана. Наступит всеобщее увлечение мистикой. Земная суетность отойдет в тень...— Она опустила глаза долу и многозначительно замолчала.

Фердинанд, чье дурное настроение с каждой минутой усиливалось, исподтишка пнул ногой Диану, которая, виляя хвостом, подбежала к нему, чтобы обнюхать застежку на панталонах.

Сидевшая рядом с ним Альдонса Аламан — в экстравагантном костюме кондотьера и черной полумаске, из-под которой сверкали ее озорные глаза,— наслаждалась потаенным смыслом спора августейших супругов.

— Но неужели он действительно отыскал Рай Земной? Падре Талавера, а что вы думаете по этому поводу?

Падре Талавера вышел вперед. До сих пор он стоял, прислонившись к тополю, среди придворных второго ранга (очень мудрая тактика: не мозолить глаза, но всегда оказываться под рукой, когда того требовали государственные дела).

Фердинанд заговорил вновь:

— Значит, с 1492 года и по сей день, целых шесть лет, и притом, что нами отправлены в Америку сотни людей, Адмирал занимался поисками Древа Жизни? Поисками центральной части Рая? И ничего больше его не интересовало! Ему ни к чему были окраины! Потому-то он и покинул Эспаньолу, покинул другие острова. Ему не было до них дела! Он вверг нас в невероятные расходы! И вот: если дело обстоит именно так, как он пишет, надо слать донесение в Ватикан! Падре Талавера! Так это Рай Земной или нет?

Падре Талавера мнется. Не знает, что ответить. Что скажешь, например, старухе святоше, когда она рассказывает, что ей явилась Дева Мария? Для погрязшего в серых буднях священника нет ничего более неприятного, чем столкновение с очевидностью божественного. (Всякая религия, всякая проповедь рождены неверием и неудовлетворенностью, когда в поиске ответов на вопросы ломаются устоявшиеся литературные каноны.)

Тогда заговорил стоявший рядом с ним падре Марчена:

— Сомневаться не приходится, на Рай все это действительно похоже... Есть буквальные совпадения с описаниями Отцов церкви. Редкие фрукты и цветы... Благоуханный воздух, большие реки, белокожие нагие люди!

В спор вступил Талавера:

— Да, падре, все это так. Но существует ли богословское объяснение сего явления, приемлемое для церкви? Что такое ныне то место, где *прежде находился* Рай? Можно ли там человеку селиться, обрабатывать земли, обращать себе на пользу его богатства? Либо то святая, Божия земля? Думаю, мы можем понять тревогу Его Величества: будем ли мы извлекать выгоду из тех земель, или человеку заказано делать свои дела на них... Или все еще обитает там, пусть временами, Господь наш?

Цепочка вопросов лишь еще больше раздражает Фердинанда:

— В принципе Ватикану нечего соваться в эту историю. Папа Александр сказал свое слово в Тордесильясе: Испании принадлежит все, что располагается к западу от линии, проходящей на расстоянии 370 лиг от островов Зеленого Мыса.

(Фердинанд не забыл и о секретнейшем договоре в Лёчесе (Торрехон), который Первосвященник полностью подтвердил, взойдя на престол святого Петра.) Король взглянул на нунция, и тот чуть заметно кивнул головой. Но Фердинанд понял: все его аргументы в этом споре слишком легковесны и неуклюжи, и они ничуть не снимают серьезных проблем, затронутых в письме Адмирала.

И как назло, послание взяла Изабелла и принялась читать:

— «...есть здесь восхитительные рощи, зеленые острова, а трава растет, как в Андалусии в апреле. Птицы столь сладкозвучны, что ни один человек не захочет по доброй воле покинуть здешние края. Имеются тут стаи попугаев, и числом своим затмевают они солнце, и другие большие и малые птицы, чудесным образом отличные от наших... Люди же местные весьма робки и боязливы, ходят, как я уже говорил, нагими, и не знают ни оружия, ни законов. Языка их прекраснее нету на свете, на устах неизменно улыбка. И любят ближних своих они словно самих себя...»

Фердинанд заметил, в какое волнение пришла королева. Видно было, что вот-вот впадет она в мистический экстаз. Ошеломленные придворные слушали ее, раскрыв рты. Настало время вмешаться:

— Но совсем недавно он писал о золоте. Не было страницы, где бы не говорилось о золоте! Теперь же, узнав, что на островах его почти нет, он отказался от прежних планов и без должного позволения продолжает поиски!

Падре Марчена отваживается возразить:

— Но разве не достоин прощения тот, кто, отправляясь за тигром, приносит нам перья ангелов? Сей поступок можно назвать благородным... Не решусь противоречить Вашему Величеству, но позволю себе напомнить: золото, по свидетельству Отцов церкви, также указует нам путь в Рай Земной. Довольно сказать, что из золота сделаны врата его, о чем повествует нам Библия.

Многие искренние католики из числа придворных с отчаянием подумали, что даже петель не оставит от тех ворот генуэзец. Нет, никакие государственные интересы не могли оправдать разграбление Рая.

— Золото, жемчуг, а также некоторые драгоценные камни — верная примета Рая. Как, впрочем, обилие змей и шафрана. Ни один серьезный богослов спорить с этим не станет...

Взбешенный Фердинанд готов был испепелить взглядом падре Марчену. Изабелла же кивнула ему с одобрением. Было видно: мысль о Рае Земном пришлась ей по душе.

Меж тем Фердинанд клял себя за то, что не приказал арестовать генуэзца и всех его родственников еще до отплытия с Эспаньолы. Какая ошибка! Политическое чутье — а о нем с похвалой отзывался Макиавелли — подсказывало королю: затевается дело, чьи последствия принесут много бед. Хороша будет его империя — владей на здоровье воздухом небесным да райскими кущами!

Кроме того, письма Адмирала дадут новую власть священникам. Они начнут во все вмешиваться. Пожелают отдать на откуп богословам все связанное с новыми землями.

Изабелла заметила:

— А разве не ожидаем мы всю нашу жизнь избавления от земных оков? Может, Господь и впрямь даровал нам милость свою — позволил вернуться в Эдем?

В ее речах слышались отзвуки тайных мыслей Колумба.

— Коль скоро даны нам знаки, надо идти дальше. Пусть грубая повседневность не отвлечет нас от поиска. Не станем же мы противиться воле Владыки! Больше земель, меньше земель — экая важность! Империи гибнут, уходят в забвение! Смелее! Смелее! Встанем пред ликом Господним! Аминь!

Она закрыла глаза. Затем, словно не замечая гробового молчания слушателей, поймала за цепочку Диану, резвившуюся под столом, и удалилась вместе с маркизой де Мойя и другими дамами. Пора было готовить шкварки по-райски.

Серьезный государственный кризис мог разразиться в любой момент. Фердинанд подозвал Сантанхеля. Пусть знает, на этот раз генуэзец нанес удар и ему: бросил на произвол судьбы иудеев, жаждавших новых земель, дабы собраться вместе, наплевал на интересы банкиров. А еще — разбил территориальное единство империи!

Сантанхель выслушал жалобы короля. Они были справедливы. Под конец Фердинанд спросил:

— А что говорят по этому поводу в Банке Сан-Джорджо? Разве они ничего не видят? И позволят оставить себя в дураках?

На что Сантанхель, озабоченный таким поворотом дела, понуро ответил:

— Я напишу им сегодня же. Сообщу обо всем сегодня же.

Сладостный воздух, высокое солнце, прохладное и соленое море. Волны мягко бегут, выскальзывают на берег и рассыпаются по бело-золотому песку. С пальмы упал кокос, раскололся, маня сладким молоком, всегда свежим как роса. Где-то наверху озорная обезьянка, сделав два пируэта, всех приветствует и пропадает в зеленых зарослях.

Величественно выступает Адмирал. Он совершенно обнажен. Яркая шевелюра — как грива старого льва, много лет прослужившего в цирке. Белый вялый живот набегающими одна на другую складками падает на поседевший от не впустую прожитых лет лобок. Тощие и длинные ноги несут крупное тело, так что какому-то шутнику впору сказать: идет комар, проглотивший горошину.

— Вот она, земля Божия,— благоговейно произносит он.

А вокруг офицеры в парадной форме, священники в праздничном облачении. Знамена Кастилии. Трубы и барабаны. И семь выстрелов бомбарды, когда нотариус зачитывает Акт о присоединении новой земли к владениям испанской короны. (Обстановка смущает нотариуса. Когда Адмирал подписывал подобный Акт в 1492 году, он был облачен в золотой плащ, сверкали золотые шпоры, голову покрывала шляпа с плюмажем.)

Вокруг стаи попугаев. Желтых, голубых, алых. Они то хором свистят, то выражают недовольство на непонятном, но милом языке.

Райские птицы, невиданные. Как описать их? Унизить сравнением с испанскими птицами? Все равно как макнуть в блеклые краски ученых книг.

Матросы плещутся на мелководье и разглядывают рыб с хвостами, извивающимися, точно таиландские ширмы. Попугаи, переселившиеся в море. Сразу видно, что здесь краски не гаснут и не тускнеют, как в землях у холодных морей. До чего доверчивы рыбы: подплывают к ногам счастливых купальщиков и тыкаются ртами. Моряки взвизгивают, точно от щекотки.

Легкий бриз приносит людям дары: тут падает спелая папайя, там — манго, авокадо, а там — выглядывает ананас...

Ландскнехт Сведенборг поясняет Адмиралу: совсем нагими, как достоверно известно, ангелы ходят только в самой заповедной части царства небесного.

А те, кого увидели они при свете полуденного солнца, усиленного слепящим сиянием золотого песка, и были нагими. Лишь у немногих, и то у женщин, были крошечные полупрозрачные юбочки.

Возликовал Адмирал. Вот оно — последнее доказательство. Вера его победила, нет больше места сомнениям. Миг истинного восторга, дионисийского опьянения.

Сведенборг повествует далее:

— Те, что обитают в заповедной части царства небесного, не знали греха, а невинности естественна нагота. Обратите внимание, что ангельская речь льется мелодичным и сладкозвучным потоком, где больше всего гласных «у» и «о». Прислушайтесь, Ваша Милость. Ведь переливы гласных очень многое говорят о душевном состоянии...

Но Адмирал рассеян. Он начинает диктовать нотариусу очередную запись для своего дневника:

«Когда уже рассвело, явились на берег многие из здешних людей, все хорошего сложения, весьма приятные на вид: волосы не курчавые, но прямые и тяжелые, как конская грива, лица широкие, а глаза очень красивые и совсем не узкие. Нет среди них темнокожих, цвет у них, как у жителей Канарских островов. Принесли они с собою мотки хлопковой пряжи, и попугаев, и короткие дротики, и все отдавали за любую безделку. А я с великим старанием пытался узнать, есть ли здесь золото. Вслед за тем показалось несколько стариков, и стали они громко кричать, подзывая робеющих мужчин и женщин, и говорить: «Придите и смотрите на пришедших с Неба! Несите им пищу и питье!»

Сомнений у Адмирала не осталось: они обрели те земли, о которых в далекий и дождливый вечер в Генуе говорил падре Фризон. Он обратился к нотариусу:

— Весьма замечательно, что никто не знает здесь страха. Видишь, даже птицы садятся людям на плечи. А обернись туда: рыбы сами идут в руки! — И снова начал диктовать: «И были здесь собаки, никогда не лаявшие (забавные немые псы, не ведающие, что есть на свете воровство). И были здесь чудесные приспособления — сети и крючки и иное — для рыбной ловли. Деревья и плоды на них, дивные на вкус. Птицы, большие и малые, и не смолкавшее всю ночь пение сверчка, коему все радовались. Воздух не холоден и не жарок, но приятен и мягок. Вокруг большие рощи, от которых веет прохладой».

Видит Адмирал, как люди его улыбаются счастливо, забывая о мерзких каждодневных ссорах. Убийцы с жестокими шрамами и вечно злыми лицами, вылинявшие проститутки, торгаши и священники — все блаженно улыбались. В этом мире покоя и неги многие уже жаждут сбросить одежды: матросы вступают в море в одних лишь штанах.

Ландскнехт Сведенборг обращает внимание Адмирала на то, что воздух Рая успел овеять святостью даже самых отпетых негодяев:

— Мало-помалу забудут они о чревоугодии, честолюбии, похоти...

Вождь из Тлателолько стоял немного поодаль, в пальмовой роще, вместе с касиком Гуайронексом и прочей таинской знатью, и наблюдал за богами, пришедшими из-за моря.

Немного погодя он решился подойти поближе. И, смешавшись с кучкой ловцов попугаев, лучше смог разглядеть пришельцев. Да, по всем приметам были это они: те, о ком говорилось в предсказаниях, те, чей приход предвозвещал Кецалькоатль. Вождь составил донесение для немедленной отправки в Теночтитлан:

«Те, кого мы столь долго ждали, ступили на острова таинов. Нет предела их щедрости: пестрые шапочки, бубенчики с дивным звоном, сверкающие каменья (видно, из самых драгоценных, ибо нет их в нашем мире) раздарили они людям. Они бородаты, кожу имеют столь белую, что не бывает белее, источают они весьма сильный запах и знакомы им огонь и колесо.

Они напоминают людей. Но они больше чем люди (и совсем уж не похожи на тех бледноликих, что населяют далекие, унылые и туманные земли Востока).

Столь велико их простодушие, что кажутся они глуповатыми: застывают при виде самых обычных птиц и ныряют до изнеможения, чтобы поглядеть на рыб. Все приводит их в восторг, все поражает. Но в самый великий восторг и умиление погружаются они при виде женщин: толпой окружили они принцессу Анакаону, а благородную Сибоней даже кто-то — конечно, без всякого злого умысла — ущипнул.

Есть среди них боги старые, главные, и боги менее важные и значительные, какие должны подчиняться первым и прислуживать им.

Сомнений никаких нет: пришельцы — не те злые духи, что обитают в небесах Востока».

Вождь передал послание и вернулся в пальмовую рощу, где как раз в этот момент Гуайронекс велел юным девушкам приготовиться к приветственному танцу.

А иберы тем временем плескались в воде, маняще чистой и свежей. Обсыхали в тени пальм, мягко шелестевших ветвями под прикосновением ветерка.

Полуденный свет слепил. Адмирал близоруко щурил глаза, будто впотьмах искал укатившуюся монетку.

От песка и с поверхности моря поднимался пар. Все плыло, колебалось. Тонкие пальмовые стволы, казалось, затанцевали, стреноженные, в тот момент, когда зазвучали чувственные и напряженные ритмы раковин и тамбуринов.

И тогда сквозь раскаленные завесы воздуха, где человеческие очертания будто расплывались в ярчайшем сиянии, иберы увидели, как движется к ним цепочка девушек. Впереди скользили принцессы. Каонабо, Сибоней, Анао, нежнейшая Бимбу. Грациозно следовали они ритмам тамбуринов.

Волной захлестнуло пришельцев плотное молчание, какое бывает, когда перед придворными появляется папа. Смолкли голоса. Как сетью накрыло всех колдовское очарование увиденного. Смотреть, только смотреть...

Кто-то грубо толкнул слепого ландскнехта Озберга де Окампо, что-то еще бормотавшего, когда остальные будто окаменели в молчании.

— Карамба! Карамба! — прошептал ландскнехт, как всегда погруженный в свой собственный мир.

Анакаона — что за чудо! Кожа цвета корицы и меди. Ноги, летящие в ритме арейто. Как бы в отчаянии, почуяв волю, вдруг убыстряются звуки. Быстрее мелькают бедра принцессы. Бешеный ритм и грация. Чем не праматерь огненных мулаток?

Среди танца развязала Анакаона ленточки своей танги [1] и осталась перед ними обнаженной. Совершенно обнаженной, ритуально обнаженной. Жест-символ: пред лицом новых богов, пред началом нового теогенического цикла вновь обретала она невинность.

Адмирал, презирающий всякую банальную чувственность, с величием, достойным истинного потомка Исаии, отошел в сторону и поднялся на дюну. Там он преклонил колена.

— Аллилуйя! Аллилуйя! — И потаенное воспоминание об Изабелле, сообщнице и вдохновительнице в поисках Рая, пронзило его.

Он почувствовал, что испытаниям его пришел конец. Его колени касались гостеприимного тепла песка, райского песка. И был это Рай Авраама, Исаака, Иакова и — теперь уже без ложной скромности — отныне Колумбов Рай.

Каравеллы бросили якорь в чудесной природной гавани.

Началась нелегкая разгрузка, на берег спускалось все то, что необходимо, дабы один мир переделать в другой.

Бережно переправили большой крест, проделавший все путешествие на носу каравеллы. Доставлявшая его лодка едва не перевернулась.

Крест водрузили на высокой дюне — такая вот радующая глаз Голгофа — среди высоких и стройных пальм. Крест? Да, крест-виселица.

Адмирал держится в стороне от своих спутников. Только сейчас счел он необходимым призвать падре Буиля и падре Лас Касаса. Смотрит, как шагают они к нему по золотому песку в иссиня-черных сутанах — две летучие мыши, сбитые с толку солнечным светом.

— Со смертью покончено,— объявляет им Адмирал.— Мы ступили на земли вечности. Вот Дом, вернее, Сад, откуда был изгнан за свою доверчивость (а виною всему женское коварство) Адам. Пророк сказал: и если пойдете за тем, кто ведет свой род от Исаии, сумеете вернуться туда. И вот мы перешли рубеж. Это меняет наши судьбы и — сомнений нет — судьбу целого мира. Трудно осмыслить сей факт, не теряя присутствия духа. Так будьте же благоразумны, как подобает служителям Господа. Наши люди еще не готовы... Но мало-помалу их замутненные души будут открываться свету истины. Уже есть знаки... Важно, чтобы вы научили их обхождению с ангелами... Пусть не принимают их кротость за неразумие. Ведь было речено: всякий ангел может быть грозным...

---

[1] Род набедренной повязки.

Ландскнехт Сведенборг, один из «неблагонадежных», один из тех, на кого и священники и инспектор Короны смотрели с величайшим презрением, принялся с неуместной горячностью кивать головой в знак согласия. Он сидел на песке неподалеку от Адмирала — в своем скандинавском железном шлеме, надвинутом на самые глаза.

Буиль глянул на него грозно, по-инквизиторски, Адмирал продолжал:

— Как сказал Апостол, «по вине одного человека проник грех в мир наш, а следом за грехом и смерть, так смерть пришла ко всем людям». Великая истина! Но теперь дозволено нам возвратиться назад по тропе, ведущей от смерти к блаженному *не-умиранию*, вернуться в мир, где нет смерти. Господь, видно, любит симметрию: всего один человек погубил нас — Адам, другой (и тоже один) вернет нас в Сад Вечности: полагаю, милость эта дарована мне...

Не забудем слова Творца: «Победившему дам вкусить плодов с Древа Жизни, что находится в Раю». Мы победили суровое море и теперь насладимся наградой...

Но запомните: мы вошли не туда, где находят приют праведные души — умершие, заслужившие вечное спасение. Нет. Здесь обитал человек до грехопадения, до того, как Господь покарал его смертью. Сад Наслаждений. О нем писали поэты... Не о вечной душе следует говорить тут, а о чудесной вечности тела. Нет больше греха! Нет покаяния! Взгляните на наших матросов: самый большой мерзавец улыбается, блаженно прикрыв глаза, слушает щебетание птах, разглядывает обнаженных ангелов, цветки кактуса, озорных обезьянок, которые приветливо предлагают нам бананы, а когда мы протягиваем руку, швыряют в нас орехи... Будь благословен Господь!

И Адмирал с целомудренным бесстыдством праведника преклонил колена, выставив на обозрение клирикам бледный, как у судейского чиновника, зад. А те стояли, ошеломленные известием, онемевшие пред лицом столь дерзновенного вторжения чуда в рутину юдоли слез. Ведь Адмирал, явив реальность Рая Земного, выбивал почву из-под ног у тех, кто всю жизнь творил легенды. Теперь, когда богословие обрушивалось в жизнь, они чувствовали себя несчастными воробьями, затерявшимися в тумане. И мысль о том, что Иегова может находиться где-то поблизости, где-то рядом, молнией страха пронзила им души.

Благородный, искренний юный Лас Касас пал ниц за спиной Колумба и принялся истово молиться.

И тогда ему открылась тайна, которую до сих пор знала лишь Сусана Фонтанарроса. Тайна, которую Колумб скрывал под толстыми шерстяными чулками: меж вторым и третьим пальцами на каждой ноге была у него перепонка (как у уток или других животных, умеющих жить и на суше и в воде). Да, Адмирал оказался перепончатолапым, то есть сама природа связала его с морем.

Падре Буиль считал ландскнехта Сведенборга ужасным еретиком, одним из тех богословов-бунтарей, богословов-недоумков, что по своей воле идут на костер, да еще и огниво с собой прихватывают.

И если вечно витающий в облаках Лас Касас готов был тут же принять сказанное Адмиралом, он, обычный церковный чиновник, для которого пределом мечтаний был епископский сан, мучительно сомневался. Все в нем возмущалось против подобной возможности — Тайна не могла стать реальностью в буквальном смысле слова.

К тому же он как священник испытывал отвращение к нагому телу, даже если одежды сбрасывал мистик. Он припомнил те злые сплетни, что ходили в Севильской курии о Колумбе. К несчастью, Колумб имеет влияние на королеву! Не иначе оба они были еретиками, вступившими в секту искателей Рая!

Нет никого опаснее для церкви, чем фанатики-мечтатели, мнящие себя бóльшими католиками, нежели папа. И Изабелла и Колумб стремятся подойти к Богу ближе, чем его профессиональные слуги, чем сановное духовенство. Падре Буиль кипел от возмущения.

Послушать только, что несет этот Сведенборг! Забывая, кстати, о подобающем его нации месте, о почтении, с коим следует относиться к ортодоксии.

— Да, это ангелы, сомнений нет. А ангелы умеют разговаривать и ходят нагими только в самом центре Рая. (В окрестностях же Эдема носят они лучезарные одеяния.) Нам, падре, не дано понять их законов, их языка... Но буде на то их воля, знание придет к нам...

— Ежели желаете, называйте их, конечно, ангелами... Но сдается мне, ангелы не стали бы справлять нужду где придется, не ища укромного местечка, не стали бы — как эти ангелицы,— показывать, наклоняясь, всему миру срамные места...— рассвирепев, крикнул Буиль. На что Сведенборг возразил:

— Да, они спариваются с кем хотят и где хотят, они вкушают пищу... Но вы заблуждаетесь, ежели полагаете, что в том есть нечто противное ангельскому естеству. Сам святой Августин говорит об этом, а к его слову, полагаю, относитесь вы как к церковной догме: «Там, в Раю Земном, мужчина будет извергать семя свое, а женщина принимать его столько раз и в тот час, когда будет в том нужда, и органы детородные подчиняться станут воле, но не сладострастию...» И добавляет ниже, заметьте, падре: «Избави нас, Господи, заподозрить, что зачинают они детей своих по велению грубой похоти!»

Дерзость ландскнехта перешла все границы, Буиль не раз видел, как в Испании за гораздо меньшие прегрешения людей отправляли на костер. Он поспешил перебить Сведенборга:

— Вы разве и вправду не видите, что здесь творится? Они предаются содомскому греху — без всякого стыда, прямо под пальмами изображают гнусное животное о четырех ногах и двух головах. Мои информаторы были свидетелями этому. И не раз. А два наглеца проделывали свои ректальные трюки на глазах у меня, служителя Божия! А карибы? Кровавые изверги! Высаживаются ночами на берег, дабы убивать и пожирать таинов. И вы говорите об ангелах?

На что Сведенборг возразил все так же невозмутимо, взирая на падре Буиля с высот вольнодумного богословия:

— Меня удивляет, как может столь многоопытный прелат упускать из виду рассказанное Енохом, Каиновым сыном, которому первому из смертных было дозволено на короткий срок — но *in corporis* [1] — вернуться в Эдем, откуда был изгнан дед его. Думаю, Творец дал на то позволение, дабы сумел он забрать оттуда какую-то важную семейную реликвию... Так вот, Енох убедился: ангелы райские, имея под боком дщерей Адама,— вечно эти женщины! — впали в грех неукротимого любострастия. И пресыщение женским телом, как часто бывает (вспомним, к примеру, сутенеров), толкнуло их к гомосексуализму и бестиализму. Трудно поверить, но происходило это почти у подножия Древа Жизни! Слова же Еноха записаны в Библии. Смею напомнить сие, падре, дабы не были вы поспешны в суждениях. Содомиты, коих вы и ваши информанты здесь встречали, простонапросто потомки особого рода падших ангелов, которые, получив в полную власть свою женщину и пресытившись ею, стали отыскивать женщину под кожей братьев по полу. Разве забыли вы, падре, что случилось на наших судах, когда подула тракончана?

Еще вы упомянули каннибалов, что холостят, откармливают и затем пожирают таинов. Здесь объяснение простое: жаждут они таким способом перенять их красоту и привлекательность. Да, правда, они предпочитают детородные органы, жарят их и едят с наслаждением — ибо видят в них причину совершенства. А разве католики не вкушают тело Христово под видом облатки, дабы иметь его внутри себя, ближе к сердцу? Разве не встречали мы католиков, жадных до сего лакомства?

И еще. Имеется здесь множество змей. Вон матросы гоняются за ними без устали... Но без змей не бывает Сада Божия! Как, впрочем, без каннибалов и содомитов...

---

[1] Во плоти *(лат.)*.

Но тут спор, принявший опасное направление, пришлось прекратить. Адмирал наконец с трудом поднялся на ноги и взглянул в сторону берега. Затем обратился к Буилю (который чувствовал себя прескверно, но в присутствии официального представителя императорской власти не решался высказать все, что накипело у него на душе):

— Падре, пусть люди плодятся и размножаются. Но пусть избегают при этом постыдного наслаждения... и фокусов! Нет в них отныне нужды. Похоть — спасение для неудачников, награда за потерянные иллюзии. Да-да, пусть плодятся и размножаются! Нелишним было бы также, падре, напомнить им, что Господь повелевал питаться фруктами. Фрукты очищают кровь, а мясо лишь заглушает голод. Напомните им слова Господа нашего: Бытие, 2,16 [1].

Затем, видно уже оторвавшись духом от земных забот (словно старый отшельник), он направил свои стопы туда, где в зелени деревьев виднелись хижины, крытые пальмовыми листьями.

Лас Касас и Буиль взглянули в глаза друг другу и поняли один другого без слов. С сего момента пути их расходятся, это было ясно. Не могли они предположить лишь того, что событие сие будет иметь важнейшие последствия для истории всей католической церкви. (Колумб взял на себя роль наместника Бога на земле и тем самым посягал на исконные права церкви. Буиль не мог с этим примириться.)

Итак, два священника успели лишь обменяться взглядами. Колумб приказал окружающим:

— А теперь — раздеваться! Всем раздеваться! Как жалко выглядят наши одежды в Саде Иеговы! К чему здесь лишнее напоминание о первородном грехе, за который Творец покарал нас стыдливостью? Долой одежды! И пусть приказ выполняют все: от капитана до последнего юнги! Отныне снято с нас бремя греховности! Снимем же с себя и эти тряпки!

Лас Касас покорно, но со смертной мукой на лице стянул сутану и обнажил неприглядную (церковную!) бледность тела. На нем оставались лишь широкие кальсоны из красного муслина — те, что подарены были провинциальными тетушками как намек на ожидающий его епископский сан.

Буиль покраснел от негодования. Только подумать — им предлагается разгуливать нагишом там, где обитает Бог (если, конечно, в утверждениях генуэзца есть хоть капля истины). А ежели все это досужие вымыслы? Ввергать в подобное непотребство служителей церкви...

На нем была роскошная сутана, сшитая в Севилье, в Триане, теми же мастерами, что шили костюмы для самых известных тореро. От адамова яблока до самых кончиков ног тянулась вниз цепочка крошечных пуговиц. Падре Буиль привык подчиняться властям, к тому же он был дипломатом... Нехотя, явно оттягивая время, расстегнул он первую дюжину. Адмирал с любопытством спросил:

— И сколько их?

— Сто пятьдесят пять,— сухо ответил священник.

Колумб, веривший в магию цифр и никогда не забывавший о Кабале, прошептал:

— Сто пятьдесят пять! Именно столько лет жизни осталось нашему миру, и погибнет он от огня...

И снова зашагал к роще. По дороге ему встретился юноша индеец (или ангел). Адмирал обратился к нему на своем не слишком правильном испанском:

— Скажи-ка мне, че [2], большое дерево, очень большое дерево...— и начертил в воздухе пышную крону.

Юноша, не задумываясь, повернулся и уверенно указал рукой туда, где простиралась тропическая сельва и откуда раздавалось громкое приветственное щелканье туканов.

— Аграк, аграк,— произнес юноша.

---

[1] «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть...»

[2] Частица, вставляемая в речь аргентинцами.

— Спасибо тебе, добрый человек,— сказал Адмирал и тут же велел спутникам: — Итак — вперед! Прямо и только прямо! Видите, Лас Касас? Они говорят по-еврейски! Как правильно я сделал, прихватив с собой раввина Торреса...

А молодой индеец, красавец ангел, который уже слышал от касика Бекчио добрую весть о прибытии богов, в восторге пал ниц, выражая величайшее почтение.

Надо́ сказать, мало кто последовал за Адмиралом на безрассудные поиски неведомого: его слуги, Кинтеро, Эскобар, несколько любопытных матросов, священники Лас Касас и Буиль, а также две или три шлюхи во главе с Болоньянкой. Они шли за жемчугом, за прекрасным жемчугом — размером с яйцо куропатки!

Примкнули к отряду и некоторые из «неблагонадежных». Они предпочли держаться поближе к Адмиралу, а не оставаться во власти не слишком смирных матросов. То были Жан-Лу Васселэн, однорукий воин, которого нотариус отказался взять себе в помощники, Ульрих Ницш и группа земледельцев, прослышавших, будто где-то в глубине райских земель произрастает отличный шафран — на бирже в Антверпене такой идет по десять тысяч мараведи за полфунта.

Адмирал шагал впереди всех и благоразумно старался не отрывать взгляда от земли. Иначе в нужный миг трудно будет побороть искушение и отвести глаза от Него. И про себя он не переставал твердить слова из Исхода: «...подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, чтобы не пали многие из него» [1].

Они углублялись все дальше в чащу. Кругом — орхидеи, похожие сразу и на птиц и на рыб, то пестрые, как галстук гангстера, то напоминающие сдержанной окраской греческие орнаменты. А меж лиан и деревьев порхали, будто ослепленные собственной яркостью, огромные бабочки. Казалось, они были рождены неистовой палитрой Тинторетто. Тут же макаки — и вполне добродушные, и явно нелюбезные — творили свои непристойности или швыряли в путников зеленые орехи. Пауки — бархатистые, нет, лучше сказать, шелковистые — точно выросли в волосах прекрасной женщины. Свистящие какаду. Стаи лимонно-желтых попугаев. Трели тысяч птиц. Элегантное скольжение ягуаров, которых, как было известно Адмиралу, не следовало дразнить, но и бояться не стоило, ибо людей они пожирали, лишь когда рядом не оказывалось гиен.

«И поднимался от земли пар, что́ окутывал всю ее поверхность». Пар, напоминавший дыхание горячечного пса.

И средь столь расточительного богатства и разнообразия, когда даже грязь сверкала искрами аметистов, аквамарина и ляпис-лазури, можно было увидеть вдали небольших собак — молчаливых, бесшерстных, почти бесцветных. Как гласили предания, умели они заглатывать души умерших, что по какой-то причине не могли перейти в мир Всеобщего. На этой земле лишь на них пожалел Господь красок, что само по себе примечательно, ибо здесь, видно, безудержно отдался Творец соблазну быть романтичным и барочным.

Адмирал был уверен и поспешил сообщить о том Лас Касасу (но некоторые будущие авторы неверно истолковали его слова — в вульгарно коммерческом смысле), что скоро найдут они куски чистого золота — неоспоримая примета Рая, а также камень оникс и душистые смолы.

— Книга Бытия, 2, 12. И это необычайно важно!

Он жаждал отыскать знаки, знамения, а не гнался за пошлой материальной выгодой. Еще до наступления ночи они заметили: деревья стали выше, стволы их крепче и ровнее.

Попалась им великолепная черная с желтым анаконда. И размер и роскошь узора убеждали: именно она говорила когда-то с Евой. К счастью, змея поспешила скрыться в зарослях.

Наконец у подножия невысокого холма обнаружили они поляну, где

---

[1] Исход, 19, 1.

царствовали два дерева: толстенный мистоль и огромная красавица сейба. В вечерних сумерках крона ее казалась одновременно безмятежной и грозной. Это и было Древо.

Адмирал обошел вокруг ствола сейбы и приказал разбивать лагерь. Свой гамак он велел привесить к нижним ее ветвям. Спутникам же своим посоветовал соорудить навесы, дабы было где укрыться от столь частых тут ливней.

— Здесь бьет из-под земли источник и дает начало великому потоку. Мы достигли порога Начала Начал,— объяснил он.

И улегся в гамак, надежно укрытый листвой Древа Жизни. Сквозь камышовую сеть гамака просвечивало белое тело открывателя новых земель. Можно было подумать, что в ловушку попала обезьяна-альбинос. Или у сейбы, изнасилованной каким-то другим деревом, скажем мушмулой, родился уродливый плод.

Адмирал отдыхал. Не от превратностей долгого пути, а от вековой усталости, от страха перед смертью. Он погрузился в глубокий сон. Итак, они все-таки возвратились. Рай обретен вновь, настал конец энтропии, вырождения, унизительной «жизни ради смерти».

А два ангела, два аборигена, стараясь угодить богам, пришедшим из-за моря, пальмовыми опахалами отгоняли от Адмирала мошек.

«Декрет о наготе», продиктованный Адмиралом под Древом Жизни, был доставлен на побережье.

Здесь уже вовсю трудились, сооружали таможню (она же склад), церковь, казарму, тюрьму, когда глашатай зачитал документ, суть которого вкратце сводилась к следующему: можно считать доказанным, что они ступили на землю Эдема, где никто не знает греха, а значит, неуместны здесь стыдливость и застенчивость.

Декрет был с восторгом принят бывшими каторжниками и шлюхами. И началось... Шабаш, безумие. Словно свору жестоко зажатых страстей спустили с цепи.

У проституток командовала Шпагоглотательница, которая по поводу нового указа устроила шумную пирушку. Обнаженное тело как символ чистоты и целомудрия! Им это было ни к чему. Они оголялись со вкусом, на бордельный манер: прозрачные панталоны, подвязки и корсеты — из тех, что носили римские кардиналы...

Горячие эстремадурцы и андалусцы носились за ними, словно солдаты за монашками. И по всему берегу, как раздавленные зверьки, валялись одежды.

Правда, далеко не все решились исполнить адмиралов Декрет. Весьма многие предпочитали сохранить покровы, а не быть похожими на очищенные бананы.

— Чем больше свободы, тем меньше удовольствия,— завистливо шипел священник Скварчиалуппи, на каждом шагу встречавший все новые изощрения греховности.— Хорошо смеется тот, кто смеется последним!

Трезвомыслящие и консервативные люди приходили в ужас. Вдруг утратил всякую власть королевский инспектор. Нотариус Родригес де Эскобедо признавался кое-кому из благородных сеньоров, например, Нуньесу де Мендосе, что не только не стал обнажаться, но не позволил себе теперь даже пуговицу расстегнуть — несмотря на тропическую жару — на своей толедской кирасе.

— Мы же не дикари, черт возьми!

Буйство пришельцев изумило аборигенов. Они не могли понять их странных капризов. И любезно исполняли все прихоти богов. Не могли понять, почему с таким любопытством глядели бородачи на самые обычные части человечьего тела. Почему с таким необъяснимым восторгом встречали самые рядовые вещи.

Ну разве не забавно: занимаясь с женщинами, они подражали привезенным на каравеллах животным — сопели, как свиньи, в возбуждении кричали пронзительно, как ослы, дрожали, как кобылицы.

За оглашением Декрета последовало обычное продолжение: была отслужена благодарственная месса и прочитана «Te Deum», ведь люди прощались с этапом своей истории, прощались со смертью. Да только сама месса была вроде бы и лишней (в Раю не служат месс). Поэтому падре Буиль отслужил ее весьма неохотно и вопреки протестам молодых священников и послушников.

— Эти грешники — обитатели Рая? Генуэзец просто спятил. Еретик! Они же спариваются повсюду, как кролики!

В одиннадцать месса началась. Все ликовали — Грех уходил из их жизни.

«Salve Regina» и «Te Deum» больше напоминали зажигательную румбу. Хор семинаристов подчинялся ритму ангельских тамбуринов и арейто. «Звонкая матансера», да и только! Финалом «Te Deum» стал танец принцесс и прочих юниц, быстро вращавших бедрами. Главной здесь была Анакаона, она привлекала к себе все взоры — была на ней лишь крошечная танга из перышков с затылка птицы кецаль (роскошь, которую, по меркам европейцев, можно было приравнять к норковому манто).

Служки и семинаристы из хора жадно глазели на дюжину соблазнительных ангельских попок, без устали крутящихся в ритме танца, и безнадежно фальшивили...

Семинаристы-иностранцы — Тиссеран, Даниелу и Каджиан — безутешно рыдали, запершись в черном ящике, приспособленном под исповедальню.

— Finis Eclessiam [1],— прошептал Каджиан.

Протесты, конечно, были. Но, в общем-то, Декрет не оставлял места для богословских споров. Текст его заканчивался энергичным утверждением: «Мы вступили в новую эру».

Добавим, что была отменена (по тем же теологическим причинам) назначенная на вечер коррида. Ведь бой быков — одно из самых наглядных проявлений Греховности.

Бык находился под навесом из листьев. Все протесты Жоана Вельмонта пропали даром. Королевский инспектор изменить ничего не мог: бык должен пойти на племя либо использоваться на полевых работах.

«Декрет об образе жизни» прибыл неделю спустя. И поверг всех в великое изумление, ибо в корне менял планы иберов. Он также был доставлен гонцом из-под Древа Жизни и зачитан глашатаем на площади.

Уразуметь его было еще труднее, нежели первый.

Мы, утверждал Адмирал, достигли пределов Безграничного, и любая человеческая деятельность теряет здесь всякий смысл. Европейцы же в припадке бурного энтузиазма развили лихорадочную активность — пострайский синдром, отзвук вечного проклятия. (Адам абсолютно ничего не делал, пока его как неизлечимого эротомана не изгнали отсюда.)

К тому же труд для европейцев давно перестал быть первоосновой, потерял изначальный смысл и превратился в какое-то соревнование с Богом, в болезненную демонстрацию умелости. Одним словом, теперь он — символ вавилонской гордыни, дьявольская печать бунтарства.

И Адмирал отменял труд — начисто, без лишних затей.

Декрет обязывал инспектора Короны уничтожить колеса, молотки, серпы, лопаты, веревки, блоки, тиски, ножи, гири, признанные нормы мер и весов, сами весы, чиновничьи бумаги, оружие, орудия инквизиторских пыток, музыкальные инструменты и т. д.

На сей раз сопротивление было серьезным, а возмущение попахивало бунтом. Теперь уже им навязывалась не нагота телесная: им приказывали оголить свое время, свое существование, остаться лицом к лицу с реальностью бытия, отказавшись от прибежища суеты.

Понятно, только простаки и отпетые лодыри сразу же отдали свои инструменты. Крестьяне, неисправимые kulaks, зарыли серпы и точильные камни в землю, как собака зарывает отнятую у противника кость.

---

[1] Конец церкви *(лат., греч.)*.

Немногие брошенные орудия труда тут же были подобраны спекулянтами, которые скоро станут их перепродавать по новым ценам — «импортным» ценам американского рынка.

Стало известно, что Адмирал советовал всем погрузиться в гармонию. Предаться безмятежной и сдобренной легкими беседами праздности, возвышающим и радующим душу размышлениям и искусствам (но — подальше от всяких паскалевских и кафкианских штучек!). Конечно, можно посвящать себя и любви. Но — без излишеств! Иными словами — жизнь, освобожденная от всяких драм. Разрядка.

Еще он просил их принимать дары Рая как должное. Ну для чего набирать целые партии ананасов, манго? Пора изжить в себе дух оптовых торговцев! Отныне им запрещается заготавливать что-либо впрок. Для чего нужно больше одной женщины? Для чего хватать полдюжины лангустов, если хватит двух — и один хороший лимон?

Жить! Спокойно наслаждаться доступными плодами Эдема. Жить, не мешая себе! Гамак Адмирала превратился в символ счастливого возвращения к истокам. Восторгаться нежным пением птиц, улавливать тысячи оттенков в их концертах. Учиться простодушной жизни у орхидей. За что убиваем мы пантеру, если ищет она лишь ежедневное себе пропитание?

Он рекомендовал им попробовать табак — развлечение, доселе неведомое. Учил пить кокосовое молоко и соблюдать по возможности растительную диету (но не через силу!). Предупреждал: «Избегайте мяса, от него появляется злобность».

По прошествии двух недель они стали ощущать, что без Зла многое теряет смысл. Мир вдруг лишился красок, полинял, время утекало в пустоту. И хваленый Рай на деле оказался идиотским миром наоборот — слишком голым, слишком дневным (потому что ночь уже не была ночью). Ходить нагими в мире, не знающем Греха, все равно что явиться во фраке на уже закончившийся бал.

А они рождены и воспитаны, дабы *созидать* добро. Дабы падать и вновь подниматься.

Блаженство, дарованное им Декретом Адмирала, сбивало их с толку физически и метафизически.

— Жизнь! Какая скука, опиум!..

Клирики бродили по берегу в дурном настроении. Закатав рукава сутан, расстегнувшись, они собирали красивые ракушки. Какая тоска! Никто не идет исповедоваться. И все же голые земледельцы просили у них месс и катехизиса. А какая-нибудь проститутка, вовсе забыв о приличиях, приглашала «прогуляться».

Матросы же, оголившись и *живя,* не забывали забот, захваченных с собой из грешного мира. Они начинали бродить по поселку с десяти утра. Собирались группами и прогуливались от кокосовых пальм до скалы и обратно. Безрадостно. Голые, точно рекруты на медицинском осмотре.

Они зевали. По сто раз переспрашивали, в котором часу обед. Потом ели — без соусов, перца, вина, а также без мяса, без фабады [1] и рагу. Как в санатории!

«Пение тысячи птах», о которых писал Адмирал, им души не трогало. Давно перестали их потешать и выходки обезьян.

Спасаясь от безделья, изобрели они способ изготавливать фигурки из сока каучука и начали пускать по волнам сотни щеглов, красногрудок, чаек, каких-то зверьков. И упражнялись в меткости.

А механизм созидания, главный источник несчастий и радостей европейского человека, все же продолжал функционировать. Тайно, под покровом ночи. Днем земледельцы спали в своих гамаках, а ночью отправлялись на делянки и до рассвета рубили кустарники, выпалывали сорную траву. Когда заканчивали расчищать землю, звали землемера и нотариуса, и те оформляли должным образом право владения, за что им платилось вдвое против официальной таксы.

---

[1] Блюдо из фасоли и бобов с кровяной колбасой.

Священники Буиль, Вальверде, Коланхело и Пане слыли открытыми противниками новых порядков. Не таясь, с большим энтузиазмом готовили они тесто для облаток — теперь уже из кукурузной муки.

Да и сами Колумбы (братья, сыновья, племянники и кузены Адмирала) числились среди недовольных и на каждом углу поносили сюрпризы райской жизни. Они покинули Геную в жажде прославиться и разбогатеть, о чем Адмирал так написал в послании к королям: «Теперь первооткрывателями мечтают стать даже ткачи».

Джакомо Рико и другие генуэзцы из Транснационального агентства видели: дни проходят, а доходных дел не прибавляется. Рай держался за свои земли по всем законам маркетинга. Как опытные специалисты, они убедились, что наступил момент «нулевого роста». Момент нежелательный и тревожный. Но пока донесений об этом в Центр отправлено не было.

Недовольные предприниматели, от сыровара Баварелло до златоискателей, громко поносили ландскнехтов и всех представителей власти. Плелся заговор. В него был втянут даже палач Капуча...

Франсиско Ролдан, человек из стражи Бартоломе Колумба, смуглый субъект с большими усами и длинной шевелюрой, стал вдруг заметной фигурой.

Он нагло присвоил себе звание «полковника» (итальянская выдумка, мало известная в те времена в Испании). Обильно украсил куртку нашивками, начал носить прусский шлем, увенчанный наконечником копья.

В любовницы взял Дьяволицу. И руководил заговором из ее «полевого» борделя, построенного для них ангелами на отмели, прозванной Каменным Мысом.

Ролдан принимал посетителей лежа в гамаке, покуривая большие сигары и попивая крепкий напиток из манго. Он обливался потом, ибо ни за что не хотел скинуть куртку, на которой были прилеплены эполеты с золочеными кистями, снятыми с переносного алтаря (теперь он покоился на складе).

Именно там, в борделе, начал рассуждать Ролдан об «отечестве и достоинстве».

Очень быстро превратился он в лидера. Восхождение его было стремительным и неудержимым.

Да, сопротивление чувствовалось. Но все же Декреты входили в жизнь. Законной власти пока еще подчинялись. Учрежденная Адмиралом райская нагота мало-помалу пробивала брешь в стене унаследованной от дедов и прадедов стыдливости. Медленно вступали пришельцы в период коллективной «открытости». И казались только что вылупившимися из своих кирас и костюмов. Потому и выглядели не столько голыми, сколько неполноценными существами, ощипанными курицами. Бледность их тел, многие годы не видевших света, была вызывающей. Катакомбы, в которые вдруг ворвались ненавистные солнечные лучи.

Уже через две недели перестали они, глядя друг на друга, краснеть. И как это обычно происходит, возник авангард наглого бесстыдства и арьергард — консервативный, откровенно враждебный Декретам. К нему примкнули Буиль, Нуньес де Мендоса и люди благородного звания, а также полковник Франсиско Ролдан. На тайные собрания он являлся — и это приходилось сносить! — под руку с Дьяволицей. Теперь она одевалась в черное, носила на груди камею «мадам», ремесло оставила и часто заговаривала о «хозяине». А племянниц касика Беккио Дьяволица обучила нескольким ходовым приемам: стилю «собачка» и «герцог Омаль».

Нельзя не отметить, что предписанная Адмиралом и поддержанная Сведенборгом любовь без страданий и страсти вылилась на деле в безудержную вакханалию. Возникло увлечение повторением, погоня за количеством. Разве так подобает вести себя в Раю? Люди добропорядочные, вроде Лас Касаса, надеялись, что помрачение скоро рассеется, что все вернется в нормальное русло. Насытится и утихнет свора голодных псов, которых долго держали в клетке и всех разом выпустили на волю. (Со времен

потери Константинополя не видели они нагого тела и не знали свободной любви!)

Прошло несколько дней, и наступило пресыщение, пустота. Да и силы начали иссякать. Тем не менее вновь и вновь поднимались они на дрожащие ноги, чтобы вновь бежать за ангелицами и вновь опрокинуть их на песок.

Да, оказывается, у организма были жесткие пределы. И это вызывало растерянность и ярость. Самые отчаянные и неосмотрительные рискнули ступить на самый краешек бездны, испробовать все пути. Но и они лишь истощили силы, почти ничего не получив взамен. Не помогли отвары и мази местных колдунов. Их действие было обманчивым и мимолетным. Что ж, пресыщение — она из самых изощренных и жестоких кар Создателя, «противоядие от греховных наслаждений», как выразился удрученный падре Буиль.

Церковь переживала тяжелые дни. Падре Скварчиалуппи, всегда верно-послушный, преданный ученик святого Августина и святого Фомы, вдруг повесил сутану на дерево. И присоединился к всеобщей вакханалии. А за ним еще четыре семинариста. Сначала к ним отнеслись с интересом, ибо они принесли кое-что новенькое — кое-какие порочные семинарские штуки. Но вскоре и это надоело. Все опять свелось к повторению. Скука!

Дезертирство Скварчиалуппи — и не менее возмутительное поведение Лас Касаса, поддерживающего Адмирала, стали причиной яростных богословских баталий. Каджиан и Пане считали, что оба отступника должны быть отлучены от церкви, ибо слугам Господним не пристало ходить голышом — даже в Раю. Скварчиалуппи защищался. Он рассуждал о различии между Раем Небесным, где блаженные воскресают в телесной оболочке, но без постыдных желаний — будь то плотские утехи или чревоугодие (святой Фома), и Раем Земным, куда и привел их Адмирал. Обычаи Рая Земного подробнейшим образом описаны святым Августином в «Граде Божием». Здесь имеет полную силу закон «плодитесь и размножайтесь», возвещенный Иеговой в Бытии (1,28). Да, именно эти строки рассеяли сомнения Скварчиалуппи и вдохновили его на любовные подвиги. Да, он разделял воззрения Сведенборга.

Иерархи, с досадой выслушав перебранку, назвали спорщиков тайными иудеями и неисправимыми милленариями [1]. Приговор был оставлен in suspectis [2], а инквизиторские пытки и костер откладывались до той поры, когда будут отменены Декреты генуэзца (это наступит весьма скоро!).

Ролдан же хотел действовать без проволочек, его с трудом уговаривал повременить падре Буиль.

У иберов меж тем возникли проблемы весьма конкретного свойства. Как сделать более соблазнительными прекрасные тела голых ангелов, которые с улыбкой исполняли любые прихоти богов? Как из глупого пресного послушания извлечь радость насилия?

Всего нескольких дней хватило, чтобы тоска по Греху и по Злу стала просто невыносимой. Все сводилось к безвкусной механике, о которой неинтересно было даже рассказывать. Традиционные садо-мазохистские игры вдруг лишились нужного им пространства.

А из глубин новых земель все прибывали караваны девушек, и каждая с радостью готова была отдаться пришедшим из-за моря богам.

И тогда произошли первые странные события, первые преступления на сексуальной почве. Затем они стали множиться и достигли невиданного размаха. Падре Лас Касас записал: «Люди не могли удержаться от нападений, похищали островитянок на глазах у отцов, братьев, супругов, убивая при этом и грабя».

Мало того, пришельцы принялись наряжать ангелиц в «европейское белье и платье», хотя сами при этом оставались нагими, как и предписывалось Декретом.

У Дьяволицы был отличный нюх на выгодные дела. Она поспешила

---

[1] Секта, члены которой верят, что Христос воцарится на земле за тысячу лет до Страшного суда.

[2] *Здесь:* под вопросом *(лат.)*.

нарядить двух своих подопечных в платье монахинь, а другим местным девушкам велела надеть костюмы знатных сеньор либо веселых баскских крестьянок. За пару дней доходы ее удвоились. Была введена предварительная запись — за 72 часа. И хотя за тонкими стенами борделя можно было без труда найти десятки обнаженных женщин, приток гостей в заведение был столь велик, что над стойкой бара пришлось повесить табличку: «Предупреждаем достопочтенных клиентов, что категорически запрещается кончать дважды, не вытаскивая. Администрация».

За принудительным одеванием последовала и другая форма насилия — жестокие побои. Крики жертвы давали возможность почувствовать себя настоящим мужчиной, властелином. Вопли, свист хлыста, стоны. Но тропка эта очень скоро привела к несчастью: однажды утром — то было первое облачное, угрюмое утро в землях, где небосклон вечно чист и прозрачен,— было найдено тело принцессы Бимбу. Изуродованное тело прелестной Бимбу, подвешенной за левую руку к кресту-виселице.

Под Древом Жизни, покачиваясь в гамаке, отдыхал от вековой западной усталости Адмирал.

Он то дремал, то наслаждался тайной гармонией птичьего гомона, то пытался постигнуть забытый людьми язык растений. Его не отвлекали ни докучливые выходки обезьян, ни любопытство ангелов, которые нескончаемым потоком прибывали сюда, дабы поклониться богам, пришедшим из-за моря. Они приносили хлеб, лепешки из маниоки, протягивали тут же расколотые кокосы.

Ландскнехт Сведенборг меж тем пытался завести с ними разговор по-еврейски и был счастлив, ибо находил подтверждение своим теориям о происхождении ангельского языка.

Растерянный Лас Касас метался, стараясь примирить земное богословие, которому учили его в семинарии, с райской реальностью.

Но наибольшую выгоду из сих великих событий извлек несомненно Ульрих Ницш. Вот уже более двух десятков лет шел он по следам Адмирала: с того самого дня, как прибыл в Вико де Оливелла. И не прогадал. Ведь только теперь, только здесь можно было проверить истинность философских построений, что защищал он, рискуя жизнью, вызывая ярость «людей здравомыслящих» и заставляя ярче пылать костры инквизиторов-ортодоксов,

Не боясь впасть в преувеличение, скажем: Ницш готовил идеологический переворот — самую рискованную, как считал он, авантюру со времен Христа. Людям будет объявлено, что Бог умер.

Да, именно так: умер Старик-Мечтатель — легкомысленный, капризный, властный, бессмысленно жестокий, обаятельный (когда, например, принимался вдохновенно расписывать крылья бабочек или изобретал раскрас для леопарда).

Бог умер. А люди-то продолжали жить — маленькие червячки вокруг гигантского трупа.

Индейцы казались иными. Те индейцы, что с детским любопытством рассматривали его усищи и карие с желтыми крапинками глаза. Их отношения с природой были естественны и просты. Они не знали злобы. Тиран умер, не успев искалечить им души унижением. Ведь только Ульрих Ницш знал, что Иегова, подчинивший себе весь иудео-христианский Запад, был в действительности демоном-победителем, демиургом-разрушителем.

И теперь он мог это доказать. Близился решающий час. Ландскнехт ликовал и готовился: на своем гортанном наречии приветствовал на рассвете появление солнца, купался в священном водоеме таинов — застывал в неподвижности на поверхности воды, вперив взгляд в небо и разглаживая мокрые усы.

А его кумир, Адмирал, пребывал в блаженном неведении и все ждал возвращения, пусть хоть краткого визита, Господа в покинутый им некогда Сад. Ульрих Ницш не посвящал его в свои планы, не рассказывал о грядущей великой экспедиции, которую можно было бы назвать гносеологическим походом.

Получив от касика Гуайронекса проводников и взяв себе в помощь раввина Торреса, бегло изъяснявшегося на еврейском и английском, ландскнехт направился в глубь сельвы — на поиски следов бога Иеговы.

Они шли по ковру из зеленых растений, бегущих вверх по высоким стволам прекрасных деревьев, окутанных орхидеями. Вступали в переговоры со стадами злобных макак. Просили позволения пройти через владения ягуаров и соглашались при этом на их условия. И наконец достигли Священного Холма, похожего на округлой формы огромный камень или на невесть откуда взявшийся среди дикой растительности купол.

На одном из склонов Холма обнаружили они портик из белого камня, захваченный в плен алчными лианами. У него не оставалось никаких сомнений: то были знаменитые Восточные Врата, через них Адам и его жена, понурив головы, вышли в новую, многотрудную жизнь.

Раввин Торрес вынужден был признать правоту ландскнехта (меж собой они с трудом объяснялись на школьном греческом). Итак, все здесь убеждало: много веков назад был покинут сей Сад, ибо владелец его скончался. Вот почему индейцы напоминали детей, выросших без крепкой отцовской руки. Вот почему не знали они ни дисциплины, ни сильной власти.

Какие еще нужны доказательства? Однако с терпеливостью энтомологов просидели Ницш и Торрес две ночи подряд в засаде. Ждали, не подаст ли Он знака, что жив, что власть его столь же могуча. Но ничего не случилось.

Оставалось последнее средство. Ведь всем известна гневливость Иеговы. И вот иудей Торрес испражнился на крест, а немец Ницш пустил струю на звезду Давида. Но — черные тучи не налетели, небеса не разверзлись, грозные молнии не поразили нечестивцев. Вместе с рассветом пришел восхитительный ясный день, и его приветствовали пением сотни жаворонков.

В порыве неудержимой радости Ницш взвыл. Так родился человек, не знающий власти Тирана. Сверхчеловек.

— Греция! Греция! — вскричал он.

Затем повернулся к раввину Торресу, и тот показался ему ничтожным и жалким — сефардская бородка, убогая нагота. Ницш не мог побороть соблазна и одним ударом свалил его с ног. Но тут же, раскаявшись, поднял и, пока Торрес отыскивал на земле очки, попросил прощения.

Итак, Ульрих Ницш раз и навсегда уверовал: человек должен преодолевать себя! Пора возвращаться к обычаям предков: быть праздными и жестокими, жить, глядя в лицо опасности, сталкивать с дороги тех, кто преклоняется перед смертью!

Идея переворота носилась в воздухе. Готовился первый в истории этих земель putsch. Декреты подготовили почву. Плотская пресыщенность и высокие цены в борделе у Дьяволицы создали необходимые «исторические предпосылки» (так выразится неблагонадежный Мордехай, комментируя развернувшиеся события).

Жизненная апатия сменилась нервной суетой заговорщиков. Экономические и эротические интересы переплелись и легли в фундамент их действий.

Был понедельник, восемь часов утра, когда на улицу вышел полковник Ролдан — в шитом золотом мундире и сапогах, до зеркального блеска начищенных шлюхами. Он прошествовал от Каменного Мыса до строящегося собора. За ним следовали Адриан Мухика (будущий суровый министр внутренних дел), Диего де Эскобар, Педро Вальдивиесо, аптекарь Берналь, который теперь защищал принципы свободного рынка и успешно торговал разными травами и снадобьями, позаимствованными у местных знахарей и превращенными в таблетки. Братья Поррас также встали на сторону Ролдана. Но весьма важно было выяснить следующее: кого поддержат церковные иерархи, сеньоры феодалы и представители Банка Сан-Джорджо.

Речь Ролдана была эмоциональна, националистична и всем понятна. Он

обратился к народу, взобравшись на бревенчатый фундамент колокольни. Пообещал свободу индейцам (естественно, с учетом «персональной ответственности», предусмотренной христианской доктриной). Поратовал за восстановление морали и добрых нравов и мимоходом осудил райскую наготу и свободную любовь (если только они вырывались за умеющие скрыть неприличие стены домов терпимости). Посулил скорое и уверенное экономическое развитие. Одним словом, произнес первую в Америке «западную христианскую речь».

Но в тот же день им были продиктованы распоряжения, которые устанавливали систему тайного рабства — в «энкомиендах» и «репартименто». Кроме того, дозволялось отныне брать местных женщин в наложницы и служанки, будь они хоть принцессы.

Уже вечером встревоженный Лас Касас запишет в Книге 1, гл. CLX: «Можно было видеть, как самый никчемный люд из Кастилии — кто с отрезанным ухом, кто осужденный ранее за убийство — брал в вассалы королей да знатных сеньоров для самых низких и черных работ. И их жены, дочери и сестры брались силой или по доброму согласию. Этих женщин называли они «своими прислужницами». Ролдан же бесстыдно сказал: «На пользу себе обращайте все, что только сможете, ибо не знаете, сколь долго сие продлится».

Так, Хуану Понсе де Леону, утонченному сладострастнику, досталась дочь касика Гуайронекса. Кристобаль де Сотомайор, любитель соколиной охоты, получил сестру касика Агейбаны.

Как записал хронист Педро Мартир, по завершении торжественной речи Ролдан хитро подмигнул земледельцам, еще не решившим, стоит ли вставать на сторону революционеров, и сказал им буквально следующее: «Идите за нами! И тогда сможете бросить мотыги, и руки ваши будут знать одну работу — поглаживать гладких бабенок! Трудиться будут индейцы, а вы — отдыхать!» («Декады», Книга V, гл. V.)

Затем все поспешили туда, где возводился собор, и у подножия креста-виселицы прочувствованно пропели «Te Deum» вместе со снова собранным хором семинаристов и служек.

Священник Буиль, стоявший по правую руку от расфуфыренной Дьяволицы, поднялся на ящик-амвон (со временем его заменил новый, который индейцы Миссии украсили сценами Голгофы, и сегодня им можно полюбоваться в Санто-Доминго) и произнес:

— Грех — наша сущность, покаяние — наш символ. И нет в жизни более достойной цели, нежели поиск спасения, коего достигнуть возможно, лишь не пренебрегая таинствами Святой-Нашей-Матери-Церкви. Не слушайте проходимцев, если станут утверждать, что есть помимо небесного иной Рай. Нет, Рай один. И попадет туда после смерти лишь тот, кто при жизни явит пример послушания и смирения! — И заключил: — Как сказал полковник Ролдан в своей исторической речи, мы свободны, но не должны забывать слова святого Августина: «Свободная воля порождает грех».

Сторонники Колумба с губернатором Бартоломе Колумбом во главе не были расположены к прямому сопротивлению. Ведь втайне и они ожидали скорейшего возвращения «дела».

Поэтому сочли за лучшее послать на Каменный Мыс двух эмиссаров для переговоров. Сделано это было без ведома и позволения Адмирала, все так и пребывавшего под Древом Жизни.

Ролдан лежал в гамаке и пил агуардиенте. Ему доложили:

— Мой полковник, прибыли эмиссары от Колумбов...

— Расстрелять,— отрезал Ролдан с мрачным лаконизмом человека, вводящего в моду новый стиль. Послышались нестройные выстрелы. И тут же снедаемый любопытством полковник снова призвал сержанта Карриона, чтобы спросить: — Че, так какого черта хотели эти эмиссары?

Тем дело и закончилось. Бартоломе Колумб потерял двух никчемных племянников. Назавтра он послал лакомке Дьяволице большое блюдо с frittelle [1] в сахарной пудре.

---

[1] Блинчиками *(итал.)*.

Да, то был настоящий государственный переворот. Ролдана назначили Главным Алькальдом, на деле он держал в руках все нити власти и, естественно, завладел ключами от арсенала и порохового погреба. Что ж, подобные преторианские перевороты станут самым распространенным преступлением из тех, что узнает Америка.

Народ ликовал. Торговля шла даже ночью. И как доказательство полного восстановления в правах испанского богословия в воскресенье в пять часов пополудни на арену был выпущен бык Жоана Вельмонта.

Матадор блистал. Шпага вонзилась в зверя по самую рукоятку.

Представители финансовых и деловых кругов изо всех сил старались подогреть дух созидания, ослабленный райским блаженством и вынужденным бездействием.

Жажда труда налетела на побережье дьявольским вихрем. Поселок превратился в соты, где снуют обезумевшие пчелы.

Ролдан, который, как было известно, имел свои интересы в Большой Каталонской компании (ткань, саржа, книги), издал новый указ: всем предписывалось прикрыть наготу в течение 72 часов.

Именно тогда это и случилось — вместо крохотных лоскутков ткани появились рабочие фартуки. Индейские женщины, включая принцесс, вдруг стали напоминать не то монахинь, не то горничных.

Бурным цветом расцвела торговля нижним бельем «для дам» — неизменно бордельного вида. То выплыл наружу мстительный фетишизм иберов, так и не сумевших забыть оскорбление — естественную наготу индейцев.

Началась какая-то тряпичная оргия: черные панталоны с красными лентами, резиновые подвязки, обшитые жатым шелком, корсеты с бесконечными шнурками и непонятными петлями. Вновь стала доступной сладкая пытка — томительное расстегивание. И вот пришло время, когда спрос обогнал предложение, не хватало сырья из Европы. Что уж далеко ходить: украли сутану у падре Буиля. Полицейские псы отыскали ее у моря: скомканная, истерзанная, лежала она в песке, точно дохлый ворон. И конечно, пропали все до единой 155 пуговиц. Они, вне всяких сомнений, попали в одну из подпольных фабрик фетишистской одежды.

Случаи публичного оголения и «непристойного выставления себя напоказ» жестоко преследовались и осуждались с амвона. Бордель Дьяволицы родил два филиала. Наконец-то Болоньянка со Шпагоглотательницей также стали «мадамами».

А вот принцесса Сибоней отказалась надеть глупый серый передник и белые муслиновые чулки. Она явилась прямо на Кафедральную площадь — совершенно нагая, величественная, с улыбкой любви на устах.

Ее арестовали, над ней измывались, она предстала перед судом. (В Севилье, в архиве Индий до сих пор хранится полицейская регистрационная карточка: «Сибоней и др. обвиняются в нудизме и употреблении наркотиков». Документ № 5885. Полка 72.)

Еще до того как пришли инструкции из Испании, священники заявили, что местные жители ангелами не были. Падре Буиль, Вальверде и другие негласно провели епископскую конференцию (хотя Ватикан еще не назначил сюда епископа). На ней Адмирала обвинили во лжи. А ландскнехта Сведенборга объявили безумцем, какового подобает держать взаперти.

До сведения верующих довели: нет здесь ни ангелов, ни преадамитов, что якобы обитают в каком-то Земном Раю, не зная смерти и греха. Ведь они смертны! Оставалось определить, есть ли у них душа, а если да, то сколь она велика. А пока надлежало обращаться с индейцами мягко и ласково, ну — словно с домашними животными.

Вполне последовательно устанавливалось, что изнасилование индейской женщины — грех не слишком великий. Священникам рекомендовалось отпускать его, налагая епитимью: три раза прочесть «Отче наш» и три «Богородицу» (то же за мастурбацию пред портретом испанской возлюбленной).

Церковные разъяснения были совершенно необходимы. Предприниматели

должны были знать, как вести себя в сей момент бурного экономического взлета.

Индейцев принялись переправлять в Севилью и там продавать как рабов. Первая партия состояла из пятисот единиц. Но они дурно переносили путешествие: умирали от пневмонии и тоски. И не имели даже жалкого утешения африканских негров — ритмов и пения. В общем, пустое дело.

Закрутились годы предпринимательской лихорадки. Рабочих рук — в избытке, приходило и умение использовать местное сырье. Скажем, в Европе быстро привились ритуальные сигары, свернутые из листьев. Доктор Нико, основываясь на научных исследованиях миланца Франческо Монтани, сделал табак чрезвычайно популярным, показав, что никотин не только доставляет удовольствие, но и излечивает рак. Перерабатывающая промышленность заработала в полную силу: табачные листья возвращались из Европы в Америку (часто контрабандой их перевозили голландские пираты) в виде табака нюхательного и табака трубочного — в пестрых коробках со сценами охоты на этикетках.

Но справедливости ради заметим, раньше других в гору пошла текстильная индустрия, первый известный человеку вид труда. Сначала что-то выкраивалось из фиговых листьев, потом Иегова сделал Адаму и жене его одежды кожаные, прежде чем выгнать первую пару грешников в непогоду.

Колумбы на словах оставались верны Адмиралу, но на деле шли тем же путем, что и все. Уж они-то не успели забыть, как управляться с ножницами и тканью. Джованни Коломбо открыл большую модную лавку (сначала в каком-то сарае), которая весьма скоро преобразилась в «Дом моды» с вывезенным из Франции закройщиком-педерастом.

Начали прибывать первые образцы саржи и «тропических» кашемиров. Конкуренция была беспощадной.

Происходили забавные сцены: касики из глубинки с невозмутимостью, порожденной великой мудростью и наследственным высоким положением, неподвижно стояли под палящим солнцем и покорно сносили прикосновения чужих рук, ловко снимавших мерки («спина 76, разрез 27, длина 95»).

Но стоило одежному ажиотажу, устроенному приказом сверху, начать затухать, как капитал устремился в другие сферы.

Маркетинг проводился самым тщательным образом. И вот результат: тот, кто, скажем, как индейцы тупи-гуарани, пил матэ, теперь потреблял эфиопский кофе в чашках из Талаверы (Главный Алькальд и епископ предпочитали, естественно, тонкий лиможский фарфор).

«Радость богов» — какао вернулось на родину через Атлантику в виде баночек швейцарского шоколада — изобретение господина Улиха, неудавшегося часовщика.

Чтобы платить меньше, а продавать дороже, были введены в оборот деньги. В севильской Счетной палате установили обменные курсы, но пройдет всего несколько десятилетий, и они начнут регулироваться уже не в государственном, а в частном порядке — на биржах Амстердама, Нового Города и Лондона. (Пираты всегда отличались изобретательностью и умели быстро ко всему приспосабливаться.)

Росли числом импортеры света, который сперва использовался лишь в безлунные ночи, а затем стал применяться повсюду и во всякое время суток. Процветали торговцы спасением. Изобретатели разного рода увеселений, физических и метафизических: скачек, немецкой философии, футбола, лувенской теологии [1].

Пришельцы были великодушны, они готовы были поднять благосостояние аборигенов до европейского уровня.

Дошли сюда и первые способы сохранения льда. Теперь можно было делать прохладительные напитки из кокосового молока, коктейли с какао, с ромом — с чем угодно. Резко подскочили в цене оранжады. Казалось, всех охватила неуемная страсть к прохладе. (Но в индустрии холода, как и во многих других делах, иберов весьма скоро обойдут светловолосые пираты,

[1] В Лувене (Бельгия) находится старейший Католический университет.

под покровом ночной темноты станут они выгружать свои аппараты на берег и продавать их по демпинговым ценам, и особо отличатся здесь Уильям Вестингауз и Филипс — великие торговцы «пониженной температурой».)

Между тем индейские сандалии сменялись на альпаргаты. Прекрасные перья в огромных количествах отправлялись в Европу на радость куртизанкам, дипломатам и адмиралам. Вода из источников разливалась по бутылкам, к ним прилагались медицийские рекомендации, и все это шло на вес золота. А многомудрый доктор Чанка открыл частный санаторий и аптеку при нем.

Весьма недурной доход научились извлекать даже из коллективных прогулок (хоть злодей Кук вытеснит иберов и отсюда). Индейские божества, захоронения и пирамиды превращались в музейные экспонаты — в приманки для туристов.

Но признаемся откровенно, самой выгодной с первых же дней стала коммерция католическая. В огромных количествах везли через океан алтари, сутаны, ризы, кадильницы, священные образы — черно-белые и цветные, Библии, распятия, катехизисы, от роскошных до самых дешевых. Каждый обязан был наизусть знать основы монотеизма. И плохо пришлось бы тому, кто не отчеканил бы без запинки «...един Бог, един и посредник между Богом и человеками...» [1].

Епископ Ланда — тот, что сжег почти все кодексы индейцев майя,— в эпилоге к своим знаменитым «Реляциям» так сумел выразить суть тех лихорадочных лет: «Индейцы много выиграли с приходом испанской нации. Теперь имеют они многие новые вещи — и число их растет,— кои волей-неволей научатся обращать себе на пользу: лошади, мулы, собаки, ослы (они плохо здесь приживаются), куры, апельсины, дыни, инжир, гранаты, деньги и много-много чего еще. И хоть индейцы обходились, и вполне хорошо обходились, без оных, нынче, лишь обладая ими, живут, как только и подобает жить людям. А ведь самое наиценнейшее досталось им вовсе даром, без всякой платы: Правосудие, Христианство и Мир».

Травы, кусты, большие деревья и ягуары первыми обнаружили, что боги-то были фальшивыми.

Приметливые и прозорливые обезьяны тоже успели смекнуть: серпы и молоты бородатых пришельцев — орудия уничтожения. Что за абсурд! Они валили леса и рушили жизнь, сложнейшую жизнь, зародившуюся вместе со временем. С корнем вырывали травы, лианы, жгли листву и ветки, пока не появлялся кусочек пустыни — квадрат лысой земли. А потом мужчины со светлой кожей принимались работать: день и ночь, забывая жен и детей своих, принося в жертву радость земную и часы, что должны отдаваться богам и любви. Зачем? Чтобы засадить ту же землю. На сей раз тщедушной рассадой из питомников, жалкими кустиками, достойными лишь презрительной улыбки.

То выстраивались рядами «полезные растения», чьи плоды ценились на рынке.

Так случилось, что обезьяны подняли свой бунт (тоже первый в Америке) почти одновременно с полковником Ролданом. И хоть было ясно, что сил у них маловато, окружили гигантскую сейбу, которую человеческие существа называли Древом Жизни. И начали оглушительно выть и швырять экскременты.

Но розовокожий и голый человек, Адмирал не сумел их понять. Со всегдашней самонадеянностью предпочел он думать, что то был какой-то особый знак почитания.

Тогда обезьяны решили искать подмоги у ягуаров и индейцев-карибов (обиженных на весь мир за свое уродство и всегда готовых к бою). Ягуары растерзали семью астурийцев-первопроходцев и покалечили какого-то баска, сажавшего чеснок и табак (он работал уже на гринго Данхилла). Но все оставалось по-прежнему.

---

[1] Первое послание к Тимофею, 2,5.

Исчезли веселые пальмовые рощи — стайки приветливых и простодушных девчушек, выбежавших к морю (но белокожие варвары ничего не умели замечать).

Два весьма почитаемых священных дерева были срублены, и из них изготовили отличный прилавок и табуреты для притона Доминго де Бермео. Излишки досок он продал на скамейки в собор.

Огромная вэра [1] — самое главное дерево-мать этих земель (ведь растения в какой-то мере тяготеют к матриархату) — предсказала, что битву они проиграют. Бледнолицые опьянены жаждой уничтожения, они позабыли о своей изначальной связи с Всеобщим и предали вечное братство всего живущего на земле. Они погрязли в пороках, но и пороки не приносят им радости. Об Адмирале же, укрывшемся под ветвями большой сейбы, вэра сказала: «Он мечтатель. И нет на него никакой надежды. Он больше не видит реальности».

Там, куда проникали бледнолицые, естественный порядок рушился. Даже реки меняли русла, дабы орошать их виноградники. И пришельцам было невдомек, что прекраснейшие серебряные нити, бегущие по сельве,— есть нити жизни, артерии тела земного и требуют к себе величайшего почтения.

И вот повсюду стали множиться зеркальца мертвой воды, отнятой от груди Великой Матери Вод (той, что приводит в согласие небеса и подземные недра). Возникали болотца — лишенные чистоты и какого-либо биения жизни. И вскоре от них начинал исходить дурной запах, в них заводились всякие твари, оттуда шла к иберам зараза.

А животные уходили за покрытые лесом холмы. То был настоящий исход. Обезьяний народ шел в изгнание под покровом ночи. «Мы вернемся! Мы победим!» — кричали они. Но кто в это верил?

Терпеть больше не было сил. Даже легкомысленные попугаи ара и райские птицы не желали больше отдавать свои длинные перья для украшения шляп итальянских щеголей. И они отступили в лесную чащу, хоть и пришлось отказаться от сладкой привычки засыпать под прекрасный шум моря.

Итак, после убийства Бимбу, насмотревшись на бесконечные преступления, раздевания, одевания и переодевания, местные вожди сошлись во мнении, что при определении природы бородатых пришельцев совершили они печальную теологическую ошибку.

Белолицые люди пришли убивать. Новые каннибалы, способные пожирать каннибалов.

В Королевской долине и в Ксарагуа обманные боги сбросили маски: то были грозные *дзидзимины*.

Америка открыла Европу и бородачей 12 октября 1492 года (по календарю белых). В этот день индейцы радостно покорились дурно пахнущим «божествам».

Они безропотно приняли рабство, ибо Четвертое Солнце умерло, а банда людей в сутанах разъяснила, что «жизнь есть юдоль слез».

И теперь, когда жестокие надсмотрщики лупили их плетьми и палками, они старались исхитриться и подставить другую щеку (или непобитый еще бок), как учил их падре Вальверде.

Индейцы строго следовали христианским заветам. После самых жестоких пыток (а им, случалось, выкалывали глаза и вырывали мужскую плоть — чтобы заставить признаться, где прячут они жемчуг и золото) подбирали они свою одежонку и с благодарностью кланялись, говоря при этом с евангельской кротостью:

— Прощаю тебе, господин, то, что ты учинил мне. Если желаете, ударьте еще разок!

А те сплевывали шелуху от семечек, отпивали глоток агуардиенте и кричали:

---

[1] Дерево твердой породы.

— Пошел вон! Идиот!

А если насиловали одну из их дочерей, шли в хижину и приводили младших — дрожавших и онемевших от ужаса — и вели их к насильникам, ничего не прося взамен.

Однако постепенно эта суровая верность новым жизненным нормам стала слабеть, так как открывалась простая истина: их заманили в ловушку, грубо и бесчестно обманули. «Коли это Христос, то Христос — преступник»,— решили старые касики.

Анакаона и Сибоней, что были похитрей и посметливей прочих, начали обращать себе на пользу ненасытную похоть иберов и меньших числом генуэзцев. (В Вега-Реаль Бартоломе Колумб понадеялся, что раз и навсегда подчинил их себе.) Но участь рабынь не миновала и прекрасных принцесс.

Не было больше изящных, невинно чувственных танцев — арейто и науаль. Они выродились в грубые и вульгарные румбы и милонги. Никто уже не смотрел на тонкие движения рук или чарующую игру глаз, ценилось умение сладострастно и без остановки трясти голым задом.

Убийство прекрасной Бимбу явилось предупреждением. Но со всей очевидностью мрачное будущее предстало перед ними, когда глашатай обнародовал указ Ролдана о «Клеймах и метах для рабочей скотины и местных жителей». Мужчины должны были идти с женами и детьми, даже младенцами, чтобы у врат собора им выжгли клеймо. Людям ставили букву «Г», возможно, намекавшую на слово «Гнев». Знатные латифундисты могли добавить свой собственный отличительный знак, заранее зарегистрировав его в «Бюро патентов и мет».

Эти меры помогли упорядочить торговлю наложницами и рабынями и легко разрешать конфликты, когда принцесс проигрывали в мус. Теперь все серьезные сделки осуществлялись через нотариуса. И аборигены должны были обрести чувство уверенности и спокойствия.

Охрана бараков с работниками доверена была собакам, в основном немецким бульдогам, беспощадным в охоте на беглецов и незаменимым для выискивания недовольных. Пользовались они столь большим авторитетом, что даже написаны были биографии нескольких из этих ревностных охранителей христианского порядка. Вот что написал хронист Овиедо о псе Бесерильо, восхваляя его достойные подражания качества: «Свирепейшая собака — защитник католической веры и благопристойности — растерзала более двух сотен индейцев за идолопоклонство, содомию и прочие мерзкие преступления и с годами изрядно полюбила человечье мясо» [1].

Началась эпидемия коллективных самоубийств. О них упоминалось в «Установлениях по обхождению с индейцами» (Сарагоса, 1518).

Индейцы запирались в хижинах и дышали ядовитым дымом. Или вслед за старейшим в семье бросались в реку, привязав на шею камень. Или вешались на деревьях рядом с предметами культа [2].

Упомянем и о том, как возмутительно поступил капитан Лопес де Авила, человек Ролдана, с принцессой Анао.

Во время одной из карательных акций Анао была взята им в плен. Но прежде пообещала своему супругу, воину, восставшему против торговли женщинами, что не допустит к себе другого мужчину.

Фрай Ланда, который наблюдал за событием с поистине францисканской терпимостью, записал в главе XXX «Реляций»: «Женщины тех земель пользовались доброй славой. И были на то основания. Особенно превосходны были они до того, как узнали нашу нацию и Испанию, так что старики и сегодня вспоминают былые времена со слезами. Приведу один лишь

---

[1] *Фернандес де Овиедо*. Общая и естественная история Индий, том X. Заслужили собственных биографий и сыновья упомянутого нами пса — Леонсио и Бруто, Амадис, Калисто и Амиго. А написали их Хосе Хуан Арром, Эррера и др. Полковник Ролдан учредил собачий комитет, призванный стоять на страже общественной морали и исполнять цензурные функции. И в этом он тоже был основоположником. *(Прим. автора.)*

[2] Недоразумения теологического порядка имели трагические последствия. В 1492 году на Эспаньоле было около 250 тысяч индейцев. В 1538 году оставалось лишь 500. Индейское население Америки со 100% в 1492 году дошло до 5,9% в 1942-м. См.: *Анхель Розенблат*. Индейское население Америки. 1492—1950, Буэнос-Айрес, 1954. *(Прим. автора.)*

пример. Капитан Алонсо Лопес де Авила (зять Монтехо) увез молодую женщину, хорошего сложения и привлекательную на вид. А она пообещала мужу своему, что если случится несчастье и не будет убита она в сражении, то не допустит до себя другого мужчину. И никакими способами не могли ее убедить, чтоб пожалела жизнь свою и позабыла клятву — сохранить чистоту перед мужем. Так и пришлось бросить ее собакам (на растерзание)».

Ландскнехт Тодоров был свидетелем сего преступления и чуть не сошел с ума от беспомощности. А философ Жан-Лу Васселэн, уже пославший в Королевскую Академию Франции свой «Traité de Modération», поспешил вернуться на родину с первым же кораблем, везшим бразильскую древесину в Кадис.

Вскоре после этого события падре Ланда получил повышение и отбыл епископом на Юкатан.

Но по-прежнему ничего не знал о происходящем лишь вождь-текутли из Тлателолько. Когда-то он отплыл в свои земли торжественный и гордый, ибо убедился, что свершилось пророчество: возвратился Кецалькоатль вместе с младшими богами.

Местные поэты составили текст донесения и отправили в Тлателолько с самым быстрым гонцом:

Все кончено.
Мать, прижимая дитя к груди,
говорит:
Ай, крошка! Ай, мальчик мой!
В мир пришел ты, чтобы страдать!
Так страдай, терпи и молчи!
С Востока явились бородатые люди,
те, кого приняли мы за богов,
светлолицые чужеземцы.

Ай, сколько горя они принесли,
те люди, что дома себе строят из камня,
чья рука умеет повелевать огнем.
Сколько горя они принесли.
А вот наши боги уже не вернутся!
Их же «истинный» бог, что живет в небесах,
лишь твердит о грехе,
лишь покаянию учит.
Как безжалостны слуги его,
как злобны их псы.

Безумное время.
Священники в черных сутанах
христианство нам принесли.
Вот начало всех наших бед.
Начало неволи.
Начало разора.
Теперь мы знаем. Узнали наверно.
Настала эра Непостоянного Солнца,
что ведет нас к царству Воздуха и Огня,
Воды и Земли.
Настал конец времен,
всюду разрушенье и смерть.
Непостоянное солнце, Солнце на земле.
Все уйдет.

Но посланец таинов не достиг Тлателолько. Свирепые псы растерзали его, прежде чем успел он покинуть берег.

А изложенный выше текст был подобран людьми Ролдана и ныне хранится в Венском историческом музее, в той же витрине, где выставлена украшенная перьями корона императора Моктесумы.

Ничто не могло возмутить спокойствия Адмирала. Он был убежден: серьезные беспорядки, о коих сообщал ему падре Лас Касас, были случай-

ностью, пережитком прошлого. Люди еще до конца не поверили, что попали в безгрешный Рай. Они еще продолжали жить на потерпевшем крушение, потерявшем паруса корабле Порока.

— Это скоро, очень скоро пройдет, tutto finisce [1],— шептал он, не переставая вслушиваться в тайные шорохи волшебной сельвы.

— Падре, он ничего не понимает?.. Не понимает? — стонет в смятении орхидея.

Но Лас Касас абсолютно бессилен. Видно, Адмирал не верит его рассказам:

— Они вывозят ангелов! Только вчера погрузили на судно пятьсот! Продают их в Севилье...— но можно не продолжать.

К тому же Адмирал недолюбливал будущего епископа. Как он мелок! Как уныло благоразумен! Только и жди, что возьмется разливать по пустым бутылкам из-под минеральной воды Море-Океан — чтобы измерить и изучить.

С Адмиралом же в последнее время дело пошло хуже некуда. Он уютно свернулся калачиком во времени, точно кот у огня. Растворился в Бытии и все дальше уплывал от проблем человечьих.

Но совсем одиноким почувствовал себя Лас Касас, когда узнал об экспедиции Ульриха Ницша. Казалось, ландскнехт освободился от вязкого кошмара. Ходил, высоко подняв голову, готовый вернуться к людям и торжественно возвестить о великом и ужасном открытии.

По поводу несокрушимой веры Лас Касаса он лишь обронил:

— Неужто этот святой юноша не слышал вести, которую знает весь лес: Бог умер?

Итак, каждый из трех выбрал свою позицию — весьма важную с исторической точки зрения. Адмирал погрузился в созерцательное забытье. Если употребить традиционное выражение — он уже обрел спасение. Ландскнехт Ницш выплыл на поверхность из колодца безумия и готов был вернуться к людям и заставить их занять место Великого Старца. А Лас Касас, несокрушимый приверженец иудео-христианства, мечтал не о жизни, но о смерти, ибо, умерев, надеялся лицезреть Господа.

И все трое потеряли интерес друг к другу. (Ролдан и Буиль могли спать спокойно.) Их объединяло лишь то, что жили они под общей кроной — кроной Древа Жизни. Не больше и не меньше.

Люди, сопровождавшие их поначалу, вернулись назад. Они предпочли обычную жизнь. Скромные радости и невзгоды повседневности.

С ними остались лишь безголосые райские псы, сновавшие возле гамака и навесов. Чем прельстили их эти странные люди?

Пассивность трех богов, пришедших из-за моря, поражала аборигенов. И мало-помалу они потеряли к ним всякий интерес. К тому же сюда доходили новости с побережья. И можно было видеть людей, что спешили следом за обезьянами и ягуарами укрыться подальше в сельве. (Так начинался для них период физической и психологической замкнутости, который продолжается и по сей день,— пять веков.)

Адмирал порой выходил из спячки и вяло вступал в беседу:

— Вы заметили, ландскнехт Ницш, дни становятся все длиннее? Сеть времен начала распускаться... Уже ничего не значат слова: день, ночь, неделя, год... Ведь и раньше за ними стояли не больше чем иллюзии. Способ измерить нас, принизить, подчинить... Нынче пора забыть и такие слова, как старость, юность, смерть. Что бы вы, например, ответили мне на вопрос: сколько дней мы находимся здесь?

— Четыре года! — нетерпеливо перебил его падре Лас Касас.

— А что подразумевается, падре, под этими «четырьмя годами»?

— Четыре года.

— Четыре года?

Лас Касас не знал, что ответить. Видно, Адмирал постарался забыть — и вполне успешно — все привычные метрические системы, все календари...

---

[1] Все кончается *(итал.)*.

Колумб продолжал:

— Пора отказаться и от еще одной порочной иллюзии: от нашего представления о пространстве. Разве эти земли есть продолжение мира, откуда мы прибыли? Можно ли присоединить их к территории Испании, скажем, к Андалусии? Нет! Кто же станет складывать четыре курицы и четыре гуайавы...

Лас Касас не возражал. Колумб между тем говорил:

— Мы попали в иное пространство. Наконец мы попали в центр мира, в его сердцевину, а не стоим пред реальностью унылыми созерцателями с вечным портновским метром в руках.

Лас Касас с грустью убедился: с Адмиралом произошла глубокая метаморфоза и, вероятно, прежним ему не быть. Его покинуло рациональное сознание — отличительная черта «мыслящих людей» Запада.

Сам того не сознавая — а потому не радуясь и не огорчаясь впустую,— он превратился в первого истинного латиноамериканца. Стал первым метисом, но рожденным не от смешения крови двух рас — то была метизация духа (так и Адам никогда не был связан с матерью пуповиной).

А таинские мудрецы вместе с касиком Гуайронексом размышляли над эволюцией — или инволюцией — бога, пришедшего из-за моря. Ведь вел он себя не так, как остальные. И сделали вывод: то был первый человек нового рождающегося цикла — Цикла Черного Солнца.

Поэтому и был он вечно погружен в сонную дрему, не знал ни жарких надежд, ни горьких разочарований. Прометей покинул его.

Да, Адмирал без всякой меры наслаждался праздностью. Питался тем, что ему приносили, либо тем, что падало с деревьев. И отнюдь не тосковал о мясе (или, скажем, о макаронах). Что он ел? Ананасы, бататы, термитов, вволю пил молока из кокосов и сок манго.

Дни его были тягучими и ровными. Он не боролся ни за жизнь, ни за выживание. Он *был*. И ничто не могло заставить Адмирала шевельнуть хоть пальцем. Он зевал. И зевок его мог продолжаться двадцать минут. Вот до чего дошел человек, потеряв представление о времени, в котором рожден!

В голове его, ломая перегородки разума, перемешались, словно во сне, воспоминания и реальность, так что глагольные времена — прошедшее, настоящее, будущее — отправились на пыльные полки музея грамматики.

Таинские знахари убедились, что он не нуждается в наркотиках: внутренняя способность секретировать грезы действовала у него безупречно (возможно, в этом он мог сравниться лишь с королем-поэтом Несауалькойотлем). Ни к чему ему были ни пейотль, ни айауаска, так успешно помогавшие людям избежать рационалистического отупения.

Поток мыслей и грез, захлестнувший Адмирала, также принял американскую окраску. Готические пейзажи Кастилии — черно-белые, подсвеченные человеческими кострами,— заслонялись более легкими образами. Являлась, скажем, принцесса Анакаона, которую увезли в Испанию вместе с неудачливым мужем Каонабо. Но сквозь облик ее проступали черты незабвенной Симонетты Веспуччи (в виде Венеры, изображенной на картине Боттичелли, выполненной по заказу Лоренцо Великолепного). У Венеры были ноги Анакаоны — два тугих полукружия, рвущихся из огненного центра, а голова Симонетты — с охапкой волос цвета старого золота, точно закат над Арно.

Проплывала Изабелла, одетая, как при осаде Гранады. Но за спиной ее зеленели пальмовые рощи. Мчалась Бельтранша на буланом першероне. Из дымки времен проступало лицо Беатрис Араны, ожидающей своих палачей, сидя у бочки с пиявками.

И почти все при этом дремали, сонно клевали носом, потягивались и позевывали. Сколько символов! Тени женщин в черных мантильях — годы террора в Кастилии.

Воспоминания были вялыми, бледными: ни серьезных драм, ни крупных исторических событий. Два или три раза возникала Беатрис Бобадилья, огненная женщина. В полумраке спальни лежала иссиня-черная пантера с зелеными глазами.

Адмирал грезил и мечтал. И то была абсолютно новая форма воображения. Кожа Сибоней цвета корицы. Черные цветы на полянах в тропической сельве. Слухи о вероломстве Анакаоны.

Да, часы, проведенные Адмиралом в гамаке под Древом Жизни, не сотрясаются ни тревогами, ни желаниями.

А Лас Касас меж тем решил отправиться по пути, пройденному днями раньше Ульрихом Ницшем. Его толкал вперед порыв веры; желание открыть Бога в его невидимой сущности.

Он обнаружил мраморные врата и рядом много следов, бесспорно доказывающих, что Господь здесь побывал. Скажем, водный каскад, что падает на камни с оглушительным шумом в облаке сверкающих на солнце брызг,— радуга; семь цветов мироздания. Или броненосец с золотым пятном на спинке. Или змея, на затылке которой четко выведен христианский крест. Или гигантские бабочки — не менее дюжины,— окрашенные в цвета Ватикана.

Итак, прочь сомнения. Он нашел все, что искал. Именно так его и учили: ему был понятен лишь незримый, отсутствующий Бог. Присутствие Бога как раз доказывалось его величественным отсутствием, если выражаться с точностью, к которой так склонна церковь.

Лас Касас пал ниц, вознося хвалебные и благодарственные молитвы. И так, на коленях, прямо в грязи, под потоками проливного дождя простоял всю ночь. И конечно, промок до костей. Но внутреннее пламя, не затухавшее ни на минуту, согревало его и даже слегка сушило одежду. Он получил второе крещенье.

В глубине своей души услышал он молчание Божие, значительное и многомудрое.

На каменных развалинах были им обнаружены окаменевшие змеи. Видно, то был знак гнева Господня против злосчастного орудия соблазна. Нашел Лас Касас и огромную голову анаконды — тоже окаменелую.

Язык Божий, оставленные им меты. Здесь, в покинутом Раю, встречалось их больше, нежели в других частях сотворенного им мира. Даже самый нерадивый исследователь получил бы тут несокрушимые доказательства могущества Господней воли.

Лас Касас отправился в обратный путь. Он окончательно уверовал в свою пасторскую миссию. Теперь — за дело!

Он прошел мимо Древа Жизни, но задержался лишь на миг, чтобы забрать сутану — мятую и выцветшую от дождей. Сухо поздоровался с ландскнехтом Сведенборгом. Адмирал спал.

Смерть шла в наступление. Все изменилось в Кастилии. Скорбно пели колокола в Саламанке, Аревало, Сеговии и Мадриде. Их языки обернуты в черное сукно. Серый звон.

Сколько мрачных событий принесли последние годы! Из Индий пришла болезнь — сифилис. И бордели сразу забыли о средневековой беспечности. Постыдные гнойники и язвы. Из ганзейских городов стали ввозить сюда свинцовые порошки (те самые, что Франциск I рекомендовал Карлу V). Начало долгой эпохи — эпохи страха перед недугом, проклятия, нависшего над плотью. Эта эпоха переживет саму Инквизицию, и конец ей положит лишь изобретение пенициллина.

Несчастья сыпались на Фердинанда и Изабеллу. Умерла их первая дочь, королева Португалии, а также внук, дон Мигель. Другая дочь — Хуана, страдавшая душевным недугом, жена Филиппа Габсбурга,— совсем потеряла рассудок: полуголая вскарабкалась во время грозы на железные ворота в замке Медины дель Кампо и не желала спускаться вниз.

Умер Торквемада, в нем империя потеряла радетеля о коллективном покаянии и искуплении. Он прожил семьдесят пять лет и всегда был непреклонно жесток, борясь за Спасение. Однажды утром нашли в постели безжизненное, холодное тело, обильно покрытое высохшей в порошок спермой. Видно, ложившиеся один на другой слои семени — точно пленки слюды — сразу рассыпались пылью, как только исчезло жизненное тепло.

Пропал куда-то и запах французского писсуара, сопровождавший его всю жизнь. Некоторые католические хронисты, введенные в заблуждение отсутствием зловония, даже отважились написать, что «умер он в аромате святости».

Но главным несчастьем — и оно повергло всех в глубокую скорбь — была кончина принца Хуана, любимого сына и наследника престола. Ему едва исполнилось двадцать лет, и он только что вступил в брак. Умер хрупкий и удивительный принц Хуан, такой изысканный, воспитанный на высокой литературе, на идеалах праведной войны.

Изабеллу всегда пугала физическая слабость и болезненность сына, который не унаследовал от родителей их ангельской мощной силы, но она никогда не думала, что может он умереть такой смертью — от любви. Не сумев обуздать свою пылкую страсть к прекрасной Маргарите Австрийской. Он так ослаб, служа богам любви, что в последние месяцы жизни стал совсем беззащитен пред жестокой реальностью. Стоило ему встретиться взглядом с несчастным горбуном или невзрачной старой девой, как у него поднималась температура. А однажды на праздничном обеде он лишился чувств, когда тенор позволил себе сфальшивить.

И пока Изабелла ездила в Мединy дель Кампо, чтобы попытаться уговорить Хуану спуститься с ворот, Фердинанд получил известие о тяжелом состоянии принца и немедля отправился в путь.

Прибыв на место, он понял, что близость смерти переменила привычные роли: принц ощущал себя стариком, словно был собственным дедом — королем Хуаном. Он сказал Фердинанду:

— Отец мой, в жизни я знал лишь счастье, знал любовь и другие благие дары. Примем же покорно волю Божию.

Король молча плакал, пытаясь, как крестьянин, поглубже спрятать боль. Он целовал тонкую руку сына — изнуренного, укрощенного. И произнес:

— Возлюбленный сын мой, мужайтесь, раз решил Господь наш призвать вас к себе. Нет правителя выше его, и для вас уготовал он иные королевства и владения — гораздо большие, нежели те, что имели вы здесь или могли ожидать...

Той же ночью Педро Мартир записал: «С его смертью рассталась Испания со всякой надеждой».

Смерть близких навсегда сокрушила королеву. Все вокруг зашаталось. А она поспешила укрыться в крепости средневековой метафизики, откуда они с Фердинандом вырвались в горячие годы возрожденческих подвигов. Страстная вера в Рай Земной, в плоть человеческую, в праздник благого деяния разом угасла.

Когда Фердинанд сообщил ей самую горькую весть из тех, что когда-либо доводилось ей слышать, он мог лишь угадать, что она прошептала:

— Бог дал нам его, Бог нас его и лишил! Аминь!

Все, что успели когда-то сделать мятежные венценосные юнцы, потеряло смысл. Все разом рухнуло.

Кожа на лице Изабеллы как-то в один миг потускнела и сморщилась. К ночи началась у нее жестокая болезнь — ее непрестанно мучила жажда. И она отвернулась от мира, сразу оказавшись где-то далеко, за его пределами. Бродила в ледяном тумане, в отчаянии всматриваясь во мрак и пытаясь разглядеть — уже в обители умерших — лицо любимейшего сына, несравненного принца Хуана.

Королева покинула секту искателей Рая.

У короля Фердинанда чувство отчаяния сменилось жуткой обидой, точно стал он жертвой обмана или злой шутки. Истерзанный горем, склонился он к мысли, что над ними висит «проклятье Америки». И фигура Адмирала вдруг явилась ему символом зла.

Ища отвлечения, окунулся король в суету государственных дел.

В самом дурном настроении принялся разбирать бумаги по Индиям и выслушал все придворные сплетни и злые наветы. Ему сообщили о Декретах, о мятеже Ролдана, о тревоге церковных иерархов.

Да, не случайно видел он в Адмира́ле — всегда, с самого начала — лишь мистика-бунтаря, опаснейший тип человека.

Его привела в бешенство мысль о том, что по вине Колумба Новый Свет оказался почти что под запретом, плодородные земли были словно покрыты Господней мантией. Так бывает, когда владелец не возделывает свой сад, но и других туда не пускает.

В довершение всего Адмирал осмелился утверждать, будто обитатели вновь открытых краев были ангелами. Но ангелов не должно делать рабами и продавать! Надо вырвать эту идею с корнем! Фердинанд объявил их своими вассалами и велел окрестить. Именно так: вовсе они не ангелы Божии, но и испанские плебеи, которые уже начали дележ, не могут теперь обращать их себе в рабов.

Следующее решение Фердинанд принял без лишних проволочек: призвал командора Франсиско де Бобадилью и вручил ему приказ.

Да, в тот самый день, серый кастильский день, когда глухо гудели затянутые траурной тканью барабаны гвардейцев, а из молельни слышался шелест нескончаемых литаний, он подписал приказ об аресте Колумба и его сподвижников. То было 21 марта 1499 года.

Он покорился с кротостью. Всякий человек, перешагнувший порог Безбрежного, теряет способность страдать из-за суетных событий внешнего мира.

Полковник Ролдан ловко сумел подчинить своей власти командора Бобадилью, сделав вид, что слепо повинуется его приказам (несколько веков спустя тот же тактический прием использовал Гитлер с маршалом Гинденбургом). И охотно возглавил отряд, который отправился к Древу Жизни.

Адмирал встретил их появление без малейшего удивления. Солдаты окружили гамак. Им пришлось отгонять десятки невзрачных псов, которые казались соучастниками седовласого мужчины, дремавшего дни напролет.

— Ваша милость, вы арестованы по приказу короля,— объявил Бобадилья.

Солдаты принялись за дело. На Колумба натянули балахон францисканца, словно аркадийская его нагота и была главным из преступлений — являла собой покушение на общественное целомудрие.

Звон цепей и оков. Их притащили в ящике Кинтеросы и повар Эскобар. (В первые же дни революции падре Буиль великодушно передал в распоряжение Ролдана все орудия инквизиторского правосудия. С тех пор репрессии в Америке неизменно имеют привкус пыток, применяемых с самыми благими целями — ради спасения души жертвы или дабы изгнать из несчастного бесов.)

Адмирал спокойно сидел в гамаке, смотрел, как ударами молотка крепили кольца вокруг его лодыжек. Он удивился, что промахнулись они лишь один раз.

Путь к побережью был медленным и унизительным. Нотариус сделал должные записи о событиях и теперь попытался завести притворно непринужденный разговор с королевским инспектором, дабы заглушить звяканье цепей.

Были арестованы и Бартоломе, брат Адмирала, временно исполнявший обязанности его заместителя, и все «Колумбы»: сыровары, портные и ткачи, которые уже успели выдвинуться как в торговом деле, так и в промышленности.

Как хлыстом, ударило Адмирала по глазам, привыкшим к полумраку леса, яркое солнце побережья.

Он шел по главной улице, что со временем станет называться бульваром Колумба. Она вела к площади, где строили собор — пока еще из бревен, но его уже украшали плитами резного камня — фрагментами разрушенных пирамид и индейских храмов.

Итак, Адмирал шел по главной улице, и в лицо ему летели проклятия:

— Комариный адмирал!

— Обманщик! Проклятый иудей!

Но он был погружен в виденья иного мира и не мог уже осуждать их, не чувствуя ни гнева, ни смирения. Ни даже презрения.

Значит, пока он находился под Древом Жизни, принцип «дела» воцарился на новых землях. Гегельянские «мыслящие люди» выдвинулись вперед, уверенно заняли ключевые позиции. И все, все, даже его родственники, бросились грабить Рай!

А «ангелов» били, мучили, делили по усадьбам. Их осталось не так уж много. Кто покончил с собой, кто сгинул в колодцах шахт. Но главное, они были окончательно оторваны от души мира, где выросли как братья с пумами и папайями.

Колумб почувствовал нестерпимую боль.

— Человек разрушает то, что, по его же словам, любит более всего на свете,— прошептал он.

И еще: во время унизительного шествия он понял, что его цивилизованные соплеменники ничего не боялись так, как возврата к первозданной гармонии. Понял, что дьявол сбил их с пути и научил наслаждаться болью. Что они предпочли преисподнюю Небу, как, впрочем, почти все читатели Данте.

После короткой встряски Декретами вновь вернулись они к привычному угнетению ближнего, к с трудом добываемым радостям и потугам вырождения. И все чтобы найти свое место в мире искушений и мерзости. Это походило на игру, которую гарантировал им режим Ролдана.

По воскресеньям они очищались от недельной скверны. Скварчиалуппи и блестящий выводок итальянских священников твердили с амвона о райском блаженстве, учили непременно творить Добро.

Как успел заметить Адмирал, многие здания в поселке были каменной и даже кирпичной кладки. Он прочел многочисленные объявления и вывески: Банк Сантанхеля, Hawkins Ltd., Салон красоты «Болонья», Дворец Инквизиции (Semper Veritas), Агентство Кука, United Fruit Co, Постоялый двор «Кастилия», Прохладительные напитки Сагардуа.

То был самый обычный день. И никто не ждал внезапного нападения. Никто не ждал, что мятеж поднимут собаки.

Нашествие было безмолвным. Оно напоминало скорее пассивный протест, нежели разорительный набег. Виновниками события стали райские псы — возможно, еще тоскующие по Адаму, как полагали Адмирал и ландскнехт Сведенборг. Те самые псы, что не умели лаять и которых первые испанские хронисты чуть не лишили права принадлежать к собачьей породе. Хронисты отрицали наличие в них «собачьей сути», как выразился бы Хайдеггер, и описывали их как «род съедобных грызунов, что не лают, но пронзительно повизгивают, если получают удар». Но хронисты не ведали, что у псов были души (переселившиеся в них души умерших либо пропавших без вести хозяев) и могли они служить проводниками в мир Всеобщего. (Тольтеки относились к ним как к священным животным и даже включили в свой календарь. Всякая собака могла быть науалем, вместилищем несчастной человечьей души.) Теперь же собаки шевелящимся покрывалом спускались с холмов к поселку, не страшась ни надменных полицейских ищеек, лаявших во все горло, ни криков стражников, ни выстрелов аркебуз.

Они заполнили все побережье. Никого не кусали, даже детей. Не рычали. Только пускали струйки мочи везде, где могли: на стены домов, на мешки с товаром, на все, что стояло вертикально и неподвижно (даже на сапоги слепого ландскнехта Озберга, который не обратил внимания на крики людей).

Собаки были невзрачными, совсем незаметными. Но сейчас, когда их было так много, они превратились в одного большого и грозного зверя. Огромное и молчаливое чудище внушало панический страх.

Дьяволица велела покрепче запереть двери своего заведения и собрала девиц наверху, в салоне «Париж».

Крики, визг, мельканье шпаг. Беготня детей, которые обезумели от радости, узнав, что собаки не кусаются.

Псы оставались хозяевами города больше часа.

А ближе к вечеру решили отступить, уйти в лесную чащу. С той поры они объявили себя носителями идеи пассивного бунта. Поэтому и не стали прятаться в недоступных местах, как гордые ягуары, или искать укрытия в густых ветвях деревьев, как кецали и нежные орхидеи. Нет, они так и продолжали молча скитаться по полям и поселкам — от Мексики до Патагонии. Порой, чтобы утолить нестерпимый голод, нападали на стада коров или табуны лошадей (в вице-королевствах Рио де ла Плата и Новая Гранада ходит множество слухов об этих дерзких набегах, как-то псам удалось окружить даже военный форт, но уже в XX веке).

Вот так и носятся невзрачные существа, не записанные ни в один *Kennel Club* [1].

Меж тем отряд полицейских во главе с полковником Ролданом наконец добрался до берега.

Когда Адмирал шагнул в лодку, чтобы добраться до каравеллы, которой суждено доставить его в Испанию, он увидел на песке резной мрамор Врат. Цепочка невольников, стоящих по пояс в воде, грузила на судно каменные глыбы. Адмирал узнал среди них сына касика Гуайронекса и длинноволосого бунтовщика Мордехая, дорого заплатившего за свои свободолюбивые идеи.

Те, кто занимался демонтажом Врат, проставили на каждом куске углем соответствующий номер, теперь они отправлялись в брюссельский Католический университет, где уже был открыт музейный раздел «Археология Америндии».

Адмирал взглянул на изрядно поредевшую пальмовую рощу. Она первой поприветствовала его на этих землях. Увидел измученных невольников. Большие усы и портупею Ролдана. Понял, что Америка попала в руки солдатни и коррехидоров, словно королевский дворец, занятый вооружившимися лакеями.

Но так и не сдавшись, он прошептал:

— Purtroppo c'era il Paradiso [2].

Париж: Январь 1983.

[1] Лондонский клуб любителей-собаководов.

[2] И все-таки это был Рай. *(итал.)*

ЭДУАРДО ГАЛЕАНО

Первые голоса

МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ, ПРОРОЧЕСТВА

Перевод с испанского Ю. ВАННИКОВА

От переводчика

Открытие Нового света — одна из важнейших дат современной истории — отмечается в этом году. Пять столетий, прошедших с 1492 года, оказались тем сроком, который понадобился нам, чтобы осознать, что смысл этого события отнюдь не передается европоцентристским понятием открытия Америки, что правильнее трактовать его как встречу цивилизаций. Встреча цивилизаций ознаменовала начало нового этапа в формировании единой человеческой семьи — точнее — духовной общности народов. Вот почему сегодня так интересно и своевременно обращение к вкладу, внесенному в эту общность «доколумбовой» Америкой, духовный мир которой известен гораздо меньше, чем ее материальная культура и социальное устройство. «Первые голоса» Эдуардо Галеано — своеобразное художественное введение в этот мир.

«Первые голоса» — голоса древней Америки, дошедшие до нас сквозь толщу времен. Это истории особого рода. Они создавались не для того, чтобы развлечь или поразить слушателей. У них совсем другое назначение: понять и «освоить» окружающий мир, свою и чужую жизнь. Объяснить, как возникли земля и небо, откуда взялись люди и звери, почему грохочет гром и идет дождь, кто научил людей говорить и пользоваться огнем, почему мертвым нельзя жить среди живых. Словом, это — мифы. Мифы, которые доносят до нас сознание людей другой эпохи, когда человек еще не отделял себя от природы, когда он жил в другом мире, где огонь может разговаривать, луна есть маисовые лепешки, мужчина превращается в дерево, а женщина — в птицу... В сущности эти мифы — способ получения знаний, способ их хранения и передачи потомкам. И вместе с тем это поразительно поэтичные голоса, доносящие до нас свежесть мировосприятия и неповторимое мировидение древнейших обитателей Америки.

Эти голоса отобрал, пропустил сквозь «магический кристалл» и открыл для нас известный уругвайский писатель, историк и журналист Эдуардо Галеано.

Книги Галеано знают далеко за пределами американского континента, но особую известность принесла ему трилогия «Огонь воспоминаний». В ней писатель продолжает путешествие в глубь истории, используя при этом разные жанры — краткие очерки, эссе, портреты исторических деятелей, сцены народной жизни. Вся эта яркая мозаика складывается в грандиозное полотно, погружает читателя в огромный мир Америки, Америки от мыса Горн до Аляски, от доисторической эпохи до наших дней.

Сразу же после выхода в свет трилогия получила международное признание: «Ни на что не похожий оригинальный метод излагать историю»,— отметил критик Фриц Поле («Франкфуртер рундшау»). «Эта книга — коллективная память латиноамериканских народов»,— писал Марсель Нидерганг («Монд»). «Шедевр как в области исторической, так и в области художественной прозы»,— восторженно отозвался Дэн Бэллм («Сан-Франциско ревью оф букс»).

Трилогия «Огонь воспоминаний» — книга не одного народа, а целого континента, даже двух — Северной и Южной Америки, обитатели которых жили в разных природных условиях и находились на разных ступенях общественного развития. Напомним, что европейцы, открывшие для себя Америку в исторически недавнем прошлом, застали там и общества, вступившие уже в эпоху цивилизации, и примитивные племена, стоявшие на низших ступенях первобытнообщинного строя. Исторические часы показывали разное время. «Первые голоса», открывающие трилогию,— относительно самостоятельная часть. В этом собрании мифов, легенд и пророчеств Эдуардо Галеано попытался синтезировать общую для всей доколумбовой Америки картину мира. Она никогда не существовала раньше в таком виде, как целое, и вместе с тем она реально бытовала в своих частях, их предпосылках и связях. Вот почему в «Первых голосах» иногда оказываются рядом внешне неравноценные компоненты: грубая метафора соседствует с тонким наблюдением, остроумные гипотезы — с невнятной, темной картиной, похожей на тяжелое сновидение. Но эти контрасты неизбежны, поскольку неоднородна и противоречива была сама душа древней Америки, которую, в сущности, и воссоздает Эдуардо Галеано.

© Eduardo Galeano. Memoria del fuego. Los nacimientos. Ed. del Chanchito. Montevideo, 1990.

Творение

Женщине и мужчине снилось, что Бог видит их во сне. В том сне, который видел Бог, он пел, тряс маракасы, окутывался клубами табачного дыма; он был счастлив, но в то же время его одолевало сомнение и он страшился неизведанного — тайны.

Индейцы макиритаре знают, что когда Бог видит во сне еду, он наяву дает им плодородие и кормит их.

Женщине и мужчине снилось, что Богу в его сне является большое сверкающее яйцо. А внутри яйца — они сами, они поют и танцуют, они кричат и машут руками, потому что их обуревает желание родиться. Им снится, что во сне Бога радость пересиливает сомнение и страх тайны, и Бог создает их и говорит нараспев:

— Я разбиваю это яйцо и рождаю женщину, и рождаю мужчину. Они будут жить вместе и вместе умрут. Они умрут и родятся вновь. Они будут рождаться, умирать и снова рождаться. И никогда не прервется череда рождений, потому что смерти не существует.

Время

Время индейцев майя родилось и получило название, когда еще не существовало неба и не пробудилась земля.

Дни появлялись на востоке и оттуда отправлялись в путь.

Первый день извлек из своего нутра небо и землю.

Второй день сделал лестницу, по которой спускался дождь.

Третий сотворил морские приливы и отливы, смену погоды на земле и многое другое.

По воле четвертого дня земля и небо наклонились и коснулись друг друга.

Пятый день привел все в действие.

На шестой день вспыхнул первый свет.

В те места, где не было ничего, седьмой день насыпал земли. Восьмой — вонзил в землю руки и ноги.

Девятый день сотворил преисподнюю.

Десятый день определил, что преисподняя уготована тем, чьи души отравлены ненавистью.

Одиннадцатый день создал в недрах солнца камень и дерево.

Ветер был порожден на двенадцатый день. Ветер задул, и его назвали духом, потому что в нем не было смерти, он был живой.

Тринадцатый день смочил землю и вылепил из глины тело, подобное нашему.

Так вспоминают на Юкатане.

Солнце и луна

Первое солнце, солнце воды, смыл потоп. Все, кто обитал в том мире, превратились в рыб.

Второе солнце съели тигры.

Третье солнце разрушил огненный дождь, он сжег и людей.

Четвертое солнце, солнце ветра, было унесено бурей. Люди, жившие в то время, превратились в обезьян и разбежались по горам.

Собрались боги на Теотиуакане и стали думать.

— Кто возьмется зажигать зарю?

Властелин Улиток, известный своей красотой и силой, вышел вперед и сказал:

— Я буду солнцем.

— Кто еще?

Никто не откликнулся.

Все посмотрели на Малого Бога Сифилитика, самого уродливого и жалкого среди богов, и решили:

— Ты.

Властелин Улиток и Малый Бог Сифилитик удалились в горы, которые стали затем пирамидами солнца и луны. Там они постились и размышляли.

А потом боги набрали дров, разожгли огромный костер и позвали их.

Малый Бог Сифилитик разбежался и бросился в огонь. И тут же, раскаленный добела, вознесся на небо.

Властелин Улиток смотрел на костер и хмурил брови. Он то подходил ближе, то снова отходил и смотрел на огонь издалека. Несколько раз он обошел вокруг костра. Он никак не мог решиться, и его пришлось подтолкнуть. Он поднялся на небо с большим опозданием. Боги разгневались и отхлестали его по щекам кроликом, отчего лицо его сильно потускнело. Так заносчивый Властелин Улиток превратился в луну. А пятна на его лице — следы того наказания.

Солнце сияло, но не двигалось. Тогда обсидиановый ястреб подлетел к Малому Богу Сифилитику:

— Почему ты не ходишь?

И тот, жалкий, покрытый гноем, хромой и горбатый, ответил ему:

— Потому что я хочу крови и царства.

Это пятое солнце, солнце движения, светит тольтекам и светит ацтекам. У него когтистые лапы, и оно питается человеческими сердцами.

Облака

Облако уронило каплю дождя на спящую женщину. Через девять месяцев женщина родила близнецов.

Когда близнецы выросли, они захотели узнать, кто их отец.

— Завтра утром,— сказала женщина,— посмотрите на восток. Там вы увидите облако, похожее на башню.

Через всю землю прошли близнецы, потом поднялись на небеса и наконец добрались до своего отца.

Отец не поверил, что они его дети, и сказал им:

— Докажите.

Один из близнецов послал на землю молнию. Другой — гром. Но Облако еще сомневалось. Тогда близнецы вошли в море и вышли из него невредимыми.

После этого Облако освободило им место возле себя, и они остались на небе среди своих многочисленных братьев и племянников.

Ветер

Когда Бог создал первых индейцев вавеноков, у него на земле осталось немного лишней глины. Из этих остатков Глускабе сотворил сам себя.

— А ты кто такой? — с удивлением спросил Бог, увидев его с высоты.

— Я — чудо,— ответил Глускабе.— Я сам себя сделал.

Бог встал около него, обвел рукой вокруг, показывая на мир.

— Посмотри, что я создал,— сказал он строго.— А теперь, если ты и впрямь чудо, покажи, на что способен ты.

— Я могу создать ветер, если захочу.

И Глускабе дунул изо всех сил.

Ветер было зародился, но тут же умер.

— Я могу поднять ветер,— признался пристыженный Глускабе,— но не могу сделать так, чтобы он дул долго.

И тогда дунул Бог. Да так мощно, что Глускабе потерял все волосы и совсем лысый упал на землю.

Дождь

Однажды у больших озер на севере одна маленькая девочка вдруг обнаружила, что она живая. С удивлением она огляделась вокруг и пошла куда глаза глядят.

Вскоре она увидела следы охотников и дровосеков народности меномини, которые привели ее к большому бревенчатому дому. Там жили десять братьев — десять птиц грома. Братья-птицы предложили ей кров и пищу.

В одно злосчастное утро, когда девочка набирала воду из родника, ее схватила волосатая змея и унесла в глубокую горную пещеру. Жившие там змеи собрались было съесть девочку, но та запела.

Далеко-далеко от пещеры птицы грома услышали песню.

Они обрушили свои молнии на́ гору, убили змей и спасли девочку.

Птицы грома посадили ее на развилку дерева.

— Живи здесь,— сказали они.— Как только ты запоешь, мы прилетим к тебе.

Когда на дереве начинает петь зеленая лягушка — грохочет гром и на землю проливается дождь.

Радуга

Карлики подкараулили Йобуэнауабошку и отрезали ему голову.

Голова покатилась, подпрыгивая, и докатилась до земли, где жили кашинауа.

И хотя она научилась очень красиво подпрыгивать и поворачиваться, никто не хотел разговаривать с головой без туловища.

— Матушка, братья, земляки! — жалобно говорила голова.— Почему вы не признаете меня? Почему меня стыдитесь?

Чтобы убрать голову куда-нибудь подальше с глаз долой, мать предложила ей обратиться во что-нибудь, но голова не хотела превращаться в то, что уже существует. Стала она думать да гадать, чего еще нет на свете. Луны нет. Радуги нет.

Попросила голова семь клубков ниток разных цветов.

Прицелилась хорошенько и закинула клубки один за другим на небо. Клубки остались за облаками, а нитки плавно спустились оттуда до самой земли.

Перед тем как подняться на небо, голова предупредила:

— Кто меня не узнает, тот будет наказан. Когда увидите меня наверху, говорите: «Там в вышине наш прекрасный брат Йобуэнауабошка!»

Она сплела семь свисающих с неба нитей в одну веревку и вскарабкалась по ней на небо.

В ту ночь среди звезд впервые появилась белая плаха. Одна девочка взглянула наверх и с удивлением спросила: «А что это такое?»

И тут же красный попугай гуакамайо подлетел к ней и своим острым хвостом кольнул ее между ног. У девочки пошла кровь.

С тех пор у женщин бывают кровотечения по велению Луны.

А на следующее утро в небе засияла семицветная веревка.

Какой-то человек указал на нее пальцем:

— Смотрите, смотрите! Что это?

И тут же упал навзничь.

Так впервые на земле умер человек.

День

Ворон, который увенчивает теперь тотем племени хайда, был внуком великого божественного вождя, сотворившего мир.

Когда ворон стал плакать и просить луну, висевшую на бревенчатой стене дома, дед дал ему луну. Ворон закинул ее на небо через дымовую

дыру в потолке. И снова заплакал и стал требовать звезды. А когда ему дали звезды, он разбросал их вокруг луны.

После этого он так кричал, так хлопал крыльями и царапал пол когтями, что деду пришлось дать ему деревянную резную шкатулку, в которой хранился дневной свет. Когда дед, божественный вождь, создавал мир, он решил, что его творение будет существовать в вечных потемках. Вот почему он запретил выносить внуку шкатулку из дома.

Ворон играл со шкатулкой, а сам краем глаза следил за стражниками, карауливши ми ее.

Улучив время, когда стража отвлеклась, ворон со шкатулкой в клюве сбежал из дома. Вылетев через дымоход, он подпалил себе крылья, с тех пор они навсегда остались черными.

Долетев до островов у побережья Канады, ворон услышал голоса людей и попросил у них поесть. Люди ему отказали. Ворон пригрозил, что разобьет шкатулку.

— Если я выпущу на волю день, то небо никогда больше не потемнеет,— сказал он.— Никто не сможет спать, невозможно будет сохранить тайну, и все узнают, кто — люди, кто — птицы, а кто — лесные звери.

Но люди только смеялись. Тогда ворон разбил шкатулку, и в мире настал свет.

Ночь

Солнце светило не угасая, и индейцы кашинауа не могли спать.

Изнуренные постоянным светом, они попросили у мыши дать им ночь взаймы.

Наступила темнота, но мышиная ночь оказалась такой короткой, что им едва хватало времени покурить и поесть у костра. Не успевали они дойти до своих гамаков, как уже светало.

Тогда они одолжили ночь у тапира. В тапирову ночь они уснули глубоким сном и выспались вдосталь. А когда проснулись, увидели, что спали слишком долго: за это время сорняки успели спуститься с гор, удушить все их посадки и оплести дома.

Стали они снова искать ночь и попросили ее у броненосца. Они взяли ее на время, но так никогда ему и не вернули.

А броненосец, которого лишили ночи, спит теперь днем.

Звезды

Флейта помогает объясниться в любви, флейта возвещает о возвращении охотников. Звуками флейты индейцы ваиваи созывают гостей. Когда зовут индейцев тукано, флейта плачет, когда индейцев калина — разговаривает. Ведь флейта не труба, которая умеет только кричать.

На берегах Рио-Негро флейта утвердила власть мужчин. Священные флейты там прячут, и если их обнаружит какая-нибудь женщина, ее предают смерти.

В древние времена, когда священными флейтами владели женщины, мужчины носили дрова и воду и пекли хлеб из маниоки.

Рассказывают мужчины, будто вознегодовало солнце, видя, что миром правят женщины. И спустилось оно в сельву и оплодотворило невинную девушку, мазнув у нее между ног соком листьев. Так родился Хурупари.

Хурупари похитил священные флейты и вручил их мужчинам. Он научил мужчин прятать их и устраивать ритуальные праздники без женщин. И еще он открыл им тайны, которые те должны передавать своим сыновьям.

Когда мать Хурупари нашла тайник, где хранились священные флейты, он обрек ее на смерть, а кусочки ее тела превратил в небесные звезды.

Млечный путь

Червяк, длиной не больше мизинца, ел птичьи сердца. Его отец был лучшим охотником племени мосетенов.

Гусеница росла и скоро стала размером с руку. С каждым днем ей требовалось все больше сердец. Охотник ходил целый день по сельве, убивая птиц для своего сына.

Когда змей уже не умещался в хижине, в сельве не осталось птиц. Отец, меткая стрела, предложил сыну сердце ягуара. Змей пожирал сердца ягуаров и продолжал расти. Но вот в сельве не осталось больше и ягуаров.

— Хочу человеческого сердца,— сказал змей.

Охотник истребил всех людей в своей деревне, а потом и по всей округе. Но однажды жители отдаленной деревни подстерегли охотника и убили его.

Гонимый голодом и тоской, змей отправился на поиски отца.

Он обвил своим телом деревню, где жили убийцы, чтобы никто не смог убежать. Жители деревни пускали стрелы в огромное кольцо, отгородившее их от мира. А змей между тем все рос да рос.

Никому не удалось спастись. Змей нашел тело своего отца и стал подниматься вверх. Там мы его и видим сегодня: извиваясь, ощетинившись горящими стрелами, он ползет по ночному небу.

Светило

Мать, сутулая Луна, сказала дочери:

— Не знаю, где бродит твой отец. Найди его и передай весточку от меня.

И отправилась дочь искать своего отца среди самых ярких огней. Она не застала его в полдень, когда отец-солнце пьет вино и танцует со своими женщинами под звуки барабанов, не нашла его и ночью в дальнем краю неба, там, где страна мертвых. Ни в одном из четырех домов ей не удалось встретить солнце тарасков.

С тех пор звезда все ищет да ищет своего отца в небесах и никак не может найти его: то она приходит слишком рано, то слишком поздно.

Язык

Первый Отец индейцев гуарани возвысился в темноте, освещенный изнутри жаром своего сердца, и сотворил огонь и легкую дымку. Еще он создал любовь, но некому было отдать ее. Создал язык, но некому было слушать его.

Тогда он наказал божествам создать мир и позаботиться об огне, тумане, дожде и ветре. И обучил их священному гимну, который мог вдохнуть жизнь в новых женщин и мужчин.

Так любовь стала причащением, язык вобрал в себя жизнь, а Первый Отец освободился от одиночества. Теперь он среди людей, которые поют:

Мы шагаем по этой земле.
Мы шагаем по этой цветущей земле.

Огонь

Ночи стояли морозные, а боги унесли огонь. Холод сжимал тела и стискивал слова людей. Люди дрожали и хриплыми, сдавленными голосами просили богов сжалиться, но те оставались глухи к мольбам.

Наконец боги вернули огонь. Люди плясали от радости и пели благодарственные песни. Но вскоре боги наслали дождь и град, и костры опять погасли.

И тогда боги заговорили. Они сказали людям: чтобы заслужить огонь,

вы должны вскрыть себе грудь обсидиановыми ножами и отдать нам свои сердца.

Индейцы киче откупились кровью пленников и так спаслись от холода.

А какчикели не согласились на такую жертву. Какчикели, двоюродные братья индейцев киче и наследники майя, неслышно подкрались к огню, унесли его в свои горы и разожгли в пещерах костры.

Сельва

Отец индейцев уитото увидел во сне легкое сверкающее облачко. В нем можно было разглядеть заросли мхов и лишайников, расслышать свист ветра, крики птиц и шипение змей.

Отец сумел поймать облачко и оплести его нитью своего дыхания. Затем он извлек его из сна и смешал с землей. Потом плюнул несколько раз в эту смесь — она вспучилась, вспенилась и из нее появилась сельва. Деревья распахнули огромные кущи, покрылись цветами и плодами. Потом на этой влажной земле появились сверчок и обезьяна, тапир и кабан, броненосец и олень, ягуар и муравьед. Поднялись в воздух орел-беркут и красный ара гуакамайо, белоголовый сип и колибри, белая цапля и утка, гусь и летучая мышь.

Прилетела неугомонная оса. Оторвала хвосты у жаб и у людей и села отдохнуть.

Кедр

Первый Отец сотворил землю на кончике своего посоха и покрыл ее мягким пушком.

На этом пушке вырос кедр, священное дерево, в котором живет слово. И сказал тогда Первый Отец индейцам гуарани, чтобы они выкопали ствол этого дерева и слушали заключенное в нем слово. Ибо, сказал Первый Отец, тем, кто научится слушать кедр, этот ларец слов, станут ведомы места их будущих очагов. А кто не сумеет ничего услышать, тот превратится в никчемный прах.

Гуаякан

Одна девушка из деревни ниваклей пошла искать воду и по дороге встретила гуаякановое дерево Насук. Она почувствовала, что Насук зовет ее, крепко, всем телом, прижалась к твердому стволу и вонзила ногти в кору. Из дерева потекла кровь. Прощаясь, девушка сказала:

— Как я хотела бы, Насук, чтобы ты был человеком!

Гуаякан стал человеком и отправился искать девушку. А когда нашел, показал ей свою расцарапанную спину и лег около нее.

Цвета

Перья птиц и шкуры зверей раньше были белыми.

Но потом все, кто искупался в озере, в которое не впадает и из которого не вытекает ни одна река, стали голубыми. А те, кто окунулся в озеро крови, пролитой ребенком из племени кадьюэу, стали красными. Кто окунулся в грязь, имеют теперь цвет земли, а в цвет пепла окрасились те, кто искал тепла у потухших костров. Зелеными стали те, кто терся о листья. А все остальные остались белыми.

Любовь

В амазонской сельве первая женщина и первый мужчина с любопытством разглядывали друг друга. Их удивляло то, что они видели между ног.

— Тебе там отрезали? — спросил мужчина.

— Нет,— ответила женщина.— Всегда было так.

Он подошел ближе, чтобы получше все рассмотреть. В недоумении почесал голову. Перед ним была открытая рана. Наконец он сказал:

— Не ешь ни юкки, ни платанов и никаких других плодов, которые раскалываются, когда созревают. Я тебя вылечу. Ложись в гамак и отдыхай.

Женщина повиновалась. Она послушно глотала настои из трав и позволяла натирать себя мазями. Она еле удерживалась от смеха, когда он ей говорил:

— Ты только не беспокойся.

Игра ей нравилась, хотя она уже немного устала жить впроголодь и валяться целыми днями в гамаке.

Однажды вечером мужчина вернулся к ней бегом и, прыгая от радости, закричал:

— Я узнал! Узнал!

Он только что видел, как обезьяна-самец лечил на дереве свою подругу.

— Надо вот так,— сказал он, подходя к женщине.

Когда они разомкнули долгое объятие, воздух наполнился густым ароматом цветов и плодов. Два распростертых рядом тела были окутаны таким нежным испарением и таким мягким сиянием, что боги и светила, никогда не видевшие подобной красоты, замерли от смущения.

Море и реки

В сельве, где живут чокои, не было воды. Бог знал, что вода есть у муравья. Он попросил у него воды, но муравей не дал. Тогда бог сжал его туловище посредине так, что в этом месте оно навсегда осталось узким, и муравей отдал воду, которая хранилась у него в животе.

— А теперь скажи мне, где ты ее взял.

И муравей повел бога к дереву, которое на вид ничем не отличалось от остальных.

Четыре дня и четыре ночи работали лягушки и люди, они рубили дерево топором, но дерево все не падало. Его обвивала лиана, она и не давала ему повалиться на землю.

Бог приказал тукану:

— Перережь ее.

Тукан не смог перерезать лиану, и с тех пор он обречен глотать плоды целиком.

А красный ара гуакамайо перерезал лиану своим твердым и острым клювом.

Водное дерево рухнуло, его ствол превратился в море, а ветви — в реки.

Вся вода была тогда пресной. Но потом пришел Дьявол и разбросал пригоршнями соль.

Приливы и отливы

Раньше над островом Ванкувер непрерывно дули ветры. Не было ни хорошей погоды, ни отливов.

Люди решили покончить с ветрами.

Послали разведчиков. Зимний дрозд не дошел до дома ветров. Не дошла и сардина. И только неказистая чайка, хоть и были у нее переломаны лапки, смогла перехитрить ураганы, охранявшие подступы к дому ветров.

И вот послали люди туда рыбье войско, а повела их чайка. Рыбы бросились дружно на дверь. Ветры стали выбегать из дома, они наступали на рыб, скользили и падали один за другим на морскую лису. Та душила их хвостом и пожирала.

Западный ветер взяли живьем. Попав в плен к людям, он пообещал, что больше не будет дуть беспрерывно, что теперь только изредка будет веять легкий ветерок, а море будет отступать от берега два раза в день, и люди смогут собирать ракушки во время отлива. Его оставили в живых.

Западный ветер сдержал слово.

Снег

— Хочу, чтобы ты летал,— сказал хозяин своему дому, и дом полетел. Он летал до наступления темноты, свистя в воздухе, пока хозяин не сказал:

— Хочу, чтобы ты остановился тут.

И дом остановился, он повис в ночных сумерках среди падающего снега.

У хозяина не было китовой спермы, чтобы зажечь светильники, поэтому он схватил горсть снега, и снег стал светить ему.

Дом опустился в деревне иглуликов. Один из жителей подошел к дому и, увидев светильники с пылающим снегом, воскликнул:

— Снег горит!

Тут все светильники погасли.

Потоп

У подножья Андской кордильеры собрались вожди племен.

Они курили и совещались.

Дерево изобилия вознеслось выше крыши мира. Снизу было видно, как его ветви сгибаются под тяжестью плодов, они были увешаны ананасами, кокосовыми орехами, сочными аннона, маисом, юккой, фасолью...

Этими яствами наслаждались крысы и птицы. А люди не могли их достать. Лиса поднималась на дерево и пировала одна, не делясь с ними. Люди пытались вскарабкаться по стволу, но падали и разбивались.

— Что будем делать?

Один вождь попросил во сне топор. Когда он проснулся, в руке у него была жаба. Он ударил жабой об огромный ствол дерева, и у нее через рот вылетела печень.

— Сон был не в руку.

Другой вождь тоже видел сон. Во сне он просил Верховного Отца дать ему топор. Отец предупредил, что дерево отомстит, однако прислал вождю красного попугая.

Сжав в руке красного попугая, вождь ударил им о дерево изобилия. На землю хлынул такой дождь съедобных плодов, что земля оглохла от грохота. А потом взбаламутились реки и разразилась невиданная буря. Вода поднялась и затопила весь мир.

Из людей спасся только один человек. Он плыл и плыл, плыл дни и ночи, пока не ухватился за верхушку пальмы, выступавшую из воды.

Черепаха

Когда схлынули воды потопа, вся долина Оахаки была покрыта грязью.

Вдруг комок грязи ожил и пополз. Очень медленно ползла черепаха. Она вытягивала шею и таращила глаза на возрожденный солнцем мир.

В одном месте, где сильно воняло, черепаха увидела птицу ауру, пожирающую падаль.

— Подними меня на небо,— попросила черепаха.— Я хочу познакомиться с Богом.

Долго ей пришлось просить ауру. Та никак не могла оторваться от мертвечины, которая ей казалась очень вкусной. Черепаха всякий раз, когда просила ауру, высовывала из панциря голову и тут же втягивала ее обратно, потому что не могла перенести зловония.

— Ты, имеющая крылья, подними меня,— клянчила она.

И так надоела ауре, что та расправила широкие крылья и с черепахой на спине взлетела в небо.

Когда они пролетали сквозь тучи, черепаха опять втянула голову и пожаловалась:

— Как плохо ты пахнешь!

Аура притворилась, что не слышит.

— От тебя несет гнилью,— повторила черепаха.

Наконец птица потеряла терпение, ринулась вниз и сбросила черепаху на землю.

Бог спустился с неба, собрал осколки и склеил их.

Вот почему панцирь черепах состоит из кусочков.

Попугай

После потопа сельва стояла зеленая, но пустая. Человек, переживший потоп, пускал стрелы меж деревьев. Но кроме листьев и сумрачных теней там ничего не было.

Однажды вечером, когда после долгих и безуспешных поисков человек вернулся в свое убежище, он нашел там жареное мясо и лепешки из маниоки. То же случилось на следующий день и в другие дни. И он, умиравший недавно от голода и страдавший от одиночества, стал спрашивать себя, кого ему благодарить за помощь и участие. И вот на рассвете спрятался он около своего дома.

С неба слетели два попугая. Коснувшись земли, они превратились в женщин. Женщины развели костер и начали стряпать.

Человек выбрал себе ту, у которой были длинные волосы и пышные яркие перья. А другая улетела.

Потомки этой пары, индейцы майна, когда их жены ворчат и ленятся, проклинают своего прародителя. Говорят, что это он виноват, потому что выбрал себе никчемную жену. А вторая женщина стала прародительницей всех попугаев, обитающих в сельве.

Колибри

На рассвете он приветствует восход солнца. А когда солнце садится, он все еще трудится. Он перелетает с ветки на ветку, с цветка на цветок, быстрый и вездесущий, как свет. Он то зависает неподвижно в небе, то, не поворачиваясь, летит назад, как никто кроме него не умеет. А то кувыркается в воздухе, захмелев от изобилия нектара на венчиках цветов.

Он приносит послания богов, оборачивается молнией, чтобы исполнить насылаемое ими наказание, и нашептывает пророчества предсказателям. Когда умирает ребенок из племени гуарани, он спасает его душу, свернувшуюся в чашечке цветка: относит ее в своем тонком, длинном клюве в Страну, Где Нет Печали. Он знает туда дорогу от начала времени. Он существовал еще до того, как родился этот мир: он освежал уста Первого Отца каплями росы и утолял его голод нектарами цветов.

Он вел за собой тольтеков в их долгом пути к священному городу Тула, а потом принес солнечное тепло ацтекам.

Будучи предводителем чонталей, он кружил над стоянками врагов, оценивая их силы, и, сложив крылья, бросался вниз, неся смерть спящему вождю. И будучи солнцем индейцев кекчи, он летал к луне домой, заставал ее врасплох и любил ее.

У него тело размером с миндаль. Он родится из яйца не больше фасоли, в гнезде, которое помещается в скорлупе ореха. Приют для сна он находит под листом.

Урутау

«Я самая несчастная из дочерей»,— сказала дочь вождя Ньеамбью, когда отец запретил ей любить человека из вражеского племени.

Сказала так и убежала.

Спустя какое-то время ее нашли в горах Игуазу́. Ньеамбью смотрела на людей и не видела их, ее рот был нем, а сердце уснуло.

Вождь приказал позвать того, кто сможет разгадать тайную болезнь дочери и вылечить ее. Посмотреть на исцеление собралась вся деревня.

Шаман прошептал что-то над чашей с напитком йерба-матэ и вином из маниоки. Потом подошел к Ньеамбью и на ухо сказал ей неправду:

— Человек, которого ты любишь, только что умер.

От крика Ньеамбью индейцы превратились в плакучие ивы. А сама она обернулась птицей и улетела.

Жалобные стенания урутау, сотрясающие по ночам горы, слышны на расстоянии пол-лиги. Трудно увидеть урутау, птицу-призрак. И невозможно ее поймать. Никому не удавалось это.

Орнеро

Когда мальчик подрос и пришло ему время пройти три испытания, он и пробежал и проплыл лучше всех, и девять дней, не пошевелившись, не застонав, он пролежал на шкуре без еды и питья. И все это время откуда-то издалека он слышал голос женщины, которая пела для него, помогая вынести все испытания.

Вождь решил, что юноша должен жениться на его дочери, но тот взмыл вверх и полетел искать певшую ему женщину в леса у реки Парагвай.

И до сих пор орнеро живет там. Он бьет крыльями и радостно кричит, когда ему чудится голос той, которую он неустанно ищет, когда ему кажется, что она летит ему навстречу и никак не может долететь. Дожидаясь ее, он построил дом из глины, со входом, открытым легкому северному ветру в укрытом от молний месте.

Все уважают орнеро. А кто убьет его или разорит гнездо, тот разбудит бурю.

Ворон

Высохли озера, обнажились русла рек. Умирающие от жажды индейцы такельма послали ворона и ворону искать воду.

Ворон быстро устал и вернулся обратно. Он помочился в миску и сказал, что это вода из дальних краев.

А ворона летела себе да летела.

Спустя много времени она вернулась с чистой свежей водой и спасла от засухи народ такельма.

Ворон в наказание за обман был обречен каждое лето страдать от жажды: он даже не может смочить глотку, и поэтому, когда начинается жара, кричит таким хриплым голосом.

Кондор

Кауильяка сидела в тени дерева и ткала накидку, а над ней кружил Конирая, обернувшийся птицей. Девушка не обращала внимания на его кувырки и трели.

Конирая знал, что́ другие, более старые и более важные боги, тоже горят желанием заполучить Кауильяку. Но все-таки он сбросил ей свое семя в виде зрелого плода. Увидев у своих ног сочный спелый плод, девушка подняла его и надкусила. Она почувствовала несказанное наслаждение — такой вкусный был плод — и забеременела.

А потом Конирая превратился в человека — жалкого, оборванного и стал преследовать ее по всему Перу. Кауильяка с сыном за спиной бежала к морю, а по ее следам шел безутешный Конирая.

Конирая встретил вонючку и спросил его, не проходила ли здесь Кауильяка. Вонючка посмотрел на несчастного Конирая, на его окровавленные ноги и ответил: «Глупый ты, глупый! Разве ты не понимаешь, что тебе никогда не догнать ее».

И тогда Конирая проклял его:

— Ты будешь рыскать по ночам. И везде, где ты ступишь, останется зловонный запах. А когда ты подохнешь, никто не поднимет тебя с земли.

Кондор же, наоборот, ободрил Конирая: «Беги! — крикнул он ему.— Беги — и ты догонишь ее!» Конирая благословил кондора:

— Ты будешь летать повсюду, где только пожелаешь. И не будет ни на земле, ни на небе места, которого ты не сможешь достичь. Никто не доберется до твоего гнезда. Никогда не будет у тебя недостатка в еде. А кто тебя убьет, тот умрет сам.

Преодолев множество гор, Конирая вышел наконец на побережье. Но он опоздал.

Кауильяка и ее сын уже превратились в каменный остров посреди моря.

Ягуар

Ягуар взял лук и стрелы и отправился на охоту. Вдруг он увидел тень. Он хотел схватить ее, но не смог. Ягуар поднял голову. Хозяином тени был молодой Ботоке из племени кайапо́. Еле живо́й от голода, кайапо стоял на высоком камне.

У Ботоке уже не было сил двигаться, он едва мог говорить. Ягуар опустил лук и пригласил Ботоке в свой дом поесть жаркое из мяса. И хотя юноша не знал, что значит «жаркое», он принял приглашение и прыгнул на спину охотника.

— Ты привел чужого сына,— упрекнула ягуара жена.

— Теперь это мой сын,— сказал ягуар.

Ботоке первый раз в жизни увидел огонь. Он узнал, что такое каменная печь и впервые попробовал жареное мясо тапира и оленя. Он понял, что огонь светит и греет. Ягуар подарил ему лук и стрелы и научил обращаться с ними.

А потом Ботоке убил жену ягуара и сбежал.

Он бежал, охваченный страхом, и не останавливался, пока не достиг своей деревни. Там он рассказал обо всем, что с ним случилось, и открыл людям то, что узнал: новое оружие и жареное мясо. Индейцы кайапо решили завладеть огнем, и Ботоке повел их в далекий дом.

С тех пор ягуар ненавидит людей. От огня, которым он владел раньше, у него остался только отблеск, полыхающий в зрачках. На охоте он рассчитывает теперь только на свои клыки и когти, а мясо жертвы поедает сырым.

Медведь

Дневные звери и ночные звери собрались вместе, чтобы обсудить, что делать с солнцем, которое в те времена приходило и уходило, когда ему вздумается. Звери договорились разыграть, кто должен решить, когда солнцу всходить и когда заходить. Кому по жребию выпадет, тот и скажет, как должны чередоваться солнечный свет и темнота.

Когда они тянули жребий, солнцу захотелось посмотреть, чем они занимаются, и оно приблизилось к ним. Оно подошло так близко, что ночные звери бросились от него врассыпную. А медведь замешкался. В спешке он сунул правую ногу в левый мокасин, а левую — в правый. И так побежал, выворачивая лапы.

Индейцы команчи говорят, что именно с тех пор медведь стал косолапым.

Кайман

Солнце индейцев макуси было озабочено. С каждым днем оставалось все меньше рыбы в прудах.

Назначило солнце сторожем каймана. Но пруды все равно пустели.

Кайман, который и охранял, и воровал рыбу, плел всякие небылицы о грабителях-невидимках, но солнце ему больше не верило. Схватило мачете и посекло ему всю кожу.

Чтобы немного унять ярость солнца, кайман предложил ему в жены свою красавицу дочь.

— Приводи ее,— сказало солнце.

У каймана на самом деле не было никакой дочери, и он вырезал женщину из ствола дикой сливы.

— Вот она,— сказал он солнцу, а сам на всякий случай нырнул в воду и смотрел оттуда чуть-чуть высунув голову, как смотрит и по сей день.

А жизнь ему спас дятел. Не успело солнце спуститься с неба, как дятел подлетел к деревянной женщине и клюнул ее в низ живота. И женщина ожила и открылась, чтобы принять солнце.

Броненосец-тату́

У озера Титикака объявили большой праздник, и броненосец-тату, любивший делать все основательно, решил подготовиться к нему как следует и затмить всех своим нарядом.

Задолго до начала праздника он принялся ткать из тонкой шелковой нити узорную накидку, которая должна была всех поразить.

Лис, во все совавший свой нос, пристал к тату с вопросами:

— Что это ты засел за работу? Почему не гуляешь?

— Отстань, не отвлекай меня. Не видишь, я занят.

— А что ты делаешь?

Тату объяснил ему, что он задумал.

— Значит, ты готовишься к празднику, который будет сегодня вечером? — сказал лис, медленно выговаривая каждое слово.

— Как сегодня вечером?

У тату упало сердце. Он всегда был не очень силен в счете, особенно когда дело касалось времени.

— Ведь моя накидка еще не готова!

И пока лис шел себе дальше, посмеиваясь в усы, тату наспех закончил свою работу. Так как времени у него оставалось мало, он не успевал ткать все так же тщательно, как вначале. Ему пришлось использовать грубые нитки, и ткань растягивалась.

Вот почему у тату такая попонка: на шее плотная, а на спине редкая.

Кролик

Кролику хотелось подрасти.

Бог обещал исполнить его желание, если кролик принесет ему шкуру тигра, шкуру обезьяны, шкурку ящерицы и шкуру змеи.

Пошел кролик к тигру.

— Бог доверил мне одну тайну,— сказал он вполголоса.

Тигр захотел узнать эту тайну, и кролик открыл ему, что приближается ураган.

— Я спасусь, потому что я маленький. Я спрячусь в любую щелку. А что будешь делать ты? Ураган тебя не пощадит.

Крупная слеза блеснула на усах тигра.

— Но я знаю, как можно тебя спасти,— продолжил кролик.— Найдем дерево с крепким стволом, я привяжу тебя к нему за шею и за лапы, и никакой ураган тебе будет не страшен.

Поблагодарил его тигр и позволил привязать себя к дереву. А кролик убил его ударом дубинки и содрал шкуру.

Пошел кролик дальше в глубину леса по землям сапотеков.

Дошел он до дерева, на котором сидела обезьяна, и остановился под ним. Взял за лезвие нож и стал рукояткой бить себя по шее. И при каждом ударе хохотал. Насмеявшись вдоволь, положил нож на землю и ускакал.

Но ускакал недалеко, а спрятался за веткой дерева и стал наблюдать. Обезьяна сразу же спустилась с дерева, осмотрела вещь, которая так смешит, почесалась. Потом схватила нож и одним ударом отсекла себе голову.

Не хватало еще двух шкурок. Кролик позвал ящерицу поиграть в мяч. Но вместо мяча взял камень и ударил ящерицу по тому месту, где начинается хвост. Тут ей и пришел конец.

Завидев змею, кролик притворился спящим. Когда змея уже изогнулась, готовясь броситься на него, он вцепился ей когтями в глаза.

Пришел кролик на небо с четырьмя шкурами.

— А теперь сделай меня большим,— потребовал он у Бога.

Но Бог подумал: «Если он такой маленький сделал то, что сделал, то что же он натворит, когда станет большим? Если кролик станет большим, наверняка мне не быть Богом».

Кролик ждал. Бог подошел к нему, нежно погладил его по спине, а потом вдруг схватил за уши и швырнул на землю.

С тех пор у кролика длинные уши, короткие передние лапы, которыми он ударился о землю. И красные от страха глаза.

Змея

Сказал ей Бог:

— По реке проплывут три пироги. В двух из них будет сидеть смерть. Если ты угадаешь в каких, то вместо короткой у тебя будет долгая жизнь.

Змея пропустила первую пирогу, нагруженную корзинами с тухлым мясом. Пропустила она и вторую, полную людей. А когда проплывала третья, казавшаяся пустой, змея приветствовала ее.

Поэтому там, где живут индейцы шипайя, змея бессмертна.

А когда она старится, Бог дарует ей новую кожу.

Лягушка

В одной пещере на Гаити зародились индейцы таино.

Солнце ни на мгновенье не оставляло их в покое. Оно то и дело хватало их и превращало во что-нибудь. Ночных сторожей оно обращало в камень, рыбаков — в деревья, а тех, кто выходил собирать целебные травы, похищало по дороге и превращало в утренних птиц.

Одному мужчине удалось спастись от солнца. Убегая, он увел с собой всех женщин.

Песни лягушек Карибских островов похожи на смех, но произошли не из смеха. Эти лягушки — дети древних таино. Когда они кричат «тоа, тоа, тоа!» — они зовут своих матерей.

Летучая мышь

Давным-давно, когда время было совсем молодым, не было на свете более мерзкой твари, чем летучая мышь.

Летучая мышь поднялась на небо к Богу. Но она не сказала ему прямо:

— Мне надоело быть страшилищем. Дай мне разноцветное оперенье.

Нет. Она сказала:

— Дай мне, пожалуйста, перьев, я умираю от холода.

Бог не дал ей ни единого перышка.

— Пусть каждая птица даст тебе по перу,— решил он.

И вот летучая мышь получила белое перо от голубя, зеленое — от попугая, перо в радужных разводах — от колибри, розовое — от фламинго, красное — из хохолка птицы кардинал, голубое — со спины зимородка, коричневое, как земля, из крыла орла и желтое, как солнце, с груди тукана.

Вся яркая, пестрая носилась теперь летучая мышь между небом и землей. Там, где она пролетала, казалось, вспыхивала радуга, и все птицы замирали от восторга. А в деревнях индейцев сапотеков говорили, что настоящая радуга — это застывший след ее полета.

Летучая мышь возгордилась, она смотрела на всех свысока и разговаривала с презрением.

Тогда все птицы собрались и полетели к Богу.

— Летучая мышь насмехается над нами,— пожаловались они.— А кроме того, нам холодно без перьев, которые мы ей отдали.

На следующий день, когда летучая мышь, взлетая, взмахнула крыльями, перья дождем посыпались на землю, и она вдруг осталась совершенно голой.

С тех пор летучая мышь повсюду разыскивает их. Слепая, уродливая, она боится дневного света и прячется в пещерах и дуплах. И только когда наступает ночь, она молча летает туда и сюда, не останавливаясь ни на миг, потому что стыдится своего вида.

Комары

Много людей поумирало в деревне индейцев ноокта. И в каждом мертвом теле находили дырочку, через которую у них была выпита кровь.

Убийцей оказался мальчик, который научился убивать еще до того, как начал ходить. Он выслушал приговор с громким смехом. Его пронзали копьями, а он, смеясь, вынимал их из тела словно колючки.

— Я вас научу, как меня убить,— сказал мальчик.

И объяснил своим палачам, что его надо бросить в большой костер.

Индейцы так и сделали. А чтобы наказание было более жестоким, прах мальчика развеяли по ветру. Вот тогда и замелькали в воздухе первые комары.

Мед

Мед убежал от двух своих невесток. Несколько раз он выкидывал их из своего гамака.

Невестки шли за ним следом днем и ночью. Когда они смотрели на него, их рот наполнялся слюной. Но только во сне им удавалось дотронуться до него, лизнуть, съесть.

Однажды утром, купаясь, они вдруг увидели Мед на берегу реки. Они побежали к нему и забрызгали его водой. Мед намок и растворился.

Нелегко отыскать мед в заливе Пария. Надо с топором в руках залезть на дерево и расщепить ствол. Едят мед понемногу, с удовольствием и опаской, потому что мед иногда убивает.

Семена

Пачакамак, сын солнца, создал мужчину и женщину в песках Лурина. Есть там было нечего — и мужчина умер от голода.

Женщина искала себе пропитание. Когда она, нагнувшись, выкапывала корни, в нее вошло солнце, и у нее родился сын.

Пачакамак, охваченный ревностью, схватил новорожденного и изрубил его на куски. Но тут же раскаялся в том, что натворил. Испугавшись гнева своего отца-солнца, он разбросал куски по всему миру.

И вот из зубов убитого младенца проклюнулись ростки маиса, а из ребер и костей — ростки юкки. Его кровь напитала землю и сделала ее плодородной, а из частей тела, упавших в нее, выросли деревья, которые давали плоды и тень.

Так появилась пища для женщин и мужчин, родившихся на этом побережье, где никогда не бывает дождя.

Маис

Боги сделали первых майя-киче из глины. Но они просуществовали недолго. Они оказались нескрепкими, ломкими и развалились, так и не начав ходить.

Тогда боги попробовали сделать людей из дерева. Деревянные куклы двигались и говорили, но были сухими, в них не было ни крови, ни живой плоти, ни памяти, ни доброты. Они не умели разговаривать с богами, им было нечего сказать.

Тогда боги решили делать людей из маиса. Из белого и желтого маиса они вылепили мужчин и женщин.

Маисовые женщины и мужчины были подобны богам. Их взгляд охватывал всю землю.

Боги сгустили дымку и навсегда затуманили людям глаза, чтобы они не видели дальше горизонта.

Табак

Индейцы карири молили Деда, чтобы тот дал им попробовать мясо диких свиней, которых тогда еще не было на свете. Дед, творец мира, похитил маленьких детей в деревне карири и превратил их в диких свиней. А потом создал огромное дерево, чтобы они могли подняться по нему на небо.

Индейцы карири гнались за кабанчиками, карабкаясь по стволу дерева, перелезая с ветки на ветку, и наконец им удалось убить одного из них. Тогда Дед приказал муравьям подгрызть корни. Индейцы упали на землю и переломали себе кости. С тех пор у всех у нас кости сочлененные. Вот почему мы можем сгибать пальцы и ноги, наклонять туловище.

Карири подобрали поросят и устроили в деревне большой пир.

Они просили Деда спуститься с неба, где тот охранял детей, спасшихся от охоты, но Дед решил остаться там.

Вместо себя он послал карири табак, чтобы тот был на празднике с ними. Поэтому, когда индейцы курят, они разговаривают с Богом.

Йерба-матэ

Луна умирала от желания погулять по земле. Ей хотелось попробовать земных плодов, искупаться в реке.

Облака помогли ей спуститься. От заката солнца и до утренней зари они закрывали все небо, чтобы никто не увидел, что луны нет на месте.

На земле была прекрасная ночь. Луна бродила по сельве в верховьях Параны, вдыхала таинственные запахи, долго купалась в реке. Дважды ей помог старый землепашец. Первый раз он спас ей жизнь, отрубив голову ягуару, который уже готов был вонзить зубы в ее шею. Во второй раз, когда луна почувствовала голод, он привел ее в свой дом. «Вот все, что мы можем предложить тебе,— сказала жена старика.— Не погнушайся нашим скудным угощением»,— и она протянула Луне несколько маисовых лепешек.

На следующую ночь, гуляя по небу, луна разглядела дом своих друзей. Хижина старика стояла на поляне в глубине сельвы, вдали от деревень. Он жил со своей старухой и с дочкой, как в изгнании.

Луна увидела, что в их доме совсем не осталось еды, и поняла, что старуха отдала ей последние лепешки. Тогда она осветила поляну своим самым красивым светом и попросила облака пролить волшебный дождь.

Утром весь дом был окружен невиданными кустами. Это была йерба-матэ. Из темно-зеленой листвы тут и там выглядывали белые цветы.

Дочь старика стала бессмертной хозяйкой йерба-матэ. Она ходит по свету и предлагает ее листья людям. Йерба-матэ гонит сон, исправляет ленивых и роднит незнакомых.

Маниока

Никто не касался дочери вождя, но в ее чреве зародилась дочь.

Ее назвали Мани. Уже через несколько дней девочка начала бегать и разговаривать. Из самых далеких уголков сельвы приходили люди подивиться на чудесную Мани.

Мани ничем не болела, но когда ей исполнился год, она сказала: «Скоро я умру». И умерла.

Прошло немного времени, и на могиле Мани, которую ее мать поливала каждое утро, появился стебелек. Растение росло и крепло, потом покрылось цветами, на нем завязались и созрели плоды. Птицы, поклевав их, носились в воздухе как сумасшедшие, кружились, кувыркались и пели какие-то необычные песни.

И вот однажды раскрылась земля в том месте, где покоилась Мани. Подошел вождь, опустил руку в щель и вытащил оттуда большой сочный корень. Он растер его камнем, замесил тесто, раскатал и положил на огонь, испек для всех хлеб.

А корень этот назвали *мани-ока,* что значит «дом Мани». В землях у Амазонки и некоторых других местах ее называют мандиокой.

Картофель

Один касик с острова Чилоэ, где обитает много чаек, захотел любить так же, как любят боги.

Когда боги обнимались, земля начинала дрожать, а на море поднимались огромные волны. Все это знали, но никто не видел, как любят боги.

Касик решил подсмотреть, как это происходит, и поплыл на запретный остров.

Но там он увидел только огромного ящера с разинутой, полной пены пастью и длинным языком, с кончика которого стекал огонь.

Боги спрятали любопытного касика под землю́ и превратили его в съедобный плод. И в назидание другим любопытным покрыли его тело́ слепыми глазами.

Приготовление пищи

Одна женщина из племени ти́льмооков набрела в лесу на хижину, над которой поднимался дым. Ей захотелось посмотреть, что там такое, и она вошла внутрь.

Внутри хижины среди камней горел костер.

С потолка свешивалось несколько лососей. Один лосось упал ей на голову. Женщина подняла рыбу и повесила на прежнее место. Но лосось опять свалился на нее, и она снова повесила его.

Женщина бросила в огонь коренья, которые насобирала для еды. Но огонь сжег их в один миг. Женщина рассердилась и принялась колотить по очагу палкой. Она ударяла по нему с такой силой, что огонь чуть было не погас, но тут в хижину вошел хозяин и остановил ее.

Незнакомец сел около женщины и объяснил:

— Ты не умеешь обращаться с огнем. Когда ты колотила палкой по пламени и разбрасывала горящие головешки, огонь едва не ослепил тебя, потому что ты обошлась с ним несправедливо. Огонь съел твои корни, но он думал, что ты его угощаешь. И это огонь заставлял лососей падать тебе на голову, но совсем не для того, чтобы тебя обидеть, просто он хотел таким образом сказать, что ты можешь приготовить из них еду.

— Приготовить? А что это значит?

И тогда хозяин дома научил женщину разговаривать с огнем, поджаривать на угольях рыбу и наслаждаться едой.

Музыка

Пока дух Бопэ-хоку насвистывал песенку, маис быстро рос. Был он несравненной красоты, початки на нем были огромные с ровными — одно к одному — зернами.

Одна женщина собирала эти початки, но собирала неумело. Она грубо срывала их, роняла, ломала. Початки в отместку повредили ей руку. Женщина обвинила во всем Бопэ-хоку и прокляла его свист.

Тогда Бопэ-хоку сомкнул губы, и маис стал вянуть и сохнуть.

Никогда больше не раздавался тот веселый свист, который помогал маису расти, придавал ему красоту и крепость. И индейцы бороро с тех пор с большим трудом выращивают маис и собирают скудный урожай.

Духи разговаривают свистом. Когда ночью зажигаются звезды, духи свистом приветствуют их. Каждая звезда отвечает на какой-то один звук, этот звук — ее имя.

Смерть

Кумокумс, первый индеец племени модок, основал деревню на берегу реки. Медведям там вполне хватало места, чтобы спать, свернувшись клубком, а олени жаловались, что им очень холодно и не хватает травы.

Тогда Кумокумс построил другую деревню и решил жить половину года в одной и половину года в другой. Поэтому и год он разделил на две части: шесть лун — лето и шесть лун — зима. А одна луна, оставшаяся лишней, отводилась на переход из деревни в деревню.

И зажил он счастливой жизнью на две деревни, и стали модоки размножаться с удивительной быстротой, но те, кто умирал, не хотели уходить, и скоро их стало столько, что уже не хватало пищи на всех.

Тогда Кумокумс решил прогнать мертвых. Он знал, что вождь страны мертвых добрый человек и никому не откажет в гостеприимстве.

А вскоре у Кумокумса умерла дочь и тоже ушла из страны модоков, потому что ее отец приказал всем мертвым уходить.

Безутешный Кумокумс обратился за советом к гребенчатому дикобразу.

— Ведь ты сам так решил,— поразмыслив, сказал дикобраз,— и поэтому должен страдать, как все остальные.

Но Кумокумс отправился искать дочь в далекой стране мертвых.

— Твоя дочь теперь моя дочь,— сказал ему большой скелет, который был там вождем.— У нее теперь нет ни плоти, ни крови. Что она будет делать в твоей стране?

— Она моя дочь. Я люблю ее и живой и мертвой,— ответил Кумокумс.

Долго размышлял о его словах вождь страны мертвых. А затем сказал:

— Хорошо. Забирай ее.

И предупредил:

— Она пойдет позади тебя. Когда вы будете подходить к стране живых, ее кости начнут обрастать мясом. Но ты не должен оглядываться до самого конца пути. Такой у нас будет уговор. Нарушишь — пеняй на себя.

Кумокумс зашагал домой. Следом шла его дочь.

Четырежды он трогал ее за руку, становившуюся все более мягкой и теплой, и ни разу не обернулся назад. Но когда вдали зазеленели леса, он не выдержал и оглянулся. И в тот же миг к его ногам рухнула груда костей.

Воскрешение

По обычаю, мертвые через шесть дней возвращались в Перу. Там они выпивали стакан чичи и говорили:

— Теперь я вечен.

На свете стало слишком много людей. Землю засеивали даже на дне пропастей и на самом их краю, но еды для всех все равно не хватало.

В те времена в Хуарчири умер один человек.

На пятый день собралась вся община, чтобы встретить его. Ждали с утра и до поздней ночи. Остыли горячие блюда, сон смежил веки ожидавших. Мертвый так и не пришел.

Он появился только на следующий день. Все были в ярости. А одна женщина, совсем потерявшая рассудок от злости, крикнула:

— Бездельник! Лентяй! Все мертвые приходят вовремя, а ты?

Воскресший бормотал какие-то оправдания, но женщина не слушала его, она схватила початок маиса, запустила им в голову провинившегося и ушла, оставив его лежать распростертым на земле.

Душа того человека вылетела из тела подобно гудящей мухе и навсегда умчалась прочь.

С тех пор мертвые больше не возвращаются к живым, не смешиваются с живыми и не притрагиваются к их пище.

Магия

Одна древняя старуха из племени тукунов наказывала девушек, которые не хотели кормить ее. По ночам она вытаскивала у них из ног кости и выпивала костный мозг. После этого девушки уже никогда не могли ходить.

Еще в детстве, когда она была совсем маленькой, одна лягушка научила ее помогать и вредить людям. Лягушка научила ее лечить и убивать, слышать неслышимые голоса и видеть невидимые цвета. Она научилась нападать и защищаться, когда еще не умела говорить, она еще не ходила, а уже могла попасть туда, куда захочет, потому что лучи любви и ненависти в одно мгновение переносили ее через густые леса и глубокие реки.

Когда индейцы тукуны перерезали ей горло, она собрала в ладони свою кровь, выплеснула ее в сторону солнца и крикнула:

— Душа тоже идет к тебе!

С тех пор если человек убивает кого-нибудь, то вместе с телом своей жертвы он получает и ее душу.

Смех

Летучая мышь, которая висела вниз головой, зацепившись лапами за ветку, увидела воина кайапо, наклонившегося над источником.

Ей захотелось подружиться с ним.

Она отцепилась от ветки, упала на воина и обняла его. Так как она не знала языка кайапо, она объяснялась знаками — с помощью рук. Щекотания летучей мыши вызвали у воина приступы смеха. Чем больше он смеялся, тем больше слабел. В конце концов он совсем обессилел, в глазах у него помутилось, и он рухнул на землю.

В деревне, когда узнали об этом, все пришли в ярость. Воины подожгли большую кучу сухих листьев в пещере, где жили летучие мыши, и закрыли в нее вход.

Потом они долго обсуждали этот случай. И решили, что впредь смеяться будут только женщины и дети.

Страх

Эти странные, невиданные существа приглашали к себе в дом мужчин племени ниваклей, но те не осмеливались войти. Они уже видели, как эти женщины едят: глотали куски рыбы верхним ртом, но до этого разжевывали их нижним ртом. Между ног у них были зубы.

Мужчины сами пригласили женщин к себе, они разожгли костры и стали петь и плясать.

Женщины сидели вокруг, скрестив ноги.

Мужчины пели и плясали всю ночь. Они извивались, как змеи, и летали, как птицы.

Когда рассвело, они повалились от усталости на землю. Женщины бережно их поднимали и поили водой.

А там, где женщины сидели, на земле остались зубы.

Власть

В отдаленные времена женщины сидели на носу каноэ, а мужчины — на корме. И не мужчины, а женщины охотились и ловили рыбу. Они уходили из деревень и возвращались когда им вздумается. Мужчины же строили хижины, готовили пищу, поддерживали в очагах огонь, чтобы не замерзнуть холодной ночью, растили детей и дубили кожи для одежды.

Такой жизнью жили индейцы она и яганы на Огненной Земле, и жили они так до тех пор, пока в один прекрасный день мужчины не убили всех женщин и не сняли с них страшные маски, которые те носили, чтобы мы их боялись.

Они оставили в живых только недавно родившихся девочек. Воспитывая их, убийцы постоянно повторяли, что назначение женщин — служить мужчинам. Девочки им поверили. Верят и их дочери и дочери их дочерей.

Могущество

В землях, где зарождается река Хуруа, жил Мескино, хозяин маиса. Он давал только жареные зерна, чтобы никто не мог их посеять.

Но одной ящерице удалось украсть у него сырое зерно. Мескино поймал ящерицу, разодрал ей рот и пальцы на руках и ногах, но она спрятала зерно за последним зубом. А потом выплюнула это зерно на общую землю. Но навсегда остались у нее большой рот и длинные пальцы.

Мескино был также хозяином огня. Однажды прилетел к нему попугай и принялся плакать навзрыд. Мескино швырял в него всем, что подвернется под руку, но попугай ловко увертывался. А когда Мескино запустил в него горящую головешку, попугай схватил ее своим огромным, как у пеликана, клювом и полетел прочь. Он летел, оставляя за собой огненный след из ярких искр. На ветру головешка разгорелась, вспыхнувший огонь обжигал попугаю клюв, но он долетел до леса раньше, чем Мескино спохватился, ударил в свой барабан и напустил проливной дождь.

Попугай успел спрятать горящую головешку в дупло дерева, а сам кружил под струями ливня. Вода погасила огонь, уже занимавшийся на его перьях. Клюв же у него навсегда остался коротким и крючковатым с белой отметиной от ожога.

Другие птицы защитили своими телами украденный огонь.

Война

На рассвете долетевшие с горы звуки рога возвестили, что настал час стрел и духовых трубок.

А когда спустилась ночь, от деревни остался лишь пепел.

Один человек затаился среди мертвых. Он намазал свое тело кровью и притворился убитым. Это был последний оставшийся в живых палавийанг.

Когда враги ушли, он поднялся и огляделся вокруг. Деревни больше не существовало. Он ходил среди мертвых соплеменников, с которыми еще недавно делил голод и пищу. Искал хоть кого-нибудь, кто остался в живых, но безуспешно. Мертвая тишина оглушала. От запаха дыма и крови кружилась голова.

Он почувствовал отвращение к жизни. Он вернулся к своим мертвецам и лег среди них.

С первыми лучами солнца прилетели грифы и кондоры. Однако он ни на что не обращал внимания и желал только смерти.

Но тут Дочь кондора проложила себе дорогу среди огромных птиц, круживших над мертвыми, мощно взмахнула крылами и ринулась вниз.

Человек успел ухватить ее за лапы, и она унесла его далеко-далеко.

Праздник

Один эскимос с луком в руках гнался за оленем, когда его неожиданно окликнул орел:

— Я убил твоих братьев и убью тебя,— сказал орел.— Если хочешь спастись, устрой в своей деревне большой праздник. Чтобы все плясали и пели.

— Праздник? — удивился эскимос.— Что это значит? И что значит петь и плясать?

— Идем со мной.

Орел привел его на свой праздник. Там было много гостей, вдоволь еды и питья. И барабан бил громко, как сердце старой орлицы, с волнением следившей за сыновьями из своего дома, прилепившегося среди снегов и льдов на самой вершине горы. Волки, лисы и другие гости плясали и пели до зари.

Охотник вернулся в свою деревню.

А много времени спустя он узнал, что старая орлица, как и все старики из рода орлов, отличается быстротой и силой. Люди, которые в конце концов научились петь и плясать, благодарили на своих праздниках орлов, их благодарность приносила орлам радость и согревала им кровь.

Угрызение

Когда спадали воды Ориноко, на пирогах приплывали карибы, вооруженные боевыми топорами.

Никто не мог остановить сыновей ягуара. Они стирали с лица земли деревни и вырезали флейты из костей своих жертв.

Они никого не боялись. Только призрак, порожденный их собственными сердцами, наводил на них ужас.

Он подкарауливал их, спрятавшись за ствол дерева. Он ломал мостки, по которым они проходили, натягивал на их пути лианы, чтобы они споткнулись. Он ходил по ночам и, чтобы обмануть карибов, всегда шел

к ним спиной. Он был в камне, который скатывался с горы, в болотной кочке, которая расступалась под ногой, в листе ядовитого дерева, в укусе паука. Он дул, опрокидывая их навзничь, насылал через уши лихорадку, похищал у них тень.

Он не был болью, но насылал болезнь. Не был смертью, но убивал. Его звали Канайма, и он родился среди победителей, чтобы мстить за побежденных.

Священный город

Виракоча разогнал облака и повелел солнцу прислать на землю сына и дочь, чтобы они освещали дорогу слепым.

Дети солнца спустились на землю на берегу озера Титикака и отправились в путь по ущельям кордильер. У них был большой жезл. В том месте, где жезл уйдет в землю с первого удара, они должны были основать новое царство и править, как их отец, который одаряет всех светом и теплом, проливает дожди, опрыскивает землю росой, поднимает колосья с зерном, умножает стада и не упускает ни одного дня, чтобы посетить наш мир.

Тут и там пытались дети солнца воткнуть в землю свой золотой посох, но земля не принимала его, и они шли дальше.

Они поднимались на высокие горы, переправлялись через бурные потоки, пересекали широкие равнины. И где ни ступала их нога, все преображалось: высохшие земли становились плодородными, болота высыхали, разлившиеся реки возвращались в свои русла. Утром их сопровождали дикие гуси, а по вечерам — кондоры.

И наконец, недалеко от горы Ванакаури детям солнца удалось вонзить посох в землю. Как только земля его приняла, в небе вспыхнула радуга.

И тогда первый инка сказал своей сестре:

— *Созовем народ.*

Между кордильерами и высокогорной равниной пролегала заросшая кустарником долина. Там жили люди. Домов у них не было. Они ютились в землянках, устраивали убежища среди камней. Они питались кореньями, не умели делать ткани ни из хлопка, ни из шерсти, чтобы защититься от холода.

Все они пришли на зов первых инков. Все уверовали в них. Сила их слов и блеск глаз убедили людей, что дети солнца не лгут, и люди пошли за ними туда, где их ожидал еще не родившийся великий город Куско.

Пришельцы

Майя-киче пришли с востока.

Когда они вступили на новую землю, неся за плечами своих богов, их охватил страх, что они никогда больше не увидят рассвета. Они оставили свою радость в родном Тулане и единым духом прошли длинный и тяжелый путь. Теперь они стояли на краю леса Ицмачи — все как один, и никто не присел, не прилег отдохнуть — стояли и ждали. Но время шло, а темнота не рассеивалась.

И вот, наконец, на небе показалось светило.

Киче обнимались и плясали, а потом в священной книге сказано было так: *солнце встало, как человек.*

С того времени на исходе каждой ночи киче стоя приветствуют восход солнца. Когда оно показывается над краем земли, они говорят:

— Мы пришли оттуда.

Земля обетованная

Невыспавшиеся, нагие, жалкие, они шли день и ночь, шли уже больше двух веков. Они искали землю, простирающуюся между тростником и осокой.

Не раз они теряли дорогу, разбредались и снова собирались вместе. Ветер валил их с ног, тогда они связывались веревками и тащили друг друга, подгоняя, подталкивая, помогая; они падали от голода, поднимались, снова падали и снова вставали. Когда они шли через страну вулканов, где не растет даже трава, они питались мясом ящериц и змей.

Они несли с собой покрывала бога, с которым разговаривали во сне их священники; бог обещал им царство золота и перьев кетцалькоатля: *Да покорятся вам все селенья и города той земли от моря и до моря,*—говорил им бог.— *И свершится это не силой колдовства, но силой вашего духа и крепостью ваших рук.*

Когда, наконец, под полуденным солнцем блеснули воды лагуны, ацтеки заплакали; такое случилось с ними впервые. Впереди лежал маленький глинистый остров, покрытый с одной стороны осокой, а с другой — тростником; над кактусом-нопалем простирал свои крылья орел.

Увидев приближающихся ацтеков, орел смиренно склонил голову. Эти грязные и дрожащие люди, высыпавшие на берег лагуны, были избранниками, это они в давние времена родились изо рта богов.

Их приветствовал Уитцильопочтли:

— Здесь вы обретете отдохновение и величие,— звучал его голос.— Повелеваю вам назвать именем Теночтитлан город, который будет господствовать над всеми. Да будет здесь Мексика.

Предостережения

Тот, кто создал луну и солнце, предостерегал индейцев таино, чтобы они опасались мертвых.

Днем мертвецы прятались и ели гуайяву, а по ночам выходили прогуляться и всячески вредили живым. Мертвые мужчины затевали с живыми драки, а мертвые женщины крутили с живыми любовь. Во время стычки мертвец неожиданно исчезал, и в разгар любовного поединка любовник тоже вдруг оставался в одиночестве, обнимая пустоту. Вот почему прежде чем вступить с кем-нибудь в бой или сблизиться с женщиной, надо коснуться рукой их живота, тогда все станет ясно: ведь у мертвецов нет пупка.

Хозяин неба предостерегал также индейцев таино, чтобы пуще всего они опасались людей в одежде.

Вождь Каисиу постился неделю, и ему было дано услышать голос свыше: *«Недолго вам наслаждаться жизнью,*— возвестил невидимый, тот, кто имел мать, но не имел начала.— *Придут люди в одеждах, они покорят вас и будут вас убивать».*

Паутина

Бебеагуа, священник из племени сиу, увидел во сне, что какие-то неведомые существа опутывают паутиной его деревню. Он проснулся, зная, что сон сбудется, и сказал своим людям: *Когда эти странные создания закончат ткать паутину, мы окажемся запертыми в серых квадратных домах и умрем в них от голода.*

Пророк

Распростершись на циновке, обратив лицо вверх, священник-ягуар Юкатана слушал послание богов. Боги сидели на крыше его дома и говорили с ним на языке, которого никто не понимал.

Чилам-Балам, вестник богов, предрекал:

— *И рассеяны будут по лицу земли поющие женщины и поющие мужчины — все, кто поет. Никто не избегнет, никто не спасется... Много нищих будет в царстве алчности... Людям суждено будет стать рабами... Опечалится лик солнца... Мир опустеет, станет ничтожным и жалким.*

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Три стихотворения

Перевод с испанского **БОРИСА ДУБИНА**

К Испании

Неподвластная символам,
неподвластная помпе и праху празднеств,
неподвластная куцему зренью филологов,
находящих в истории нищего дворянина,
который грезил о Дон Кихоте и стал им в конце концов,
не веселость и дружелюбье,
а гербарий старинных форм и собрание поговорок,—
ты, молчащая наша Испания, в каждом из нас.
Испания диких быков, обреченных рухнуть
под топором и пулей
на закатных лугах где-нибудь в Монтане,
Испания, где Улисс спускался в царство Гадéса [1],
Испания кельтов, иберов, карфагенян и Рима,
Испания твердых вестготов,
питомцев Севера,
по складам разобравших и перезабывших Писанье Ульфилы [2],
пастуха народов,
Испания магометанина и каббалиста,
Испания «Темной ночи» [3],
Испания инквизиторов,
несших свой крест палача
и только поэтому не оказавшихся жертвами,
Испания той пятивековой авантюры [4],
что открыла моря, стерла кровавые царства
и продолжается здесь, в аргентинской столице,
этим июльским утром шестьдесят четвертого года,
Испания дикой, обрывающей струны,
а не нашей тихони гитары,
Испания двориков и балконов,
Испания стесанных верой камней в пещерах и храмах,
Испания братьев по чести и дружелюбью,
храбрецов без расчета,—
мы можем увлечься другими,
можем забыть тебя, как забываем себя вчерашних,
потому что ты неразрывна с нами,
с потайными пристрастьями крови,
со всеми Суаресами и Асеведо моей родословной,
Испания, мать потоков, клинков и бесчисленных поколений,
неистощимый родник, единственная судьба.

---

[1] По одной из легенд, вход в царство мертвых *(др.-греч.* Гадес) был на месте испанского города Кадис; Борхес, как обычно, свободно соединяет греческий Гадес с латинским именем Одиссея — Улисс. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Ульфила (IV в.) — первый распространитель христианства среди германских племен, переводчик Библии.

[3] Название трактата испанского мистика Сан-Хуана де ла Круса (1542—1591).

[4] Имеется в виду открытие Америки, для Борхеса длящееся и поныне.

Элегия о родине [1]

Восход поблескивал стальным чеканом.
Его ковали хутора, пустыни,
пять-шесть семейств и — в прошлом и поныне —
недвижный мир в покое первозданном.
Потом война с захватчиками. Длинный
реестр геройства и великолепья.
История, сорвавшаяся с цепи,
всем став для всех на краткий миг единый.
Растраченное попусту наследье,
высокий цоколь, праздничные даты,
высокий слог, декреты и дебаты,
столетья и полуторастолетья,—
лишь уголек, подернутый лиловой
золою, отсвет пламени былого.

1972

Боясь, что предстоящее (теперь —
Исчерпанное) изойдет аркадой
Напрасных, убывающих и смутных
Зеркал, приумножением сует,
Я, в полутьме, почти что засыпая,
Молил неведомых богов наполнить
Хоть чем-то или кем-нибудь мой век.
Сбылось. Мне послана Отчизна. Деды
И прадеды служили ей изгнаньем,
Нуждою, голодовками, боями,
Но снова блещет дивная гроза [2].
Я — не из сонма пращуров, достойных
Строки, переживающей века.
Я слеп, и мне уже восьмой десяток.
Я не Франсиско Борхес, уругваец,
Который пал, приняв две пули в грудь,
И отходил среди людских агоний
В кровавом и смердящем лазарете [3].
Но Родина, испошлена вконец,
Велит, чтоб темное перо всезнайки,
Поднаторев в ученых исхищреньях
И непривычное к трудам клинка,
Вобрало зычный рокот эпопеи,
Воздвигнув край мой. Время — исполнять.

---

[1] Стихотворение написано в год стопятидесятилетнего юбилея Федеративной Республики Аргентины (1826). Официальный национализм всегда вызывал у Борхеса холодное презрение (см. ниже — «Родина, испошлена вконец»), и главным событием прошлого — вслед за войной против испанского владычества — для поэта остается крушение многолетней диктатуры Хуана Мануэля де Росаса (исторический прототип борхесовского современника, диктатора Перона), когда в 1852 г. страна восстала и история «на миг» оказалась «всем для всех» (слова из Первого послания к Коринфянам, 9, 22).

[2] Речь идет о массовых волнениях и вооруженных схватках с диктаторскими режимами в Аргентине 1969—1972 гг., завершившихся демократическими выборами 1973 г.

[3] Дед поэта, полковник, родом из Уругвая, погиб в ходе гражданской войны в бою под Ла Верде (1874).

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ

Франц Ф

РАССКАЗ

Перевод с английского В. БОШНЯКА

Он жил на Элдерберри-стрит, на западной окраине Бостона, в квартире, где была прежде лавка,— витрина, клетушка позади, вода только холодная. В подвале кто-то непрерывно гнал вино, и специфические ароматы проникали между досок пола. В темной кухоньке царило запустение, а когда Франц включал свет, полчища тараканов суетливо разбегались из раковины и исчезали в стене.

В комнате — что побольше — имелась встроенная кушетка, на которой Франц спал. По стенам несколько полок с книгами, а в дальней комнатке — еще кровать. От взглядов с улицы жилище отделяли бамбуковые шторы. На полу — широкий шерстяной ковер. Форпост одиночества. Если бы не шумные скандалы в остальных квартирах дома, а иногда на улице — по обе стороны.

Когда сна не было, Франц в шесть утра становился в дверях, в тени проема, послушать, как там и сям срываются будильники, печально испуская звон в распахнутые окна. Потом под душ, и в восемь пятьдесят — по будням ежедневно,— заправив портфель бумагами, себя овсянкой, он отбывал.

Элдерберри-стрит узка: два-три несоразмерных дерева, перегибаясь, суются ветками в проходы между домами. Цены пустующих квартир на оконных стеклах выписаны мылом. Несколько домов рухнули, и пустыри на их местах превращены в автостоянки. Франц Ф спускается к реке, мотая впереди себя портфелем, свободная рука снует вокруг лица, воюя с мухами, взмывающими цветистым роем с куч мусора при его приближении. У реки ветерок, сверкание воды и утренняя зелень.

Иногда он сзади обходил больницу, мимо красной кирпичной стены с темной громадой двустворчатых ворот. Если они бывали открыты, у крыльца дожидалась пустая каталка. Случалось, оттуда выползал черный фургон похоронного бюро, и служащий, шагая впереди, на узкой улице перекрывал движение. Выше ворот были большие окна, в которые Франц мог заглянуть с противоположной стороны дороги. Полки по стенам огромной комнаты, ряды бутылочек и склянок. Вот, значит, где все будем.

Больница простиралась до самой реки. Но тут уже была травка, деревья, высокие балконы корпусов и окна со шторами. Сидит кто-нибудь в кресле с высокими колесами, читает. У этого входа всегда стояло несколько длинных дорогих автомобилей. Выглядит ободряюще. Внутри сверкающая стойка регистратуры в освещенном холле. Тут престарелым дамам в мехах и с палочками помогают осилить крыльцо их личные шоферы.

В самый жаркий полдень здесь у реки всегда свежо. Молоденькие клены простирают ветви над дорожками. Вечерами корпуса фабрики на той стороне ярко сияют неоновыми огнями, мерцая и колыхаясь. По субботам и воскресеньям на реку выходят яхты. Белые бабочки-однокрылки.

За больницей была тюрьма. Решить, где оказаться лучше — в больнице или в тюрьме,— всегда непросто. Поразмыслив над этой проблемой всерьез, Франц выбрал тюрьму. От нее, по крайней мере, ближе к реке и рукой подать до станции метро. Коли уж стену как-то одолеешь, окажешься поблизости от городского транспорта. Мысль утешительная.

На ступеньках станционной платформы Франц — четкий черный силуэт, закованный в одиночество и викторианский костюм. В поезде он всегда уступит место женщине, сам себе подтверждая: все в мире как надо, все в порядке. Путешествовали чаще всего долговязые девицы с лошадиными лицами: они закидывали ногу на ногу, щедро щеголяя костлявыми коленками, на которые клали книжки. Если до работы оставалось время, Франц заходил выпить кофе на Гарвард-сквер. В эту лучшую пору дня, когда корпуса колледжей пробуждаются. От летнего хлопанья об асфальт голубых шлепанцев. Контраст поразительный — после тесной полутьмы Элдерберри-стрит — эти просторно раскинувшиеся здания. Эти белозубые студенческие улыбки. Его поезд тормозит у последней станции, и уже сам воздух иной. Белые чистые стены подземного перехода. Журнальный киоск. Даже весы и автомат с жевательной резинкой дают вокруг себя какую-то ауру. Тут он взвешивается — 171 фунт — и покупает резинку.

Здание, где Франц Ф работал, сразу за площадью. На первый взгляд, похоже на библиотеку. За стойкой при входе сидела молодая женщина, ее светлые волосы стянуты на затылке в узел. Франц входил, она ему кивала. Он приподнимал шляпу, слегка наклонял голову — не более. Как бы она не заподозрила притворство. Да и костюм. Не слишком ли обманом отдает. Каждое утро мимо нее он шествовал в надежде, что она задаст какой-нибудь вопрос. У него такой умный вид. Но ее лицо не выражало никаких эмоций, а звали ее Лидия.

Ее ноги он выучил наизусть. Мускулы плавно обтекают длинные лодыжки, а пальчики немножко смяты. Во внешних уголках глаз карандашом проведены черные черточки, придающие ее лицу что-то китайское. Ее молчание ему казалось настороженным, слегка неодобрительным. Но каждое утро, проходя мимо, он чувствовал, что дела его не так плохи.

Потом — по лестнице вверх к себе в комнату, где два широких окна смотрят на улицу. Открыть на длинном письменном столе портфель. Руками веснушчатыми, серыми и сухими, неловкими, будто два крюка. Такой же точно день, как прежние, и, может быть, как все будущие. Капля надежды только в том, чтобы подойти к окну, распахнуть его и, облокотившись о подоконник, взглядом окинуть улицу внизу и мастерскую портного напротив. Вся жизнь и состоит из тысяч вот таких же дней. Как в школе, когда на улице весна под синим небом.

По мере того как утро вырастает в полдень, ему приносят листы желтоватой бумаги со множеством цифр. Строчка за строчкой скользит над ними его перо, отмечая те статистические данные, между которыми усматривается связь, и выписывая их в отдельную таблицу. Потом из этой таблицы составят еще таблицы. И, наконец, по ним, в кабинете на верхнем этаже, люди, наделенные властью, будут что-то решать.

Жизнь в офисе уединенная. Изредка кто-то из немногих его знакомых на минутку заглянет поболтать сквозь приоткрытую дверь. А на лицах у них будто написано: ну, кто кого. Но он осаживал их взглядом, и они скрывались — пробормотав остроту, удалялись по коридору к сотрудникам рангом повыше. И обдавало холодом — сговорились, хотят выжить его, лишить работы.

Есть, правда, проблемы поважнее, чем потерять работу. Вот уже много лет Франца волновало, как бы завести интрижку с женщиной. Что-нибудь типа «для меня нет тебя прекрасней». Начало выходило довольно бодрым. Его рубашка, белье и полосатый халат — все прямо из-под утюга. Специально для этих вечеров, сгущающихся голубизной. Его девушка — высока, благоуханна и, может быть, принадлежит к обществу. Своим согласием с ним встретиться она уже серьезно подорвала оборону. Он был уверен, что имеется секрет — как подступаться к женщине, какой-то код, отпирающий

целомудрие. Сперва звонишь: пойдем, послушаем квартет, играют Баха. Тем же вечером посылаешь ей цветы, и вот уже при каждом твоем визите в ее дом — поникший цветок приколот у нее к платью. Увядшая трехдолларовая увертюра.

Непременной частью этих свиданий была поездка на такси вдоль травянистого берега Чарльз-ривер. В изумлении от ее прелестного платья. Сидя прямо и напряженно, показывать достопримечательности. Как много в его жизни было попыток организовать обстановку для соблазнения. Вырвать жертву из лап семьи, водворить в уединение своей квартиры, пустой, если не считать тараканов. И никаких приятелей, которые могли бы заявиться, сорвать поединок. Но на его предложение после концерта зайти к нему попить кофе в ответ всегда звучала просьба проводить ее домой. Что он и выполнял, с должной благонадежностью доводя до дверей, приподнимая шляпу, кланяясь, желая доброй ночи. И вот закрыта дверь — уходит, вздох облегчения почти касается его затылка.

В такие вечера лавка на Элдерберри-стрит становилась логовом обреченного. И нечем чары тьмы развеять. Разве что встать под душ или за тараканами погоняться. Ну, выйдешь, пройдешь мимо бара — зайти, что ли, выпить, но — дым, у всех угроза на угрюмых лицах, и купишь кварту пива в магазине на углу. Там продавец безошибочно его обсчитывает на два цента. И каждый раз все тот же ритуал: ах да, простите,— и неохотно, по одной, обе монетки падают в его раскрытую ладонь.

Субботним утром после такой горестной пятницы Франц в рубашке и при галстуке бредет мимо тюрьмы к реке, купив в аптеке «Нью-Йорк таймс». По Чарльз-стрит, мимо кирпичной, навевающей покой стены, за которой, должно быть, такое утешение думать о том, как хорошо снаружи. За занавешенными окнами напротив долговязые женщины с лошадиными лицами шепчут из сумрака мужьям: милый, приди, поцелуй меня. Будь там Франц, он, устремившись к ее губам, поскользнулся бы на паркете и свернул себе шею.

Вот снова субботнее утро. На сей раз Франц направился в Центральный парк с газетой, свернутой и сунутой под мышку, позволив ласковому ветру трепать себя по волосам.

Оазис исполинских деревьев. На скамейках долговязые дамы, на старинный манер завернувшись в шерстяные пледы, читают при помощи лорнетов. Лебеди лодками чинно скользят под мостами из пруда в пруд.

Все скамейки уже были заняты, и Францу досталась та, что вкруговую опоясывала дерево. Мимо прошествовали двое: у каждого по бульдогу. Нянька с двойняшками в коляске. Сел, ногу на ногу и, подтянув носки, перелистнул газету до некрологов. Кто из великих мира перебрался в мир иной. Не то что Элдерберри-стрит в жару, когда окно гробовщика приспущено и купол его лысины натруженно сияет. Эти газетные мертвецы — уж они-то умерли не напрасно.

Франц услыхал слова, донесшиеся из-за дерева. Он поднял глаза и снова уткнулся в газету. Опять услышал те же слова и обернулся. Женская ножка — по щиколотку — подергивалась вверх и вниз, и он опять уставился в свою газету. Еще раз он услышал эти слова, и его изнутри обдало жаром. Слова такие стертые, почти без смысла: простите, у вас не будет спичек.

Изогнувшись вокруг дерева, Франц отвечал (той части девушки, которая была видна). Он ей ответил: вы меня, что ли, спрашиваете. Она сказала: ну, видимо, вас — так есть у вас спички. Францу пришло на ум, что если бы у него их не было, он тут же бросился бы в магазин — на углу Чарльз-стрит и Сигнальной — и назад бежал бы с уже зажженной спичкою в руке, согнутой ладонью защищая пламя. Паническая эта мысль поразила Франца, и он не сдержал смешка. Девушка подалась вперед и говорит: в чем дело. Франц объяснил, дескать, в газете тут кое-что. А она опять: ну так есть у вас спички.

Отчаяние обметало Францу губы. Руки взметнулись к глазам — перехватить горстями слезы. У него не было спичек. И голос пропал куда-то. На

самом деле сбе́гать в магазин — нет, это чересчур. Как все женщины, которые его пугались до нее, эта, пока он будет бегать, тоже исчезнет. Такой спешный поход за спичками перед самим собой можно бы выставить причудой, рыцарским жестом на новый лад. Увы, она примет его за психа. И вот пожалуйста, словно присохнув к месту, он умирает с каждым ударом сердца.

Сидит, газета скомкана в руке, колени расставлены широко, подошвы плоско упираются в дорожку. Суббота, предобеденное время. О Боже, что же сказать туда, за дерево. Такое с ним уже бывало в школе: вопрос учителя стучится, пробивается словно сквозь корку сна. А ты сидишь одеревенело.

И снова ее голос: простите, что побеспокоила. Услышал, что она встает. Шлак треснул под подошвой. Тут Франц сказал: не уходите.

Так, сидя в городском саду, Франц говорил с Арлингтон-стрит, а она обращалась к кварталам Бойлстона. Исповедальня под открытым небом. По мере продвижения беседы Франц оживлялся. Она сказала, что приехала с той стороны Земли. Это известие слегка ошарашило Франца. Однако той стороной Земли оказалась Новая Зеландия, Франц был о ней наслышан. Еще она сказала, что ее муж бостонец. Такое тоже Францу слышать приходилось.

Она сказала, что Америка ей не нравится, и зачем только она приехала. Муж — ужасающий зануда. Тогда Франц ей поведал о прелестях Бостона. Сигнальная гора, красные кирпичные мостовые. Т-образный мол, спокойная уединенность жизни. Она ответила, что ожидание электричек на Северном вокзале — вот ее Бостон, и этого с нее довольно.

Она поднялась и вышла из-за дерева, чтобы на него посмотреть. Улыбнулась: вот уж глупое положение. Живет она в Бивер-плейс. Но ей еще надо кое с кем встретиться, а вообще-то он симпатичный. Боже ты мой, подумал Франц, вот, она начинает врать. Он проводил ее до ограды парка и помахал рукою, когда она оглянулась с угла Сигнальной и Арлингтонской. Она оставила ему свой номер телефона. Велела позвонить, ну хоть на следующей неделе.

Вот воскресенье. Франц снова в городском саду. Сел там же, где сидел тогда, переживая заново ту встречу. Припоминая каждый камешек и каждый лучик травки на газоне. От радости одурев, он даже поклонился одной из закутанных в пледы престарелых дам, и та вскинула бровь. Остатки брови.

Свою квартиру он выскреб дочиста. Потом отправился бродить по городу. Через площадь Сколлей, по Стейт-стрит, в центр, сквозь толчею уличных базаров. Все ждал момента, чтобы позвонить ей. И пригласить к себе на затрапезную улочку в дом, где была прежде лавка, на пыльной витрине которой подростки вывели: если ты такой умный, то почему беден. Эти ребята все понимают четко.

И вот пойдет она — если пойдет,— но не примерзли бы у нее подошвы к тротуару, пока она там по соседству бродит, отыскивая нужный адрес. Мимо библиотеки, потом по обветшалой благопристойности Блоссом-стрит. Он что-нибудь в дверях сказал бы, такое куртуазное. А телефон надраен и выставлен из кухни на своем восьмиугольном столике — может, хоть он придаст какой-то лоск этой дыре.

Все это вычислено в воскресенье. День, кончившийся тем, что Франц много часов просидел на краю Т-мола, обозревая Бостонскую гавань. И звуки и пейзаж от тех времен, когда здесь была низина, поросшая лесом и населенная загадочными замкнутыми индейцами. А тут еще один шофер к нему приблизился и сказал: все это ерунда в сравнении с той бухтой, что во Фриско. Я только что пригнал оттуда грузовик.

А в понедельник все по накатанной колее. Только с утра на булочку и кофе больше обычного. Еще рубашку новую купил в обед в лавке портного через дорогу, пронес ее под мышкой словно книжку мимо дежурной в холле. А вечером на Элдерберри-стрит после душа и получасового раздумья в отчаянии набросал на листке бумаги несколько слов и прицепил к стене над телефоном. Потом набрал номер.

Какая-то другая девушка пошла позвать ее. Множество голосов на заднем плане. Все, кого он знает, по телефону говорят так смело. Она произнесла: алло, и спотыкающимся голосом он попросил ее прийти к нему домой. На чашку кофе. Молчание. Алло, сказал он. Алло, сказала она. Ну так как, выдавил из себя он, насчет этого. Пожалуй, нет, ответила она, нет, вряд ли она сможет. Пространство пустоты расширилось, и он сказал: гм, вы еще слушаете. Вы еще трубку не повесили. Она сказала: нет, не повесила, и это все, что вы хотели мне сказать. Франц сказал: нет, есть кое-что еще. Она сказала: ну, так я же не могу ждать целый вечер. Франц говорит: тогда, может, сходим, посмотрим пьесу. Она говорит: какую. Франц говорит: ну, я не знаю, просто пьесу. Ответом было: что вы за странные вещи мне предлагаете, извините уж, но мне пора, счастливо.

Тихонько Франц повесил трубку. Стоя во тьме своей квартиры, где раньше торговали овощами. Он поднял руку и провел по лбу, смахнув крупные капли пота. Руками крепко обхватил себя и так держал, так стоял и плакал.

Неделю Франц не разговаривал ни с кем. Носил свои обеденные бутерброды к ступеням Вайденеровской библиотеки, хрустел поджаристыми корками прилюдно. А на работе дверь держал закрытой и голову склоненной низко над желтизной бумаг. По вечерам, не в силах выносить монашеское одиночество на Элдерберри-стрит, он выходил гулять по переулкам Кембриджа. Однажды, увязавшись за накрахмаленной компанией, купил билет и пошел в театр.

Зубы в замок, губы ниточкой, шел он в свой офис следующим утром, застывший взгляд поверх толпы уставив, и тут, как обухом по голове, голос дежурной. Она сказала: а, это вы. Он обернулся, и она вышла из-за своей стойки. Чтобы сказать, что сидела позади него вчера в «Театре Поэтов». Кивнув, Франц с неприступным видом проследовал своей дорогой, так и оставив ее стоять.

Поздним вечером на Элдерберри-стрит, затылком продавив подушку, Франц пялился на звук шагов по потолку в квартире сверху. Все эти дни он избегал проходить мимо больницы, и как-то раз отправился купаться в открытый бассейн в конце улицы. Но челюсти одиночества сжимались только крепче. А на ступенях Вайденеровской библиотеки он примелькался так, что его уже узнавали.

Вот как-то раз под вечер, в нахлобученной на уши шляпе, с глазами, снулыми как нули, на выходе из конторы минует он пост дежурной. Выступив из-за стойки, она заслонила ему дорогу и сказала: господи, почему вы такой грубиян. Франц моргнул и, отступив, попробовал протиснуться мимо нее. Она сказала: да, вы грубиян, черт бы побрал вас, ну неужели все так к вам и пристают с разговорами. Франц сказал: нет, кроме вас — больше никто.

Весь тот вечер он просидел, обхватив голову руками, в читальном зале на Блоссом-стрит. И появилась мысль, может, газ открыть да поплотнее затворить окна и двери. Но прежде чем его найдут, пройдет, пожалуй, не одна неделя, и это как-то чересчур унизительно. Подумал, не уйти ли с работы. Раньше он всегда дожидался, пока выгонят. Может попробовать назад в Европу. Вместо Европы он отправился в местную пекарню, где так знакомо пахнет. Сырое тесто, поджаристые корочки в печи и итальянский джентльмен, любитель задавать ему вопросы.

В тот вечер булочник сказал: вы знаете, мистер, у вас такой вид значительный, и все-то вы молчите. Неужто так и не скажете мне, кто вы такой. Франц ответил: да, сегодня скажу вам. Я авторучка. Франц — в каждой руке по длинному батону — поднимался по ступенькам к выходу, а итальянский джентльмен кричал ему вслед: тоже мне, остряк-самоучка.

Франц настрогал из чеснока холмик и сделал из него с маслом пасту. Оба больших белых батона изведя на бутерброды, отправил их в духовку. Такая, значит, одинокая акция протеста. Завтра весь вагон провоняет. Потом мимо Лидии. Имя-то противное какое. Теперь она, чего доброго, скажет, что он не просто грубиян, но к тому же вонючий.

По Элдерберри-стрит свет всюду выключен. Двенадцать ночи. Наконец-то из окон перестали доноситься звуки визгливых свар. Быстро прибить таракана и плеснуть воды в лицо. Залезть под простыню и попытаться закрыть глаза. Голос приглушенно доносится с улицы. Женщина с клиентом. Франц на своей кушетке, притаившись, слушает. Как она стучится к нему в окно: эй, ты, не слышишь, что ли, ты почему всегда молчишь, может, ты нами брезгуешь — а сам-то кто такой. Я остряк-самоучка, сказал из своей кельи Франц.

Раскаты хохота. Она, цепляясь за клиента, тащится вверх по черной лестнице, орет: нет, вы послушайте, что говорит этот паршивец. Остряк-самоучка, ну дает. Гомик он, вот кто. Вы его видели когда-нибудь с женщиной. Эй, вы, поганое отродье в остальных квартирах. Может, вы брезгуете мной. Он псих.

Во сне был вечер осенью в Вермонте. Леса горели красным, червонным золотом. Шла игра в теннис, и там была Лидия. Она взяла его за руку и сказала: только не сегодня. А он на цыпочках все крался к ее двери, царапался в нее, и она повторяла: не смей, не смей. Потом он спал, и тут она пришла и на него легла, и от ее грудей мускусный запах.

Просыпаясь — над Элдерберри-стрит между ветвей клочок голубизны, пронизанной стрижами,— Франц заклинает сон к нему вернуться.

По пути на службу он разрабатывал план. Как подойдет к Лидии, поклонится небрежно и скажет: я должен извиниться за вчерашнюю непозволительную грубость. Вдобавок за сегодняшний чесночный запах. Потом на каблуках кругом и вверх по лестнице. Но проскочив в распахнутую дверь, дежурную Франц миновал с застывшим, полным страха сердцем. В своей рабочей комнате, под бульканье воды в кондиционере за дверью, беззвучно оба кулака вдавил в крышку стола.

Каждое утро у него готов был план, но гора росла все выше, все неприступнее. Как вдруг она сказала: не знаю, почему я говорю вам,— против вас тут сговорились, чтобы лишить работы.

С коленями ослабшими и пепельным лицом Франц зашептал себе: не суетись, не суетись, спокойно. А Лидии сказал: вы почему мне сообщаете об этом. Она сказала: потому что вам некому помочь. Спасибо, ответил Франц и, повернувшись, зашагал по лестнице, скрывая мокрые глаза.

Этот момент приходит неизбежно. Как часы. Чуть только жизнь устоялась и тикает себе ни шатко ни валко, они наваливаются на него всем скопом. Не потому, что со статистикой напутал. Или нарушил правила. А потому, что на работу приходил не поздно и не рано, что вежливо кивал, одевался по-своему, и взгляд на жизнь у него эдакий, с прищуром. Он делал все, что велено. Бывает, что за это убивают.

Но сильнее пошлого ужаса увольнения — удивление. Женщина с тонким лицом и изящным телом — ему помогает. Конечно, она замужем, ей нечего бояться. После работы, с сумочкой в виде патронного подсумка через плечо, она заходит в трамвай и уносится по улице Маунт-Обэрн под сень деревьев Кембриджа. Чтобы исчезнуть за живыми изгородями в большом белом доме. Потому что как-то вечером он ее выследил.

Казалось, между ними воцарился мир. Она однажды улыбнулась и даже облизнула губы, когда он улыбнулся ей в ответ. Ввязаться в битву за свое спасение он все равно не мог, ведь это то же, что в одиночку сражаться с армией. Всего наилучшего. Искренне Ваш. В этих случаях одиночка только и может, что сыграть в кювет.

В четверг Франц Ф собрался. Стер пыль, навел порядок и сдернул со стены свой стих.

Когда твой путь
Стал что-то слишком
Гладок
Все брось
И беги.

К себе на Элдерберри-стрит он добирался долго. Попав по месту жительства, Франц тараканам дал побеситься вволю. В пятницу с утра

прошелся по улице, а у бассейна перешел на другую сторону. Монетка, звякнув, провалилась в турникет. На час он зажил тюленьей жизнью. Что это он не на работе, допытывалась ребятня. С забавной дерзостью.

Пришло письмо. Его заявление подписано, чек с двухнедельной зарплатой прилагается. Чек — зеленовато-голубой листок — Франц пропихнул назад в конверт и возвратил его в то самое светлое здание на Гарвард-сквер.

Взял лист бумаги и написал другое стихотворение. Его он прицепил над раковиной.

Когда все бросил
И твой путь
Стал что-то слишком
Гадок
Жми дальше.

В выходные Франц покупал пиво и возражать не стал, когда продавец его обжулил на два цента. Но повернувшись к выходу из магазина, услышал, что тот его окликнул: эй, в чем дело. У тебя случилось что-нибудь или как. Франц сказал: нет. А тот: ты разве не заметил, как тебя обсчитали. Франц сказал: я заметил. Тот говорит: ничего не поделаешь, привычка.

В четверг Франц приобрел на двадцать пять центов почек. И жарил их на постном масле. Прекрасная диета для блокады. В дверь постучали, когда он, взобравшись на стул, выгонял в форточку дым. На крыльце, держа в руке конверт, стояла Лидия.

Она сказала: вот, это вам. Франц взял, сказал спасибо. Она говорит: тут, значит, вы живете. Да, сказал он. А она: что ж, вы меня зайти так и не пригласите. Лица, глаза из окон гроздьями. Для Элдерберри-стрит это в новинку. Он говорит: ну заходите, коли желаете.

Он проводил ее сквозь дым. В гостиную, где она уселась на его кровать. Она сказала: странный вы человек, это же глупо, вы так все в жизни провороните. Вы почему бороться не попробовали. Неужто им так и сойдет выгнать человека с работы только за то, что он обедал на ступенях Вайденеровской библиотеки. А уж чек посылать обратно и вовсе глупо.

За чаем испарился час. Франц достал печенье. Выложил на тарелке из печений розу. Что-то случилось, сказала она, с вами. В последнее время. Вдруг перестали разговаривать со всеми. Так помрачнели. Франц сказал: да, он помрачнел. Она сказала: потому-то я и хотела с вами подружиться, а вы меня отшили. Франц сказал: верно, он ею пренебрег. Лидия взяла еще одно печенье и, вставая, сказала, что ей пора.

Франц грустно вывел ее в кухню. Дернул за шнур выключателя, и Лидия ступила в темноту. Я не хотел бы, объяснил Франц, чтоб вы увидели здесь тараканов. Она сказала: неважно, что я увижу. А когда Франц обнял ее, она зашептала: не смейте, не смейте. Франц сказал: вы мне уже говорили это прежде, и в аромат духов у нее за ухом вжал губы. Она сказала: вы будете тут в следующую субботу. Я забегу в три тридцать.

Франц взял конверт и чек и сжег их над плитой. Набрал ведро воды и принялся за мытье своей магазинной витрины. Вокруг столпились ребятишки: эй, что случилось, мистер. Что это вы вдруг блеск решили навести. Франц покатил по тротуару пятицентовик, в тихом восторге от зрелища ребячьей толкотни в канаве.

Каждое утро подъем, руки к плечам, наклоны, вдох, выдох. Дверь настежь, на улицу с улыбкой. Купить газету и читать ее за кофе с кексом на Чарльз-стрит. Потом получасовой реванш в городском саду на круговой скамье под деревом.

У Лидии такие волосы светлые. Она пройдет, ступая своими пальчиками, чуть-чуть искривленными, тело очерчено волнисто,— мимо всех зияющих подвалов, темных переулков и выбитых окон и постучится в дверь.

В условленную субботу в двадцать минут четвертого Франц ждал, дважды за последний час сменив белье. Согласно метеосводке, было прохладно. И свет голубоватый, сумеречно-грустный. И дрожали руки. Такой уединенный форпост. Стул рядом с телефоном, глаза прилипли к двери.

Звонок. Взяв в руку черное орудие переговоров, Франц выслушал, как приглушенный голос сообщил: это муж Лидии, пистолет при мне, сейчас я приду и пристрелю тебя.

Трубка выпала у Франца из руки и легла на пол, булькая и бормоча. Как в том стишке, что висел на службе. Когда твой путь стал что-то слишком гладок...

Франц поднялся, дверь отомкнул, оставив приоткрытой. Вернулся на свой стул. Решение принято. Вечер траурно потемнел. Пускай ему не надо будет даже в дверь стучаться. Что ж, после всех этих лет, может быть, даже и справедливо, что все так кончится. Франц, тяжело склонившийся вперед, сидит к двери лицом, уронив голову и руки. Может, хоть тем будет его смерть облагорожена, что его пристрелит человек с дипломом.

Дверь отворилась, и Франц Ф закрыл глаза. Отвернув голову, он поднял руки, заслоняясь от пуль. Шаги приблизились, ладонь коснулась его волос, и Лидия сказала: о Господи, по телефону я пошутила.

Из бразильской поэзии

Перевод с португальского ***ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА***

Первым переводчиком бразильской поэзии на русский язык был, вероятно, А. С. Пушкин. Еще П. В. Анненков в 1855 году в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина» опубликовал по тексту пушкинского черновика стихотворение, озаглавленное: «С португальского: Gonzago». Стихотворение Пушкина «Там звезда зари взошла...» оказалось сокращенным переводом «Лиры 9» из второй части цикла «Лиры», который бразилец Томас Антонио Гонзага написал, находясь в тюрьме. Пушкинский вольный перевод, по мнению академика М. П. Алексеева, был выполнен около 1825—1827 гг. с французского перевода Э. Монглава. Но поэтическая «бразилиана» на русском языке тогда же и оборвалась — больше чем на столетие.

Лишь в 60—70-е годы нашего века к ней кое-что прибавилось. В переводе И. Ю. Тыняновой вышли книги Т. А. Гонзаги и Антонио де Кастро Алвеса. Была подборка современной бразильской поэзии на страницах «Иностранной литературы» (1963, № 10), ей посвящен раздел в томе БВЛ «Поэзия Латинской Америки». Наконец, в 1983 году в издательстве «Художественная литература» вышла антология «Поэзия Бразилии». В аннотации к ней было сказано: «Сборник «Поэзия Бразилии» является первым опытом издания на русском языке антологии бразильской поэзии XX века». Увы, это была неправда. О том, что это неправда, составители знали, но написать правду было по тем временам невозможно — не пропустила бы цензура. Невозможно было даже упомянуть, что во Франкфурте-на-Майне, в типографии издательства «Посев», русский поэт Валерий Перелешин еще в 1978 году отпечатал на свои деньги антологию бразильской поэзии, названную «Южный Крест». Среди представленных в ней поэтов XX века и те, с кем русский читатель уже немного знаком: Мануэл Бандейра и Сесилия Мейрелес.

Мануэл Бандейра (1886—1968) — пожалуй, самый известный бразильский поэт нашего века. Он родился в городе Ресифе в семье инженера, учился в политехнической школе и готовил себя к профессии архитектора. В восемнадцатилетнем возрасте он заболел тяжелой формой туберкулеза — стихотворение «Ингаляция» (или, точней, «Пневмотóракс») автобиографично. Но в слабом теле жил могучий дух. Бандейра, как некогда и его соплеменник, великий скульптор Алейжадиньо, сумел победить болезнь силой воли. Он не стал архитектором, но стал поэтом, эссеистом, прозаиком, он писал о литературе, о музыке, о кино, переводил европейских и латиноамериканских поэтов, к тому же еще преподавал в университете города Сан-Пауло. В поэзии Бандейра — классицист и экспериментатор одновременно, сонеты у него соседствуют с верлибром и даже с опытами конкретной поэзии. Несмотря на болезнь, он прожил долгую жизнь — и был другом и учителем бразильских поэтов нескольких поколений.

Сесилия Мейрелес (1901—1964), напротив, всегда оставалась верна классической традиции, хотя Бандейра оказал на ее творчество заметное влияние. Ее считают самой значительной бразильской поэтессой XX века. В 1948 году Сесилии Мейрелес была присуждена премия Бразильской академии словесности. В поздние годы жизни поэтесса обратилась к старинному жанру романсеро и к истории Бразилии XVIII века; у читателей ее чистая лирика пользуется успехом и по сей день.

Переводчик и издатель антологии «Южный Крест», Валерий Перелешин выступил и как «первооткрыватель» — он обратил внимание на жанр, для серьезных литературоведов малопочтенный, на бразильские «тровас», выросшие на устной традиции,— что-то вроде частушек. (Кстати, сам Перелешин пробовал переводить на португальский язык русские частушки — получились, по его словам, самые настоящие «тровас».) В предисловии к своей антологии он пишет, что из многих авторов этого жанра «широко известен только Дурвал Мендонса», строфы которого мы и предлагаем сейчас читателям.

Но вернемся к переводчику. Валерий Францевич Салатко-Петрище родился в Иркутске в 1913 году; в 1920 году его семья эмигрировала в Манчжурию, в Харбин. Там он начал писать стихи, с 1932 года стал печататься в местных русских изданиях. Псевдоним ему подобрали без его участия, но поэт не стал спорить,— так навсегда и остался он Валерием Перелешиным. Его рано заметили в Европе; в первой антологии русской зарубежной поэзии «Якорь», изданной в Берлине в конце 1935 года, были представлены и его стихи. В 1937 году в Харбине вышел первый его поэтический сборник «В пути»; всего же на сегодняшний день издано около двадцати его книг — стихи, поэмы, переводы, мемуары.

Вся жизнь его — как остросюжетный роман, то трагический, то юмористический. После выхода первой книги поэт... постригся в монахи. В конце 30-х годов уехал сначала в Пекин — преподавать и учиться при русской духовной миссии, потом — в Шанхай. Как серьезный китаист он мог заработать на жизнь переводами — и поступил на службу в ТАСС, приняв советское гражданство. Но в начале 50-х диковатый облик человека в рясе и с советским паспортом исчез, как наваждение: рясу за ненадобностью поэт выбросил еще в Шанхае, а о судьбе своего паспорта он рассказывает в мемуарах: «Где-то между Буэнос-Айресом и Монтевидео я бросил свой советский паспорт за борт. Помню, как другие русские пассажиры заботливо прятали свои советские паспорта от южноамериканских таможен... Это и послужило толчком: а я не хочу советского паспорта, пусть его съедят акулы» [1].

Впрочем, еще раньше, в конце сороковых годов, Перелешин пытался эмигрировать из красного Китая в США, где жил его брат. Из Сан-Франциско его выслали, подозревая в нем *возможного* коммунистического агента. А по возвращении в Китай оказалось, что там он теперь тоже не имеет права жить: ведь он побывал в США и поэтому, *возможно,* стал американским шпионом. Перед «изгнанием» из США Перелешину зачитали документ, где были слова о том, что он высылается из Америки «навеки». (Любопытно, что в конце 70-х годов, когда признанного поэта пригласили на литературный фестиваль в один из американских университетов, Перелешин сообщил о памятном ему документе консулу США в Рио-де-Жанейро. Вопрос быстро уладили,— впрочем, для этого пришлось вмешаться лично Генри Киссинджеру.)

А в том 1952 году Перелешин просто сел в Гонконге на пароход и через несколько недель плавания сошел на берег в Рио-де-Жанейро, имея в кармане один доллар двадцать центов мелочью. Но здесь судьба неожиданно преподнесла сорокалетнему человеку подарок: в Бразилии он обрел «третью родину». К Бразилии обращены его слова:

Дай Бог тебе здравия,
Страна моя Травия,
На тысячелетия,
Земля моя Цветия!

С течением времени Перелешин и сам стал писать по-португальски. Свое семидесятилетие он отметил своеобразно: выпустил в свет книгу собственных стихов и переводов с русского и древнекитайского на португальский. Стихи Перелешина, написанные на португальском, включают теперь в антологии латиноамериканской поэзии. Словом, помимо удивительного дарования, перед нами человек, разыгравший «бразильский вариант» судьбы Набокова.

С 1988 года Перелешин стал печататься в СССР; характерно, что первыми были опубликованы его переводы; затем появились крупные публикации в «Огоньке», «Новом мире» и множестве других журналов; увидели свет не только его стихи и поэмы, но и значительная часть мемуаров и даже никогда прежде не печатавшийся перевод поэтического древнекитайского трактата «Даодэцзин» [2].

Всему свое время: Россия понемногу собирает свою литературу, пробывшую почти весь XX век в рассеянии. Оригинальным титулом наградили Перелешина литературоведы — его называют «лучшим русским поэтом Южного полушария Земли». Но ведь и такой титул — честь немалая.

Е. ВИТКОВСКИЙ

---

[1] «Два полустанка. Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая». Амстердам, 1987, с. 116. *(Здесь и далее — прим. автора статьи).*

[2] См. «Проблемы Дальнего Востока», 1990, № 3.

МАНУЭЛ БАНДЕЙРА

Утро Марии

Что с тобою, мое сомненье?
Вот и нет никаких тревог,
если светлое утешенье
мне с небес посылает Бог!
Хорошо засыпать в печали
и проснуться совсем иной —
полной счастья, хоть мир едва ли
изменился вместе со мной.
Нет! Пока я спала в постели,
позабыв о слезах моих,
сны счастливые прилетели,
а теперь я не помню их.
Верно, были потоки света
в золотой благодати снов,
и от них удивленность эта,
будто радостен мир и нов.

О, прекрасный луч утешенья,
передышка среди тревог,
пусть почаще в час пробужденья
мне тебя посылает Бог!

Забавнейший мадригал

Тереза, ты красивее всего, что я видел
в жизни, красивее даже морской
свинки, которую мне подарили,
когда мне было шесть лет.

Ирэна на небе

Черная Ирэна,
Добрая Ирэна,
Милая беззлобная Ирэна.
Представляю себе, как Ирэна приходит на небо:
— Пропустите, белый!
И апостол Петр отвечает:
— Проходи, Ирэна. Тебе и не надо просить разрешенья.

Мариза

Иногда над сухим песком
Пахнет свежим дыханьем бриза,
Что рожден в краю колдовском.
Так же имя твое, Мариза,
Возникает в шуме морском,
А кончается тише бриза.

Глубоким сном

Когда я вчера засыпал
В ночь под Ивана Купалу,
Было веселье и шум:
Взрывы хлопушек, шипенье бенгальских огней
И голоса, и песни, и громкий смех
Над полыхающими кострами.

Я проснулся позднею ночью.
Голоса умолкли и смех.
Только одни шары
Проплывая, качались
Молчком да тишком,
И еще временами
Грохот трамвая
Прорезал тишину,
Как туннель.
Где же были все те, что недавно
Хохотали,
Плясали
И пели
Над полыхающими кострами?

Все спали,
Все лежали
И спали
Глубоким сном.

Ингаляция

Жар, кровохарканье, пот по ночам, задыханье.
Не было жизни, которая быть бы могла.
Кашель, кашель, кашель.

Вызвали лекаря.
— Скажите тридцать три.
— Тридцать три... тридцать три... тридцать три...

— В левом легком каверна, и правое поражено.
— Доктор, нельзя ли попробовать ингаляцию?
— Нет. Остается одно — играть аргентинские танго.

Хвала Гафизу

Газеллу я несу тебе одной —
Небесному Гафизу дар земной.

— Поэт Шираза, чьи стихи дышали
Той горечью, что делишь ты со мной.

Ведь так же я среди загадок мира
Растерянный, бездомный и больной.

Ты обещал: «Навек останусь верен
Той, для кого я — ветрогон шальной».

Но с той поры и девы Самарканда,
И верблюжатник, и мулла дурной

Твои стихи поют — и приправляют
Кто шуткою, кто жалобой хмельной.

Неблагодарная давно истлела,
А ты живешь — небесный, но земной.

Ночь

Мертвая ночь.
Под фонарным столбом
На комаров охотятся жабы.

Этой дорогой никто не проходит,
Даже и пьяней.

А ведь, конечно, по ней нескончаемым шествием движутся тени,
Тени всех тех, кто здесь когда-то прошел.
Кто еще дышит и кто уже умер.

Плачет овражек
Голосом ночи.

(Только не этой, а ночи другой, большой).

Молитва

Я столько стихов написал Терезе —
Печальных, не слышанных от начала.
Просил и молил. И немного было,
Чего я просил. И совсем не славы,
Не страстных утех и не денег даже!
Просил я лишь радости светлокрылой:
Святая Тереза не отвечала.

Затем призывал я других угодниц,
Но смотрят другие куда-то мимо,
Как женщины те, что зачем-то лгали.
Когда я и добрых забыл, и строгих
(А много молился, просил у многих),
Святую мне Риту друзья назвали:
Исполнит и то, что неисполнимо!

...С пустыми руками отпущен снова!
Метался и рвался из паутины.
О радости больше просить не смею:
Ведь радость — личина совсем иного.
Приходит ответ, но приходит поздно,
И то, для чего я кружил по свету,
И в чем не сильна и святая Рита,
Ты дашь, если будет Тебе угодно,
О, Богоматерь Доброй Кончины!

СЕСИЛИЯ МЕЙРЕЛЕС

Вполголоса

Уходя, я всегда с собою
уношу молчанье и грусть.
Одиночества в этом мире —
их я знаю все наизусть.

Был бы конь со мною на счастье
или лодка в дали речной!
Ржанье или хотя бы рокот,
чтобы мне не идти одной!

Нет, напрасно. Шаги свои же
я устало влачу едва,
чтоб когда-нибудь раствориться
в беспредельности Божества.

* * *

Дорога зеленым полем
кривится туда-сюда.
Цветы на плетнях и пальмы,
в ручьях не шумит вода.

Любо брести одной
долго по дну долины,
знать, что вечер — мой.

Я ставлю ноги на землю,
подобье жизни напрасной —
устойчивой, но бесцельной,
бессмысленной, но прекрасной.

Любо брести одной
по каменистой тропке,
знать, что цветок — мой.

Поступь моя бродяжья —
подобье лунных лучей:
я ближе — ты убегаешь,
душа моя — тень твоей.

Любо брести одной
в тихой тенистой роще,
знать, что родник — мой.

Вдаль я смотрела столько,
что не вижу на шаг впереди.
Всхожу на холмы, спускаюсь,
несу пустыню в груди.

Любо брести одной
вдоль бесконечной ночи.
Знать, что звезда — со мной.

Песня

На корабль я сон погрузила
и, корабль уступив волне,
— приоткрыла море руками:
утони, мой сон, в глубине!

И остались мокрые руки
в густо-синем цвете морском,
и текущая с пальцев краска
засинела мертвым песком.

Прилетает издали ветер,
цепенеет ночь на земле,
под водой мой сон умирает,
крепко запертый в корабле.

Буду плакать сколько угодно,
чтоб еще поднялась вода,
чтоб до дна корабль опустился
и мой сон исчез навсегда.

А потом всё будет отлично:
гладкий берег и тишь вокруг,
и глаза сухие, как камни,
и две плети сломанных рук.

ДУРВАЛ МЕНДОНСА

Алейжадиньо [1]

Калека, но духом крылатый,
титан несгибаемой воли,
создатель двенадцати статуй,
бессмертный в томленьи и боли́.

Ожидание

Как ты долго! Уже светает...
Не твои ли шаги слышны?
Но нет, это время шагает
коридорами тишины.

Дети

Наблюдая толпу детишек,
их глазами глядим на свет
и откидываем излишек
их и нас разделивших лет.

Прощенье

Господи, прости мне прегрешенье,
что обидчика я не простил,
чтобы заслужить Твое прощенье:
я хотел, да не хватило сил.

Знойная ночь

Нам ночью знойною не спится:
мы ждем, развесив гамаки,
что спустится луна напиться
воды прохладной из реки.

Стихи

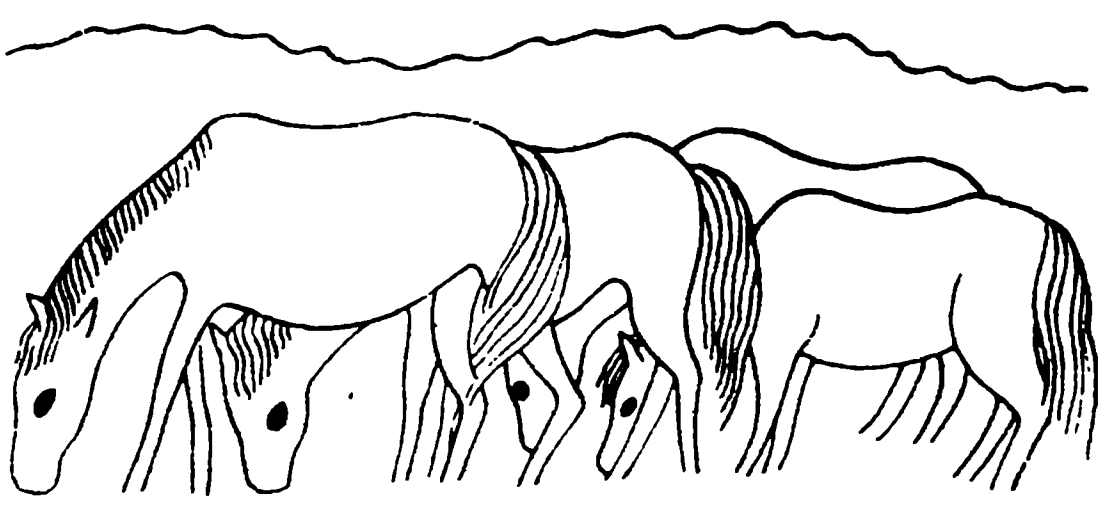
У меня не стихи, а вешки
на путях, ведущих в беду,—
здесь улыбки, а там насмешки:
тем и тем я запись веду.

Молитва

Сынам Твоего творенья
дай, Боже,— до часа казни —
немного больше терпенья,
немного меньше боязни.

У конца

Мы бредем по жизни вперед
и не видим из-под плаща,
что надежда рядом идет,
сожалений ворох таща.



[1] Алейжадиньо (1730 или 1738—1814), *букв.* «Милый маленький калека» — прозвище скульптора Антонио Франсиско Лисбоа. Перенес тяжелую форму проказы, работал, прикрепив инструменты к перчаткам. Ярчайший представитель позднего бразильского барокко.

МАРЕК ХЛАСКО

Петля

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского Е. ТВЕРДИСЛОВОЙ

С хорошей женой не болит душа.
От хорошей еды не болит живот.
От хорошего вина не болит голова.

Одна из пословиц,
составляющих народную мудрость.

I

Он проснулся в восемь часов утра с ощущением неясной тяжести, но то не было уже давящим, страшным чувством, которое он так часто испытывал раньше,— не было похмелья. Он встал и подошел к окну. День был серый, затянутый холодным, вязким туманом; поздняя осень отняла у города краски и обаяние. Упершись рукой в оконную раму, он смотрел на мокрые крыши домов; ему вспомнился город, где он родился, детство, школа и первая девушка; он взял ее в точно такой же день, а перед тем долго ходил у нее под окнами — он знал каждую трещину на асфальте около ее дома, сорт табака, который курил сторож, каждую заштопанную дырочку на грязных занавесках, висевших в окне комнаты на первом этаже.

— Давно,— сказал он тихо самому себе.— Боже, как страшно давно.

В этот момент зазвонил телефон. Он посмотрел на часы и усмехнулся. «Пунктуальная»,— подумал, снял трубку и спросил:

— Это ты, Кристина?

— Не узнаешь?

— Ты ведь ничего не сказала,— ответил он.

— Значит, в шесть?

— Да,— тихо произнес он.— Я буду ждать дома. Сейчас только половина девятого. Страх берет, как подумаю, что еще столько времени. Сижу тут один... Боюсь, что мне будут звонить... Хочется, чтобы поскорее все было уже позади.

— Ты должен сидеть дома,— проговорил женский голос.— Должен сидеть и ждать меня. Тебе сейчас нельзя того, что хочется, понимаешь?

— Понимаю,— сказал он.— Я буду ждать дома. Я только хочу, чтоб уже было шесть.

— Куба,— сказал женский голос очень мягко и тихо.— Ты ведь знаешь, я люблю тебя. Я думать не могу о том, что с тобой происходит. Готова руки на себя наложить, когда слышу, что о тебе говорят.

— С этим покончено.

— Должно быть покончено, Куба. Я буду в шесть, и мы вместе пойдем туда. Но перед тем хочу тебе еще кое-что сказать.

— Слушаю.

— Если ты что-нибудь выкинешь, тогда действительно все, Куба. Так больше продолжаться не может. Во всяком случае, я не могу, я дошла до точки, ты должен это понять.

— Зачем ты это говоришь?

— Хочу, чтоб ты знал. Вот, теперь до свидания. Жди меня в шесть. Пока, Куба.

— До свидания,— сказал он и положил трубку.

Он снова подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу. На улице, ежась от холода, сновали люди. Отсюда, с высоты седьмого этажа, они выглядели такими несчастными и жалкими, что смотреть на них не было никаких сил: невольно напрашивалось сравнение с копошащимися насекомыми. Эта мысль расстроила его; он сел в кресло и удобно вытянул ноги. Ему хотелось, чтобы скорее наступило шесть часов.

Зазвонил телефон. Он вздрогнул; на его лице отразился ужас. Вскочил и на минуту замер, говоря себе шепотом: «Я ведь вчера не пил. Нигде не шлялся, нигде не пил, никто меня не видел...» Телефон зазвонил второй раз, потом третий. Тогда он решился. Быстро подошел и снял трубку.

— Да,— сказал он, чувствуя, как подскочило сердце и сдавило горло.

— Это ты, Куба? — проскрипел в трубке голос.— Привет, это Янек. Не узнаешь?

— Узнаю.

— Хреновая нынче погодка,— верещал в трубке голос.— Сдается мне, что скоро ливанет как из ведра. Ночью, наверное, шел дождь, правда?

— Не знаю,— бросил он.— Я ночью из дома не выходил.

— Как так не выходил?

— Нет.

— А где ж ты был?

— Дома.

— Дома?

— Да.

— Не может быть.

— Представь себе.

Минуту стояла тишина. Потом голос в трубке заскрипел:

— Ты что, вчера не пил?

— Нет.

— Не морочь мне голову.

— Честное слово,— ответил он.— Я бросил пить. Решил еще раз попробовать. Или пан, или пропал. Если уж не сумею, буду хотя бы знать, что делать дальше.— Он заговорил быстрее: — Я больше так не могу. Пойду лечиться. А вдруг получится? Должно ведь получиться, а?

— У некоторых получается.

— Значит, и у меня получится. Буду глотать таблетки; после таких таблеток пить нельзя, а то удар хватит. Страшное дело! Если брошу пить, люди через год забудут про меня, правда?

— И года не понадобится, чтобы тебя забыли.

— Я тоже так думаю,— сказал он.— Это хорошо. В шесть за мной зайдет Кристина. Мы вместе пойдем в диспансер. Она возьмет там для меня эти таблетки. Мне бы самому их не дали, понимаешь? Боятся — выброшу. А так она сама возьмет и будет их мне давать. Я брошу пить; не буду пить год, а потом уж и не захочется. Люди забудут, что я был алкашом. Верно?

— Да,— ответил скрипучий голос.— Счастливо. До свидания.

— До свидания,— сказал он и положил трубку.

Он прошел в кухню. Его переполняло чувство мужской гордости. Он смотрел на голубое пламя газа, вырывающееся из-под чайника, и думал о том дне, когда навечно разорвет проклятый круг стыда и унижений; о том дне, когда ему совсем не захочется пить, и никто не назовет его горьким пьяницей, никто не отвернется от него на улице, никто не выразит сочувствия, которое он так ненавидит; не проявит заботы, которая была ему отвратительна, не выкажет сожаления, что он — такой способный, здоровый, молодой — и пьет. В этот момент телефон опять зазвонил. Он вернулся в комнату и снял трубку, но не успел и слова сказать, как по другую сторону провода раздался голос — раньше, чем он ожидал.

— Это ты, Куба? — застрекотала трубка.— Это Вишневский, здравствуй, золотко мое! Голубчик, ты и понятия не имеешь, как я страшно рад! Дорогой мой, ну правда! Да знаешь ли ты, как я себя после всего этого ругал. Ах, Боже ж ты мой, вот здорово!..

— Что случилось? — спросил он, воспользовавшись короткой паузой; видимо, у человека с той стороны перехватило дыхание.

— Мне позвонил Янек,— тарахтел, как пулемет, голос.— Сказал, что ты бросаешь пить. Это правда?

— Правда,— ответил он.— Я бросаю пить с сегодняшнего дня. Хватит с меня. Ты знаешь, у меня жизнь пошла кувырком из-за этой водки. Растерял друзей и близких. Все от меня отвернулись. Начну жить сначала. Вдруг получится.

— Вы с Кристиной пойдете в шесть за этими таблетками, да?

— Да,— сказал он.— Именно так мы с ней и решили.

— Кристина — прекрасная женщина,— стрекотал голос.— И она тебя очень любит. Сколько раз уходила, но всегда возвращалась. Не всякая женщина способна такое выдержать, Куба. Боже мой, как хорошо, что ты наконец это понял. А что, она сама возьмет для тебя эти таблетки?

— Конечно,— сказал он.— Ведь мне не дадут. Со мной обязательно должен пойти кто-нибудь, кому врачи поверят. Обычно ходят женщины. Ты прав, Кристина меня любит. Не каждая женщина пошла бы туда. Радости в этом мало, правда?

— Разумеется,— подтвердила трубка,— Кристина — женщина что надо. Ну, не буду морочить тебе голову. Желаю успеха, слышишь?

— Спасибо.

— До свидания.

— До свидания.

— Ага, послушай, а как называются эти таблетки?

— Какие? — спросил он удивленно, не поняв в первую минуту, о чем идет речь.

— Те, которые тебе должны дать?

— Антабус.

— Антабус? — бессмысленно повторил голос в трубке.— Антабус... Антабус... Автобус... Надо запомнить. Ну, привет!

— Привет,— сказал он.

Положил трубку и пошел на кухню. Налил себе чаю и, попивая его, перебирал в уме все, чего лишила его водка. Он вспоминал женщин, которые бросали его из-за того, что им надоедало его пьянство; приятелей, уставших от бесплодных уговоров; возможности, которые жизнь никогда уже больше ему не предоставляла; должности, которые он безвозвратно терял; приветствия, на которые люди не отвечали,— внезапно его охватил холодный ужас и сжал, словно тисками, голову. Он подумал: «Я никогда не брошу пить, если буду вспоминать такие вещи. Надо забыть. Нельзя обо всем этом помнить. Воспоминания меня раздавят; если я буду к ним возвращаться, мне себя не защитить. Нельзя такое вспоминать. В моей жизни должно образоваться пустое место, к которому нет возврата...— Он залпом выпил остатки чая и тут же налил себе еще стакан. И тогда заметил, что у него дрожат руки.— Нельзя так волноваться,— подумал он.— Это от дурных мыслей. С сегодняшнего дня надо все изменить...» Ход его размышлений прервал резкий, требовательный звонок телефона.

Он подошел, снял трубку и сказал, изменив голос:

— Слушаю.

— Привет, Куба! Здравствуй, это Рышард. Представляешь, я еще лежу в постели, звонит мне Малиновский. «Слышал?» — спрашивает. «А что я должен слышать?» — говорю. А Малиновский: «Знаешь, кто мне звонил? Представь себе, Вишневский. Ты ведь знаешь Вишневского? Дорогой мой, ты и понятия не имеешь, что он мне сказал. Я думал, умру на месте!» — «Ну, говори скорее! — кричу я в трубку.— Что случилось, черт возьми!» Малиновский минуту помолчал, а потом сказал: «Он — бросил пить. Так сегодня утром сказал Вишневский; наверное, он ему звонил. Но едва ли

выдержит, а?» — «Да ну,— говорю я.— Почему же ему не выдержать?» И знаешь, не стал его больше слушать. Ну так что, ты выдержишь?

— Выдержу.

— Вот и я говорю,— зарычала трубка.— Самое трудное — первые дни. А уж потом ерунда. Ха, ха, ха! Помнишь, что мы вытворяли тогда в «Камеральном»? Там еще был такой бармен, пан Эдек? Маленький, щуплый, одним махом наливал шесть рюмок... Боже мой, ну и киряли же мы! Помню, как ты однажды послал жену Мендзыньского. Она захотела с тобой пофлиртовать, а ты ей: «Заткни пасть, старая рыжая идиотка!» Скандал. Мендзыньский — на тебя, а ты его по морде. Ха, ха, ха! А потом нас всех отправили в отделение, куда-то на Беднарскую. Страшный был дебош! Слушай, тебя после этого турнули из партии?

— Да, именно после этого...

— Ну,— сказал с недоверием голос в трубке.— Разве? Сдается мне, что тогда тебя выперли с работы. А из партии — когда пришла повестка в суд: ты избил какого-то майора, да? Ха, ха, ха! Скажи, тогда или нет?

— Не помню.— Он заговорил быстро, горячо, чувствуя, что земля уходит у него из-под ног: — Ничего я не помню. Не хочу ничего помнить...— И вдруг завыл: — Не хочу, пойми ты! В шесть придет Кристина, и все это кончится.

— Чего ты орешь? Я с тобой как с человеком, а ты на меня... зверем... Ну, до свидания! Всего наилучшего! Передай от меня привет Кристине. А вообще-то ты для нее — тяжкий крест. Моя жена иногда говорит: «Только бы он ей жизнь не загубил своим пьянством. Девчонка тает на глазах». Ну, до свидания... до свидания... Ха, ха, ха! Антабус, автобус... Привет!

Куба положил трубку и подошел к зеркалу. На лбу у него выступили крупные капли пота, в глазах сверкала ярость. Он посмотрел на свое побледневшее лицо и вдруг, обхватив руками раму зеркала, прижался лбом к холодной поверхности стекла. Сердце прерывисто билось. «Скорей бы уж было шесть»,— подумал он. И, внезапно почувствовав мучительное желание, повторил еще раз: «Шесть, шесть...»

Подойдя к письменному столу, он взял фотографию девушки. Глядя на нее, стал говорить самому себе таким тоном, каким обращаются к маленькому ребенку, объевшемуся сладким.

— Я не имею права делать этого,— говорил он.— Не имею права делать того, что хочется. В шесть ты придешь, и мы пойдем туда. А до того мне нельзя ничего пить. Даже пиво; даже если я выпью пива, после приема этих таблеток мне может стать плохо. В шесть ты придешь ко мне, и мы вместе пойдем туда. Я попрошу тебя, и ты им скажешь, чтобы они ни о чем меня не расспрашивали, чтобы мне не надо было отвечать на вопросы, на которые я уже тысячу раз отвечал. Может быть, даже удастся не заходить вовнутрь. На углу той улицы есть маленькое кафе, я мог бы там тебя подождать. Ты только пойдешь и возьмешь таблетки. Потом дашь мне, и я их выпью; я буду глотать их каждый день, и в конце концов меня перестанут называть горьким пьяницей. Только мне нельзя ничего делать, нужно дождаться шести...

Когда снова зазвонил телефон, он тихо заплакал. Не выпуская из рук фотографии, подошел к аппарату и встал перед ним. С ненавистью он смотрел на черный блестящий телефонный аппарат. Протянул руку, но тут же отдернул. Опять раздался звонок. Куба чувствовал, что вспотел не только лоб, капли пота катились по всему телу — по груди, рукам и ногам. Его охватил холодный ужас. То и дело он протягивал руку к трубке и отдергивал ее. «Прекрати,— молил он мысленно неизвестного собеседника.— Прошу тебя, прекрати. Положи трубку, не звони больше. Опустите трубки и забудьте обо мне. В шесть придет Кристина, и мы вместе пойдем. Пожалуйста, прекрати...» Но телефон был неумолим. Звонки раздавались один за другим. Куба смотрел на черный аппарат до режущей боли в глазах; потом быстрым обезьяньим движением рванул трубку и крикнул:

— Ошиблись номером.

И бросил трубку на рычаг; он не мог выключить телефон, так как шнур был закреплен в маленькой эбонитовой коробочке в стене. Он прошел в ванную и остановился перед зеркалом. Начал быстро намыливать лицо, выдавив на него немного крема из тюбика, но когда попробовал вставить в станок лезвие, не смог с этим справиться — так дрожали руки. Вытерев с лица пену, он стал поспешно одеваться. «Пойду в парикмахерскую,— подумал.— Побреюсь или даже попрошу вымыть голову. Потом вернусь и не тронусь с места аж до шести, до той самой минуты, когда придет Кристина...» Завязывая галстук, он всмотрелся в свое лицо и вдруг увидел, что нет никакой надобности бриться — как у всех блондинов, щетина у него была негустая и светлая; вполне достаточно бриться через день. Он вспомнил также, что и голову мыть нет необходимости; последний раз он мыл ее три дня назад — волосы были совершенно чистыми. Но в глубине его сознания уже зрело желание, в котором он не хотел себе признаться. От мысли, что могло произойти, перехватило дыхание. Собрав остатки воли, он решил, что никуда не пойдет и будет ждать Кристину дома. Но тут в тишине пустой квартиры снова задребезжал телефон. «Шесть часов»,— подумал он с отчаянием. Минуту он стоял как вкопанный. Затем, подстегнутый новым звонком, бросился к дверям.

II

На улице, перед домом, стоял дворник — молодой человек с полным, добродушным лицом, смахивающий на южанина, у него были миндалевидные горящие глаза, иссиня-черная щетина, смуглый цвет кожи и великолепные зубы. В него влюблялись все продавщицы из близлежащих магазинов. Дворник вворачивал лампочку в треугольный фонарь, висящий над эмалевой дощечкой с номером дома. Увидев выходящего Кубу, он выплюнул окурок, чудом державшийся в уголке его пухлого рта, и сказал:

— Мое почтение. Ну и погодка, а?

— Осень.

— Ужасная зима будет в этом году,— сказал он и прищурился; глаза у него, однако, были так хороши, что даже веки не могли скрыть их блеск.— По радио вроде говорили. Но они вечно ошибаются... Им верить нельзя. На работу спешите?

— Нет,— сказал Куба.— У меня сегодня отгул — есть важное дело.

Дворник засмеялся. Скаля в улыбке зубы, он в то же время щурил глаза — за это его и любили: в нем была беззаботность и обаяние цыгана.

— Чего это вы заливаете? — спросил он.— Я тоже вчера малость выпил и сегодня поздно встал. Ко мне зять приходил; он — бутылку, я — бутылку, он — чекушку, я — чекушку, и оба — готовы... Варшава в цветах, а мы в стельку. Вы знаете Костека — моего зятя?

— Кажется, нет... Не припоминаю.

— А он вас знает,— сказал красавец дворник и успокаивающе махнул рукой.— Бояться нечего. Он мне всегда говорит: «Зенек, а как там твой жилец с седьмого этажа? Это интеллигентный человек. Я как-то вез его из «Камерального», он мне всю машину заблевал. Но сотнягу дал, как порядочный, вежливенько...» Зять вас любит. У него машина, вы знаете. Свой парень, это я вам точно говорю. Ушлый, все ходы и выходы знает. Если хотите, можно как-нибудь к нему заскочить на бутылочку.

— К сожалению, сейчас не могу,— сказал Куба, силясь глубокомысленно улыбнуться.— У меня нет времени, пан Зенек.

— Как только найдется минутка,— сказал дворник,— заходите к нам. Вы же знаете: рыбак рыбака видит издалека. А что это вы сегодня такой бледный? Может, случилось что? Ой, бледный.

— Плохо себя чувствую.

— Тогда выпейте простокваши,— посоветовал дворник.— С перепою простокваша — лучшее лекарство. Потом опохмелитьcя, съесть чего-нибудь горячего и начинай по-новой. Рассол от огурцов тоже хорошо пойдет... Подождите-ка, я сбегаю домой, авось что-нибудь еще осталось.

— Не надо,— сказал он.— Спасибо вам. Я очень спешу. В городе чего-нибудь выпью. Пока!

Он отошел, коснувшись пальцем шляпы. Шел он медленно — кружилась голова и душил свежий воздух. «В шесть,— думал он.— Только бы до шести...» Стиснул руки до боли в кончиках пальцев. Вероятно, он был очень бледен, поскольку услышал позади разговор двух мужчин.

— С утра нализался,— сказал один.

— Я его знаю,— сказал другой.— Он живет в том доме, где и портной. Дерьмо. Алкаш.

— Отцвели уж давно хризантемы в саду,— дополнил первый.— А мы-то с тобой почему трезвые, а, Янек?

— И у нас, в Варшаве, такое бывает,— вздохнул второй.

Куба остановился и обернулся. Один из собеседников оказался пожилым человеком в форме водителя трамвая; второму, блондину с курносым носом, на вид было не больше двадцати лет.

— Чего привязались, черт возьми,— выдавил из себя Куба.— Я ведь трезвый...

Водитель внимательно на него посмотрел и произнес:

— Ну ты, пьянь, вали отсюда!

— И не приставайте к незнакомым,— добавил блондин, сморщив от злости курносый нос.— Повежливей надо быть. Я на таких хулиганов кладу и иду куда шел...

Они грубо его оттолкнули и пошли дальше. Он с ненавистью глядел им вслед; будь его воля, он бы избил их, растер в порошок. Закрыв глаза, он представил себе их разбитые в кровь физиономии с провалами вместо глаз. Ему хотелось заразить их своей ненавистью, хотелось, чтобы они на мгновение обернулись. Они исчезли за углом, а ему все казалось, что он слышит их издевательский смех. По инерции он пошел вперед. Проходивший мимо мужчина сказал своей спутнице:

— Идем скорей. Уже одиннадцатый час.

Куба провел рукой по лбу и начал мысленно убеждать себя: «Уже десять. Мне осталось продержаться еще восемь часов. Раньше я туда пойти не могу, ведь придется идти без нее; надо будет отвечать на всякие вопросы, которые мне зададут, придется все о себе рассказать... Когда начал пить, почему пью, сколько пью, много ли должен выпить, чтобы опьянеть... Нет, один я не пойду. Осталось всего только восемь часов. Потом мы пойдем туда вместе, и мне не нужно будет бояться времени. Мне дадут порошок, и точка. Нельзя будет больше ничего себе позволять. Даже если проснусь среди ночи и не смогу заснуть. Даже если пропадет аппетит. Если мне будет сниться пустая площадь вся в ямах с известью. И захочешь напиться, а нельзя будет. Таблетка мне не позволит, мне просто не надо будет ничего делать — она все сделает за меня. Я вынужден буду ей подчиняться, потому что она способна на самое ужасное, всякие шоки, обмороки, а ведь у меня плохое сердце, я могу и концы отдать». Эта мысль ему особенно понравилась, и он еще раз повторил: «Я ведь могу и концы отдать из-за этого чертова сердца. Сердце у меня плохое, врачи не раз говорили. Может быть, меня и правда хватит удар, если после нее я выпью. Она будет меня сдерживать...»

Погода наладилась. Ветер осушил тротуары, развеял туман и очистил небо. Над городом показалось солнце; прохожие обращали к нему лица и расстегивали пальто. Куба шел, засунув руки в карманы и глядя вниз на каменные плиты тротуара, размышлял: «Потом все пойдет совсем по-другому. Я вернусь к жизни, если вообще можно к чему-либо вернуться. Не знаю, стану ли я счастлив, но, может быть, мне не будет так скверно. Быть вместе с людьми — это уже кое-что. Не как пьянчуга. Как нормальный человек. Кто не страдает и не пьет, не знает, чего стоит на самом деле быть нормальным человеком. Способным отвечать за каждый свой поступок, за каждое свое слово и желание. Человеком, которому позволено то, что и любому другому. Которому не приходится искать оправдания, что он исключительная личность, что у него тяжелое прошлое, дурные привычки или болезнь. Люди этого не понимают. Но я стану таким человеком...»

На перекрестке он остановился. Стоял, окруженный людьми, настолько поглощенный собственными мыслями, что совершенно не замечал происходящего вокруг. В какой-то момент он поднял голову и увидел, что красный свет все еще горит. Кто-то позади него буркнул:

— Почему не пускают?

А другой тут же ответил:

— Не видишь, что ли? Несчастный случай.

Куба увидел, что посреди улицы толпится народ. Но он ничего больше не смог разглядеть за плотной стеной людей. Обернулся и спросил стоящего за его спиной человека:

— Что, собственно говоря, произошло?

Офицер в форме летчика, приятный на вид, ответил ему:

— Понятия не имею. Давайте подойдем поближе...

Они перешли через дорогу и подошли к толпе. Офицер спросил:

— Авария?

— Две машины столкнулись,— ответила какая-то бабешка, игриво поглядывая на летчика.— Водители до того неосторожно ездят — иногда просто страшно улицу переходить.

— Пьяный был,— уверенно сообщил мужчина в кепке.

— Пьяный?

— Ясное дело. Водители — народ пьющий.

— Управы нет на этих мерзавцев...

Куба стоял в молчании, уставившись на людей и не видя ничего вокруг. Вдруг он схватил летчика за рукав.

— Пьяный был? — спросил почти шепотом.

— Откуда мне знать? — ответил удивленный офицер, осторожно высвобождая руку.— Я такой же прохожий, как и вы.

— Все мы прохожие,— сказал Куба.— Но мне показалось, вы о чем-то знаете.

Офицер внимательно посмотрел на него и, что-то пробормотав себе под нос, отошел. К Кубе приблизился человек, с виду точь-в-точь бывший помещик, и заговорил:

— От этих автомобильных катастроф, доложу я вам, житья не стало. Каждый день какой-нибудь несчастный случай. Читали в «Трибуна люду»? Ежедневно по вине пьяных водителей происходит несколько аварий, доложу я вам.— Он топтался около Кубы и, размахивая огромными ручищами, рычал зычным басом.

— Пьянство, доложу я вам, страшная штука. А хуже всего, что пьют именно водители. У пьяного водителя замедленная реакция, и отсюда все несчастья. Знаете что? Я напишу открытое письмо в «Трибуна люду» с предложением ввести смертный приговор для водителей, которые в пьяном виде сбивают людей. Иначе, доложу я вам, ничего не изменится! Каждый день несчастные случаи; позавчера на Тарговке пьяный шофер заехал прямо за ограду, в чей-то палисадничек, и раздавил ребенка в коляске. Да! Знаете что? Мы с вами, доложу я вам,— граждане, так давайте сделаем доброе дело. Вы, верно, человек интеллигентный — напишем это письмо вместе! Начнем так: «На городских улицах ежедневно гибнут невинные люди...» Или нет, лучше по-другому: «Город пьет. Каждый день мы видим людей, упившихся до скотского состояния...» И дальше в том же духе! И последнее требование: смертная казнь водителю, в нетрезвом виде сбившему человека! Вот как, доложу я вам!

Бывший помещик был похож на довольного собой человека. Но улыбка в одно мгновение погасла на его добродушной физиономии: прямо перед собой он увидел белые, остекленевшие от бешенства глаза Кубы.

— Сволочь,— прошипел Куба,— уйди, пока я тебя не убил!..

Он отошел в сторону и вновь почувствовал эту жажду, которой вынужден будет отчаянно сопротивляться еще несколько часов. Казалось, каждый встречный подмигивал ему и говорил: «Ну не дури, выпей рюмочку. Перестанешь мучиться, и все станет по-другому. Пойдешь туда завтра. Успеешь. Успеешь. Начни с завтрашнего дня. Завтра. Успеешь. Ну скажи:

успеешь или не успеешь? Выпей — и конец твоим кошмарам. Этот несчастный случай покажется тебе смешным. Твой дворник, прямо скажем,— дурак. Твои знакомые, терзавшие тебя сегодня утром, покажутся тебе достойными жалости с их идиотской заботой. Пойдешь в диспансер завтра. И так ты угробил столько дней, что тебе даст один день? Ну скажи! Даст что-нибудь? Жизнь не замолишь одним днем, мой милый! И водителю тоже это не удастся. Жизнь — это множество дней. У тебя еще много дней впереди. Успеешь. Нельзя идти туда в таком состоянии. Ведь нервы у тебя совсем ни к черту». Он же им отвечал: «Проваливайте. Мне нужно продержаться до шести. В шесть придет она. Если бы она была в городе, я бы сейчас пошел к ней. Но она вернется в шестом часу; она сейчас за городом, ее поезд приходит в пять ноль семь. Зачем вы уговариваете? Вы же знаете, что она поехала за город, поехала искать для нас жилье. Мы в нем поселимся — она и я. Я буду далеко от города. От пивных. От вас. Вместе с ней. Она за мной присмотрит. Только она и эти таблетки. Все это начнется в шесть часов. Проваливайте. Проваливайте...»

Улица взбудоражила его, его трясло. Каждое лицо, попадавшееся ему навстречу, пробуждало смешанное чувство ярости и удивления. «Убежать»,— подумал он. Посмотрел вокруг отсутствующим взглядом и увидел, что находится рядом с кафе; в это время дня там, наверное, уютно и тихо. «Кофе,— подумал он с облегчением.— Конечно же, кофе!» Он вошел и сел за столик: пахнуло дымом, ароматом кофе и пыльным плюшем — все эти запахи соединялись в один удивительный, сладкий запах кафе, для которого так трудно подобрать подходящее слово.

— Чашку кофе. Большую,— сказал он официантке — молодой девчонке в светлом фартучке.

— Большую,— повторила она. Мило улыбнулась и отошла.

Через минуту она вернулась, поставив перед ним дымящуюся чашку.

— Так быстро? — удивился он.

— Мы взяли обязательство,— заявила она.— Клиенты жаловались. Теперь стало намного лучше...— Она кокетливо усмехнулась и добавила:— Наша работа говорит за нас.

— Как? — спросил развеселившийся Куба. К нему вдруг вернулось хорошее настроение. Он подмигнул девушке и сказал: — Тогда вам надо носить на груди табличку с лозунгом. Я могу подарить серебряную цепочку...

— С каким лозунгом?

— Вы знаете — они висят в городе на каждом шагу.

— У нас тоже висит,— сказала она.

— Где?

— Над стойкой. Посмотрите.

Куба повернул голову. Действительно, над стойкой висело несколько табличек: «Наша работа говорит за нас», «Распивать водку, принесенную с собой, запрещается», «Лицам в нетрезвом виде вход воспрещен», «Собак не водить».

— Благодарю вас,— произнес он.— Прекрасные таблички.

— Была еще одна,— сказала официантка и снова кокетливо улыбнулась Кубе.— Видите, та, о собаках, не такая, как все? Ее только вчера сменили. На днях пришел этот пьяница, художник Левандовский, и разбил ее палкой, потому что, сказал, сразу же после первого числа купит себе намордник, а пока будет пить кофе, и чтоб ему не мешали. Кино, да и только! Вы, наверное, знаете Левандовского, правда? Вы знаете, какой у него голос: как заорет — все клиенты чуть не разбежались...

— Валите-ка отсюда,— грубо сказал он, сбрасывая со столика ее руку.— Убирайтесь к своим лозунгам и табличкам! Живо!

Девушка удивленно посмотрела на него и отошла; ее плечи слегка вздрагивали. Он следил за ней и чувствовал какое-то удовлетворение; мысленно повторял в ее адрес самые грязные ругательства. Закрыв глаза, он видел эту девчонку, отдающуюся семерым мужчинам одновременно, и, конечно же, она была пьяна. Как всякого алкоголика, Кубу преследовали

непристойные эротические видения. Даже когда он был с женщиной, ему достаточно было закрыть глаза, чтобы все сразу становилось неприличным.

Наконец он вроде успокоился, протянул руку к чашке, но тотчас отдернул — так она дрожала; он даже побоялся, что разольет кофе. «Спокойно,— сказал он себе,— спокойно... Ничего не произошло. Глупое недоразумение, вот и все. Эта дура тоже ни в чем не виновата. Надо перед ней извиниться. Сделаю это сразу же, как только немного успокоюсь. Куплю ей какие-нибудь цветочки, да, конечно, цветочки. Скажу ей, что был расстроен.— В это время он стал придумывать, что бы ему соврать.— Скажу,— размышлял он,— что у меня мать умерла или что-нибудь в этом роде. Или что меня выгнали с работы. Нет, лучше про мать...— Он прикрыл глаза и представил себе, как в пасмурный осенний день идет за гробом матери; никого, конечно, рядом нет, он один; у него бледное лицо и синие круги под глазами.— А может, ребенок? — подумал он.— Трехлетняя дочурка? — Нет, лучше мать...» Расчувствовавшись, он вдруг успокоился. Взял в руки чашку и стал, обжигаясь, пить.

В кафе вошла женщина. Она встала в дверях и, прищурившись, оглядывала зал. Неожиданно их глаза встретились; на ее лице отразились радость и удивление. Она быстро подошла к столику, за которым он сидел.

— Это ты? — спросила она, как бы не веря себе.— Господи, какая встреча! Можно?

— Садись, конечно,— пробормотал Куба, поднимаясь со стула. Он, как и она, был удивлен и обрадован.

Женщина села. Минуту они в молчании смотрели друг на друга с тем особым выражением недоумения и недоверия, которое бывает на лицах людей, неожиданно встретившихся впервые за много лет. Потом Куба сказал:

— Ты все такая же красивая.

— А ты все такой же милый.

— Откуда тебе это знать? Ведь мы столько времени не виделись.

— Есть люди,— сказала с улыбкой женщина,— которые умеют не обращать внимания на то, что других озлобляет.

— В самом деле,— тупо сказал Куба.

Вновь возникла неловкая пауза. Потом женщина произнесла:

— Я рада, что вижу тебя.— Она положила ладонь на его руку и повторила еще раз: — Правда, ты даже не представляешь, как я рада.

Она улыбнулась. И молниеносно вспомнилось все то хорошее, что когда-то пережили вместе в городе, где она жила. Он смотрел на нее, и глаза его светились.

— Я тоже очень рад,— сказал он тепло и искренне; все, что произошло сегодня, представилось ему сейчас ничтожным и несущественным.— Когда мы виделись последний раз?

— Давно,— сказала она.— Лет семь назад. Потом ты уехал.

— Это было необходимо,— сказал он с грустью.— Я не мог оставаться в той дыре... А ты по-прежнему живешь там?

— Живу. Но там многое изменилось. Отреставрировали старый центр, появилось много новых людей. А у тебя нет желания вернуться?

— Трудно сказать,— ответил он нерешительно.— Я пережил там хорошие минуты. Но не хочется возвращаться только для того, чтобы убедиться, что ни одна из них не повторится... А старый костел за рыночной площадью восстановили?

— Частично,— сказала она задумчиво.— Это был очень красивый костел, его трудно будет привести в прежний вид. Скажи, как ты?

— Не задавай глупых вопросов.

— Но мне в самом деле интересно.

— Работаю. Живу. В общем-то, все в норме.

— А что ты помнишь из прошлого?

— Все.

— И меня?

— И тебя тоже.

— Тогда хорошо,— сказала она.— Мне хочется, чтобы ты помнил обо мне. Женщине это необходимо. Но сомневаюсь, чтобы ты помнил все.

— Однако это так. Можешь спросить меня о чем угодно.

Она минуту помолчала. Потом сказала:

— А помнишь тот вечер, когда ты провожал меня домой после кино?

— Таких вечеров было много.

— Но тот был один.

— Ага, знаю, что ты имеешь в виду.

— А какой фильм мы смотрели?

— Не поймаешь. У меня хорошая память. «Выбывший из игры».

Я по сей день помню лицо того актера.

— Джеймс Мейсон.

— Гениальный актер. Я таких замечательных фильмов потом больше не видел.

— Я тоже. А помнишь, какой дорогой мы тогда ко мне шли?

— Берегом Одера. Было тепло и тихо, квакали лягушки, рыболовы уже разошлись. На тебе было светлое платье без рукавов. Город тогда еще был весь разрушен. Над развалинами висела луна.

— Зачем мы это вспоминаем,— с неожиданным раздражением сказала женщина.— Чушь все это!

— Да. Но не перебивай меня. Я хочу восстановить все в точности. Ненавижу свои воспоминания. Но это мне вспомнить хочется...— Он начал говорить быстро, горячо: — Я помню, помню, как сейчас... Тогда еще был жив Галчиньский [1]. Тебе нравились его стихи. Мы были молоды и не очень-то знали, о чем говорят на берегу реки. Теперь бы мы, вероятно, не произнесли ни слова. Ну да ладно. Я жил на Семпольне, такой маленькой улочке, обсаженной деревьями...

— Ты был тогда интересный, видный,— сказала она.— Губы, как у девушки. Выражение лица у тебя всегда было неприятное, но рот красивый. Ты носил костюм защитного цвета и был похож на солдата из американского фильма; тогда еще все так одевались. У тебя был мотоцикл, мы ездили на нем даже за Олесьницу. Один раз перевернулись, помнишь?

— Я продал тот мотоцикл,— сказал он.— И незачем о нем говорить. Скажи лучше, что ты помнишь?

Ее губы дрожали. Она говорила, глядя на него пустыми глазами:

— Ты любил петь, но всегда фальшивил. Пел ужасную пошлятину, однако тебе это нравилось. Бывало, бродил ночами и говорил всем, что в жизни нет ничего стоящего. А на следующий день тебя вдруг охватывала жажда деятельности и ты начинал всех агитировать. Тебе было тогда двадцать лет. Я на год была моложе.

Она замолчала, постукивая пальцами по столу.

— Не останавливайся,— попросил Куба.

— Что случилось с твоим лицом? — спросила она, глядя на него с отчаянием.— Куда девалась твоя красота?

— Время.

— Да,— сказала она.— Да.:. Ты знаешь, что я вышла замуж?

— Нет. Ты мне не писала, я о тебе ничего не знал.

— У меня дочка.

— И этого я не знаю.

— Не надо было говорить тебе этого,— сказала она.— Ничего не вернуть, не исправить. Жизнь нельзя начать сначала. Все это сказки. Я не люблю своего мужа. Если б он умер, могла бы на его похоронах рассказывать анекдоты. Сама не понимаю, почему я не ухожу от него. Сказать тебе смешную вещь?

— Что за вопрос?

— Я ведь тогда тебя любила,— быстро, сдавленным голосом произнесла она.— Я еще долго потом, когда ты уже уехал, думала о тебе. Мне

[1] Константы Ильдефонс Галчиньский (1905—1953) — польский поэт. *(Здесь и далее прим. перев.)*

было тяжело, я не знала, что делать. Правда. Не знаю, зачем я вышла замуж. Может быть, лучше было подождать еще немного?

— Почему ты мне этого не сказала?

— Тогда?

— Да. Тогда.

Она минуту помолчала. Через вращающиеся двери в кафе вошла шумная компания. Женщина мгновение за ней наблюдала, потом произнесла:

— Ох, все это не имеет значения. Дай мне сигарету.

— Пожалуйста.

— Ты все куришь эту пакость,— сказала она, глубоко затягиваясь.— Почему?

— Привычка. А ты зачем куришь? Тогда ты не курила.

— Я очень изменилась?

— Тебе это интересно?

— Ошибаешься,— сказала она с горечью.— Только в молодости все интересно. Человек познает мир до определенного возраста. Дальнейшая игра — лишь повторение чужого опыта.

— Чего тебя тянет к тем временам?

— Я тогда была влюблена.

— И молчала. Если б сказала хоть слово, все было бы иначе.

— Я боялась,— проговорила она.— Боялась, что люди скажут. Смелости не хватало. Теперь жалею. Может, и в самом деле все было бы иначе. Но тогда я была трусиха. Люди предупреждали меня и пугали. Только теперь я вижу, что напрасно их слушала. Теперь вот жалею. Так всегда бывает, когда в отношения двух вмешиваются доброжелатели. Доброжелатели уходят, а сожаление остается. Но не будем об этом говорить. Выпьем кофе и распрощаемся.

— О ком тебя предупреждали?

— О тебе.

— Неужели я так страшен, черт возьми?

— Из-за водки,— медленно произнесла она, не глядя на него.— Говорили, что ты много пьешь, что можешь спиться. Меня это пугало. Мой отец испортил матери жизнь. Она вечно ждала его, он вечно давал слово, что исправится, а потом напивался. У меня не осталось хороших воспоминаний о детстве, Куба. Все, чем я живу,— это дни с тобой...— Она мгновение поколебалась, потом продолжала: — Помню, когда мне было десять лет, однажды вечером отец пришел пьяный и ударил маму. Я не могла уснуть. Среди ночи встала, подошла к нему и пырнула его ножом. Я была слишком слаба, чтобы всерьез его ранить. Все кончилось «скорой помощью» и криками. Но я не могу забыть этой ночи до сегодняшнего дня. Вот чего я боялась, Куба, боялась, что ты будешь приходить домой пьяный, и всякий раз я буду вспоминать ту ночь... Впрочем, зачем я все это тебе говорю? Мне хотелось, чтобы ты знал, что я тогда тебя любила. И что мне очень жалко, что мы не вместе. Можешь, правда, выбросить это из головы. Как тебе удобнее.

Он ответил не сразу:

— Забудь обо всем и ни о чем не жалей.

— Собственными руками загубила свою жизнь,— сказала она тихо; на ее лице отразилась горечь, и оно сразу постарело. Она говорила, не глядя на Кубу: — С души воротит, когда ко мне муж приближается. Изменяю этому идиоту почти каждое воскресенье. Ну хоть бы догадался. Покорное животное. Не знаю, зачем я живу, если никого не люблю.

— Прекрасная история,— сказал Куба и мрачно усмехнулся.— Я много таких слыхал в жизни. Любили друг друга, когда были молоды: ночи, соловьи и все такое. А когда встретились через несколько лет, она оказалась шлюхой, а он вором. Безразлично мне все это.— Он вдруг понял, что врет самым постыдным образом, и стал говорить еще торопливее: — Не хочу никаких воспоминаний. Я считал, хоть тогда было что-то хорошее, а выходит, такая же дрянь, как и все прочее...— Он знал, что если сию же минуту

не разрушит то, о' чем она рассказала, ему станет невмоготу — опять окажется, что в его жизни было нечто святое, к чему нет возврата. Он язвительно усмехнулся и сказал: — Я — живой труп. Мне на все наплевать, гори оно синим пламенем. Я мертвец. Не хочу никаких сожалений, никаких воспоминаний...— И неожиданно, хорошо понимая, что сделал, умолк.

— Куба,— с отчаянием произнесла женщина.— Куба...

Она еще что-то говорила, но он ее уже не слушал. Следил за ее шевелящимися губами, но слова проскакивали мимо. Внезапно он встал и, не прощаясь, направился к выходу. Часы, висящие над буфетом между табличками, пробили час.

III

Выйдя на улицу, он остановился. Сделал несколько шагов, но идти дальше ему помешала страшная, разрывающая череп головная боль. Он не мог понять, откуда вышел и куда движется. Прохожие с улыбкой поглядывали на него; он был мертвенно-бледен, галстук съехал на сторону, шляпа — на затылок. Кто-то сказал: «Не стойте на дороге! Вот еще герой нашелся, черт тебя возьми...» Он послушно отступил к стене, оперся на нее, и ему вдруг показалось, что она заходила ходуном под ударами его сердца. Он стоял на месте, боясь пошевелиться. Он знал, что должен стоять, что двигаться нельзя: если сейчас он сделает хоть шаг, то пойдет, напьется и не встретится в шесть с Кристиной.

Неожиданно кто-то заглянул ему в лицо.

— Вам плохо? — спросили его. Куба не успел ответить, как прохожий вдруг злорадно рассмеялся.— Метек,— сказал он своему приятелю,— да это же тот самый засранец, который утром к нам цеплялся... Узнаешь?

Водитель трамвая подошел и посмотрел на Кубу.

— Готов,— бросил он коротко.

Тот, что помоложе, курносый, сунул руки в карманы и отступил на шаг. Потом с ненавистью произнес:

— Тут вкалываешь по пятнадцать часов в сутки, а этот кретин шляется себе от пивнушки к пивнушке. Я — кирпич, он — бутылку. Я — вагон, он — кофеек. Тут сотню не можешь заработать, а этот говнюк тысячи пропивает. И откуда он их берет?

— Черт с ним, идем.

— Подожди,— крикнул в бешенстве молодой.— Я ему скажу, кто он такой. Моя баба бьется, чтобы накопить себе на пальто, а этот...— Он подошел к Кубе и схватил его за галстук, а другой рукой, взяв за подбородок, стал ударять головой о стену, приговаривая: — Ты клоп вонючий! Чего тебе не хватает? Жрать нечего? Одежды нет? Был бы, как я, нищета, жизнь бы тогда тебя научила...

Куба оторвался от стены и ударил его в лицо. Они сцепились и клубком покатились по земле. Не прошло и минуты, как парень обхватил Кубу за шею и треснул головой о каменные плиты тротуара.

— Ты на кого бросаешься, мерзавец? — рявкнул он.— На парня с Мурановской? Подожди, я с тобой живо расправлюсь...

Но он ничего не успел. На удивление быстро явился милиционер и разнял их.

— С утра уже, хулиганье? — спросил он, стараясь придать своей скучающей физиономии грозное выражение.

Парень тупо на него посмотрел и вдруг заорал:

— А забирай меня! Сажай! Я за жизнь не держусь. Думаешь, у меня есть хоть половина того, что у него? Хватайте меня! Вяжите!

Метек дернул его за руку.

— Янек, не валяй дурака! — крикнул он. Повернулся к милиционеру и объяснил: — Это все из-за этого пьянчуги. Оскорбил при всех приятеля. Накажи меня Бог, если вру.— Он ударил себя в грудь.

Милиционер придержал Янека, который снова рванулся к Кубе.

— Спокойно,— сказал он резко.— Пройдемте. И вы тоже.

— Никуда я не пойду,— прохрипел Куба. Беспомощно, как слепой, он вытирал с лица грязь, перемешанную с кровью. Посмотрел на милиционера и крикнул истерически: — Никуда я не пойду! Не заставите!

— Эге,— протяжно произнес милиционер. Поправил ремень.— Это мы еще поглядим. Тоже мне недотрога. А ну, собирайтесь!

Куба поднялся с земли и поплелся куда велели. Первым шел Метек, стараясь смотреть себе под ноги, за ним — Куба с Янеком, последним — милиционер. Он фальшиво насвистывал мелодию «Ох, папаша». За углом к ним присоединился второй милиционер.

— Троих скрутил? — спросил он весело. У него было нежное девичье лицо, покрытое пушком, карие глаза; на Кубу он смотрел с нескрываемым интересом.

За ними спешили любопытные. Чей-то женский голос произнес:

— Пальто ему порвал...

— Такой материал черт-те сколько стоит,— бросил кто-то густым басом.

— Чистая шерсть...

— Это бандиты? — пропищал какой-то мальчуган.

— Дуй домой, щенок...

— Это те, что обворовали магазин на Грохове?

— Я вам что, справочное бюро? У милиционеров спрашивайте.

— Кто не спрашивает, не сидит...

Они прошли несколько кварталов и оказались в отделении. Молодой милиционер сказал с ехидцей:

— Приветствуем вас в нашей скромной здравнице. Будьте как дома.

Метек огрызнулся:

— Чего выпендриваешься? Думаешь, с хулиганьем имеешь дело? Да?

Милиционер рассмеялся:

— А ты, конечно, невинный ангел!

Метек с презрением посмотрел на милиционера, тихо выругался, но ничего не ответил, вдруг сгорбился и затих. Его молодой приятель каждую минуту сплевывал. Куба молчал, в голове у него гудело, как в пустом котле. Все прошли в дежурную часть. Сержант за столом поднял голову, оторвавшись от каких-то бумаг, потом, не говоря ни слова, вновь занялся своим делом. Милиционеры закурили. Куба, водитель трамвая и Янек стояли, опершись о барьер. Сержант поднял на них свои карие глаза и бросил:

— Не прислоняться! Не фонарный столб! Документы!

— Я...— начал Янек, но сержант, даже не взглянув на него, оборвал:

— Паспорта! Объяснения потом!

Они стали выкладывать на стол документы. Сержант взял в руки паспорт Кубы, прочитал его внимательно графу за графой и спросил:

— Имя?

Куба минуту молчал. Обвел тяжелым взглядом портреты государственных деятелей, висевшие на стене, рассмеялся и сказал:

— Алкаш.

— Ага,— сказал сержант и, быстро поглядев на Кубу, резко спросил: — Фамилия?

— Алкаш.

— Профессия? Тоже алкаш?

— Тоже.

— Ладно,— сказал сержант; в его глазах блеснуло любопытство.— Очень жаль, но по паспорту вы — Ковальский.

— Неправда,— сказал Куба.— Неправда... Это раньше у меня была такая фамилия. Но это было давно и ни о чем не говорит. В нашей стране тысячи Ковальских. Иногда они зовутся Квятковскими, или Пётровскими, или еще как-нибудь... Это ровно ничего не значит...

— И вы никогда не сидели?

— Нет,— соврал Куба.

— Не беда,— невозмутимо заметил сержант.— Теперь посидите.

— Дрались на улице,— сказал один из милиционеров.— Я как раз делал обход, смотрю, а они — в кровь. Когда я подошел, они катались по тротуару. Где это слыхано — устраивать такое средь бела дня?

— Не цепляйся к ним,— сказал молодой милиционер и подмигнул.— Они притворялись, будто играют в кучу малу... А ты с ними не по-человечески.

Неожиданно раздался дикий смех. В дежурное помещение вошел новый милиционер, толкая перед собой маленького человечка в зеленой шляпе. Человечек вырвался на середину, пошатнувшись, уставился на сержанта и победоносно закричал:

— В третью? Да?

— Точно,— сказал сержант.

— Бывшую первую? Да?

— Точно.

— Улица Беднарская, двадцать три? Да?

— Все играет,— сказал сержант.— Как всегда, гражданин Рыбицкий. А теперь раздевайтесь.

Человечек расхохотался и сказал:

— Сержант, я как знал, что так получится. Всегда попадаю в третью камеру. Что прикажете делать? — крикнул он и, кривляясь, повернулся к Кубе: — У меня жена умерла. Имею я право напиться или нет?

— Успокойтесь, Рыбицкий,— сказал сержант.— На прошлой неделе вы отмечали кончину горячо любимой дочки, так?

— На прошлой неделе, первого,— сказал милиционер, который привел человечка,— у него тоже были поминки по жене. Даже фотокарточку мне показывал, только напутал чего-то, на фото был какой-то лысый малый с усами. А еще три месяца назад, если память мне не изменяет, оплакивал смерть своих дорогих близнецов...

— Видать, этот год для него на редкость невезучий,— сказал сержант.— Ну, Рыбицкий! Раздевайтесь!

Человечек, не протестуя, стал раздеваться. Он вытащил все документы, потом расческу со сломанными зубьями, носовой платок, дешевый перочинный ножик, зеркальце; все это аккуратно положил перед сержантом и спросил:

— Поясок тоже?

— Разумеется,— сказал сержант.— Разумеется... Вы ведь знаете, Рыбицкий, что наготове ваша любимая троечка, где на нары ложатся без пояска. В таком состоянии поясок — вещь опасная, можно из него, например, петельку смастерить, и что тогда прикажете делать вашим женам со всеми их могилами? Кто на них будет ходить? Ну, Рыбицкий, скажите...

— Меня погубил успех у женщин,— сказал Рыбицкий.— Шнурочки тоже?

— Шнурочки не надо.

Человечек коротко рассмеялся.

— А в троечке я не загнусь, сержант?

— Ни в коем случае.

Его повели в камеру. В дверях он выкатил грудь колесом и отдал честь. Потом дверь захлопнулась, и из камеры донеслось пение. Человечек пел «Ночью на речке с гитарой сидел...». У него был сиплый и дребезжащий голос. Сержант сказал:

— «Андалузию» поет. Как обычно. Сейчас начнется припадок. Кровать приготовили?

— Да,— сказал милиционер.— Американку: и для рук, и для ног. Лишь бы башку себе не разбил. Может быть, «скорую» вызвать?

— Не приедут,— усталым голосом сказал сержант и постучал папиросой о стол.— Не хватало им ездить к каждому алкоголику. Вот была бы потеха.— Он встал, потянулся и подошел к окну. Потемнело, грязный сумрак затягивал улицы.— Хрен знает что,— сказал он, закуривая.— Американки, камеры, штрафы. Какой от этого толк? Радость кому-нибудь принесет или надежду? А ну все это к черту!

Сержант отвернулся от окна и подошел к барьеру. Он был высокий, лицо злое, усталое. Остановился перед Кубой и, глядя на него с нескрываемым презрением, сказал:

— Когда я был в партизанах, думал, как только кончится вся эта свистопляска, вы станете жить по-другому. Мне и в голову не могло прийти, что я буду сержантом милиции, что придется отбирать у вас пояса... Черт подери...

В этот момент раздался страшный, звериный рев.— Ы-ы-ы-ы,— выл пьяный за стеной.— Ы-ы-ы-ы...— Его голос звучал на такой высокой ноте, что мороз подирал по коже. Метек побледнел, Янек испуганно заморгал глазами, словно неожиданно ослепленный ярким светом.

— Началось,— сказал сержант.— Господи, если бы можно было заткнуть ему пасть...— Он посмотрел на Кубу покрасневшими от бессонницы глазами и спросил всех троих: — Где это вы так напились?

— Я совершенно трезвый,— сказал Метек и пожал плечами.

— Мы все трезвые,— с трудом произнес Куба. У него тряслись колени.— Виноват я. Ударил этого человека,— он показал рукой на Янека.

— Чего вы не поделили?

— Ничего.

— Тогда почему вы его ударили?

— Нервы сдали.

— Послушайте, граждане,— сердито произнес сержант.— Я мог бы вас всех тут подержать, пока вы не научитесь вести себя на улице. Заплатите штраф и идите домой. Видеть вас больше не хочу. Теперь, небось, мириться пойдете, как водится. Понимаете, к чему я клоню?

Ответить они не успели. Дверь дежурной части резко распахнулась. Вошли два милиционера, удерживая пьяного мужчину. Он старался вырваться, выдергивал руки и отталкивал их. Его безумные глаза были налиты кровью.

— Наручники,— прошипел один из милиционеров.

К пьяному подскочили двое других милиционеров, они с трудом надели наручники. Он хрипел и плевался. Лоб его был разбит, губы рассечены. Под разорванной рубашкой виднелась потная волосатая грудь.

— Вот так-то поступают в Народной Польше? — крикнул он, глядя с ненавистью.— Чтоб вам провалиться...— Он поднял голову, долго смотрел на часы и вдруг сказал: — Эти хамы схватили меня сегодня в три. Меня, Сташека Колачевского с Воли...

— Вы свободны,— сказал сержант, обращаясь ко всем троим. Он выглядел страшно усталым, глаза с тяжелыми веками были полузакрыты, он сутулился.

— Вы — свободны,— повторил он и отвернулся.

— Ы-ы-ы-ы-ы-ы,— донеслось из-за стены; крик перешел в визг, потом раздался звук тяжело упавшего тела, и наступила тишина.

Куба, водитель трамвая и Янек взяли свои документы и вышли из отделения милиции. Уже зажглись фонари. Улица была пустынна. С Вислы тянуло холодом. Янек сказал:

— Ладно, не обижайся.

— А я и не обижаюсь,— ответил Куба и пожал плечами.

Водитель произнес:

— Уже десять минут четвертого. В пять мне на работу. Еще успеем выпить.— Он улыбнулся Кубе и добавил: — По-моему, ты малый с характером...

— Спасибо,— сказал Куба.— К сожалению, мне некогда.

— Нам в ту сторону,— сказал молодой приятель, глядя на Кубу.— Чтоб им пусто было.

— Да,— подтвердил Куба.— Чтоб им пусто было. До свидания.

Помахав на прощание рукой, он почти бегом устремился вперед. В голове, отдаваясь в висках, стучала одна-единственная мысль: пока все, что он пережил, мучительное и страшное, не забылось и обжигает несправедливостью, пока он не опомнился, не пришел в себя, не остыл,— он должен

выпить. В эту минуту он чувствовал бесконечную признательность миру, сегодняшнему дню и тем людям, которые его на это спровоцировали. В его сознании приоткрылось окошечко, куда он мог выбросить все, что в эту минуту было ненужным, мешало напиться; он чувствовал, как разрывается его сердце от блаженного ощущения счастья, того странного счастья от собственной униженности, которое способен испытывать только алкоголик.

Пошел дождь. Люди ежились от холода, поднимали воротники пальто и старались держаться поближе к стенам домов. Темнота опускалась на город; высоко, за грязными тучами, умирал дневной свет. В окнах зажглись первые огни, ветер раскачивал фонари, и их свет метался по лужам. «Какое мучение,— подумал Куба, прикрыв глаза.— Мучение...» Он остановил какого-то парня и спросил:

— Где тут кабак?

— Да их здесь полно,— ответил парень.— Ближайший — за углом. «Под орлом», годится?

— Вполне,— сказал Куба.— А где это?

— Прямо за углом,— бросил парень и показал рукой.

Через минуту Куба вошел в помещение. Пахнуло пивом, несвежими закусками и прогорклым жиром; под потолком раскачивались оставшиеся еще с лета липучки с дохлыми мухами. Над буфетом широко раскинуло крылья чучело орла; рядом с безобразного плаката кричали огромные буквы. «Алкоголь — твой враг»,— прочитал Куба. «Иди в шахтеры»,— призывал другой плакат. «Просто анекдот»,— подумал Куба и рассмеялся. Он остановился возле стойки и щелкнул пальцами. К нему подошла буфетчица.

— Сто грамм,— сказал Куба. Он сдвинул шляпу на затылок.

Женщина посмотрела на его лицо в ссадинах и спросила:

— Несчастный случай на работе?

— После работы.

— А что произошло?

— Сто грамм,— сказал с мукой в голосе Куба.

— Закусывать будете?

— Можно.

— Селедочку?

— Можно.

— Пиво?

— Можно.

— У нас только «Портер»,— сказала буфетчица, разводя руками. Она была такой же уродливой, как плакаты, между которыми стояла.— Другого пива пока нет. Обычно нам в пять привозят. А сейчас...— Она отогнула рукав халата и посмотрела на часы.— О, еще рано! Половина четвертого.

— Давайте «Портер»,— с трудом выдавил из себя Куба.— Быстрее, пожалуйста...

— Не горит, успеется,— сказала она, скаля лошадиные зубы.— Водки налить в стопку из тонкого стекла или из толстого?

— Все равно. Водка и есть водка. Я не алкоголик.

— У клиентов разные претензии,— проговорила она.— Иногда такие попадаются, которым невесть что кажется... Еще чего-нибудь нужно?

— Нет,— сказал Куба и энергично тряхнул головой.— Я больше пить не буду. Сто грамм и — домой. Точно. Или, знаете что? Еще одну, сразу...

Он выпил и поставил стопку на стойку. Перевел дыхание. Потом выпил вторую. «Плохи мои дела,— сказал он самому себе.— Ведь знаю же, что так нельзя, хуже и не придумаешь. И минуту назад это знал, знал, что ничего страшнее этого случиться со мной сегодня не могло. Ведь я еще мог остановиться...» И вдруг холодные пальцы страха сдавили ему голову.

— Еще одну,— сказал он быстро.

Выпил и продолжал размышлять: «Знал — и не остановился. Я алкоголик. Знаю, что водка — моя смерть. Знаю или не знаю? Знаю. И тем не менее выпил. Кристине уже незачем приходить в шесть. Сегодня ничего уже не выйдет. Начну с завтрашнего дня... — Он вдруг тихо рассмеялся.—

С завтрашнего дня... Самая большая беда для каждого пьяницы — начинать с завтрашнего дня, а не с сегодняшнего. Я ведь отлично понимаю, что натворил...»

— Вы обо мне забыли,— произнес он вслух.

Буфетчица подошла к нему с бутылкой.

— Эта — уже четвертая,— сказала она.

— Я сам знаю таблицу умножения.

Он выпил, глубоко вздохнул и закурил. Руки у него теперь были ловкие и сильные и не дрожали, как утром. Он смотрел на них с удовольствием. Рядом кто-то с уважением произнес:

— Лихо вы...

— Выпьете со мной? — спросил Куба. Заговоривший с ним человек был низкорослым, плотным, лысоватым, с пористой, угреватой кожей.

— С удовольствием,— ответил грубым голосом угреватый.— Но я пустой.

— Я приглашаю.

— Мы ведь незнакомы.

— Я вас знаю.

— Меня? — удивился угреватый.

— Да. Ваша фамилия — Ковальский.

— Ошибаетесь,— сказал угреватый.— Я...

— Ах, да черт с ним,— прервал его с досадой Куба.— Не все ли равно, как ваша фамилия, как моя фамилия?.. Нас и так все знают.

— Мы — люди,— сказал угреватый.

— Это благородно с нашей стороны. Хозяйка, две по сто!

Буфетчица снова подошла с бутылкой. Налила и сказала:

— Всего будет шесть.

— Точно,— сказал Куба.— Я уже захорошел.

Буфетчица отошла. Некоторое время оба молчали, глядели друг на друга: угреватый — смущенно, Куба — с удовольствием. По улице, громыхая, проехал трактор. Потом угреватый поднял стопку:

— Ну, будем!

— Будем! — сказал Куба.

Они чокнулись и выпили. По телу Кубы разлилось тепло, блаженное, мучительное, проникающее в каждую клеточку. Он воскрес, он был молод, силен и здоров. Буфетчица вдруг стала похожа на Лоллобриджиду, угреватый казался славным малым, кабак — вполне приличным, теплым и сейчас самым замечательным заведением на всем белом свете.

— Еще по одной,— сказал Куба.

Буфетчица налила.

— Если вы скажете «восемь»,— произнес Куба,— я сегодня же расстанусь с жизнью.

Она кокетливо улыбнулась и проговорила:

— Восемь.

IV

Буфетчица отошла, покачивая широкими бедрами. В кухне кто-то со злостью прокричал: «Свиную отбивную два раза!» На стойке шипела никелированная кофеварка, в ней отражались искаженные лица сидящих у бара. Шахтер с плаката снисходительно улыбался, орел вскидывал для полета свои прекрасные крепкие крылья. Куба машинально поправил галстук и, поднимая стопку, произнес:

— Выпьем?

— За что? — спросил угреватый. Его глаза светились счастьем.

— За орла. Идет?

— Идет,— ответил тот.— Я за эту птичку уже кучу денег просадил. Поехали!

— Привет,— громко сказал Куба. Он снова посмотрел на шахтера и на орла и подмигнул им. Потом взглянул на угреватого, который уже выпил и,

страшно морщась, нюхал корочку хлеба. На его висках курчавились остатки волос, нос был тупой и короткий. «Облысел, бедолага»,— подумал, глядя на него, Куба. И вдруг почувствовал умиление.— Знаете что,— сказал он дружелюбно, обнимая его за плечи,— выпьем на брудершафт. Я — свой парень, простой, обычный. Живется мне скверно, поверьте... Я люблю таких, как вы. Идет?

— Идет.

— Меня зовут Куба, а тебя?

— А меня Владек.

— Владек, Владек...— повторял Куба: ему казалось, что в этом имени заключена сейчас вся прелесть жизни. Он опять посмотрел на него взглядом нежнейшей возлюбленной.— Владек,— сказал он, кладя ладонь на его руку,— закажи водку. Я плачу.

— Хозяйка, — закричал Владек замогильным голосом.— Две по сто. Только быстро, нам пора в школу...

Куба весело захохотал и хлопнул Владека по спине. Буфетчица налила и, не говоря ни слова, отошла, записывая что-то в блокнотик.

— Пей,— сказал Куба, вручая Владеку стопку.— Если Бог и партия позволят, встретимся еще когда-нибудь, а?

— Всенепременно.

Они выпили. Сидевший в углу гармонист уже давно пел надтреснутым голосом:

Обычный день, как день, пустой, ненужный день.
Поломан унитаз и за окном туман.
По грязным стеклам барабанит дождь.
И пианино за стеной — как барабан.

— Пусть катится ко всем чертям! — сказал Владек.

— Ты слушай,— бросил Куба.— Я люблю такие песенки.— Гармонист пел:

Ах, милая, зачем тебя здесь нет?
Зачем мне душу ест тоска, как ржа?
Обычный день, как день, пустой, ненужный день.
И только водка мне спасение всегда.

Он с размахом последний раз прошелся по клавишам, отстегнул ремень и положил гармонь на стол. Потом встал и подошел к буфету, оперся на стойку возле Кубы. У него были большие темные, но какие-то мутные глаза, придававшие его помятому лицу странное, тревожное выражение. «Господи,— подумал Куба,— какие прекрасные глаза! Откуда?» И вдруг ощутил до дрожи настоятельную потребность сказать этому человеку что-нибудь приятное.

— Вы хорошо играете,— проговорил он, сглотнув слюну.— Я очень люблю такие песенки.

Гармонист посмотрел на него. Когда он поднял веки, Куба заметил, что глаза у гармониста пусты, как высохший колодец. Поношенный пиджачишко висел на нем словно тряпка; и намека не было на мускулы. Тонкая шея была повязана хлопчатобумажным шарфом.

— Сыграть вам «Франсуа»? — спросил он Кубу.

— Не надо. Ненавижу вальсы.

— А «Тамару»?

— Тоже нет. А что вы еще умеете?

— Разгадывать сны,— со злостью ответил гармонист.— Когда-то имел свою практику на Вспульной. Но все это давно позади.

— Владек,— сказал с восхищением Куба, широко разводя руками.— Владек, он умеет разгадывать сны...— и повернулся к гармонисту: — Вы любые сны разгадываете?

— Любые,— равнодушно произнес гармонист. Глаза его были устремлены в лужу на стойке.— И хорошие, и дурные.

Куба поправил шляпу. Поудобнее оперся о стойку; тяжелым взглядом уставился на Владека и гармониста. Они сейчас были где-то далеко, за тысячу километров, отгороженные стеной тумана; славные, добрые, чуткие

друзья; они одни могли ему чем-то помочь, и никто больше на всем белом свете. Его вдруг понесло: дикое, неудержимое чувство, не сравнимое ни с каким иным. Счастье, испытываемое пьющим в такой момент,— самое полное, которое дано испытать человеку. За эту минуту, когда смотришь в лицо и ждешь отвращения, жалости или испуга, пьяница готов отдать все, хоть и знает наперед, что в следующее мгновение он будет содрогаться от одного лишь воспоминания об этом.

— Я видел странный сон,— задумчиво начал Куба, пристально вглядываясь в их лица.— Если бы вы могли мне его объяснить... Такой сон бывает, наверное, раз в жизни. Дурной сон. Боюсь даже вспоминать о нем, так он меня измучил...

— Рассказывай,— пробормотал Владек. Он забавлялся носовым платком, завязывая на нем узелки.— Рассказывай. Гармонист тебе все разъяснит. Артисты в таких вещах доки.

Гармонист всматривался в лужицу на стойке. Куба провел рукой по лбу: лоб был холодный и липкий от пота.

— Мне снился страшный сон,— медленно повторил он,— как будто я — пьяница, я — толковый инженер, моя фамилия Ковальский, у меня хорошая квартира с телефоном... Понимаете? И мне снилось, что я хочу забыть о своем пьянстве, забыть любой ценой. Убежать от людей, с которыми пил, от кабаков, от воспоминаний... Во сне иногда такое бывает, правда? Но во сне нельзя ни от чего убежать, и это самое страшное. Мне снилось, что каждый прохожий, встречающийся на улице, приветствует меня: «Здравствуй, пьяница!» Снилось, что мне непрерывно звонят какие-то люди и спрашивают: «Ну, как ты там, с похмелки? Нализался ночью? Как там было вчера? Ты помнишь, как по пьяному делу ты разбил зеркало? Помнишь, как спьяну избил милиционера? Помнишь, как тебя бросила невеста?..» Вот такие задают вопросы. А я все помню. Иногда я вижу пьяные рожи, которые встречал в жизни. Они встают передо мной и молчат, смотрят на меня, приближаются... Кто-то тычет в меня пальцем и говорит: «Ты — пьяница, ты — алкоголик, ты пьешь, пьешь, пьешь...» Я не могу от них убежать, закрываю лицо руками, но все равно вижу их все яснее. Я затыкаю уши, но вместо крика слышу шепот: «Пьяница, пьяница, пьяница...» — Речь Кубы стала невнятной, он поднял вверх руки, как будто хотел ударить Владека и гармониста.— О-о-о,— бормотал он.— Ох, до чего же мучителен такой сон, вы себе и представить не можете. А снилось мне еще много такого... Страна, ее судьба,— непонятная, невыносимая, трудная. Страна, в которой так много надо делать, так много надо работать, так уметь прощать, любить и надеяться. А самый страшный сон, когда снится, что я в этой стране совершенно одинок. Что уже никто и никогда не будет меня уважать. Что во всех моих анкетах, в каждой графе написано: «Пьяница». Что меня зовут «Пьяницей», что у меня нет воспоминаний. Каждое воспоминание начинается с водки и кончается похмельем. Мне снилось, что из-за меня у моей матери заболело сердце и она умерла. Что одна из женщин, с которой я жил, не захотела от алкоголика ребенка, навредила себе и умерла. Что у меня нет друзей. Все от меня отвернулись. Свою девушку я обманываю.... Страшный сон,— прошептал он. Потом уставился в лицо гармониста и сказал: — Но это сон, да? В жизни ведь такого не бывает? Жизнь, несмотря ни на что, не так ужасна, правда?

— Не стоит запоминать дурные сны,— сказал гармонист.

— А что делать, чтобы их забыть?

— Лучше выпейте еще водки,— сказал гармонист. Он продолжал смотреть на лужу.— Пройдет. Все проходит. Нет хуже сна, чем сама жизнь. И тоже проходит. Прошу прощения, но мне пора играть — клиенты ждут...

Он пошел, странно переставляя длинные ноги. В заведении уже собралось много народу: воздух стал мутным от дыма, лица сидящих за столиками — расплывчатыми. В углу у окна пьяная компания распевала на мотив куявяка [1] «Сортир провалился». Время от времени бренчал звонок,

---

[1] Куявяк — польский народный танец.

висевший над дверьми; люди входили и выходили. Из окошка кухни каждую минуту высовывалась толстая физиономия повара, две ярко накрашенные официантки быстро забирали тарелки и разносили их по столикам. Неожиданно за дверью раздался грохот: она резко распахнулась — в проеме появился крупный плечистый мужчина в резиновом фартуке. Перед собой он катил бочку, такую же пузатую, как и он сам.

— Пиво! — проревел он нечеловеческим голосом.— Место! Раз, два, хозяйка,— у меня нет времени!

И покатил бочку в сторону буфета: в его огромных красных ручищах она казалась детской игрушкой.

— Пять,— произнес задумчиво Куба, глядя на бочку. Он передернул плечами, стараясь как можно скорее отогнать от себя неприятные мысли.

— Тебе нехорошо? — спросил Владек. Лицо его расплывалось у Кубы в глазах, и он беспомощно водил по нему взглядом, не находя точки опоры.— Тебе дурно?

— С чего ты взял? — горячо возразил Куба.— Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Владек!

— Ну?

— Что делают порядочные люди после пяти или, точнее, семнадцати часов?

— Идут домой,— глубокомысленно произнес Владек и потер курчавые виски.— Работают, читают, с детьми возятся...

— Глупости,— нетерпеливо прервал его Куба.— Владек, золотце, послушай меня! Я спрашиваю, спрашиваю. Что делают порядочные люди в пять или, точнее, в семнадцать часов? — Его страшный взгляд вперился в лицо Владека, при этом он сделал такое движение, как будто хотел схватить его за горло. Владек посмотрел на его растопыренную ладонь, проглотил слюну и быстро проговорил:

— Порядочные люди в пять часов пьют чистую с розовой этикеткой в кабаке «Под орлом».

— «Под орлом»,— повторил Куба. Он мгновенно повеселел, притянул к себе Владека и поцеловал его в висок. Повернулся и крикнул буфетчице: — Куколка, два раза по сто!

Она подошла, держа в руках какой-то свернутый плакат.

— Одну минуту,— сказала она.— Мне надо прибить его на стену! Сегодня из Управления прислали. Нужно повесить, а то еще нагрянет инспектор, у меня неприятности будут...

Она подставила стул и встала на него. Молоток она придерживала подбородком, но он выскальзывал.

— Давайте я вам помогу,— сказал Куба. Он встал за ней на стул. Всем телом прижался к ее спине. Быстро вбил четыре гвоздя. Потом спустился, отошел на два шага и прочитал: «Борьба с алкоголизмом — твой гражданский долг».

— Когда-то,— сказал Владек, глядя на Кубу,— на этом месте висел плакат «Спи спокойно — ДНД на страже». Не помню уж, что там было нарисовано.

— Налейте нам два раза по сто,— тусклым голосом сказал Куба; в ушах его нарастал шум. Он обернулся к Владеку.— Откуда ты знаешь?

— Я пью здесь много лет,— ответил Владек.— Видел множество людей в этом заведении, ты даже понятия не имеешь сколько. Правильно, хозяйка? — повернулся он к буфетчице.

— Ой, Владек,— сказала она, наполняя стопки.— И что из этого вышло хорошего?

Куба пожал плечами.

— Не все же должно хорошо заканчиваться,— сказал он, поглаживая руку буфетчице.— Так было бы просто скучно. Правильно?

— Ах, мужчины, мужчины,— сказала она и улыбнулась. Более приятной женской улыбки Куба в жизни не видел. Буфетчица что-то записала в своем блокнотике и отошла. Куба смотрел на нее с безмерной благодарностью. Владек его спросил:

— Кто ты?

—. Я поляк, мальчишка смелый... [1]

— Не валяй дурака. Скажи, кто ты.

— Кто я?

— Ты пьян,— сказал Владек.— Хоть по твоему виду этого не скажешь. Почему не хочешь говорить?

— Это неважно,— ответил Куба.— Правда, неважно. Я твой закадычный друг из бара «Под орлом». Этого достаточно.

— Почему ты пьешь?

— И это неважно,— сказал Куба. От скуки он играл с фаянсовой пепельницей. Неожиданно его лицо искривила злая гримаса. Он со стуком поставил пепельницу и прислонился к Владеку.— Неважно,— проговорил он трезвым, настораживающе резким тоном.— Мы, пьющие, знаем, что неважно, почему... А может быть, я одинок? Может быть, меня никто не любит? От меня все отвернулись? Меня бросила девка, без которой мне не жить? Все это неважно... Нет такого горя, одиночества, несчастия, женщины, которые сравнились бы с водкой. Но об этом знает только тот, кто все пропил и не в силах не пить. В это никогда не поверят начинающие. Мне всегда смешно становится, когда я слышу, что кто-то кого-то удерживает. Водка — единственная истина, но понимаешь это всегда слишком поздно. Пьющий понимает, в чем смысл жизни, только когда все мосты сожжены...— Взгляд Кубы стал вдруг строгим.— У меня сегодня был плохой день,— сказал он.— У меня сегодня в этом городе был плохой день. Я его пропил. Но это еще не конец. У меня еще есть надежда, за которую я цепляюсь. Если и она рухнет...— он запнулся и снова стал забавляться с грязной пепельницей. Потом неестественно рассмеялся и сказал: — Да ну все это к черту! Не люблю я исповедоваться. Выпьем, Владек...

Они выпили, буфетчица подошла и без слов снова наполнила стопки. На другом конце стойки какой-то парень в ватнике кричал, держа своего приятеля за плечи:

— Я не могу без нее жить. Я с собой что-нибудь сделаю. А перед этим — с ней...— Он повернулся к гармонисту и крикнул:

— Пан Польдек, играйте «День как день»...

Гармонист тряхнул головой и запел:

Мне не забыть денечки золотые.
Когда нам желтый лист надежду подарил.
Я был любим. И ты была любима.
А что теперь? Теперь —
Обычный день, как день, пустой, ненужный день.
Поломан унитаз, и за окном туман.

— Да,— сказал Владек. Он оставался абсолютно трезвым, только его грустное лицо вдруг стало по-обезьяньи уродливым.— Это хорошо, что у тебя есть надежда,— проговорил он тихо.— У меня ее нет. Я не верю, что найдется хоть какой-то выход из этого ада.

— Чепуха,— пробурчал Куба; он катал в пальцах хлебный мякиш.

— Я начинал, как тот парень,— сказал Владек.— Любовь, ревность и прочее дерьмо...— Он рассмеялся.— Когда-то я считался лучшим саксофонистом в стране.

— Саксофонистом? — машинально повторил Куба.— Саксофонистом... Странное дело.— Он посмотрел на Владека.— Ты не похож на саксофониста, дружище.

— Я им был,— настаивал Владек. Он сложил руки и стиснул пальцы: они сразу побелели.— Никто не играл так, как я.

— И что из этого?

— Ничего.

— А потом что?

— Тоже ничего.

— Так какого черта ты все это мне рассказываешь?

— Ничего я тебе не рассказываю. Просто говорю.

---

[1] Начальные строки популярного патриотического стихотворения В. Бэлзы (1847—1913).

— Говори дальше. Чем все кончилось? Конец — вот что важно, самое главное, чем все кончается.

— Теперь я не самый лучший саксофонист.

— Хватит,— оборвал его Куба.— Если б люди умели рассказывать о своей дурацкой жизни очень коротко, было бы намного лучше. Ненавижу тех, кто скулит. Я — другой человек. Люблю сильных. Но если хочешь поведать мне свою историю, тогда давай. Я очень люблю поучительные истории из жизни.

— Моя — короткая. Был влюблен.

— Можно позавидовать свежести твоих чувств. И что дальше?

— Она меня бросила.

Куба с грустью покачал головой.

— Хреново,— сказал он.— Тебе бы уехать в Кампиноскую Пущу, чтобы там, под шум деревьев, доживать старым лесничим. Мог бы разводить пчел и собирать мочегонные травки... И что дальше?

— Теперь я уже не лучший саксофонист даже в этом городе.

— В этом городе нет ни одного порядочного саксофониста, все играют прескверно.

Владек молчал, на его лысине плясали отблески от лампы. Наклонившись, он размазывал по оцинкованной поверхности стойки разлитую водку. Гармонист перестал играть; он снова отложил гармонь и, покачиваясь, подошел к буфету. Глаза у него были мутные, без зрачков, он уже был сильно навеселе, щеки его подергивались. «Определенно я должен дать ему в морду»,— с ленцой подумал Куба. Компания, пьющая у окна, пела теперь «Гураля». Буфетчица молча сновала туда-сюда: она с невероятной ловкостью управлялась с бутылками и стопками, разливая водку. Кому-то стало плохо. Печатая шаг, он проследовал через весь зал к выходу: одной рукой старательно закрывал рот, другой — расталкивал всех на своем пути, глаза у него были как у испуганной коровы. Владек очнулся и сказал:

— Сейчас блевать начнет.

— Ээ,— буркнул Куба.

Он тупо смотрел прямо перед собой, силясь обнаружить хоть какой-то смысл во всей этой неразберихе лиц, жестов и нечленораздельных выкриков. У парня в ватнике волосы упали на лицо. Он стиснул виски ладонями и, задыхаясь, повторял:

— Я должен ее... Я должен ее...

— Малый,— мягко сказал кто-то и потрепал его по плечу.— Малый, да плюнь ты на это... Нечего лезть со свиным рылом в калачный ряд. Все пройдет, как дурной сон. Плюнь...

Парень вдруг поднял голову: глаза его полыхнули бешенством. Молниеносным движением он смахнул со стола все стопки, кружки и бутылки, потом с кошачьей ловкостью бросился к выходу. Хлопнула дверь. Несколько добровольцев побежало за ним.

— Даже если он и добьется своей девчонки,— сказал Владек, облизывая губы,— счастью придет конец... Пока ее дружок не перестанет поддавать... Бедная, глупая девчонка... Будет бегать за ним, вытаскивать его из пивных, из компаний собутыльников, просить, втолковывать, плакать.

— Откуда ты знаешь, что именно так будет? — спросил Куба.

— Так всегда бывает, когда женщина начинает опекать пьяницу, которого любит. Нехорошая это любовь. Я знаю, чем это кончается...— Он начал говорить очень быстро, как будто опасаясь, что Куба захочет его прервать.— У меня у самого была такая, которая меня любила. Бегала за мной, объясняла, уговаривала, плакала, отнимала бутылку, следила за каждым шагом. Через день ставила ультиматум: или водка, или она; или я перестаю пить, или мы расходимся. Порывала со мной, уходила, я ее ненавидел. Потом возвращалась, боясь, как бы я не покончил с собой. Потом снова уходила, все ее убеждали со мной расстаться.

Он замолчал. Вновь склонился над стойкой. Желваки у него ходили.

— И что? — спросил Куба. Сердце его странно, болезненно заныло.— И что?

— Больница,— сказал Владек.— Я туда пошел, а то она...

— Что с ней? — крикнул Куба, изо всех сил схватив его руку.

— Отстань...— вырвался Владек.— Ушла от меня. В конце концов убралась ко всем чертям и, к счастью, не возвратилась. Ничего удивительного. Что за радость жить с пьяницей? Пьющий — он же не мужчина. Сам знаешь, на что способен алкаш в постели. Спать да блевать. Смердеть с похмелья. Она была добрая. Не обращала на это внимания. До поры до времени... Ходила со мной по всем этим диспансерам, по врачам. Впустую.

— Как это впустую?

— Кто начал пить,— сказал Владек и усмехнулся с мстительным удовлетворением,— тот уже не остановится. Эта игра без финиша. Сначала антабусы, витамины, беседы с врачами, которые умеют лечить только сап у лошадей, потом Древница, Косьтян, Творки... [1] — Его глаза стали прозрачными; он продолжал: — Дом без дверных ручек. Белая комната, из которой запрещено выходить. Четыре стены и ты. Твои воспоминания, твои опохмелки. Можешь плакать, биться головой о стенку, молиться, проклинать, кричать, но ключа от двери ты не получишь. Иногда тебя выведут во двор, погуляешь в обществе санитаров, поглядишь вокруг... Желтые, обшарпанные здания. Клочок неба. Стены. Белые халаты. Пятнадцать минут. Потом снова та же белая комната. И воспоминания, воспоминания, воспоминания. День. Ночь. Порой не разберешь, когда день, а когда ночь. Ночью иногда являются разные люди, но если протянешь им руку, наткнешься на пустоту. Ты один со своими воспоминаниями. Иногда кто-нибудь пришлет письмо, но ты, читая его, не поверишь, что оно написано человеком. И снова будешь один. Начнешь молить Бога, чтобы ночью они опять пришли, чтобы можно было бы с ними поговорить. Когда приходят врачи, упрашиваешь их тебя выпустить. На колени перед ними становишься, руки им целуешь, хочешь у них вырвать ключ от двери и убежать, но ты слаб, ты так чертовски слаб, что, как всякого пьяного, тебя можно свалить на землю одним толчком. Умоляешь их...

— Прекрати,— сказал Куба, заслоняясь, будто от удара.— Прекрати!

— Просишь, просишь,— продолжал Владек, не обращая внимания на слова Кубы,— но что упрашивать, что не упрашивать. Можешь говорить, что ты стал другим человеком. Можешь заклинать их. Грозить самоубийством. Устраивать голодовки. Кричать дни и ночи напролет. Можешь, стоя на коленях, божиться, что ты изменился и у тебя сильный характер, броситься на них с кулаками. Они проверят у тебя пульс и уйдут.

— Но оттуда же выходят,— сказал не своим голосом Куба.

— Да,— подтвердил Владек, по лицу его текли слезы.— Только для того, чтобы снова туда вернуться.

— Врешь,— медленно проговорил Куба.

— Я был там. И еще там буду. Снова будут белые комнаты без дверных ручек. А в конце концов наступит день, когда я уже ничего не буду ни понимать, ни ощущать. Превращусь в гору бесчувственного, гниющего мяса, и отправят меня к домику, из которого один выход — на тот свет. Но до этого пройдет еще много, много времени...

Владек замолчал и неловко попятился назад. Глаза у него вылезли из орбит. На него надвигался Куба, вытянув вперед прямые руки, норовя схватить его за горло. Глаза Кубы налились свинцом, лоб блестел от пота, рот приоткрылся, лицо посинело, как будто его придушили...

— Ты... ты...— пробормотал Владек. Лицо его сморщилось и стало до смешного маленьким. Он сделал еще шаг назад и ударился головой о стену.

— А-а-а-у-у-у-у,— завыл Куба таким истошным голосом, что наступила мертвая тишина, все подняли головы, а гармонист оборвал на полутоне мелодию: — А-а-а-у-у-у-у...

Обезьяньим, дьявольски ловким движением он схватил Владека за горло и сдавил так сильно, что у того тотчас пошла носом кровь, капая Кубе на руки. Он не чувствовал, как подбежавшие люди дергали его за

---

[1] Названия лечебниц для душевнобольных и алкоголиков.

пальто и били по голове. Вся его сила, его мозг, его сердце, его жизнь — все это сосредоточилось в его ладонях, в десяти пальцах его рук. Он все крепче стискивал их, не ощущая ни боли, ни теплой слюны и крови, текущих по рукам.

— Господи,— завопил он.— Господи...

И тут чей-то мощный удар свалил его на пол, и он погрузился в темноту — густую и тяжелую.

V

Пришел в себя он на улице. Вытянув перед собой руки, то и дело задеваемый прохожими, он брел вдоль стены. Шел дождь вперемешку со снегом, было очень скользко; огни фонарей, расплываясь, мерцали, как светлячки. Волосы у Кубы намокли, шляпу он потерял, пальто было расстегнуто, одной пуговицы не хватало, шарф свисал из кармана и одним концом волочился по грязи; голова нестерпимо болела, просто раскалывалась; один глаз затек и не открывался. Дорогу ему перебежала кошка, и Куба тупо подумал: «Все из-за этой твари...» Он продолжал идти, не понимая, кто он и куда стремится; на секунду к нему возвращалось сознание, но через минуту он снова погружался в темноту, полную разноцветных огней. Кто-то тряхнул его и резко остановил:

— Трамвай. Вы что, не видите, трамвай идет...

Собрав все силы, он вырвался и свернул в переулок. Двигался, как слепой, руками нащупывая опору. В конце улицы он увидел свет. «Это там,— подумал он.— Мне надо туда...» Он миновал магазины, дома, подворотни; шатаясь, шлепал по лужам — это была недавно застроенная улица. Проходя мимо какого-то магазина, он задел заслонявшие витрину доски. Они со стуком посыпались на землю, и одна из них больно ударила его краем, обитым кованым железом, прямо по лицу. Он вскрикнул и упал, широко раскинув руки; улица была пустынна, и никто не бросился ему на помощь. Он лежал в луже, чувствуя, как его пробирает пронизывающий холод. Приподнялся на локтях, пытаясь встать, но сил не хватило, и он снова повалился, ударившись о край тротуара. «Не больно,— подумал он,— совсем не больно...» Из магазина, к которому были прислонены доски, выскочила продавщица в белом халате. «Ну вот»,— подумал Куба и, как маленький, закрыл голову руками. Женщина, оглядевшись, громко крикнула в пустоту улицы: «Хулиган»,— и принялась ставить доски на место. Поставив, вернулась в магазин, захлопнув за собой дверь. Разбрызгивая лужи, быстро проехала машина. В окне на первом этаже вопило радио.

Куба поднял голову, весившую не одну сотню тонн. Открыл глаз, и снова мир перед ним почему-то закружился. Это продолжалось минуту; потом уже только фонарь в конце улицы упорно раскачивался. «Это там,— подумал Куба.— Это именно там... Что там? Именно туда я иду...» Он встал на колени и пополз к стене. Долго цеплялся руками за шершавую стену, ломая ногти и в кровь расцарапывая ладони, пока не наткнулся на карниз. Наконец он поднялся. Ноги, как у ребенка, который учится ходить, дрожали и подламывались. Он пошел очень медленно, держась за стену; шел и плакал. Его обогнали двое мальчишек. Один из них сказал: «Со слезами — к счастью. Давай, двигай дальше...» Куба таким способом прошел несколько шагов, но, попав рукой в пустоту подворотни, упал. Он лежал, тяжело дыша. Это длилось очень долго. Он начал засыпать и вдруг почувствовал, что кто-то лижет ему лицо, открыл глаза и увидел собачонку: щенок стоял над ним и, внимательно на него глядя, помахивал обрубком хвоста. «Из-за тебя,— подумал Куба, и тут к нему вернулись силы.— Все из-за тебя». Он схватил собачонку за горло, даже не заметив, как та, извернувшись, вцепилась ему в руку. Отшвырнув ее к стене, он с трудом поднялся.

Ветер слегка его освежил. Он шел медленно и осторожно и, нащупав проем очередной подворотни, с удовлетворением рассмеялся. «Не вый-

дет,— бормотал он радостно.— На этот раз не упаду...» Он опустился на четвереньки и пополз так, даже не услыхав, как кто-то обратился к нему: «Что, в Ченстохову на молебен в такую погоду?» Нащупав рукой стену, он встал и пошел дальше, придерживаясь за нее. Каждую минуту, словно натыкаясь на преграду, он махал перед собой руками. Свет в конце улицы, к которому он стремился, становился все ярче. И когда Куба был почти рядом, из освещенного дома вышла толпа людей. Люди шли прямо на него — темные, расплывчатые фигуры без лиц. Он вдруг все вспомнил: он понял, что уже находится ТАМ. В памяти всплыл очень давний разговор с одним человеком в какой-то забегаловке: тот ему предсказал, что когда-нибудь он окажется в комнате с белыми стенами и запертой дверью без ручки и что к нему будут являться разные диковинные животные и страшные чудища.

Поняв, что этот день настал, Куба затрясся от страха и ярости. Он прислонился к стене и смотрел перед собой широко раскрытыми глазами. Ну конечно, кое у кого из прохожих не было головы, зато у других их было по две, у некоторых не было ног, они плыли в воздухе, как омерзительные в своем уродстве, безобразно искалеченные неведомые птицы. К нему приближались человек-вампир, человек-нетопырь, человек с одним, залитым кровью и занимавшим все его лицо глазом, человек, ползущий, как змея. Куба посмотрел на его скользкое, покрытое чешуей тело, извивавшееся в грязи, и закрыл руками лицо. «Вас ведь нет,— повторял он мысленно,— вас ведь на самом деле нет. Я сейчас открою глаза, и вас не будет. Открою глаза, и вы уберетесь из моей комнаты. Да, да, да...» Он открыл глаза и увидел, что они здесь и двигаются на него: впереди трусит человек с головой маленькой собачонки; он идет, протягивая к нему, к самому его горлу, сильные, волосатые руки. Куба отпрянул.

— Вас ведь нет! — визгливо вскрикнул он и бросился в толпу.— Вас ведь нет...

Наткнувшись на кого-то, он упал, закрыв голову руками. Над самым ухом он услышал их твердые шаги. «Уходят, уходят!» — думал он. Кто-то подкованным ботинком наступил ему на руку. Куба тихонько заскулил и прижался щекой к холодному тротуару. Потом все смолкло, шаги отдалились. Он продолжал лежать, боясь повернуть голову. Но тут кто-то склонился над ним и поднял его. Это был коренастый мужчина в кожаной куртке.

— Уйди! — в отчаянии закричал Куба.

— Пан Кубусь,— сказал незнакомец, тряся его,— Кубусь, вы меня не узнаете? Это я, Костек. Не узнаете меня?

— Голова,— выдавил Куба.— Где твоя голова?

Незнакомец рассмеялся.

— Слишком много горькой дерябнули? — спросил он тоном знатока. Достал сигарету и сунул ее Кубе в рот.— Курите,— успокаивающе сказал он.— Поможет.

Куба послушно затянулся. Поддерживаемый мужчиной, он с трудом стоял на неустойчивых, по-старчески слабых ногах.

— Где они? — спросил он.

— Кто?

— Те?

— Те люди, что ли?

— Люди...— удивленно пробормотал Куба, задумавшись. И вдруг выпрямившись, протянул к улице руку.— Это не люди. У них ни головы, ни глаз. Это упыри, упыри... Где они?

— Ушли.

— Куда?

— Своей дорогой.

— Я вас знаю,— сказал Куба, с усилием всматриваясь в лицо человека. И рассмеялся.— Я вас знаю. Вы Костек, зять нашего дворника. Как-то везли меня из «Камерального», да? Вы шофер, да?

— Точно,— сказал Костек.— Идемте, я вас подброшу.

Он втащил Кубу в такси, стоящее на обочине у края тротуара. Куба мешком свалился на сиденье.

— Это все водяра́,— добродушно сказа́л Костек.— Ох, уж эта водяра...— Он нажал на стартер и со скрежетом включил скорость.— Я открою окно,— сказал он.— В таких случаях что может быть лучше свежего воздуха...— Он открыл окно и спросил: — Ну как?

— Спасибо,— буркнул Куба. К нему медленно, тошнотворными волнами возвращалось сознание. Поднеся к глазам свои изуродованные руки, он внимательно на них посмотрел: руки были в крови, грязные и распухшие; почти все ногти обломаны. Он застонал. Скрипучим голосом спросил: — Где вы меня нашли?

— Я перед кинотеатром стоял,— пояснил Костек и выругался: кто-то неосторожно перебежал через дорогу.— Стоял перед кинотеатром,— повторил он,— и думал, сейчас подхвачу кого-нибудь — в это время как раз публика выходит. Сижу в машине, покуриваю, глядь, а тут вы — из подворотни выходите. Я сразу заметил, что вы сильно под мухой. Смотрю и жду, что будет дальше. Вы стоите, стоите, а потом на них. «Ну,— думаю,— человек знакомый, надо помочь». Кто-то вас толкнул, и вы мордой в тротуар... Ничего не случилось?

— Нет...— сказал Куба. Он вглядывался в неясную линию тротуара. Вдруг, оживившись, спросил: — А свет?

— Какой свет?

— Там,— с трудом произнес Куба. Он закрыл глаза; от бегущего асфальта кружилась голова.— Свет,— повторил он.— В конце улицы. Яркий свет.

Костек пожал плечами.

— Света там никакого нет,— сказал он.— Улица темная. Спьяну всякое может показаться, это точно. Если б никому ничего не казалось, то каждый посылал бы все на хер. А так, человек подойдет поближе к такому огоньку, а там — ничего. А-а-а-а-а,— стукнул он себя по лбу,— наверное, это неоновая реклама?

— Реклама?

— Да. Над кинотеатром.

— Зачем я шел на этот свет? — шепнул, задумавшись, Куба.

— По пьянке,— сказал Костек,— куда только не заносит. Я это хорошо знаю, сам люблю залить за воротник. Такая она жизнь человеческая.

— Спасибо вам,— буркнул Куба.

— Кра́нты бы вам,— хвастливо сказал Костек,— если бы вас легавые сцапали, тогда бы кранты. Снова на все пятнадцать суток. Тяжелые времена наступают для любителей спиртного, пан Кубусь...

Он затормозил. Куба с трудом вылез. Расплатился. Костек сказал:

— Теперь самое лучшее — покемарить. А с утра чего-нибудь крепкого...— Он махнул Кубе рукой и отъехал.

В подворотне стоял дворник — он глядел перед собой грустным, полным меланхолии взглядом.

— Видите, что за свинья этот Костек,— проговорил он, загораживая Кубе дорогу.— Я с ним поссорился. Он мне бутылку обещал поставить...— И, не договорив, с любопытством уставился на Кубу: в его бархатных глазах промелькнула зависть.— Где это вы так заправились? — спросил он.

Куба отстранил его и стал подниматься по лестнице. Он слышал, как дворник бормотал ему вслед: «Невоспита́нный народ...» Он стонал: каждую косточку, каждую клеточку его тела заполняла тяжелая, сковывающая боль. Он ежеминутно останавливался и с хрипом переводил дыхание, упираясь лбом в перила. На третьем этаже присел; передохнув, двинулся дальше. Наконец поднялся. Стоя на лестничной площадке, принялся искать ключ; ему мешало пальто, шарф, костюм — все. Найдя ключ, нащупал замочную скважину. И только тогда заметил, что перед дверьми его квартиры, прямо на лестнице, сидит женщина.

— Это ты, Кристина? — спросил он и отступил на шаг, вглядываясь в темноту с зоркостью ночной птицы.

— Идем,— сказала она тихо.

Он отрицательно покачал головой:

— Нет.

— Идем, Куба,— произнесла она ласково.— Я очень давно жду.

Он покачал головой, зажмурил — до боли — глаза, а когда их открыл, увидел ее. Вздохнул с облегчением.

— Протяни руку, если это действительно ты,— сказал он.

Она протянула к нему обе руки.

— Да,— прошептал он.— К черту, к черту...

— Дай ключи,— попросила она.

Взяла ключи; открыла дверь, вошла в квартиру и зажгла свет. Посмотрела Кубе в лицо, и глаза ее расширились. Не говоря ни слова, она сняла с него пальто и, оглядев его, повесила на вешалку.

— Иди в комнату,— сказала она.

Куба послушно прошел в комнату и лег на тахту. Кристина вошла следом за ним. Зажгла лампочку на ночном столике.

— Я сейчас приду,— сказала она.

— Скорее,— прошептал Куба.

Он смотрел на потолок: из одного угла по ниточке сползал маленький паучок. «Откуда он взялся?» — подумал Куба и закрыл глаза. Открыл он их только тогда, когда Кристина начала обтирать его лицо мокрым полотенцем.

— Я напился,— сказал он слабым голосом.

Она молчала. Ее лицо было близко, на него падала тень от лампы, глаза закрыты, а губы страдальчески закушены.

— Я напился,— повторил Куба.

— Оботру тебе руки,— сказала она.

— Я напился,— завыл что было мочи Куба и оттолкнул ее. Хотел встать, но она снова его уложила. Как ни странно, руки у нее оказались довольно сильными.

— Подожди,— произнесла она.— Я сварю тебе кофе.

Она вышла. «Я напился»,— еще раз подумал Куба и презрительно рассмеялся. Паук был уже на середине пути к полу: он висел прямо над Кубиной головой. В какую-то минуту Куба увидел, что у паука угреватое человеческое лицо и грустные глаза. Тогда он все вспомнил — кабак, Владека, гармониста, разгадывавшего сны, буфетчицу, с невероятной ловкостью жонглировавшую стопками и бутылками, плакаты над буфетом, шествие призраков по улице.

«Вас нет,— подумал он с удовлетворением.— Вас в действительности никогда не было...» И заснул.

Его разбудила Кристина. Она стояла над ним с чашкой кофе.

— Я долго спал?

— Нет, несколько минут. Пей, пока горячий.

Он приподнялся на кровати и стал пить горячую жидкость, обжигающую губы. Кристина поддерживала чашку. Когда он выпил, она поставила чашку на столик. Куба спросил:

— Хочешь знать, как все было?

Она покачала головой, не спуская с него глаз.

— Нет.

— Названивали тут... с самого утра. Мне пришлось уйти из дома...— Вдруг он махнул рукой: понял, что никогда не сможет рассказать ей, как все было на самом деле.

— Я пойду,— сказала Кристина.

— Уходишь?

— Ухожу. Приду завтра утром. Мы пойдем туда утром, с самого утра.

— Во сколько?

— В восемь.

— И что?

— Будешь лечиться.

— Кристина.

— Да?
— Я туда никогда не пойду.
— Почему?
— Не поможет.
— Все-таки попытаемся.
— До каких пор можно пытаться?
— До конца.
— До какого конца?
— Пока не бросишь пить.
— Ничего из этого не выйдет. Уходи отсюда. Возвращайся к живым. Еще есть время.
— Живые — те, кого любят.
— Все равно когда-нибудь ты меня бросишь. Жалость — мерзкое чувство. Мы будем страдать и трепать друг другу нервы. Му́ка мученическая будет, вот что это. Немногого можно добиться жалостью.
— Куба.
— Да.
— Послушай меня внимательно! Я приду завтра утром. Завтра в восемь. Позвоню три раза. Тогда ты мне откроешь. Только тогда. А если еще кого-нибудь черти принесут, не открывай. Никому.
— Когда ты вошла в этот дом впервые, ты выглядела совсем иначе, Кристина... И говорила иначе. Неужели этого не вернуть?
— Никому не открывай, Куба. И помни: три раза.
— Останься со мной. Я боюсь.
— У меня дома больная мать, Куба. Целый день она одна, без меня. Ей тяжело. Я должна все приготовить и подать ей. Ну, до завтра. До свидания!
— Почему ты не хочешь, чтобы я тебе все рассказал? Все, как было? Не хочешь выслушать?

Кристина задержалась на пороге. Куба ее не видел: ее силуэт сливался с сумраком ночи. За окном, в темноте, глухо шумел город.

— Женщины,— сказала Кристина,— должны уметь сами обо всем догадываться, всегда и прежде всего — сами. Спокойной ночи, Куба.

Она ушла; тихо хлопнула дверь. Минуту Куба лежал без движения, потом погасил свет. По потолку ползали тени, противно барабанил дождь. «Паук,— вспомнил Куба,— где же паук?» И все вдруг от него отдалилось — внезапно и быстро. Как пловец, прыгнувший с вышки, он погрузился в темный и давящий, словно вода, сон.

VI

Он проснулся ночью, в страшной, абсолютной тишине. Долго лежал без движения, прислушиваясь к биению своего сердца и дыханию. Потом пошевелился и ойкнул: он был мокрый от пота, голова раскалывалась от боли, какой он уже давно не испытывал, внутри все горело от жажды. «Пить,— думал он,— пить...» Сердце колотилось под ложечкой, где-то в глубине — сильно и неровно; мутило от вкуса и запаха алкоголя. Он протянул руку и стал шарить в темноте в поисках выключателя, но только опрокинул ночник вместе с пепельницей: они со стуком упали на пол, и Куба, испугавшись, съежился. Теперь он опять лежал неподвижно, в темноте и тишине — мучительной и неестественной. В углу окна холодным фосфорическим светом светила круглая огромная луна. Письменный стол, обеденный стол, шкаф — все отсвечивало неприятным, резким блеском: комната как будто была залита жидким металлом.

Спустя несколько долгих минут Куба встал. Пройдя, покачиваясь, по комнате, остановился в дверях; судорожно держась одной рукой за подоконник, он другой искал выключатель. Наконец зажег свет, уронив при этом висевшую на стене картинку; на мгновение ослепнув от резкого света, застонал и схватился руками за голову, медленно открывая глаза. Потом нагнулся за картинкой: пришлось опуститься на колени и очень долго

подниматься. Стекло треснуло. Это была простенькая картинка с изображением колонны Сигизмунда, но Куба, вопреки здравому рассудку и хорошему вкусу, очень любил ее. Минуту он стоял, держа картинку в руке, и горестно качал головой. Потом повесил ее на место и пошел на кухню.

В кастрюльке, стоящей на газовой плите, еще оставалось немного кофе. Он взял кастрюльку дрожащими руками и, не разогревая, выпил ее содержимое. Но этого было слишком мало, чтобы утолить жажду, терзавшую его воспаленный организм. Он открыл кран и, подставив рот, пил — долго и жадно, пока не почувствовал холода. Перевел дыхание; усевшись на стул, закурил. Он старался собраться с мыслями и все вспомнить, но испугался собственных воспоминаний и поскорее стал думать о другом: сведение счетов с самим собой он всегда откладывал на следующий день. Снова страшно захотелось пить. «Лимон,— подумал он,— кусочек лимона...» Подошел к буфету и стал в нем рыться, перекладывая блюдца, тарелки, чашки. И тогда он увидел спрятанную за фаянсовой супницей бутылку водки. Бутылка была не распечатана, сверкнула красная лакированная головка. Он взял ее в руки, посмотрел внимательно.

— Ты здесь? — произнес он удивленно.— Ты здесь, курва? Мое почтение.

Ударом ладони он выбил пробку и подошел к раковине. Наклонив горлышко бутылки, следил, прищурившись, как с бульканьем потекла в отверстие жидкость. Но тут зазвонил телефон. Он застыл с бутылкой в руке, прислушиваясь и не веря собственным ушам. Телефон продолжал трезвонить. «Наверное, Кристина,— мелькнуло у него в голове.— Что-то случилось. Который теперь час?» Он поднес руку к глазам, но тут вспомнил, что оставил часы вчера в кафе «Под орлом»: разразился жуткий скандал, а потом буфетчица с официантом сорвали у него с руки часы. Официант был низкорослый, нос картошкой. Он тряс Кубу и приговаривал: «Коли не на что пить, ходи в костел, мерзавец!..» Куба усмехнулся. «Да, это Кристина,— решил он.— Уже рассветает. Что-то у нее, наверное, стряслось». Машинально продолжая держать в руках бутылку водки, он прошел в комнату, снял трубку и произнес:

— Слушаю.

— Куба? — спросил низкий мужской голос.

— Да.— Он говорил очень спокойно. Бутылку водки поставил на столик рядом с телефоном и крепко сжал пальцами: стекло было гладкое и холодное.

— Куба,— укоризненно произнес низкий голос.— Куба! Так, значит, правда? Мы же вчера с тобой разговаривали, и ты сам сказал, что все, завязываешь. И мы, твои друзья, решили, что ты и в самом деле завязал, что больше не пьешь. И так обрадовались, что наконец-то ты покончил с этим безобразием. И что же: вечером я узнаю, что тебя опять видели — ты, пьяный, шлялся по улицам. Жена выходила из кинотеатра и видела, какой ты учинил дебош со своими дружками...

— Я был один.

— Не ври, Куба,— мягко произнес низкий голос.— Я — твой друг, и уж кого-кого, а меня не проведешь. Мы хотим тебе помочь, Куба. Очень хотим помочь. Мы, твои друзья. Хотим уберечь тебя от гибели, спасти твой талант, твою любовь. Ты сам знаешь, мы делаем все, что можем. И уже поверили, что с сегодняшнего дня все повернется к лучшему. А ты напиваешься в «Камеральном»...

— Не был я ни в каком «Камеральном»,— возразил Куба. В висках у него застучало.

— К сожалению, тебя, Куба, видели,— продолжал мягко голос.— Видели, как ты пил. Плохо, Куба. Тебе нельзя верить. Ты — алкоголик. Алкоголикам не верят. Не обижайся, что я так говорю, но ты же знаешь, я по дружбе, кто еще скажет тебе правду, как не твой друг? Ляля Маковская звонит мне и говорит: «Знаешь, Куба опять пьет? Дзидка видела, как он выкатился из «Камерального». Ну что с ним делать?!» И все в таком духе. Ляля Маковская, Куба,— чертова кретинка. И чтоб она об тебя ноги

вытирала?! Ну нет, Куба! Я уж был за тебя спокоен. Этот старый хрен Сенковский говорит мне вчера: «Ты веришь, что он бросит пить? Скорее на моей лысине кактус вырастет». И бац себя по лбу. Ты, конечно, знаешь шуточки Сенковского. А я ему: «Не лезь не в свое дело, так тебя перетак. Я жуть как не люблю, когда суют нос в чужие дела. Куба — малый умный и сам понимает, что для него водка. Нечего к нему цепляться...» И в таком духе, слово за слово, поругались с Сенковским. И как я теперь выгляжу, Куба? Ну, скажи! Скажи!

Он говорил еще долго и горячо, но Куба уже ничего не слышал и не воспринимал; он отложил трубку и, не выпуская бутылки из рук, сел на тахту.

— И как я теперь выгляжу? — громко произнес он, глядя в угол комнаты.— Как, а?

Молниеносным движением он придвинул к себе чашку из-под кофе и, налив ее до краев, выпил одним махом.

— Как я выгляжу? — пробормотал он.

И снова налил себе и выпил — вторую чашку, потом — третью. Перевел дух. Опять он был прежним, мудрым, лихим и циничным Кубой. Не выпуская из рук бутылки, подошел к столу, на котором лежала пачка сигарет, уселся и закурил. Руки его четко двигались и великолепно его слушались. Он глубоко затянулся: теперь дым ему очень нравился, по телу разлилось тепло, сердце стучало, как маятник.

— Жаль только, картинку попортил,— громко сказал он. И вдруг это показалось ему невероятно забавным. Он повторил: — Жаль, что попортил...— Он опять налил и выпил.— Пью,— откровенно признался он.— Снова пью. Да, пью, ну и что с того? А ничего! — И стал передразнивать своего собеседника, с которым разговаривал пять минут назад.— И как я выгляжу? Как я теперь выгляжу? — Он рассмеялся и крикнул: — Вы все похожи на обезьян в церковном притворе.

Вот так!

В запале он махнул рукой и опрокинул бутылку. Водка моментально разлилась, оставив на полированной поверхности поблескивающую лужицу. Куба долго сидел оцепенев. Он смотрел то на лужу, то на пустую бутылку, наконец отшвырнул ее в угол. Стекло с треском разбилось. Куба сидел, опустив веки, и курил; когда окурок стал жечь ему пальцы, он открыл глаза и вздохнул. И тут он увидел, что из лужицы на него смотрит лицо Кристины. Он рассмеялся.

— Я знал, что ты придешь,— сказал он.

Она тоже улыбнулась. Он покачал головой.

— Явилась все-таки со своей сраной жалостью,— произнес он.— Всегда приходишь тогда, когда мне хочется тебя забыть. А я опять нализался, Кристина, видишь?

Она кивнула головой.

— Глупо, да?

Она не ответила. Он наклонился над ней и увидел, как напряжено ее лицо.

— Теперь ты меня своей жалостью не проймешь,— сказал он.— Не обманешь меня этим дерьмом, которым ты меня потчуешь вместо любви. Мы ведь давно друг с другом не спим. Что-то это значит, что-то в этом есть? Ты уже не хочешь со мной говорить, но я знаю, о чем ты думаешь. А теперь я скажу тебе одну вещь: люди сами никогда не меняются. Людей меняет жизнь. Хорошая или плохая, хорошего или плохого человека, но всегда именно жизнь. А я — ничтожество, Кристина. Ты, наверное, об этом догадываешься? Да?

Она кивнула.

— Ты все знаешь,— говорил Куба с ненавистью.— Я знаю, что ты все знаешь. Ты — так называемая мудрая женщина, если вообще такие существуют на свете. И значит — самая несчастная. Потому что мудрая: все понимаешь, все прощаешь, все умеешь расставить по местам. За мудрость расплачиваются страданием, Кристина. Бедные, несчастные, мудрые

женщины! Жаль мне вас, потому что почти всегда вас губят дураки. Ты умная, Кристина. Ты чертовски умная, но ты, идиотка, не знаешь элементарных вещей: не понимаешь, что такое водка. Не понимаешь, не понимаешь, не понимаешь!

Она напряженно смотрела на него, и по выражению ее лица Куба догадывался, что она хочет, чтобы он продолжал говорить.

— Кто знает,— произнес он задумчиво и коснулся ее щеки.— Кто знает? А может быть, понимаешь? — Он вдруг презрительно рассмеялся.— Должна же знать! Могу тебе напомнить, хочешь?

Она снова кивнула. Глаза ее понимающе и таинственно улыбались.

— Помнишь,— начал Куба,— как в прошлом году мы были в Закопане? Поехали туда, чтобы я отдохнул, ходили в горы. В это время в Закопане вообще мало народу, потому-то мы тогда туда и поехали. Так, Кристина? Припоминаешь? И действительно, три дня все шло прекрасно. Мы ни на миг не расставались. Ты следила за мной, не отходила от меня ни на шаг. Ты была счастлива. И если на улице нам попадалась какая-нибудь знакомая морда, ты тащила меня на другую сторону. Мы прогуливались только по тем дорожкам и заходили только в те кафе, где не подают спиртного. Исключительно для того, чтобы понапрасну меня не дразнить. Ну и что из этого вышло, Кристина? Три дня все было как в сказке, а на четвертый я к тебе не пришел. И на пятый день не пришел, и на шестой тоже. Ты искала меня, звонила знакомым, бегала по всему городу, останавливала неизвестных людей, смотрела на них безумными глазами и спрашивала: «Вы не видели Кубу? Вы не встречали такого высокого блондина?» А люди стучали пальцем по лбу и шли себе дальше. Ты даже сообщила спасателям, потому что вдруг решила, что я пошел один в горы и сломал там шею... А я, Кристина? А я все это время пил с цыганами. Когда ты меня наконец-то нашла, у меня уже не было ни денег, ни часов — ничего. И на следующий день мы вернулись в Варшаву, чтобы отвыкнуть от водки... А помнишь, как мы ездили на курорт? Помнишь все те скандалы в пивных и как ты меня вызволяла из милиции?..

Он закурил новую сигарету и жадно затянулся, глядя ей прямо в лицо. Кристина теперь смотрела на него строгим взглядом, ее лоб перерезала вертикальная морщина.

— Ты очаровательна,— сказал Куба.— Похожа на мадонну со старинной иконы. На твоем лице столько прелести и столько боли... Зачем тебе эта красота? Ну, ответь мне...

Она молчала. Ее карие глаза светились; теперь она выглядела совершенно не так, как несколько секунд назад.

— Вот видишь, Кристина,— сказал Куба.— И ты хочешь остаться со мной? Ты представляешь себе, что это будет? Твоя жизнь превратится в сплошное ожидание... Ты не смогла бы мне верить. Если б я опоздал к обеду на полчаса из-за задержки трамвая или еще какой-нибудь ерунды, ты мучилась бы не меньше роженицы. Тебе пришлось бы вот так, каждый день заново, рожать свое терпение. Стоило бы тебе закрыть глаза, ты бы видела меня пьяного в каком-нибудь баре. Стала бы подозрительной и недоверчивой, требовала б, чтобы я дохну́л, и расспрашивала буквально обо всем, не веря ни одному моему слову; любой ценой пыталась бы поймать меня и уличить во лжи. Постепенно это вошло бы в привычку, отравляющую каждую минуту твоей жизни... Я жил с женщинами, которые стремились вытащить меня из пьянства, Кристина. А люди? Ты подумала о людях? О всех тех, кто стал бы давать тебе добрые советы, как себя со мной вести? Обо всех этих идиотках, которые сообщали бы тебе, каким образом они спасли от алкоголизма своих мужей? Ты подумала об этом? Ты понимаешь, что в один прекрасный день все дружно стали бы тебя жалеть? Это была бы отвратительная, въедливая жалость, которая превращает человека в слабое, гнусное, ничего не стоящее существо. Ты заходила бы в кафе, и люди сразу перешептывались бы: «Смотри, это Кристина, жена того пьяницы, Кубы. Она пожертвовала собой ради него. Необыкновенная женщина, а какой характер — каково ей жить с таким негодяем...» Ты

пойдешь по улице, Кристина, а люди вслед станут говорить: «Вон идет Кристина, жена того алкоголика, Кубы. Удивляюсь ей, такая молодая, красивая женщина, а живет с этим пьяницей, из-за него жизнь свою губит. Наверное, у нее есть кто-то на стороне, ведь этот пьянчуга — живой труп, как можно с таким спать?» Тебя бы останавливали и спрашивали: «Ну как, дорогая Кристина? До сих пор пьет?» Ты бы все отрицала, а они бы усмехались. И тогда бы ты думала: «Они что-то знают. Они где-то видели, как он пил». Мало-помалу твоя жизнь превратилась бы в ад; ты начала бы ненавидеть эти ухмылки, эти добрые советы, это благожелательное внимание. А потом ты бы стала ненавидеть людей, избегать их, прятаться от них, лгать. И тогда, Кристина, настанет день, когда ты поймешь: нас на свете только двое. Ты — Кристина и я — пьяница, разбивший твою жизнь и отнявший у тебя все. Ты думала об этом, Кристина?

Он наклонился над ней. Она молчала, лицо ее помрачнело.

— Я вижу, что тебя это не убедило...— сказал Куба с горечью.— Могу еще добавить. Помнишь, когда-то мы были на футбольном матче? Была жуткая теснота: на трибуну, где мы сидели, народу набилось тьма, и вдруг после очередного гола ты заметила, что пропали твои часики. Такие прелестные, маленькие часики «Тиссо» с квадратным стеклышком. Мы с тобой вскочили и начали искать эти часики. Но не нашли. И не мудрено: они были у меня в кармане, Кристина. А помнишь, однажды в твоем доме пропала красивая брошка ручной работы, которая досталась тебе от бабушки? И помнишь, наверное, что я посоветовал тебе уволить бедную старую женщину, которая приходила убираться? Ты очень деликатная, Кристина, и попросила меня взять на себя этот неприятный разговор. А я сказал старушке: «Любой другой на моем месте подал бы на вас в суд, но моя невеста просит только, чтобы вы к ней больше не приходили...» Потом я сказал тебе: «Я ценю твое благородство, Кристина. Не знаю, сумел бы я сам поступить так же: воровство следует наказывать как можно строже». А знаешь ли ты, что эта бедная старуха потом целый год ходила ко мне сюда и выплачивала долг за брошку, потому что испугалась, что я все-таки потащу ее в суд,— как всякий простой человек, она смертельно боялась этого учреждения? Помнишь?

Она кивнула, глядя на него с холодным, язвительным презрением. Он рассмеялся.

— Вот теперь хватит,— сказал.— Сама видишь: другого выхода нет. Я рад только, что в эту минуту ты — со мной. Я боялся умереть в одиночестве, хотя и знал, что придет минута, когда я должен буду сказать себе: «Ну, Куба,— все, хватит этой ерунды». Да ведь и ты сама знаешь, что действительно хватит. Да или нет?

Она кивнула. Она смотрела на него внимательно и одобрительно.

— Видишь,— сказал он.— Я сейчас это сделаю, а потом ты уйдешь. Что тебе сказать на прощание? Я боюсь слов, Кристина, столько уже слов позади... Мне надо сказать тебе, что никого я не любил так, как тебя, или что-то в этом роде, правда? Знаю, знаю. Вы, женщины, когда уходите к другому, с которым — в чем вы не сомневаетесь — вам будет хорошо, говорите нам: «Я всегда буду тебя помнить. Всегда буду тебя любить и думать о тебе: ты будешь самым прекрасным сном моей жизни, которая с этого момента станет бессмысленной и пустой. Мы с тобой вместе пережили больше, чем другие. Жизнь моя отныне будет наполнена постоянной тоской по тебе...» И так далее. Сказать тебе что-нибудь в этом духе?

Она молчала.

— Хорошо,— твердо произнес Куба и приблизил свое лицо к ее лицу.— Я скажу тебе правду. Это будут первые слова правды, которые ты от меня услышишь. Тебе это будет больно, но раз ты так хочешь... Я ненавижу только одного человека. Тебя. Я ненавидел тебя все это время, с той минуты, когда ты в первый раз привезла меня сюда, вдрызг пьяного, и из жалости легла рядом со мной. Я ненавидел твою жалость, твою заботу, великодушие, добрые слова... Ты отлично знала, что однажды я пущусь во все тяжкие. Ты тащила меня в мир, который мне не суждено

увидеть, вселяла в меня надежду, которая в действительности была несбыточна. Ты постоянно врывалась следом за мной в мой ад, откуда нет выхода, и постоянно заставляла меня упорно держаться за свое. Ты — бедная, глупая девка. Неужели ты никогда не догадывалась, никогда не чувствовала, как страшно я тебя ненавижу?

Он встал и отшвырнул ногой стул. Наступал день, в прямоугольнике окна забрезжил мутный свет. Куба подошел к окну и оперся о подоконник. По улицам уже торопливо шагали прохожие, скрежетали трамваи, по мокрому асфальту шуршали шины автомобилей. Небо было тяжелое, затянутое холодными тучами; снова шел дождь со снегом. На колокольне костела неподалеку начали бить часы; Куба сосчитал удары.

— Восемь,— сказал он громко, когда умолкли удары.— Ну, Куба, Куба...

Он внимательно оглядел всю комнату: мебель, каждый кусочек стены; неожиданно его взгляд упал на телефонный аппарат. Он хотел улыбнуться, быстро посмотрел на себя в зеркало, но увидел исказившую лицо гримасу ужаса. Тогда он подошел к стене и резким движением выдернул шнур из маленькой коробочки: посыпалась штукатурка. Потом начал вырывать шнур из аппарата и наконец вырвал, поранив ладонь. На одном конце шнура он сделал петлю. Быстро прошел с ней в прихожую и снова обвел внимательным взглядом стены и потолок. Заметил толстую трубу: в прихожей был установлен газовый счетчик. Он вскочил на стул и конец шнура привязал к трубе. Набросив петлю себе на шею, минуту стоял, ошарашенный быстротой и точностью своих движений. И вдруг увидел, что из темноты на него смотрят глаза Кристины. Она протягивала к нему руки и говорила что-то, беззвучно шевеля губами.

— Говори громче,— сказал он дрожащим голосом.— Говори громче, я тебя не слышу...— Он смотрел на нее сосредоточенно. Но спустя минуту рассмеялся.— Еще раз? Еще раз сначала? Ненавижу тебя, стерва! — крикнул он.

Потом снял петлю и соскочил на пол; подбежал к столу и, прижавшись губами к его краю, вылакал разлитую лужу. Он снова был сильным, очень сильным и внезапно почувствовал, что может еще раз сразиться с миром: крушить препятствия, работать, любить — жить чистой жизнью человека.

Тогда он услышал три звонка в дверь. Замер, будто пораженный током, его лицо жалобно сморщилось. Снова раздались три звонка. Он истерически разрыдался и закрыл лицо руками. Звонок заливался не переставая.

— Опять звонят, Кристина,— пробормотал он побелевшими губами.— Опять звонят, моя любимая...

Он быстро выбежал в прихожую. Вскочил на стул и накинул петлю на шею. Звонки прекратились. Куба перевел дыхание: неожиданно он почувствовал счастье, такое огромное счастье, которого никогда не испытывал и не предчувствовал в этой жизни. Он уже хотел было сойти со стула, но тишину коридора разорвали три коротких, как бы условных звонка.

Тогда он закрыл глаза и ногами изо всех сил оттолкнул от себя стул.

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС

Рассказы

Перевод с английского НАТАЛИИ ПАДАЛКО

Расшитый бисером ридикюль

В ноябрьскую стужу человечек бредет вечерней улицей — громадный раздувшийся мешок на плече. Он движется с беспокойной слепой осмотрительностью старой, истомленной жизнью дворняги, которая знает: от врагов убережет одна осторожность. Его занятие не запрещено, ему незачем бояться блюстителей порядка. И однако вид у него виноватый, затравленный. Он жмется к стенам гаражей, будто ища укрытия в их тени. Далеко обходит круги света от редких уличных фонарей. А встречая прохожего, всякий раз опускает голову, в лицо не глядит. Нет в нем вызывающей дерзости, отчаянности, обычных для его сотоварищей. Он придавлен почти неотпускающим чувством смирения и стыда.

Он мусорщик целых пятнадцать лет. Каждый день следует он неизменным маршрутом через богатые городские кварталы, роясь в помойках, подбирая старые ботинки, сломанные и поржавевшие металлические предметы, грязное рваное тряпье. Добытое он продает за гроши перекупщикам, которые куда-то сбывают весь этот хлам. Невыносимо безотрадным, бесцветным было бы такое занятие, не поддерживай его все пятнадцать лет надежда отыскать однажды на помойке что-нибудь очень ценное, выброшенное случайно. Бриллиантовое кольцо или брошь, часы, серьги — он получил бы тогда сотни долларов, сбылись бы его бедняцкие мечты.

Сердце его порой начинало отчаянно биться при виде блеснувшего среди мусора осколка стекла или обрывка фольги. И хотя он не нашел пока ничего особенно ценного — разве что металлолом, обрывки кожи да кое-какие обноски,— надежда в нем не умирала.

Он взял за правило обязательно завершать свой обычный маршрут. Вот и мешок уже полон, но весь путь и этим вечером должен быть пройден. Ныли ноги, спина, а он упрямо брел от помойки к помойке, иногда ненадолго задерживаясь, чтобы поменять барахло из мешка на другое, может, чуть попригляднее. И вдруг перед ним куча мусора, увенчанная розовато-лиловой шляпной картонкой, полной оберточной бумаги. Движимый неясным побуждением, он притянул картонку поближе — посмотреть. Звук чего-то тяжелого, скользнувшего по дну картонки под скомканной бумагой, насторожил его. Выбросив бумагу, он заглянул внутрь. И увидел вещицу, о которой мечтал все пятнадцать лет. Расшитый бисером ридикюль.

На мгновение жадность оказалась сильней осторожности. Дрожащими пальцами он ухватил было сумочку, спрятавшуюся в глубине коробки. Но тут хлопнула какая-то дверь, и он, подхватив каблук от старого ботинка, сделал вид, что разглядывает его, а сердце стучало в груди, а голова шла кругом от волнения: расшитый бисером ридикюль!

Дверь снова хлопнула, закрывшись. Он бросил каблук и еще ниже склонился над мусорной кучей. Пошарил в картонке, нащупал драгоценный

ридикюль. Скользнул пальцами по мягкой прохладной ткани с проворством осторожного Дон Жуана, ласкающего женщину, от которой не знаешь чего и ждать. Потом он внимательно оглядел череду задних дворов — хотел быть уверен, что никто ничего не заметил,— и, с быстротой молнии рванув ридикюль из картонки, сунул в карман пальто. Готово. Сокровище теперь — его.

С нарочитой небрежностью он вскинул мешок на плечо, медленно двинулся по улице. И виду не показывал: на помойке-то обнаружил кое-что поинтересней шляпной картонки да старого каблука. А в кармане рука сжимала бисерный ридикюль — так крепко, будто только вдавив прохладные бусинки в горящую ладонь, он мог поверить, что это ему не снится. Он нащупал замочек пальцами. И просунул их в мягкое нутро. Там, внутри, оказались деньги — банкноты, монеты — много денег, полным-полно. Волшебные видения удовольствий, которые можно за эти деньги купить, завертелись перед глазами словно в калейдоскопе. Он вообразил, что шикарно одет, наслаждается изысканнейшими яствами, и на какое-то время ему доступны все те замечательные роскошества, о которых он мечтал столько лет.

Приближаясь к концу улочки, он еще раз оглянулся. И в один миг дивные мечты его рассыпались в прах. У мусорной кучи, еще недавно скрывавшей ридикюль, стоял молодой мужчина в форме шофера. Их глаза встретились. И хотя взгляд молодого шофера был рассеян, на мусорщика накатила паника. Ему увиделось в этом взгляде прямое и суровое осуждение. Пропажа ридикюля, решил он, обнаружена, след вывел к мусорной куче. Шофер послан хозяйкой и, конечно же, знает, что ридикюль найден именно им. Шофер, разумеется, сообщит в полицию. И те, кого мусорщик всегда так боялся, схватят его — нарушителя закона. От ужаса он заметался, как зверек, попавший в капкан.

Вдруг его взбудораженный ум подсказал: можно спастись, вернув ридикюль владелице! Не раздумывая, он быстро свернул за угол и оказался перед великолепным особняком из серого камня: да, это тот самый, за ним, на заднем дворе он и нашел ридикюль. Дыхание у него перехватило от благоговейного страха; он взбежал по лестнице к решетке входной двери. Отыскал звонок и коротко позвонил. Через несколько секунд дверь распахнулась в ярко освещенный вестибюль, и он увидел молодую женщину в строгого покроя форменном черном платье и белом переднике.

Робея, он поднял на нее глаза и протянул ридикюль словно священнослужитель, возносящий жертву на алтарь гневного бога.

— Я нашел это в мусоре,— еле слышно пробормотал он.

Едва взглянув на ридикюль, горничная сразу признала в нем собственность хозяйки. Должно быть, убирая утром в хозяйкиной комнате, она выбросила его вместе с пустой картонкой. Она испугалась: вполне можно лишиться места за такой промах, особенно если рассказать правду о том, где ридикюль нашелся. Поэтому, войдя в спальню, где хозяйка одевалась к званому обеду, горничная объявила:

— Миссис Ферраби, я нашла это на пианино.

Не оборачиваясь, занятая прической за туалетным столиком, та ответила:

— Положи в комод, Хильда.

Вскоре от модистки прибыл посыльный с давно ожидаемой коробкой. Горничная тут же отнесла ее в спальню, поставила на кровать и передала хозяйке счет. На несколько сотен долларов. Та открыла свой вышитый бисером ридикюль. Вынула требуемые деньги — почти все, что было в сумочке,— и вручила горничной. Потом откинула крышку коробки и извлекла оттуда тщательно упакованную накидку к вечернему туалету — из прозрачной белой материи, пронизанной металлическими блестящими нитями. Она критически осмотрела накидку на свету и отшвырнула; ее тонкое красивое лицо исказила гримаса отвращения.

— Вот уж действительно я ум потеряла, выбрав эту дешевку! Как бы я в нее вырядилась?!

Впрочем, она тут же вновь обернулась к зеркалу и принялась укладывать золотистые завитки волос, досада ее моментально прошла, и лицо засияло прежним самодовольством.

Вьюнок

Тело женщины рядом было ему, спящему, как солнце растениям: ее нет в постели, поднялась, куда-то ушла, и сразу в нем — та же слепая, неосознанная жажда тепла, какую, верно, испытывают и растения. Во сне они становились как бы единым телом, он зависел теперь от этого единства. Зимой его плоти вечно недоставало тепла, он должен был заимствовать у нее — колени меж ее коленей протиснув, руками обвив ее плечи. Но и жаркими ночами — как сейчас, поздним летом — он постоянно стремился коснуться ее. Иначе он чувствовал себя незащищенным. Когда их единство нарушалось, он, хоть и не совсем просыпался, но негу сна сразу утрачивал и беспокойно ворочался, бормоча порой ее имя: Рейчел, Рейчел. Если она была в комнате, то возвращалась в постель; на какое-то время лишенный ее, он, еще не проснувшись, сразу приникал к ней и брал ее, как ребенок берет материнскую грудь,— слепо, неосознанно, ощупью: так растения тянутся к солнечному свету со сладостной безотчетной благодарностью живого за жизнь.

Но Рейчел рядом не было, и, какое-то еще время проспав тревожным сном, он пробудился от неудовлетворенной, растущей потребности в ней. Открыл глаза и увидел над собой потолок в сети тонких серебристых паутинок, в памятных бурых пятнах: у жильцов наверху протекли трубы. Квадратное окно впускало резкий свет, будто чей-то наглый презрительный взгляд, и к тому же вездесущий — не укрыться.

Он зажмурился и пожаловался сердито:

— Господи, точно тараканы во рту ночевали!

Рейчел не отзывалась.

Повернувшись, он обнаружил, что ее половина кровати пуста. Простыни аккуратно расправлены, подушка даже не смята, будто она и не ложилась. На миг он усомнился: а правда, ложилась ли? Глупости. Его тело во сне запечатлело подобно фотопленке ту долгую ночь, когда она была с ним рядом. Он помнил, как она вертелась с боку на бок, не давая ему уснуть, пока он не проворчал: «Ну, Рейчел, уймись!» А она в ответ: «Господи!» И он переспросил: «Что?» А она не ответила, и тогда он уснул.

— Рейчел.

В пустой комнате он услышал лишь прерывистое гудение слепня, голубым вспыхнули на фоне яркой медной сетки окна крылышки. Уж не превратилась ли жена в насекомое?

Усмехнувшись над своей фантазией, он приподнялся на локте и, прищурив глаза, осмотрелся.

Дух озорства их первых совместных лет порой возвращался к ним, и они тогда разыгрывали друг друга; вот он и подумал: она спряталась — его подразнить. Но в однокомнатной квартирке не нашлось бы угла, чтобы женщине, даже миниатюрной Рейчел, спрятаться. Двери в ванную — настежь, ниша с кухонькой — как на ладони.

Хмыкнув, он заглянул под кровать: свои голубые резинки для носков углядел — не жену.

Нехотя, недовольный, он выбрался из кровати и направился к единственному окну. В его раме, как на просцениуме, увидел: жизнь ставит еще один жаркий день, опять с начала. Улица — в Гринич-Виллидж — узка и пустынна: можно подумать, за ночь чума выкосила всех обитателей. Нет, вон кто-то — женщина, да, но не Рейчел — между домами. Он наблюдал за ней, семенившей к гастроному, витрины которого белели беспорядочно разбросанными пятнами ценников. Очень может быть, и Рейчел туда пошла с пустой молочной бутылкой в бумажной сумке — сколько она взяла из их скромной кассы на бюро под дрезденской статуэткой? Он немедленно

решил проверить, припоминая точно сумму, остававшуюся там перед тем, как они легли. Недоставало двадцати пяти центов. Позвонить хватит. В метро заплатить...

Он фыркнул в общем-то невесело: пора идти к страшившему его зеркалу. В мятой лиловой с белым пижаме он, нервничая, двинулся к заляпанному зеркалу над раковиной, чтобы подвергнуть себя утреннему осмотру. В молодости он был действительно красив, идеальной наружности юноша, и даже в сорок три, с лишними разве что десятью фунтами, он все еще наслаждался сознанием собственной привлекательности. Да, но волосы; говорят, волосы в сорок уже перестают редеть, сохранил до сорока, значит,— и до конца. Так ли? Он наклонил голову, сколько мог себя видеть в зеркале. Макушка проглядывала заметней с каждым днем, да, розой цвела. Ну что же. Еще говорят, редеющие волосы — признак особой мужской силы. Может, и так, что́ ему стоит согласиться.

Он привычно всеми десятью пальцами начал в неистовстве массировать макушку, остановился на счете «шестьдесят» и с облегчением вздохнул.

Покончив с этим, он вернулся к окну. Женщина, видом старая дева, направлявшаяся в гастроном, как раз шла оттуда, крепко прижимая к плоской груди сверток, будто боясь, чтоб не вырвали. А замечал, спросил он себя, как люди, ожидая в приемных, от волнения что есть сил тискают в руках свои шляпы? Гм, вчера, когда он выходил от Макклинтика, его собственная шляпа оказалась такой помятой, хоть утюжить отдавай! Да уж. Теперь он знал, что́ ему этим утром надо сделать. Позвонить Иди Ван Клив относительно той роли в гастрольной постановке «Фиалок голубых». Он взял десять центов и в купальном халате спустился вниз. «Читали вы хорошо,— сказала она,— но мистеру Дэвидсону кажется, вы все же еще чуточку молоды для роли». Он поднимался по лестнице, и его сердце как-то странно стучало. Учащенно. С ним это изредка бывает. Доктор сказал, никаких органических изменений, никакой патологии. «Если бы вы достали свое сердце,— сказал доктор,— вы нашли бы, что оно вполне нормальное, только немножко увеличено, поскольку вы живете напряженной жизнью». Его хотели успокоить, но особенно ободряющей эта фраза ему не показалась. Какая там еще напряженная жизнь? Он никогда не перенапрягался на работе, на сцене. Мог, конечно, на репетициях переутомиться. Но работая, всегда чувствовал себя отлично. Только за эти последние два-три года с длительными периодами вынужденного безделья стал терять форму.

Шаги внизу — Рейчел? Нет, кто-то поднимался выше.

Он принялся ругать ее, поддразнивать, будто она могла слышать, сам уставившись на фотографию в рамке из «Светлячка»: балерины в мерцающих пачках, исполняющие какой-то замысловатый танцевальный номер. Сквозь розовый полумрак сцены тут, там — мигающие огоньки. Последней в ряду танцовщиц — Рейчел, тень миниатюрней, неуловимей, грациозней других. За ней — его выход. Он — партнер в пошлом диалоге комику, которого уже нет, умер — сердце. Томми Уотсон. Гм, вон и фотография Томми. Как бы он сейчас выглядел? Хорошо, что не приходится сравнивать. А вон и его собственное фото — соломенная шляпа, галстук-бабочка. Немногим старше, чем был бы его сын. У них с Рейчел детей нет. Почти десять лет они очень береглись. Но как-то три года назад Рейчел загрустила. И ему всё не удавалось ее растормошить. Они играли летний репертуар. Рейчел вдруг сразу стала выглядеть на свои годы, и директор объявил: «Сожалею, но мы ее больше не сможем занимать как инженю, а на характерные роли у нас актрис достаточно». Это было ужасно. Несколько дней Рейчел ходила, как сомнамбула. А потом однажды вечером сказала: «Я хочу ребенка». Он принялся возражать, но она настаивала: «Мне нужен ребенок». Они перестали предохраняться, ждали с полгода. И ничего не дождавшись, обратились к врачу. Обоих внимательно осмотрели, и потом врач говорил с Рейчел. Дональд ждал на улице, нервничал. Она, выйдя, поглядела на него как-то странно.

— Что сказал?

— Сказал, мы не можем иметь детей.

— У тебя что-то не в порядке, дорогая?

— Не у меня,— ответила.— Он сказал, ты бесплоден...

Страшный удар, для мужчины самый болезненный. Из-за лестного внимания, окружавшего Дональда в юности, его мужское самолюбие увеличилось непомерно, нормальных размеров оно никогда уже не принимало.

Возвращаясь от врача, он, взволнованный, молчал. Наконец хрипло проговорил:

— Рейчел.

— А?

— Никому не рассказывай.

— Дональд, глупый, чего ж тут стесняться. Хотя афишировать и незачем.

— Вот именно...

Однако отношения их переменились. Они посмеивались про себя: как же они усердствовали все эти годы — предотвращали невозможное. Хотя посмешищем-то выходил Дональд: и ему смириться с этим было тяжело. Он был настолько травмирован, что какое-то время вообще не мог заниматься любовью. Рейчел прекрасно его понимала. И, действуя бережно, вернула его в свои объятия, чувство унижения забылось, и для него все стало почти как прежде. Дональд не стремился лелеять обиды, а если Рейчел и мучили обманутые надежды, то виду она не показывала. Дональд получил приличную роль в пьесе, девять месяцев продержавшейся в Нью-Йорке, и они отложили немного денег. Когда же отправились на гастроли, то неподкупный судья Клодия Кассиди [1] загубила пьесу в Чикаго. После этого Дональда приглашали только на телевидение, да и то нечасто.

Дональду где-то попалась статейка: средство от депрессии — тщательнейший уход за внешностью. «Нарядись и взбодрись!» — призывал заголовок, он, помнится, все эти советы зачитывал Рейчел, когда она поддавалась мрачному настроению. Колонка адресовалась женщинам, но почему бы советами не воспользоваться моложавому средних лет мужчине, который заслуженно гордится своей приятной внешностью, вот он и взялся за маникюрный набор Рейчел: почистил, подрезал, отполировал ногти, потом припудрил тело тальком, одеколоном протер подмышки, надел чистые атласные спортивные трусы розового цвета и развернул, после прачечной, один из двух полотняных костюмов снежной белизны, который приберегал все лето для каких-нибудь торжественных дней, так и не наступивших. «Не встречала мужчины шикарней тебя»,— услышал он однажды. Но то было в другой стране, и девчонки той нет. Когда же он по-настоящему разглядел себя в полный рост на улице, залитой невозможно ярким светом, в неожиданном зеркале из магазинной витрины, понял: не перекрахмален неудобный костюм, а просто стал в талии тесен. Он попробовал расстегнуть пиджак — вроде лучше, но, проходя мимо следующей зеркальной витрины, заметил: накрахмаленный пиджак встопорщился на спине, так что сам он стал походить на важно выступающего, в белоснежном оперении петуха. И тут уж от всех его стараний «нарядиться и взбодриться» не осталось и следа, он бесцельно побрел ярким полднем сквозь толпу, в которой каждому, казалось, была назначена встреча, каждому было куда идти, он заметил, что на него никто не глядит, такого раньше ему замечать не доводилось, и он стал намеренно ловить взгляды людей, двигавшихся навстречу по тротуару. Он замедлил шаг, он упорно всматривался в лица, вырастающие перед ним, не только в лица хорошеньких девушек, выскочивших на обеденный перерыв, но и в лица женщин его возраста; с растущим смятением, с чувством, близким к панике, он видел: он привлекает их внимание разве на секунду, а тут еще девушка, торопясь мимо, удивленно рассмеялась, может, и не над ним, но если не над ним, то отчего же? Она была одна...

Он поскорее зашел в аптеку-закусочную и заказал стакан содовой, чуть не выхватил его из рук продавца и залпом выпил. Уф, тяжесть в груди

---

[1] Известный американский театральный и музыкальный критик. *(Прим. перев.)*

ослабла, и сердце стало биться ровней, чем на улице. Город набит людьми, утешал он себя, людьми, которые сами с собой разговаривают и смеются, людьми, только и способными смотреться в зеркало, и если на тебя не глазеют на улице как раньше, год-два назад, это всего лишь значит... всего лишь значит ... что́ значит, он так и не сказал себе, обнаружив на соседнем табурете у стойки девицу, как он решил, молодую стенографисточку, за своей кока-колой; наверное, диету соблюдает, чтобы бедра похудели, да, ведь под ними и хромированного сидения не видно, нависли, будто шляпка гриба, да, бормотал он и воодушевлялся, когда, встретясь с ней глазами в зеркале, правой рукой, костяшками пальцев, пару раз легонько ткнул ее в левую ягодицу. Ее глаза в зеркале мигнули, но она продолжала потягивать колу, не улыбнувшись, не оборачиваясь к нему. Мигнула, выражение прежнее — он не понял ее и повторил попытку.

Девица не повернулась, тем же взглядом смотрела в зеркало, но торопливо заговорила низким голосом, будто пчелиный рой загудел.

Он предпочел не слушать, что она ему говорила, поднялся с такой быстротой — аж голова закружилась — и кинулся к выходу.

Он утешал себя — старался утешить — заключением, что Виллидж заполонили женщины, которым мужчины ненавистны.

Он не знал куда идет, оказалось — в сторону Вашингтон-сквер.

Вот как!

Остановился.

Прямо перед музеем Уитни.

Бум-бум-бум-бум — стучало его переутомленное сердце. Чем переутомленное? «Напряженной работой»,— сказал врач...

Бум-бум-бум...

Перед музеем ярко раскрашенная афиша оповещала о выставке абстрактной живописи.

Рейчел...

Вдруг она оставила в комнате где-то записку, объясняя, что отправилась провести день с какой-нибудь приятельницей, может, с Джейн Остин, которая живет в верхней части города, в Коламбус-сёркл. Джейн их общая знакомая. Значит...

Двое подростков, мальчишка и девчонка из длинноволосой гриничской толпы, задержались рядом с ним и тоже уставились на афишу, он чуть посторонился, внимательно прислушиваясь к их комментариям. Имя Мондриан ему кое-что говорило, но репродукция оставалась для него все же лишенной смысла, как кусок линолеума в чистой светлой кухне. Существовал целый мир вещей, в который он входа не знал, и, несмотря на честолюбие, робкий в душе, он не впитывал с восторгом чуждое ему. Он стоял, прислушиваясь к комментариям юной пары, и вдруг, Господи спаси, содовая отрыгнулась так громко, что дети обернулись к нему и захихикали.

У него все еще кружилась голова, а надо было двигаться дальше...

Достигнув площади, он сел на автобус, следовавший по Пятой авеню до дома Джейн Остин, но автобус был одноэтажный, и он со смутным беспокойством стал размышлять, что, наверное, давно уже по Пятой авеню не ходят двухэтажные автобусы с открытым верхом, он не мог вспомнить, ходят они вообще — нет...

Мысли цеплялись одна за другую — ни конца у них, ни начала.

Джейн оказалась дома, открыв, изумила его: крупная голова зачем-то туго повязана белой тряпкой. Встретила она его странно, сказала: «Ты?» И хотя ему подумалось, что она намекает на его белоснежный полотняный костюм и голубовато-белый шелковый галстук, разукрашенный русалками, приветствие прозвучало не так уж тепло и радушно.

— Рейчел у тебя? — потребовал он ответа.

— Нет! А она собиралась?

— Ну, я подумал...

— Ни тебя, ни Рейчел с того вечера в июне не видела.

Что-то чересчур торопливо и коротко она говорила и за свой вид даже

не извинилась. От депрессии она в то утро явно не страдала, а если и так, то не верила совету «нарядись и взбодрись», впрочем, взялась же наводить порядок после, похоже, шикарной вчерашней вечеринки, на которую по какой-то причине их не позвала. Хотя Нью-Йорк — место, где знакомых уж слишком много...

Он подождал, пока Джейн скажет: «Садись!» И не дождавшись, без смущения прошел мимо нее к дивану.

Подумал про вечеринку в прошлом месяце: не там ли разгадка переменившегося к нему отношения Джейн? Тогда не обошлось без разврата; Рейчел в этом никогда участия не принимала, а он иногда соглашался — для потехи, ну, как взрослый согласился бы с ребячьей компанией в бейсбол сыграть. Рейчел с женатой парой ушла довольно рано, а он задержался. Ему вспомнилось, что он, Джейн и еще народ оказались в спальне, и уж там началось, и кто-то на кого-то разобиделся, устроил сцену, он не помнил, что да как, он сам вскоре убрался оттуда и сидел в баре до самого закрытия. Может, свалка посерьезней была, чем ему помнилось. Тогда понятно, почему Джейн так холодно настроена.

— Рейчел пропала,— сказал он Джейн.

— Когда?

— Сегодня утром.

— Утром?

Спрашивала без интереса. Воздух в комнате был спертый — пыльный, душный, пропитанный алкогольным и табачным запахами. Он ждал, что Джейн предложит ему выпить. Высмотрел бутылку, в которой еще оставалось на два-три пальца. Джейн, тупица. Оперлась на ручку пылесоса, чуть нахмуренный, рассеянный взгляд. Живет одна в этой чудовищно светлой квартире. Дональду было трудно вообразить, как люди живут одни. Легче представить жизнь на луне. Как это они встают по утрам? И знают, что им время поесть, и решают всякие житейские задачки? Приходишь домой с улицы один: это ж не вынести, чтобы дома — никого, кому можно рассказать про то, что вертится на уме. Задумаешься, задумаешься всерьез: зачем она, жизнь, вне ограждающей и хранящей супружеской связи. И все же многие женщины, подобно Джейн Остин, вне ее. И даже мужчины. Но он, он не в силах себе это вообразить! Лежишь в кровати: с одной стороны стена, с другой — пустота, нет тепла, только собственное, нет тела рядом с твоим! Неприличное одиночество! Нечего и удивляться: люди, которые ведут такую неприлично уединенную жизнь, трезвыми делают то, что ты сделаешь только спьяну...

Он взглянул на Джейн и почувствовал даже жалость к ней, хотя она к нему была совсем, похоже, не расположена.

Наверное, решила: ею пренебрегают. Ему бы ей позвонить, внимание проявить — после того свинства в ее спальне тогда.

Внезапно его слух снова атаковал ревущий пылесос.

— Джейн!

— Прости, я недолго. Компанию жду, надо немного прибрать.

Она улыбнулась торопливой холодной улыбкой, подвигая адскую машину по полу. Запах в комнате ему был все омерзительней. Он закинул ноги и во весь рост вытянулся на диване.

Ну уж такого обращения он не потерпит!

— Джейн, Джейн!

Она выключила пылесос.

— Что еще?

— Мне так тоскливо,— сказал он.

— Тоскливо?

— Джейн, неужели с тобой не бывает?

— Никогда.

— Почему ты не устраиваешь свою жизнь, Джейн?

— Что ты имеешь в виду?

— Замуж почему не выходишь?

— Ха!

Она опять собралась включить пылесос. Он вырвал у нее шланг.

Она — руки в боки — уставилась на него с такой враждебностью, что он почти испугался.

— Где, по-твоему, Рейчел?

— Забеспокоился.

— Нет,— усмехнулся он.— Не такой я оптимист, чтобы надеяться, что она ушла от меня насовсем!

Джейн не улыбнулась ему, даже на этот раз не взглянула. Она затолкала пылесос в стенной шкаф и принялась взбивать шелком обтянутые подушки. Потащила за ту, на которой он лежал.

Это было невыносимо!

Он схватил Джейн за плечи, повалил на диван, на себя, и впился губами в ее рот. Старался разжать губы, а руки упорно продвигались вдоль ее спины. Вдруг он получил сильный удар в висок. Удар его оглушил. Зеленым полыхнуло в глазах, противно свело живот. Он свесился с дивана, и содовая из закусочной хлынула в ковшиком подставленные ладони.

Он с глупым видом вытер руки платком.

— Чем ты меня ударила?

Ненужный вопрос. На полу валялись голубые керамические осколки — он помнил вазу с двумя подсолнухами.

— Так ты меня могла и убить,— заявил он.

Она стояла над ним, часто дыша, и отвращение на ее лице было неподдельным.

— Меня от тебя тошнит! — сказала.— Пожалуйста, уйди!

Комната, пока его не было, совершенно не переменилась, только свет лился в иное теперь окно. Собственно, иным был сам свет. Во время его злополучной вылазки в город свет в комнате завершил жизненный круг — от неистовства к изнеможению. Теперь свет не таращился на него, ни к чему не принуждал. Он повис перед окном золотистой дымкой. Слепень по-прежнему сидел на сетке, но сил у него поубавилось. В свете с улицы его нежные крылышки все еще вспыхивали голубым пламенем, но яростные броски на сетку теперь как бы перемежались моментами раздумья о вполне вероятной неудаче его дальнейших стараний. Дональд поспешил к окну и осторожно приоткрыл, чтобы выпустить насекомое. Глупо, но он сделал это машинально, как открывал дверь кошкам и детям. Он был чересчур мягок, обладал душой чувствительной и пассивной, а отсюда — и его необычайная отзывчивость к попавшим в трудное положение существам меньше, слабее его самого. Он постоял у окна. Что-то ему вспоминалось. Ох, Боже мой, да та давнишняя пьеса, в которой он играл. Его первая роль — юного забойщика, погибшего при обвале шахты. Матушку играла старая стерва Флоренс Кервин. В последней сцене она тихо подошла к окну, залитому желтым желатином, и сказала напряженным шепотом: «Каждый закат — напоминание». А потом на счете «пять» медленно-медленно пошел занавес. Занавес еще не опустился, а сидения уже захлопали, и шарканье ног заглушило редкие аплодисменты. Чудна́я, небольшого роста старая дева из Алабамы, автор пьесы, затаив дыхание стояла с ним рядом за кулисами, когда старуха Флоренс Кервин уходила со сцены.

Актриса бросила взгляд на них обоих и крикнула:

— Не пьесу пустили — петуха!

Директор тоже там стоял, и автор обратилась к нему в недоумении:

— Петуха? — спросила.

— Да, птицу с крыльями! — ответил он.

Дональд положил руки ей на плечи, когда она расплакалась слезами неискушенной девочки, осмеянной в блистательном мире Бродвея. А над вздрагивавшими плечами мисс Шарлотты Как-её-там, о которой больше никто не слышал, ему было видно тщедушного директора, в холодной ярости прикреплявшего табличку «Закрыто».

Дональд принялся искать записку, в которой Рейчел объясняла бы свое долгое отсутствие. Он везде посмотрел, даже под кровать заглянул, под плиту — вдруг ее сдуло на пол. Наконец он открыл шкаф с одеждой Рейчел.

И во второй раз за день его сразил удар — как только голова осталась цела? Ее одежды в шкафу не было. Ее чемодана — тоже. Ничего почти не осталось, кроме вешалок.

Рейчел не вернется!

С помутившимся взором он двинулся к стене, где, вопреки протестам Рейчел, висел ее снимок в роли «светлячка». На губах — веселая деланная улыбка, украшенная блестками пачка приподнялась, открывая бедра. Ее грудь проглядывала сквозь прозрачную полоску шифона, ни у кого не было такой восхитительной груди, как у Рейчел — причем до сих пор, а тогда...

Еще несколько минут, и занавес упадет, они сходят поесть, а потом — домой, в постель. В гостиничном номере шторы опустятся, означая вместо конца — начало. О Боже, что за наслаждение крылось в этих ранних вечерах, даже музыкой не передать! Понятно, они были глупыми в те дни! Ничего смешного, что были глупыми в те дни, оба молодые, оба красивые, хватались друг за друга в таком сумасшедшем порыве, что день вовсю заливал окна светом, прежде чем руки их расплетались, губы разъединялись. Потом они шли завтракать, так и не заснув. Рейчел без чулок, он — без носков и галстука, и поглощали, голодные, как волки, дымящуюся овсянку, сладкий черный кофе, яичницу с беконом. Что они говорили друг другу? Кажется, они вообще не разговаривали, он не помнит их разговоров. Всё было жажда и утоление. Они помогали друг другу раздеться, когда возвращались после завтрака, бережно снимали друг с друга обувь и падали — тела их, преглупо переплетенные,— на кровать, как пара тряпичных кукол, брошенных ребячьей рукой,— в комнате, где света слишком много, чтобы заснуть, но недостаточно, чтобы им очнуться...

Ох, Рейчел, куда ты ушла?

Не придумать иного утешения, кроме сна, и он побрел к кровати, стащил с себя одежду. Под одеялом свернулся в комок. Стиснул зубами край подушки — той, что была ее — и дал волю слезам.

Рейчел, Рейчел! Ох, Рейчел!

Вдруг он услышал ее шаги. Вернулась!

Она ворвалась, окликая его и захлебываясь слезами. Он не успел приподняться с кровати, как она упала на него. Откинула одеяло, обожгла его лицо слезами. Скулы у нее — такие острые. Руки — почти бесплотные, косточки одни, а сжала в объятиях — не вздохнуть.

— Ох, Рейчел,— всхлипывал он, а она стонала:

— Дональд, Дональд!

Имя любимого человека превыше всего... Когда рыдания поутихли, он подложил под ее пылающую голову руку и запричитал. О несчастьях, случившихся с ним в тот день и ожидающих его завтра. О своей болезни, о сердцебиении, о возможной скорой смерти. Утрачена его красота, время его прошло. Ему не дали роль, на которую он рассчитывал. Незнакомые на улице над ним смеются. И Джейн его не поняла, стукнула по голове голубой вазой, убить могла...

А Рейчел, чьих невзгод набралось бы не меньше, о них ничего не сказала, но прижала губы к его шее и отозвалась с бесконечной нежностью — на всё, что он ей наговорил: «Я знаю, знаю».

Песок

Старая женщина лежит без сна, слушает его дыхание. Ночь за ночью так: она не в силах забыться из-за резкого мучительного хрипа. Только этот звук прервется — выжидая, сама замрет: мгновения пытки придавят ее недвижную почти грудь, точно гири. Хотя порой и не сразу, звук все же возобновится. Дышит он, дышит. Просто ненадолго пробудился и вновь заснул.

— Слава Богу! — вздыхает она.— Слава Богу!

И днем слушает. На кухне всегда одним ухом сторожит его, читающе-

го, в комнате: шуршит страницами, переворачивая их время от времени, трубкой о пепельницу постукивает.

Эти звуки ее успокаивают.

Она окликает его:

— Эмиел, Эмиел, время капли принять!

Он с трудом добирается до кухни. Ноги неуклюже шаркают, глаза воспаленные, взгляд отсутствующий. После удара правая нога плохо ему служит. И разум уже не так проворен. Жилет вечно в жирных пятнах: когда ест — из ложки проливает. А пьет — вода стекает по подбородку. Часто приходится объяснять дважды, пока поймет. Обыкновенно сидит себе задумавшись. Или вытягивается на кушетке возле приемника и ничего вокруг не слышит. Музыка только понапрасну играет. Комики, комментаторы, симфонические оркестры тоже понапрасну стараются. Он поглощен одной мыслью — о болезни. Лицо его уже мертвое: серое, лишенное выражения.

— Эмиел, Эмиел,— окликает она.

Он поднимается с кушетки или со стула, рассеянно озирается. Вздыхает, бормочет. Она подносит ему стакан: капли — пять капель — делают воду розоватой. Он молча берет стакан, выпивает. Розовая струйка течет по серому, небритому подбородку и — прямо на жилет. Она подходит к нему вплотную. Поджимает губы. Протяжно, умиляясь, вздыхает. Касается его подбородка кончиком своего носового платка. Смахивает капли с жилета. Любовно поглаживает розовеющее сквозь редкую седину темя его, дрожащими пальцами скользит по дряблым, в щетине, щекам.

— Эмиел,— шепчет она печально.

Он опять опускается на кушетку, и она укутывает его индейским пледом. Красно-черным, купленным у навахо почти пятьдесят лет назад; они побывали тогда на Западном побережье во время свадебного путешествия. Вспоминает свой, может, и напускной испуг при виде мрачных индейцев, сгрудившихся на перроне, вспоминает, как взвизгнула от восторга над бирюзовым браслетом, а потом, взятая в кольцо бормотавшими, жестикулировавшими, совавшими товар ей в лицо жадными индианками, вскрикнула, по-настоящему испугавшись. Помнит, Эмиел обхватил ее за талию и судорожно сжимал — а она чуть в обморок не упала. Едва дошла обратно до поезда.

Радио не умолкает. Какой-то политик выступает с предвыборной речью. Голос гремит, исполненный драматизма: страна над пропастью кризиса, жизнь нации под угрозой. Но они тут, в тепле дома, глухи к словам политика. Обступила их ночь, притиснулась чернотой к зашторенным окнам. Они одни. Они сидят рядом. Вдвоем — под светом лампы. Сидят, будто собрались сделать снимок на память. Сейчас щелкнет в камере — фотограф скажет: «Готово!» И улыбка оживит их застывшие лица, пробудит в них движение.

Но пока сидят — ждут.

В половине одиннадцатого она помогает ему встать и ведет в спальню. Он наклоняется, хочет снять комнатные туфли.

— Нет, Эмиел, давай я,— шепчет она.

Руки у нее удивительно быстрые, ласковые, а на вид — безобразные: под багровеющей кожей вены расползлись земляными червями.

— Вот так, старый ворчун!

Ее глаза весело поглядывают из-под неприбранных седых волос, и он ловит в них мимолетный блеск — дух ее молодости, являющийся пугливо, торопливо, украдкой, будто стыдясь, что не к месту, и тут же стремящийся прочь певчей птицей, что на миг опустилась на промерзшую ветку, заметила, удивленная, холодное неприветливое зимнее поднебесье, и вот уже нет ее — опять в туманных, но безопасных далях, откуда лишь на этот единый миг чудом возникла.

Он раздевается — она идет на кухню подогреть ему чашку молока. Зовет:

— Эмиел. Эмиел!

Он входит на кухню, с трудом передвигая ноги. Войлочные туфли уныло шелестят по черным и белым клеткам линолеума. Рассохшийся пол поскрипывает — жалуется на нетвердый старческий шаг. Он опускается на стул. С минуту недоуменно приглядывается к холодильнику, к газовой плите, будто они его о чем-то спросили, а он не расслышал.

— Эмиел, твое молоко,— говорит она.

В ответ — невидящий взгляд. Она подносит чашку ему ко рту, и он медленно втягивает молоко губами. Довольно мычит. Она едва поспевает остановить кухонным полотенцем белую струйку на его подбородке.

— Ох, Эмиел,— шепчет печально.

Разум его совсем затуманился. Ей порой трудно решить: понимает ли он, что делает? Доходят ли до него ее слова? Теперь она непрестанно говорит. Теперь тишина давит. Раньше тишина была привычной — до того, как с ним случился удар. Теперь тишина означает ожидание, ожидание и неотпускающий страх.

Свет погашен — она опять во власти воспоминаний, что без удержу наплывают, затопляют сознание, прорываются в ее невнятном шепоте. Иногда это опять морской берег, и они вдвоем — рядом на теплом песке. Яркие песчинки струйкой текут из его ладони на ее голые ноги, руки. Как давно это было, а помнится живее остального. Она слышит звук набегающих волн, прикрывает глаза под сияющим солнцем. Сквозь ресницы цветные пятна — трепещут. Его ласкающий голос, будто струйкой песчинки: Роуз, Роуз, Роуз. Он хочет, чтобы она обязательно улыбнулась. Нет, не улыбнется она, губы плотно сомкнула. Медленно течет песок. Потом быстрее. И снова медленнее. Теплый, такой теплый песок — на ее нагое тело. И невольно уголки ее губ ползут вверх. Она громко смеется. Земля поднимается, колышется под ней. Ее тело теряет границы. Беспредельно тело ее. И миг — вечен. Миг искрой замыкает пространство. Она шепчет его имя. И замирает, не дыша. Да, да, он все еще с ней рядом. Но теплый песок уже не струится с его ладоней. Солнце уже не сияет. Мрак. Она тихо поворачивается на кровати, не открывая глаз. Протяни руку — и коснешься его простыни. Да, ей слышно: он дышит. Дышит еще. Хриплый, тягучий, иссякающий звук, что так трудно, так мучительно пробивается изнутри, отчаянно продвигается дальше, дальше. И остановится? Она вздрагивает. Нет. Никогда...

И однажды она слышит из комнаты глухой стук. Выпускает половник. У плиты — застывает. Все по-прежнему — уверяют ее и белые эмалевые часы, привычно тикая, и закипающая в кастрюле морковь, и жужжащая у окна вестница лета муха. Солнечный луч, играющий на листьях герани. С трудом она поднимает половник. Держит крепко, будто оружие, широко раскрыв в невидящем взгляде глаза. Сейчас, вот сейчас газета зашуршит, трубка стукнет о стеклянную пепельницу. Она ждет. Но не слышит этих звуков. И внутри у нее что-то сжимается — превращается в твердый холодный камень. Пошатываясь, делает шаг, другой. К чему медлить? Она кладет мокрый половник прямо на покрытый скатертью стол и направляется к двери в комнату, толкает ее...

— Эмиел!

Она задыхается и не в силах еще хоть слово произнести.

У круглого дубового стола стоит он. А упала просто большая книга.

— Я смотрел... уронил,— объясняет он ей.

Это старый альбом с открытками — виды тех мест, где они побывали молодыми, в отпуске. Ниагара, Йеллоустонский заповедник, Канада, Флорида. Альбом они завели почти пятьдесят лет назад — после свадебного путешествия на Западное побережье. И потом пополняли почти каждый год, когда могли позволить себе летнюю поездку. Теперь получился огромный красочный том.

Эмиел медленно наклоняется — поднять.

— Нет, нет,— кричит она,— я сама подниму.

Бросается к упавшей книге. Несколько открыток выскользнуло. Ее красные руки проворно собирают их с ковра. Но поднять огромную книгу и положить ее обратно на стол нелегко. Старики смотрят друг на друга. Его взгляд рассеян. Слюна пузырится в уголках рта. Губы дрожат. Глаза страшно слезятся!

— Эмиел, ох, Эмиел!

Она страстно обнимает его. Прижимает к иссохшей груди. Он навечно принадлежит ей. Времени она его не отдаст. Пусть время течет, как песок. Только б ей вот так его удержать!

— Эмиел,— произносит решительно. Она докажет ему: у нее сил еще на обоих.

Но он не смотрит ей в глаза, такие ободряющие. Отворачивается. И ее решимость слабеет. Иссякает. Она вслед за ним тащится через комнату — поймать его за рукав и, уже не храбрясь, лишь умоляет с ней поделиться:

— Что у тебя, Эмиел? Скажи!

Она настигает его в углу. Он не отстраняется, только стоит молча и глаза прячет. Но когда она выпускает его рукав, он говорит шепотом:

— Мысль одна у меня была... Вот и все.

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ

Вестник беды

(Islama nox [1])

НОВЕЛЛА

Перевод с албанского О. КОЛПАКОВОЙ

От переводчика

Исмаиль Кадарэ — имя в современном литературном мире известное. Талантливый албанский поэт, прозаик, эссеист, заслуживший лестные оценки у таких литературных мэтров, как Джон Апдайк и Робер Мерль. Однако рискну утверждать, что наш читатель с его творчеством почти незнаком. О прозе Кадарэ он может судить по единственному переведенному у нас роману «Генерал мертвой армии» («ИЛ», 1989, № 6). А ведь это — его ранний роман, опубликованный в Тиране еще в 1963 году.

Между тем в Москве, где в Литературном институте прошли студенческие годы этого одного из лучших, если не лучшего писателя Албании, еще в 1961 году в переводе Давида Самойлова вышли отдельным сборником его ранние лирические стихи. Но потом об их авторе на тридцать лет словно забыли. Так уж случилось, что не заладились отношения между маленькой Албанией и «ее старшим братом» — Советским Союзом, а вернее сказать — между их вождями. И из поля нашего зрения пропала почти на 30 лет албанская литература. Да что там литература. Много ли мы вообще в эти годы знали о том, что происходило в Албании?

Впрочем, причиной того, что Исмаиля Кадарэ не переводили, было не только и не столько охлаждение в наших отношениях. Истинной причиной было то, что в его произведениях можно было прочесть вещи по тем временам «крамольные». Кадарэ писал о нас не совсем то, что тогда было принято писать.

А Литинститут, пожалуй, мог бы гордиться своим питомцем, ставшим одним из признанных европейских писателей. С конца 60-х годов книги его перешагнули границы родины. Они выходили одна за другой во Франции, благосклонные критики которой сделали немало, чтобы этот писатель из маленькой страны стал популярен. «Обладающий универсальной культурой,— пишет о нем французский поэт и критик Ален Боске,— Кадарэ не ощущает нужды предавать Горького, чтобы любить Кафку. Он достиг высот, позволяющих претендовать на первую Нобелевскую премию, которой когда-нибудь будет удостоена его страна. И это не преувеличение».

Произведения Кадарэ переводились в 70—80-е годы на десятки иностранных языков. Но только не на русский.

Романом, который принес Исмаилю Кадарэ первый и заслуженный успех, который заставил заговорить о нем, был именно «Генерал мертвой армии». В этом романе, как и в последующих, Кадарэ использовал излюбленный прием — показывать свою страну, свой народ со стороны, глазами сторонних наблюдателей. Албания и албанцы в столкновении с внешним миром — вот объект самого пристального внимания писателя.

Не меньший успех у французской критики, а затем и у критиков других европейских стран имели одна из самых лиричных и отмеченных особым изяществом книг Кадарэ «Хроника в камне» и роман «Крепость».

В каждой национальной литературе есть свои любимые эпохи. Для Албании это — борьба Скандербега против османского ига. Роман «Крепость» обращен к этой легендарной странице родной истории. Крепость у Кадарэ становится образом-символом, призванным воплотить дух сопротивления, стойкость албанцев перед лицом врага — будь то пятнадцатый век или середина двадцатого.

«Суровая зима» вызвала во многих странах Запада новый всплеск интереса к Кадарэ. Не стоит объяснять, чем привлек западных издателей роман о противостоянии «маленькой, непокорной» Албании и одной из сверхдержав. Достаточно сказать, что среди персонажей этого многопланового произведения, представляющего собой албанскую версию разрыва отношений между Москвой и Тираной, множество исторических лиц, в том числе Хрущев, Косыгин, Андропов, Микоян.

В центре романа — жизнь одной семьи в Тиране, описанная на фоне драматических событий той зимы. Главный герой, журналист Бесник Струга, оказывается свидетелем

---

[1] Исламская ночь *(лат.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

неповиновения Энвера Ходжи кремлевским властителям. В «Суровой зиме» Энвер Ходжа предстает «мудрым и дальновидным политиком», решительно отстаивающим позицию своей страны от «ревизионистов всех мастей». Сегодня Кадарэ, пожалуй, не избежать упреков в том, что многие страницы этого романа написаны в угоду тогдашней политической конъюнктуре. Однако вряд ли можно сказать, что роман не интересен, что в нем нет сцен, написанных рукой художника. Впрочем, думаю, сегодня сам Кадарэ не все принимает в себе вчерашнем: слишком сильно изменился мир вокруг нас. Именно неудовлетворенность жизнью в Албании, тем курсом, который проводил Рамиз Алия, заставила Исмаиля Кадарэ два года назад попросить политического убежища во Франции. Он заявил тогда, что вернется на родину, когда там победит демократия. Этот день настал, и он вернулся.

Он возвращается и к нам. Первым прервал молчание вокруг его имени журнал «Иностранная литература». Переводится на русский «Суровая зима». Возможно, придет черед, и мы прочитаем продолжение «Суровой зимы» — роман «Концерт в конце зимы», описывающий разрыв Албании с «ревизионистским» Китаем, и «Сумрак степных богов» — воспоминания о друзьях по Литературному институту в Москве, и историческую повесть «Дворец снов» о тотальном контроле власти над умами людей, другие книги. Как отмечал один из французских критиков, Кадарэ «с необычайной легкостью обращается к истории, находя в ней множество созвучий с современностью». Исторический сюжет в сочетании с современной лаконичной манерой письма придает особую привлекательность его произведениям. Такова и предлагаемая новелла, характерная для Кадарэ. Она о волнующей не только его теме Востока и Запада, об устремлении из мира несвободы в свободный мир.

I

Никогда еще Хаджи Милети не желали перед дальней дорогой столь часто счастливого пути, как на этот раз — в начале сентября, перед тем как отправиться ему на Балканы. Уже не первый год служил он караванщиком в заготовительной конторе дворца Шейха уль-Ислама, и поездки в самые отдаленные уголки империи стали для него делом вполне привычным. Какие только грузы не перевозил он: от старых ковров, отслуживших свой век в столичных мечетях и предназначавшихся теперь для провинциальных, и до суконных плат с изречениями из Корана, которые распределялись по захолустным городам, отдаленным селениям или военным гарнизонам, где, судя по донесениям инспекторов или поступавшим анонимным письмам, их не хватало, а то и не было вовсе.

Хаджи Милети, привыкший к дальним странствиям и дорожным хлопотам, на сей раз ощущал какую-то тревогу. И не потому вовсе, что предстояло отправиться в те края, где ему не доводилось бывать раньше. Причина крылась скорее в другом — в том грузе, который он должен был доставить (большом количестве черных покрывал, предназначавшихся для тамошних женщин), и тех слухах, которые долетели до его ушей, пока он собирался в дорогу.

Он старался забыть эти пустые разговоры, успокаивал себя. Дело предстояло обычное. Да и груз, который он должен был везти, мало чем отличался от тюков с молельными ковриками и уймы других вещей, которые он не раз и не два развозил по городам и весям.

Он старался подавить в себе беспокойство, и временами ему это удавалось, пока вновь не всплывали в памяти эти бесчисленные «Счастливого пути!» и в голову не лезла мысль, что, наверное, не только ему эта его миссия казалась необычной. Потому-то и желали ему столь часто удачного ее завершения.

Вот такие мысли донимали Хаджи Милети, пока он принимал покрывала на центральном складе заготовительной конторы. Их было много. Почти полмиллиона. Они лежали, связанные в тюки, на каждом из которых выведена была цифра, означавшая количество. Старший кладовщик нудно цедил цифру за цифрой, скользя глазами от тюков к пачке накладных, которые держал в руках.

«Полмиллиона,— подумалось Хаджи Милети.— И когда они только успели их изготовить?»

Он слышал, что все лето мастерицы десяти городов трудились не покладая рук. Поговаривали, что злорадное ворчание слышалось там, где кроились черные полотнища, из которых потом шились чадры. «Помаются

теперь эти чужеземки там, на Балканах. До сих пор они не знали, что такое чадра. Может, еще и смеялись над нами. Порезвились, как кобылицы, и будет. Пришел и ваш черед. Теперь узнаете, каково под чадрой».

Но так думали далеко не все. Большинство, конечно же, вздыхали, сочувствуя уделу далеких балканских сестер. «Бедняжки, пробил и их час...»

Хаджи Милети старался пропускать мимо ушей все эти разговоры. Он и мысли не допускал, что женщины где-то могут ходить не скрытые покрывалом. Как не мог представить день без ночи. Ведь Аллах сотворил этот свет таким: половина — день, половина — ночь. Таким он создал и род людской: половину — с открытым лицом, другую — под чадрой.

До поры до времени Хаджи Милети даже не знал, что в империи есть края, где женщины осмеливались выходить из дома без чадры. Это открытие своей неожиданностью поразило его. Но один приятель, хорошо осведомленный в государственных делах, успокоил его, сказав, что те части империи завоеваны совсем недавно и что власть султана там лишь начала укрепляться. Этот же приятель поведал ему о настоящей войне, вспыхнувшей в последние месяцы между кланом Урай и Шейхом уль-Исламом именно по вопросу о чадре. Мощный клан Урай, как всегда, противостоял Шейху уль-Исламу и выступал против принятия фирмана о ношении чадры. Но в тот год сила клана Урай пошла на убыль. Еще весной лишился он поста первого визиря, что, собственно, и послужило причиной поражения в этой борьбе. Наконец Шейх уль-Ислам почувствовал, что ветер подул в его паруса. Говорили, что на заседании правительства он обратился к братьям Урай, которые были визирями в последнем кабинете, и сказал не без иронии, намекая на их албанское происхождение: «Пусть не болит у вас душа, почтеннейшие, за албанок. Они, как и другие балканские женщины, избавятся наконец от своего беспутства. Закроют лица и угомонятся».

Фирман в конце концов был принят — величественный и скорбный, точно похоронный обряд. Отныне всем албанкам, гречанкам, сербкам, румынкам, боснийкам, болгаркам, как и всем прочим мусульманкам, предписывалось с тринадцати лет носить чадру.

Хаджи Милети слушал все это, раскрыв рот от удивления. Вот ведь как все обернулось. Оно и понятно: ведь не могло же быть в одной империи двух законов, один — для одних и другой — для других. Ему вспомнилось все услышанное о балканских женщинах.

Хаджи Милети продолжал внимательно сверять цифры на накладных, в то время как старший кладовщик пробирался среди тюков, спотыкаясь о них на каждом шагу. «Полмиллиона»,— прошептал Хаджи Милети, и душу его переполнила гордость: вот как могущественно государство, которому он служит. А ведь это была лишь первая партия покрывал, подготовленных к отправке. За ней последуют другие, пока наконец тамошние края (сейчас ему представлялось, что на теле империи, словно на теле женщины, оставалось обнаженным срамное место) не будут укрыты ими полностью.

II

Еще до рассвета караван Хаджи Милети покинул столицу. Было холодно. Со стороны Мраморного моря непрестанно дул ветер.

Он ехал весь день, ни на минуту не останавливаясь. Нужно было засветло прибыть в Орман-чифлик [1], где он должен был заночевать. Существовало строжайшее правило, по которому все курьеры и служащие, отправляющиеся по делам в западные владения империи и возвращающиеся оттуда, должны были переночевать именно там. Почему? Этого не знал никто. Да и Хаджи Милети никогда не задумывался над этим. Но ему, как и всем, впервые отправляющимся по делам в европейскую часть государства, напомнили об этом правиле. Он же постарался хорошенько запомнить его, как запоминал по обыкновению, не вдаваясь в детали, все, что касалось государственных дел. Хотя это правило не могло не казаться несколько

[1] Орман — лес, чаща *(турецк.)*

странным: в какое бы время дня и ночи ни прибывал ты в Орман-чифлик, нельзя было продолжать свой путь, не переночевав там. И случись тебе на обратном пути оказаться в Орман-чифлике пополудни, даже в том случае, если почта или документы, которые ты везешь, большой государственной важности, если тоска твоя по ближним нестерпима, а столица — вот она, рукой подать,— даже в этом случае ты не мог продолжать свой путь. Нет, ты обязан был в любом случае дождаться ночи, провести ее в Орман-чифлике и только утром отправиться дальше.

Несколько раз в дороге Хаджи Милети силился представить себе, как мог выглядеть этот самый Орман-чифлик, но его незатейливое воображение, исходя из названия, рисовало лишь очертания леса. И в самом деле, первое, что он увидел, приближаясь к постоялому двору, был лес, показавшийся ему мрачным в сгущающихся сумерках. Несколько тусклых фонарей вырывали из темноты двухэтажные строения, выглядевшие необитаемыми. Какой-то человек неожиданно вынырнул из темноты. Он устремился к Хаджи с вопросом, откуда тот и куда направляется. Караванщик протянул ему свои документы. Незнакомец внимательно прочел их, и взгляд его скользнул от документов к каравану и мулам.

— Хорошо,— произнес он наконец.— Мулов поставишь вон туда,— он указал рукой направо,— а сам заночуешь здесь...

Хаджи взглянул на постройку из красного кирпича, на которую указывал незнакомец.

— А потом?

Незнакомец удивленно взметнул брови.

— Что «потом»? — переспросил он.— Ты и сам знаешь, что делать потом. Поутру отправишься в путь, разве не так?

— Да-да,— смущенно выдавил Хаджи.

— Что ж, как я понял, впереди у тебя долгий путь. В опасных местах тебе, конечно, обеспечат охрану.

— Вот как?

— Да, полагаю, так. Насколько я понял, у тебя ценный груз...

— О да.

— Но ты не беспокойся. В каждом пашалыке сами знают, как нужно охранять государственные караваны. Так что спокойной ночи...

— Спокойной ночи,— ответил Хаджи.

Ему казалось, что, измученный дорогой, он тут же заснет. Однако, как ни странно, сон не шел. Он долго ворочался, пытаясь уснуть. Но те короткие мгновения полусна, который словно обволакивал его, только утомили еще больше. Наконец он не выдержал, поднялся. Решил глянуть на мулов, но не успел он выйти, как из темноты послышался голос:

— Ты куда, ага?

— Хотел вот глянуть, как там мои мулы...

— Не тревожься. Место здесь надежное.

— Ну раз так — ладно.

Он вернулся в маленькую комнату с голыми стенами, которую тусклый свет керосиновой лампы делал еще более мрачной. «Место здесь надежное»,— повторил он про себя, будто слова эти могли принести ему столь желанный сон.

III

Как это ни странно, после столь мучительной ночи отправляясь в путь на рассвете, Хаджи Милети чувствовал себя довольно бодро. «Наверное, это лес так подействовал на меня, не давал мне уснуть»,— подумал он, когда Орман-чифлик скрылся из виду. Караван двигался по широкой дороге, тянувшейся вдоль морского берега. Небо было синим, и море — на фоне этой яркой синевы — выглядело бледной подкладкой ослепительных одеяний небес. «День будет ясным»,— решил Хаджи Милети. И чем дальше удалялся он от Орман-чифлика, тем легче становилось на душе. «Нет, старухи не зря говорят, что сень деревьев тяготит...»

Восход солнца он встретил уже далеко от Орман-чифлика. Сколько раз

во время своих странствий приходилось ему наблюдать рождение нового дня, но таким восход он видел впервые. Горизонт вдруг пронзили золотистые лучики-стрелы, а море покрыли тысячи крошечных серебристых щитов. Немного погодя все вокруг запылало от красного зарева, из глубины которого полилась, заструилась светящаяся пена дневного света, постепенно заполнявшая собой весь мир...

Душу Хаджи Милети охватила какая-то безудержная радость. Он не мог сосредоточиться, словно ласточка, парил, ощущая необыкновенную легкость. И лишь часа через два, остановив свой караван, чтобы подкрепиться, опять почувствовал, что способен думать об обыденных вещах, которые обыкновенно занимали его мысли в дороге.

Было еще утро, когда, передохнув, он вновь отправился в путь. День и впрямь был ясным и полным света. Сколько ни всматривайся в небо — ни облачка. Ему показалось, что небо в этих краях империи красивей. А ведь он представлял себе все иначе. Всегда думал, что, чем ближе к христианским землям, тем холоднее и мрачнее должно быть вокруг.

«Красота, какая красота!» — прошептал он, не отрывая глаз от небесной синевы. И в этот миг, совершенно беспричинно (а именно так часто приходят в голову пустяковые, зряшные мысли) ему вдруг подумалось: интересно, какую часть неба можно было бы затянуть этими черными, сшитыми воедино полотнищами. Он усмехнулся, отгоняя от себя эту мрачную мысль. А чуть погодя, глубоко вздохнув, прошептал: «Хвала Аллаху!»

«И действительно, хвала Аллаху, что таким покровом не закрыть ни неба, ни моря, ни других красот этого мира. Иначе... А что «иначе»? — подумал он.— Что за чепуха лезет в голову?» И все же он не смог отогнать этой мысли, и она против его воли дорисовала мрачный облик человека (может, это был он сам?), волокущего за собой тяжелую черную завесу, которая покрывает озера и луга, а вслед ему весь свет шлет проклятия, клянет его, как клянут нечистого...

IV

Еще до того, как ступил на балканские земли, Хаджи Милети увидел издалека покрытые снегом горные вершины — островерхие и голубоватые, как нигде. Был шестой день пути, когда на склоне гор показались первые села, совершенно не похожие на те, которые он привык видеть в остальных частях империи. Его охватило чувство какой-то тревоги, смешанной со страхом. Он не мог понять, откуда оно, это чувство? Но, разглядев вдали колокольни, понял: это церкви, увенчанные крестами, они даже на таком расстоянии вызывали смятение в его душе. Впервые в жизни Хаджи Милети видел церкви. Он слышал, что всемогущий султан, великодушный властелин его, дозволил христианам покоренных земель молиться в церквах, но он не представлял себе, что церкви будут возвышаться столь вызывающе средь бела дня, блестя крестами на куполах.

Потом рядом с церквами его глаз различил устремленные ввысь минареты, и он немного успокоился. По сравнению с этими старыми, почерневшими от времени церквами белый камень недавно выстроенных минаретов сверкал белизной. «О Всемогущий, они словно невесты на выданье»,— подумал Хаджи Милети с восхищением. Великий падишах предусмотрел все. Рядом с каждой церковью выстроил мечеть. Пусть молодая жена затмевает старую развалину, пока не победит ее окончательно. «Ох уж эти государственные дела»,— подумал Хаджи. Ему не стоит в чем-либо сомневаться, ведь есть правители, которые предусмотрят все, не упустив и мелочи.

Он убеждал себя в этом, однако маленькое сомнение все же точило его изнутри. «А вдруг покосившиеся церкви, эти старые ведьмы, возьмут и набросятся на мечети? Нет-нет!» — обрывал он эти мысли и начинал посвистывать, словно отгоняя их от себя. Хаджи Милети был человек простой, бесхитростный, в школах никогда не учился и книг не читал, а потому сомнения легко покидали его.

Но на следующий день случилось нечто, заставившее его совершенно

забыть о церквах: первый раз в жизни он увидел чужеземок с открытыми лицами.

Это произошло около полудня. Его сильно мучила жажда, и уже долгое время он всматривался вдаль: не покажется ли где ручеек или источник, чтобы утолить жажду и напоить мулов. Женским голосам, доносившимся издали, он поначалу не придал особого значения. Эка невидаль! Голосами женщин были заполнены все города и села империи. Ему даже казалось, что мусульманки, может быть именно из-за того, что лица их были скрыты чадрой, повышали голос гораздо чаще, чем это было нужно. Поразило Хаджи Милети то, как выглядели чужеземки. Они стояли у источника и громко смеялись, подтрунивая друг над другом. Хаджи застыл на месте как вкопанный. Это были женщины и девушки, причесанные каждая по-своему, с оголенными шеями и ногами, а главное — с открытыми лицами и устремленными на тебя глазами.

«О Всемогущий!» — вырвалось у него, и этот затаенный возглас выражал и восхищение, и страх, и раскаяние грешника. «Ах эти глаза»,— повторил он про себя. Глаза чужеземок... Он не привык к взглядам этих глаз и чувствовал, что не устоит перед ними. Мир был теперь совсем иным. Он, словно пробудившись на рассвете, увидел этот мир под лучами не одного солнца, а сразу двух. Да-да, именно так: одного большого солнца, к которому он привык, и другого — разбитого на тысячи мелких осколков, сияющих, как два алмаза, на лицах женщин.

Зачарованный, он не мог не смотреть на них. «Вот они какие — чужеземки». Мрачный, удручающий ропот тысяч темноволосых и темноглазых женщин его родины надвигался на его сознание, словно грозовая туча. Он старался не подпускать их близко, чтобы не спугнуть этих — светловолосых и светлоглазых. «О Аллах!» — вздохнул он опять. Да, есть солнечные дни и лунные ночи, но теперь есть и что-то новое — дни, озаренные взглядами женщин. Это был первый такой день в его жизни, за которым последуют другие. Может быть, двадцать или тридцать. Их будет столько, сколько продлится эта его миссия. А потом — обратный путь, возвращение и вновь — темнота, опустившаяся ночь.

Хаджи Милети двигался к источнику словно во сне. Они наконец заметили его. До его ушей донеслись их короткие, встревоженные возгласы. Он разобрал одно лишь слово «турок». Ему приходилось слышать, что девушки и женщины в этих краях боялись встреч с османскими воинами и государственными чиновниками.

Он застыл на месте, будто опасаясь спугнуть стайку птиц. Постарался улыбнуться, и это ему, видимо, удалось, поскольку на него устремились взгляды, в которых он не заметил и тени страха. Чужеземки вновь защебетали на своем непонятном языке, должно быть, греческом или албанском, ведь, как он понял из разговоров минувшей ночью на постоялом дворе, села в этих местах были смешанными: в них жили и албанцы, и греки.

«Турок, турок!» — донеслись до него вновь их голоса. Может быть, они говорили друг другу: «Погляди на этого турка!» или «Бежим скорее — турок смотрит на нас!» Впрочем, нет, так они сказать не могли, потому что мужские взгляды были для них не в диковинку.

«Аллах, Аллах!» — в который раз прошептал Хаджи Милети. И что это за мир такой? Мир, в котором взгляды мужчин и женщин столь легко пересекаются в одном пространстве, не вытесняя из него друг друга, как сейчас, например, его карие глаза столкнулись со светлыми глазами этих женщин. Невольно он перевел взгляд на караван мулов, застывших на месте. Именно его караван положит конец этому бесчинству и наведет должный порядок. Он слышал эти слова от кого-то накануне отъезда. Говорили даже, что Шейх уль-Ислам назвал его караваном спасения.

Хаджи отвел взгляд от каравана и тут же забыл обо всех этих разговорах. Он виновато улыбнулся и осторожно, словно ступая по стеклу, сделал несколько шагов к источнику. Чужеземки не выказали и тени беспокойства. Он был безоружен, выглядел добродушно, да и караван мулов придавал его фигуре вид совершенно миролюбивый. Они расступились,

пропуская его к источнику. Когда он, приблизившись, наклонился, чтобы напиться, одна из них — молодая, светлоокая — протянула ему свой кувшин. Волнение, охватившее Хаджи Милети в тот миг, когда он принимал кувшин из ее рук, было столь велико, что он чуть было не выронил его.

— Эйваллах,— произнес он, отпив воды, и поклонился.— Спасибо.

Молодая женщина приняла кувшин из его дрожащих рук и непринужденно улыбнулась. Ее подруги тоже заулыбались. Хаджи Милети вдруг ощутил необыкновенную легкость. Он смотрел на них не отрываясь. И вдруг ему захотелось заорать во все горло: «Улыбайтесь, улыбайтесь! Ради бога, не покидайте меня!» Ему и в самом деле подумалось, что, перестань они сейчас улыбаться, он провалится во тьму. Но это было лишь мгновение. Чужеземки наклоняли головки, их взгляды скользили, но улыбки не исчезали.

Жестами они пригласили Хаджи Милети к источнику освежить лицо, весело указывая ему на мулов, которые подошли к ручью, текшему от источника, и жадно пили воду.

«Если бы они знали, чем навьючены эти мулы»,— черной молнией, причиняя боль, пронеслась в мозгу мысль, которую он тут же отогнал.

Человек неискушенный, Хаджи Милети почувствовал, что нельзя ему оставаться так долго рядом с этим чудом. Надо уйти не мешкая, чтобы самому не стать причиной его исчезновения.

Он еще раз освежил лицо водой, вытер его платком и, отступив на несколько шагов, благодарно и уважительно поклонился чужеземкам. Они заулыбались ему вновь, наклоняя голову и что-то весело щебеча. Скорее всего, желали ему доброго пути.

Никогда еще в жизни Хаджи Милети не чувствовал себя столь счастливым. Мир вокруг показался ему словно омытым чистыми слезами. И хотя Хаджи уже перевалило за тридцать, он не познал любви, как, впрочем, многие мужчины в этой огромной стране. Женился, как все, на девушке, которую сосватали ему родители, нажил двух детей, и все. Разве это была любовь? Любовь — это когда женщина, оглядев свободно весь мир, все предметы и существа, остановит свой взгляд именно на тебе, избрав из тысяч тебе подобных.

Хаджи Милети чувствовал себя словно одурманенным. Ну конечно же, он совсем потерял голову от этих женщин, стоявших у источника. Никогда еще на него не смотрело так нежно столько женских глаз. Он понял, что мир стал теперь для него иным. Ведь это ему улыбались женщины. Он им нравился...

Хаджи Милети охватило неудержимое желание — запеть во весь голос. Он огляделся. Пустынный песчаный берег, вокруг — ни души. И он поддался порыву. Голос его устремился к небесному своду с такой силой, что мулы от неожиданности вздрогнули.

Он затянул протяжную, завораживающую песню, слов которой не помнил. Да разве нужны были ему слова? Он заменил их своими. А вернее, беспрерывно повторял два слова:

— Дунья, севда... О мир, о любовь...

Он умолк, когда почувствовал, что стал хрипнуть. Оглянулся: источник скрылся из виду. Надо было запомнить это место, ведь на обратном пути он, может статься, вновь встретит здесь этих чужеземок. Он подумал о чадре, и мысль, что он больше никогда не увидит этих женщин или увидит их под чадрой, омрачила его. Однако светлое воспоминание было еще слишком сильным, чтобы совсем исчезнуть. «Может быть, покрывала не достигнут этих мест или их не хватит на всех»,— подумал он. Так что на обратном пути он опять увидит женщин у этого чудесного источника.

Хаджи Милети хотел было вновь затянуть песню, но вдали замаячили городские купола. Он приближался к главному городу пашалыка, где должен был сдать свой груз. Левой рукой он нащупал в кармане накладные, и из груди, откуда только что готова была политься мелодия, вырвался глубокий вздох.

V

Позади было семь городов, а впереди — еще одиннадцать. Часть мулов теперь шла налегке. Однако погода портилась, холодало. Промозгло-холодными были теперь и склады, где подолгу приходилось сдавать груз. В глазах рябило от бесконечного перелистывания накладных. Кладовщики, чьи лица неизменно выражали сомнение и недоверчивость, сличали всякий раз цифры, перепроверяя все вновь и вновь.

«Что за нудная работа,— бурчал Хаджи.— Легче, пожалуй, пройти сотни километров, чем иметь дело с этими хмурыми людьми».

Покидая очередной склад, он вздыхал с облегчением. Иногда, в свободные минуты, он бродил по улочкам незнакомых городов. Женщины были повсюду: на перекрестках дорог, у дверей домов, на рынке. Он разглядывал их своими покрасневшими, встревоженными глазами. В отличие от той, первой, встречи женщины вызывали теперь в нем смешанное чувство. Ликование, наполнявшее его душу, сменялось подчас какой-то беспричинной досадой. Он любил и ненавидел этих женщин одновременно, не понимая, откуда эта любовь и эта ненависть.

«Бедняжки, пташки несчастные»,— шептал он с сожалением, увидев их. Но в тот же миг из глубины его души поднималась слепая, оглушающая волна, от которой темнело в глазах.

«Ни одна из вас не избежит своей участи,— думал он в исступлении.— Все до одной, все без исключения будете под чадрой».

Капельки холодного пота выступали на лбу. «Что-то нехорошо мне. Такого со мной еще не было».

Но эту обеспокоенность испытывал не он один. Тревожная волна будто опережала караван. Видимо, слухи о приближении каравана перемещались быстрей, чем он сам. Они наполняли тонувшие в слякоти города, словно ветер, гудели в трубах старых домов, нарушая сон их обитателей, вздымали на улицах жухлую листву.

С того дня, когда был оглашен фирман о ношении чадры, минул уже не один месяц. Но, очевидно, только сейчас, узнав о прибытии каравана, люди начинали осознавать, что все, связанное с фирманом, реально. Мрачными, наверное, были предчувствия женщин, но огорчению мужчин не было предела. И это ощущалось во всем. Глаза женщин утратили свой блеск. Тот блеск, который так поразил его тогда, у источника. А взгляды мужчин казались теперь какими-то пустыми.

Да они бы растерзали его, разорвали бы на мелкие кусочки, знай, что именно он сопровождал караван. Не случайно же была проявлена особая осмотрительность, и большую часть пути его сопровождала охрана.

Впервые за все это время Хаджи Милети почувствовал себя смертельно усталым. Позади остались Северная Греция, Битола, Охрид, а впереди его ждали Дуррес, Шкодра, Сараево, Белград. Странные, чужие названия... Затем путь лежал в мадьярские города... « О Всемогущий, будет ли когда конец этому пути?»

Мир был полон женщин, и он должен был доставить всюду покрывала. Таким был приказ, такова была воля великого султана, и она должна быть исполнена.

Ночуя на старых постоялых дворах, где клопы не давали уснуть, Хаджи Милети пробовал прикинуть, сколько ему еще осталось пройти. Учился он мало, а значит, не умел рассчитывать расстояние по карте. Люди, которых он спрашивал, далеко ли до ближайшего города, зачастую отвечали по-разному. «Хватит расспросов!» — сказал он себе однажды вечером, остановившись на ночлег в ветхом постоялом дворе, почерневшем от дождей. «Буду двигаться вперед, волочить за собой это черное, тяжелое, как свинец, полотнище, буду брести, пока держусь на ногах. Вперед, вперед, до самых границ империи, туда, где стоит город, который называют Веной. Да-да, туда»,— бормотал он, склоняя все ниже и ниже охваченную дремой голову.

VI

Было далеко за полдень, когда он вошел в тот слякотный город, труднопроизносимое название которого делало его вид еще более мрачным. Здесь он должен был сдать последние тюки. Далее простирались мадьярские земли, но его миссия кончалась здесь. В следующий раз, возможно, он уйдет еще дальше. А пока и этого было довольно. Хаджи Милети чувствовал себя совершенно разбитым.

Ему пришлось долго плутать, прежде чем набрел он на нужный ему склад — приземистый, невзрачный барак посреди грязного, покрытого лужами и угольной пылью двора. Кладовщик, которого он с трудом разыскал, помог ему сгрузить последние тюки. Заискивающе кланяясь, он непрестанно оправдывался, называя при этом Хаджи Милети «столичный ага». Опасался, видимо, что караванщик доложит об его отлучке столичному начальству. Но лицо Хаджи Милети оставалось хмурым. Все было противно ему в этом мерзком городе. Ужасно хотелось прилечь, вытянуться и забыть обо всем.

Кладовщик, пересчитав чадры, внимательно сверил цифры и расписался в накладных. Хаджи Милети безучастно глядел на мулов, стоявших у входа. «Наконец-то и с этим покончено!» — подумал он.

— Паводок, на дорогах грязь,— продолжал заискивать кладовщик.— Слава Аллаху, что мулы у вас теперь налегке.

Хаджи Милети промолчал. Но немного погодя заговорил сам:

— А где здесь поблизости постоялый двор?

— Постоялый двор? Да тут рядом, за перекрестком, направо. Погодите немного, ага, вот навешу замок и отведу вас.

Хаджи Милети немного расслабился лишь тогда, когда провожатый привел его на место и, договорившись обо всем с хозяином заведения, не понимавшим турецкого, с поклонами удалился. Разговаривать с кем бы то ни было он был просто не в силах. «Слава Аллаху, что хозяин не говорит по-турецки»,— подумал он.

На улице опять шел дождь. Через распахнутую дверь Хаджи Милети наблюдал за слугой, суетившимся у каравана. Немного погодя хозяин засветил фонарь у входа, а Хаджи Милети охватила невыносимая тоска. Что ему было делать? Он уселся в уголке у зажженной керосиновой лампы и долго разглядывал накладные. Все было в полном порядке: ни утерь, ни недостач, никаких неприятностей в дороге с ним не случилось. И все же облегчения он не испытывал. Теперь, когда весь груз был доставлен по назначению, когда мулы пожевывали сено в хлеву, он ощущал в душе какую-то пустоту. Что это было? И вообще, какое ему дело до этих покрывал? Разве они были его собственностью или стоили ему труда и пота, чтобы быть причиной огорчений? Любой другой, будь он на его месте, доставив государственный груз в целости и сохранности, чувствовал бы себя героем. В его же душе эти тонкие суконные полотнища вызывали столько волнений, столько смятения, что теперь, избавившись от них, он должен был бы успокоиться.

Но покоя в душе не было. Пять недель жизни были связаны с ними. Они казались ему то красивыми, то безобразными. Он то любовался ими, то проклинал их. Полмиллиона женских лиц закроют они. Будут касаться их лбов, щек, губ, ощущать их дыхание. Станут свидетелями их тайных вздохов. Ведь этих навьюченных мулов, этот свадебно-траурный караван сопровождал не кто иной, как он сам.

И вот их уже нет. Опустели вьючные седла мулов, жующих теперь сено в хлеву постоялого двора. Опустела и его душа.

«Бежать, бежать! Скорее вернуться домой, к жене, к детям. Как от чумы, бежать от таких дел, забыть все навсегда...»

Во дворе стемнело. Дождь лил не переставая. Хаджи Милети вдруг нестерпимо захотелось плакать.

VII

Обычно обратный путь казался ему легче, короче. На этот же раз он был безмерно долгим. Более захолустными выглядели теперь города и поселки, а погода продолжала портиться. Вступая в какой-нибудь город, первое, что он ожидал увидеть, это женщины под чадрой. Однако их нигде не было. Чужеземки, как и раньше, ходили с открытыми лицами. «Странно»,— подумалось ему. А впрочем, ведь он не знал ничего о том, как будет исполняться фирман, как власти принудят женщин носить чадру.

«И какое мне до этого дело!» Сказав так, он ощутил, что его охватило безразличие. Однако, вступая в следующий город, он вновь был готов обратиться к первому встречному: «Куда подевались все те чадры, которые я с такими муками волок с другого конца света?» Он не мог понять даже, чего ему хотелось больше: увидеть эти черные полотнища скорбно развевающимися на ветру или узнать, что они преют в тюках где-нибудь в глубине склада, словно угольные залежи в недрах земли.

Однажды в мыслях пронеслось: а не приснилось ли ему все это? Но потом он подумал: фирман ведь мог быть отменен.

«Да пусть делают с ними что хотят!» — говорил он, не отрывая взгляда от дали, в которой терялась дорога. Уже давно осталось позади Сараево. Он приближался к Шкодре. Величественные мечети и церкви этого города тревожно мерцали в тумане.

Дождь начал накрапывать, когда он входил в город, а когда приблизился к «Новому трактиру», где уже ночевал, дождь и не думал утихать. Двор трактира был усеян мелкими лужами. Но это его ничуть не волновало: в любом случае он не испытывал ни малейшего желания бродить по городу.

Усталый и замерзший, сидел он, согнувшись, в углу просторной комнаты до самого вечера. Хозяин заведения засветил керосиновую лампу, висевшую у потолка. Постояльцы расселись вокруг низенького стола, чтобы поужинать. По тому, как обращались они друг к другу, видно было, что многие из них уже давно здесь. Должно быть, это были чиновники или инспекторы, прибывшие сюда по служебным делам из центра. Чувствовалось, что всем не терпится поскорее вернуться в столицу. Из разговора Хаджи понял, что люди эти — важные птицы. Он примостился с краю, стараясь не привлекать к себе внимания. Но все же не остался незамеченным. В то время когда трактирщик раскладывал тарелки и ложки перед постояльцами, один из них — с длинным лицом и полузакрытыми глазами, отчего слова, им произносимые, казались пренебрежительными,— спросил, обращаясь к Хаджи Милети:

— А ты, приятель, по делу тут?

— Я? — переспросил Хаджи удивленно.— Я сопровождаю караван, ага. Привез чадры.

— Так это ты доставил их сюда?

Все взгляды устремились на Хаджи Милети. Он утвердительно кивнул.

— Последние дни здесь, в Шкодре, только об этом и говорят,— сообщил трактирщик, ставя посередине стола миску с фасолью.— Угощайтесь, прошу вас! Хватит на всех, еще и добавка будет.

— Благодарствуем, уста! — донеслось сразу несколько голосов.

— У всех ли есть ложки и тарелки? Не забыл ли я чего? — спросил трактирщик.

— Нет-нет,— поспешил ответить кто-то уже с полным ртом.— Да благославит тебя Аллах!

Лицо трактирщика светилось удовольствием.

— Весь город гудит, только и разговоров что о чадре,—— заговорил трактирщик, видимо довольный тем, что за столом завязалась беседа.— Да и понятно почему. Для наших мест это невидаль: и для женщин, и для мужчин. О фирмане здесь все наслышаны. Но никто не знает толком, как все будет. Поговаривают, что жандармы будут хватать любую женщину, которая осмелится выйти из дома без чадры. Слышал я, что за нарушение фирмана будут брать штраф, а может, даже сажать в тюрьму.

— В самом деле, что же будет? — спросил один из постояльцев у Хаджи Милети.— Уж кто-кто, а ты должен об этом знать.

Хаджи пожал плечами:

— Не знаю я ничего, ага. Я ведь только привез их.

А про себя подумал: «Мало вам того, что я волок их с другого конца света. Вам еще и скажи, что с ними делать».

— А что, противятся? — спросил кто-то хозяина.

— Да как вам сказать. Люди здесь упрямые. Что мужчины, что женщины.

— Ничего, привыкнут,— произнес длиннолицый.— Свыкнутся, как со всем свыкаются.

— Вы думаете? — спросил один из постояльцев.

— А куда им деваться?

— Чего только не услышишь,— улыбаясь, поддержал разговор трактирщик.— В этих краях в домах албанцев, кроме главного входа — больших дверей — есть еще и маленькие, во дворах. Эти калитки соединяют их сады. Так вот, говорят, что, когда женщинам и девушкам запретят выходить без чадры на улицу, эти самые калитки не будут закрываться ни днем, ни ночью, чтобы албанки могли ходить через них из одного дома в другой.

— Ты погляди! — воскликнул длиннолицый.— Чего только не придумают — лишь бы не носить чадры.

— Надо же! — сказал другой, разводя руками.— Все понимаю, но как можно ослушаться султанского фирмана — в толк не возьму.

— Ты прав,— вступил в беседу еще один постоялец.— Коль вышел фирман о чадре, то скорее небо упадет на землю, чем фирман будет нарушен.

Вначале эта беседа казалась Хаджи Милети даже приятной. Тем более что он сам был в центре внимания. Но постепенно она начала раздражать его. Он не мог дождаться, когда наконец закончится ужин, а вместе с ним и беседа.

Но она, к его большому огорчению, продолжалась и после ужина, когда несколько постояльцев попросили кофе. Хаджи хотел было отправиться спать, но ему было неудобно уйти. Почти все постояльцы были старше его по возрасту, да и с положением. Опасение, что кто-нибудь из них после его ухода может сказать о нем что-нибудь нелестное, удерживало его здесь.

— И в самом деле, замечательно, что вышел этот фирман,— сказал один из постояльцев.— Может быть, с ним даже немного подзадержались. Но великий падишах никогда не принимал поспешных решений. Он обдумал и взвесил все, прежде чем принимать его.

— Это было великим благом для всех, особенно для нас, мусульман, живущих в этих краях среди иноверцев,— включился в беседу трактирщик, замерший с кофейником в руке, ожидая, не захочет ли кто из гостей еще кофе.— Сколько раз писали мы об этом султану, но ответа не было.

— Письма такого рода, должно быть, шли в столицу отовсюду...

— Говорят, что принятие фирмана подтолкнул один сон,— произнес длиннолицый. Его глаза-щелки казались теперь совсем закрытыми.— Да-да, именно сон,— добавил он, помолчав.— Об этом сне сообщил в столицу один мулла из Боснии.

— Сон? Какой сон? — послышались удивленные голоса.

Длиннолицый кивнул.

— Над его точным толкованием долго бились, прежде чем было доложено султану.

— Благословен будь праведник, увидевший этот сон,— произнес трактирщик.— Он спас нас. Ах, какой великой радостью было известие о фирмане. Барабанную дробь услышали еще до рассвета. Люди высовывались из окон, спрашивая: «Что случилось? Радость какая?»

— Что-то мне не верится, что так уж все и ликовали,— засомневался кто-то из постояльцев.

— Нет, конечно же, нет, ага,— продолжал трактирщик.— Я ведь

говорил, что большинство здесь против фирмана. Они ни о чем другом и не помышляют, кроме как обойти его. Да разве только это... Наши недруги не пропустят случая, чтобы не опорочить власть султана. Они тут же распустили языки.

— Да что уж там! Приуныли, что не смогут больше подмигивать красоткам на улицах,— сказал молчавший до того коротышка, весь побагровев от злости.

— Да, недруги государства, мерзавцы и развратники только этим и занимаются,— подхватил другой.— Они будут ругать фирман, лить крокодиловы слезы, оплакивая удел этих греховодниц. Но они забывают об одном: как сказал Шейх уль-Ислам, именно фирман спасет этих нечестивиц от греха, от порока, гнездящегося в них.

— Лицемеры! — не удержался длиннолицый. Хаджи Милети казалось, что тот спит, столь неподвижным было его лицо.— Дело не в том, что им жаль женщин. Нет, они берут их под свою защиту, чтобы разлагать государство. Кто будет отрицать, что грех, распутство — от них, от женщин? Не примем мер, этот здешний блуд распространится, словно зараза, и в наших краях. Женщины у нас откажутся носить чадру, как эти неверные, и тогда — конец.

— Спаси нас, Всевышний! — прошептал самый старый из постояльцев.

— Теперь-то мы дождемся наконец порядка,— продолжал длиннолицый.— Мужчины, видя женщин с открытыми лицами, будто рассудка лишаются. Да и войн, мятежей будет поменьше. Ведь именно женщины возмущают спокойствие в этом мире, как луна возмущает море...

— Твоими устами, ага, глаголет истина,— одобрительно отозвался старик.

— Да, дела наши идут все успешней,— продолжал длиннолицый.— А ты, доставивший сюда чадру,— обратился он к Хаджи Милети,— большое добро сотворил. Будешь благословляем женщинами на этом и на том свете.

Все посмотрели на Хаджи — единственного за этим столом, не подавшего голоса. Он уже было подумал, что о нем все забыли. Но теперь о нем вновь заговорили как о герое дня. Хаджи Милети даже покраснел. Никогда в жизни не слышал он столь утонченных похвал, а главное, из уст столь достойных людей. Они называли его предводителем султанского каравана, ревнителем веры, посланцем ислама, укротителем плотских соблазнов. Но больше, чем от этих редкостных похвал, Хаджи Милети бросало в краску от его давешней неблагодарности: ведь он без особой охоты сел за этот стол и так же нехотя слушал эти разговоры о чадре. Откуда в нем эта неприязнь? Это высокомерие? Ведь он хотел уйти из-за стола, подталкиваемый, наверное, дьяволом, хотел отплатить неблагодарностью за их добро. Ведь только дьявол мог внушать ему желание покинуть стол, за которым он оказался волею судьбы, где впервые в жизни беседовал с людьми столь почтенными и праведными.

Дьявол и женщины... Вот что наделали их открытые лица. Целыми днями они нарушали его душевное спокойствие, смущали, искушали его. Мрачные мысли, будто адские молнии, пронзили его мозг, это были мысли, толкающие человека в пропасть.

Как хорошо, что великий султан скрыл от мужских глаз эти шеи, эти волосы, эти глаза, казавшиеся просто ангельскими. Ведь они таили в себе погибель. Он и сам чуть было не пал их жертвой, столкнувшись с ними впервые. Усомнился в фирмане, а душа его чуть было не восстала против государства, послушным слугой которого он был до сей поры.

«Аллах хранит меня»,— пронеслось в мыслях. Аллах действительно хранил его. Ведь в тот миг, когда он приблизился к самому краю пропасти, Аллах привел его сюда, посадил за этот стол, чтобы спасти. Вот вернется домой, сразу же пойдет в старую теке [1], а потом — к усыпальнице дервиша Али, чтобы снять с себя эту напасть. Он будет усердно молиться по пять раз на дню, как пристало правоверному мусульманину.

---

[1] Теке — обитель дервишей.

Было поздно, когда постояльцы поднялись наконец из-за стола. «Спокойной ночи!» — говорили они друг другу, прикладывая руку к груди. «Спокойной ночи!» — бормотал растроганный Хаджи Милети.

Освободившись от мучивших его сомнений, счастливый, направился он в свою комнату. Перед сном молился дольше, чем обычно. Шептал старые молитвы, которые не вспоминал годами. Но сон, как и в прошлую ночь, был тягостным, беспокойным. Во сне его преследовала желтая луна, которая, как рана, разъедала спину Мраморного моря, и этот кошмар преследовал его целую ночь. Несколько раз он просыпался, шептал: «Спаси, Всевышний!» — и засыпал вновь. Утром он проснулся с головой тяжелой, точно свинец.

VIII

С каждым днем все больше холодало. Чем дальше он продвигался, тем выше и выше казалось ему небо. Оно словно хотело оторваться от грешной земли.

Хаджи Милети оставлял позади один за другим города и поселки Албании. Налегке мулы двигались намного быстрее. Да и стражников, которые раньше замедляли ход каравана, теперь не было. На душе посветлело, и дорога показалась Хаджи Милети намного приятней.

В Дурресе, Эльбасане, а затем и в Охриде он отметил про себя, что женщины встречались ему на улицах гораздо реже. Видимо, фирман все же вступил в силу. Он почувствовал, как что-то кольнуло его в сердце. Почему-то он считал, что это случится гораздо позднее, когда он будет уже дома, а это значит, что у него не будет случая убедиться в этом самому. Однако в здешних краях фирман, видимо, уже действовал. Оно и понятно: в городах, куда караван доставил чадру раньше, фирман раньше вступил в силу.

И чем ближе был дом, тем заметнее становилось отсутствие женщин на улицах. «Эта осень будет осенью без женщин,— подумалось ему.— И наступившая зима будет зимой без них. А вслед за зимой такими же будут все зимы, все весны...»

Хаджи Милети старался не думать об этом, но не мог. Мир казался ему холодным, серым, застывшим, как во время затмения. И те редкие женщины, которые попадались ему на глаза, тоже казались холодными. Притихшими, погрустневшими были и мужчины. Это оледенение, это запустение ощущалось и в них.

Хаджи Милети почувствовал, что его душу вновь охватывает то смятение, которое он недавно с таким трудом преодолел. Но тщетно пытался припомнить он все сказанное за столом на том постоялом дворе в Шкодре. Его недавние собеседники казались ему призраками, привидевшимися во сне, едва различимыми, бледными тенями.

И каждый раз, когда на дороге встречалась ему девушка или женщина с открытым лицом, он думал о том, что она, возможно, станет последней. И даже если ему как караванщику придется еще раз проделать этот путь, он никогда больше их не увидит. Люди печалятся, когда отцветают розы, когда увядают лилии. Но это — мимолетное огорчение, поскольку исчезают они на несколько месяцев. А представьте, если бы людям сказали: полюбуйтесь на эти розы, они — последние. Аллах повелел, чтобы никогда больше не росли они на этой земле. Что тогда?

То же происходило с женщинами. Могло случиться, что он вновь прибудет в эти края с грузом золота или ковров и не увидит их больше. Всех их поглотит ночь. И эту чуму привез сюда он.

Тщетно старался Хаджи Милети рассеять свою печаль. Разве он издал этот фирман о ношении чадры? Да и кто он такой? Мелкая сошка, простой караванщик, подневольный человек. Но оправдания эти принимал лишь разум, сердце их отвергало. Внутренний голос словно нашептывал ему: не случайно же именно тебя выбрали для этого дела. И в его сознании, непривычном к такого рода терзаниям, вина приобретала невиданные размеры. Ведь он причинил это зло. Это он тянул за собой эту черную завесу, переходя из города в город, из села в село. Он — сатана с черной

отметиной, нечистый, затмивший луну. Их ненависть никогда не даст ему покоя. «Бежать, спасаться! Иначе они поймут, кто я такой и что привез сюда. Они бросятся мне вслед, догонят и придушат. А не догонят, так меня настигнут их проклятия». Вот о чем думал Хаджи Милети, беспокойно оглядываясь на дымок над трубами остающихся позади городов. А в городах этих на десятке балканских языков говорилось лишь об одном — о чадре. Ведь случались же раньше и солнечные, и лунные затмения. А теперь было иное затмение. Затмение женщин. И весь мир содрогнулся и оцепенел.

Так, в полудреме, он продолжал свой путь и вот, очнувшись от размышлений, вздрогнул: перед ним в ночи белел песчаный берег, полого спускающийся к морю. Да, это было то самое место, где он пел во весь голос. Вот и тот источник, где он впервые увидел их... Теперь кругом было пустынно, безжизненно. Камешки, мох под желобками источника были серыми, холодными, чужими.

Он спешился и, неловко ступая, направился у источнику. Он и подумать не мог, что от воды, так же как от покинутого виноградника или невспаханного поля, может веять запустением. И от этого запустения вода казалась какой-то особенно холодной. Но это была не живительная, а смертельная холодность.

Пить эту воду не хотелось. Он огляделся по сторонам, как будто ожидая появления чужеземок. Он невольно представил их: чужие, равнодушные, с лицами, скрытыми чадрой. «Нет,— подумал он.— Пусть лучше не появятся никогда, чем вот так, словно немые призраки».

Он резко повернулся и направился к каравану. Но не сделал он и сотни шагов, как тело его стали сотрясать рыдания. Такого с ним никогда не было. Он не вытирал текущих по щекам слез, не пытался сдерживать себя. В голове лишь мелькнуло: как хорошо, что мулы существа неразумные.

Караван продвигался все дальше на восток. Царство женщин оставалось позади. Начинался мир многовековой чадры, в котором не было ни волнующих женских глаз, ни крамольных мыслей. Но теперь он вступал в этот мир словно чужой. «Упаси меня, Всевышний!» — повторил он несколько раз. Потом мысли его смешались, словно от порыва налетевшего ветра. Вспомнилось все, что видел и слышал за последнее время. Ему нестерпимо захотелось крикнуть: «Скрой солнце и луну, о Великий! Скрой звезды и море, только их пощади!»

Дорога приближалась к берегу моря. Столица была недалеко.

«Проклятый фирман!» — вырвалось у него. Никогда раньше он не позволял себе такого.

Песчаный берег, по которому гулял порывистый ветер, казался еще более пустынным и серым. Крошечные песчинки, холодные и надоедливые, жгли в уголках глаз. «Отмени фирман!» — почти простонал он, словно кого-то предупреждая, прежде чем сразить ножом.

Караван приближался к Орман-чифлику. Еще издали увидел он темнеющие островки деревьев на его подступах. Мрачные предчувствия не покидали Хаджи Милети. Не перебросившись ни с кем ни словом, не отряхнув с себя дорожной пыли, он распряг мулов и направился в комнату, отведенную ему для ночлега. Лег, вытянулся. Нет, уснуть он не мог. Поворачиваясь с боку на бок, поднялся, зажег керосиновую лампу. И под ее тусклым, навевающим тоску светом заплакал навзрыд.

IX

Его арестовали ранним утром. Еще не рассвело, когда в комнату постучали и, не говоря ни слова, не причиняя боли, не волоча и не толкая, на его еще мягкие ото сна руки надели наручники.

Но не меньше, чем сам Хаджи Милети, которого взяли без единого объяснения, были удивлены его пленители. Их поразило его спокойствие и непротивление. Ничего не понимая спросонок, он рассматривал наручники, словно не веря, что видит их на собственных руках.

— Что я такого сделал?

Но в голосе его не слышалось жалобы. Скорее он походил на человека, который, отрезвев после пьянки, хочет узнать, чего он такого по пьяному делу натворил.

— Скоро узнаешь,— был ответ.

Услышав этот голос, Хаджи Милети узнал в нем голос того человека, который два месяца назад, в ту ночь, когда он прибыл сюда из столицы, успокоил его, когда он спросил о мулах: «Не тревожься, место здесь надежное».

Его везли в закрытой повозке в сопровождении двух охранников, не спускавших с него глаз. Третий, подсевший в повозку, судя по всему, был их начальником. В его кармане лежал сопроводительный документ следующего содержания:

«Донесение по делу о недоверии Хаджи Милети, сыну Рахима и Хатиджи, служащему заготовительной конторы дворца Шейха уль-Ислама, вернувшемуся из двухмесячной поездки в западные края империи.

Сегодня, 17-го числа текущего месяца, на основании правил нашей священной империи, определенных тайным указом номер 31 и дополненных распоряжением за номером 13063, проведено ночное подслушивание служащего заготовительной конторы Хаджи Милети, посланного караванщиком в районы, подпадающие под действие вышеназванных распоряжений.

В соответствии с установленными правилами, прежде чем осуществить подслушивание данного лица, был просмотрен Общий реестр и прочитана запись, сделанная в день первого прохождения через Орман-чифлик. В графе с его именем была обнаружена нижеследующая запись: «Ночь провел неспокойно. Дважды просыпался. Во сне разговаривал, что свидетельствует о раздвоенности и страхе. Обратить внимание на обратном пути».

На основании государственных распоряжений, а также принимая во внимание вышеизложенную запись, наши агенты, выполнив соответствующие действия, доложили на рассвете, что вышеупомянутый Хаджи Милети не только провел еще одну беспокойную ночью, что усиливает сомнения в его раздвоенности и страхе, но и долго рыдал. Случай редкий в нашей практике, дающий основания подозревать его в совершении деяний, наносящих вред государству и вызывающих теперь в его неспокойной душе смуту, страх и раскаяние.

По прочтении рапорта о подслушивании, на основании тех же предписаний я отдал приказ об аресте вышеупомянутого Хаджи Милети и немедленной его отправке в имперскую следственную тюрьму.

Комендант Орман-чифлика
Тахир Бекбей».

X

Где он? Сколько времени он провел здесь, закованный в кандалы? Темница была узкой и высокой. Ее стены сужались к потолку. Кто его знает, случайно ли это, или, быть может, строивший эту тюрьму умышленно сделал потолки уже пола, чтобы темница напоминала форму гроба.

Целыми часами лежал он неподвижно, чувствуя лишь, как муравьи ползали под кандалами на его руках. Ему вдруг вспомнилось, как однажды в далеком детстве дождливым днем брели они с матерью под сводами огромного моста...

Его забирали на допрос, не дав сомкнуть глаз несколько ночей кряду. Допрашивали, подняв одурелого после десятичасового сна. Допрашивали изможденного голодом и разморенного обильной едой. Пытались взять мягкостью, сломить силой. Обещали немедленно освободить и даже вознаградить. Грозились содрать шкуру, распять, четвертовать, пустить на свечи, которые христиане зажигают на могилах промозглыми декабрьскими вечерами.

Не отвечая на вопросы, он отрешенно глядел на следователя Орхана, вызывая в том надежду, что вот-вот заговорит. Потом отводил взгляд. «Говори, не опуская глаз!» — настаивал Орхан. И вопросы следовали один за другим с утомляющим однообразием. «Что ты делал, находясь *там*? С кем встречался? Что за послания вез? Почему совесть мучила тебя в ту ночь в Орман-чифлике? Почему ты рыдал?»

Следователь смотрел не отрываясь на его глаза, на его губы, которые

начинали вроде бы слегка подрагивать после задаваемых вопросов. Впрочем, больше, чем эта бесконечная череда вопросов, его утомляло ощущение того, что слово было где-то близко, что оно уже готово сорваться с уст узника, но всякий раз что-то тому мешало. Что-то незначительное, малое, чего он, следователь, никак не мог преодолеть.

И тогда его голос вновь становился мягким, вкрадчивым. «Хаджи Милети, ты ведь добрый человек. Только добрые, порядочные люди испытывают угрызения совести, чувство раскаяния. Только они плачут, когда совершают ошибки. Даже если ты в чем-то виноват, вина твоя, ясное дело, нечаянная. Ты случайно попал в ловушку. Ты был словно во сне. Проснись, Хаджи Милети! И этот кошмар прекратится».

Но Хаджи Милети продолжал молчать. И тогда следователь, скорее желая облегчить свою душу, чем запугать узника, вновь яростно обрушивался на него. Грозил пытками, известковой ямой, скорпионами, обещал сжечь заживо, четвертовать, содрать шкуру, пустить на воск для свечей, мерцающих на христианских могилах в унылые декабрьские вечера.

XI

Смятение охватило семью Хаджи Милети, всех его близких, весь его род. Этим простым людям впервые в жизни пришлось стучать в двери чиновничьих кабинетов, не получая ни ответа, ни разъяснения.

Вначале они решили, что он сгинул бесследно. Домыслы же были самые разные. Поговаривали, что он сошел с ума и утонул в реке вместе со своим караваном. Потом прошел слух, что его убили враги государства, растерзали женщины, задушив чадрой. «Его настигло проклятие балканских женщин»,— перешептывались старухи из его рода.

В то утро, когда во дворик их маленького дома нежданно нагрянул следователь, чтобы произвести обыск, все сразу поняли, что Хаджи Милети арестован. «Ну и слава Аллаху! — вздохнули с облегчением.— Значит, жив!»

Всю зиму хлопотали, писали прошения то первому визирю, то в канцелярию Шейха уль-Ислама, то самому султану. Ответа не было ниоткуда. «Не огорчайтесь,— говорила старая Мерьеме,— не теряйте надежду. У могилы нет дверей, у тюрьмы — есть».

Хаджи Милети умер на исходе зимы, до того, как приступили к жестоким пыткам. Охранник, обнаруживший его мертвым однажды утром, был испуган: ему показалось, что это был совсем не Хаджи Милети, а кто-то другой, даже похожий на женщину. Но, перевернув труп, охранник узнал все же Хаджи Милети. Голову и часть лица его закрывал черный платок, как чадра лицо женщины.

Охранник застыл, не сводя глаз с его землистого лица. Два муравья ползали вокруг сомкнутых губ мертвого, словно стремились проникнуть внутрь. Но, покружив вокруг них, вновь устремлялись куда-то в своем бессмысленном движении.

XII

В ту неделю, когда труп Хаджи Милети был сброшен в общую могилу на окраине столицы, где хоронили обычно приговоренных к смерти, сирот и бездомных, во дворце султана прошло заседание правительства. На нем в присутствии султана Шейх уль-Ислам докладывал о том, как исполняется фирман о ношении чадры в западных частях империи.

«Почти год минул со дня принятия сего славного фирмана и полгода со дня направления в те края первого каравана с покрывалами. С тех пор,— продолжал Шейх уль-Ислам,— караваны один за другим доставили на Балканы и далее, вплоть до мадьярских и австрийских земель, более двадцати миллионов покрывал. Таким образом, успешно — с помощью Аллаха и несмотря на дурные предсказания — было завершено одно из величайших начинаний, предпринятых в последнее столетие бессмертной Османской империей». Сказав это, Шейх уль-Ислам перевел взгляд в ту сторону, где сидели, потупив взоры, визири-албанцы. Все понимали, что

клан их еще подымется, что придет время и их фирманов. Так же, как наступит время их падения и опалы, которое продлится до нового взлета. Так было всегда, и так это происходило и на этот раз в Османской империи. Все знали это, а потому не спешили выступить против них теперь, когда они были в опале. Впрочем, как не спешили и объединяться с ними в период их возвышения.

Голос Шейха уль-Ислама то затихал, то с трудом возвышался на фразах, слишком длинных для его старческих легких. «Ислам теперь может быть спокоен,— докладывал он.— Женщины Греции, Албании, Кипра, Румынии, Сербии, Болгарии, Боснии, Македонии и Черногории, а также женщины тех краев Польши, Крыма, Венгрии и Австрии, что находятся под османским владычеством, скрыты чадрой. Такое — колоссального размаха — предприятие могло быть осуществлено лишь такой великой державой, как наша»,— продолжал он.

Шейх уль-Ислам на миг умолк, затем, обратившись к султану, сказал: «Я счастлив известить сегодня великого султана, наместника пророка на земле, о том, что все женщины величайшей империи мира носят чадру».

Он сделал движение рукой, будто море этих покрывал — черное, дышащее и бескрайнее — простиралось у его ног. Султан же, следящий за ним взглядом, медленно кивал головой, а губы его шептали: «Честь и хвала!»

УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ

Слабоумный мальчик

БАЛЛАДА

Перевод с английского А. КАРЕЛЬСКОГО

От переводчика

Баллада Уильяма Вордсворта «Слабоумный мальчик» («The Idiot Boy») — одно из самых знаменитых произведений английской литературы. Сейчас для англичан это шедевр национальной классики, украшение антологий и хрестоматий, но появление баллады в 1798 году шокировало современников. В том году Вордсворт вместе с Сэмюэлом Тейлором Колриджем издали сборник «Лирические баллады», открывший собою эпоху романтизма в английской поэзии. Уже само демонстративное обращение поэтов (и прежде всего Вордсворта) к народной тематике и соответственно к «простому», безыскусному (Вордсворт даже настаивал — «прозаическому») языку озадачило многих современников — ценителей изящного. Но когда Вордсворт, доводя принцип до крайности, предлагал тогдашним читателям балладу, главным персонажем которой оказывался не просто «ребенок из народа», а мальчик психически больной, слабоумный, то озадаченность достигала степени шока. Это лишь искушенному читателю XX века вордсвортовская тема может представиться вовсе не такой уж ошеломительной — но для конца XVIII века лирический дифирамб идиоту был, конечно, неслыханной дерзостью, провокацией, и поэту надо было обладать редкостно твердой верой в правоту своего дела и в могущество своего дара, чтоб на такое решиться.

Новации Вордсворта не приняли даже собратья-поэты, сами отправлявшиеся на романтическую тропу. Саути, насмехаясь над «экспериментированием» Вордсворта, поставил ему в вину «неинтересность тематики»; юный Байрон в 1809 году, не обинуясь, сравнил самого поэта с его героем: «Певец с таким нам пафосом вещает / Об идиота жалкого судьбе,/ Что, кажется, он пишет о себе».

А Вордсворт, отвечая одному из критиков, написал — в обоснование своей и поэтической, и этической позиции: «...откроем свои сердца и, выйдя из нашего собственного «я», посмотрим на тех людей, что ведут самую простую жизнь в наибольшем согласии с природой».

Неинтересная тематика? Да неужели что-то может быть важней и «интересней», чем материнская любовь, сострадание к ближнему, готовность к самопожертвованию ради него,— все, о чем и идет речь в вордсвортовой балладе? Не здесь ли, в сфере этих простейших истин, берут свое начало все головоломные сложности людского и мирового удела? И не из небрежения ли этими истинами произрастают в конечном счете все индивидуальные, социальные и мировые скорби, раздирающие потом души поэтам и навостряющие умы философам?

Как легко предположить, не повезло *такой* балладе Вордсворта и в нашем «марксистском» литературоведении XX века. Немногие обращавшиеся к ней — и среди них весьма основательные исследователи английской литературы,— как правило, «Слабоумного мальчика» не жаловали и не жалели. Поистине «закрыв свои сердца» и полагая, что по-марксистски заостряют свое перо, критики писали о «липкой патоке умиления перед идиотизмом деревенской жизни», о «ничтожности... трагикомических недоразумений, вызванных мнительностью и суетливостью двух деревенских кумушек и бестолкового придурковатого Джонни», о том, что тут «доказывается мудрость неразумия, присущая... кретину», и потому эта баллада «граничит с самопародией». (Не хочу называть имен, потому что имя

вызвало бы сразу образ конкретного, единичного человека, а ведь тут, я думаю, не сами эти — живые, мыслящие и чувствующие — люди говорили, а безликая и неодушевленная механика идеологии говорила в них; то был не критик, а его доктрина.)

Прочитав в свое время эту балладу, я поразился безупречной чистоте нравственного чувства, ее пронизывающего, и ужаснулся кричащему несоответствию между текстом и его интерпретациями. Мне говорят, что тут показан идиотизм деревенской жизни, а я у Вордсворта вижу ее органическую доброту и достоинство; одни мне говорят, что Джонни бестолков и придурковат, а другие, напротив, уверяют, что поэт хотел показать в нем некую «высшую мудрость»,— но я не вижу тут ни того ни другого. «Бестолков» и «придурковат» — так мы можем сказать о нормальном *неумном,* но не об умственно *больном* человеке, а Вордсворт показывает мальчика именно больного, и по отношению к нему такие эпитеты ненужно жестоки. Но и никакой высшей мудрости поэт своему герою нигде не приписывает — он лишь с сострадательной чуткостью допускает возможность того, что у этого бедного сознания может быть *свой* особый мир, *свое* воображение, *свое* чувство радости, доблести, красоты. И то, как деликатно поэт вводит эту тему (в описании ночных странствий Джонни), с каким добрым лукавством он берет ответственность за все эти фантазии, собственно, на себя, подавая их как всего лишь свои предположения,— все это ставит под сомнение даже и пресловутую простоту вордсвортовского стиля: на самом-то деле он являет нам высший пилотаж поэтического артистизма. Писать просто *и хорошо* — задача посложней, чем писать темно и вяло: вот еще и поэтический, а не только этический, урок Вордсворта.

Между тем приведенные упреки и искажения до сих пор можно прочесть не только в иных ученых трудах, но и в новейших историях литературы и вузовских учебниках. У них, стало быть, достаточно широкая аудитория.

Мне захотелось по возможности искупить вину нашего критического цеха перед тенью поэта и представить эту балладу на суд не только критикам, но и читателям, переведя ее на русский язык. Не мне судить, в какой мере мне удалось передать красоту и искусность поэтического языка баллады — отнюдь, повторю, не такого уж «простого» и тем более не пародийно-примитивного; но думаю, что за честность передачи ее эмоционального строя и ее «морали» я могу поручиться.

Уж смерклось. Ровный свет луны
Лежит на рощах и лугу.
Бог весть откуда гулкий клич
Подруге шлет угрюмый сыч.
Тоскливо в лунной тишине
«Угу!» — плывет — «Угу-у! Угу-у!»

Что так спешишь, что так дрожишь,
Что не в себе ты, Бетти Фой?
Зачем на пони водружен
Бедняжка слабоумный Джон,
Сыночек горемычный твой?

Уж все в округе спят давно.
Сними, сними его с седла!
Он горд, он радостно мычит;
Но, Бетти, он ли вдруг помчит
Сквозь сумрак вешний, как стрела?

Но Бетти знает лишь одно:
В беде соседка, Сьюзен Гей;
Она стара, она больна,
Совсем одна живет она,
И очень худо нынче ей.

А рядом ни души живой,
Ни дома на версту вокруг.
Кто вразумит их в эту ночь,
Как старой Сьюзен им помочь,
Чем облегчить ее недуг?

Они одни, темно кругом,
И мужа Бетти дома нет:
Он дровосек; в соседний дол
Вчера он лес валить ушел.
Что делать им? Кто даст ответ?

И Бетти пони своего
Тогда выводит со двора.
Конек тот всюду и везде —
Что на кормежке, что в узде —
Являл отменно смирный нрав.

Оседлан добрый пони вмиг,
И — случай видан ли такой? —
В дорогу Бетти снаряжен
Бедняжка слабоумный Джон,
Ее сыночек дорогой.

Вниз по долине, через мост
Пускай он в город мчит скорей.
У церкви доктор там живет,
Пускай его он позовет,
А то помрет ведь Сьюзен Гей.

Не нужно Джонни ни хлыста,
Ни острых шпор, ни света дня.
Лишь веткой остролиста он
Размахивает, возбужден,
Над холкой своего коня.

Полна тревог, полна забот,
Внушала долго сыну мать,
Какой держать он должен путь,
Где вправо, влево где свернуть,
Как мест опасных избегать.

А самой главной из забот
Была: «Сынок, потом домой!
Нигде не жди, нигде не стой,
Позвал врача — и враз домой.
Ты понял, Джон, разумник мой?»

И Джонни радостно в ответ
Мычит, кивает, в путь готов,
Уздечку дергает, спеша.
И материнская душа
Ответ тот поняла без слов.

Хоть Бетти впору их вернуть,
Она сдержала свой порыв,
Лошадке легкий дав шлепок.
И вот уж тронулся конек,
И Бетти вслед глядит, застыв.

Но только тронулся конек,—
Бедняжка слабоумный Джон!—
От счастья сам он стал не свой,
Не шевельнет рукой-ногой,
Уздечку еле держит он.

В руке поникшей остролист
Застыл недвижен; в вышине
Над лесом мартовским луна
Не так тиха, не так нема,
Как этот мальчик на коне.

Все ликовало, пело в нем.
Так с полверсты проехал он,
Забыв и повод под рукой.
И что наездник он лихой,—
Он счастлив, счастлив, счастлив Джон!

А мать стояла у ворот,
Собой горда, сынком горда,
И все ему смотрела вслед:
Уж так спокоен он в седле,
Так выправка его тверда!

Его молчанье — добрый знак:
Доедет, Бог его хранит.
Вот он свернул направо в лес,
Совсем из вида уж исчез,
А Бетти все вослед глядит.

Вон песню замурчал свою,
В тиши ночной она слышна —
Журчит, как мельничный ручей.
И конь под ним овцы смирней —
И ночь уж Бетти не страшна.

Теперь — утешить Сьюзен Гей:
В пути гонец их удалой.
Кричат сычи, кричат в ночи,
А Джонни «тру-тру-тру» мурчит —
Беспечный всадник под луной.

И пони с Джонни заодно:
Добрей конька в округе нет.
Что б ни пришлось ему снести,
Он будет так же добр и тих,
Хоть проживи он тыщу лет.

Но он и мыслит! А уж тут
Шаг замедляется вдвойне.
Он Джонни знает; но сейчас
Он с толку сбит; на этот раз
Все так там странно, на спине!

Так движутся они сквозь лес,
По лунным тропам в лунный дол.
У церкви доктор там живет,
Его-то Джон и позовет,
Чтоб к хворой Сьюзен он пришел.

А Бетти, сидя при больной,
О Джонни все заводит речь:
Что уж вот-вот вернется он,
И как он храбр, и как умен,—
Чтоб Сьюзен хоть чуть-чуть отвлечь.

И Бетти, сидя при больной,
За ней заботливо следит:
То хлеб, то ковш придвинет к ней —
Как будто лишь о Сьюзен Гей
Сейчас душа у ней болит.

Но глянем глубже ей в глаза:
От нас, бедняжке, ей не скрыть,
Что счастьем, гордостью она
В минуту эту так полна,
Что всем готова их дарить.

И все же отчего порой
Она глядит в окно тайком?
То речь ведет — то смолкнет вдруг,
Как будто ловит каждый звук
В лесу безмолвном за окном.

Все громче стонет Сьюзен Гей.
А Бетти ей: «Сейчас, сейчас.
Луна ясна, они в пути,
Они вот-вот должны прийти.
Уж на дворе десятый час».

Но стонет, стонет Сьюзен Гей.
Вон и одиннадцать уж бьет.
А Бетти все свое твердит:
«Луна ясна, они в пути,
Они появятся вот-вот».

Приблизился полночный час.
Луна по-прежнему ясна,
Льет на округу ровный свет.
А доктора все нет и нет,
И бедной Сьюзен не до сна.

А Бетти? Час назад она
Бранилась в шутку: «Вот лентяй!
Замешкался в пути, видать.
Теперь ему несдобровать —
Получит знатный нагоняй!»

Но час прошел, а Джонни нет;
Теперь уж не до шуток ей.
Его все нет. Что с ним стряслось?
Он ждет там доктора небось.
Забот так много у врачей.

Все громче стонет Сьюзен Гей.
Что делать Бетти? Как ей быть?
Бежать ли в лес сынка искать —
Иль при больной сидеть и ждать?
Кто ей подскажет, как ей быть?

Уж время за полночь давно,
А доктор к Сьюзен не спешит.
Плывет над лесом лунный свет,
А Джонни нет, и пони нет,
А Бетти все с больной сидит.

Да и больной не по себе —
Не перечесть тут страхов всех.
Вдруг утонул, пропал в пути,
Вдруг и следов уж не найти?
Какой на душу ляжет грех!

И лишь она сказала вслух —
Шепнула: «Упаси Господь!» —
Как Бетти, словно враз решась,
Рывком со стула поднялась,
Себя не в силах побороть.

«Ах, Сьюзен, я пойду за ним!
Пойду! уж ты не обессудь!
Ведь он еще дитя, наш Джон,
Да и головкой не силен.
Теперь блуждает где-нибудь.

Пойду! Я мигом обернусь!
Но коль совсем тебе невмочь,
То я останусь, так и быть.
Что дать тебе, чем пособить?
О Боже правый! Ну и ночь!» —

«Иди, голубушка, иди!
Я потерплю, достанет сил».
И Бетти птицей за порог,
С молитвой Богу, чтоб помог,
Чтоб Сьюзен Гей он охранил.

И вот спешит она сквозь лес,
По лунным тропам в лунный дол...
Но о пути о том рассказ
Не сократить ли мне сейчас?
Лишь скуку б он на всех навел.

Все, все, что ловит жадный взор:
И строй стволов, и вязь ветвей,
И донный мрак, и лунный блик —
Все ей являет Джонни лик,
Повсюду Джонни мнится ей.

Вот шаткий мост через ручей —
И новой мукой мысль полна:
Он слез с коня, вступил в затон —
Достать луну тянулся он,—
А в этом месте глубь без дна.

Вот на холме она; застыв,
Глазами обегает дол.
Но среди рощ, средь ивняка —
Ни Джонни, ни его конька,
Весь лунный дол и пуст и гол.

«Отцы святые! Может, он,
Увлекшись чем, залез в дупло,
Задохся там? Забрел, блажной,
К цыганам, и его с собой
Бродяжье племя увело?

Иль этот пони, карла злой,
Его к кикиморам завел?
Иль в тот он замок нежилой
Попал, где вьется духов рой,
Погибель там свою нашел?»

Увы, в сердцах она упрек
Шлет и бедняжке Сьюзен Гей:
Не захворай она не в срок,
Он был бы с ней, ее сынок,
Утехой до скончанья дней.

Сама от горя не своя,
Она и доктора корит.
Потом конька настал черед —
Хоть нравом так уж кроток тот,
Что мухе зла не причинит.

Вот домик докторский; она
Бежит к дверям его в слезах.
А за спиною город лег,
Он так широк, в нем сто дорог —
И тишь, как в небесах.

Стучится в докторскую дверь,
Стучит, зовет и так и сяк.
Тот высунулся из окна,
Моргает, щурится со сна
И поправляет свой колпак.

«Где Джонни, доктор, мой сынок?» —
«Ты что шумишь в столь поздний час?» —
«Простите, сэр. Я Бетти Фой.
Пропал сыночек бедный мой,
Его видали вы не раз.

Он... слабоват чуток умом».
А тот сердито ей в ответ:
«Да что мне до его ума?
В своем ли ты уме сама?»
Хлоп ставней — и его уж нет.

«Ох, горе мне! Хоть помирай!» —
Запричитала Бетти Фой.
«Где мне его теперь искать?
Несчастней есть ли в мире мать?
Пропал, пропал сыночек мой!»

Мутится ум — куда теперь,
В тот темный дол? Безжизнен он
И пуст, куда ни посмотри.
И бой часов — пробило три! —
Звучит, как похоронный звон.

И вот — назад, в обратный путь.
И диво ль, что в беде своей,
Тоскою смертной сражена,
Забыла доктора она
Послать к бедняжке Сьюзен Гей?

Вот снова поднялась на холм.
Лишь дали мглистые кругом.
Куда теперь? Да и невмочь
Уже бежать ей. Что за ночь!
И ни одной души кругом.

Не слышен в чуткой тишине
Ни конский шаг, ни глас людской.
Лишь можно слышать — но не ей!—
Как меж полей бежит ручей,
Как травы всходят над землей.

Перекликаясь в синей мгле,
Всё стонут, ухают сычи.
Так души тех, что влюблены,
Но злой судьбой разлучены,
Друг другу знак дают в ночи.

Вот пруд. И Бетти перед ним
Остановилась, вся дрожит:
Так тянет вниз ее вода!
О смертный грех! И от пруда
Она в смятенье прочь бежит.

И села наземь наконец,
И плачет, плачет в три ручья.
Теперь уж молит и конька:
«Ты привези домой сынка,
Скотинка добрая моя!

Уж я ль не холила тебя?
Не лучший ли тебе овес
В кормушку клала? Верно, ты
Сам заплутал средь темноты
И в дальний лес его увез?»

И птицею взметнулась вновь —
Стенать и мешкать ей не след!
Коль пруд ее на смертный грех
Чуть не навел, то мыслей тех
Сейчас уж и в помине нет.

Теперь, читатель, не пора ль
Нам взор на Джонни обратить?
Я медлю — дар мне тот ли дан?
Какой волнующий роман
Я в рифмы должен перелить!

Быть может, он с конем — как знать? —
Скитается меж горных скал,
С небесной вровень синевой,
Чтоб, с тверди сняв, принесть домой
Звезду, которую искал?

Или, к хвосту конька лицом
Разворотясь, в себя ушел
И, думой чудною пленен,
Нем и недвижен едет он,
Как всадник-призрак, через дол?

Иль он охотник, дик и смел,
Гроза баранов, бич овец!
Вот тот лужок — неделек пять,
И вам его уж не узнать:
Дотла опустошен, вконец!

Иль демон он, исчадье зла,
Весь пламя с головы до пят;
Как вихрь он мчит, взметая прах,
Трусливым душам всем на страх,
Что перед дьяволом дрожат!

О Музы! Дале вас молю —
Ваш давний верный ученик:
Как, в меру дара моего,
Мне воссоздать хоть часть того,
Что испытал он, что постиг?

Но, Музы! Это ль мне ответ?
Ответ на всю мою любовь?
Вы отвернулись от меня,
Ни вдохновенья, ни огня
Дарить мне не хотите вновь!

Что ж... Кто вон там, в тени ветвей,
Где водопад взрывает тишь,
Застыл, как праздный пилигрим?
Беспечный всадник, а под ним
Пасется мирно конь-малыш.

На волю своего конька
Ездок, видать, отдался весь.
Что ночь ему и что луна?
Все как в романе — суть ясна:
Ведь это Джонни! Он и есть!

И пони с ним, приятель наш.
А что ж бедняжка Бетти Фой?
У ней на сердце все мрачней:
Шум водопада слышен ей,
Но Джонни — где же он, родной?

Глянь, кто у пони на спине!
Прочь все тревоги, Бетти Фой!
Смахни слезу, раздвинь кусты —
Кого вдали там видишь ты?
То он, сыночек твой родной!

Ну что ж к нему ты не спешишь?
Стоишь — застыла, Бетти Фой?
Не леший он, не призрак он,
Ведь это твой бедняжка Джон,
Сыночек неразумный твой!

И руки вскинула она —
Зашлась от радости — стрелой
Метнулась — чуть не сбила с ног
Лошадку: «Джонни, мой сынок,
Голубчик ненаглядный мой!»

А Джонни радостно мычит,
Потом залился смехом вдруг —
Лукавым, ласковым — как знать?
Но с жадностью впивает мать
Из уст родных малейший звук.

Вкруг пони мечется она,
То к морде, то к хвосту спешит;
Все в ней поет — а на глаза
Нет-нет и набежит слеза
И там печально так дрожит.

Но Джонни цел! Она его
Целует, гладит то и знай,
И вся сияет, и слегка
Сынка стыдится и конька —
Но радость бьет в ней через край!

И пони шлепает она,
И теребит, и шутит с ним.
А пони, может, тоже рад,
Но на восторги скуповат,
И вид его невозмутим.

«А доктор — Бог с ним, мой родной!
Бог с ним! Ты сделал все, что мог!» —
И за узду конька взяла
И прочь от места отвела,
Где пенился поток.

А звезды уж почти сошли
С небес, и над холмом луна
Бледнее полотна. В кустах
Уж слышно шевеленье птах,
Хоть песнь еще и не слышна.

Бредут они лесной тропой,
И каждый думой полн своей.
Но кто спешит навстречу им,
Заботой раннею гоним?
Она, старушка Сьюзен Гей!

Она о Джонни не могла
Забыть средь всех жестоких мук:
Куда, болезный, он пропал?
Все ближе страх к ней подступал,
И — отступал недуг.

В тревоге неотвязной ей
Чего-чего не мнилось вдруг!
И билась мысль, метался ум
В смятенном вихре этих дум —
И отступал недуг.

«Нет, муки этой мне не снесть!» —
И вот, не тратя лишних слов,
Она все силы напрягла,
С постели встала — и пошла,
Как бы на властный зов.

И вот бежит, все в ней дрожит —
Найти б их только удалось!
И вдруг вдали своих друзей
Завидела — и сердце в ней
От радости зашлось!

Бредут они домой сквозь лес,
И не перестает звучать
Сычей погудка под луной.
С нее рассказ я начал свой —
Уж ею и кончать.

Спросить решилась мать гонца:
«Так что ж ты не вернулся в срок?
Где ночкой темной ты плутал,
Что ты видал, что ты слыхал?
Скажи нам все как есть, сынок!»

А он, конечно, в эту ночь
Не раз слыхал сычиный зов,
И в небесах луну видал —
В подлунном мире он блуждал
Не зря аж целых семь часов.

И вот доподлинный ответ,
Что Бетти дал ее посол.
Он все сказал, как на духу:
«Петух — он пел: ку-гу-у! ку-гу-у!
От солнышка — ух, холод шел!»
Все рассказал наш молодец —
И тут истории конец.

САЛЬВАДОР ДАЛИ

Тайная жизнь Сальвадора Дали,

написанная им самим

Перевод Н. МАЛИНОВСКОЙ

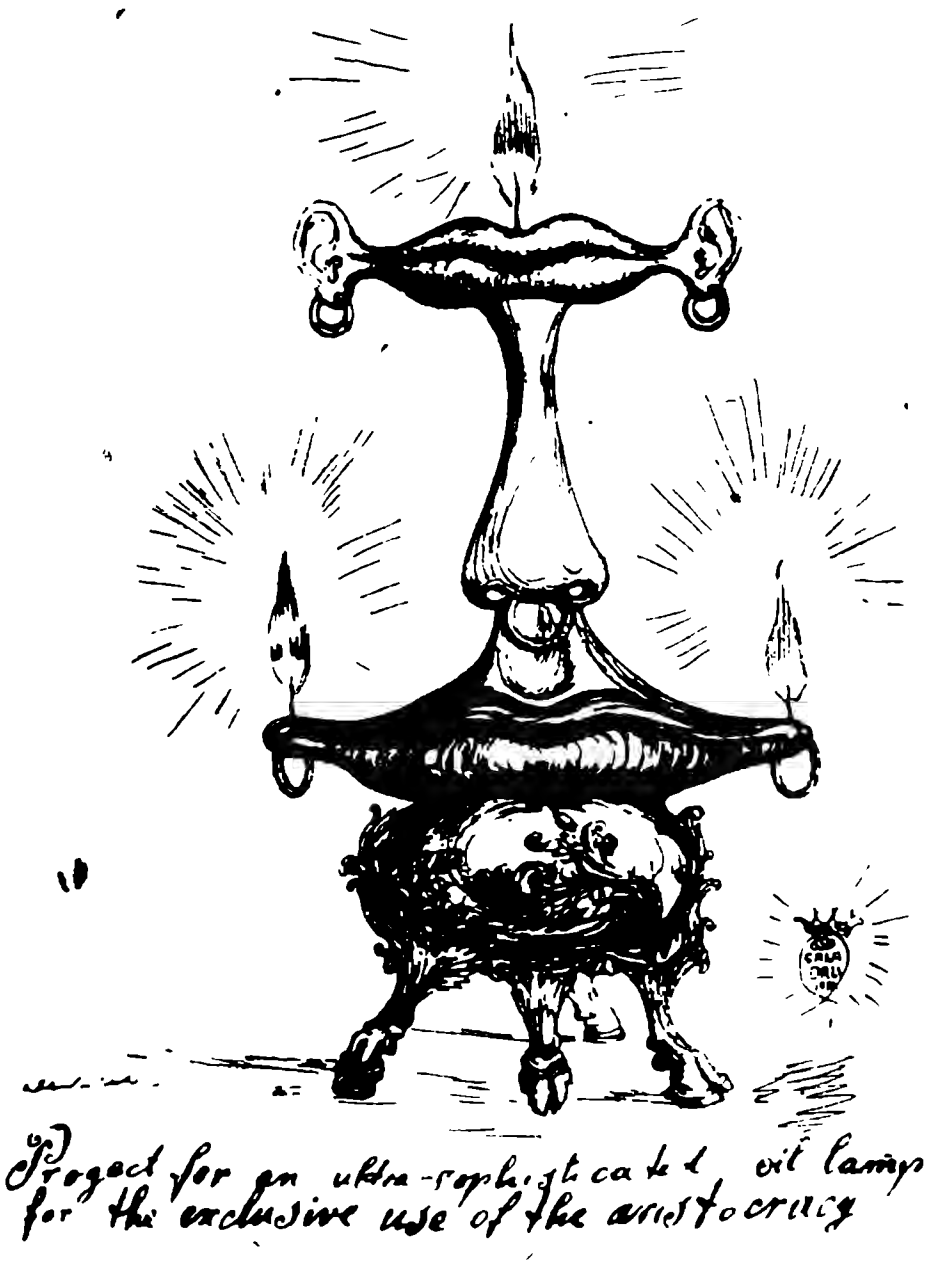
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Моя борьба. Мое участие в сюрреалистической революции. Моя позиция. Сюрреалистические предметы взамен записи сновидений. Параноидальная ломка взамен автоматического письма

Я борюсь
С той Простотой, что хуже воровства,
с Единообразием
с Равенством
с Духом Коллективизма
с Политикой
с Музыкой
с Природой
с Прогрессом
с Машинерией
с Абстракцией
с Юностью
с Соглашательством
со Шпинатом
с Кино
с Буддой
с Востоком
с Солнцем
с Революцией
с Микеланджело
с Рембрандтом
с Первобытными Фетишами
с Африканским Искусством
с Философией
с Медициной
с Горами
с Видениями
с Женщинами
с Мужчинами
с Временем
со Скепсисом

за Сложность,
за Разнородность,
за Иерархию,
за Личностное Начало,
за Метафизику,
за Архитектуру,
за Искусство,
за Вечность,
за Грезы,
за Зримость,
за Зрелость,
за Макиавеллический Фанатизм,
за Улитку в Панцире,
за Театр,
за Маркиза де Сада,
за Запад,
за Луну,
за Традицию,
за Рафаэля,
за Вермеера,
за Утонченную Утварь Начала Века,
за Искусство Возрождения,
за Религию,
за Магию,
за Пологий Морской Берег,
за Привидения,
за Галу,
за Себя,
за Растекшийся Час,
за Веру.

Окончание публикации фрагментов книги. См. «ИЛ», 1991, № 12 и 1992, № 5-6.



Но с кем я борюсь? Мои враги — кто они? Все, кроме Галы, или почти все. Так называемое современное искусство, включая сюрреалистов, в едином порыве схватилось за оружие и встало на свою защиту, почуяв мою всесокрушающую силу. То, что я делал, поражало яростью и дерзостью. Мое непостижимое, кощунственное искусство сбивало с толку и повергало в прострацию. И вот еще что: это было *другое* искусство, совсем не то, что именовалось *молодым* или *новым*. Я прекрасно понимал, что происходит: время, выпавшее мне на жизнь, внушало лишь ужас. Его пафос оказался органически чужд мне. И я, антипод Фауста, восстал против слюнявых панегириков Юности, Скоростям и Инстинктам (то бишь пещерной непосредственности и дремучей лени) — всему, что воплотилось в одряхлевшем кубизме и чистом — относительно чистом — искусстве, этой плесени, расползавшейся по Монпарнасу.

Приехав в Париж, я обнаружил повсеместное распространение бергсонианской заразы с ее культом инстинктов и elan vital[1], повлекшее за собой идиотскую переоценку ценностей. Африканское влияние поразило Париж ударом молнии. И лишь грянул этот барабан, все — поголовно! — жрецы европейского искусства задергались в исступленной первобытной пляске. Как тут не прийти в отчаянье. Им достался в наследство Рафаэль, а они поклоняются фетишам, слепленным в слепом порыве рукой дикаря! Надо же так вывихнуть зрение! Мною владели стыд и ярость. Я должен был отыскать противоядие и попрать эти жалкие порождения страха, сковавшего рабскую душу и темный ум. Я должен был воздеть свое знамя! Таким образом, на мачту вознесся утонченно-упаднический, европейски изысканный плод культуры — безделушка в стиле модерн! Я всегда считал начало века запоздалым, ущербным плодом вырождения античной культуры. И сказал себе: раз уж у них заложены уши, раз они слышат только барабанный бой и способны трепетать лишь при виде *жизненных проявлений*, я возьму безделушку начала века или просто какой-нибудь ее завиток и покажу им на пальцах, что в одном этом завитке несравненно больше поэзии, безумия, пафоса, эроса, тайны, муки, низости, величия и глубины, чем в легионах этих уродцев-идолов! Ничего, кроме первобытной дури, в этих африканских болванах не найдешь, сколько ни ищи!

И потихоньку вещицы начала века стали просачиваться на аукционы и робко теснить африканские маски. То здесь, то там замелькали чудные терракотовые фигурки, отливающие темной зеленью,— прелестные женские изваяния «зеленой луны смуглее»[2].

Однако всякий раз, как я выправляю русло общественного вкуса, мое влияние незамедлительно обособляется, ускользает из-под моей власти и начинает жить своей собственной жизнью — никто и знать не знает, что это *мое* влияние! Вот и тогда я совершил переворот — и что? Ни славы, ни выгоды я не приобрел. Это стало правилом.

Бродя по улицам, я повсеместно обнаруживал свои меты: банты, ленты, туфли, кабаре и фильмы, рожденные тоской по образу чувств начала века. Невообразимое количество народа старательно воплощало в жизнь мои идеи, честно зарабатывая себе на хлеб, а я рыскал по Парижу, ища применения своим силам! Искал — и не находил. А пребездарнейшие

---

[1] Жизненный порыв *(франц.)* — ключевое понятие «философии жизни» Анри Бергсона (1859—1941). *(Здесь и далее прим. перев., кроме оговоренных случаев.)*

[2] Дали цитирует романс Ф. Гарсиа Лорки «Как схватили Антоньито Эль Камборьо».

переложения моих замыслов так и кишели вокруг — кто только не приложил к ним свои корявые руки!

В полном унынии я занялся своими изобретениями. Для начала составил полный список беспроигрышных идей. Что же я выдумал? Накладные ногти — в каждом уменьшительное зеркальце, чтобы смотреться. Прозрачный манекен — внутрь льют воду и запускают рыбок, чтобы дать наглядное представление о кровообращении. Пластиковое кресло, застывающее в точном соответствии с фигурой хозяина. Фотомаски для репортеров. Спектральные очки-калейдоскоп, преображающие действительность,— специально для автотуристов в случае, если пейзаж наводит скуку. Хитроумный грим, истребляющий тени. Туфли на рессорах, чтобы наслаждаться ходьбой. И наконец, осязательное кино — я разработал этот проект самым подробным образом. Довольно простое приспособление позволит зрителю осязать — в точном соответствии с изображением на экране — все что угодно: шелк, шерсть, мех, шероховатую поверхность раковины, сыпучую струйку песка, гладкую кожу. Я также изобрел множество инструментов для тайных наслаждений, как телесных, так и духовных. В том числе премерзейшие вещицы, чтобы в припадке бешенства было что разнести в пух и прах, шмякнув об стену. Не менее полезны окажутся и щербатые колесики: взглянешь — и на душе, как ножом по тарелке, заскребут такие кошки, что хоть вешайся. Оные штучки я изобрел ради особо торжественных случаев, когда надо как следует поиграть на нервах и дойти до ручки, а тут-то понадобится еще одно мое созданьице — хлопушечка, что взрывается в точности так, как вылетает пробка из бутылки шампанского — паф! Также я наизобретал вещиц, которые не знаешь куда деть — куда ни ткни, везде они не на месте. Нужны же они именно затем, чтобы доставлять неудобства и причинять беспокойство. Сбудешь их с рук — тогда и вздохнешь с облегчением. Я знал, что эти вещицы могут принести огромную прибыль, ибо в покупателе всегда живет тайный мазохист, жаждущий обрести нечто бередящее душу. Еще я выдумал платья с разнообразными анатомическими накладками, сконструированными по точным расчетам в полном соответствии с идеалом женской красоты, рожденным мужским эротическим воображением. Упомяну лишь о добавочных грудях, что прицепляют к спине. Они могут произвести полный переворот в моде (и, полагаю, это еще случится).

Мои изобретения стали для нас сущим наказанием. Гала со свойственным ей фанатизмом свято уверовала в них и ежеутренне с эскизами под мышкой отправлялась в крестовый поход. Но ее беспримерное упорство натыкалось на каменную стену.

Везде одно и то же. Сначала говорят, что замысел безумен и прибыли не принесет. Затем под напором ее красноречия меняют тактику: идея, конечно, великолепна, но как ее воплотить? Это же совершенно невозможно, а если даже удастся, то цена окажется непомерно высока — не продать! И всюду, как бы ни развивался разговор, рано или поздно вывешивался ярлык: «Безумие». Мы отчаивались, затем стряхивали отчаянье и, отложив один замысел, с удвоенной энергией брались за другой. Накладные ногти не пошли, ладно, примемся за очки-калейдоскоп или за осязаемое кино.

В конце концов все мною изобретенное, одно раньше, другое позже, воплотилось в жизнь — но не мною и столь бездарно, что и сказать нельзя. Понятно, что это отбило у меня всякую охоту самому заново разрабатывать идею. Когда появились искусственные ногти и манекены-аквариумы, раздались голоса: «Это в духе Дали!» И на том спасибо! Обычно бывало хуже: меня же, обобранного, подозревали в воровстве! А все потому, что мои идеи не сразу приходятся по сердцу толпе, им требуется пройти через руки подражателей и преобразиться до безобразия и полной неузнаваемости. Всякий болван почему-то полагает, что способен усовершенствовать мою идею.

Денег у нас не водилось, но Гала каким-то чудом распределяла их так, что хватало на все. Мы жили замкнуто и не допускали до себя богему.

Никогда на порог моего дома не ступали нетвердой походкой ее хилые лягушачьи лапы, колыхая хитон из простыни, заляпанной жиром и шампанским. Если денег не было вовсе, мы не роскошествовали, но все же питались вполне прилично и всегда дома. Мы вообще никуда не ходили. Я готовил выставку и работал в сто раз больше, чем какой-нибудь художничек средней руки, а уж если получал заказ, то вкладывал всю душу. Гала досадовала — зачем тратить столько сил на ерунду, да к тому же за гроши? На что я неизменно отвечал, что для гения (а я — гений) заказ — не правило, а чудо в полном смысле слова. Разве чудо не требует отдачи? Мы можем, конечно, умереть с голоду, а если как-то сводим концы с концами, то лишь потому, что ни на секунду не оставляем сверхчеловеческих усилий. И обязательно выкарабкаемся!

Вокруг меня кишмя кишели паразиты, перелагавшие мои идеи на свой убогий лад и тем сколотившие немалые состояния. Дали, Царь милостью Божией, не мог прийтись по вкусу толпе — не по зубам! А вот *щепотка Дали* — другое дело. *Щепотка Дали* придаст изумительный вкус вашим пресным вчерашним блюдам! Щепоточку сюда, на фон, еще чуточку — на облака, ею же сдобрим тоску и присыплем воображение. Да не забудьте ради особого шарма приправить ею беседу, но *слегка* — помните, это сильное средство! Посыпали? Продавайте — купят немедленно и за большие деньги. Купят именно этот суррогат, а не самого Дали — он же наводит ужас!

Пока имитаторы трудились не покладая рук, Дали торил свою дорогу, становился собой — цельным и яростным художником. Картин моих никто не покупал, но я изо дня в день твердил: «Терпение и еще раз терпение! Надо продержаться. В конце концов упорство и фанатизм возьмут свое. Да, это трудно, долго, но уж зато когда мы выкарабкаемся, вся эта грязноухая богема, все эти серые мышки и мокрые лягушки падут к моим ногам вкупе со всеми прелестями розовощекого благополучия».

Жизнь наша шла под знаком страстной суровой аскезы, а все вокруг плыли по течению. Тут тебе и кокаин, и героин, и опиум, бери — не хочу! И стаи педерастов. Все сгодится ради славы на час, до которой я был не охотник. Жила вся эта братия скопом, дыша друг другу в затылок и норовя рвануть кусок из соседских зубов. И уж если кто зашатается — то-то радости! — как тут не пнуть по-приятельски в спину: «Подыхай, братец!» Тем и были сильны мы с Галой, что жили вне всей этой грязи, не зная ни наркотиков, ни курева, ни блуда. Точно так же, как я жил в юности, в детстве. Мы отдалились ото всех — от богемы и от общества: от сюрреалистов, коммунистов и монархистов, от летунов, обывателей и психопатов. Причем дистанцию со всеми держали одну и таким образом оказались в центре и ухитрились сохранить равновесие, вследствие чего все нити очутились у меня в руках. Как органист, я владел всеми регистрами, все они были у меня под рукой, но не слишком близко. Я никому не позволял приближаться вплотную — мне нужна была полоса отчуждения, защитное пространство, мое убежище. Им стал Кадакес.

Уезжая, я снабдил сюрреалистов на время своего отсутствия лозунгами, клеймящими субъективизм и чудеса. Всем сестрам я роздал по серьгам: на радость педикам восславил классический романтизм Палладио, для наркоманов разработал теорию образотворчества и придумал сновидческую маску, обеспечивающую цветное изображение. Аристократия с моего благословения принялась рвать страсти по примеру героев Стендаля и грезить о запретном плоде революций. Педиков я приобщил к сюрреализму, а сюрреалистам намекнул о тайне за семью печатями — Традиции.

Отъезд назначили на завтра. Осталось несколько прощальных встреч. Троим — кубисту, коммунисту и монархисту — я назначил на утро; к обеду соберутся сливки общества (я намеренно выбрал тех, что не выносят друг друга), а вечер достанется нам двоим — Гале и мне. Это большая редкость, когда двое на самом деле вместе. Рядом — сколько угодно, рядом и врозь. А если люди уже не первый раз натыкаются на нас с Галой где-нибудь в укромном уголке лучшего из ресторанов за бокалом отборного вина

и видят, как мы поглощены друг другом? Что за дикость! Что за идиллия наподобие медового месяца! О чем же мы говорим? О нас двоих, о нашей жизни вдвоем в Кадакесе. О том, что надо возвести стену, чтоб защищала от ветра, вырыть колодец, вытесать скамью. И заложить краеугольный камень в основание моего метода параноидального анализа. Словом, обо всем, что составляет ту высокую драму, имя которой «мы — вместе».

Сколько всего мы тащим с собой в Кадакес! Как пчелы в улей. Я вообще люблю путешествовать со всем скарбом. Вот и сейчас набралось не меньше дюжины чемоданов, набитых книгами, фотоальбомами по естественной истории, биологическими трактатами, сочинениями по архитектуре и множеством тетрадей с заметками. И целая куча домашней утвари, в том числе керосиновые лампы и примус (в Кадакесе нет электричества). Еще мы везем коллекцию бабочек для украшения дома — каждая в рамочке и под стеклом. О кистях, красках, холстах и всем таком прочем в огромнейшем количестве я и не говорю, но о предмете моей особой гордости — вертящемся мольберте — упомянуть просто обязан.

Два дня мы устраивались, а на третий рухнули, обессилев. За окном безумствовала трамонтана[1]. На табурете напротив нас восседала Умница Лидия и рассуждала о тайнах, о Мастере, о недавней статье Д'Орса про Вильгельма Телля[2].

— Не следует думать, что Вильгельм и Телль — одно и то же лицо! — вещала она.— Вильгельм родом из Кадакеса, а Телль — из Росаса!

Вообще-то Лидия пришла приготовить нам ужин, но оба дела — убиение и жарка петуха и речь о Мастере — нисколько не мешали друг другу. Рассуждая о Д'Орсе, Лидия отыскала громадные ножницы, уселась на пол и, ухватив птицу за голову, со знанием дела перерезала ей горло. Кровь потекла в глубокую расписную миску.

— Никто не верит, что Умница — это я. Ничего удивительного! Что с них взять? Довольно и того, что мы с вами — а нас *трое!* — доподлинно это знаем! Нельзя же требовать от людей, чтобы они умели читать между строк! Я и не требую. Вот Пикассо — другое дело, он, правда, помалкивал, но цену мне знал. Да он бы грудью меня защитил! Не зря же подарил книгу о Гёте!..[3]

Цыпленок дернулся в последний раз и застыл. Лапы, коченея, обвисли, как виноградные лозы, прибитые морозом. Лидия принялась ощипывать птицу, и через несколько минут пол в кухне был устлан перьями. Затем Умница приступила к потрошению: ее обагренные кровью пальцы извлекли из разверстого чрева кучу внутренностей. Они плюхнулись прямо на стол, едва не задев драгоценную книгу — факсимильное издание рисунков Джованни Беллини[4]. Я тут же вскочил, чтобы спасти книгу,— не дай Бог закапает кровью! Лидия глянула на меня и, улыбнувшись чуть презрительно, провозгласила: «Кровь не испачкает. Кровь — не грязь». И, недобро сверкнув глазами, добавила: «Кровь слаще меда». Казалось, в ее словах таился, помимо всего прочего, какой-то эротический смысл. «Женщины — мед, а я — кровь!» — продолжила Лидия и, внезапно понизив голос, почти шепотом кончила: «Сыновья мои гоняются за медом. Это бунт против крови!»

В ту же секунду отворилась дверь и на пороге появились ее сыновья. Угрюмый, рыжеусый старший и нервный, дерганый младший со своей неизменной улыбкой. Он объявил: «Сейчас придет!» И действительно,

[1] Сильный ветер — то же самое, что мистраль во Франции. Обычно дует два или три дня, но иногда затягивается на неделю. *(Прим. автора.)*

[2] Вильгельм Телль — герой народной легенды XIV в. Отказался отдать почести шляпе императорского наместника, за что и был подвергнут испытанию. Под страхом казни подтвердил свою славу стрелка, пронзив стрелой яблоко на голове собственного сына. Яблоко Вильгельма Телля — частый мотив в творчестве Дали.

[3] Пикассо вместе с Дереном [5] гостил однажды в Кадакесе по приглашению Рамона Пичота. И на Пикассо и на Дерена Лидия произвела сильное впечатление. Оба подарили ей по книге. То были разные сочинения одного автора, но Лидия считала, что одна книга продолжает другую, и блестяще это доказывала. *(Прим. автора.)*

[4] Джованни Беллини (1429—1516) — художник венецианской школы.

[5] Андре Дерен (1880—1954) — французский художник-фовист, скульптор и керамист.

вскоре пришла женщина лет сорока, которую Лидия наняла для домашней работы. В лице у нее было что-то от леопарда. Густые волосы цвета воронова крыла отливали синевой, а глаза горели нездоровым огнем. Она и вправду оказалась больна — это впоследствии проявилось самым драматическим образом. Я не раз замечал и знаю по собственному опыту, что ярко выраженная своеобычность натуры и надломленная психика, как магнит, притягивает к себе душевнобольных. Повсеместно безумцы и самоубийцы липнут ко мне — их стройные ряды следуют за мной почетным караулом. Темное знание говорит им, что я свой, хотя они не хуже меня знают, что разница между мной и сумасшедшим в том, что я не сумасшедший. Противиться моим флюидам они не могут. Помните опыт Фабра[1]? Он перевез даже еще не бабочек — куколок — за многие сотни километров от мест обитания этого вида, и там, на чужбине, они превратились в бабочек и, повинуясь неведомой силе, ощутить и измерить которую не может никакой прибор, немедленно все как одна тронулись в обратный путь. Мало того, достаточно куколке немного полежать на лоскуте, и уже он — лоскут — начинает притягивать к себе бабочек, где б они ни обретались.

Не прошло и трех дней, как мой дом в Порт-Льигате, стоящий далеко на отшибе, заполонили сумасшедшие. Я сразу понял, чем это грозит, и принял меры. В семь вставал и принимался за работу. В дом я входить запретил — малейший шум, скрип двери надолго выбивали меня из колеи. Однако сумасшедшие никуда не делись — они кружили вокруг дома, дожидаясь воскресенья (раз в неделю я отменял запрет).

В Порт-Льигате мы обзавелись новым другом. Рамон де Эрмоса, человек лет пятидесяти самого простецкого вида, однако с усиками а-ля Адольф Менжу[2] (он и лицом походил на знаменитого актера), был феноменально ленив. Не думаю, что земля носит хотя бы еще одного лентяя такого масштаба. «Ну и год выдался — ни к какому делу душа не лежит!» — вздыхал Рамон де Эрмоса. Пресловутый год как начался для него в далеком детстве, так и не кончался. При виде работающего человека Рамон де Эрмоса неизменно испытывал глубочайшее изумление: «Надо же — и не устает!» Его леность вошла среди окрестных рыбаков в поговорку и даже стала предметом особой гордости. Когда кто-нибудь восклицал: «Так тебе Рамон и сделает — жди!» — в голосе его звучало совсем не презрение: Рамону отдавали должное. И если бы он ненароком сделал что-нибудь — ну, хоть пустяк! — ему бы пришлось навеки распроститься со всеобщим уважением. Его безделье почитали как восьмое чудо света, как уникальную достопримечательность, редчайший природный феномен. Эта беспримерная вселенская леность и само существование этого паразита из паразитов наполняли сердца местных жителей сладостным сознанием причастности к чуду. Это, однако, не мешало рыбакам честить его на чем свет стоит: что ни день — лов, поди потаскай сеть! — солнце палит нещадно, а он себе в казино прохлаждается, покуривает, кофе попивает да к рюмочке прикладывается! Рамон не удостаивал их ответом и лишь горестно улыбался. Он все понимал — и прощал. Заработка у него, естественно, не было, но какие-то гроши позвякивали в кармане — кто сколько даст. А люди состоятельные исправно снабжали Рамона старой одеждой, так что выглядел он даже импозантно. Помню его в шикарной английской спортивной куртке. Обитал Рамон с молчаливого согласия властей в доме для приезжих (которых здесь почти не водилось). И вот что любопытно: стоило появиться соседу, как он — сосед — начинал таскать Рамону воду и прибирать дом. Как Рамон этого добивался, ума не приложу.

Случилось мне раза два навестить его. Во дворике у самого порога росли смоковницы. Плоды никто не собирал — земля была усеяна смоквами, ступить некуда, но Рамон превозмог искушение и ни разу в жизни не нагнулся за смоквой. Правда, говорят, он терпеть их не мог. В доме у него

---

[1] Жан Анри Фабр (1823—1915) — французский ученый, автор замечательного сочинения «Записки энтомолога».

[2] Адольф Менжу (1890—1963) — голливудский киноактер, создатель маски светского фата, невозмутимого циника.

блохи так и кишели. Крыша текла в десяти местах, и повсеместно шли кровопролитные бои между мышами и котами. Как-то Гала предложила Рамону работу — доставать для нас воду из колодца. Труд невелик: раз в день, ближе к вечеру, вытащить ведра два и наполнить бак в душе. Рамон согласился. На другой день к вечеру воды в баке не оказалось, зато из сада доносился дикий лязг. Я вышел и увидал Рамона. Он лежал под оливой и, дергая за веревки, то есть прилагая наименьшее из усилий, колыхал две железяки — лязгая, они бились друг о друга: донь-дон, динь-дон!.. На закате Рамон обычно заявлялся к нам, надеясь получить кусок от ужина. Я спрашивал:

— Как дела, Рамон?

— Плохо, сеньор Сальвадор! — отвечал он неизменно.— Плохо, хуже некуда! — и под усами мелькала лукавая усмешка.

Рамон обладал еще одним редчайшим талантом. Он мог часами, подобно эпическому певцу, серьезно, неспешно и подробно излагать всякую ерунду. Как песнь «Илиады», звучала его любимая и не раз слышанная мною история о том, как однажды он, претерпев трехдневное путешествие, удостоился чести нести чемодан чемпиона по бильярду. Говорил Рамон так размеренно и спокойно, что после парижских словопрений, истерических интонаций, двусмысленностей, обиняков, издевок и недомолвок, эти речи лились на душу спасительным бальзамом. Житейское возносилось на пьедестал, обнаруживая свою правду и прелесть. Столь же благотворно действовал на меня, измотанного игрой парижского ума, юмор местных рыбаков. Этот земной, античный взгляд на мир врачевал мой разум.

Мы жили вдали от всех. Скалы, иссушенная земля, стаи голодных котов, ветра, искореженные лозы, вереница сумасшедших за домом, Рамон — блохастый насмешник в роскошной куртке с чужого плеча и рыбаки. Сколько в них сдержанности и благородства! С каким достоинством они, не дрогнув, встречают свой смертный час — что из того, что под ногти забился рыбий потрох, а бурые ступни задубели! Там, за холмом, в пятнадцати минутах ходьбы, в Кадакесе — дом, где прошли мое детство и юность, дом, откуда я изгнан. Я знаю — отчий гнев не утих, отчужденностью веет из-за холма, за которым, если смотреть со скалы, виден родной дом — белый квадратик, кусочек сахара, запачканный желчью...

Порт-Льигат — отшельническая, уединенная жизнь. Ты научила меня довольствоваться малым, направлять и оттачивать свою мысль, чтобы разила, как меч. Здесь у меда вкус меда, а кровь пахнет кровью. Здесь жизнь сурова — ни вина, ни прикрас, но зато ее озаряет свет вечности. Ночи Парижа, огни большого города, сияние бриллиантов в витринах Рю де ла Пэ — все меркнет перед этим извечным вселенским светом, суровым, тихим и неколебимым, словно чистый лоб Минервы.

Ныне душа человеческая лишена защиты, а прежде ее укрывали купола, подобные небесному своду, купола храмов веры, нравственных заповедей и искусства. Я тоскую по Возрождению, по той единственной эпохе, что вознесла свои купола в ответ небу. А новое время, чем оно осчастливило человека? Механическим мозгом? Радио? Тоже мне достижение! Что из того, что до вас, не задержавшись в пути, донесется чепуха, которую мелют в Китае или Южной Африке? Астрологи древнего Египта, Парацельс[1] и Нострадамус слышали дыхание грядущего — на три тысячи лет вперед простирался их слух! Что из того, что ваши уши без промедления впитают сводку военных действий и победный гимн разнесется сразу по двум полушариям? Не затем даны человеку уши — умел же он когда-то слушать музыку небесных сфер и пение ангелов. На что телевизор, если можно закрыть глаза и унестись туда, куда жаждешь вернуться, или туда, где никогда не бывал. Только закрой глаза — и рухнут стены, и восстанут из праха обетованные дворцы грез. Не говорю уж о пресловутом «высоком

---

[1] Парацельс (наст. имя Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм, 1493—1541) — алхимик, врач и астролог, в книге «Оракулы» предсказавший события в Европе до конца XXII века.

жизненном уровне» — пределе социалистических мечтаний. На что он тому, для кого непреложно воскрешение во плоти? Конечно, если осел ни с того ни с сего взлетит, а у абрикосины прорежутся крылышки и она запорхает с ветки на ветку, мы вылупим глаза. Но долго ли будем ахать и охать? Да нет! Что ж мы никак не надивимся на аэроплан? Утюг, если его швырнуть, тоже летит не хуже аэроплана, а если падает — что ж! Это и с аэропланами случается. Не умиляться же на утюги. Летчик летит — то-то радости! Что там летчик, когда душа крылата и бессмертна!

Новое время, пропитанное ядом скепсиса, стоит на пороге агонии; дух бесприютен, а душа пуста. Воображение вконец обленилось, положившись на технический прогресс и не дав себе труда догадаться, что имеет дело с суррогатом. В итоге дух утратил главенство. Ему нечем теперь защититься от смерти и вечности, он безоружен. Механистическая цивилизация обречена — ее сметет война. Машинерия сгинет в огне сражений, а ее молодые творцы и адепты станут пушечным мясом.

Да, я говорю о вас, юные самоотверженные энтузиасты! О тех, чьи чистые лица озаряет свет героизма, о тех, что зубами вырывали победы на всемирных спортивных ристалищах. Я думаю о вас — о юных, взраставших на беговой дорожке огромного стадиона под рев аэропланов и громкоговорителей. Я думаю о вас, молодая поросль нового язычества, юные идолопоклонники, упоенные чудовищным несбыточным виденьем — кровавой и кощунственной утопией. О вас я печалуюсь, бедные, бедные побратимы пустоты!...

Гала, дай руку. Я боюсь упасть — темно. Я устал, мы долго гуляли. Как думаешь, на ужин у нас сардины? Если завтра будет так же тепло, я, пожалуй, сниму свитер. А сегодня выпьем немножко за ужином? Так сон крепче. Завтра столько дел!

Пора возвращаться. Над нашим домом вьется дымок — варится уха. Еще рано идти — должны свариться раки. Давай еще немного погуляем. И приготовимся любить друг друга.

Но вдруг меня охватывает безумная радость: «Господи, какое счастье, что я не Роден [1]! И ты тоже».

Я кончил картину — надо отпраздновать. Пойдем к рыбакам. У них на мысе Креус — там, где Пиренеи в припадке великого геологического бреда низвергаются в море,— праздник: сардины и котлеты на вертеле. Мыс Креус совершенно гол — ни олив, ни виноградников. Первозданная, дикая, ничем не разбавленная мощь; причудливые, немыслимые нагромождения скал. Я так долго глядел на них, так долго думал, что в конце концов создал свою собственную морфологию, свою эстетику растекшихся форм и твердых пород, эстетику мягкого и твердого, податливого и несокрушимого. Она не только моя. В согласии с ее законами строил свою средиземноморскую готику Гауди [2]. Я убежден, что в юности, когда все решается, Гауди видел эти скалы, вылепившие мою душу.

Но дело не только в чисто художественной ценности этого изумительного пейзажа. Здесь в скальный гранит воплощен наиважнейший принцип моей теории параноидальных метаморфоз. Если искать для этих скал сравнение, то подойдет только одно — с облаками. Да, это застывшие, вздыбленные взрывом облака во всех своих бесчисленных ипостасях, все новых и новых — стоит лишь чуть изменить угол зрения. Это настолько очевидно, что здешние рыбаки еще в незапамятные времена дали своим скалам прозвища: Верблюд, Орлица, Наковальня, Львиный Зев, Гробница. Но отплывешь от берега (лодка — вообще лучшее из средств передвижения), взглянешь на берег и видишь, что картина меняется. Не я один это замечал, сколько раз мне приходилось слышать от рыбаков:

— Глядите, сеньор Сальвадор! *Верблюд-то* на себя не похож! Да это *петух!*

И правда — верблюжья голова сплющилась и зазубрилась гребнем,

---

[1] Огюст Роден (1840—1917) — французский скульптор, автор знаменитого «Мыслителя» — предмета насмешек Дали.

[2] Антонио Гауди-и-Корнет (1852—1926) — испанский архитектор и скульптор.

а губы вытянулись и загнулись клювом. Горб переместился и разметался петушьим хвостом. А Наковальня, если смотреть с моря, круглится женской грудью...

Рыбаки подгребают, а я неотрывно гляжу — скалы меняются с каждым ударом весла; я вижу это *беспрестанное преображение, превращение как таковое, самое метаморфозу* и понимаю: передо мной извечная переменчивая маска, исполненная глубинного смысла, любимая игрушка стыдливой Природы — ирония. Это о ней думал Гераклит [1], когда сказал: «Природе нравится прятаться». Природа застенчива — вот первопричина иронии. Я гляжу, как мечутся эти недвижные скалы, и думаю о моих собственных скалах — о скалах мысли. Пусть и они будут такими чуткими, пусть так же откликаются всякому движению духа, как те — перемене угла зрения; пусть ежесекундно обращаются в свою противоположность, прячутся, прикидываются, притворяются, меняют маски, то расплываясь, то каменея; пусть они сбросят покрывало грез — пресловутую *чудную дымку!* Да будут они несокрушимы, осязаемы и зримы, как скальный гранит!

У моей философии три источника: греческая софистика, испанская школа философии, основанная Святым Игнасием де Лойолой [2], и немецкая диалектика Гегеля, который, к несчастью, был начисто лишен иронии, а это непременная эстетическая составляющая мышления. (И к тому же породил революцию, хоть и нечаянно.)

Кадакесские рыбаки гребут медленно, не торопясь. В этом терпеливом труде, больше похожем на досуг, я вижу одно из проявлений иронии. Да, если уж я решил вернуться в Париж победителем, надо мне взяться за весла, раз у меня есть своя лодка и море, взяться за весла и грести, храня свет Порт-Льигата. Не зря же за эти два месяца дух мой окреп и осветлился, как вино. Значит, и транспортировать его следует, как вино: «Осторожно! Не взбалтывать! Не трясти!» (А то разольется!) Под мерный, ироничный плеск ленивых весел, при полном штиле, со всей возможной осторожностью следует перевозить драгоценные вина традиции — они не должны догадываться о том, что перемещаются, даже если путь бесконечно долог. Напомню, что скорость — наилучшее из средств кретинизации, в частности скорость передвижения; я уж не говорю об этих прискорбных рекордах скорости, известиями о которых забиты газеты. Впрочем, я готов допустить касательно этого жалкого предмета все что угодно, а потому прошу читателя представить себе однодневное кругосветное путешествие. Что может быть скучнее? Ну, разве что десяти- или двухминутный кругосветный вояж. Кошмар, и более ничего. Но представьте себе, что по особому благоволению фортуны вы путешествуете из Мадрида в Париж *не спеша,* и длится ваше путешествие ровно триста лет. Вот она, тайна! Вот это, я понимаю,— скорость. Какой простор для воображения, какая головокружительная перспектива! Полагаю, вы предпочтете звездное путешествие перемещению посредством железной дороги? Или металлический скелет аэроплана вашему сердцу милее звезд? Однако я, кажется, впадаю в романтизм в духе Мельеса [3]. Трехсотлетнее путешествие из Мадрида в Париж — это слишком. Довольно и дилижанса, который вез Стендаля и Гёте в Италию. Тогда еще умели чувствовать расстояния и понимали, что человеку нужно время, чтобы осмыслить пространство и соответствующий его новому облику пейзаж, архитектуру, образ чувств. Если вы хотите воспитывать ум естественным образом, обходясь без жестокости, не забывайте о двух обязательных условиях: нельзя торопиться и не следует уповать на совершенство техники. Тогда это понимали!

Греби же, Дали, греби! Или, что даже лучше, пусть гребут кадакесские рыбаки. Куда плыть, ты знаешь, и пусть они доставят тебя к цели, и тогда

[1] Гераклит Эфесский (конец VI— начало V в. до н. э.) — древнегреческий философ ионийской школы. О природе и иронии см. также эссе Дали о Святом Себастьяне («Диапазон», 1991, № 3).

[2] Игнасио де Лойола (ок. 1491—1556) — испанский религиозный деятель, основатель ордена иезуитов.

[3] Жорж Мельес (1861—1938) — французский иллюзионист, один из основоположников кинематографа.

ты скажешь с гордостью, что приплыл к ней в компании восхитительных личностей параноидального склада, ни в чем не уступающих тем, что вместе с Колумбом открыли Америку.

Что ж, придется ехать в Париж — деньги на исходе, надо подзаработать и побыстрее вернуться в Порт-Льигат. Хотя побыстрее не выйдет, самое раннее месяца через три-четыре.

Перед самым отъездом я совершил открытие — разгадал тайну хлеба. Издавна, согласуясь с первейшей из своих насущных потребностей, человек почитает хлеб — я сделаю хлеб бесполезным. Хлеб станет исключительно эстетической ценностью!

В Париже я только и говорил всем и каждому: «Хлеб! Хлеб ныне и присно и во веки веков! И ничего, кроме хлеба!» Никто не понимал, что за тайну я привез на этот раз из Кадакеса.

А ведь это со мной случается постоянно. Настает день, и я говорю: «Костыль!» Никто не принимает мое заявление всерьез — мало ли что ему взбредет в голову. Но проходит пять лет, и все понимают, как много это значит. Стоило мне сказать: «Вот он, кусок хлеба!» — как хлеб обрел особенный смысл. Я вообще наделен редким даром облекать свою мысль в тот или иной по наитию избираемый предмет, тем самым наделяя оный посредством моих вдохновенных усилий великой магической силой.

Одержимость хлебом привела меня к светлой мысли создать тайное хлебное общество с благой целью кретинизации масс. План действий общества я изложил на великосветском приеме (бриллианты сияли ослепительно, а шампанское лилось рекой).

Прежде всего надлежит испечь пятнадцатиметровый хлеб. Это не так уж трудно, если как следует пораскинуть мозгами. Ну, конечно, придется построить особую печь, без этого не обойтись. Важно, чтобы хлеб этот ничем не отличался от обычного французского батона. Итак, хлеб испечен. Надо искать ему достойное место, не слишком людное, но и не пустырь. Появление хлеба должно стать совершенно необъяснимой загадкой (тем сильнее эффект кретинизации). Я выбрал для этой цели внутренний дворик Пале-Руаяля. Для перевозки хлеба потребуются два грузовика, а для водружения — бригада рабочих, точнее говоря, ряженых в комбинезоны членов тайного общества, каковые проникнут в Пале-Руаяль якобы для ремонта водопровода.

Водрузив хлеб на помост, члены тайного общества немедля отправятся на загодя снятую конспиративную квартиру для наблюдения за местом действия (окна ее должны выходить именно туда). Последствия столь неординарного события очевидны: нравственные устои парижан будут подорваны, если не сокрушены. Далее хлеб со всеми предосторожностями, по всей видимости, переместят куда-либо, дабы исследовать. Может, там, внутри, динамит? Да нет! Хлеб отравлен? Ничего подобного! Неужели же он ничем, кроме, разумеется, длины, не отличается от обычной булки? Вот именно — ничем. Значит, это нечто вроде вывески, но тогда где же булочная? Нет булочной! Значит, не вывеска. Тогда что же?

И вот тут-то на мой хлеб накинутся, как на лакомый кусок, газетчики и с присущим им пылом затеют грандиознейшую потасовку. Кто-нибудь обязательно заподозрит, что это дело рук психопата. Однако одному психопату, равно как и человеку в здравом уме, никак невозможно такой хлеб замесить, испечь и водрузить на помост во дворике Пале-Руаяля. Следовательно, означенный психопат ухитрился обзавестись помощниками, да не какими-нибудь, а вполне здравомыслящими, раз предприятие блестяще удалось. Нет, эта гипотеза не выдерживает критики и должна быть отметена.

А вдруг это политическая демонстрация? Но тогда смысл ее должен быть ясен всякому и каждому, а это не так. Да и коммунистическая партия не делает никаких заявлений. Нет, эта чиновничья лавочка на такой полет фантазии не способна! Но если все-таки допустить коммунистические происки, что же в таком случае означает хлеб? Что человечеству нужно как можно больше хлеба, чтобы не умереть с голоду? Что хлеб — наша

святыня? Нет, это совершенная чушь. Остается предположить, что это всего-навсего шутка, разыгранная студентами или сюрреалистами. Но и это объяснение не годится. Общеизвестно, что сюрреалисты не способны ни на какие согласованные практические действия. Разве они могут соорудить печь грандиозных размеров? Что до студентов, то и это несерьезно — какие у них возможности? Думаете, в конце концов кто-нибудь догадается, что хлеб — дело рук Дали и его тайного общества? Нет, нет и нет! Кишка тонка!

За первым явлением хлеба на головы потрясенных граждан обрушится второе — двадцатиметровый хлеб в Версальском парке! Он не оставит сомнений в существовании тайного общества. А тем временем подоспеет и третье явление, сметая с газетных страниц все прочие — светские, политические и сексуальные — новости. Ибо третье явление будет множественным: тридцатиметровые хлебы обнаружатся одновременно в нескольких европейских столицах. А на другой день придет известие о сорокапятиметровом батоне из Америки.

Если план этот удастся исполнить в точности, я гарантирую всеобщее смятение, переходящее в панику и всенародный истерический припадок, чреватый полным крахом всех логических механизмов практического разума.

«А все-таки, Дали, что вы хотите сказать этим хлебом?» — когда ко мне приставали с таким вопросом, я, изображая философское раздумье, изрекал:

— Правильно истолковать этот феномен можно лишь с помощью моего метода параноидального анализа.

Не все довольствовались этим ответом. Читавшие мои статьи (малопонятные непосвященным) обычно просили меня дать толкование и заодно продемонстрировать технику метода. Я никогда не снисходил к таким просьбам, ибо в ту пору имел самое смутное представление о методе, который имел счастье открыть. Со мною только так и бывает — открою что-нибудь, а разберусь, что к чему, лет через пять.

Ко мне постоянно лезут с вопросом: «Что бы это значило?»

— Вам непременно хочется знать? Ну-ну...

Однажды я получил в подарок два восхитительных стула чистейшего стиля модерн. И немедленно приступил к делу. Заменил кожаное сиденье шоколадным и привинтил к ножке золотую дверную ручку — характерный образец стиля Людовика XV [1]. Ножка удлинилась, а стул скособочился именно так, как я хотел: стоило хлопнуть дверью или просто пройтись по комнате, как он начинал шататься и падал. Другую ножку я поместил в кружку с пивом, и если стул падал, пиво, естественно, разливалось. Этот замечательно неудобный стул, повергавший всех, кто его видел, в страшное смятение и тревогу, я окрестил *Астральным Стулом*. Что это, по-вашему, значит?

Я решил соорудить как можно больше *сюрреалистических предметов*. В них я воплотил самое иррациональность со всей ее символикой и тем уничтожил автоматическое письмо и дурацкие записи сновидений. *Сюрреалистический предмет* совершенно бесполезен и разумно использован быть не может. Создан же он, как всякий фетиш, затем, чтобы любая бредовая идея получила свое зримое и осязаемое воплощение. Сюрреалистические предметы довольно быстро расплодились и стали теснить обыкновенные полезные вещи. Эти схватки напоминали мне яростные петушиные бои, в которых полезные вещи неизменно терпели поражение — от них только перья летели! Сюрреалистические предметы наводнили Париж, и люди обрели возможность не только рассуждать о своих маниях, навязчивых идеях и чувствах, но и увидеть их во плоти, дотронуться до них, взять в руки, показать кому-нибудь.

[1] Стиль периода правления французского короля Людовика XV (1715—1774), называемый также стилем рококо, отличается пышностью декора.

Мода на сюрреалистические предметы [1] поставила крест на излюбленном занятии сюрреалистов — записи сновидений. И сразу стало дурным тоном излагать свои сны и предаваться автоматическому письму, запечатлевая голоса подсознания. Отныне эти занятия наводили только скуку и выглядели полным анахронизмом. Сюрреалистические предметы воскресили чувственное восприятие. Никто более не хотел довольствоваться разговорами о возможности чуда. Покажите мне чудо! Дайте потрогать! Дайте убедиться, что оно существует в действительности! А весь этот романтический хлам — безголовые обрубки, монстры со звериными мордами, лапами и хвостами, марсианские пейзажи, изображающие бездны подсознания, вкупе с полулюдьми-полудеревьями, равно как и летучие печенки и селезенки, преследующие горящий десятигранник,— короче, все эти унылые ужасы стали достоянием ремесленников. Доморощенные сюрреалисты — сколько же развелось их по всей Европе, не говоря уж о Японии! — и сбившаяся в ту же кучу свора разноплеменных недоумков потчевали благонамеренных граждан этим вчерашним блюдом, состряпать которое из приевшихся *незримых* образов, символов бессознательного, способен любой идиот. Изыски такого рода прекрасно смотрятся, правда, не на выставках, а в витринах, чем, кстати, и воспользовались декораторы с мозгами.

Мои сюрреалистические предметы прикончили сюрреалистическую мазню, да и вообще всю современную живопись. Миро сказал: «Я хочу истребить живопись!» И, действительно, по моему коварному наущению отколошматил он ее изрядно, а уж прикончил ее ваш покорный слуга собственными руками. Как матадор, я вонзил ей шпагу в загривок! Не думаю, что Миро понимал, какую именно живопись мы истребляем. Не вся, а исключительно современная живопись испустила дух с нашей помощью, что же до старых мастеров, то им, уверяю вас, наши действия не причинили ни малейшего вреда. На недавнем вернисаже коллекции Мельона я имел удовольствие еще раз в этом удостовериться.

Пока все обмирали перед моими сюрреалистическими предметами, я написал несколько совершенно обыкновенных на первый взгляд картин, похожих на завораживающие мгновенные фотоснимки. Классически четкое исполнение — и чуточку Мейсонье в далинианском переложении. Я чувствовал, что публика устала восхищаться вывертами и скоро перестанет клевать на этот крючок. И сказал себе: «А не сменить ли наживку? Не изобразить ли в классической манере самое действительность?»

Вечное отсутствие денег оставалось нашей тайной. Оно угнетало, потому что вращались мы в кругу богатых людей и держали марку — никто не догадывался о нашей бедности. Мы этого не могли допустить, ибо жалость разит насмерть. «Не жалость надо внушать! — учила Гала.— Следует повергать в стыд!» Ни одна душа не знала о том, что живем мы впроголодь. Хранить эту тайну (исконно испанское, кстати говоря, занятие) было для нас делом чести.

Еще в Малаге я пошел к Гале в ученики. Первым делом она преподала мне два постулата — о главенстве наслаждения и о том, что мир реален. Мимоходом она научила меня одеваться, ходить по лестнице и не падать на каждом шагу, распознавать врагов, не сорить деньгами и не швырять за обедом куриные кости в потолок. Она преподала мне также *постулат меры*, дремавшей до поры до времени в глубинах моего существа, ибо сама Гала — Ангел Равновесия. Гала — провозвестница моего классицизма. Это она, зная мою беззащитность, упрятала мою отшельничью устричную мякоть в крепость-раковину и тем уберегла. Там, внутри, под надежным панцирем и старилась с тех пор моя текучая трепещущая мякоть. А когда пришло время написать часы, выплеснулась наружу и повисла на ветке.

Как-то раз вечером я вдруг ощутил усталость и легкую головную боль,

---

[1] Примером может служить меховой чайный прибор — чашка, блюдце и ложка, выполненные из меха Мерет Оппенгейм [2]. Шедевр находится в Музее современного искусства (Нью-Йорк). *(Прим. автора.)*

[2] Мерет Оппенгейм (род. в 1913) — немецкая художница.

что со мной случается крайне редко. Мы уговорились пойти с друзьями в кино, но я в последнюю минуту раздумал. Гала ушла. Я остался один и решил, что лягу пораньше. Проводив ее, я вернулся к столу (ужин мы завершили отменным камамбером) и погрузился в раздумья о *растекающейся мякоти*. Перед моим мысленным взором возник сыр. Я встал и, как обычно, направился в мастерскую — взглянуть перед сном на картину, которую писал. То был пейзаж Порт-Льигата в прозрачно-печальном закатном свете. На первом плане — голый остов оливы с обломанной веткой. Я ощущал, что в этой картине мне удалось создать атмосферу, созвучную какому-то важному образу — но какому? Не имею ни малейшего понятия. Я уже протянул было руку к выключателю, как вдруг *увидел* решение! Я увидел растекающиеся часы: самым жалким образом они свисали с ветки. Превозмогая головную боль, которая сделалась почти невыносимой, я кинулся к палитре и взялся за дело. Через два часа, к возвращению Галы самая знаменитая из моих картин была закончена. Я велел Гале закрыть глаза и усадил перед мольбертом: «Не открывай, пока не скажу! Раз, два, три — можно!» Сам я неотрывно смотрел на ее лицо и видел, как изумление сменилось восхищением. Обмануться было невозможно: найденный мной образ производил сильнейшее впечатление. Гала поразительно чувствует тайну — по ее лицу я понял, что тайна, изображенная на полотне, воистину тайна за семью печатями.

— Как думаешь, через три года кто-нибудь об этом вспомнит? — спросил я.

— Это запомнит навсегда всякий, кто увидит!

— Тогда пойдем спать. У меня дико болит голова. Приму, пожалуй, аспирин. Да, как фильм? Понравился?

— Не знаю... Не помню!

Буквально через несколько дней я продал картину с растекшимися часами, которой дал название «Память неистребима», залетному американцу.

Он признался, что работа кажется ему более чем странной, и приобретает он ее исключительно затем, чтобы повесить у себя дома. Выставлять [1] ее бессмысленно: публика не воспримет, а охотников купить не найдется. Однако именно эта картина снискала впоследствии оглушительный успех и была не раз продана и перепродана, пока не очутилась наконец в Музее современного искусства. А уж сколько она породила подражаний и копий — не счесть. С черно-белых репродукций списывали ее провинциальные художники, а уж цвет — какой Бог на душу положит. И где только эти копии не вешали! Случалось, и в забегаловках, и в галантерейных лавках.

Скопив столько денег, сколько должно было хватить на два с половиной месяца, мы с Галой уехали в Порт-Льигат.

С той поры как отец выгнал меня из дому, я стал объектом семейной травли. Отец считал оскорбительным для себя то, что я живу в столь непосредственной близости — в Порт-Льигате,— и старался изо всех сил сделать мое существование невыносимым. Тогда-то я почувствовал у себя

[1] Впервые картина была выставлена на первой персональной выставке Дали в Париже в июне 1931 г., а затем вскоре продана.

на голове яблоко Вильгельма Телля — двойственный символ каннибализма, напитанный застарелой ненавистью к орудию истязания, отцовскому луку, готовому выпустить жертвенную стрелу. Вечная тема — отец, приносящий в жертву сына: Сатурн пожирает своих детей, Господь Бог приносит в жертву Христа, Авраам готов заколоть Исаака, Гусман Добрый [1] сам протягивает убийце своего сына роковой кинжал, Вильгельм Телль целится в яблоко на голове собственного сына!

В Порт-Льигате я написал портрет Галы с двумя отбивными котлетами на плече, что означало, как я позже узнал, *подмену:* вместо того чтобы съесть *ее самое,* я решил удовольствоваться котлетами. Я подменил жертву. Мои котлеты, ягненок Авраама и яблоко Вильгельма Телля — это по сути дела одно и то же. Я возложил ей на плечо *сырые* котлеты и вот почему. Ягненок и яблоко, Сатурновы дети и распятый Иисус — все они тоже *сырые,* ибо жертва для каннибала это непременно *сырое мясо* [2]. Тогда же я написал картину, где изобразил самого себя восьмилетним мальчиком с сырой котлетиной на голове. То было предложение отцу не есть меня, а согласиться на котлету. Вообще в ту пору меня чрезвычайно занимали образы еды и пищеварения — отсюда и котлеты, и кишки. Я жаждал заглотить и переварить все, что только ни есть на свете, и мечтал соорудить из сырых яиц громадный целиком съедобный стол.

Меня пригласили в Барселону прочесть лекцию, и мы с Галой решили съездить. Я хотел испытать себя как оратора и выяснить наконец, способен ли взволновать публику. Читать я должен был в Атенее, где собирался цвет каталонской интеллигенции, так что мне представился случай расправиться с этими патриотически настроенными ханжами. Я опоздал на полчаса. Зал, истомленный ожиданием, при моем появлении замер.

Начал я с краткого и пылкого панегирика маркизу де Саду и как пример полной ему противоположности привел бесконечно уважаемое патриотами имя недавно почившего недоумка Анжела Гимеры [3]. Я патетически возгласил: « Как же зовут этого педераста из педерастов, этого волосатого тухляка? Я вам скажу: Анжел Гимера!» И понял, что все уже сказано,— лекция кончена. Зал заметался в истерическом припадке. В меня швыряли стульями, и, если бы не вмешательство полиции, живым я бы оттуда не вышел. Но жандармы встали стеной, загородили меня, вывели на улицу и усадили в такси. «А вы храбрец!» — сказал мне один из них. Я действительно держался с достоинством, но лишь потому, что меня охраняли. Все предназначенные мне удары обрушились на полицейских — вот кто на самом деле явил мужество.

В Каталонии политические партии множились день ото дня, и все уже понимали, что в Испании вот-вот произойдет что-то грандиозное — что-то вроде всемирного потопа: разверзнутся хляби небесные, и хлынет все сметающий на своем пути поток — епископы, рояли, дохлые ослы... Один крестьянин из Фигераса сказал замечательную фразу: «Если так дальше пойдет, то и сам Господь Бог, случись ему к нам спуститься, не скажет, который час!»

Я прочел еще одну лекцию в Барселоне. Она увенчалась еще более громким скандалом, что навсегда излечило меня от патологической робости. Я понял, что мне ничего не стоит довести публику до исступления, жонглируя образами собственного изготовления. И мне захотелось новизны — общения с иными людьми, с теми, кого не затронула наша послевоенная европейская плесень. В Америку! Я захотел открыть Америку, узнать, что она такое, водрузить там свой хлеб и осведомиться у них: «Что бы это, по-вашему, значило?»

---

[1] Гусман Добрый — Альфонсо Перес де Гусман (1258—1309), кастильский капитан, защитник осажденной арабами в 1293 году крепости Тарифа. Перешедший на сторону врага инфант дон Хуан пленил сына Гусмана и потребовал, угрожая убить ребенка, сдачи крепости — ответом вероломному инфанту был кинжал, брошенный ему под ноги несчастным отцом.

[2] Фрейд описывает одно из таких жертвоприношений: племя ритуально пожирает верблюда, причем сырого, и к утру от туши остается лишь обглоданный скелет. *(Прим. автора.)*

[3] Анжел Гимера (1847—1924) — каталонский поэт и драматург.

Европейцы совершенно напрасно полагают, что Америка начисто лишена интуиции, как поэтической, так и научной. Да, американцы находят правильные решения не потому, что опираются на традицию или следуют велениям вкуса. Америку ведет не разум, выпестованный долгим опытом,— у них нет ни прошлого, ни опыта. Америку ведет не утонченная мысль, блеснувшая в мозгу, стоящем на грани вырождения, и не сердечный порыв — она еще слишком молода. Америка, прекрасно обходясь без всего этого, находит самое верное решение. Ее ведет первозданная сила, чистый первобытный инстинкт. Америка прекрасно знает, чего ей недостает. И я со своими параноидальными работами, этим цельным воплощением бреда, могу дать ей недостающую духовную пищу. Именно этого кошмара недостает Америке — моих дохлых испанских ослов, потусторонних распятий Эль Греко, трепещущих подсолнухов Ван Гога, четких линий Шанель, меховых чайных приборов, метафизики парижских манекенов, вагнерианского пафоса архитектурных симфоний Гауди! Америке недостает Рима, Толедо, средиземноморского католицизма.

Хочу в Америку, хочу в Америку! Это желание стало непреложным, как детский каприз. Гала успокаивала: «Подожди. Как только скопим денег, обязательно поедем». Но дела, как назло, шли из рук вон плохо.

Я не из тех, кто смиряется с неизбежностью,— я впадаю в бешенство. Именно это и произошло. Ярость долго копилась и потихоньку закипала во мне, пока в один прекрасный день не выплеснулась наружу. Нет, это невыносимо! Еще в Малаге я твердо решил разбогатеть, а до сих пор нищ! Я сорвался с цепи, разбил кандалы. Я носился по городу, рвал пуговицы с мясом и так топал ногами, что казалось, земля вот-вот разверзнется и поглотит бунтаря.

Я заказал билеты на ближайший пароход — «Шамплен» [1]. Он отходил через три дня, а надо было еще добыть изрядную сумму. Наших денег не хватало даже на билеты, а нужен хотя бы небольшой запас на первое время.

Едва мы вышли в открытое море, как мной овладел ужас — я боялся *океана*. Впервые в жизни я нигде не видел берега, а в шуме двигателя мне все время мерещился какой-то подозрительный скрип. Слишком уж сложно устроена эта плавучая громадина! Обязательно что-нибудь сломается в пути, и мы потерпим крушение. Я исправно посещал все инструктажи на случай катастрофы, приходил загодя и, облачившись в пробковый жилет, застегнутый на все крючки и пряжки, ловил каждое слово помощника капитана. Я настоял, чтобы Гала не пренебрегала занятиями и проверочными тревогами, хотя она или злилась, или хохотала до слез над этими «дурацкими предосторожностями». После инструктажа я обычно удалялся в каюту и, не снимая пробкового жилета, укладывался в постель, напряженно вслушиваясь, не загудит ли сирена настоящей тревоги. Все мое существо содрогалось при мысли, что я могу пасть жертвой *механической поломки.* На всех, причастных к *механизму,* я смотрел как на палачей — и они еще смеют с беззаботным видом прогуливаться по палубе!

Я спасался шампанским — пил его для успокоения и как профилактическое средство против морской болезни, которой не заболел.

По моей просьбе к концу путешествия корабельный повар изготовил батон длиною в два с половиной метра (правда, с палкой внутри, чтоб не развалился). В роскошной целлофановой обертке хлеб внесли в мою каюту.

Я полагал, что сей предмет всенепременно возбудит любопытство репортеров, если их допустят на борт в порту. Пассажиры говорили о них с каким-то брезгливым ужасом:

— Эти писаки так дурно воспитаны! Мало того что задают неподобающие вопросы, так еще и жуют при этом свою жвачку!

И каждый уверял, что обязательно постарается ускользнуть от «этих писак», хотя за всеобщим детским кокетством угадывалось одно пламенное желание — оказаться предметом наглых домогательств и дать интервью!

---

[1] Дали впервые приехал в Америку в ноябре 1934 г.

Пренебрежение было защитой от неизбежных разочарований: *не больно и хотелось,* как той лисе, что благоразумно сочла виноград недозрелым. Я, естественно, держался иначе и не упускал случая заявить, что жажду оказаться в центре внимания прессы:

— При первом удобном случае я угощу репортеров своим хлебом! Я напитаю их, как Франциск Ассизский [1] — пташек!

Мое поведение окружающие сочли непристойным и даже бесстыдным. И скорчили соответственные рожи.

— А все-таки, как вы думаете, что бы это такое мне сделать с батоном, чтобы произвести на репортеров неизгладимое впечатление? — приставал я ко всем знакомым.

По прибытии в Нью-Йорк я узнал, что репортеры уже на борту и желают со мной говорить. Взяв припасенный хлеб, я предстал перед ними.

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Я даже растерялся, как Диоген, предводитель киников, когда никто и внимания не обратил ни на его фонарь, ни на бочку и не спросил: «Эй, друг, что ищешь?»

Как ни удивительно, ни один из журналистов не поинтересовался моим хлебом, хотя я то держал батон прямо перед собой, то опирался на него, как на палку.

Оказалось, что репортеры прекрасно обо мне осведомлены. Они знали многое, причем в мелких подробностях. Первым делом меня спросили, правда ли, что я написал портрет своей жены с двумя жареными котлетами на плече. Я ответил, что правда, но прошу обратить внимание: котлеты не жареные, а сырые.

— Почему? — последовал вопрос.

— Потому что жена у меня тоже сырая!

— А с какой стати котлеты у нее на плече?

— А с той, что котлеты мне по вкусу, равно как и жена! Почему не изобразить их вместе?

Американские репортеры, вне всякого сомнения, дадут сто очков вперед своим европейским собратьям. Они прекрасно знают свое дело и, представьте себе, *понимают толк в ахинее.* У них тончайший нюх на сенсацию, они сразу берут быка за рога и, пользуясь естественным замешательством, быстро докапываются до той самой изюминки, что завтра украсит первую полосу газетного меню. В Европе репортер еще и не брал интервью, а уже знает, что напишет, и читатель, пробежав глазами этот набор общих мест и расхожих суждений, при всем желании не обнаружит ровным счетом ничего нового. Из европейца может выйти историк, но не журналист. А вот американцы — прирожденные журналисты. Злоба дня — их идол. Первобытный охотничий инстинкт велит им бить влет диковинных птиц и тащить окровавленные тушки прямо на редакторский стол, заваленный бледными от нетерпения листами, жаждущими всяческих новостей — и тех, что добыли охотники, и тех, что притаились в черном телефонном нутре.

Я поднялся на верхнюю палубу и увидел Нью-Йорк. Он был как на ладони — розоватый, кремовый, чуть тронутый зеленью. Громадная готическая глыба сыра рокфор! Сыр рокфор — моя слабость, и в приливе чувств я воскликнул: «Нью-Йорк приветствует меня!» Но быстро справился с собой и, вняв голосу гордой каталонской крови, текущей в моих жилах, в свою очередь восприветствовал это воплощение вселенской мощи, осененное юным американским флагом.

Да это Египет, вывернутый наизнанку! Но если тот, древний Египет воздвиг пирамиды рабства и смерти, Нью-Йорк вознес к небу, как трубы гигантского органа, свои небоскребы — пирамиды демократии, знак свободы. Нью-Йорк, гранитный страж у азиатских пределов, призрак Атлантиды, поднявшийся из глубин подсознания!

Твои безголовые манекены уснули, а кровь их *льется и будет литься*

---

[1] Франциск Ассизский (наст. имя Джованни Бернардоне, 1181—1226) — итальянский религиозный деятель и писатель, основатель католических монашеских орденов францисканцев, терциариев и кларисс, отличавшийся редкостной любовью ко всякому живому существу.

вечно, как стерильные струи фонтанов, заключенных в сияющие витрины, уже отравленные летаргическим сном сюрреализма. А там, на Пятой авеню, уже горит фитиль, и пламя вот-вот подберется к жирафьим задам, начиненным динамитом. Рванет — и пятнистое стадо разлетится во все стороны, сея ужас и смятение, и народ кинется крушить витрины и лавки. Бессильно взвоют пожарные сирены. Привет вам, гремучие жирафы Нью-Йорка! И вам привет, предтечи, вкусившие от плода иррационального — Мак Сеннет [1], Гарри Лангдон [2]! И тебе привет, незабываемый Бестер Китон [3], трагическая, родная душа! В тебе кипит тот же бред, что и в моих дохлых ослах — мистических розах испанской пустыни!

Я проснулся в шесть часов утра на седьмом этаже отеля «Сен-Мориц» — мне снились львы. И вдруг понял, что львиные рыки из сна переместились в явь. Я прислушался — они перемежались павлиньими воплями и прочим звериным воем. Затем все смолкло. Я ждал всего что угодно от этого города, *чуда современной техники,*— шума, грома, грохота, но не тишины, нарушаемой лишь первобытным рыком. Я не знал, что и думать,— может, какая-то часть моего существа все еще спит? Но нет, вот я опять явственно слышу рычание. Все разъяснилось, когда официант принес завтрак. Он владел французским, ибо оказался канадцем, и, заметив, что я вслушиваюсь, сказал, что рядом с гостиницей — зоопарк. В чем я и убедился самолично, высунувшись из окна: я увидал и клетки, и бассейн, и даже разглядел тюленей.

Нью-Йорк нимало не походил на то *чудо наисовременнейшей техники,* что привиделось в океанской дымке европейским эстетам — авангардистам, поборникам штампованных стерильных красот, *не осквернен*ных *искусством* фетишей машинерии. Ни следа этой нарочитой новизны я не обнаружил в Нью-Йорке. Родившись на пустом месте, этот юный город первым пресытился новизной и первым ей ужаснулся. Тому неоспоримым свидетельством небоскреб на Пятой авеню, виденный мною,— более всего на свете ему хотелось казаться старинным зданием! Рабочие, обвязанные веревками, скользили по отвесным стенам с горелками в руках, словно исчадия ада. Они коптили камень — и черный дым оседал на плитах, придавая им столь желанное сходство с потемневшими от времени парижскими особняками. А Корбюзье [4] ломал себе голову — из чего бы выстроить вожделенный куб, чтоб не темнел да не крошился и сиял новизной, как те, нью-йоркские образцы!

Я вошел в лифт и удивился — лифт освещала не лампочка, а длинная витая свеча, а на стене — в лифте! — висела репродукция Эль Греко в пышном старинном обрамлении: алый бархат, Испания, XV век. После прокопченных стен и толедской часовенки, сокрытой в лифте, полагаю, нет надобности описывать сами апартаменты. Ограничусь кратким перечнем запомнившейся утвари: персидская работа, испанский Ренессанс, готика. Упомяну также о картинах Дали и двух органах (в Америке вообще то и дело натыкаешься на орган).

К концу первого дня у меня создалось впечатление, что в Нью-Йорке нет электричества. Лифт, освещенный свечой, оказался не исключением, а правилом. Лампы же везде, где они были, загораживали пышными шторами в стиле Людовика XVI, ширмами, расписанными готическими орнаментами, или абажурами с имитацией бетховенских рукописей. Повсеместно по стенам вился синтетический плющ, а в темную гостиную залетали летучие мыши — тоже, конечно, ненастоящие.

Нет, поэзия Нью-Йорка совсем не похожа на ту, что пригрезилась издали европейцам. Нет, это не вылизанный жесткий контур рокфеллеровского центра. Поэзию Нью-Йорка нельзя запихнуть в тот унылый холодиль-

[1] Мак Сеннет (наст. имя и фамилия Майкл Синноп, 1880—1960) — американский комедийный режиссер и актер, патриарх американской кинокомедии.

[2] Гарри Лангдон (1884—1944) — американский комедийный актер.

[3] Бестер Китон (наст. имя Джозеф Фрэнсис, 1896—1966) — американский комедийный актер и кинорежиссер.

[4] Шарль Эдуар ле Корбюзье (наст. фамилия Жаннере, 1887—1965) — французский архитектор, художник, график и скульптор; теоретик кубизма.

ник, где наши эстеты хранят неудобоваримые останки своей новой пластики.

Поэзия Нью-Йорка стара и яростна, как мир. Она все та же. И своей первобытной силой она обязана той же содрогающейся в бреду живой плоти, что порождает всякую поэзию,— земному бытию. Передо мной был «Вечерний звон» Милле третичного периода: сонм склоненных фигур, замерших в напряженном ожидании соития. Вот-вот эти нью-йоркские ночи и небоскребы вопьются друг другу в горло, как те скорпионы-каннибалы,— и погибнут. Никакой не механизм гоняет тягучую жидкость по жилам центрального отопления этого гигантского звероящера, и вовсе не сплав держит его тяжелый костяк, а неизбывная, нерастраченная жажда крови. Ею рождена поэзия Нью-Йорка.

Она неподвластна законам разумной эстетики, она вообще не имеет ничего общего с эстетикой. Ею управляет биология. Поэзия Нью-Йорка — это не никель и не железо, а трепетные легкие ягненка. И поезда в нью-йоркском метро несутся не по железным рельсам, а по тем, что проложены в этих невесомых легких [1]. Поэзия Нью-Йорка — истинная поэзия, а не суррогат. Это не мерный механический грохот, а львиный рык, пробудивший меня в то первое утро. Поэзия Нью-Йорка — это орган, готический нерв, тоска по Западу и Востоку; это бетховенская скоропись на ширме, располосованной нотными линейками, закопченная стена, механическая летучая мышь и мое *искусственное* кресло [2].

Поэзия Нью-Йорка — это орган из ягнячьих легких, орган с трубами всех рас и наций, это органчик — шарманка, беспамятная механическая игрушка, гулкая, словно бездна; воплощение дурного вкуса [3] и нищеты. Поэзия Нью-Йорка — это не выстроенный ради удобства и пользы небоскреб, а многотрубный орган из алой слоновой кости. И суть не в том, что трубы его царапают облака — само небо откликается органному звуку; там, в небе, эхом отдается каждое его дыхание, каждая нота этой земной жизни, каждый всплеск первобытной материи. Нью-Йорк — не куб и не призма. Он круглится. Он багров, а не бел. Нью-Йорк — это скругленная пирамида или, вернее, слегка вытянутый кверху шар из багровой плоти в веточках вечных прожилок; это драгоценный рубин, устремленный к небу застывшим кристаллом органа; неограненный рубин, похожий на опрокинутое сердце.

Однажды солнечным утром в первых числах ноября я прогуливался по центру Нью-Йорка со своим знаменитым хлебом под мышкой. На Пятьдесят седьмой улице зашел в забегаловку, велел приготовить яичницу и съел ее с куском, который отломил от собственного батона на глазах потрясенной публики. Меня окружили — толпа ждала объяснений, но я ограничился застенчивой улыбкой и слегка пожал плечами.

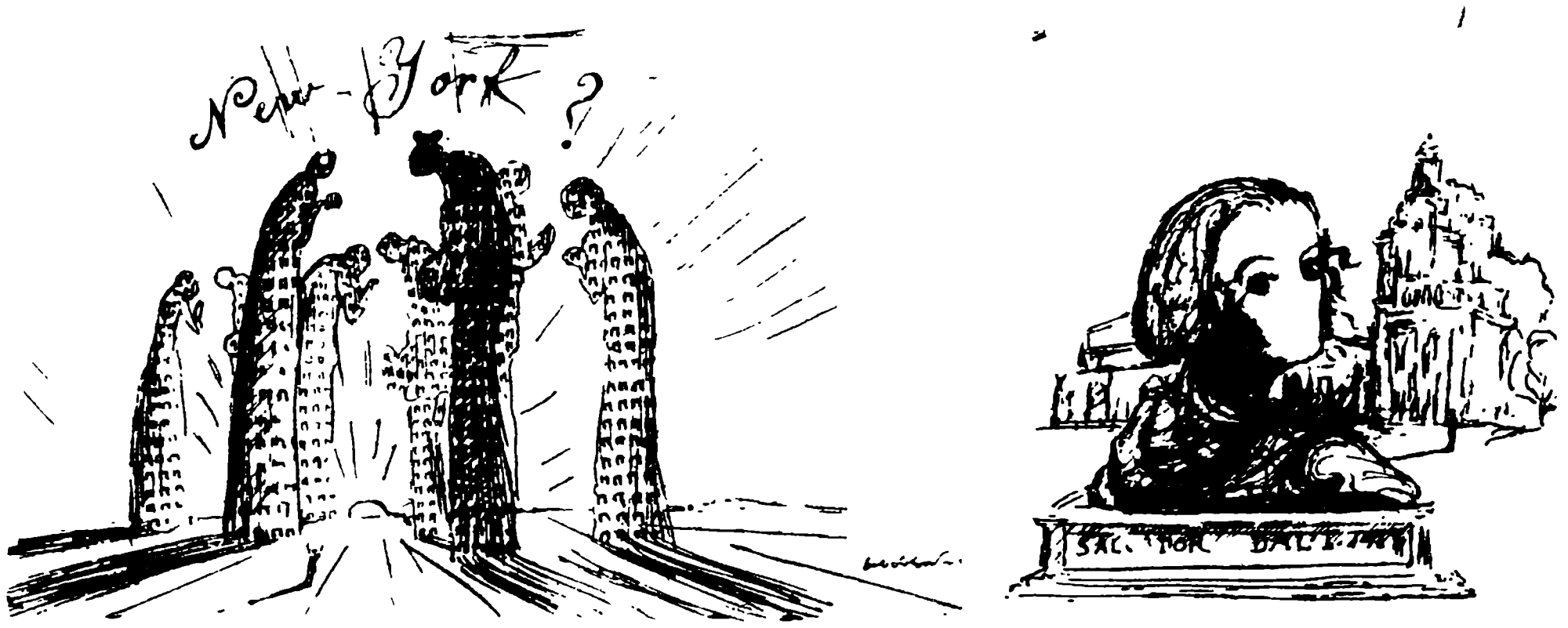
Уже не в первый раз я прогуливался с хлебом, который порядком усох и сделался как камень. В тот день он развалился, и я понял, что пришло время отделаться от оставшихся кусков. Эта мысль посетила меня возле гостиницы «Уолдорф Астория» ровно в полдень — в час полуденных видений. Я стал переходить улицу, поскользнулся, выронил хлеб и упал. Полицейский кинулся ко мне, помог подняться. Я поблагодарил и, прихрамывая, сделал несколько шагов. Потом из чистого любопытства оглянулся — интересно, где останки моего хлеба? Они бесследно исчезли. Тайна этого исчезновения восхищает меня и посейчас. Я проверил: ни

---

[1] Рельсы в легких ягненка — образ Раймона Русселя, величайшего из французских визионеров. *(Прим. автора.)*

[2] Вот что оно собой представляет: сиденье *дышит*, ибо сделано из надувной подушки, внутрь которой вмонтирован механизм, заставляющий ее *вдыхать* и *выдыхать*. Я назвал это кресло *искусственным* в отличие от обыкновенных — естественных. Особо рекомендую эту модель детишкам и старикам, а также снобам всех мастей — мое кресло усыпляет куда лучше качалки! *(Прим. автора.)*

[3] Я всегда считал, что французскую культуру погубит именно хороший вкус, и потому неустанно с ним боролся, защищая животворный дурной вкус — тот самый, которому мы обязаны Вагнером, Беклином и Гауди. *(Прим. автора.)*



у полицейского, ни у прохожих не было обломков моего батона. И понял, что имею дело с особым бредовым феноменом: мои куски по-прежнему валяются где-то здесь, *а я не вижу,* и причины этого пока неясны, хотя, несомненно, связаны с перипетиями моей долгой хлебной эпопеи.

Вышеописанное событие привело меня к открытию, сообщить о котором я предполагаю в Сорбонне. Доклад я назову «Хлеб-невидимка». Я дам исчерпывающее объяснение феномену мгновенного исчезновения предмета из поля зрения. Полагаю, это разновидность *галлюцинации навыворот,* с каковой приходится сталкиваться куда чаще, чем с настоящими галлюцинациями; упоминают же о ней вследствие амнезии куда реже. Словом, *смотришь — и в упор не видишь,* и вовсе не по рассеянности, а потому что *галлюцинируешь навыворот.* Способность к галлюцинациям такого рода, видимо, можно развить, и когда-нибудь *незримость,* обретенная с помощью параноидальной магии, станет привычным достижением и войдет в обиход. Да, все великие открытия делаются *ненарочно!* Колумб искал антиподов, а нашел Америку. Алхимики в поисках философского камня чего только не нашли и мимоходом наткнулись на сурьму, свинец и другие металлы. Так и я. Мне хотелось *выставить напоказ* свою привязанность к хлебу, а добился я того, что он взял и *исчез.* Так я обрел *незримость* — ту самую, что ускользала, когда я писал «Человека-невидимку». Что не дается человеку, даруется хлебу.

Моя выставка прошла с большим успехом. Проданы были почти все картины, а критики, хоть и поспорили между собой, единодушно подтвердили мою несомненную одаренность как живописца и отметили редкую силу воображения.

Накануне отъезда друзья устроили в мою честь онерический бал в «Красном петухе» [1]. Этот праздник вошел в историю Соединенных Штатов как эпохальное событие — страну охватила лихорадка подражания. Тот первый сюрреалистический бал превзошел все ожидания, даже самые смелые. Властная длань *сюрреалистического сна* выволокла из глубин подсознания все безумные порывы, причуды и мании. Даже на меня, уж на что я искушен во всех этих вывертах, феерическая фантасмагория произвела сильнейшее впечатление. Дамы из общества представили собравшимся доказательства своего утонченного вкуса: одни явились в птичьих клетках, надетых на голову, и без одежд, другие изукрасили свои обнаженные тела налепленными страшными язвами, третьи претерпели муку и нанесли себе увечья — исцарапались в кровь и продырявили тело булавками, которые так и остались торчать. Помню одну прелестную женщину — бледную, с одухотворенным лицом. Ее *рот* то дергался, то кривился в вырезе платья — прямо посреди живота. Там и сям со щек смотрели глаза, на спинах зияли черные язвы подмышек. Голову мужчины в окровавленной ночной сорочке покрывала тумбочка. В конце концов он ее распахнул — и стая

[1] Бал состоялся в январе 1935 г.

разноцветных колибри вырвалась на свободу. Устроителям бала пришла в голову счастливая мысль подвесить над парадной лестницей ванну, наполненную до краев. Казалось, она вот-вот опрокинется и рухнет, затопив собрание. А в бальной зале в углу на подпорках громоздилась ободранная бычья туша — чрево быка зияло, являя взору штук шесть граммофонов. Наряд, в котором явилась на бал моя жена, назывался «Изысканный труп» [1]. На голову Гала прицепила куклу, искусно имитирующую детский трупик, изглоданный муравьями; череп же муляжа сжимали клешни фосфоресцирующего рака.

Мифологизация моего образа шла быстро и уже безо всякого моего участия. Сюрреализм все чаще отождествляли со мной и более ни с кем. Пока я обретался в Америке, оказывается, много воды утекло. По возвращении я обнаружил парижский высший свет в полном упадке, а сюрреалистов — в разброде. Все ударились в политику и потянулись к левым. Сюрреалисты, следуя за Арагоном [2], из которого успел вылупиться маленький оголтелый Робеспьер, поспешали к коммунистической платформе. Несостоятельность их новой эстетики со всей очевидностью обнаружилась в тот день, когда я изложил им замысел *мыслящей машины,* сиречь качалки, увешанной стаканчиками с горячим молоком. Арагон взбеленился: «Увольте от ваших фантазий, Дали! Молоко нужно детям безработных!»

Бретон [3] счел прокоммунистические настроения опасными и решил очистить сюрреализм от Арагона и его единомышленников — Бунюэля, Юника [4], Садуля [5] и других. Среди них был и Кревель [6]— чистая душа, искренне верящая в коммунизм. Так вот он-то как раз и не последовал за Арагоном, сказав: «Это путь к торжеству посредственности». В итоге Кревель остался в полном одиночестве и вскоре покончил с собой — идейный крах оказался ему не по силам. То был третий сюрреалист-самоубийца. Кревель делом подтвердил свой ответ на один из вопросов анкеты, опубликованной в первых номерах журнала «Сюрреалистическая революция». Анкета спрашивала: «Самоубийство — это выход?» Кревель ответил «Да». Я — «Нет». Свой ответ я обосновал непреложным импульсом творческой воли. Но для многих сюрреалистов, увязших в болоте летаргических бесед и политических дискуссий, самоубийство оказалось выходом.

Меня политика никогда не интересовала, а в ту пору и подавно, ибо являла собой до крайности жалкое зрелище. Я как раз всерьез взялся за историю религий, и в частности за изучение католической религии — меня пленило в ней редкостное совершенство замысла. От сюрреалистов я отошел, да и все больше ездил: из Парижа в Порт-Льигат, оттуда в Нью-Йорк, снова в Порт-Льигат, в Лондон, ненадолго — в Париж и опять в Порт-Льигат. Бывая в Париже, я неизменно посещал великосветские приемы. Меня всегда интересовали очень богатые люди. И бедняки — мне всегда интересно слушать кадакесских рыбаков. А вот с буржуа мне говорить не о чем — я их просто не замечаю. Но — увы! — именно буржуа так и липли к сюрреалистам, а самым крупным талантам из бретоновской когорты

[1] «Изысканный труп» — название игры сюрреалистов, призванной запечатлеть образы коллективного бессознательного. Участник действа продолжает, не видя начала, рисунок или фразу своего предшественника, затем, уже совместно, интерпретируют результат. В первой игре сложилась строчка «Изысканный труп хлебнет молодого вина», давшая игре имя.

[2] Луи Арагон (1897—1982) — французский поэт, романист, публицист и общественный деятель. В 1927 г. вместе с Бретоном, П. Элюаром, Б. Пере и Юником вступил в коммунистическую партию, заявив, что эта форма протеста превосходит сюрреалистическую. После поездки в СССР (1931) переходит, по собственному признанию, на позиции социалистического реализма. Теоретическое обоснование этому Арагон дал в сборнике своих литературно-критических статей четыре года спустя.

[3] Андре Бретон (1896—1966) — французский писатель, теоретик сюрреализма, автор манифеста и глава движения.

[4] Пьер Юник (1909—1945) — французский поэт и журналист.

[5] Жорж Садуль (1900—1935) — французский кинокритик, историк кино, литератор.

[6] Рене Кревель (1900—1935) — французский поэт, один из теоретиков сюрреализма. В 1929 г. опубликовал эссе «Дали, или Антиобскурантизм», в котором важнейшей чертой дарования Дали назвал искренность.

просто не давали проходу. Этих немытых недоумков я боялся как чумы. К Бретону я заходил не чаще трех раз в месяц, к Пикассо и Элюару — два раза в неделю, к их ученикам — ни за что и никогда, зато на светских раутах, как уже было сказано, появлялся ежевечерне.

Завсегдатаи раутов не блещут умом, зато их жены носят алмазы, несокрушимые, как мое сердце, благоухают немыслимыми ароматами и обожают музыку, от которой у меня вянут уши. Я, каталонская деревенщина, простак и шельмец, снисхожу до бесед с ними, и волнующая картина — светская дама (та самая, с почтовой открытки!), припав к моим грязным ногам, взывает о милости — все еще тревожит воображение убогого провинциала!..

Вкус к театрализации, которым в полной мере обладали граф и графиня де Бомон, восхищает меня. Стоит вспомнить хотя бы кубистскую работу Пикассо в серых тонах — они нашли для нее место прямо на серебристых трубах органа! К ним я шел как в театр. Этьен де Бомон произносил свои монологи как прирожденный актер и носил умопомрачительные лакированные штиблеты. Все душераздирающие истории дягилевской труппы с почти обязательной уголовной развязкой разыгрывались не где-нибудь, а в графском саду, под деревьями, разукрашенными бутафорскими цветами. У графа вы вполне могли встретиться с Мари Лорансен [1] и кардиналом Вердье [2], полковником де Ла Рокком [3] и Леонидом Мясиным [4], могли наткнуться на бледного, до смерти замученного Сержа Лифаря [5], или на махараджу, или на испанского посла, не говоря уж о сюрреалистах.

Парижский свет неуклонно деградировал. Призрак поражения 1940 года уже реял над облаками Бордо, а Франции улыбался Фернандель [6]— о, этот неотвязный, первозданный, зубастый рот!

У художника Жозепа Марии Серта [7], наделенного исконно испанским иезуитским воображением, в трех часах езды от Порт-Льигата был дом — он укрывался в этом скафандре как в золотом коконе. Беднее и роскошнее этого дома по имени «Мас Джуни» не было во всей Испании. Мы с Галой иногда наезжали к Серту и гостили две-три недели. Появлялась там и вся наша парижская компания. Так мы провели несколько счастливых, духовно насыщенных дней — то были последние дни эпохи, последние дни уходящей Европы (ее тогда называли послевоенной). Эти страницы — свидетельства ностальгии, воспоминания об утраченной эпохе.

Радость того лета, звенящего зноем и неизменными праздничными сарданами, оборвалась внезапно. В автомобильной катастрофе на пути из Паламоса в Фигерас погибли князь Алексис Мдивани и баронесса фон Тиссен. Сестра Алексиса Русси умерла от тоски по брату четыре года спустя. Умолчу о том, как она была дорога мне, скажу лишь о поразительном сходстве: как сестры, как две *обреченные жемчужины,* походили друг на друга Русси и вермееровская девушка из гаагского музея.

Не глумитесь над той Европой. Она не захотела плыть по течению, и виною тому — безоглядный романтизм. Кто знает, может, когда-нибудь снова народятся такие люди, а пока они сгинули. Нет ни сюрреалистов, ни

---

[1] Мари Лорансен (1885—1959) — французская художница, живописец, график и декоратор; печатала свои стихи под псевдонимом Луиза Лаллан.

[2] Жан Вердье (1864—1940) — французский священнослужитель, сан кардинала получил в 1929 году.

[3] Франсуа де Ла Рокк (1886—1946) — французский политический деятель, идеолог сильной власти; возглавлял «Огненные кресты» — союз ветеранов войны 1914 года.

[4] Леонид Мясин (1895—1979) — танцовщик и балетмейстер в труппе «Русский балет» Сергея Павловича Дягилева (1872—1929), русского театрального и художественного деятеля, познакомившего Европу с искусством русских артистов и художников.

[5] Серж Лифарь (1905—1986) — ведущий танцовщик французского балета.

[6] Этого французского киноактера открыл Жан Ренуар [8]. Дали с полным на то основанием считает Фернанделя лучшим из актеров реалистической школы, и только война помешала художнику осуществить свой замысел написать портрет Фернанделя в костюме *менино,* как у Веласкеса.

[7] Жозеп Мариа Серт (1874—1945) — каталонский художник-монументалист; много работал в Париже и в США.

[8] Жан Ренуар (1894—1979) — французский режиссер и литератор, сын художника Огюста Ренуара.

дам — их погубили чувства. Ничего и ни для кого не сумели сделать политики. А от всей этой головокружительной роскоши, душевной неразберихи, идейной путаницы и нравственной растерянности, терзавших наши крепкие, породистые, добравшиеся-таки до элегантности тела, не осталось и следа. Почти никому не было суждено выжить. Та Европа, которую мы любили, погибла под колесами Истории. Остались жалкие, бессмысленные обломки, какая-то чужая рухлядь. Она ненавистна нам — тем, кто был и вовеки пребудет *антиподом и антагонистом* Истории!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Слава в зубах, дрожь в ногах... Гала — вдохновительница и первооткрывательница моего классицизма.

Я так и не понял, как меня угораздило вдруг, ни с того ни с сего сделаться знаменитым. Просят автографы, узнают на улицах, засыпают дурацкими письмами — откуда только не пишут! Ежедневно я получаю множество престранных деловых предложений.

Одно из них — оформить в сюрреалистическом духе витрину магазина «Бонуит-Теллер» — я принял. Мне захотелось поэкспериментировать. Я пустил в дело манекен с букетом алых роз вместо головы, а вместо шипов употребил когти горностаевых лапок. На столик водрузил телефон с трубкой-лангустой, а на стул повесил свой прославленный *возбудительный* пиджак, сиречь черный смокинг, сплошь усеянный рюмочками с мятным ликером — в каждой соломинка и дохлая муха.

Помянутый *пиджак-стимулятор* имел грандиозный успех на сюрреалистической выставке в Лондоне [1], где я прочел лекцию, облачившись в скафандр. Когда лорд Бернерс заказывал скафандр по телефону, его спросили, на какую глубину собирается погрузиться сеньор Дали. Лорд сказал:

— Сеньор Дали намерен погрузиться в глубины подсознания и немедля вынырнуть обратно!

В ответ невозмутимый голос произнес:

— В таком случае мы предоставим шлем особой конструкции!

Я облачился в скафандр; специально присланный механик тщательно завинтил шлем. С огромным трудом, еле-еле передвигая ноги в тяжеленных свинцовых башмаках, как паралитик, поддерживаемый друзьями, я добрался до зала, где публика ожидала выступления. На сворке я вел пару превосходных русских волкодавов. Помощники установили микрофон, и тут я понял, что все равно никто ничего не услышит. Мне было уже не до лекции — прошло всего десять минут, как я залез в скафандр, а уже совершенно изнемог: пот лил градом, голова шла кругом, я задыхался.

Знаком я попросил снять шлем. Гала и Эдвард Джеймс сразу поняли, что мне нехорошо, и кинулись отвинчивать шлем, но не тут-то было. Механик завернул его намертво, а сам как назло куда-то пропал. Эдвард схватил бильярдный кий и попытался просунуть его между скафандром и шлемом, чтобы образовалась щель для воздуха, но ничего не вышло. Тогда приволокли молот и стали сбивать винты. Каждый удар отдавался у меня в мозгу. Я почти потерял сознание. Зрители же ни на секунду не усомнились, что перед ними играют спектакль, и, отдавая должное мастерству актеров, бешено зааплодировали. Меня наконец вызволили — полуживого, бледного как смерть. Вот вам пример истинно далинианского драматизма, без которого не обходится ни одно из моих предприятий, даже пустячных.

Так вот, когда там, в Америке, все повернулось наилучшим образом, мной овладела тоска. Я понял, что надо вернуться в Испанию. Нестерпимая тоска сковывала мое воображение — мое крылатое воображение! Я был

[1] Выставка состоялась в июле 1936 г.

сыт по горло всем: растекшимися роялями, скафандрами, клешнями телефонов, архиепископами, горящими кипарисами, ломившимися в окно, коктейлями и славой. Мне нужно было вновь как можно скорее увидеть Порт-Льигат. Только там, в одиночестве, которое мы с Галой отвоевывали семь долгих лет, не торопясь и ни на секунду не оставляя усилий, не покидая своей кузни, я возьмусь *за главное* — как молот обрушится мой дар на наковальню эпохи!

В Порт-Льигат мы приехали декабрьским вечером. Смеркалось. Никогда еще красота этих мест не потрясала меня так сильно. Никогда прежде я так не жаждал счастья. Мне казалось, жизнь начинается сначала — с этого дня. Но вдруг я ощутил давящую тоску. Она навалилась и больше не отпускала. Я тосковал, вздыхал все горестнее, ночами не спал, а на рассвете шел к морю, понимая, что прошлая моя жизнь, парижские, нью-йоркские, лондонские вихри и водовороты,— это только сон, видение, призрак, который развеялся, едва неотступная, сверлящая, непостижимая тоска сжала сердце. Нет ни Парижа, ни Америки, ничего нет кроме нас двоих — тоски и меня.

Что с тобою стряслось? Ты же семь долгих лет мечтал о Порт-Льигате, ты же любишь его больше всего на свете. И вот ты здесь, с тобою Гала, ты ведь любишь ее. Ты можешь наконец не думать о деньгах. Можешь работать не торопясь, можешь взяться за главное дело своей жизни. Ты совершенно здоров. У тебя столько замыслов — и живописных, и театральных, и кинематографических,— работай, пиши! Но почему-то опускаются руки. И Галу все сильнее тревожит твой беспокойный, озирающийся, трусливый взгляд. Ты боишься? Боюсь. Боюсь... Но чего?

Я вздыхаю который уже день, вздыхаю и злюсь на себя и на тоску — одним махом она расправилась с моими надеждами и отравила свежий морской воздух. Мне даже мерещится в нем горьковатый привкус — примесь не то желчи, не то слез. Уже в который раз я говорю себе: «Что за чушь! Встряхнись наконец!» Но все отчетливее понимаю: я бессилен перед тоской, а она час от часу растет и крепнет. Меня захлестывает отчаянье. Я стою столбом, меня бьет дрожь, прошибает пот. Еще немного — и я зарыдаю, завою!.. Нет, так нельзя, надо переломить этот идиотизм. Гала прописала мне для успокоения морские купания. Я повинуюсь. На берегу ни души. Вода, по-зимнему сонная, обжигает, как лед.

В то утро я разделся и голый долго стоял на берегу. Солнце грело почти по-летнему, но я никак не мог заставить себя приблизиться к воде. Я чувствовал, как тоска карабкается по мне как по лесенке, и вспомнил сказку о мертвой Мариэте, которой так боялся в детстве,— сказку о том, как мертвая Мариэта вернулась с кладбища домой и напугала мужа.

«— Ай, ай! — жалобно вскрикивала она.— Вот только взберусь на ступеньку!

— Уходи, Мариэта, Христом Богом прошу, вернись в могилу!

— Не вернусь, не проси! Ай! Я уж и вторую ступенечку одолела!

— Уходи, Мариэта!

— Не уйду! Я уже на третью ступеньку взобралась!

— Мариэта!»

И когда мертвая Мариэта наконец добиралась до двери, Лусия, моя нянька-сказительница, замолкала, нагнетая ужас, чтобы после *вдруг* вцепиться мне в руку — да так яростно, так страшно! — и прошептать с присвистом в самое ухо: «А вот и я! Добралась...»

Издалека донесся голос Галы — она звала меня завтракать. А я задрожал всем телом, забился в истерике, ощутив слабый запах, исходящий от моего тела: оно пахло смертью! Я побрел домой и попытался объяснить Гале, что со мной происходит.

«Ничего страшного не случилось — ведь так? Я знаю: слава — вот она, зрелая мягкая смоква, вожделенный олимпийский плод! Руку протяни, сорви — и брызнет сладостный сок. Ведь ничего, ровным счетом ничего не случилось, нет никакой причины тосковать, а я тоскую. Я раб этой растущей тоски, взявшейся неизвестно откуда и бог весть куда ведущей. И так она

сильна, что мне страшно. В этом и суть: ничего не случилось, нет никакой причины тревожиться, но я *боюсь испугаться,* дрожу от страха перед страхом».

У дома нас ждала Лидия-Умница. Она сидела на пороге и плакала. Завидев нас, пошла навстречу. Жизнь ее из-за сыновей стала совершенно невыносимой. Помешавшись на своем радии, они забросили лов, в море не выходили вовсе и дни напролет валялись в саду, рассуждая о своих рудниках; по временам впадали в неистовство, закатывали истерики и даже избивали мать в припадках бешенства. Она показала нам, раздвинув седые космы, большой шрам на голове. Все ее тело было в синяках.

Не прошло и недели, как сыновей забрали в сумасшедший дом. Лидия, ежевечерне посещая нас, неизменно плакала. Порт-Льигат осиротел. Дул яростный ветер; никто не рыбачил — пережидали непогоду.

Нигде ни души, только голодные коты шныряют возле дома. Рамон де Эрмоса кашляет — занемог и до того завшивел, что пришлось запретить ему заходить в кухню. Лидия носит ему остатки ужина. Наша служанка, и прежде часами говорившая сама с собой, совсем свихнулась: полуголая взобралась с утра пораньше на крышу — «прогуляться». Придется искать другую.

Моя *боязнь страха* обострилась и прояснилась — я понял, что боюсь сойти с ума и умереть. Ведь один из сыновей Лидии перестал есть и умер с голоду. Однажды ночью я донельзя перепугался: мне показалось, что я не могу глотать и, значит, не сумею проглотить пищу! Меня измучила бессонница, а тоска по ночам становилась особенно нестерпимой. Ее когтистая лапа ни на секунду не ослабляла хватку. Днем я в изнеможении брел на берег — туда, где обычно собирались рыбаки. Садился в сторонке и сидел с отрешенным видом, грелся на солнышке. Скала защищала нас от ветра; трамонтана свирепствовала [1]. Неспешные обыденные беседы рыбаков о житейских неприятностях и превратностях судьбы немного отвлекали меня от мыслей о страхе. Я приставал к рыбакам с вопросами, надеясь, что их несчастья распугают мои страхи. Но нет. Тоска не терзала рыбаков. Они не боялись смерти. «Чего бояться? — объяснил мне один рыбак.— Мы и так полутрупы».

К полудню свинцовое солнце нагоняло волчий голод. Я посылал за шампанским — под него хорошо идут морские ежи. Господи, неужели еще три дня будет дуть как в трубу?

— Гала, послушай, принеси мне сюда подушку и сядь рядом. Я, кажется, хочу спать. Кажется, немного отпустило. Мне вроде получше.

Крохотная резвая ящерка, повертев треугольной головкой, дернулась и настигла муху, упоенно припавшую к тушке ежа. Беседа тихо смолкла — рыбаков сморил сон. За скалой бесновался ветер. До нас долетал лишь свист, и оттого в закутке было особенно покойно и уютно. И вся эта облаченная в лохмотья рыбацкая братия, этот сонм эпических древних душ слился с явью моего долгожданного, мучительно призываемого сна и одолел наконец мою тоску и неотвязные страхи.

Когда я проснулся, рыбаки уже разошлись. Ветер стих. Надо мною, еще сонным, клонилась Гала [2] — дивное воплощение тревоги и заботы о земной оболочке *спеленутого Лазаря.* Это меня, Лазаря, стискивал тусклый кокон, шелковый саван разыгравшегося воображения. Надо было разодрать, скинуть его, выпустить на волю живую летучую бабочку моей

---

[1] Случается, трамонтана дует здесь недели три не переставая. И хотя небо ясное, рыбачить нельзя — даже в море не выйдешь. *(Прим. автора.)*

[2] Однажды Гала уже излечила меня от безумия своей любовью. Я тогда занялся делом и вскоре завоевал *славу* первого сюрреалиста, чреватую новым безумием, ибо сюрреализм заключает в замкнутый мир уже найденных образов. Я должен был разорвать этот кокон. Мне надо было поверить не только в себя, но и в свое дело, понять, что сделанное самоценно вне всякой связи со мной. Гала научила меня ходить, но теперь пришел мой черед — я сам должен взять себя за руку и вести, как Градива. Я должен разодрать кокон: безумие или жизнь. И я выбрал. И по сей день отвечаю так, как ответил тогда: «Жизнь!» Я состарюсь. Я буду стариться медленно, потихоньку, со вкусом — до самой смерти, ибо разница между мной и сумасшедшим именно в том, что я не сумасшедший. *(Прим. автора.)*

паранойи! Тюрьма моя — тоска — чуть не стала моей гробницей, и снова Гала спасла меня: зубами вцепилась и вырвала из когтистых лап, сокрушила сети, раскинутые тоской. Они баюкали, губили, душили меня, но Гала сказала:

— Встань и иди!

И я повиновался — встал обеими ногами на землю и вдруг, впервые в жизни, ощутил силу Традиции. «Ты еще ничего не сделал! Рано умирать!»

Слава первого сюрреалиста ровным счетом ничего не стоит. Я привью сюрреализм к древу Традиции. Я поведу свое воображение дорогой классики. Я знаю, что должен делать. На это уйдет целая жизнь. Гала открыла мое предназначение. Нет, меня не затянет болото призрачного мимолетного успеха. Я отвоюю *самое главное*. Я отыщу синтез, найду для своего жизненного опыта форму — формулу, выверенную от века и на века.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Метаморфозы. Смерть. Воскрешение.

Динь-дон, динь-дон, динь-дон...

Что это?

Колокола истории.

По ком они звонят, Гала? О чем оповещают?

О том, что после кратких минут, отведенных «измам» [1], пробил час индивидуальности. Твой час, Сальвадор! Динь-дон, динь-дон! Динь-дон!

Истерзанная войной, Европа издыхала, корчась в судорогах «измов» и не имея уже никаких сил — ни политических, ни эстетических, ни нравственных, ни идейных. Европу доконали цинизм и произвол, безликость, безмыслие и серость. Европу доконало безверие. Отведав запретного плода с древа познания и утратив даже подобие веры, Европа суеверно и слепо вверилась кумирам — несть им числа! На что только не уповала Европа — на нравственный идеал, на эстетический и даже на убогий идеал коллективизма.

Впрочем, что съешь, то и выложишь. А Европа к тому времени так объелась революциями и «измами», что поноса — войны и смертей — нельзя было избежать. Страдания, причиненные всем и каждому войной 1914 года, породили наивную детскую мечту о всеобщем благоденствии, которое обязано наступить, когда революция истребит все притеснения. О том же, что первое условие благоденствия есть торжество индивидуальности, сберегающей себя под защитой закона и надличных установлений, забыли, а это одна из коренных истин. О послевоенная духовная нищета, о жалкая участь индивидуальности, поглощенной безликой массой! Нищета общества, которое, провозгласив крушение всех притеснений, неминуемо обращает в рабство, служа своей свободе, сведенной с редким цинизмом к самым низменным целям — промышленным, материальным. Нищета эпохи, которая подменила божественное откровение зодчества — высшего из искусств, одолевающих материал,— *строительством,* презренным порождением нужды. Нищета эпохи, навязавшей тиранию грошовой утопии взамен свободной веры... Та нищета, тот неутоленный духовный голод, что вынудил людей слепо пойти за обреченными краху демагогами материализма, были чреваты новой волной.

Ведь всякий материализм механистичен — в прямом, низменном смысле слова; и разве только Энгельсова диалектика хранит еще следы метафизики. Но ни величие духа, ни торжество разума немыслимы вне трагичес-

---

[1] И до войны и особенно после пышным цветом расцвели самые разные «измы» — кубизм, дадаизм, симультанеизм, пуризм, вибрационизм, орфизм, футуризм, сюрреализм, коммунизм, национал-социализм и множество других. У всех были свои вожди, свои приверженцы и герои. Каждый полагал, что именно его партия обладает конечной истиной. И что же? Оказалось, что все «измы» соединенными усилиями доказали только одно: жизнь «измов» коротка (короче некуда!), а если что и останется от них, так это творческая самобытность. Личность — и более ничего. *(Прим. автора.)*

кого ощущения жизни и вечности — вне веры. Карл Маркс сказал: «Религия — это опиум для народа». А история успела засвидетельствовать, что *яд сгущенной ненависти,* заключенный в Марксовом материализме, неминуемо погубит — если не погубил еще — народы, задыхающиеся в зловонных подвалах теперешних городов. Тогда как вера — тот самый опиум — одарила современников Леонардо, Рафаэля и Моцарта совершенством небесных гармоний, воплощенных в созвучиях и сводах!

Это Гала заронила в меня мысль о поездке в Италию. Все сильнее меня притягивало поразительное совершенство возрожденческой архитектуры, творений Палладио и Браманте [1]. И желание своими глазами увидеть великие памятники духовной культуры человечества крепло день ото дня. Я должен увидеть это своими глазами, я должен своими руками коснуться этих камней — ведь они настоящие, их можно потрогать, измерить, они существуют в действительности, хотя никакой хозяйственной надобности воздвигать их у человека не было. Кроме того, Гала решила пристроить к нашему дому в Порт-Льигате целый этаж. Она полагала, что множество мелких ежедневных забот помогут мне стряхнуть тоску.

Гала неустанно укрепляла во мне веру в свои силы. Не раз я говорил ей: «Пойми, невозможно, даже астрология свидетельствует, что это невозможно! Никто и никогда больше не овладеет тайнами старых мастеров, не воскресит их непревзойденную технику. Наконец, у меня нет времени учиться рисунку. Мне все равно не превзойти Беклина!» Но Гала страстно искала все новые аргументы и доказывала , что я могу стать и обязательно стану *не только знаменитым сюрреалистом* — это такая малость!

С нею вместе я восхищенно вглядывался в репродукции Рафаэля. Все, что придумали мы, сюрреалисты, уже есть у Рафаэля. Все наши открытия — крохотная, почти неприметная находка художника, сознательно уловленная частица его тайных и явных откровений. Но все в Рафаэле так цельно, так едино и целостно, что мы не видим эту частицу отдельно. Так и должно быть. Правда, нынешние послевоенные теоретики только и делают, что разлагают шедевры классического искусства на составные части, впиваются своим близоруким взглядом в какую-нибудь детальку и воздевают ее как знамя, полагая, что обнаружили — именно в ней! — цель художника. Взвивается знамя — и начинается канонада, провозглашается очередной «изм» [2], а приглядись, прислушайся — и обнаружишь, что это перепев, унылое копирование фрагмента, вырванного из цельной, классической картины.

Война обратила людей в дикарей, отбила все чувства. Люди потеряли способность ощущать гармонию, равновесие, подробности и воспринимают только надрыв, замечают только крупногабаритные предметы. После стольких лет динамита все, что тише взрыва, просто не доходит до слуха. И если бы не затягивающие, словно омут, чертежи Де Кирико [3], никто бы не ощутил метафизическую печаль, извечно таящуюся в перспективе, а ведь ею пропитаны и Перуджино [4], и Рафаэль, и Пьеро де ла Франческа [5], и не они одни. Все эти художники решали между делом задачи, над которыми после бился кубизм и еще целая куча «измов». А если говорить о чувстве,

---

[1] Донато Браманте (1444—1514) — итальянский зодчий, работал в Милане и Риме.

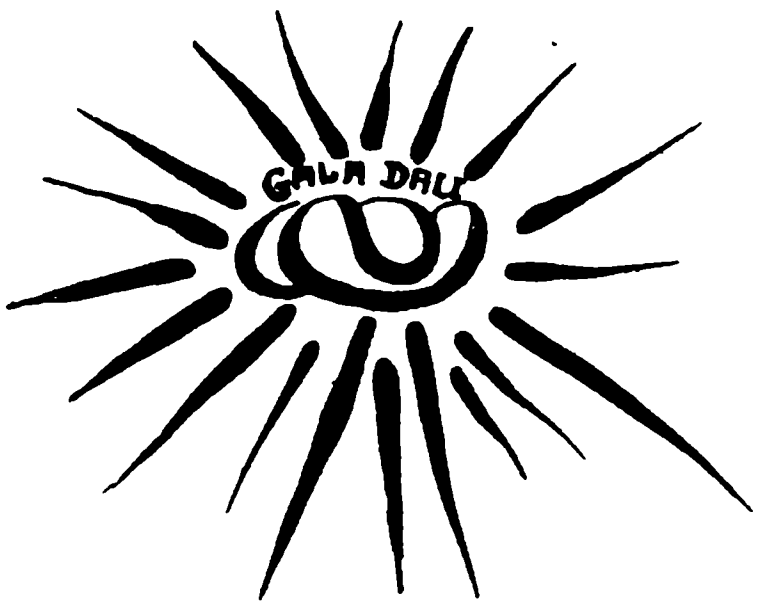
[2] Началось со структурной канонады — кубизма. Затем грянул залп автоматического письма — сюрреализм. И за ним все прочие...

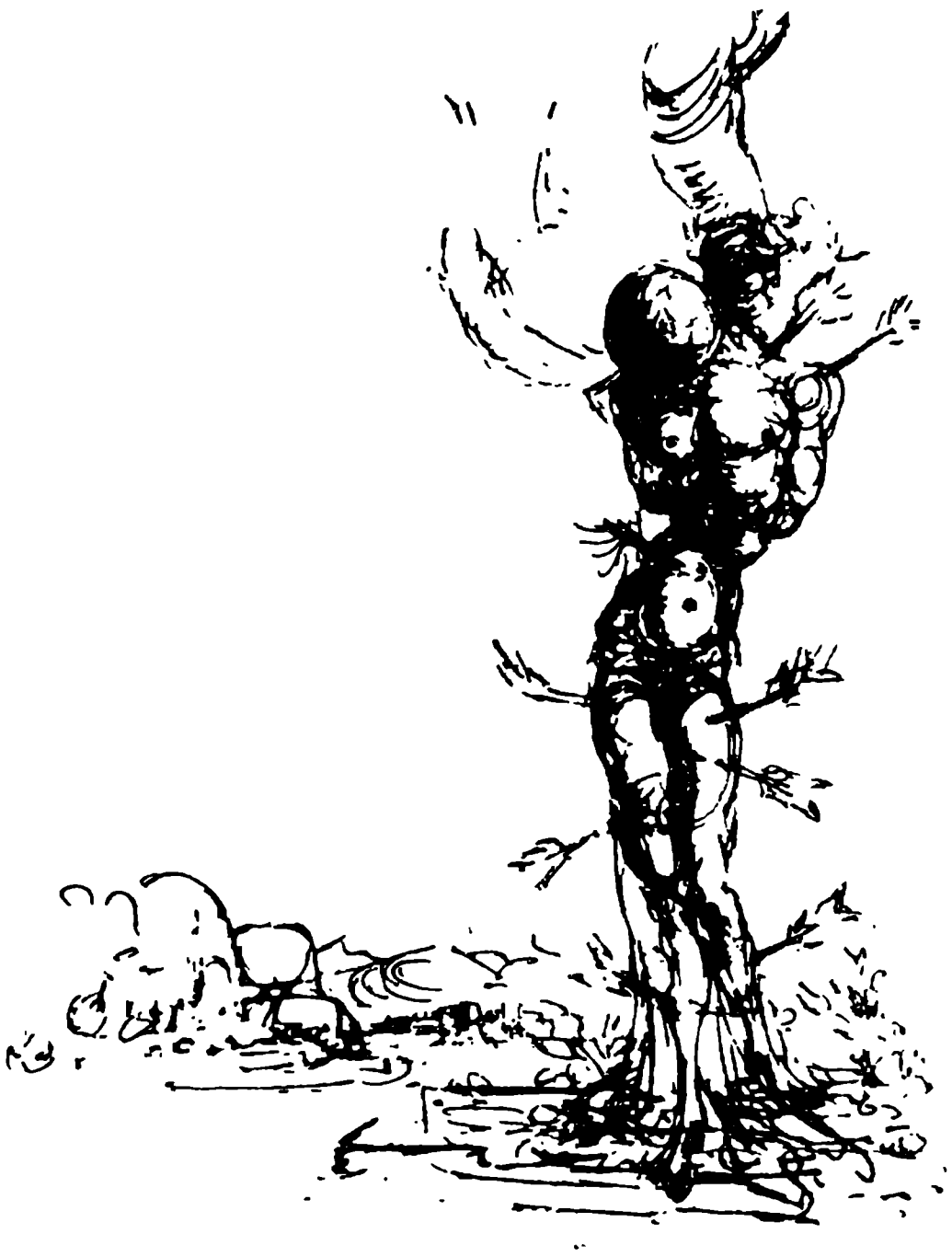
У всякого «изма» была своя излюбленная мишень, давно пораженная, кстати сказать, метким выстрелом какого-либо шедевра прошлых веков. После войны слуха достигала только канонада — она подготовила почву для новых шедевров... Не сомневайтесь: декоративные элементы, все эти излюбленные мотивы автоматического рисунка — орнаменты, архитектурные детали и реминисценции — еще дадут о себе знать. Но хотел бы предостеречь. По меньшей мере наивно выводить тот или иной стиль из какого-либо орнаментального мотива времен Людовика XIV. Картина — это сложнейшее живописное единство, а не вариация на тему листа аканта. *(Прим. автора.)*

[3] Джорджо Де Кирико (1888—1978) — итальянский живописец, предтеча сюрреализма.

[4] Перуджино (наст. фамилия Вануччи, ок. 1445—1523) — итальянский художник, учитель Рафаэля.

[5] Пьеро де ла Франческа (Пьеро ди Бенедетто да Борджо Сан Сеполькро, ок. 1420—1492) — итальянский художник.





и прежде всего о чувстве смерти, об эросе, растворенном в линиях и полутонах, о нравственном чувстве, естественном, обыкновенном и могучем, то разве может кто-нибудь из нас хоть малость добавить к тому, что сделал Вермеер, переплавив пережитое в неземной свет, строгую поэзию и тихую глубь своих полотен? *Классика* — это значит, что в произведении искусства уже есть *все* — то все, которое отовсюду,— но этому *всему* совершенно точно определено место в строжайшей иерархии, так организующей шедевр, что никакая деталька (а имя им легион) не лезет в глаза. Классика есть целостность, космос, вера, а не раздробленность, не хаос и не цинизм.

Все это с необходимыми экскурсами в историю я намеревался изложить в лекции, которую должен был прочитать в Барселоне. Мое возвращение к Традиции не имело ничего общего ни с неотомизмом, о котором в ту пору рассуждали на каждом углу, ни с неоклассицизмом, чьим знаменем стал бескрылый «возврат к истокам». Он появился на свет по простой причине — «измы» приелись, от них уже тошнило, и ремесленники взялись за имитацию. Мое же обращение к Традиции было естественным следствием одержанной мною *победы над иррациональным*.

Едва мы приехали в Барселону, канонада «измов» сменилась настоящими взрывами. Рвались бомбы, подложенные Федерацией иберийских анархистов. В день нашего приезда была объявлена всеобщая забастовка. В Барселоне зловеще повеяло тревогой. Далмау, владелец галереи, пропагандист современного искусства и организатор его первых выставок в Барселоне (именно он пригласил меня выступить), ворвался в пятом часу пополудни в отель на улице Кармен и с неистовой силой вонзил свой костлявый палец в кнопку звонка у двери наших апартаментов.

— Войдите! — крикнул я.

Дверь распахнулась. Далмау был великолепен. Это зрелище до сих пор свежо в моей памяти: всклокоченная седая борода, волосы дыбом. Он задыхался, не мог говорить — я понял, что он бежал со всех ног с каким-то срочным известием.

— Как можно скорее возвращайтесь в Париж! Здесь заваривается такая каша, что сам черт ее не расхлебает!

Город заполонили вооруженные патрули и эскадроны конной жандармерии. Прошел слух, что Компанис [1] вот-вот провозгласит Каталонскую

[1] Луис Компанис (1882—1910) — каталонский адвокат и политический деятель; расстрелян фашистами.

Республику. Далмау нашел где-то шофера-анархиста и уговорил его доставить нас за изрядную сумму к французской границе. Недолгая — двухчасовая — дорога заняла тогда целых двенадцать часов. Нас непрестанно останавливали, проверяли проездные документы, и только красноречие анархиста спасало нас всякий раз, когда очередному патрулю казалось, что пропуск у нас фальшивый.

На полпути в одном из приморских селений мы остановились, чтобы запастись бензином. На площадке под огромным парусиновым навесом под звуки «Голубого Дуная», как одержимая, кружилась молодежь. Поодаль рука об руку прогуливались парочки. На пыльной белой дороге, залитой ясным светом октябрьской луны, темнело винное пятно — должно быть, лопнула бочка. Двери таверны были распахнуты настежь, внутри играли в пинг-понг. Шофер, залив полный бак, сказал нам:

— Скоро поедем,— направился в таверну и скрылся за стойкой.

Вскоре он появился, утирая рукавом с подбородка капли анисовки, которую успел глотнуть, и, поравнявшись с игроками, перехватил на лету шарик, взял у одного из них ракетку и довольно ловко вступил в игру, но вскоре бросил ракетку на стол и побежал к машине.

— Надо поторапливаться! — крикнул он и дал газ.— Радио объявило, что Компанис провозгласил Республику. В Барселоне уличные бои!

Под навесом в третий раз грянули «Голубой Дунай». Все было до жути обыкновенно, даже то, что патруль, остановивший нас, принялся обсуждать вполголоса, однако так, чтобы мы слышали, «а не пристрелить ли всех троих на месте». Эту мысль в них возбудили многочисленные баулы моей жены — знаки бесстыдной роскоши. Но тут наш шофер вошел в раж и обложил их так вдохновенно и мощно, что всколыхнул в темных душах инстинктивное уважение. Нас отпустили.

На другой день утром, проснувшись в отеле пограничного городка Сербера, из газет мы узнали, что все кончено, а главари арестованы. Каталонская Республика просуществовала считанные часы. Навеки запечатлевшись в моем мозгу, историческая октябрьская ночь отошла в прошлое. С той самой минуты и навсегда эпитет «историческая» принадлежит той ночи, которая ровным счетом ничем особенно идиотским не выделялась среди прочих ночей — ничем, кроме оглушительного «Голубого Дуная», партии в пинг-понг и вполне реальной возможности встать к стенке. Потом из письма Далмау мы узнали, что шофер, довезший нас до границы, на обратном пути был убит пулеметной очередью в пригороде Барселоны. И залитые кровью белые пинг-понговые шарики застыли черными маслинами.

Должен решительно заявить: я не историческая личность. При всех обстоятельствах я неизменно чувствую себя личностью антиисторической и аполитичной. Я или опережаю эпоху, или безнадежно отстаю и попасть в унисон с современниками — игроками в пинг-понг — органически не способен. Всякий раз, когда мне на память приходят те два испанца, что тешились дурацкой игрой, меня окатывает волна стыда. То было тягостное предзнаменование: шарик показался мне крохотным черепом, пустым, легоньким и до жути развращенным. Эта черепушка была воплощением разнуздавшейся испанской политики, а сама игра — перекидывание черепа через сетку — была еще гаже, чем игра в теннис мертвой птицей. «Тук-тук, тук-тук» — колотился об стол шарик, а вокруг уже сгущалась грозная тишина, чреватая великим пиром каннибальства — гражданской войной. С тех пор от одного этого звука у меня начинают ныть зубы.

По возвращении в Париж я взялся за огромное полотно под названием «Предчувствие гражданской войны». Я изобразил громадное человеческое тело, покрытое уродливыми наростами рук и ног, которыми оно в припадке самоудушения терзало себя самое. Фоном для этой обезумевшей плоти, раздираемой исконно присущей ей нарциссистской, самоедской страстью, я выбрал застывший, вынесший все катаклизмы и оставшийся неизменным ископаемый пейзаж. Растекающуюся плоть этого пушечного мяса грядущей

войны я сдобрил вареной фасолью, ибо заглотать этот кус без гарнира, правда, унылого и не слишком аппетитного, охотников не нашлось.

Нам на долю выпало узнать, на что способна Испания, и поразиться ее вселенскому дару претерпевать муку и мучить, погребать и осквернять могилы, умирать и воскресать. Шакальи когти революции должны были разодрать в клочья покров Традиции, сорвать и затоптать его в грязь, обнажив неколебимую гранитную твердыню, неподвластную осквернению. И ее суровый свет вновь ослепил избранных, возвращая им потаенные сокровища, сокрытые в черных испанских недрах,— ее *пылающую смерть.* Могилу, где покоилось прошлое, осквернили — и прошлое восстало: живые мертвецы смешались с мертвыми. Когда осквернили гробницу теруэльских любовников [1], прошлое воскресло во плоти, и люди выучились, убивая, любить и, любя, убивать. Ведь любовное объятие неотличимо от смертельной схватки. Я видел в кафе анархиста под руку с мумией монашки, почившей восемь веков назад. Он выволок ее из гробницы и больше с ней не расставался. С нею он и отправился на арагонский фронт — умереть, если так суждено, вместе с мертвой подругой. Старинный приятель архитектора Гауди уверял меня, что своими глазами видел, как по барселонским улицам волокли тело гениального зодчего, словно удавленника, с накинутой на шею веревкой. Друга потрясло, что Гауди *казался живым,* только смертельно-бледным. Что, впрочем, неудивительно: двадцать лет, прошедших со дня смерти архитектора, для искусства бальзамировщика — не срок [2]. Рассказывали, что в Вике солдаты играли в футбол, гоняя по полю голову епископа...

Над истерзанной Испанией клубился дым пожарищ и ладан. Горели церкви, ризы и облачения вместе с епископами, монахами, ризничими; плавясь, капал и вспыхивал жир, тлели священнические кости; толпа упивалась блудодейством, растлевая себя и смерть. Революция билась в оргазме. И весь этот смрад клубами поднимался к небу.

Гражданская война не переменила моих убеждений, разве что сделала их определеннее. Я всегда питал ужас и отвращение к революции, какой бы она ни была, но тогда это чувство достигло патологических степеней. Однако не сочтите меня реакционером. Реагировать (вспомните этимологию) — занятие для амебы, а я человек думающий и никаких других определений, кроме ДАЛИ, не приемлю. Тем не менее гиена общественного мнения разинула свою зловонную пасть и, пуская слюни, потребовала меня к ответу — за Сталина я или за Гитлера. Чума на оба ваши дома! Я за Дали — ныне, присно и во веки веков. Я — далинист. Я не верю ни в коммунизм, ни в национал-социализм и вообще не верю ни в какие революции. Высокая Традиция — вот единственная реальность, вот моя вера.

Но, кроме того, революция меня вообще не интересует, потому что обычно завершается ничем, если не оборачивается полной противоположностью тому, что провозглашает. Если революция чем и интересна, то лишь тем, что выволакивает из могил разрозненные элементы погребенной Традиции. Только затем и нужна революция, чтобы ее конвульсии дали новую жизнь Традиции.

В гражданскую войну испанский народ, благороднейший из народов, сам того не осознавая, сражался за самую суть Испании, за соль ее земли — за *пылающую Традицию.* Все до единого бились за нее, истребляя друг друга, все — атеисты и католики, палачи и жертвы. Все двинулись в крестовый поход, ибо все они — испанцы. А кощунственное попрание святынь и богохульные речи свидетельствуют не в пользу атеизма — это лишь всполохи религиозного безумия на вечном небе веры.

Мне запомнилась одна история. Гражданская война, разграбленная, полуразрушенная церковь. Андалусский анархист с изяществом тореро

---

[1] Теруэльские любовники — Исабель де Сегура и Хуан Диего Мартинес де Марсилья, герои легенды середины XVI в., испанского варианта «Тристана и Изольды».

[2] Дали ошибается. Гауди умер в 1926 г., следовательно, прошло десять, а не двадцать лет.

вскакивает на алтарь, в упор разглядывает распятого Христа, затем, разразившись чудовищным богохульством, плюет в лицо статуи и хватает ее за волосы. А надо сказать, что гордостью храма были длинные натуральные (а не из пакли) волосы Сына Божьего. Рука Христова отрывается от креста — сработал шарнир — и опускается на плечо анархиста. В тот же миг он падает мертвым — такова сила веры!..

Когда началась война, мой большой друг — поэт горькой судьбы Федерико Гарсиа Лорка был казнен в Гранаде, занятой фашистами. Его смерть превратили в пропагандистское знамя. Это подлость, потому что всякий и каждый знал не хуже меня, что на всей планете нет человека аполитичнее Лорки. Он умер не за политическую идею, ту или иную. Он пал жертвой всеобщей судорожной сумятицы — испанской гражданской войны. И на этой войне люди убивали друг друга не только за идею. Случалось, сводили счеты, *личные* счеты. Лорка же, как и ваш покорный слуга, был не просто личностью — самобытность его натуры хлестала через край, ежесекундно давая тысячу поводов для возникновения личных счетов. Следовательно, у Лорки было куда больше шансов встать к стенке, чем у прочих испанцев. Он ощущал жизнь как трагедию, и росло это ощущение из того же корня, что и знание своей трагической судьбы у испанского народа.

Смерть Лорки, война и обоюдный террор эхом отозвались в Париже. И здесь друзья расходились из-за политических разногласий, и мы решили уехать, чтобы я мог погрузиться в свою космогонию. Мы уехали в Италию.

Война и революция терзали мою родину, и это горе сильнее разжигало мою художническую страсть. И пока родина билась над загадкой, которую задал ей сфинкс краха и смерти, я отгадывал загадку сфинкса по имени Возрождение — ведь это он хранит ключ к будущему европейскому искусству. Я уже тогда знал, что после Испании война накинется на другие страны Европы. Две революции — коммунистическая и национал-социалистическая — неминуемо вели к войне. Я знал, что вслед за всеобщей нищетой и крахом коллективистских доктрин наступит средневековье и когда-нибудь вновь пробудятся к жизни духовные и религиозные ценности. Средневековья не миновать. Но я, постигая жизнь, смерть и искусство, жаждал обрести право первым произнести это слово — Возрождение.

Мое бегство в Италию сочли легкомысленной и неуместной выходкой *в духе Дали*. Только самые близкие из друзей знают, что именно в тот год в Италии я выиграл решающую битву.

Поэт Эдвард Джеймс пригласил нас на виллу «Чимброне» близ Амальфи. Говорят, тот сад вдохновил Вагнера, и он взялся за «Парцифаля». Я же задумал там свой вагнерианский спектакль «Тристан безумный». Потом мы переехали во владения лорда Бернерса, и там, на маяке, воздвигнутом еще римлянами, а мною превращенном в мастерскую, два месяца я писал «Образ Африки», навеянный короткой поездкой на Сицилию. Сицилия поразила меня — в ней ровно столько же от Каталонии, сколько от Африки. В Италии мы с Галой жили в полном одиночестве и разве что изредка встречались с немногочисленными друзьями-англичанами.

Я чувствовал себя подавленным, и Гала решила, что нам лучше перебраться в горы. Мы переехали в Тре-Крочи в окрестностях Кортины и поселились подальше от людей в небольшой гостинице. Вскоре Гале понадобилось съездить в Париж дней на десять, и я остался один.

Там меня и настигли трагические вести из Кадакеса. Анархисты расстреляли тридцать моих земляков. Всех их я знал, а трое рыбаков из Порт-Льигата были моими близкими друзьями. Значит, мне надо вернуться и разделить судьбу тех, кто мне дорог?

Я заперся у себя в комнате, чтобы не простудиться и не заболеть, пока я один, без Галы. Раздражение, которое мне причиняли альпийские пейзажи, росло не по дням, а по часам. Я вообще терпеть не могу горы, а Альпы в особенности — слишком уж много вершин вблизи меня! Наверное, придется вернуться в Испанию. А значит, надо поберечь здоровье. Если уж жертвовать собой, то здоровым и полным сил. И я с маниакальной страстью принялся блюсти себя. Чуть заложит нос, капаю капли. После еды

всякий раз тщательно прополаскиваю горло. Смазываю целебным бальзамом всякую ссадину и царапину, дабы не воспалилась.

А ночами в тревоге прислушиваюсь: не болит ли где-нибудь, нет ли угрожающих признаков грядущего недуга? Щупаю живот — там, где аппендицит. Не воспален ли? Осматриваю выделения, и всякий раз сердце замирает в испуге — все ли в порядке? Да, кажется, все, придраться не к чему.

Тогда-то я и вогнал себе эту занозу. Меня давно изводила эта сопля, присохшая к белой кафельной стенке в ванной. Я долго терпел, отводил глаза, но в конце концов не выдержал и решил избавиться от ее мерзкого присутствия. Тщательно обернув указательный палец правой руки туалетной бумагой, морщясь от омерзения, я закусил губу, закрыл глаза и хотел одним яростным махом отодрать соплю от стены, но...

Она не отцепилась! Острая, как игла, она впилась мне в палец, под самый ноготь, чуть ли не до кости. Потекла кровь. От сильной внезапной боли выступили слезы. Я кинулся в комнату, отыскал перекись водорода и продезинфицировал рану, но извлечь кончик проклятой сопли не сумел. Резкая боль стихла, но сменилась грозным признаком распространяющейся инфекции: палец распух, а рана внутри пульсировала «тук-тук-тук». Как страшна эта мерная, подлая поступь заражения!

Когда кровь унялась, я, бледный как смерть, спустился вниз, в ресторан, и рассказал о случившемся официанту, который прежде не раз пытался заговорить со мной, но безуспешно — я отвечал сухо, односложно и высокомерно. Теперь же я сам заговорил с ним, да с какой готовностью, как приветливо (стоит перетрусить — и делаешься человеком). Наконец-то официанту предоставилась возможность выказать сердечность. Он внимательно осмотрел палец.

— Только не трогайте! — возопил я.— Ни в коем случае не трогайте! Как вы думаете, это опасно?

— Заноза, конечно, глубоко вошла, но все зависит от того, чем вы занозили палец. Это иголка? Щепка?

Я не ответил. Не мог же я открыть ему мерзостную правду! Не мог же я сказать, что занозил палец чьей-то засохшей соплей!

Нет! Да ведь никто и не поверит. Ни с кем это не могло случиться. Ни с кем, кроме Дали. И я еще спрашиваю! Спрашиваю, когда и так все ясно: рука распухла и покраснела! Ее ампутируют — мою руку, руку художника, руку Сальвадора Дали! А может, не успеют, и я умру в страшных муках, корчась в столбнячных судорогах.

Я вернулся в комнату, лег и приготовился к мукам. Страшнее тех двух часов ничего не было в моей жизни. Два черных, два беспросветных часа — могут ли все бедствия гражданской войны сравниться с той мукой, что причинило мне тем вечером мое воображение? Я чувствовал, как палец мой наливается смертной гангренозной тяжестью, как он распухает, вот-вот лопнет — кажется, черви уже копошатся внутри! Мне мерещилась моя отрезанная рука с явственными лиловато-желтыми трупными пятнами. Что с нею сделают, когда отрежут? Похоронят? Руки тоже хоронят? Ну, конечно же, ее надо похоронить, да поскорее — вид ее так ужасен, так гадок! Она мерзка как труп, выставленный на последнее обозрение, вонючий труп, к которому не в силах приблизиться даже любящие — ведь перед ними уже *не тот,* кого они любили! Перед ними *падаль* — того и гляди зашевелится, расползется червями! На это нельзя смотреть — никаких сил недостанет. А если эта *падаль непогребенная* уже гнездится в тебе, если она, торжествуя, возвестила о себе — как это вынести?

Нет! Пускай я сгнию заживо, но с рукой не расстанусь. Это выше сил. Еженощно будет терзать меня это зрелище: моя рука, разлученная с телом, где-то гниет, пухнет, синеет... Я припал губами к своей раненой руке — и это было хуже, чем если бы я раздавил — губами! — обезглавленное тельце кузнечика.

Истерзанный, я встал и, обливаясь смертным потом, шатаясь, побрел в ванную. Ползая на коленях, долго искал на стене остатки проклятой сопли. Отыскал. Но то была не сопля, нет — клей! Конечно же клей,

и попал он сюда, когда красили потолок. Как только я понял, что это клей, страх оставил меня. Я вытащил занозу, впившуюся в палец, с тем яростным, щемящим сладострастием, что запечатлено на века в знаменитой скульптуре «Мальчик, вынимающий занозу». Я выволок из-под ногтя этот острый сгусток и в тот же миг заснул блаженным, спокойным сном.

А проснувшись, понял, что не вернусь в Испанию.

Я и так туда возвратился. Подобно герою романа Гюисманса [1] «Наоборот», который, *не двинувшись с места,* испытал все превратности путешествия и тяготы лондонского бытия, так что ехать в Лондон было уже незачем, а оставалось лишь вернуться из бистро домой, я пережил гражданскую войну и едва уцелел. Это она — Война — терзала мое тело и чуть было не лишила меня, художника, правой руки.

Люди без воображения обожают кругосветные путешествия. Должна разыграться по крайней мере мировая война, чтобы они составили себе хотя бы приблизительное представление о преисподней. Мне же для сошествия во ад довольно сушеной сопли, да что там сопли — капли клея, которой вздумалось прикинуться соплей. И совершенно не важно, как и отчего я умру — хоть бы и от этой дряни! Я умру за Испанию и во славу ее. Никто в этом не усомнится.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

**Флоренция. «Бонуит-Теллер». Новая война.
Возвращение в Испанию.
Фотоаппарат, запечатлевающий мысль.
Космогония. Торжество листа аканта.
Возрождение.**

Я верю в магию и убежден, что всякая метафизика, всякая космогония обязательно опирается на магию, раз требует особого состояния духа, знакомого и Парацельсу, и Раймунду Луллию [2]. Параноидальный анализ, которому я подвергаю образы, рождающиеся в моем мозгу, и буквально все, что происходит со мной, равно как и все явления, называемые *объективной случайностью,* высвечивает таинственную суть того, что кажется ерундой, выявляет неприметную связь самых разных вещей и событий. У меня есть свои собственные магические орудия: предчувствия, знаки, предсказания, приметы — словом, богатейший магический арсенал.

Обычно мне удается, хоть и не всегда, уловить истинный смысл происходящего, а вот Гала вообще никогда не ошибается. Она медиум в точном, научном смысле слова. Как она гадает на картах! Отцу моему она предсказала всю его дальнейшую жизнь — и все в точности сбылось. Гала предсказала также болезнь и смерть Рене Кревеля и назвала точную дату объявления войны Германии.

Она верит в мой талисман — деревяшку, найденную нами при необычайных обстоятельствах у скал мыса Креус в самом начале нашей любви. С тех пор мы ее храним как зеницу ока, хотя несколько раз этот *далиниански фетиш* все же терялся. В первый раз это случилось в Лондоне в «Ковент-Гардене». Мы отыскали его только на следующий день. Второй раз его унесли вместе с простынями в стирку — пришлось перерыть все белье отеля Сен-Морис, но и на этот раз фетиш был найден. Я не могу без него обходиться, это настоящая мания. Если мне взбредет в голову, что я должен к нему прикоснуться, я ни о чем больше не могу думать и ничто не остановит меня, пока я не схвачу спасительную деревяшку.

Вот и сейчас она у меня в руках — и беспокойство потихоньку стихает. А не отыщи я ее, так бы и не находил себе места. У меня и прежде, до фетиша-деревяшки, бывали подобные мании, причем,

---

[1] Жорис-Карл Гюисманс (1848—1907) — французский писатель, автор библии декаданса — романа «Наоборот» (1884).

[2] Раймунд Луллий (1235—1315) — испанский теолог, мистик и алхимик.

довольно обременительные. К примеру, ритуал, предваряющий сон, один из самых длинных и тщательно разработанных ритуалов. Все в спальне должно занять свои, строго определенные места. Дверь должна оставаться приоткрытой — чуть-чуть. Носки должны лежать на кресле, в углу — именно в этом и только в этом. А если что-нибудь окажется не так, придется встать и поправить. И если я, улегшись, снова обнаружу непорядок, придется встать снова. Случалось мне вставать и по пять раз. Только в 1931 году, обретя фетиш-деревяшку, я распростился со всеми прочими маниями и позабыл о ритуалах. Да ну их! Главное, моя деревяшечка при мне. При мне, голубушка!

Осеннее равноденствие ознаменовалось мюнхенским кризисом. И хотя карты, раскинутые Галой, *пока* не предвещали войны, мы благоразумно решили покинуть Италию и перебраться в Монте-Карло. Там на вилле мадемуазель Шанель, приникнув к радиоприемнику, мы пережили *осеннее противостояние*. Гостя у Коко Шанель, мы провели четыре месяца бок о бок с великим французским поэтом Пьером Реверди [1], чья католическая вера — врожденная, первобытная — произвела на меня сильное впечатление. Реверди — истинный, цельный поэт эпохи кубизма. Какая могучая и прекрасная хватка — в жизни не видывал зубов крепче! Какая глыба! И сколько чистейшей духовной ярости! Он, человек отчетливо антирационального, был мне полной противоположностью. И мы — два католических петуха — не упускали случая сойтись в поединке, *докопаться до сути,* как мы тогда говорили.

Я готовил свою новую выставку в Нью-Йорке, уже набросал план «Тайной жизни» и начал писать «Загадку Гитлера». Объяснить эту картину трудно, я сам не уразумел в полной мере ее смысл. Есть в этом сонном видении, навеянном мюнхенскими событиями, что-то от газетного репортажа. И в то же время это пророчество о грядущем средневековье — тень его уже покрывала Европу. И когда я писал траурный чемберленов зонт, похожий на нетопыря, у меня мучительно ныло сердце...

По приезде в Нью-Йорк я с изумлением обнаружил, что все без исключения витрины Пятой авеню перепевают на разные лады Дали. И в тот же день получил предложение оформить две витрины «Бонуит-Теллер». Я принял это предложение с условием полной свободы замысла и наиточнейшего исполнения, ибо полагал, что пришла пора показать публике разницу между настоящим Дали и фальшивкой. Условия были приняты.

Я не выношу теперешних манекенов — они напоминают мне черствые, неаппетитные корки. (О дурацких вздернутых носах я и не говорю.) Мне для витрины требовалась плоть, наистариннейшая имитация плоти. И я нашел ее на чердаке — раскопал могильник допотопной лавки и выволок на свет божий жуткие восковые фигуры конца века в париках из настоящих — покойницких — волос. Их окутывала пелена паутины, кое-где провисшей под толстым слоем восхитительной пыли, густо припорошившей и сами фигуры. Я велел сохранить в неприкосновенности и паутину и пыль: «В этом вся прелесть! Я подам эту рухлядь так, как подают замшелую бутыль арманьяка — гордость погреба, извлеченную со всеми предосторожностями из его темных глубин!» Нелегко было препроводить эти манекены в витрину вместе с паутиной и пылью, но ради изумительного контраста с сияющими зеркалами и рамой, обтянутой узорным шелком, стоило постараться.

Тема композиции была донельзя банальной. Одна витрина — Ночь, другая — День. В *дневной* витрине я поместил восковую фигуру в *мохнатую ванну,* которую велел обить каракулем. Ванну наполнили водой — до краев, а чудные восковые руки держали над водной гладью зеркало, воскрешая миф о Нарциссе. Настоящие нарциссы — живые цветы — росли прямо из пола спальни и даже из мебели. В *ночной* витрине стояла кровать, увенчанная черной буйволиной головой с окровавленной голубкой в разинутой

---

[1] Пьер Реверди (1889—1960) — французский поэт.

пасти. Ножки кровати кончались настоящими буйволиными копытами. На постели — простыня черного шелка, прожженная там и сям, причем в прорехах светятся бутафорские огоньки. Этими же самыми угольками, как бисером, сплошь расшита подушка, на которой покоится голова восковой фигуры, объятой сном. Рядом восседает призрак из сновиденья a la Де Кирико, увешанный мерцающими драгоценностями страсти (он является во снах каждой женщине). Я нимало не сомневался, что завтра, когда уберут занавес и глазам праздношатающихся предстанет это воплощение наипростейшей сюрреалистической поэзии, перенесенной прямо на улицу, в витрину, сердца прохожих дрогнут и повергнутся в транс и тоску.

Однако назавтра я освободился лишь к пяти часам, и мы с Галой отправились смотреть витрины. Каково же было мое бешенство, когда я увидел, что все, понимаете, все, задуманное и сделанное мною, испорчено! Переделали абсолютно все, не только не спросив позволения, но даже и не уведомив автора о переделках! Восковые фигуры исчезли — вместо них появились самые обыкновенные манекены; кровать со спящей фигурой вообще убрали. От моего замысла не осталось ничего, кроме ерунды — узорного шелка на стене, а ведь он просто подвернулся мне под руку! Я не просто побледнел — позеленел, но ни словом, ни жестом не выказал своей ярости. И Гала поняла, чем чревато мое спокойствие.

— Конечно, ты с ними поговоришь, но, очень тебя прошу, будь благоразумен! Пусть уберут, и на этом всё — забудь! Как не было!

Я направился к директору. Минут пятнадцать ждал, пока он освободится, и наконец вошел в кабинет. Директор осклабился и выразил полнейшее свое удовольствие по случаю знакомства со столь замечательным художником. Я через переводчика весьма учтиво уведомил его, что, проходя мимо, обнаружил в своей работе изменения, внесенные без моего ведома, и поэтому требую убрать жалкие остатки моей композиции, ибо не позволю профанировать искусство и подвергать свое имя поношению. Директор ответил, что они сочли себя вправе взять из моей композиции *то, что пришлось им по вкусу*, а закрыть витрину «сию же минуту» никак невозможно. Я заметил, что переоборудование займет каких-нибудь десять минут, и выказал готовность немедленно взяться за дело. Директор был непреклонен. Столь хамское отношение к моим вполне обоснованным и законным требованиям вынудило меня предъявить ультиматум: если через десять минут табличка с моим именем и останки композиции не будут убраны, я приму свои — весьма решительные! — меры.

Какие же? А вот какие. Войду в витрину, переверну ванну, наполненную до краев, и они будут вынуждены закрыть витрину, ликвидируя последствия наводнения. Никакого другого выхода у меня нет — не тяжбу же затевать с ними!

Директор, пока я обдумывал вышеописанный замысел, сообщил мне, что они позволили себе внести изменения в мою композицию по той-де причине, что витрина оказалась слишком хороша: народ, видите ли, скапливался и мешал уличному движению. О переделках же и речи идти не может — и без того витрина обошлась им недешево.

Я откланялся со всею возможной учтивостью, спустился вниз и преспокойно направился к витрине. Вошел внутрь, чуть помедлил, предвкушая миг торжества, и обозрел толпу, собравшуюся на Пятой авеню. При моем появлении толпа всколыхнулась.

Ощущая себя ветхозаветным Самсоном, сокрушающим столпы храма Дагонова [1], я схватил ванну обеими руками, поднял ее, но ванна оказалась много тяжелее, чем я думал, руки мои дрогнули, и я выронил ее, но не на пол, а прямо в витринное стекло — оно разлетелось вдребезги. Толпа инстинктивно отпрянула в ужасе, спасаясь от потопа и осколков. Перед витриной образовался пустой, засыпанный осколками полукруг. Я хладнокровно оценил обстановку и решил выйти через пробитую дыру с острыми

[1] Самсон, двенадцатый из судей израилевых, плененный филистимлянами, на празднике в храме Дагона, куда был приведен ради унижения, сдвинул с места два средних столба храма и обрушил здание, убив, погибая, множество врагов.

звездчатыми краями — не возвращаться же назад! Так я и сделал, и в ту же секунду прямо за моей спиной рухнул огромный кусок стекла — вся верхняя часть витрины, державшаяся на волоске. Чудом я спасся от гильотины: стеклянный резак наверняка отсек бы мне голову.

На тротуаре я отряхнулся и, чтобы не простудиться на ветру, надел пальто, перекинутое через руку. Не спеша направился в отель, но не успел пройти и десяти шагов, как некто в штатском аккуратненько взял меня за локоть, извинился и предложил проследовать в участок.

Там немедленно появилась Гала в сопровождении друзей и адвоката, который поставил меня перед выбором: я буду отпущен под залог, и суд отодвигается на неопределенное время — или я остаюсь в тюрьме, и тогда разбирательство состоится очень и очень скоро. Мне не терпелось покончить с этим делом, и я остался в тюрьме.

Судью, с виду довольно сурового, изрядно позабавило мое дело — улыбка то и дело скользила по его лицу и пряталась в уголках губ. Мои деяния он квалифицировал как «недопустимые», ибо я разбил витрину и причинил ущерб, который должен возместить, однако судья особо отметил, что защита своих произведений — неотъемлемое право художника.

Наутро все газеты встали на мою сторону. Я получил великое множество писем и телеграмм со всех концов Америки от художников и простых смертных. Все единодушно утверждали, что я защитил не только свою работу — «речь идет о независимости искусства вообще и посягательствах на нее в США, в том числе о коммерческом диктате». Оказывается, я, нимало того не предполагая, вложил персты в язву, разъедающую страну.

Возвращаясь в Европу на борту «Шамплена», я думал о первобытной, дикой мощи американской демократии. Она и прежде, до встречи лицом к лицу, восхищала меня, но не разочаровала и вблизи, несмотря на превратности путешествия. Здесь ты хочешь добыть — и добываешь, идешь напрямик и режешь по-живому. А Европа, измученная своей утонченностью, день ото дня чахнет. Европа не в силах преодолеть идеологическую рознь и потому обречена стать полем битвы, обречена войне и краху.

Возвратившись в Париж, я, к прискорбию своему, убедился, что сюрреалисты действительно застряли на автоматическом письме и более того — выставили это свое завоевание против моего принципа эстетической иерархии, согласно которому работает иррациональное воображение. И это еще не все. В пику моей иерархизации они расположили работы на своей выставке согласно алфавитному списку участников — вот он, апофеоз равенства и коллективизма! Стоило ради этого революцию городить. Что до меня, то, будучи органически не способен выучить алфавит и не зная его по сию пору, я, если нужно найти что-нибудь в словаре, беру его, открываю наугад и, естественно, утыкаюсь в нужное слово. Алфавитным порядком я никогда не интересовался, хотя бы по той причине, что всегда обретался вне его. И пускай сюрреалисты строятся по алфавиту друг дружке в затылок, все равно СЮРРЕАЛИЗМ — ЭТО Я!

Близилась война. Путешествие в Америку истощило мои силы, и мы с Галой решили отдохнуть в Пиренеях, вблизи испанской границы. «Отдыхать» в моем понимании означает писать в свое удовольствие по двенадцать часов в день. Затем мы перебрались в Аркашон, где через три дня узнали об объявлении войны. Мы сняли просторную виллу в колониальном стиле, и я оборудовал себе мастерскую. Немецкие войска наступали, а у нас гостила мадемуазель Шанель.

Коко (так ее называют близкие) с истинно французским изяществом, как белый лебедь — чуть склонив голову — скользила по водам истории — водам потопа. Все лучшее, что есть во французской породе, воплотилось в Коко. Никто не умеет так говорить о Франции, как она, любящая родину самозабвенно, всей душой. Она знала, что не покинет Францию — ни при каких обстоятельствах, никогда. Шанель, как и я, была живым воплощением той, предвоенной Европы, и многое нас роднило. За те две недели, что Коко гостила у нас в Аркашоне, мы с нею обсудили множество наиважнейших вопросов — и вечных, и злободневных. И не раз приходили к порази-

тельным, резким выводам — в суровом свете войны многое виделось уже совершенно иначе.

И все же Шанель — полная мне противоположность, если говорить о творческой индивидуальности. Я *выставляю напоказ* или, как утонченный иезуит, *притворно утаиваю,* а Коко — нет. Коко не выставляет и не прячет — она одевает, *облекает*. Это инстинктивный порыв и дар, это рок. Какие костюмы сделала она для Людовика II Баварского! В какие одежды облекла жгучую горечь его неутоленных страстей! К моде, к одежде можно относиться скептически, даже цинично, но для Шанель каждое платье — драма. Но кроме всего прочего, у Коко есть *душа и тело* — а это, как ни говори, все-таки лучшее из одеяний.

Коко уехала, но вскоре появился Марсель Дюшан [1]. Мысль о том, что Париж будут бомбить, наполняла его ужасом, и он покинул столицу. Дюшан — существо куда более антиисторическое, чем даже я: что бы ни вытворялось, он живет, как жил, в своем чудном замкнутом мире. Общение с ним всякий раз действует на меня как сильный стимулятор. Там, в Аркашоне, в первые дни войны, я работал крайне напряженно, с таким осознанием духовного долга, какого не знал прежде. Все силы и душу я отдал живописи — и она стала алхимией. Я искал недосягаемое, искал свои способы, соотношения, наиточнейшие пропорции: сколько масла — и какого, сколько клея — и какого, сколько краски. Чтобы ощутимо и зримо воплотить чувство, мысль и дух, мне требовались совершенные орудия. Сколько раз я ночь не спал из-за неверного мазка! Только Гала знает. Гала — свидетельница моих отчаяний и неистовств, восторгов и приступов самой черной меланхолии. И если я говорю, что живопись стала для меня сутью жизни и двигателем ее, одной Гале ведомо, какая это правда. Я был всецело захвачен работой, но и это заставляло меня все сильнее любить Галу и все неутоленней.

Я писал ее портрет — портрет Галарины (так я ее называл). И изнемогал от усталости, как тот сдыхающий, терзаемый мушиным роем воистину католический осел, что волочет на своей изъеденной медно-желтыми язвами спине всю тягостную ущербность нашего века, все его революции и всю галиматью нашей изверившейся, безликой и безродной эпохи.

Войне никогда не встать в один ряд с живописью и космогонией, и потому она показалась мне уличной потасовкой. Однако настал день, когда шум этой драки достиг и моих ушей, и я своими глазами увидал драчунов — крепко сбитых невозмутимых немецких солдат. Уже громыхали по Франции их боевые машины, утыканные ветками для маскировки,— такие бутафорские с виду, в болотных разводах и пятнах. И я сказал себе: все это слишком уж походит на *исторические события* и, следовательно, не для тебя. Я зверски разозлился, в один вечер собрал холсты и краски, и мы уехали.

В Бордо мы появились не в добрый час — город впервые бомбили. Испанскую же границу мы пересекли через два дня после оккупации Эндайи. Гала отправилась прямо в Лиссабон, а я еще должен был получить документы для отъезда в Америку, что оказалось немыслимо трудно.

Я проехал всю Испанию от Ируна до Фигераса. Моя родина лежала в руинах. Она обнищала, но стала еще благородней. Алмазная игла траура пронзила испанское сердце, но душа потихоньку оживала.

— Хлеба, дайте мне хлеба!

— Кто там?

— Это я!

— Кто ты?

— Ваш сын, Сальвадор Дали.

Эти слова я произнес у двери своего родного дома в Кадакесе во втором часу ночи. И я обнял их — отца, тетушку, сестру. Меня накормили — на столе были анчоусы, колбаса, помидоры с оливковым маслом. Я ел, не скрывая потрясения: как же так, неужели революция не оставила и следа?

---

[1] Марсель Дюшан (1887—1968) — французский художник, кубист, дадаист и сюрреалист.

Здесь все, как прежде! Как одиннадцать лет назад. И это после трех лет гражданской войны, после революции! Как же несокрушимы, как стойки вещи — знаки вечности. Я снова беру в руки эту безделушку, и она торжествует над историей. Вот она, страшная, неистребимая власть зримого и осязаемого — что перед нею эфемерная суетность идеологий!

Всю ночь я грезил с открытыми глазами. Вот моя комната — она была моей до того самого дня, когда отец выгнал меня из дому, она была моей с самых первых дней моей жизни, здесь я вырос. И ничего не переменилось. Взгляд мой остановился на секретере вишневого дерева, и комок подступил к горлу: я же наизусть знаю все эти ящички, полочки, отделеньица, я же помню — до завитка! — этот древесный рисунок. Я отворил *сердцевинку* секретера. Это маленький шкафчик посередине секретера с двумя створками и узким отсеком у самой стенки. Там, наверно, полагалось хранить конверты и почтовую бумагу, но, так как писем в этой комнате никто не писал, в шкафчике было пусто, и только в дальнем отсеке — просунешь руку и еле-еле дотянешься до дна — всегда валялись какие-то ключи, две-три пуговки, гнутая монетка, булавка в комочках бурой пыли и резная игрушка из кости — зайчик с обломанным ухом, следами клея на переломе и налипшими на него жесткими, черными волосками. Они стояли торчком, казалось, увечное ушко щетинится, и почему-то это было очень противно. Мама любила наводить чистоту и всякий раз, убирая в шкафчике, выбрасывала всю эту дребедень, но не проходило и недели, как эта самая дрянь появлялась снова. Разумеется, не *эта самая,* а неотличимая от нее. Сердце у меня дрогнуло, когда я открыл шкафчик и засунул руку в дальний отсек. Так и есть. Там, на дне я нащупал ту, прежнюю дребедень: ключи — один ржавый, а другой — махонький и гладкий. Булавка, пуговки, гнутая монетка, а вот и зайчонок, вот клейкий шрам на обломке уха с налипшей черной щетиной. Рука моя была вся в пыли — той самой, памятной, залежавшейся, буроватой. Я встал против света, растопырил пальцы и засмотрелся на розовеющий мерцающий силуэт. Вот точно так же я разглядывал свою пятерню в детстве, когда выздоравливал после болезни. Пылинки розовели, мерцали, реяли. Пыль! Все преходяще, а этот комочек пыли — вечен. Он вне истории и тем сильнее ее. Пыль — динамит времен, в пух и прах она разносит историю.

Я обернулся. Там, в изголовье постели, на стене было сырое пятно, прикрытое картинкой. В детстве я поднимал картинку, чтобы полюбоваться пятном, и всякий раз тревожил паучка — он пускался наутек. Я сдвинул картинку. Пятна не было, но паучок... паучок точно так же, быстро-быстро засеменил лапками. Как тогда.

Да, я знаю, знаю, что сестру измучили допросами в следственном комитете и довели до болезни; она недавно поправилась. Знаю, что от взрыва (поблизости упала бомба) рухнул балкон. Я своими глазами видел черный от сажи потолок и закопченные колонны в столовой — анархисты разводили костер прямо в доме. Но там, где выгорел паркет, теперь, как прежде, стоит большой стол, и обугленных досок не видно. Стол же анархисты зачем-то уволокли, и только месяца через два он нашелся в двадцати километрах от Фигераса в доме зубного врача. Казалось, передо мною прокручивают назад фильм о бедствиях войны, и все вдруг каким-то чудом встает из руин, обретает прежний облик и оказывается на своих привычных местах. Я думал, что рояль наш пропал, но нет — вот он, стоит в том же самом углу. Он возвратился туда, где ему назначено быть. Все вернулось. Какие бы бури ни сотрясали воды озер истории, бури стихают, и всякий раз, против всех законов гегелевской диалектики, оказывается, что ничего не переменилось — ни озеро, ни вода. И какие бы волны ни вздымали пресловутые прогрессивные веяния, они тоже стихнут, не оставив по себе перемен в человеческой судьбе, а если и переменят, то разве что самую малость. Так, словно ка́мень, кинутый сильной рукой, обрушилась на спокойную гладь озера революция, грозя истребить все и вся,— и канула. Только круги, разбегаясь от рваной раны, заколыхались на воде. И если прав Гераклит, утверждая, что никто не войдет в одну реку дважды, прав и Дали, полагая, что стоячим водам Традиции — в отличие от рек — нет ни

малейшей надобности куда-либо течь, ибо и без того прекрасно справляются они со своим назначением и отражают недостижимо вечное небо, а уж если неба не окажется — что делать? — покроются тиной и, сохраняя достоинство, превратятся в трясину. Их не в чем упрекнуть.

Я не раз замечал, что самые ярые революционеры, заклятые враги академического рисунка, сокрушившие не одну гипсовую голову, эти ниспровергатели канонов, дожив до седых волос — не поздновато ли? — начинают украдкой рисовать в самой строгой академической манере — именно так, как их обучали на тех самых злосчастных головах!

Дали — не из этих ниспровергателей. Дали никогда ни к чему не возвращается, ибо никогда ни от чего не отрекается. И после войны и революции, когда все их кляли на чем свет стоит и вешали на них всех собак, я их принял — понял и *поднял,* ибо война и революция были, а что до попранных и сметенных традиций, то разве само это попрание — не традиция? Разве эта зияющая пустота не вошла в кровь и плоть времени? Космогония строится не по правилам. Она — само исключение. Космогония — это не революция и не реакция, а возрождение. Иерархия исключений.

В Кадакесе я сразу же отыскал Лидию. Мы обнялись. Умница Лидия оказалась истинной героиней — она перенесла все. Годы не изменили ее, и в старости она оставалась все той же *умницей и красавицей.* С ней мы отправились в Порт-Льигат в наш дом. От нее я узнал, что Рамона де Эрмосу во время войны местные власти выслали в Жерону. Там он попал в приют и вскоре умер. Он не перенес военных тягот — куда Рамону до Лидии! Лень его оказалась растением капризным и в чужих краях не прижилась.

Лидия долго рассказывала о войне.

— Как меня все любили! Такое время! Когда смерть на пороге, видно, чего душа твоя стоит.

— Но как же ты жила — одна? Ни сыновей, ни родных, не на кого опереться!

Лидия улыбнулась моей наивности:

— А так и жила. Хорошо! Куда лучше, чем прежде. Все у меня было. Я же говорю: когда смерть на пороге, душу насквозь видно. В том и дело!

— Всё так, душа душой, но есть-то надо!

— А как же! Так вот, душа моя, как время к обеду подходило, и давай стараться. Анархистов к нам понаехало видимо-невидимо. Лето, жарко. Они лагерь на берегу разбили, а сами спорят. Я подойду тихонько, выберу местечко для костерка и за дело. Ты-то знаешь, Умница — мастерица на угольях печь. А время к обеду. И вот тут-то кто-нибудь обязательно спросит:

— А она что здесь делает?

— Кто ее знает! Сидит вот, костер развела.

А те спорят: всех их тут, сукиных детей, поубивать или кого оставить, завтра над городом власть взять или на той неделе. И насчет церкви никак договориться не могут, когда ее жечь, а заодно и священника.

Я же, знай, подкладываю сухие лозы в костер. Славно горят, потрескивают, искорки по завиткам, словно по кудрям ангельским, скачут! Один подойдет, присядет, другой; так и сойдутся все. А как рассядутся, кто-нибудь обязательно скажет: „Надо бы поесть!“ Я-то молчу, положу лозу — и ни гу-гу. Дым от лозы сладкий, легкий — бандюги эти чертовы и разомлеют: „Ну что, поедим?“ И пошло: кто зайца из мешка вынет, кто голубя, кто кусок мяса. Нажарят — пальчики оближешь. Наедятся и до того кроткие сделаются, хоть голыми руками их бери. Ешь, говорят, да настойчиво так угощают, будто им за то грех смертный простится. Я, если видела человека понимающего (а и такие попадались), всегда рассказывала и про Мастера, и про Умницу, и про Тайну. Жила как в сказке про скатерть-самобранку! А на какой посуде едала! Они же всю округу обобрали. А тарелок не мыли. Поедят, соберут всё: ложки, чашки, вилки — да и зашвырнут в море.

Но не так долго это длилось — выгнали их отсюда. Другие пришли.

Дело было так. Сидим у костра, едим. Вдруг прибегает один, бледный, как мертвец откопанный. Республиканцы, говорит, анархистов запретили и послали штурмовиков с пулеметами учинить расправу. Что тут началось! Повскакали, побросали всё, собираются — а куда? Один мне ботинки оставил, другой — одеяло, третий — граммофон краденый, четвертый — подушку перьевую. Крик стоит: "Да поторапливайся! Бежать надо, спасаться! Всё к черту! Всему конец! Штурмовики вот-вот нагрянут! Всех перебьют!"

Ушли — и опять на берегу пусто, ни души. К вечеру штурмовики, сепаратисты понаехали. Орут, ругаются не хуже тех, с одной, правда, разницей — ни про смерть, ни про ужин никто и не поминает. А я лозы набрала, отыскала местечко и развожу костерок. Один спрашивает:

— А эта, в черном, откуда взялась?

— Кто ее знает? Сидит вот, костер развела.

Один подойдет, поглядит, рядом присядет, другой. Молчат. И я молчу. Тихо, только лоза в костре потрескивает — заслушаешься. Тут-то и осенило его наконец: "Надо бы поесть!" И все к мешкам потянулись.

Потом и эти бежали — еще какие-то пришли. Я и при них костры жгла. Да и при ком только не пришлось! И галисийский батальон здесь стоял, и марокканцы... Эти — как на подбор. И почтительные. Усядутся, едят, меня слушают. Как без костра? Правый ты, левый, красный, зеленый, а никому не хочется с голоду помирать. Всякому еда потребна, а уж если прямо с костра... Бедные, думаю, такие молодые, а ведь, может, в последний раз горячее едят. Никто им на том свете костра не разведет, так и будут всухомятку травы кладбищенские жевать! Жалела я их. Мне-то что, старухе... Да разве всё расскажешь?! Это же целая НЕНАВИСТИАДА!

Говорил я и с рыбаками. Всем им анархистское нашествие вспоминалось как страшный сон: "Не приведи Господь еще такое испытать! Никого хуже анархистов не было. И грабили, и разбойничали, и убивали почем зря... Это сейчас я у себя в доме хозяин, а тогда..."

Вот и наш дом. Я вошел — пусто. Ни книг, ничего. Стены сплошь в похабщине, и здесь же весь набор политических символов и лозунгов, запечатлевший смену караула: коммунисты, сепаратисты, республиканцы, троцкисты и кто-то еще, еще... А под самым потолком крупно и четко дегтем намазано: "Да здравствует анархия! Ф. И. А. [1] Галисийский батальон. Воспрянь, Испания!"

Еще две недели я провел в Мадриде и вылетел в Лиссабон, где меня ждала Гала.

В Америке мы поселились у Карес Кросби, нашей парижской приятельницы. И я заперся на целых пять месяцев — работал, писал эту книгу и картины. Райское место Виргиния. Мне она напоминает Турень, которой я в глаза не видел. Гала читала мне вслух Бальзака, а иногда, по ночам, меня посещала тень Эдгара Аллана По. В изумительном лимузине с откидным верхом сплошь в чернильных пятнышках призрак приезжал из Ричмонда. И однажды преподнес мне черный телефон, фаршированный кусочками черных носов черных псов. Черной же лентой к телефону была привязана дохлая черная крыса вкупе с черной туфлей, залитой китайской тушью. Шел снег. Я водрузил телефон на сугроб. Просто и мощно — черное на белом.

Все сильнее я проникался сознанием значительности глаза — вот истинное чудо! Засыпая, смыкая веки, я вглядывался из глубины зрачков в собственные глаза и потихоньку прозревал устройство этих живых мягких фотоаппаратов, которые снимали не внешний мир, а глыбы моих мыслей, да и не только моих. Я понял, что мысль можно запечатлеть на пленке, и решил обосновать свое открытие теоретически. Затем, усовершенствовав технику съемки, я представлю его научной общественности.

И человечество наконец получит то, о чем не могло и мечтать: точный зрительный образ мысли, фотографический портрет мира воображения —

---

[1] Федерация иберийских анархистов.

моего, вашего, да чьего угодно! Вот оно, будущее кинематографа! Вот та неведомая цель, к которой все мы инстинктивно стремимся с первых дней жизни! Испокон веку человек жаждал запечатлеть этот призрачный мир — и запечатлевал, пусть приблизительно, в живописи, зодчестве, музыке, поэзии, но искусство доступно лишь избранным.

Всю дальнейшую жизнь я посвящу разработке этого великого открытия!..

Вот и кончается моя книга.

Обычно мемуары пишут к концу, к старости, *когда жизнь прожита.* Мне же, в силу порочной привычки все делать не так, как прочие люди, взбрело на ум, что куда разумнее сначала написать воспоминания о своей жизни, а после ее прожить. Но чтобы прожить новую половину жизни, я должен разделаться с той, старой. Я разорву цепи прошлого и обрету свободу. Ради нее недрогнувшей рукой я прикончу свое прошлое, не зная жалости и сострадания. Я скину свою старую кожу — поникшую оболочку, вместилище мятежа, свидетельницу моей борьбы и побед. Сколь много она таила — и выставляла напоказ! Надо во что бы то ни стало сбросить эту обветшалую кожуру и обрести новую — плоть от плоти моих порывов, залог моего неминуемого Возрождения! А начнется оно в тот день, когда я поставлю в этой книге последнюю точку. И вот сейчас, принимаясь за эти последние страницы, я мучаюсь и корчусь в судорогах, точь-в-точь как змея, меняющая кожу, или как растекающийся рояль, привидевшийся Дали. Рояли ведь тоже сбрасывают старую кожу: однажды прозрачным осенним днем на скалистом берегу близ Монтрё появляются их скинутые печальные оболочки, а тюлени — вам не случалось замечать в них сходства с растекшимися роялями? — поклоняются этим высохшим шкурам как священным мощам своих полярных прародителей. А не скалься высохшая роялья шкура своими немыслимыми, восхитительно ровными зубами из слоновой кости, тюленям бы и не догадаться о родстве, хотя, конечно, зубов они не унаследовали — одни клыки, и тех — раз, два и обчелся!

Новая кожа! Новая земля! Свободная, если такое бывает. Я выбрал ее, новую геологию, неведомую, девственно-юную, не пережившую трагедий страну — Америку. И сменил кожу.

Именно в метаморфозах Традиция обретает плоть и кровь. Традиция — это смена кожи, обретение новой, твоей и только твоей кожи, но в то же время запрограммированной природой и оттого неизбежной. Я никогда не режу по-живому. Мое дело — не революция, а возрождение. Я не жгу мостов, а иду дальше. Я продолжаю, а значит, и начинаю, раз даю себе труд кончить, и снова возвращаюсь к началу — чтобы возродиться.

Может быть, теперь я все-таки состарюсь? Не зря же первым моим словом всегда была "смерть" — чтобы заклясть, отсрочить. Смерть и воскресение, революция и возрождение — вот моя мифология, вот составляющие моей Традиции.

Когда я приехал в Париж, мы вместе с Миро намеревались нанести живописи смертельный удар. И что же? Не я, а живопись едва не прикончила меня, я же отдал ей жизнь, положил все силы, чтобы спасти ее: всю технику, сколько ни есть ее на свете, я употребил, чтобы возродить живопись. Вот свидетельство того, что Дали достиг высот, свойственных исключительно Дали; доказательство того, что он остался верен себе во всех вывертах и причудах.

Итак, я продолжаю...

А в Европе...

Отсюда, с маяка свободы, я гляжу на Европу. Вот она передо мною, моя суматошная прошлая жизнь: моя парижская сюрреалистическая революция, мои испанские отшельничества, исполненные бурь и тревог, паломничества к святыням искусства — в Италию. Что значит расстояние и душевная умудренность, наследие трагедии! Как ясен мне теперь смысл былого, как отчетливы свет и тени моей жизни! И как ясно будущее.

Древняя античная цивилизация, перестрадав множество бессмысленных

революций, впитав ужас и тоску войн, тоже мучительно меняет кожу — и мечется в поисках новой. Но обретет она новую кожу, лишь если сумеет отыскать в этом адском хаосе Традицию, погребенную в руинах.

Очнувшись от ужасов войны 1914 года, все свои напрасные надежды Европа возложила на *спасительную революцию*, которая *все переменит*. Но кошмар новой войны раз и навсегда покончит с иллюзиями насчет того, что революция — это благо. Цена этим иллюзиям оказалась чудовищно высока. Европа распростится с иллюзиями и, выплакав все слезы, взглянет наконец-то сухими, широко распахнутыми глазами в лицо вечной, святой, возрожденной Традиции. Эта война положит конец всяческим революциям. Ведь утопии коллективистского толка, какие бы знамена над ними ни развевались, сколько бы они ни враждовали между собой, что бы ни провозглашали — атеизм, язычество, коммунизм или национал-социализм,— в конечном счете обречены. Их сметет возрожденная традиция индивидуализма, европейская, средиземноморская, католическая традиция. После краха материализма и машинерии Европа погрузится в средневековье, и далеко не сразу пробьются новые ростки древних духовных и нравственных ценностей. Но они пробьются, рано или поздно. Средневековья не избежать — пускай наступает. Тем более что в средние века рождаются те, кому предназначено возрождать.

Я буду предтечей Возрождения!

Еще на заре человеческой культуры, когда в нашу землю упали первые зерна искусства, которому предстояло назваться западным, изо всей листвы был избран этот — изумительный, единственный в своем роде лист аканта. Он стал вечным символом нашей космогонии, символом всей западной цивилизации, унаследовавшей античное богатство. Вся западная цивилизация воплотилась в листе аканта точно так же, как восточная, азиатская культура — в цветке лотоса. *Растительные грезы* листа аканта застыли в безупречной резьбе коринфских колонн, и с тех пор традиция не прерывалась — Минерва хранила ее и вела сквозь бури и мрак веков. Листу аканта, едва ли не самому раннему из орнаментальных мотивов, было суждено бессмертие. Как ни меняется европейская архитектура, в ней живут его очертания, звучит в бесчисленных вариациях его мелодия — ведь и *растительные грезы* меняют облик, продираясь сквозь эпохи. Лист аканта скручивался, сплющивался, морщился — и распрямлялся, воскресал и вновь зеленел. Случалось ему и погибать в годы революционных ненастий, но словно только затем, чтобы когда-нибудь снова зазеленеть на пепелище, с неподражаемым изяществом развернув свой резной силуэт, ставший еще прекрасней...

Люди все убивают и убивают друг друга. Побежденные влачат рабское ярмо, а победитель, как насосавшаяся пиявка, тешится новой — кровавой — географией. Казалось, средние века затоптали в грязь эту *крохотную жизнь* — листок аканта. Но, когда о нем уже никто и не вспоминал, когда его стерли с лица земли, лист аканта снова взялся неведомо откуда и зазеленел среди руин так, словно все эти катаклизмы, потопы, пожары и потрясения, все эти беды, обрушившиеся на душу человеческую и бренное тело, случились лишь затем, чтобы после вновь распустился этот бессмертный лист, дитя Традиции, вечно юной, все той же — и неузнанной в новой ипостаси,— вечнозеленой живой Традиции.

Войны, крушения империй, годы хаоса чуточку изменили знакомый силуэт, но лист аканта все зеленеет, его давняя, нежная мелодия, рожденная на заре человечества, все звучит. А как драматична история листа аканта! Сметенный с коринфских капителей, он возродится в шедеврах Палладио — тяжелый, мясистый — и осенит венчальной гирляндой Рим, а оттуда перекинется в Париж Людовика XIV и грянет победным, торжествующим аккордом; он измельчает и забьется в истерике при Людовике XV, заколышется в чувственных танцах барокко, ему не миновать гильотины, изобретения французской революции, но лист аканта воспрянет при императоре Наполеоне — как стремителен этот чистый и горделивый изгиб! А к концу

века, заплутавшись в извивах модерна, бедный лист обезумеет и кончит в сумасшедшем доме послевоенной Европы, забытый всеми, забытый — но до поры...

Лист аканта бессмертен. И сейчас он где-то развертывает свой безупречный игольчатый силуэт — может, под сенью колючей проволоки военных будней, а может — и даже точно! — в воображении Сальвадора Дали. Да, именно так! Я предрекаю рождение нового стиля.

Всякий, кто, подражая мне, перепевает сюрреализм, обречен навеки пребывать в лимбе, первом адском круге, где казнится отсутствие стиля. Но, чтобы создать свой стиль, надо собирать, а не растаскивать. Что из того, что вы наловчились употреблять сюрреализм? Нужно совсем другое — нужно поднять сюрреализм до классики, дать ему цельность и крепость старинных шедевров.

А раз сделано — значит, *кончено*.

Посетив Зигмунда Фрейда, в ту пору лондонского изгнанника, отмеченного уже печатью смерти, не заставившей себя ждать, я совершенно отчетливо осознал, сколь многое в европейской культуре связано с ним и кончится вместе с ним.

Фрейд сказал мне: "У классиков я ищу подсознание, а у сюрреалистов — сознание".

То был приговор сюрреализму, если сводить его к догме, доктрине, секте, "изму". Но сюрреализм как традицию, как *состояние духа,* как Леонардову *трагедию стиля,* жизненную трагедию и трагедию искусства, Фрейд признавал. В ту пору Фрейд занимался по преимуществу исследованием религии. Помню, с каким воодушевлением он произносил слово "сублимация": "Моисей! Вот кто знал толк в сублимации!" Все частные науки заняты сегодня исключительно тремя руслами жизни: сексуальным инстинктом, восприятием смерти и тайной пространства-времени. Их надобно исследовать самым тщательным образом и — сублимировать, возвысить. И сексуальный инстинкт, став творческим, породит искусство, страх смерти пробудит любовь, а тайне пространства-времени отыщется объяснение в метафизике и религии. Довольно отрицать — пришла пора утверждать. Хватит выправлять — надо поднимать, возвышать, сублимировать. Хватит растаскивать — надо собирать и строить. Хватит забавляться автоматическим письмом — надо вырабатывать стиль. Пора кончать с разрушением и разбродом — надо учиться ремеслу. Довольно скепсиса — нужна вера. Довольно блуда — нужна чистота. Довольно уповать на коллектив и униформу — нужна индивидуальность, личность. Нужна иерархия. И хватит экспериментов — нужна Традиция. Ни революций, ни контрреволюций — ВОЗРОЖДЕНИЕ!

ЭПИЛОГ

Мне тридцать шесть лет. Сегодня, 30 июля 1941 года — день в день, как обещал издателю,— я кончаю книгу.

Я стою голый у себя в комнате, смотрюсь в большое зеркало и вижу: волосы мои все еще черны как смоль; ноги еще не обезображены стигматами мозолей; я почти не переменился со времен моей юности, разве что слегка нарастил живот. Я не собираюсь ехать в Китай, не собираюсь разводиться, не помышляю о самоубийстве и в мыслях не держу кидаться в пропасть, вцепившись в плаценту шелкового парашюта в надежде родиться заново; я не намерен ни драться на дуэли, ни вызывать кого бы то ни было, даже будь на то причины. Хочу я немного: любить жену свою Галу и — стареть. А это трудно, хотя неизбежно и мало кому желанно.

Да и ты, Европа, как я погляжу, постарела — ничто не проходит даром... В детстве я был злым, злым я рос и до сих пор еще страдаю. Но вот уже год, как я чувствую, что начинаю любить ту, на ком женат уже седьмой год, и даже, кажется, уже люблю ее так, как велит римско-католическая апостольская церковь. То есть согласно католическому определению люб-

ви, которое дал Унамуно: "Если у твоей жены болит левая коленка, ты тоже чувствуешь боль и тоже в левой коленке".

Я кончаю длинную книгу о тайнах своего бытия. Право говорить дала мне жизнь, которую я прожил, моя жизнь — и ничто другое. Во мне воплотилась, причем самым впечатляющим образом, послевоенная Европа — все ее трагедии, все фарсы и опыты ставились и надо мной, я играл во всех спектаклях.

Главное действующее лицо сюрреалистической революции, я своими глазами видел все, что вытворяли диалектический материализм и философствующий национал-социализм, взлелеявший кровавый миф о расе. Я долго изучал теологию. Мне случалось кидаться в крайности, и всякий раз я платил за ошибку по самой высокой цене черной монетой моего пота и страсти. Во что только ни ввязывался я с истинно испанским фанатизмом! Какие только теории (естественно, взаимоисключающие) не разводил! Но никогда, вы слышите, никогда мне и в голову не приходило вступить в какую бы то ни было партию. Так неужели я ввяжусь в это дело сейчас, когда религия поглотила политику?!

Уже давно, примерно с 1929 года, я изучаю важнейшие научные открытия последнего столетия, не претендуя, конечно, на тонкости, обусловленные кошмарными, свойственными всякой науке узостью и замкнутостью. Но в смысле научных достижений я прекрасно разобрался. И понял, что никакие философские, художественные, математические и естественно-научные открытия, равно как и нравственные установления современности, не противоречат религии. Мало того — окна в храме точных наук распахнуты небу.

Небо... Это его я искал, изо дня в день раздирая крепкую, призрачную, сатанинскую плоть моей жизни. И когда тыкал костылем в изъеденного червями, загнившего ежа, я искал — небо. И когда клонился над черной бездной. Тогда и всегда.

Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо не над нами и не под нами, не слева и не справа. Небо — в сердце человека, если он верует.

А я не верю и боюсь, что так и умру, не увидев неба.

САЛЬВАДОР ДАЛИ

Хэмптон Менор.
Два часа ночи.

Vertical Infantry, as against horizontal infantry; means of winning a battle by the unexpected use of stilts of the Landes country.
Salvador Dalí
1940

Мифы и мифотворцы нового времени

Н. СОСНОВСКИЙ

ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ, ПЕСЕНКИ РЭГГИ И МИФЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Массовая культура — одна из важнейших составляющих современной жизни — нынче стала предметом бурных политических споров и разнообразных академических штудий; ее третируют «высоколобые» и ежедневно потребляют миллионы. Она переменчива и текуча — то сливается с потоком элитарного и утонченного искусства, то прислуживает откровенным злодеям. В ней переплетены лубок и китч, своеобразно, претворенные элементы «высокой классики», следы архаики и полузабытых традиций,— в ней бьется и пульс нового, сегодняшнего, рвущегося выразить себя здесь и теперь.

Понятию «культура растафари» тоже можно дать самые разные определения: мессианская секта, народное религиозное движение, суррогат панафриканской идеологии, движение за культурную самобытность, политическое антирасистское течение, «негритюд для бедных», трущобная субкультура люмпенства и, наконец, музыкальный стиль (прежде всего — рэгги) или молодежная мода. За 60 лет растафаризм (растафарианство, растафари, чаще просто — раста) прошел через удивительные, даже невероятные метаморфозы.

Растафаризм возник как секта, обожествлявшая раса (принца) Тафари Маконена, ставшего 2 ноября 1930 г. императором Эфиопии под именем Хайле Селассие («Власть Троицы»). Секта образовалась на Ямайке в начале 30-х годов, но в 60-е годы ее приверженцы появились среди цветной молодежи США, Канады и Великобритании, а в 70-е она превратилась в поп-религию, вызвав бум среди городской молодежи африканского континента. Ее преображения и географические перемещения привели к тому, что раста все время оказывалась на ничейной территории и принималась за нечто привнесенное, за внешнее влияние: в развитых странах — за влияние вест-индских иммигрантов, в Африке — за влияние западной культуры, на Ямайке — за воздействие «движения эфиопских церквей» и североамериканского панафриканизма.

«Символ веры» культа изначально сводился к пяти основным положениям: Хайле Селассие I — живой бог; Хайле Селассие I всемогущ, ему подвластна даже ядерная энергия; чернокожие — это эфиопы в изгнании, новое воплощение древних иудеев, избранный народ Израиля. Богами римлян были деревянные идолы, англичане считают Бога духом, бесплотным и невидимым, на деле же Бог жив и находится в мире, это — Хайле Селассие I, Царь Царей, Лев Иудейский, слава Дома Соломонова; небо и рай — это обман, рай черного человека — на земле, в Эфиопии. Интересно, что когда в 1974 году растаманам показывали газеты с известием о смерти Хайле Селассие, те хмыкали: «Ложь Вавилона! Империалистическая пропаганда!» Иногда к этим «узловым моментам» добавляются положения о том, что черный человек превосходит белого во всем, что мир находится накануне репатриации черной рассы на родину, в землю обетованную, а за этим последует эпоха, когда, как и в древности, черная раса будет править миром.

Предтечами культа считаются двое: душевнобольной пророк Александр Бэдуорд, всполошивший Кингстон невнятными пророчествами о «мистерии трех корон» и обещаниями привселюдно взлететь на небо, и всемирно известный основатель движения за репатриацию афро-американцев, уроженец Ямайки Маркус Гарви. В 1927—1935 гг. Маркус, «временный президент Африки», высланный из США, проживал на родном острове. В этот период он часто выступал с речами в парках Кингстона, его сочинения ходили по рукам. Пламенные воззвания Гарви стали частью городского фольклора Ямайки.

«Черный человек,— вещал с трибуны Гарви,— мыслит в категориях потаенных таинств мира». Самое удивительное, что ни Ленгстон Хьюз, ни Клод Маккей, ни кто-либо другой из умниц Гарлемского ренессанса с подобными речами не могли обратиться к толпе прямо на улице. Аудитория же Гарви состояла к тому же не из видавших виды гарлемских грамотеев, а из хлынувших с Юга в годы первой мировой войны деревенских простофиль, в глазах гарлемцев — «манхэттенских лимитчиков», если так можно сказать. И эта малограмотная толпа все понимала, трепетала, приходила в экстаз и действительно была убеждена и повторяла за Гарви, что, мол, «черный человек мыслит в категориях потаенных таинств мира». Подобный эффект подметил А. А. Богданов, проводя занятия в рабочих марксистских кружках: рабочие не понимали толковые и доходчивые брошюры «буржуазных экономистов», специально рассчитанные на малоподготовленную аудиторию, но, к изумлению Богданова, без труда схватывали суть «Капитала». Этот же эффект повторился в растафари, когда неграмотные люмпены пересказывали друг другу сложнейшие концепции культурного национализма, не предусмотренные для их разумения.

Общая всем пророкам растафари система взглядов состояла в следующем: Хайле Селассие — избавитель избранной расы черных иудеев. История еврейского народа, изложенная в Ветхом Завете,— это история

африканцев, белые же евреи — самозванцы,выдающие себя за богоизбранный народ. За грехи свои черные иудеи были наказаны рабством в Вавилоне. Четыре пирата — Дж. Хоукинс, С. Родс, Д. Ливингстон (?!) и Дж. Грант — при Елизавете I привезли чернокожих в Америку. Бог давно простил свой избранный народ, которому вскоре суждено вернуться на Сион, известный непосвященным как Аддис-Абеба. Эфиопия — рай черного человека, Америка — это ад, Вавилон. Церковь орудие Вавилона для обмана чернокожих, избавление ждет их не на небесах, а в Эфиопии.

Изначально приверженцы растафари понимали репатриацию буквально, пророки — от Хоуэлла в 1930 г. до Клодиса Генри в 1960 — торговали недорогими пропусками в Африку (обычно в виде портретов императора), их обладатели распродавали пожитки и тысячами собирались на набережных. Но корабли не приходили...

Предполагалось, что репатриация неизбежна, но обстоятельства держатся в тайне, подробности знают лишь посвященные, и в нужный момент император даст знак. Особые надежды возлагались на 1961 год, содержащий мистическую силу в самом сочетании цифр. Как писал поэт-растаман, «1961, перевернутый кверху ногами, // остается 1961. // Это доказывает, что Гарви не ошибся, // Когда говорил об // Избавлении черного человека // Из-под колониального ига».

Со временем репатриация стала толковаться как возрождение духовной культуры Африки в душе человека. Так, музыканты из английской группы рэгги «Асвад» поясняют смысл своих песен «Дети Африки» и «Назад в Африку» так: «Если человек знает, что он африканец, что Африка — его земля по праву рождения, то он не смирится с убогой жизнью в Великобритании, он сделает свой выбор. Ныне мы видим, как много молодежи втягивается в растафари, слушая музыку рэгги. Так распространяется растафари, но это не значит, что все непременно уедут, это — репатриация сознания». Кстати, сами ребята из «Асвад» во время гастролей в Кении пережили подлинное потрясение, когда узнали, что для молодых кенийцев предел мечтаний — перебраться в США или Великобританию: обитатели «Сиона-Эфиопии» стремились в «Вавилон».

Растаманы полагали, что белые перевели Библию, первоначальный язык которой — амхарский (т. е. главный язык Эфиопии), при этом исказили ее и утаили самые важные фрагменты. Но остались намеки, которые может верно истолковать просветленный ум. Для глубокого проникновения в суть вещей и событий и в смысл Писания рекомендовалось ритуальное курение ганджи (индийская конопля, каннабис, марихуана, местное название также — «кайя»), под которой понималось всякое упоминание «древа» и «травы» в Библии.

Растаманы должны были соблюдать ряд запретов: не есть свинину, моллюсков, соль, уксус, рыб без чешуи, коровье молоко, не курить табак и не пить ром и вино (позже этот запрет стали объяснять тем, что вскоре братия будет пить пальмовое вино в Африке), не носить вещи с чужого плеча, не есть приготовленную посторонними пищу, не играть в азартные игры, не касаться мертвых. Частично эти запреты перешли из африканских табу, частично — из Ветхого Завета (Левит, 11; Числа, 6).

Поскольку Бог создал человека по своему образу и подобию, то любое искажение божественного облика, в том числе стрижка и бритье,— грех. Растаманы стали носить длинные волосы, образующие локоны,— очень характерная деталь их внешнего облика. По этой прическе, шокировавшей обитателей Кингстона, растаманов прозвали «дрэдлокс» — «ужасные патлы», или просто дрэдс. Впоследствии эта прическа стала приметой молодежной субкультуры африканской диаспоры, знаком приверженности «африканским корням» (необязательно культу растафари в строгом смысле слова).

Братия верила в переселение душ, авторитеты культа считали важной задачей разгадать — кто из политических деятелей Вавилона является реинкарнацией кого из библейских или исторических персонажей. Смерть и скверна идет из Вавилона, поэтому порвавший с Вавилоном растаман бессмертен. Орудием разрушения Вавилона станет Зверь из Апокалипсиса (под этим понималась Россия). Избранный же народ после падения Вавилона придет к бессмертию и торжеству справедливости.

Черная раса, по представлениям растафари, создала величайшую культуру. Собственно, все значительное ею лишь и было создано. Но затем, в период «400 лет рабства», история была фальсифицирована. Считалось, что все культуры древности без исключения — и здесь растафари гораздо радикальнее своих ученых вдохновителей — были африканского происхождения, и это надо иметь в виду тем, кто простодушно верит белым историкам. Чтобы «увидеть правду», надо возрождать в себе африканскую идентичность, африканский дух, африканскую культуру и «африканскую философию» («культура» и «философия», как и «идентичность»,— любимые слова в рассуждениях растаманов). Для этого особенно рекомендуется утверждать африканские ценности посредством художественного творчества. Растафари, пожалуй, едва ли не единственный синкретический культ, делающий такой упор на культуру и самодеятельное искусство как средство «раскрепощения сознания». Возродив в себе идентичность, человек «открывает правду», при этом постоянно подчеркивается ее «научность», «обоснованность историческими фактами». Парадоксальным образом в растафари чисто мифологический тип мышления соединяется с благоговением перед «наукой», «логикой», «философией» и даже... «математическим доказательством превосходства черной культуры и грядущего торжества черной цивилизации». Но одновременно подчеркивается и естественность, интуитивность, спонтанность «эфиопской культуры», выраженные в образах «корней» и «вибрации» (Эфиопия в этих рассуждениях отождествляется с Африкой вообще в соответствии с библейским словоупотреблением).

Культов, подобных растафари, только в Африке насчитывается около шести тысяч. Не меньше двухсот их и на Карибах. Но уникальность растафари состоит в том, что созданная в общинах растаманов музыка рэгги неожиданно стала распространенным во всем мире явлением поп-культуры: будучи по звучанию близким к рок-музыке, музыкаль-

ный стиль рэгги после некоторого «осовременивая» путем введения соло-гитары и замены большого барабана бас-гитарой приобрел громадную популярность, особенно среди чернокожей молодежи, превратив расту из локального народно-религиозного движения в модный стиль. Вокруг музыки рэгги образовалась субкультура черной молодежи Запада. В таком виде — как молодежная мода — растафари попадает и в Африку.

В Африке, где теоретическая мысль формировалась в рамках чужеродной интеллектуальной традиции, был утрачен «сквозной» характер культуры. Между ее нижними и верхними этажами не было сообщения: несоответствие массовых представлений философским и политическим доктринам элиты перекрывает каналы информации куда надежнее, чем поголовная неграмотность. Похожая картина наблюдалась в России, обратная — в Индии, арабских странах, Японии, Латинской Америке.

Труды африканских интеллигентов получают больший резонанс на Западе, чем в умах простых африканцев. Это делает их проповедниками без аудитории, даже профанация их идей оказывается невозможной,— их просто не слышат. Растафаризм показал, что ту же потребность, которая вызвала обращение интеллектуалов к проблемам культуры, испытывает и массовое сознание. В «культуре растафари» молодые люди, не принадлежащие к интеллектуальным сливкам, увидели упрощенный аналог привлекательных для них концепций «черного национализма». Если негритюд стал элитарным культурным мифом, то раста — культурным мифом массового сознания, «негритюдом для бедных».

Музыка рэгги во многом выразила самосознание и повлияла на формирование мировоззрения молодых африканцев. Экзистенциализм пропагандировал себя в прозе и драматургии, негритюд в поэзии, «новое левое» и растафари — в рок-музыке, и последний способ оказался поразительно эффективным. Бунтари 60-х знали о «новом левом» в основном не по Герберту Маркузе, а по Бобу Дилану. Африканский юноша знает о культурном национализме не по Ж.-П. Ндиаю и Альюну Диону, а по рок-певцам Бобу Марли и Альфа Блонди. В 20-е и 30-е годы гарвеизм тщетно пытался внедриться в Африку, неогарвеизм растафари сделал это мгновенно. Кстати, большинство молодых африканецев, знакомых с идеями Маркуса Гарви, знают о нем (или впервые услышали) из песен рэгги.

Если в 60-е годы африканская молодежь тяготела к поп- и рок-музыке США и Великобритании, а местная молодежная музыка и музыка других стран третьего мира считалась чем-то второсортным, то в 70-е годы африканская и карибская музыка вытесняет западную и даже имеет коммерческий успех на Западе. В годы перестройки это же произошло с советским роком, но в африканской и карибской музыке меньше вторичности; имея близкое к роковому звучание и мятежный дух, рэгги никогда не воспринималось в Африке как нечто привнесенное извне, а тем более «чуждое», хотя и возникло вне Африки (правда, из африканских корней).

Обращение юных иммигрантов к расте не только не было унаследовано от родителей, но и вызвало конфликт поколений, как это позже произошло и в Африке. Как отмечают британские социологи, для чернокожих англичан мир их родителей, основанный на воспоминаниях о родине, был далеким и никак не связанным с собственным ощущением безродности; дети же отделились от этого мира, погрузившись в мир растафари: «Они создали себе новое понятие о реальности, так радикально отличавшееся от понятий их родителей, что захватывает дух, когда представишь, что их разделяет одно-единственное поколение». Дело было яснее ясного: старики утратили собственную культуру, врожденную и естественную, и пыжатся, чтобы усвоить чужую,— дело безнадежное и недостойное. Растафаризм и музыка рэгги стали для молодых способом выразить свое униженное положение в мире белых, найти себе почетное место в этом мире, объединиться на основе «корней». Т, е. начала формироваться совокупность взглядов, способная служить основой для расовой гордости, а стало быть, и для культурного национализма.

Культурный национализм — это разновидность утопического сознания, основой которой служит миф об идиллической чистоте истинной, праведной культуры и утопические представления о временах, когда общество жило в лоне такой культуры. Поэтому культурный национализм немыслим без исторического мифа. Как всякая утопия, утопия времени (образ Золотого века) выполняет в общественном сознании определенные и чрезвычайно важные для него функции, поэтому критиковать подобные представления с точки зрения норм и требований науки — довольно наивно. Собственно, это распространяется и на подлинно научное историческое творчество, и философия истории довольно давно сомневалась в возможности беспристрастной интерпретации истории. Ныне представление о том, что историческое сознание общества и историческая наука с ее установкой на объективное знание — это разные формы общественного сознания, достаточно распространено. Можно предположить, что историческое сознание имеет задачи, выходящие за рамки «объективного знания», составляя необходимый для каждой нации «этнообразующий миф» или же метафору национального характера, как Исход для евреев или покорение Дикого Запада для американцев.

Мотивы расовой гордости обнаруживаются в письменных источниках с тех пор, как межрасовые отношения начали осознаваться как коллизия. Постепенно культурный национализм формирует ряд стандартных ходячих доводов и представлений, превращающихся в расхожие клише. Эти клише, по мере проникновения их из сферы исторических размышлений о судьбах своей расы в пропагандистские речи, формируют риторику черного национализма, которая, в свою очередь, начинает незаметно для людей определять их мировосприятие.

Использование исторической и культурной мифологии в национализме Африки, Вест-Индии, США и других стран — явления, содержательно разные, но, как это ни странно, совпадающие по структуре.

Курьезно, что почвенники соседних народов взаимно стыдят друг друга за сухой рационализм, рассудочность, прагматизм, наделяя собственный народ мечтательностью, интуицией и т. д. Л. С. Сенгор, а до него Л. Фробениус применяли к оппозиции «Афри-

ка — Европа» противопоставление германских и романских народов у немецких романтиков. Бердяев — не такой уж и почвенник — наделяет немцев теми же чертами, которыми последние наделяют французов, а французы — немцев: немец — это «активность и организация», «в нем нет никакого пассивно-женственного приятия мира, других народов, нет никаких братских и эротических чувств к космической иерархии живых существ». Эти слова словно написаны Сенгором! Так, для Мартина Бубера еврей — это носитель мистического, иррационального, чувственного начала, для антисемита же еврей — воплощение холодной расчетливости, практицизма, рационального рассудка.

Примеры бесчисленны, куда ни взгляни: в Латинской Америке, Китае, Турции, Индии — повсюду почвенничество выстраивает два контрастных семантических ряда. Это позволяет заключить, что они связаны не с реальными характеристиками конкретных культур, а с формальной структурой почвеннического сознания, с оппозицией «родного» и «вселенского». При этом, во-первых, почвенническое сознание в силу своих законов отдает приоритет «иррациональному» ряду, во-вторых, оно всегда находит его воплощение в собственном народе, а олицетворение противоположных начал видит в остальном человечестве.

Вот пример рассуждения типичного почвенника: «Когда мы на берегах Нила занимались науками и искусством, их предки [европейцев] все еще пили человеческую кровь и ели пищу из черепов убитых врагов; когда наша цивилизация достигла наибольшего процветания и прогресса, они все еще бегали голышом и спали в норах и пещерах вместе с крысами, летучими мышами и другими насекомыми и животными. Когда мы уже разгадали таинства звезд, производя тончайшие расчеты созвездий,— пишет далее Гарви,— они все еще были обитателями лесных чащоб, живущими в невежестве и ужасной тьме. Сегодняшний мир обязан нам благами цивилизации. Они [европейцы] похитили из Африки наши искусства и науки. Так почему же мы должны стыдиться самих себя? Все их нынешние передовые достижения,— лишь копия более великой цивилизации, которую мы создали тысячи лет тому назад».

Однако следует понимать, что и порицание африканской культуры и критика ее отсталости могут быть проявлением любви к родине, как и почвенническое самовозвеличивание. Подспудная задача самокритики, культуры — вызвать у народа шок, подстегнуть его к борьбе за достоинство и процветание, т. е. в конечном счете цели почвенников и западников сходятся. Вряд ли можно однозначно объяснить доминирование той или иной установки конкретными обстоятельствами. Так, эпохи национального унижения одновременно порождают как шоковую терапию самокритики, так и панегирическое обезболивание.

Иногда оба настроения могут совмещаться; например, у Гарви, в растафари и у «черных мусульман» разоблачение истории и культуры «так называемого негра» в стране белых сочетаются с возвеличением прошлого «африканца»: то и другое воспринимается как две разные культуры.

В общинах растаманов культивировалась не только музыка, но и художественные ремесла и искусства, определившие весь облик современной ямайской культуры, заслужив для братии признание и похвалу ямайского истэблишмента. Это поэзия Орландо Уонга и Сэма Брауна, живопись Осмонда Уотсона и Карла Парбусайна, графика Раса Дэниэла и Раса Майкла, скульптура Раса Кэньюта, «доб-поэзия» (от искаж. «dib» — дублировать, озвучивать — декламация стихов религиозного или политического содержания под аккомпанемент ритма рэгги) Муты Баруки и Оку Онуоры (музыкально-сценический псевдоним того же Орландо Уонга). Позже из нее родился «разговорный рэгги» и «доб» — обработка музыкального материала с помощью мишкирования, а также наложение собственных импровизаций речитативом на записи рэгги, нечто вроде возникшего в США в черной субкультуре хип-хоп стиля рэп. Доб требовал высокого мастерства, но в принципе был под силу каждому — это снимало противоречие между требованием непременно заниматься «черным искусством» и отсутствием у большинства людей необходимых для этого талантов. Но лишь музыка рэгги смогла выйти за пределы Ямайки, покорив мир и сделав «культуру растафари» явлением попкультуры. Всемирная популярность рэгги превратила ее во вторую после добычи бокситов отрасль национальной экономики.

Обратимся теперь к жанру рэгги — музыкальному манифесту панафриканизма.

Для духовного взаимно очистительного общения в растафари, как считалось, хорошо помогал «ризонинг» (от англ. «аргументированное рассуждение»), который специалисты считают традиционным способом обмена информацией, сопоставления взглядов, интерпретации Библии. Проходили «ризонинги» под барабаны «наябинги», в торжественной обстановке — их не зря называли еще песнопениями. Дискуссии перемежались с музыкой, пением и ритуальным курением марихуаны.

А вот описание «ризонинг», сделанное теоретиками уже в Англии начала 80-х: «Главным в «ризонинг» было разметить задающую систему координат растафаристскую сетку, сквозь которую затем просеивался диалог. Все темы разговора следовало осмыслить согласно той матрице, каркас которой составлялся из вдохновляющих посланий Биг Юта, У-Роя, «Пылающего копья», Фрэда Локса и, конечно, Архетипического Растамана — Боба Марли».

«Ризонинг» — пример превращения растафари из культа попросту в моду. Стало происходить внешнее — посредством одежды, манер, речи — самоотождествление исполнителя с определенным образом. Чаще всего это образ одной из субкультур, на которые распадается культура социума. Различное видение иных культур («Образа Иного») и собственной культуры («Образа Себя») зависит от того, к какому образу причисляет себя человек. Отсюда — бросающееся в глаза различие между почвеннически ориентированными музыкальными стилями растафари, афро и хип-хоп и универсалистски ориентированными «сапе», диско и джаз-фанк.

В песнях все чаще звучали фразы: «освобождайтесь от рабства в сознании» (ключевая фраза не менее двух десятков песен рэгги), «вернись к сознанию корней», «раскрепощай свой разум», «прочисть свои мозги», «репат-

риируй сознание» и т. д. Этому способствовало и влияние «молодежной революции» в США и движения «новых левых». Влияние было прямым: как отмечает Л. Барретт, в конце 60-х «американские хиппи, приверженцы естественности, открыли растаманов для себя, и ныне они ежегодно совершают паломничество из Америки на Ямайку». Американская хиппи Фабьен Миранда перебралась на Ямайку и вступила в одну из общин растаманов, стала довольно известной певицей рэгги и внесла в растафари мотивы «власти цветов».

Прямым было и влияние с несколько иной стороны: другая известная певица рэгги — Пума Джоунс из группы «Блэк Ухуру» — в 60-е была активисткой «Черной власти» в Гарлеме и студенческого движения. Она также перебралась на Ямайку, чтобы примкнуть к растафари.

Многое в растафари и движении хиппи «Дети цветов» оказалось близким друг другу. Даже расовая окрашенность расты не была помехой: «Великий отказ» хиппи включал и отказ от европейской культуры и стремление приобщиться к «естественной культуре» других народов.

Пополнение пришло в растафари не только из колледжей и университетов, но и с другой стороны — с самого дна. В конце 50-х на Ямайке сформировалась типичная «субкультура насилия» черного гетто — «руд бойз», или «рудиз» («крутые ребята»). В центре ее — приблатненный сорванец, умеющий за себя постоять, брутальный и уверенный в себе. Самоутверждение через насилие привело к «войне банд», заставившей правительство ввести в 1966—1967 гг. чрезвычайное положение. Но, как подметил вест-индский социолог Кен Прайс, «руд бой — нечто большее, чем уличный правонарушитель: он революционер и, желая высказать свое негодование и обиды, он отождествляет себя с растафарианами и воспринимает их жизненный стиль. Когда молодежь из «среднего класса» и интеллектуалы левацких убеждений начали идентифицировать себя с «движением», деятельности руд бойз была придана некоторая степень законности».

«Революция в сознании» привлекла в растафари молодежь. Появившаяся чуть позже на Доминике организация «Дрэдс» (смесь молодежной субкультуры и политического движения), запрещенная властями в 1974 г., была уже чисто молодежной по составу.

Сложная история происхождения растафари ставит движение вне рамок механических классификаций, приводя ученых в замешательство. Так, британский социолог Майк Брэйк, рассортировав молодежную субкультуру на три потока, а именно: богемный, преступный и политический,— остается в затруднении насчет растафари. Эту специфику он объясняет так: «К концу 60-х руди увлеклись стилем расты. Появилась форма духовного самосознания, повенчавшая дух братства растафари с агрессивностью руди и печатной агитацией американского движения «Черная власть»... Миролюбивая в своей основе позиция расты слилась с воинственностью руди. Рэгги же стало поэтическим манифестом и донесло свое политическое послание до черной молодежи Британии... хотя и складывается впечатление, что они восприняли скорее стиль, нежели содержание растафаризма».

Отдаленной основой рэгги стали многочисленные на Ямайке неоафриканские музыкальные стили. В середине 50-х из их смешения и под сильным влиянием североамериканской поп-музыки, особенно ритм-энд-блюза, возник стиль ска — уличный вариант самодеятельной поп-музыки, а затем и более жесткий рок-стеди — прямой предшественник рэгги. Расцвет ска пришелся на 1959—1965, рок-стеди — на 1965—1969 гг. Другое ответвление карибской легкой музыки — это смесь легкомысленного калипсо и диско, оформившаяся в презираемый поклонниками сурового рэгги стиль сока. Деление на эти две ветви — яркий пример непрерывно происходящего в массовой культуре разделения двух образов — «попсового», эстрадно-развлекательного, коммерчески ориентированного и потребительски окрашенного (обычно — универсалистского) и угрюмого, «корневого» и почвеннического, нонконформистского и бунтарского антисоциально-эпатажного ска, рок-стеди и рэгги.

Во всех этих стилях сохранился архаической принцип «вопрос — ответ» в вокале, синкопирование, частое употребление фальцета и «скэт» (импровизация голосом в подражание инструменту, гортанные выкрики, вибрация губами и языком и иные экзотические способы звукоизвлечения).

Через некоторых музыкантов, раньше других увлекшихся растафари, в ска проникают мотивы и язык расты. Первыми здесь были Реко Родригес и выдающийся тромбонист Дон Драммонд, уже в начале 60-х создавший композиции «Отец Восток», «Аддис-Абеба», «Реинкарнация» и «Памяти Маркуса Гарви». За ними последовали группы «Мелодианс», «Лайонариз» и «Абиссинцы».

Параллельно продолжала развиваться музыкальная культура братии растафари, питавшаяся теми же традициями, что и городская легкая музыка, а через Родригеса и Драммонда и прямо с ней пересекавшаяся, но до второй половины 60-х не сливавшаяся с нею в одно целое. В 1949 г. в общине «Мистическое Откровение Растафари» легендарный исполнитель на среднем барабане Каунт Осси создал группу для музыкального сопровождения песнопений братии, куда вошли профессиональные музыканты. Проповедник растафари Брат Лав («Любовь») сопровождал выступление чтением Библии. Группа, названная по имени общины, получила признание у братии, которая восприняла ее как выражение африканской культуры. В начале 60-х группа записывает первую пластинку с тремя религиозными песнями. Появились и последователи: Тутс Хибберт с группой «Мэйгэлз», Седрик Брукс и группа «Огни Сабы», Рас Майкл и его группа «Сыновья Негуса».

Музыка Каунта Осси — это уже почти рэгги, но еще без электроинструментов. К этому звучанию — «вибрации корней» — обращаются группы рэгги и сегодня.

Около 1969 г. сложилось неповторимое сомнамбулическое, с господством басовой партии, тягучее и ритмичное одновременно, завораживающее звучание рэгги — «вибрация». При этом ударные — одновременно басовый барабан и тарелки — особенно подчеркивают третью долю такта (знаменитый прием «One Drop»). Соло-гитары, характерной для западной рок- и поп-музыки, в рэгги не

было вплоть до выпущенного Бобом Марли в Англии альбома.

Введение западного эстрадного инструмента шокировало братию, многие до сих пор порицают Марли за «опошление духовной музыки».

В развитые страны Запада «культура растафари» была занесена поветрием моды на музыку рэгги. Правда, в США и Канаду она попала гораздо раньше с ямайскими иммигрантами, но до вспышки интереса к рэгги ее приверженцы считались не то компанией чудаков, не то полууголовной шайкой, одним словом — сбродом очень и очень сомнительных оборванцев. Со взлетом рэгги растафари обретает поклонников повсюду, где проживают цветные общины, а в Европе они росли стремительно. Раста распространилась даже среди молодежи маори в Новой Зеландии и аборигенов Австралии. Индейцы хавасупаи в Гранд-Каньоне почитали Марли как духовного вождя, объявив по его кончине двухнедельный траур.

Раста затронула, как это ни удивительно, и часть белой молодежи — в основном по части музыкальных вкусов, жаргона, внешних атрибутов, отдельных понятий и символов.

Энтузиастом распространения растафари в Великобритании был Скотти Бенетт (настоящее имя Питер Саймон, в 60-е годы был известен под псевдонимом Пэнни Рил) — белый журналист, печатающийся в изданиях английского интеллектуального андеграунда и ключевая фигура британской богемной тусовки («moving»), мимо которой не проходит никто из пишущих об английской богеме. В 60-е годы он был пионером движения хиппи на Альбионе, а в 70-е стал пламенным поклонником и толкователем эзотерического мистического смысла растафари. Но в этом интеллектуальном варианте растафари на островах как-то не привилось. Зато огромный успех имело его стихийное усвоение панками в конце 70-х годов.

Первоначально британский шоу-бизнес старательно вычищал из песен все, связанное с растафари и «субкультурой черной нищеты», музыке придавался по возможности «попсовый» вид. Забавно, что позже как раз экзотический бунт оказался привлекательным для потребителей пластинок. Если на первой английской пластинке Боба Марли непонятные европейцам атрибуты стиля старались не выпячивать, то уже дополнительный тираж этой пластинки выходит в другом конверте, перегруженном растафаристской символикой: Боб Марли с «жасными локонами» в клубах марихуаны. «Косяк» марихуаны вообще становится непременной деталью альбомов рэгги, либо же певец красуется на фоне кустика конопли. Без дрэдлокс черному певцу теперь затруднительно было бы продать пластинку черным потребителям. Времена изменились, и сырое, спонтанное, «подвальное» звучание, неприглаженные и маловразумительные для непосвященных тексты, люмпенский вид исполнителей, даже «варварская» синкопированная мелодика — все это вдруг превратилось в достоинство. В 70-е — 80-е годы рэгги вместе с музыкой соул занимала до 7% мировой продукции грамзаписи — ныне ее потеснил рэп.

В ямайском, а позже — в английском рэгги поражает огромное, исчисляемое сотнями, количество групп и буквально тысячи пластинок рэгги. В отличие от студийных, записывающихся годами на 36 каналах альбомов западных рок-групп, обременённых сложной аппаратурой и спецэффектами, рэгги ценится знатоками именно за «сырое», живое звучание — «вибрацию» — и записывается буквально за несколько часов (речь, конечно, не о пластинках, предназначенных для мирового рынка, а о массовой продукции для дискотек).

Как рассказывает музыкант рэгги, на Ямайке вы можете подойти к любому прямо на улице и спросить, как делается запись, и они все знают, они все этим занимаются. Никаких секретов. Это вхождение рэгги в повседневную жизнь сохранилось и в Британии: в исследовании жизненного стиля цветных британцев Кен Прайс отмечает, что почти все мальчишки не только группируются вокруг «саунд системз», но и так или иначе участвуют в записи или распространении рэгги, почти все играют в группах рэгги и немного подрабатывают музыкой. Можно объяснить это тем, что рэгги предоставляет подросткам возможность общения и инфраструктуру, вокруг которой формируется их жизнь. Это и способ показать себя: тот записал пластинку, этот пишет тексты, а вон тот здорово танцует под рэгги, а этот звукорежиссер, или диск-жокей, или мастер микширования, или просто может выйти на сцену дискотеки и поимпровизировать в микрофон «разговорным рэгги», или же он знаток рэгги и мастер толковать тексты, или же собрал завидную коллекцию записей, а то и просто таскает динамики — тоже приобщен. Но это явно нечто большее, чем способ самоутвердиться.

Очевидно, здесь мы имеем дело не с обычной музыкальной продукцией, где есть исполнители и аудитория с четким барьером между ними.

Характерная черта рэгги — поразительная скудость тематики при огромном потоке песен. Создается впечатление, что это даже не просто строго каноническое искусство, но упражнение на заданную тему по жестким единообразным правилам. Это жанр, который не творится, а практикуется.

Любое отступление от канона встречается с негодованием и не только не воспринимается как рэгги, но и вызывает ярость как нечто кощунственное. Боб Марли, приспосабливавший в угоду фирме грамзаписи некоторые свои песни к нормам западной рок-музыки, до самой смерти рискованно балансировал на грани канона ради популярности за пределами Ямайки, причем даже благожелательные рецензенты всегда отмечали, что в некоторых песнях не соблюдены требования «вибрации корней», что тот или иной текст носит коммерческий характер.

Музыкант рэгги должен презирать эстраду, где зарабатывают деньги, развлекают и т. д. Он проповедует, «исполняет миссию», «открывает истину».

Стиль песен рэгги — это стиль проповеди: особый, доверительный, обличающий или призывный тон, множество риторических вопросов и ответов на них, прямые обращения к слушателю. Это монолог, подразумевающий паству, о чем певец постоянно напоминает. Вот образцы текстов Боба Марли: «Это тебе, это тебе, это тебе я все это говорю!», «Так что же, братья, // Так что же, сестры, // Какой же путь изберем мы с вами?»

Шумный успех рэгги в 70-е годы способствовал «интернационализации» культуры

растафари, совершенно неожиданно превратившейся из локального культа в мировой поп-феномен — во многом благодаря индустрии поп-пузыки.

С другой стороны, рэгги все активнее осваивала коммерческая эстрада. Так, в середине 80-х под рэгги в Британии работал певец под псевдонимом «Смешливая Культура», а в октябре 1982 г. на первое место в британском хит-параде выходит черная группа «Музыкальная молодежь» с безобидной переделкой на другой текст «фундаменталистской» песни ортодоксальной группы «Майти даймондс» Передай-ка мне трубку с марихуаной».

В итоге рэгги в качестве «культуры корней» вытесняется в 80-е новой субкультурой — более живым и ироничным стилем хип-хоп.

Основой стиля хип-хоп стал рэп. Корни рэпа теряются в африканской традиционной культуре: автору приходилось наблюдать в Анголе подобные рэпу состязания на ритмичность, когда двое играющих детей отбивают какой-либо ритм, все усложняя и ускоряя его, пока одним из них не собьется. Другая африканская фольклорная основа рэпа, очевидно, связана с празднествами культа плодородия и декламациями, посвященными событию и оплодотворению. Как бы там ни было, рэп, как и брэйк-данс, является удивительным примером того, как формы художественной культуры в самой «низовой» простонародной среде сохраняются веками.

Обрывочные сведения о подобных рэпу состязаниях среди афроамериканцев встречаются издавна, но впервые научно описаны рэп и его формы («дазнс» и «сигнифайинг», также называемые «talking shits») в 30-е годы в Гарлеме и Южном Бронксе. Подростки соревновались в том, чтобы как можно четче и ритмичнее сымпровизировать по определеным строго каноническим правилам стихотворный текст, состоявший из поочередно проговаривавшихся трех четверостиший (отсюда — «дазнс», или «дюжины»).

Целью рэпа (само слово означает «перебранка», «свара», «ругань») было как можно больнее оскорбить противника, но не его самого, а его мать или сестру, и кто проявит большее красноречие и чувство ритма — тот и молодец. Зачин (первое четверостишие) был посвящен бахвальству: прославлялись достоинства импровизатора с изрядными преувеличениями. Затем следовал столь же преувеличенно презрительный отзыв о сопернике.

«Сигнифайинг» близок русской скороговорке, но с очень сложной версификацией и доведенной до виртуозности аллитерацией. Такая скороговорка насчитывает десятки строк, причем верхом совершенства считается импровизация аллитерационным (акцентным) стихом с использованием единственной рифмы и одной аллитерации на протяжении всего текста. Ритм при импровизации подчеркивался прищелкиванием, прихлопыванием, пританцовыванием.

Хотя рэп превратился в жанр, накрепко ассоциировавшийся со сквернословящими малолетками из черных гетто, американские филологи давно относятся к нему всерьез. Исследованы десятки стандартных приемов и риторических фигур рэпа, опубликованы сотни и тысячи собранных образцов. В рэпе вскрыты африканские архаические пласты, давно исчезнувшие в других жанрах городского фольклора.

Шоу-бизнес сначала не признавал рэп, не считая его искусством, как прыжки девчонок через скакалку не считаются хореографией. Между тем появились мастера, поражающие виртуозным владением искусством скороговорки и спонтанного стихосложения. Лишь в 1979 г. вышла первая пластинка, попавшая в хит-парад «черной музыки». Правда, и прежде дворовый жанр привлекал черных поэтов. Помимо пластинки Имаму Амири Бараку, Хаки Мадхубути также записал в сопровождении «Ансамбля африканских освободительных искусств» пластинку своих стихов «Рэппинг энд ридинг», но это соотносилось с настоящим рэпом, как Краснознаменный ансамбль — с солдатским фольклором. К концу 70-х в массовую культуру переходит чистый, уличный рэп в первозданном виде и тут же превращается в ее жанр.

Параллельно «институализируется» и другая составляющая стиля хип-хоп — брэйк-данс. Впервые он был описан в прошлом веке в Новом Орлеане как «Конго сквер данс» (на Площади Конго собирались отдохнуть, повеселиться и посостязаться в танце рабы, здесь же проходил знаменитый карнавал «Марди грас», на котором рабы соревновались, объединившись по этническим группам). Но смутные упоминания об акробатических танцах рабов встречаются и раньше, а схожие элементы хореографии встречаются как в Африке, так и среди диаспоры (например, бразильская «капоэйра» — смесь танца с боевым искусством). Этот танец-состязание в сложнейших акробатических трюках также до поры неприметно существовал среди черных подростков и воспринимался презрительно, как «искусство ниггеров». И лишь в обстановке «черной культурной революции» 60-х отношение к нему — теперь уже как к «наследию» — переменилось, и он попал на улицы, став обычным зрелищем для американских городов.

К моменту «коммерциализации» брэйка существовали два стиля: нью-йоркское «верчение» и лос-анджелесский «pop-locking» («электрик буги»). Первый («низкий брэйк») самым эффектным приемом имеет верчение тела параллельно земле на полусогнутой руке, на спине или бедре. Второй состоял из особых движений, как бы «замыкающих» на мгновение суставы. Танцор дергался, словно под током. Вопреки происхождению от архаических корней этот стиль был воспринят западной публикой как пародирование робота и «технотронной цивилизации».

В отличие от долговременной моды на рэп интерес к брэйку упал уже через пару лет. Сейчас в массовой культуре брэйк как бы растворился в рэпе, став его составной частью.

Интересно, что в последние годы в массовой культуре Запада вызвала бум эклектическая смесь западной поп-музыки с фольклором стран третьего мира в оригинальном, почти не искаженном исполнении, часто с привлечением традиционных музыкантов. Это направление получило название «этно-поп» (также World beat, или World music). На этно-попе специализируется целый ряд студий грамзаписи, в основном расположенных в Париже — столице этно-попа.

Интерес к традиционным стилям, вспыхнувший отчасти благодаря рэгги, теперь уже не

ограничивается африканской и антильской музыкой. Из азиатских исполнителей популярны певица Наджима, исполняющая на урду джазовую версию традиционных любовных песен в стиле хазап, и «мистический суфист» пакистанец Нусарт Фатх Али-хан. Причудливой смесью африканских, японских, славянских, арабских и гавайских, а также множества других элементов являются композиции японского музыканта. Р. Сакамото.

Успех этно-попа в последние годы ошеломителен. По словам одного из ведущих продюсеров этно-попа М. Мейсонье, мир переживает золотой век экзотического фольклора и «этнической музыки». Этнический стиль затронул также дизайн, модную одежду и т. д. Как считает известный модельер афроамериканка Джанува Моджа, ближайшее десятилетие станет «золотым веком черного искусства». Именно так было названо и основанное в ноябре 1989 г. движение GABA (Golden Age of Black Art), занимающееся культурными, политическими и философскими аспектами этого ожидаемого расцвета. В марте 1991 г. в Гарвардском университете состоялась всемирная конференция этого движения.

В чем же причина стремительного вторжения неевропейского фольклора в поп-культуру?

Согласно распространенному среди западных социологов представлению, культура Нового времени делится на три этапа: 1) классовая культура (XVII—XIX вв.), характеризующаяся делением на рабочих и хозяев. Этому периоду свойственно четкое деление на элитарную и народную культуру; 2) массовая культура (с начала XX в.), связанная с потребностями серийного индустриального конвейерного производства и унификацией рабочей силы и вкусов потребительского рынка, приведшая к нивелировке классовых, этнических и региональных культурных особенностей; 3) постмодернистская культура (с 60-х годов), связанная с переходом к «информационному обществу» и превращением культуры в непосредственную производительную силу, когда культура становится одновременно и продуктом и товаром. В таком обществе человек осознает себя в социальном отношении через культурные образы и образцы. При этом все эти образы навязываются человеку не путем нивелировки культуры, но наоборот — в условиях разнообразия и тиражирования множества индивидуальных реальностей на любой вкус, на деле иллюзорных и ложащихся поверхностным слоем многоцветной пены на прочный однородный монолит, созданный на предыдущем этапе. Производство иллюзорных идентичностей создает впечатление, что расовые, культурные и другие различия не только не подавляются, но напротив — переживают расцвет, поощряются господствующей культурой. Промышленное производство бесчисленных культурных идентичностей ведет к потере различия между «образами» и «реальной жизнью». Но для этого производства требуются многочисленные образцы экзотической реальности, которые массовая культура и черпает в фактах давней истории, а также в третьем мире..

Экзотические элементы издавна были излюбленной темой контркультуры и культурного бунтарства. Теперь их использует конформистская массовая культура, что, по-видимому, можно считать своего рода отражением тенденции к глобальному культурному синтезу, к универсализации культурно-исторического бытия человека, складыванию общепланетарной цивилизации. Начавшись несколько ранее в элитарной художественной и научной среде, сегодня этот процесс — процесс объединения в диалоге — затронул и массовую культуру.

Критика

Сведенборг, Достоевский, Милош: уравнение с тремя неизвестными

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ДОСТОЕВСКИЙ И СВЕДЕНБОРГ

Перевод с английского Б. ДУБИНА

За первые двадцать лет после смерти Достоевского книг и работ о нем появилось совсем немного. Поворотным пунктом стал рубеж веков: после 1900 года число публикаций, сначала на русском, а затем и на других языках, неуклонно росло. К середине столетия в кругу исследователей Достоевского вполне утвердился своего рода канон, так что вообразить себе некий новый ход мысли можно было лишь с большим трудом. Обращаясь сегодня к взглядам Достоевского либо к стилистическим принципам и структуре его романов, обнаруживаешь, что любой подход хоть кем-то да использовался. Итак, Достоевского, как и Ницше, открыли и освоили в первой половине XX в. Именно за это время он вырос до масштабов фигуры, какой является взору теперь, именно тогда в нем признали предшественника новейших течений в европейской литературе и философии.

Если смотреть из нынешнего дня, прошлое, по мере удаления во времени, естественно, меняется, а иные привычки мысли, когда-то почитавшиеся вечными, обнаруживают свою условность. Но именно этими привычками объясняются те белые пятна, или невольные пропуски, которые бросаются в глаза, как только вопрос о месте Достоевского в истории ставится вновь. На нижеследующих страницах я попробую наметить несколько подходов, которые могут оказаться полезными в будущем, когда нынешняя промежуточная стадия завершится. В качестве удобного катализатора воспользуюсь именем Эмануэля Сведенборга.

Сопоставлять Достоевского и Сведенборга можно по двум линиям. Во-первых, культурное запаздывание России сделало русскую интеллигенцию открытой для внезапного нашествия европейской научной мысли, столетия которой оказались спрессованы в несколько десятилетий. Поэтому Достоевский как религиозный мыслитель во многом близок к религиозным мыслителям Запада, которые задолго до него пытались противостоять разъедающей напасти научных открытий. Нередко он выглядит и даже звучит двойником Паскаля. В конце концов именно Паскаль был в семнадцатом столетии крупнейшим из авторов, включившихся в борьбу за веру против скептицизма. Точно так же для Достоевского неприемлемы Век Просвещения, воплощенный в Вольтере, и наука века девятнадцатого, воплощенная в Клоде Бернаре (вспомним Бернаров из «Братьев Карамазовых»). Как теолог, схлестнувшийся с рационалистической наукой своего времени, Сведенборг ищет поддержки в воинственном духе первоначального христианства, но ровно та же тенденция прослеживается и у Достоевского.

Другая линия связи — прямые заимствования Достоевского из Сведенборга. Здесь нет натяжки: доказательства легко обнаружить даже среди книг библиотеки Достоевского. В ее каталоге, опубликованном в 1922 г. Леонидом Гроссманом [1], описаны три такие, принадлежавшие перу А. Н. Аксакова, книги: «Евангелие по Сведенборгу. Пять глав Евангелия от Иоанна с изложением и толкованием их духовного смысла по науке о соответствиях» (Лейпциг, 1864); «О небесах, о мире духов и об аде, как то слышал и видел Сведенборг», перевод с латинского (Лейпциг, 1863) и «Рационализм Сведенборга. Критический анализ его учения о Святом Писании» (Лейпциг, 1870). А. Н. Аксаков был крупнейшим в России пропагандистом спиритизма (или, как бы мы сказали теперь, парапсихологии) — интерес, крайне недоброжелательно встреченный Достоевским в «Дневнике писателя». Однако именно благодаря исследованиям и переводам Аксакова он познакомился с книгами Сведенборга и взял из них то, что потребовалось ему для собственных целей.

СВЕДЕНБОРГ И ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в.

В первой половине нашего века немало внимания уделялось так называемому символизму в поэзии. Странно, что при подобной сосредоточенности Сведенборг остался малоизвестным. Ведь, уже не говоря о прочем, бодлеровский сонет «Les correspondances» [2] — краеугольный камень символистской поэтики — заимствует заглавие и содержание у Сведенборга. Казалось бы, простое любопытство могло подвигнуть исследователей литературы обратиться к исходному образцу, а не его позднейшим копиям. Но у всякой эпохи свои пыльные запасники, где хранятся обесцененные реликвии прошлого. Сведенборга задвинули туда вместе с шарлатанами, чудодеями и ясновидцами, весьма

[1] *Л. П. Гроссман.* Семинарий по Достоевскому. М; Пг, 1922, с. 42.

[2] Соответствия *(франц.)*.

типичными для далеко не столь разумного Века Разума,— фигурами вроде графа Калиостро, легендарного графа Сен-Жермена и основателя мистических лож во Франции Мартинеса Паскуалиса. Принять Сведенборга всерьез было слишком рискованно, да никто, кажется, и не понял, как же к нему все-таки относиться.

Не будем строги за это невнимание ни к современникам, ни к потомкам Сведенборга. В любом случае он был человеком исключительной судьбы. Широко известный ученый, ведший исследования в разнообразных областях — от геологии до анатомии, член Королевской горнодобывающей комиссии в Швеции, он пережил внезапное озарение, бросил занятия наукой и создал объемистое oeuvre [1], в котором описал свои путешествия по раю и аду и разговоры с духами. Он по-прежнему посещал высший свет, к которому принадлежал как советник короля, но, существуя, по его собственным словам, в ином мире, сохранял дружелюбие и юмор, обезоруживавшие любого, кто был почти готов счесть его сумасшедшим. После его смерти в 1772 году его переведенные на английский книги создали ему круг приверженцев, и новообращенные организовали церковь сведенборгианцев в Новом Иерусалиме. Романтизм не обошел Сведенборга, приспособив его к собственным нуждам. Эфирный мир духов, противопоставленный миру материальному, оказался для романтиков весьма соблазнительным; только это — и напрасно! — они и увидели в Сведенборге. Типичный пример подобного недопонимания — бальзаковская «Серафита».

Во времена Бальзака и Бодлера легенда о Сведенборге была еще жива, но в последующие десятилетия заметно поблекла. К интересующему нас периоду — первой половине двадцатого столетия — Сведенборг стал в лучшем случае загадкой для исследователей умственных расстройств. Для примера нынешней шаткости, если не беспомощности, в оценках назову лишь два имени.

Первое — Карл Ясперс, опубликовавший в 1922 году исследование шизофрении; в качестве знаменитых шизофреников он избрал Стриндберга, Ван Гога, Сведенборга и Гёльдерлина. Второе имя — Поль Валери, чей этюд о Сведенборге 1936 года по-своему занятен. Некогда Валери находился в самой гуще символистского движения. Кроме того, он несколько десятилетий господствовал на французской литературной сцене в роли блестящего эссеиста. Он признает, что Сведенборг всегда был для него не более чем литературным мифом и остался загадкой даже после труда посвятившего ему столько сил автора (этюд Валери служил предисловием к французскому изданию книги о Сведенборге шведского исследователя Мартина Ламма). Книга так и не дала ответа на занимавший Валери вопрос: как возможен Сведенборг? Поэтому ему пришлось взяться за дело самому, отказавшись от общепринятых гипотез, будь то идея шарлатанства либо сумасшествия. Однако его собственное, психологическое, объяснение выглядит еще неубедительней ясперсовского клинического диагноза и выдает позитивистскую подоплеку мысли Валери. Его, в конечном счете слабый, этюд приоткрывает позитивистские основы французского символизма, его глубочайшую внутреннюю раздвоенность. Для Валери видения Сведенборга — нечто вроде грез наяву: они рождаются между сном и бодрствованием. Думаю, что не посягну на святыни, предложив считать это признание Валери — особенно если учесть обычную остроту его ума — скептической оценкой возможностей человеческого разума. Он весьма деликатен и выражает свое уважение к «действительной» реальности природы и человеческого общества; другая же реальность — реальность художника, ясновидца — это отдельная и самостоятельная область, к которой равно применимы или неприменимы и понятие истины, и понятие заблуждения.

Сведенборг — не единственный неудобный в ту пору писатель. Назову еще одного: Блейк. В начале нашего века вопрос об умственных способностях Блейка обсуждался вполне серьезно, и, вопреки сопротивлению его почитателей, ряд подобных работ, опубликованных в тридцатых и сороковых годах, дошел-таки до образованного меньшинства. То, что сегодня Блейк — одна из крупнейших фигур в английской словесности, знак серьезных перемен. А примирение с Блейком должно пробудить интерес и к Сведенборгу, и не только потому, что Блейк испытал его влияние, но и потому, что Сведенборг, прочитанный глазами Блейка, куда понятнее.

Давайте поставим вопрос прямо: что, Сведенборг на самом деле странствовал по раю и аду, взаправду беседуя с духами? Естественно ответить: конечно же нет. Просто он верил, будто вдруг, скажем в минуту, когда ждет гостей или прогуливается по саду, попадает в иной мир. Все это происходило у него в уме. Фактически мы признали, что Ясперс со своим вердиктом «шизофрения» был прав. Замечу только, что уже романтизм относился к Сведенборгу ровно так же, как позднейшая позитивистская психиатрия: он тоже признавал разрыв между материальным (то бишь реальным) и духовным (то есть иллюзорным), только ставил на призраках нашего сознания знак «плюс», а не минус. Если же, читая Сведенборга, заручиться поддержкой Блейка, ситуация меняется в корне. И вопрос, и ответ Блейк отвергает как полный абсурд. Он читает Сведенборга, как Данте: перед ним — произведения высшей способности человека, дара Воображения, благодаря которому все мы однажды сольемся в Богоподобное Человечество. Силой Воображения истины духовного мира обретают зримую форму. В некоторых — и весьма существенных — чертах не соглашаясь со Сведенборгом, Блейк все-таки считал его систему ближе дантовской: Данте он обвинял в атеизме. «Бракосочетание Рая и Ада» Блейка следует Сведенборгову образцу, и автора, думаю, немало бы позабавила работа, где его заставляют «действительно» видеть тех демонов и ангелов, которых он описывал. Краеугольный камень проблемы — и серьезный вызов мысли — состоит в том, что Блейк равно уважительно относился и к воображению Данте, который был поэтом, и к воображению Сведенборга, чьи труды изложены скучноватой латинской прозой. Современники считали Данте человеком, посетившим загробный мир. Но Ясперсу ведь и в голову не пришло назвать его шизофреником, поскольку во времена Ясперса право поэта выдумывать — то бишь лгать —

[1] Произведение, наследие *(франц.)*.

признавалось безоговорочно. Последствия эстетических теорий, вырастающих на руинах научной и технической революции, не так просто оценить. Под давлением привычки мы уже готовы воскликнуть: «Ну да, Сведенборг написал художественное произведение, понимая, что это всего лишь искусство». Однако вывод этот при всей своей соблазнительности совершенно несостоятелен. Ни Сведенборг, ни Блейк не были эстетами: они и не думали замыкать духовное в сфере искусства и литературы, противопоставляя ее материальному миру. Рискуя, как в любом определении, упростить вопрос, я бы все же сказал, что их прежде всего занимала *энергия,* высвобождающаяся в непрестанном взаимодействии Воображения с чувственным миром.

СВЕДЕНБОРГ В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ»

Учение о соответствиях проходит через всю книгу Сведенборга «Рай и ад», которую Достоевский мог приобрести или прочесть в аксаковском переводе, когда в 1865 году был в Германии. Напомню место и дату ее публикации: Лейпциг, 1863 год. «Преступление и наказание» начато в Висбадене в 1865-м. Сколькими обязан Сведенборгу Бодлер в своих «Цветах зла», хорошо известно; но сильнейшее воздействие Сведенборга, по-моему, чувствуется и в «Преступлении и наказании». Громадный фантасмагорический город, будь он Парижем, который Бодлер буквально именует «la cité infernale» [1], или Санкт-Петербургом, где Раскольникова осаждают ночные кошмары, предстает современным воплощением Дантова ада; в описании его скрыто присутствует учение о соответствиях. Для вящей убедительности можно было бы привести не один пассаж из Сведенборга. Это, однако, выходит за пределы небольшой статьи, а потому ограничусь лишь несколькими цитатами.

«Что такое соответствие,— замечает Сведенборг,— нынешнему дню неведомо по многим причинам, главная из которых та, что человек собственною волей покинул рай из любви к себе и к этому миру». То, утраченное, ви́дение охватывало Творенье целиком, поскольку «природный мир соответствует миру духовному, и не только в общем своем естестве, но и в любой частице своей, так что все в природном мире, произрастающее из мира духовного, носит имя «соответствие». Умом человек включен в духовный мир, а потому «любые телесные проявления, относись они к лицу, речи или движениям членов, называются соответствиями». Суть Сведенборгова учения, на мой взгляд, в том, что он довел антропоцентрические представления христианства до мыслимого предела. Максима «Что наверху, то и внизу» давно сформулирована герметическими ответвлениями христианства с их системой зеркал, благодаря которым большой мир отражается в малом, так что идея соответствий прочно вошла в алхимическую традицию и в учение Якоба Бёме. Но Сведенборг пошел дальше. Для него все мироздание, вся его единственно значимая — небесная и духовная или же адская — сущность приобретает вид человека. «Итак, было показано, что весь рай отражает одного-единственного человека и есть тем самым образ человека, а потому именуется Величайшим Человеком». Отсюда и особая важность всего человеческого, поскольку мир, к которому применяют понятия физики и химии, на самом деле существует лишь затем, чтобы наделять человеческое воображение архетипами, а язык — знаками. И каждый может жить непрестанной связью с Величайшим, Космическим Человеком — иными словами, жить в Раю, а может порвать с ним и устремиться к Космическому Злому Человеку — по-другому говоря, жить в Аду. Умирая, он попадает в один из бесчисленных эдемов, или преисподних, то есть в сообщество людей одинаковых наклонностей. Всякий рай или ад — точнейшее воплощение состояний духа данного человека, пережитых им на земле, и потому имеет соответствующий облик — прекрасного сада, рощицы или трущоб гигантского города. Тем самым весь чувственный мир в дальнейшем сопровождает человека как источник либо радости, либо страдания — так с помощью единожды выученного алфавита можно написать и утешительную и убийственную книгу. В восемнадцатом столетии Сведенборг не единственный открыватель этого непривычного измерения — внутреннего мира. Другие тоже стремились хоть что-то противопоставить миру ученых, понимавших человека как механизм, увиденный извне. Отличаясь друг от друга, разные мыслители совпадали в этом одном — стремлении внутрь: здесь и Беркли с его esse est percipi — быть значит быть воспринятым, и Кант с категориями разума, и, конечно же, Блейк. То, что Сведенборг взял за основу состояния духа и их образы, оказалось весьма привлекательным для романтиков и символистов. Но, сместив акценты, они фактически пришли к прямо противоположной идее. Соответствия — это не символы, которые поэт или романист волен избирать по собственной прихоти. Если слово «символ» здесь вообще уместно, я бы назвал их «объективными символами», предустановленными Богом и предопределенными самим устройством природы и человеческого воображения. Духовидец, пророк раскрывает их смысл, и Сведенборг, приписывавший себе профетическую роль, истолковывает с их помощью скрытое духовное значение Библии. Все это имеет мало общего с литературой, по крайней мере для Сведенборга. У него символы вовсе не предназначаются служить опорой, узаконивающей бесконтрольный субъективизм или — в демократическом духе — устанавливающей равенство любых субъективных символов и метафор. Некоторые поэты, правда, заметили, что символы обладают далеко не равнозначной силой, и предпочли среди них те, которые уходят корнями в архетипы. Но это уже совсем иной предмет, от Достоевского — по меньшей мере, на сознательном уровне — достаточно далекий.

В «Преступлении и наказании» улицы Санкт-Петербурга, пыль, вода каналов, лестницы наемных квартир увидены как бы глазами Раскольникова, они — что-то вроде горячечных состояний его ума. Сны героя, его похожая на гроб комната и сам город сплетаются в сложнейшую символическую ткань романа. Все это может напомнить читателю раннего Достоевского и показаться развити-

[1] Адский город *(франц.)*.

ем приемов «Двойника» или «Хозяйки». Есть в романе, однако, герой, настолько близкий к духам Сведенборга, что кажется, сошел прямо со страниц «Рая и ада». Это Свидригайлов. Понятно, что он притягивает многих читателей и исследователей, чувствующих в нем непривычные, прежде не встречавшиеся в романах Достоевского черты. Немалую роль в романной символике играют имя, внешность и поступки Сони; но в Свидригайлове угадываешь совершенно иное измерение: как ни ощутимо его присутствие и сколь ни детализирована биография, он словно только что прибыл из загробного мира и обречен вернуться туда. Все в нем — первое посещение Раскольникова, черты облика, жестикуляция, речь, сны — напоминает о соответствиях Сведенборга. Стоит посмотреть на него, живого человека, с этой стороны, и он окажется меланхолическим обитателем ада. Замечу в скобках, что сильнейшую близость Свидригайлова самому Достоевскому критики вниманием не обошли, но, насколько я знаю, ни один не обратился для подкрепления своих догадок к истокам имени героя. Достоевский был явно не безразличен к прошлому своего семейства и любил отсылки к предкам — дворянам, владевшим в герцогстве Литовском имением Достоево. Среди правителей Литвы в пятнадцатом столетии есть герцог Свидригайла, фигура хорошо известная. Ни у одного другого героя Достоевского литовского имени нет.

Однако разгадывать авторские шарады — занятие достаточно нелепое. Важно, что себялюбие как центральная тема появляется в «Преступлении и наказании» в двух обличьях: в образе Раскольникова, раз за разом осознающего силу этой страсти, и его двойника Свидригайлова, которому открывать в себе нечего, поскольку он хорошо знает собственную дьявольскую природу и чувствует, что обречен дьявольскому проклятию. По Сведенборгу, себялюбие свойственно всем обитателям преисподней, а она, кроме всего прочего, устроена весьма разветвленно. Цитирую: «Предела разнообразию зла, как и добра, нет. Истина эта не под силу тем, кто представляет всяческое зло —например, презрение, враждебность, ненависть, месть, ложь и другие воплощения злого — простым. Пусть же знают: каждое такое зло вмещает в себя столько тончайших различий, каждое из которых вновь содержит бесчисленные различия, что общее их число невозможно исчислить. Потому преисподние и устроены по-разному, соразмерно разным видам зла, так что вряд ли что́ еще на свете может быть с подобным совершенством упорядочено и расчленено. Оттого понятно, что преисподним несть числа». Раскольников — мыслящий человек девятнадцатого столетия, отвергший рай и ад, которые живописует христианская иконография, а вместе с ними — и бессмертие души. Разговор его об этом со Свидригайловым — одна из самых странных сцен в мировой литературе.

«— Я не верю в будущую жизнь,— сказал Раскольников.

Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде,— сказал он вдруг.

«Это помешанный»,— подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством воскликнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе».

Разве этот образ собственноручного ада не сошел прямо со страниц Сведенборга? Пауки, тарантулы, скорпионы как символы зла настолько часто повторяются у позднего Достоевского, что заслуживают, пожалуй, имени соответствий. Приведу пассаж Сведенборга об этих преисподних, созданных из соответствий окружающим нас предметам: «Некоторые преисподние похожи на руины домов и городов после пожара, в которых обитают и скрываются духи ада. Иные, не столь жестокие, походят на грубые конуры, порою скученные в виде городов с переулками и улицами, где в домах гнездятся духи ада, занятые непрестанными сварами, враждой, драками и жестокостями, тем временем как на улицах и в переулках творятся кражи и грабежи». А в бесконечном разнообразии преисподних, конечно, найдется место и для деревенской бани с пауками [1].

Свидригайлова мучат постоянно являющиеся ему привидения, но он не гонит их от себя как простые призраки. Он склонен думать, что «привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало». Сны накануне самоубийства у него настолько ярки, что скорее напоминают видения, чем цепочку смутных образов, еле связанных логикой сна. Они даже ужаснее сна, приснившегося Раскольникову после убийства. Неверно видеть в «Преступлении и наказании» роман, толкующий о своеволии лишь Раскольникова, ведь на более глубоком уровне в романе есть еще одно преступление и еще одно наказание: свидригайловское насилие над ребенком и его самоубийство. Но уверены ли мы, что Свидригайлов на самом деле совершил это преступление? Не совсем. Гроб с лежащей среди цветов, как шекспировская Офелия, четырнадцатилетней девочкой может навести на мысль, будто он ее изнасиловал, доведя этим до самоубийства. Если так, Свидригайлов, надо сказать, слишком чувствительный демон, поскольку в следующем сне его жертва преображается уже в пятилетнего ребенка и доводит до ужаса, открывая глаза и смотря на него «огненным и бесстыдным взглядом». Читая о предполагаемых свидригайловских злодеяниях, попадаешь в ситуацию биографов Достоевского, знающих о его наваждении, но не решающихся принять написанное за правду.

---

[1] В сведенборговой системе нет ни ангелов, ни демонов — только спасенные и проклятые души. На это намекает Достоевский в записях 1875—1876 гг.: «Есть ли черти? Никогда не мог представить себе сатаны. Иов. Мефистофель. Сведенборг. Дурные люди... о Сведенборге».— Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради, 1860—1881 гг. М., 1971, с. 392 (Литературное наследство. Т. 83).

В «Преступлении и наказании» изнасилование ребенка воплощает саму суть зла; Ставрогин из «Бесов», и без того несущий в себе всех демонов России, признается в «Исповеди» в том же грехе. Но и его беседа с Тихоном оставляет читателя неудовлетворенным. Невозможно поверить, будто Ставрогин и вправду совершил то, о чем рассказывает. Цель его исповеди, безобразной еще и по стилю выражения, не ускользает от Тихона: для Ставрогина это акт вызова, а не покаяния, он не прощения просит, а хочет вызвать ненависть и презрение. Если это верно для его манеры выражаться, то верно и для содержания исповеди, а в таком случае и всю историю насилия он мог попросту придумать. Кажется, чувство вины у Достоевского неотступно искало выражения в одном и том же символическом событии, повторяющемся — как нерушимое соответствие — снова и снова. Материя, из которой соткана эта символическая реальность и преисподние Сведенборга, одна, и она не подвластна общепринятым разграничениям яви и воображения, объекта и субъекта.

Чтобы объяснить элементы фантастики в ранней прозе Достоевского — скажем, чудачеств Голядкина-младшего в «Двойнике»,— вполне достаточно литературной родословной, уводящей к Гоголю и Гофману, как старший Голядкин рациональнейшим образом сводит их к душевной болезни. Начиная же с «Преступления и наказания», доступный рациональному истолкованию покров над событиями исключительными и странными становится все тоньше, и они перестают быть простыми химерами. Рациональное объяснение вынуждено ловчить, облекаясь в ту или иную внешнюю форму: состояния между сном и бодрствованием в ночь накануне самоубийства Свидригайлова; исповеди Ставрогина; засыпания в «Сне смешного человека», чье путешествие в отдаленное прошлое человечества само по себе не содержит ничего сновиденного; либо, как в «Братьях Карамазовых»,— мрачного, психопатологического названия главы «Черт. Кошмар Ивана», хотя ни Иван, ни читатель в конце концов так и не убеждены, что черт — всего лишь продукт умственного расстройства героя.

ДОСТОЕВСКИЙ-ЕРЕСИАРХ

Более чем вероятно, что Достоевский в период работы над «Преступлением и наказанием» читал Сведенборга и вдохновлялся теологией, в которой столь важное место уделено воображению. Заимствовал ли он оттуда и что́ именно, с точностью сказать трудно: единственное исключение здесь, вероятно, свидригайловская баня с пауками. Но ход мысли Достоевского-теолога куда сложнее возможного заимствования деталей, и тексты Сведенборга могут тут, видимо, кое-что подсказать.

По воспоминаниям Надежды Мандельштам, Анна Ахматова называла Достоевского и Толстого ересиархами [1]. Это верно. Ни поразительный ум, ни страстность, ни непомерная цена не удержали их от проповеди странных, если не сказать диких, учений. Непримиримые по сути, они сходились в попытке приспособить христианство к тому, что считали нуждами современного человека. Но, как заметил еще Соловьев, толстовское «подлинное» христианство, разбавленное руссоизмом, начинало все больше напоминать атеистический буддизм. В обширном наследии Толстого-проповедника метафизический смысл Евангелия испаряется: на дне остается лишь моральное поучение. Пожалуй, я не преувеличу, сказав, что Достоевский — если за точку отсчета взять фурьеристскую фазу, когда он принадлежал к кружку петрашевцев,— начал тем, чем Толстой закончил.

Когда речь идет о Сен-Симоне, Фурье или Жорж Санд, нужно помнить о христианизированном словаре утопического социализма. Отвергая христианскую церковь, но ставя себя под знак Евангелия, утопический социализм до известной степени наследовал таким народным христианским движениям прошлого, как гуситы или анабаптисты, провозглашавшие возврат к первоначальной чистоте раннехристианских общин. Но за теми же словами скрывались глубочайшие перемены самой веры — итог Просвещения XVIII в. Во главе угла теперь не Христос, а социальная утопия: сам Иисус почитается лишь как ее провозвестник, величайший учитель и реформатор. Как известно, Достоевского перевернули злые и уничижительные слова Белинского о Христе. В пору наибольшей близости к петрашевцам все было иначе: толки о Фурье и Консидеране не задевали его душевной привязанности к Спасителю как воплощению нравственного идеала, поскольку касались лишь Царства Божия на земле — цели, думалось, близкой и легкодостижимой. Позднее вся жизнь Достоевского, начиная с омской каторги, будет отмечена непрекращающейся борьбой в его душе между двумя образами Христа: одним — недостижимым образом совершенства во плоти, подвластной закону смерти, и другим — празднующим победу над смертью Богочеловеком. Это не замеченное гуманистами и социалистами из кружка петрашевцев противоречие предопределило последующее творчество Достоевского вплоть до самого пронзительного воплощения в «Легенде о Великом Инквизиторе». Великий Инквизитор спорит с Христом точно так же, как утопический социалист со своим воображаемым провозвестником, который — в обоих случаях! — отказывается от навязанного титула, больше того — утверждает, что ученик его не понял. Ведь на самом деле Христос учит, что Царство Божие — не от мира сего и даруемая им человеку свобода не ведет решительно ни к какому совершенному обществу. Поэтому лишь Богочеловек, стремящийся возвысить человека до предназначенного ему божественного уровня, вправе требовать от него принятия подобной свободы. Утопист в Достоевском так томится по Царству Божию на земле, что встает на сторону Великого Инквизитора. Отсюда — горячая речь внутренне расколотого автора, вложенная в уста трагического старца. Божественная природа Христа выступает здесь главным препятствием человеческому счастью на земле, а потому должна быть отвергнута. Но как только главной целью провозглашают земное счастье людей, ум диалектика обнаруживает, что оно достижимо лишь ценою полного упразднения человеческой свободы. Тем самым спор выражает глубочайшее отчаяние Достоевского при мысли о раз-

[1] *Н. Мандельштам*. Вторая книга. М., 1991, с. 223.

рушении христианской веры — в нем самом, в русской интеллигенции, в Западной Европе. Это и толкает его к первым попавшимся и малопригодным средствам. Перед лицом великого «или — или» — или христианская цивилизация, или тоталитарное государство Шигалева и Великого Инквизитора — он наперекор всему верит в третий путь и цепляется за Святую Русь с мужиком внизу и царем над ним как единственно возможную опору христианства, а потому и свободы человека.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И БОЖЕСТВЕННОЕ

Вопрос о двух природах Христа лежит в основе всего творчества Достоевского, он же предопределяет и его переход от социалистической утопии к национальной. Говорить, что в какой-то момент он под влиянием Белинского становится атеистом (что бы это слово ни значило), абсолютно неверно: в сороковые годы он одержим образом Христа-учителя не меньше, чем позднее, на каторге. И все же Достоевский несомненно пережил в Омске душевный переворот; отныне потребность в вере стала для него совершенно ясной. Его многократно цитированное письмо к Фонвизиной от 1854 года, написанное в связи с освобождением от каторги, уже содержит в себе зародыш тех внутренних противоречий, которыми будут мучиться потом его герои:

«Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Заключительные слова вполне могли бы принадлежать ересиарху. Кто бы это смог *доказать* Достоевскому, будто Христос вне истины? Ученый или философ, для которых все подчиняется определенным законам и которые на рассказ о воскресении Христа из мертвых лишь пожмут плечами, видя в нем вызов разуму? Ведь именно к этому роду доказательств — отсылке ко всеобщему порядку Природы — особенно чувствительны герои Достоевского, в той или иной мере выражающие «интеллектуальную сторону» его личности — Ипполит в «Идиоте», Кириллов в «Бесах» и Иван Карамазов. Напомню слова святого апостола Павла: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Первое послание к Коринф., 15, 14). Ипполит, Кириллов, Иван и Великий Инквизитор — от противного! — уверены, что все именно так и есть, но понимают: если это так, если Христос, предрекая свое воскресение, заблуждался, то мир — все-го лишь скверная шутка дьявола. Самому Достоевскому, или той части души автора, которая противится скепсису его героев, «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной», что фактически уступает поле боя так называемому научному мировоззрению. За противопоставлением веры разуму стоит древняя трагедия, но противоположность веры и истины — чудовищная новинка, опасно поощряющая любой самообман [1].

Но может быть, у этого загадочного высказывания есть и другой смысл. Поскольку Евангелие — не трактат по этике и порою противоречит себе, многие христианские мистики советовали держаться за личность Христа, а не за сформулированные нормы и ценности. Совет, нет слов, хорош, только его мог бы дать и сектант: он открывает возможность перетолковывать образ Христа, как заблагорассудится любому человеку или сообществу. Подозреваю, что русский Христос Достоевского связан именно с таким крайним произволом.

ВТОРЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ — И ГНОСТИЦИЗМА

Здесь необходимо краткое отступление. Христианство нового времени, начиная с Ренессанса, возобновляет древний спор с философской мыслью. Вначале, в Римской империи, это была греческая философия; усвоенная и приручennая церковью, она тем не менее попыталась восстановить свою независимость и в конце концов — усилиями так называемого гуманизма — доказала собственную мощь, став вдохновительницей современной науки. Говоря точней, одно крыло греческой мысли при этом предпочли и обратили против другого, которое спутали с наследием иудаизма. Характерно возрождение в XVI в. ереси антитринитариев, известной также как арианство, хотя сам Арий был осужден Никейским собором за много столетий до этого, в 325 году. Быть может, стоило бы вообще говорить о единой ереси как таковой, прослеживая ее под разными личинами на протяжении всей истории христианства. На первый взгляд, «светоносная», рационалистическая направленность Ренессанса (и, конечно, арианства с его отвержением догм, недоступных пониманию) не имеет ничего общего с нынешней «темнотой» эзотерических учений. Но, как и в эллинистическом мире, это лишь две стороны одной философской монеты. Начало антитринитарным нападкам положили еще гностики второго века, введшие представление о двойственности, отделив евангельского Христа от ветхозаветного Бога. Учение о Троице — трех ипостасях, обозначающих Отца, Сына и Святого Духа — и было развито ранней церковью в ответ на этот гностический разлом, нарушавший непрерывность Откровения в истории. С самого начала в сердцевине гностической ереси со всеми ее логическими выкладками

[1] Здесь Достоевский близок к Кьеркегору, но последний разрешает противоречие, избирая «внутреннее», «субъективное» и потому отождествляя веру с истиной: «Истина — именно такой шаг, что в стремлении к бесконечности избирает объективную неопределенность». «Но подобное определение истины есть точнейшее выражение веры». «Вера — это противоречие между бесконечным устремлением изнутри и объективной неопределенностью» («Заключительное ненаучное послесловие»). Можно вспомнить мысль Майстера Экхарта: «Если Бог способен отпасть от истины, я уцеплюсь за истину и обойдусь без Бога».

лежало глубочайшее отвращение к миру как области зла: ответственный за это зло Бог не мог быть совершенным, тогда как Христос был истинным Богом (или воплощал Его) [1]. Далее, идя по уже проложенной стезе, вмешались манихейцы. С тех пор учение о природе Христа — любимая сфера еретиков. Они противопоставляют Искупление Творению, Спасителя Иегове, либо же вводят идею превосходства человеческой природы Христа, поскольку через кенозис он как бы «лишается» собственно божественных качеств. Скрыто или явно, все эти проблемы присутствуют в главных романах Достоевского.

Богословие Сведенборга — и как христианина, и как ученого нового времени — одна из самых заметных попыток справиться с догматом Троичности, так или иначе признанным всеми тремя ветвями христианства — римско-католической, православной и протестантской. Он обвиняет все три вероисповедания в том, что они учат верующих представлять себе трех разных богов и под видом непонятной для человеческого разума формулы протаскивают все то же языческое многобожие. Но не принимает он и арианского решения проблемы: для ариан Христос либо наделен иной, чем у Бога-Отца, природой, либо же попросту человек. Для Сведенборга Христос — только Бог, и не вопреки, а именно потому, что родился человеком. Абсолютно христоцентричное, вероучение Сведенборга и абсолютно антропоцентрично. Наиболее священные для него книги Завета — Евангелие от Иоанна и Апокалипсис; замечу, что их больше других почитал и Достоевский. Кредо Сведенборга — возглас апостола Фомы, коснувшегося Христовых ран: «Господь мой и Бог мой!» Человек сотворен по образу и подобию Божьему, поскольку Отец наш в раю — Человек, а рай для Сведенборга, как я уже говорил,— Величайший Человек.

Сравнивать писательский дар Данте и Сведенборга — занятие рискованное, но их картины «других берегов» — два главных памятника, оставленных воображением нашей цивилизации. Дантовская космология принадлежит средневековью, а теология зиждется на Фоме Аквинском, чьи силлогизмы приспособили греческую философию к католическим нуждам. Значение человека, сотворенного и искупленного Богом, для Данте обеспечено центральным местом нашей Земли во вселенной. Но ко временам Сведенборга вселенная исчезла в вихре крутящихся планет и звезд. И если бы не единственный человек, Христос, Бог во плоти, человечество умалилось бы до космической пылинки, частного случая в непостижимом механическом распорядке вещей. Может быть, именно поэтому внимание Сведенборга сосредоточено на Богочеловеке — предвечном Творце и вместе с тем Искупителе. Относить Сведенборга к антитринитариям неточно: он лишь хотел выдвинуть новое понятие Троицы. Но его ученик Уильям Блейк, волею случая взбунтовавшийся против учителя, серьезно пересмотрел Сведенборгово учение, избрав Человечью Форму Божества ключом к тайнам мира. В преображенных Блейком (в отличие от Сведенборга) религиозных понятиях явственно видны гностические корни: Бог-законодатель у него приравнен к Дьяволу, Элохим — к низшим демиургам. Сотворение мира, представленное Блейком как акт божественного милосердия уже *после* грехопадения первого человека (или разом с ним, что то же самое, поскольку времени еще нет), выглядит чистым манихейством. По учению основателя манихеизма Мани (ум. в 277 г.), после того как Царство Света смешалось с Царством Тьмы, один из низших демиургов был вызван Царством Света сотворить из этой смеси мир, дабы со временем он мог достигнуть чистоты.

Сведенборг (и Блейк) очеловечили или *вочеловечили* Бога и мироздание до такой степени, что все на свете, от мельчайшей частицы до звезд и планет, служит лишь одной цели — быть источником знаков для человеческого языка. Воображение человека, выраженное в языке и приравненное в высших своих образцах к Священным Видениям, правит всем и искупает все, воплощая эру Нового Иерусалима. Человек — снова центр мира, хотя его земля и вселенная — уже не в центре мироздания. Христианская стратегия Сведенборга (и Блейка), вероятно, параллельна маршруту Святого Фомы, полагавшего, будто философия (или, по крайней мере, отец философов Аристотель) должна быть усвоена христианской мыслью. Однако в восемнадцатом веке перед подобной стратегией стояла уже более трудная задача: усвоить предстояло оба ответвления философии — и рационалистическое крыло, и более темную еретическую традицию дуализма, раскола между Творением и Искуплением. А это становилось возможно, если считать, что Божественное — это человеческое в его вечном измерении, а Человеческое — Божественное в его возможности.

Но и Сведенборг, и Блейк балансировали на самом краю, где неустойчивое равновесие между христианской верой и ее антихристианским отрицанием угрожало в любую минуту рухнуть. Отсюда был уже только шаг до обожествления Человека, а там и до пришествия «европейского нигилизма», предсказанного Фридрихом Ницше. Наша эпоха, вторая половина XX в., отмечена трагикомической попыткой скрыться от самой проблемы с помощью так называемой «теологии смерти Бога», которая начинает с идеи богоподобного человечества, чтобы прийти затем к полной ее противоположности. Прочтите книгу о Блейке, принадлежащую перу одного из главных теологов этой школы [2], и вы поймете, как это делается: выручает, как всегда, Гегель. К чести Достоевского, надо отметить, что при всей диалектике превращений Богочеловека и Человекобога в его романах он всю жизнь отчаянно сражался против тех, кто стирал непримиримую противоположность между двумя этими полюсами.

[1] «Резюмируем основные пункты гностической трактовки отдельных положений regula fidei, правил веры: а) различие между вышним Богом и творцом мира, а отсюда противоположность искупления и творения, откуда и раздельность посредника в откровении от посредника в творении; б) отделение вышнего Бога от Бога Ветхого Завета, а тем самым отвержение Ветхого Завета и утверждение, будто Ветхий Завет не содержит откровений вышнего Бога или содержит их лишь в отдельных высказываниях; в) учение о независимости и вечности материи; г) утверждение, будто нынешний мир возник из грехопадения человека или из действий, противных Богу, а потому есть плод зла или промежуточного бытия; д) учение о том, что зло неотделимо от материи и тем самым является физической силой (так!); е) утверждение о существовании эонов, т. е. реальных сил и райских существ, воплощающих абсолютность Божества» (*Адольф Гарнак*. «История догматов»). Гарнак приводит и другие, дополнительные пункты.

[2] *Томас Дж. Альтицер*. Новый Апокалипсис: радикальное видение христианства у Уильяма Блейка (1967).

ПОДХОД ДОСТОЕВСКОГО

Описывая библиотеку Достоевского, Леонид Гроссман указал на возможное влияние Сведенборга в том, что принято считать последним словом автора по проблемам веры — я имею в виду поучения старца Зосимы о молитве, любви, аде и соприкосновении мирам иным [1]. Насколько я знаю, намек Гроссмана не подхватили, и работ по этой проблеме нет. Действительно, старец Зосима во многих своих изречениях, особенно в беседе об аде и адском огне, звучит очень похоже на Сведенборга. Жизнь человека, по Зосиме, есть «мгновение любви деятельной, *живой*» и даруется ему как время и пространство для приложения этой любви. Драма вечной жизни — в краткости встречи со временем и пространством, которые вскоре исчезают, так что все пережитое остается лишь в сознании человека. Огонь ада — внутри проклятых и напоминает о том, как они прожили свою земную жизнь: «Для тех ад уже добровольный и ненасытимый». «Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое».

По мысли старца Зосимы, манихейская ненависть к творению — черта отверженного Богом. Но, вслед за Сведенборгом и Блейком, Достоевский пытается как-то усвоить ересь и включить ее в собственное учение о Христе. В романе это, пожалуй, труднее, чем в теологическом трактате или поэме. Достоевский как бы говорит: если представление о Богочеловеке, свободном от греха, что-то значит, тогда в природе человека должен быть хоть намек на то, как это возможно. Вот почему Достоевский тратит столько сил, пытаясь сделать героем романа абсолютно хорошего человека. И терпит крах. Князь Мышкин — его живое опровержение: поступки князя свидетельствуют, до какой степени себялюбие — в природе человека и как мало человеческого в том, кто этой страсти лишен. Мышкин с его абсолютным самозабвением, свободой от агрессии и сексуальных притязаний — ничуть не меньшее чудовище внутренней опустошенности, чем Ставрогин с его неукротимым себялюбием. Старец же Зосима взят напрямую из жития святых и остается в стороне лишь потому, что защищен от наших расспросов авторитетом раскаявшегося грешника. Что до Алеши, он убедителен, пока ведет себя как один из Карамазовых и породнен с ними той же темной, бешеной кровью. Его проповедническая деятельность среди школьников и заключительная сцена их братства, признаюсь, отдают мелодрамой и слишком Schmalz [2]. За художественной фальшью здесь стоит фальшь натужной коллективистской веры Достоевского, ересь его взглядов, с особенной резкостью выраженных в публицистике. Алеша, христианский наставник, должен воплощать образ будущего русского Христа и окружен двенадцатью юными учениками, но, по странной игре стилистического случая (а у случая тоже свой стиль!), искомая церковь вдруг обращается в отряд бойскаутов. Сомнительно, чтобы удалось достигнуть Царства Божия на земле, превратив человечество в бойскаутов. Вот почему эти главы «Братьев Карамазовых» читаются как невольная пародия. А Шатов в «Бесах», поклоняющийся русскому народу-богоносцу, но не верующий в Бога, выглядит как саркастическая шпилька Достоевского себе самому.

В истории бунта Человека против Бога и законов Природы Сведенборг напоминает целителя, который стремится снять печати со священных книг и этим сделать бунт ненужным. Открыв, что Бог есть Человек, он убедил себя, будто исполняет Христово пророчество послать однажды в мир Утешителя, Дух Истины, и что Дух этот глаголет его устами. Простодушная христология Сведенборга помогает высветлить мучительную и измученную христологию Достоевского. Кроме того, подобное сближение выявляет некоторые блейковские моменты в творчестве Достоевского, и слыхом не слыхавшего о Блейке.

В бунте Достоевского ощутима подчеркнутая, преувеличенная моральная чувствительность: миропорядок должен быть отвергнут, поскольку оскорбляет нравственное чувство человека, ведь мир полон страданий и смертей живых существ, беспрестанно мучащих друг друга. Такому природному порядку предназначен противостоять идеальный человек Христос. Но, к несчастью, для бунтовщиков он всего лишь человек, ошибки которого тоже предстоит исправить, отсюда — логическое заключение о неизбежном пришествии Человекобога. Не лучше ситуация и с «положительными героями» Достоевского. Вероятно, он не способен придать им убедительность потому, что исходит из утопического (фурьеристского) представления об идеальном человеке как существе абсолютно незлобивом, скромном и попросту лишенном собственного «я». Уильям Блейк был удачливей: он отличал Воображение, порабощенное Призраком — собственным «Я», от Воображения, находящего этому призраку как неизбежной черте человеческой природы должное место. Подобная оценка человеческих способностей выглядит заметно реалистичней. Но поражения Достоевского — и, может быть, даже ярче его побед — свидетельствуют о неистребимости дилеммы, возникшей почти восемнадцать столетий назад под видом спора между раннехристианской церковью и гностицизмом. Обожествление человека и вместе с тем ненависть к миропорядку как воплощенному злу — занятие опасное и внутренне несостоятельное.

---

[1] *Л. П. Гроссман.* Цит. соч., с. 15.
[2] Слащавый *(нем.)*.

БОРИС ДУБИН

МИЛОШ О СВЕДЕНБОРГЕ, УДВОЕНИИ МИРА И ЕРЕСИ ЧЕЛОВЕКОБОЖЕСТВА

Заметки переводчика

Собственно говоря, все, что Милош хотел, он выразил, и смысл сказанного должен быть уяснен изнутри его самого. Это задача читателя. Но всякое слово живет отсветами и перекличками. И, может быть, небесполезно наметить хотя бы некоторые из внешних контекстов милошевской мысли, вместе с тем более отчетливо прочертив отдельные смысловые ходы внутри текста; конечно же, систематический комментарий, уточнения и полемика — не предмет для вводных заметок, они — дело будущего.

Кстати, уже первые абзацы милошевского эссе говорят о многом. Обычное сравнение сопоставляет новое, малоизвестное со старым, распространенным, чем и рутинизирует его до избитого, таким образом познавая. В новой книге комментируются именно те места, о которых уже написано в прежних книгах. Милош поступает иначе. Не без иронии отметив канонизацию Достоевского в первой половине столь скептического к авторитетам XX века, он соединяет обезвреженного классика... с позабытым, а то и вовсе неизвестным чудаком и маргиналом из культурного «захолустья», почитаемым разве что такими же (как сказали бы революционно-демократические российские критики) «мракобесами», как он сам. Что же получается? Прежде всего, размораживается Достоевский как мавзолейный экспонат — отодвинутый и увековеченный раз и навсегда: он возвращается, во-первых, в собственное прошлое, когда для него еще ничего не было решено, а сам он отнюдь не был идолом; во-вторых же, вводится внутрь определенной, хотя и замалчиваемой классиколюбами традиции, точней — даже в скрещение разных традиций (романтической, утопической, гностической и др.). Милош делает то, что и делает обычное творческое мышление: создает новое, отменяя этим время как предустановленную структуру и иерархию и подключая его как созидательное многообразие возможностей. Понятно, что малоизвестность Сведенборга Милошу нисколько не мешает, а, скорее, на руку. Думаю, он бы в данном случае согласился с Борхесом, утверждающим — вслед за Элиотом,— что каждый новый писатель перестраивает наше представление не только о будущем, но и о прошлом, создавая себе собственных предшественников...

Но поскольку и нашему читателю Сведенборг, надо полагать, не слишком хорошо известен, напомню минимум сведений о нем, не думая с необходимой полнотой рассказывать о «жизни и творчестве» (русскоязычным читателям можно порекомендовать обстоятельную статью В. С. Соловьева в словаре Брокгауза—Эфрона). Эмануэль Сведенборг родился в 1688 г. Через отца, лютеранского епископа, семья была связана, с одной стороны, со священнической элитой страны, с другой — с королевским двором (Еспер Сведберг — настоящая фамилия отца — был придворным священником); через мать — с академической элитой и, опять-таки, с двором — дед Сведенборга служил асессором Королевской горнорудной коллегии (горнорудным делом будет заниматься впоследствии и наш герой). В семье царили пиетистские настроения, душевный мистицизм. Сам Эмануэль мальчиком отличался необычными способностями: задерживая дыхание, впадал в транс, убежденный, что через него говорят ангелы...

Сведенборг получает отменное светское образование на философском факультете Упсальского университета (в обучение входили естественные науки и математика). Для завершения и усовершенствования образования едет в Лондон, затем посещает Голландию, Бельгию, Францию и Германию (разъезжать по Европе и жить в гостиницах он будет потом всю жизнь). Переводит и комментирует античных авторов (Сенеку), выпускает две книги стихов (как правило, написанных на случай). Но главное — его неутомимый ум изобретает одну диковину за другой, перечнями которых он переполняет письма к родным. С 1716 г. начинает издавать научный журнал «Северный Дедал» (выходит шесть выпусков). Он профессионально работает в десятках областей науки: в математике и физике, астрономии и анатомии, минералогии и психологии, философии и политэкономии, финансах и правоведении. Научные открытия (атомарная структура материи, предвосхищения волновой теории света, фундаментальные работы по кристаллографии) сопровождаются прикладными разработками — способов обнаружения руд и измерения высоты приливов, проектов летательного аппарата и субмарины, усовершенствований каналов и плотин и т. д. Он избирается членом Упсальской и Стокгольмской академий, почетным членом Санкт-Петербургской академии. Научное признание и влияние при дворе растут.

Швеция переживает в этот период трудное

время. После долгого подъема энергии и амбиций поражение в Северной войне приводит к краху имперских притязаний. Страна лишается многих территорий, своего ведущего положения среди балтийских держав. Складывается что-то вроде комплекса национального унижения. Зато возросшие претензии предъявляет духовенство. Человек глубоко верующий, Сведенборг, однако, не разделял центрального положения лютеранства — доктрины о предопределении, предызбранности как к спасению, так и к погибели.

С 1736 г. он начинает записывать необычные, нередко эротические, сны, с 1744 г. делает это регулярно (записи составят «Духовный дневник»). В 1745 г. в Лондоне он переживает духовный кризис, процитирую Соловьева: он «почувствовал, что открылись глаза внутреннего его человека, и с тех пор он стал... переноситься духом в небо, ад и... мир духов, где виделся и беседовал со многими известными ему лицами, частью недавно, а частью и давно умершими». Практически оставив естественнонаучные занятия, он предается комментированию библейских текстов и созерцанию иных миров, выпуская один за другим объемистые догматические, философские и экзегетические труды. Наиболее крупные и известные среди них: «Небесные таинства» (1749—1756, 8 тт.), «О рае, мире духов и аде» (1758), «Новый Иерусалим и его небесное учение» (1758), «О любви супружеской» (1768), «Союз души и тела» (1769), «Истинная христианская религия» (1771).

Этот переворот часто сравнивают с духовным обращением Паскаля. Но надо заметить, что сам Сведенборг ни о каком «перевороте» в своих воззрениях не упоминает, как бы продолжая делать то же дело, по крайней мере, разрыва между ними не чувствуя. (В общении Сведенборг сохраняет прежнюю ясность ума и чрезвычайную обходительность; домохозяйка, правда, вспоминает, каких мучений порой ему стоило касание миров иных.) Ключевая для духовидческой системы Сведенборга идея соответствий, как легко показать, сформулирована им уже в «Экономии животного царства» и трактате «О душе», а само представление о символизме природы — давний принцип, восходящий к неоплатоникам, утвердившийся в обиходе науки (например, у Галилея) и распространенный в современном Сведенборгу естествознании. О «Библии природы» пишет изобретатель микроскопа голландец Сваммердам, но и близкий к масонам-розенкрейцерам педагог Ян Амос Коменский (а Сведенборг, сам к масонам не принадлежавший,— фигура для них весьма авторитетная).

Вообще, непереходимого барьера между двумя этими сферами — природоведением и богознанием — ни для Сведенборга, ни для большинства его современников, уж не говоря о предшественниках, не было. Судя о физике Галилея по серым школьным учебникам, мы забываем, до какой степени она вдохновлялась идеализмом Платона и мистикой неоплатонизма (это блестяще представлено в трудах Александра Койре), и тем самым попадаем в ловушку своих «привычек мысли», о которой предупреждает Милош уже на первой странице.

Поэтому противопоставление горнего и дольнего, сквозящее в словах Гердера, что духовидца в Сведенборге вдохновляет минералог, или в романтическом негодовании Эмерсона на Сведенборга, который-де «классифицирует души, как ботаник цветы, и исследует преисподнюю как пласт мела или роговой обманки», принадлежит, вообще говоря, другому складу ума, иному мировоззрению. Ближе к сути взвешенная реплика Борхеса, увидевшего в книгах Сведенборга «труды человека, который объездил многие неведомые земли и спокойно, подробно рассказывает о них». Этот оттенок «научного сообщения» читатель, надо думать, почувствует и по публикуемым ниже отрывкам из «важного заключительного сочинения» (по характеристике Соловьева) «Истинная христианская религия» (1771). Перед нами своего рода «адоведение», или «адоописание», на манер, скажем, землеописательных компендиумов тогдашней географии («первым исследователем потустороннего мира» назовет Сведенборга Борхес). Порой в детальности Сведенборга проступает, на нынешний взгляд, какой-то почти комический оттенок: см., к примеру, приводимый Соловьевым колоритный рассказ о пребывании в левом желудочке сердца Бога (Милош в этой связи вспоминает реализм английского просветительского романа «Робинзон Крузо», можно бы вспомнить и оптику повествования о Гулливере у великанов). Но и здесь справедливее будет судить по «привычкам мысли» его собственной эпохи.

А если говорить о них, то Сведенборг — сын своего века по крайней мере в трех важных для нас обстоятельствах (мыслительные привычки науки XVII—XVIII вв. подробно реконструированы Мишелем Фуко). Во-первых, это представление о тотальном, сквозном символизме природы: все — значимо. Об этом уже говорилось; добавлю только, что в письме Стокгольмской Королевской академии Сведенборг видит пример соответствий между природными и духовными предметами в египетских иероглифах (тема универсального языка, введенная еще платоновским «Кратилом»). Отсюда — второе: идея не-двойственности мира, который в духовном своем существе не может не быть единым. Эмерсон говорит здесь о тождестве Природы, сам Сведенборг — о равенстве Бога себе везде и всегда; наши современники Мераб Мамардашвили и Александр Пятигорский — о единстве сознания. И, наконец, венчает эти первопринципы понятие классификации. Эмблемой эпохи мог бы быть систематик природы соотечественник Сведенборга Карл Линней с его номенклатурой родов и видов. Сам Сведенборг был всю жизнь одержим образом энциклопе-

дии, индекса, тезауруса явлений: укажу хотя бы на «Тезаурус библейских эмблем и аллегорий» (1759—1763) или опубликованный лишь после смерти «Иероглифический ключ к тайнам природы и духа» (1784). За классификацией — те же представления о единстве, целостности мира, его не-двойственности — проблемный узел, из которого, мне кажется, и родилось эссе Милоша, прослеживающее, как ширится щель между все более плоско, физико-химически понимаемым миром позитивизма и улетучивающимся (уже в импрессионистской живописи) образом человека, который эпоха мнит наконец-то воссоздать «реалистически»... А корень этого раскола и последующей смыслоутраты (потеря реальности — это потеря ее смысла!) Милош возводит к гностическим ересям, параллельным первоначальному христианству и постоянно сопровождающим его позднее (антитринитарии и социнианство, «свободный протестантизм», теология «смерти Бога» и т. д.). Завязывается такой, парадоксальный на первый взгляд, узел: манихейство — познавательный дуализм (раскол на объект и субъекта познания с возникновением у Декарта нерешаемой «психофизической проблемы») —романтическая идеология — позитивистская картина мира — «реалистическая эстетика». Ловушки мысли на этом пути, затемнения в образе человека Милош — по неизбежности бегло — и отмечает в своем эссе, обращаясь к ним фактически во всех своих прозаических книгах.

Вернемся, однако, к Сведенборгу. Если не навязывать ему наших собственных оценок, то можно сказать так: он пережил некий особый духовный опыт, столкнулся с небывалым и рассказал о нем так, как умел, оставаясь детищем своего века. Что же он, говоря кратко, увидел и как описал? Прежде всего подчеркну его позицию. Все, о чем он сообщает, не чудеса, а свидетельства (тезис, восходящий, я думаю, к теме свидетельства в Евангелии от Иоанна). В трактате «О любви супружеской» он пишет: «Знаю, многие из читающих эти страницы увидят в них плод воображения; со всей торжественностью заявляю, что это не выдуманное, а действительно бывшее и виденное, и я видел все, что описал, не во сне, но в совершеннейшем бдений» (никаких промежуточных состояний на грани бодрствования и сна, о которых говорит Валери, как видим, в помине нет).

Важно, кроме того, понять, что описываемый Сведенборгом мир — «внутренний». Соловьев в этой связи говорит о субъективности сознания, открытой Сведенборгом до Канта, и сближает его с субъективизмом Беркли (это сопоставление есть и у Милоша). Напомню, что в перечне юношеских открытий, о которых Сведенборг сообщал в письме мужу своей сестры, библиотекарю Упсальского университета, значился «метод открывать желания и чувства ума посредством анализа» (одержимые манией предшественничества исследователи видят здесь предвосхищение психоанализа). Попросту говоря, это не мир химии или физиологии: в нем царят не физические предметы или их пространственно-временные характеристики, а состояния и отношения сознания. Скажем, длина (далекость или близость) — не объективный физический параметр, а наполненное смыслом отношение между двумя сознаниями, так что близкие — сходны друг с другом, а далекие — удалены друг от друга, чужды; то, что длина Иерусалима в Библии соответствует его ширине, означает гармонию, совершенство, а не равносторонность квадрата. Понятно, что рай, который составляют ангелы — души, избравшие спасение и свет,— бесподобен в своей белизне и блеске. Он обращен к зрению, раскрыт ему (апология зрения — еще одна черта мысли XVIII в., отсюда — метафора Просвещения), предельно явен, а соответственно — приподнят, тяготеет к холмам, вершинам. Ад же — темен и скрыт, теснясь в пропастях и расселинах, ямах и норах, трущобах гигантского города (Лондона?). Но и тот и другой — не места, не области, а содружества душ, исчисляемых сотнями и тысячами. Ангелы похожи, как члены одной семьи (но никто не подобен друг другу полностью). Тело же каждого демона есть образ его ада. Иначе говоря, здесь действует сила уподобления, подобия общего. Души потому и составляют содружества, что они близки друг другу. Но в раю они тянутся друг к другу и к источнику света, тяготея к открытости, что выражается музыкой; суть же души, избравшей ад и не могущей и секунды провести в раю (она здесь задыхается),— в себялюбии, отторгающем ее от других, почему и в сообществах демонов царит мрак, плач и скрежет зубовный (понятно, что эти зубы — не по ведомству дантиста: тут нужен не врач, а духовник).

И, наконец, третья особенность (о ней отчасти уже упоминалось): здесь правит закон соответствия. Это тот же самый мир; иной, нездешний он лишь по степени концентрации в нем смысла. В земном мире смысл разрежен, зияет прорехами и пустотами, в запредельном же он — сама полнота смысла, абсолютная смысловыраженность. Символически это воплощается в том, что здесь те же «предметы» и «люди» (у ангелов есть даже книги и библиотека!), но не инертные и безгласные (как физические вещи), не жертвы предопределения или игрушки обстоятельств (как в мире социальном, построенном по правилам физического), а целиком свободные в выборе и полные сознанием (повторю, здесь всё — значимо). Ангелы, сказано у Сведенборга, не могут стоять друг за другом, они всегда видны полностью, поэтому чем больше ангелов, тем просторней: они ведь не «наполняют» собой пространство, а сами и есть простор (образ этот, думаю, вполне бы оценил Рильке). В одном из раннехристианских евангелий царство небесное определяется исчезновением различий:

внешнее в нем как внутреннее, а внутреннее как внешнее. Именно такой явленный мир предстает на страницах Сведенборга.

Вне-физичность этого, вполне реального для Сведенборга, мира — не только в его принадлежности сознанию, духовной природе, в смысловой сверхнагруженности (позднее, у Блейка, таким станет мир воображения, а еще поздней Ортега-и-Гассет увидит в переходе от восприятия к воображению суть Нового времени). Он сам представляет собой человека, совершеннейшего Человека по Божию образу и подобию (Сатаны же как человекоподобного воплощения ада у Сведенборга нет: «Сатана» это особое подразделение ада, его особое качество). Нечеловеческой реальности в мире Сведенборга не может быть, его мир в любом случае соотнесен с человеком, имеет его в виду, осмыслен и пережит им. И «природа» этого мира — тоже человеческая, она — в свободе и любви, и никакой иной природы (физической, химической или, если взять новейшие времена, генетической) здесь не существует: она не могла бы стать предметом сознательного опыта и выбора человека, а потому не вправе служить ему истолкованием и объяснением. Опять-таки противоречия со Сведенборгом-естествоиспытателем тут нет: его физико-космологические разработки были движимы поисками бесконечности и бессмертия, как психологические труды — поисками души, руководимой любовью. Единство человека, воплощающего божественную суть, и скрепляет для Сведенборга мир здешний и мир тамошний в целостность вселенной, бесконечность которой есть вечность души, в ее свободном волеизъявлении движимой любовью (дантовская «Любовь, что движет Солнце и светила»).

Антропоцентризм Сведенборга Милош не раз подчеркивает. Он и сам неоднократно признавался в антропоцентричности собственных взглядов при скорее настороженном отношении к природе. Понятно, в виду имеется идеологизированная Просвещением природа, выступающая предельной инстанцией в объяснении человека. (Паскаль по сходному поводу говорил, что после того, как человек утратил собственную природу, природой уже может быть всё.) Отдельная от человека, «равнодушная природа» противостоит мальчику из автобиографического романа Милоша «Долина Иссы» (тема ее жестокости еще усилена в фильме Тадеуша Конвицкого по мотивам книги). Но раскрывающаяся детскому сознанию как его собственная реальность, природа окружает брата и сестру почти домашним уютом в стихотворном цикле «Мир (простые стихи)».

Однако непослушный и дотошный разум Милоша не упускает из виду ловушку антропоцентризма — гордыню себялюбия, возводящую собственное космическое одиночество в нигилистическую добродетель. Сам перенос внимания в новейшее время с объекта на субъект для Милоша — шаг к восстановлению единства мира, к его нерасколотости. Но есть здесь тонкая грань: незаметная подстановка, когда на место человека по образу и подобию Божьему выходит коллективистский миф «нового человека» или патология индивидуализма — постницшеанский сверхчеловек в удручающем обличье хозяина мира. Милош на этот раз соединяет Предвечного Человека гностиков и каббалистов с Антропосом мечтаний Фурье и колоний Оуэна. Для постромантиков, кстати, Фурье стоит рядом со Сведенборгом (так их объединяет в своих «Рукотворных небесах» Бодлер), и не случайно Эмерсон пишет в письме Карлейлю о «сведенборгианцах как секте, больше других способствующей выработке новой веры». К очерченному выше комплексу идей примыкает теперь романтический утопизм и вполне прагматическая перестройка мира «до основанья и затем», а двоемирие гностиков, позднее помноженное на волю к власти и монополизм обладания истиной, обращается в двоемыслие русской и советской действительности в главе «Россия» книги Милоша «Наша Европа» (Россия здесь выстраивается вокруг Достоевского).

Стоит, однако, отделять Сведенборга от его последователей, как и отношение Милоша к Сведенборгу — от его недоверия к натужности коллективистских мифов и националистических восторгов Достоевского. Сведенборг для Милоша — не гностик, а, скорее, неоплатоник, для которого горнее и дольнее не расколото, но, напротив, сопряжено иерархией переходов и степеней (отсюда — понятие среднего мира, мира духов, как и духовных ангелов, наряду с небесными и природными; «гигантским кристаллом» увидел Сведенборгову Вселенную Эмерсон). В этом смысле Милош согласен с заключением своего духовного наставника и родственника французского поэта и духовидца Оскара Венцеслава де Любич-Милоша: «Система Сведенборга служит своего рода метаэстетикой»; Любич-Милош назвал Сведенборга «новым Фаустом, но без его трагедии личности». И все же последователь и оппонент Сведенборга Блейк делает следующий шаг, превращая сведенборговского Человека в Художника, открывая для последующего романтического авангарда соблазны — эстетической гордыни и демонической игры в саморазрушение. Тем парадоксальней, что в рамках именно этой романтической традиции и сохраняются за веком век имя и авторитет Сведенборга.

В этом смысле пора внести поправку в сказанное ранее о безвестности Сведенборга. Конечно, он никогда не входил в «классическую», официальную традицию — ни в науке, ни в культуре. В письме он сообщает о том, что за два месяца в Лондоне продано лишь четыре экземпляра только что вышедших «Небесных таинств». Видный теолог эпохи Иоганн-Август Эрнести видит в сочинениях Сведенборга «роман наподобие «Подземного

странствия Нильса Клима» (пародийная утопия датского писателя XVIII в. Людвига Хольберга), протестантские теологи требуют признать невменяемым, а Кант в своих «Грезах духовидца» высмеивает Сведенборга, пересказывая тогдашние досужие анекдоты (в письмах он, впрочем, живо интересуется нашим героем и осторожно прощупывает почву для знакомства). Но известный английский поэт Джон Крабб в 1810 г. пишет о поклонниках Сведенборга как заметной черте лондонских улиц, а к концу этого века насчитывается уже 355 общин сведенборгианцев вплоть до Африки и Австралии, Индии и Японии. Однако культурный авторитет северному пророку создавали, думаю, не эти общины, а «вторая» традиция — содружества и сообщества близких по духу читателей, передающих известия о нем от одного к другому, из уст в уста (кстати, распространение идей Сведенборга затруднялось еще и тем, что труды его были написаны на латыни, выходившей к тому времени даже из научного обихода, не говоря уж о кругах образованных, где посредником служил французский язык). В Германии от масонов через Гердера и Гёте эта линия ведет к Шеллингу и романтикам. В Англии от уже упоминавшегося Блейка к Колриджу, Де Куинси, Теннисону, Рёскину, Браунингам. Во Франции от Бодлера, Бальзака и Нерваля — к Аполлинеру и «Манифесту сюрреализма». В России от тех же масонов (и среди них В. Л. Пушкина и Карамзина) к пушкинской «Пиковой даме» (а она, в свою очередь, повлияла на «Преступление и наказание», что проследил А. Л. Бем), Далю, киевской философской школе (П. Д. Юркевичу), Соловьеву, ученику Юркевича, а далее — к русскому философскому возрождению (Бердяев) и — не без влияния Стриндберга — к символизму (Брюсов, Белый, Блок). Цепь, охватывающая эти умственные кружки верных, своего рода утопические колонии мысли, проходит через страны и века. Есть тут свои узловые фигуры — на них сходится внимание многих. Для Франции это, видимо, лирик и духовидец, знаток и наследник оккультных традиций Востока и Запада Жерар де Нерваль, для Англии — маргинал и коллекционер чудачеств и пророчеств Де Куинси, для Америки — Эдгар По. Перед нами что-то вроде метемпсихоза — превращений единой души сквозь сменяющиеся времена и широты. Эмерсон писал об одухотворявшей Сведенборга жажде перешагнуть границы времени и пространства — вот один из возможных, пусть и скромных, путей к подобному бессмертию...

Несколько слов вдобавок к милошевской трактовке Достоевского. О гностицизме русского писателя немало говорили русские философы серебряного века, особенно Бердяев, крайне к этой проблематике чувствительный. Любопытны отношения Достоевского с российским спиритизмом. Его, кроме А. Н. Аксакова, представляли известный химик А. М. Бутлеров и несправедливо забытый (опять эта тема!) Николай Петрович Вагнер, автор трудов по зоологии, профессор, организатор Соловецкой биостанции и автор философских сказок и повестей с героями-сновидцами. Вместе с Аксаковым Вагнер и Бутлеров организовали серию медиумических сеансов, где присутствовали Боборыкин, Лесков, Достоевский, оставивший записи в «Записных книжках» и выступивший с полемикой в «Дневнике писателя» за 1876 г.. Бешено полемизировал со спиритизмом и будущий тесть Блока Д. И. Менделеев, борясь вместе с тем «за» Бутлерова. Позднее трудами Аксакова и Сведенборгом заинтересовался Брюсов, в юности близкий к спиритам, а потом — к масонству.

Милош встроился в эту цепочку, с одной стороны, через своего уже упоминавшегося наставника и родственника, автора «Таинств» и «Великого Искусства», которому посвятил главу в книге «Наша Европа» и немало других прочувствованных страниц. С другой же — через Достоевского, курс по творчеству которого читал в университете Беркли (как читал здесь и курс по манихейству). И Достоевский и Сведенборг, равно как и «вторая» традиция, их соединившая,— среди главных действующих лиц книги Милоша, названной цитатой из Блейка «Земля Ульро», и гарвардского цикла лекций «Свидетельство поэзии».

Нынешней публикацией к этой цепи присоединяется новое и, надеюсь, не последнее звено.

ЭМАНУЭЛЬ СВЕДЕНБОРГ

ИЗ КНИГИ «ИСТИННАЯ ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ»

Добавление, касающееся мира духов

792... Человек после смерти сохраняет свои свойства во всей полноте, да так, что первое время еще не осознает, что живет уже в другом мире. Он видит, слышит, говорит, гуляет, бегает, сидит, лежит, спит и пробуждается, ест и пьет, испытывает радости супружеской жизни, как в предыдущем мире; одним словом, он человек в полном смысле слова. Тем самым смерть — это не угасание жизни, а просто переход к жизни иной...

794. Опыт многих лет позволяет мне ручаться за следующие факты. В духовном мире, так же как и в природном, имеются поля, долины, горы, холмы, ручьи, реки, парки, сады, рощи, леса, города, дома, сочинения, книги, различные работы, золото, серебро и драгоценные камни. Словом, в духовном мире имеются все те вещи, которые существуют в природном мире; но вещи на небесах неизмеримо более совершенны...

795. В ином мире я встречал большое число людей, среди них европейцы, азиаты и африканцы разнообразных религий; поэтому мне хотелось бы добавить к этой работе краткое описание положения некоторых из них. Однако надлежит усвоить следующее: в духовном мире положение каждого находится в соответствии с его признанием и почитанием Бога. Все те, кто в сердце своем признают Бога, должны, следовательно, признать Богом Господа Иисуса Христа, искупителя и спасителя, пребывающего на небесах. Те, кто не признали его, находятся ниже небес и этому научаются; принимающие его взбираются на небеса, кто же отказывается — ниспадает в ад.

МЕЛАНХТОН [1]

797. Я многое узнал о Меланхтоне не только от ангелов, но и от него самого, поскольку общался с ним, хотя и не так часто и не так близко, как с Лютером. Это потому, что он не мог приблизиться ко мне настолько, как Лютер, ибо он был очень привержен идее оправдания только верою и исключения любви, а я был окружен ангельскими духами, чью любовь он находил отвратительной.

Я узнал, что когда он вошел в духовный мир, то был обеспечен домом, подобным тому, в котором жил в этом мире. (Так происходит с большинством лиц в первое время их появления, и именно поэтому они думают, что находятся еще в природном мире и время, прошедшее после их смерти, они провели во сне.) Все вещи в его комнате были подобны тем, которые он имел прежде,— стол, конторка с выдвижными ящиками и шкаф с книгами. Поэтому пробудившись в своем новом жилище, он уселся за стол и начал писать, как обычно, свое оправдание только верою и продолжал заниматься этим в течение нескольких дней, не написав ни слова о любви. Это было замечено ангелами, и они послали вестников спросить: почему он ничего не написал о любви? Меланхтон ответил: «В любви нет ничего от церкви, ведь если бы любовь воспринималась как насущная для нее, человек приписывал бы себе заслуги оправдания и спасения и отрицал бы духовную сущность веры». Ангелы сообщаются со всяким новопришедшим, но когда они, общаясь с Меланхтоном, это услышали, то отступили от него. Несколько недель спустя вещи, которыми он пользовался в своей комнате, начали постепенно блекнуть и исчезать до тех пор, пока не остались только стол, бумага и чернильница; стены его комнаты покрылись известковой коркой, а пол — желтым глянцем, Меланхтон же оказался одетым в более грубую одежду. Удивленный этими изменениями, он спросил об их смысле и получил ответ: так потому, что он всем сердцем отделял церковь от любви. Однако он продолжал писать о вере как о единственно существенном для церкви в деле спасения, и поскольку продолжал все более и более исключать любовь, то был внезапно перенесен в подземелье, похожее на работный дом, где имелись другие ему подобные, и был удерживаем там против своей воли с тем, чтобы дать ему понять, что не иное ожидает тех, кто удаляет любовь и благие дела из церкви. Но так как он был одним из реформаторов церкви, то был по приказу Господа вызволен оттуда и возвращен назад в свою прежнюю комнату, где были его стол, бумага и чернильница. Вследствие уверенности в своих идеях он принялся снова

---

[1] Филипп Меланхтон (1497—1560) — немецкий богослов, сподвижник Лютера, систематизатор лютеранской теологии и реформатор школьного и университетского образования. *(Здесь и далее прим. перев.)*.

марать бумагу теми же заблуждениями, поэтому был снова посажен среди своих заключенных товарищей и заново возвращен. Когда же он вернулся, то заметил, что одет в покрытую волосом кожу, ибо вера без благой любви холодна. Он сам сказал мне, что за его домом и в следующей от него комнате было другое помещение с тремя столами, за которыми сидели те, кто так же, как и он, отделяли любовь от церкви, и что временами над ними появлялся четвертый стол, казавшийся страшным видением, но тем не менее не препятствовавший их работе. Меланхтон добавил, что даже вступал в беседу с этими видениями и получал от них ежедневные подтверждения своей веры. Через некоторое время, будучи охвачен страхом, он начал писать что-то относящееся к любви, но написанное прежде уже не мог увидеть на следующий день. Так случается со всяким, кто пишет от лица внешнего человека, а не внутреннего, кто движим принуждением, а не свободой; им написанное само собой исчезает. Но когда Господом начали формироваться новые небеса, их свет стал причиной размышлений Меланхтона о том, что, быть может, он ошибается; и тогда беспокойство о своем будущем заставило его предпринять углубленное рассмотрение вопроса о благой любви. В этом состоянии он был оставлен Словом, тогда его глаза открылись, и он увидел, что́ есть полнота любви к Богу и к ближнему и что две эти заповеди пронизывают весь Закон и пророков. Тогда он был перенесен в другой дом на юго-западе; здесь он и общался со мной, говоря, что написанное им о благой любви не исчезает, как прежде, хотя на следующий день и делается более тусклым.

Когда он прогуливался, его шаги производили изумительный шум, подобный стуку железных туфель о каменный пол. Когда новоприбывший из (природного) мира посещал его, Меланхтон использовал этот звук в магических целях, чтобы создать иллюзию, будто эта комната была прекрасно обставлена, но как только посетитель уходил, украшения исчезали и появлялись прежняя штукатурка и пустота. Однако так было в его прежнем состоянии.

АНГЛИЧАНЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ

806. Человек имеет два рода ума — внешний и внутренний. Благодаря своему внешнему уму он существует в природном мире, благодаря внутреннему уму — в мире духовном. Два эти рода ума в духовно сильном человеке составляют единство, в слабом пребывают в разладе. Природа внутреннего ума редко проявляется в земной жизни, поскольку с детства его учат быть нравственным и разумным, так что ему нравится таким казаться. Однако в духовном мире его природа становится явной, так как там человек — это дух, а дух — это внутренний человек. Теперь, когда я был в духовном мире и видел там природу внутреннего человека в народах разных стран, я вам об этом и расскажу, ибо это важно.

807. Если обратиться к английскому народу, то надо сказать, что лучшие из его представителей занимают центральное положение среди христиан, поскольку обладают внутренним разумным светом. Этот свет, хотя и не явный никому в природном мире, вполне воспринимаем в мире духовном. Через него англичане обрели свою свободу слова, печати и мысли; в других, кто не может наслаждаться этими свободами, этот свет меркнет, ибо не находит выхода. Однако этот разумный свет не изначален и зависит от признанной репутации человека; когда он высказывает свои мнения, этот свет усиливается. По этой причине англичанами в духовном мире руководят знаменитые правители и священники, решениям которых их национальный дух беспрекословно повинуется.

808. Подобное предрасположение склоняет их дружить с соотечественниками и редко с иностранцами. Они так же искренне любят и помогают друг другу. Любят они и свою родину и усердно пекутся о ее славе, а на иностранцев взирают так, как взирают на окрестности города с крыши в телескоп. Политика до такой степени привлекает их внимание, что иногда отвлекает их умы от занятий, требующих высокого духовного напряжения. И хотя эти возвышенные занятия увлекают учащуюся в школах молодежь, вскоре энтузиазм к занятиям их покидает. Тем не менее прежние занятия усиливают их умственные способности, и они сияют разнообразным цветом, подобно цветам радуги, возникающим при преломлении призмой солнечного луча.

809. В духовном мире имеются два больших города, подобных Лондону, куда большинство англичан попадает после смерти. Мне было разрешено войти и исследовать главный из них. Центр города соответствует лондонской бирже, где встречаются торговцы и где живут правители. Впереди и над этим центром находится восток, за ним и ниже — запад, с правой стороны — юг, с левой — север. В восточном квартале обитают те, кто более чем другие живут жизнью благой любви, и там расположены великолепные дворцы. В южном квартале живут мудрые, окруженные большим великолепием. В северном квартале обитают те, кто любят свободу слова и печати, а в западном — те, кто ревностен в учении об оправдании

только верою. В этом квартале справа есть вход, а также выход из города; те, кто живут плохо, высылаются через эти ворота. Духовенство, живущее на западе и учащее доктрине оправдания только верою, ходит не по главным улицам, а только по узким переулкам; только те, кто живут в вере и благой любви, терпимы в городе. Я слышал жалобы проповедников из западного квартала, что они составляют свои проповеди с таким мастерством и затем в такой пропорции подмешивают к ним доктрину об оправдании только верою, что их слушатели не знают, хороша ли она, нет ли. Они проповедуют о вере как изначально благой и отличают ее от блага христианской любви, прозываемой ими домогательством заслуг и потому не принимаемой Богом. Однако когда те, кто живут в восточном и южном кварталах города, слышат такие проповеди, они покидают церкви, а проповедники после этого лишаются места своей службы.

810. Помимо этого я слышал и о других причинах, по которым проповедников лишают места службы. Главное состоит в том, что они проповедуют не от Слова и не от Духа Божьего, а от рационального света их собственного духа. Конечно, они цитируют тексты Слова в начале проповеди, но лишь едва к этому прикасаются и тотчас оставляют, как нечто безвкусное, затем по собственному разумению вводят нечто пикантное, что они со смаком изрекают и делают предметом собственного наставления. Вследствие этого в их рассуждениях столь же отсутствует духовность, как и в птичьем пении: это просто искусственные украшения, вроде пудреных париков на лысых головах. Таинственные намеки на оправдание только верою подобны перепелам, ставшим причиной смерти нескольких тысяч израильтян (Числа: 11, 31—31); в то время как богословие объединенной благой любви и веры подобно манне небесной. Однажды я слышал, как какой-то из этих священников рассуждал об оправдании только верою, и видел некий образ, в котором было представлено это учение. В их обманчивом свете он показался огромным великаном, но когда его озарил свет с небес, стало видно, что это чудовище сверху и змея снизу. При этом видении духовенство ретировалось, а зрители сбросили чудище в заросший пруд.

811. Другой громадный город, также называемый Лондоном, находится не в христианском центре, а на некотором расстоянии от него на север; это временное жилище после смерти тех, кто зол в своей основе. В его центре имеется открытое сообщение с адом, который время от времени поглощает некоторых из обитателей города.

812. Я узнал, что англичане в духовном мире имеют двойное богословие: одно основывается на оправдании только верой, другое — на доктрине благой любви. Первое учение разделяется теми, кто рукоположены в священство, последнее — многими из людей светских, особенно теми, кто живут в Шотландии и сопредельных с нею землях. С ними верующие в оправдание только верою опасаются вступать в диспуты, поскольку те используют как Слово, так и разумные основания для опровержения их учения. Учение о благой любви излагается в проповедях, читаемых в церквах в субботний день теми, кто принадлежит к сообществу святых. При этом заявляется, что если они не пребывают во взаимной любви и не избегают таких бед, как грехи, то сами себя осуждают на вечное проклятье, и если они войдут в сообщество святых, не имея благой любви, то в них войдет дьявол, как он вошел в Иуду.

НЕМЦЫ В ДУХОВНОМ МИРЕ

813. Обитатели империи [1], разделенной на несколько государств, не сходны по национальному характеру. Конечно, народы разнятся между собой как общим видом, так и частными особенностями; однако, будучи объединенными в одной монархии и управляемые общим законодательством, они имеют сходный характер. Германия же подразделяется на более независимые друг от друга правления, чем соседние королевства. В ней имеется имперское правительство, но князья и герцоги подчиненных ему государств осуществляют деспотическую власть на своих территориях. Кроме того, в Германии имеются различные религии: некоторые государства евангелические [2], другие — реформатские [3], третьи — католические. Такое разнообразие в типе правления и религии делает описание немецкого национального характера, видимого в духовном мире, более трудным, чем у других народов.

814. Поскольку немцы в каждом из особых государств живут при деспотическом правлении, то они не наслаждаются свободой слова и печати, как голландцы и англичане; эти свободы у них ограничены, как ограничена и свобода мысли. Положение это можно уподобить цистерне, в которой имеется отверстие

---

[1] Имеется в виду «Священная Римская империя германской нации», союз германских государств и княжеств и итальянских земель, имевший в середине XVIII века выборного императора с ограниченными правами; уничтожена в 1806 году, в ходе наполеоновских войн.

[2] Сторонники лютеранских церквей.

[3] Сторонники кальвинистских церквей.

на определенной высоте, и вода не может подняться выше отверстия; вода в данном случае соответствует мыслям немцев, а цистерна — их речам. Иными словами, как прибавление воды умеряется ее умалением, так и мысль поднимается не выше свободы ее выражения. По этой причине немцы более склонны к изложению, чем к индивидуальной оценке, потому они особенно культивируют историю, составленную из цитат авторитетных мнений. Их состояние ума в духовном мире представлено человеком, несущим в своих руках книги; если кто-либо спросит его мнения, он берет одну из книг и читает по ней ответ.

815. Единственный результат такого состояния ума в том, что все, касающееся духовных вопросов церкви, они держат в памяти. Редко немцы поднимаются до высшей интеллектуальной способности и усваивают ее лишь на элементарном уровне осмысления, на основании которого и рассуждают. В этом они по существу отличаются от свободных наций. В богословских вопросах свободные нации подобны орлам, парящим на любой высоте, тогда как несвободные нации подобны лебедям на реке. Свободные нации также подобны оленям с ветвистыми рогами, которые беспрепятственно странствуют по вересковым пустошам и по лесам, в то время как несвободные нации подобны ланям, заключенным в королевском парке. Так же свободные народы подобны крылатым лошадям, которые летают, как Пегас, над морями и долами; тогда как несвободные народы подобны украшенным богатыми попонами лошадям в королевских конюшнях.

Манера их суждения в области сложных богословских вопросов в чем-то похожа. Немецкое духовенство в период своего студенчества записывает мнения, диктуемые ему профессорами, определяющими их склонность к эрудиции. Когда священники приступают к своим обязанностям проповедников или читают лекции в школах, в основу своих официальных выступлений, вне зависимости от того, кафедра ли это профессора или проповедника, они кладут записанные ими конспекты. Неправоверные проповедники обычно проповедуют о Святом Духе и удивительных делах в сердце его святости, правоверные же в основном проповедуют о вере. Эти последние представляются ангелам существами, носящими венок из дубовых листьев, тогда как те, кто проповедуют от Слова о благой любви и добрых делах, кажутся ангелами, носящими венки из благоуханного лавра. На их диспутах с реформаторами об истине евангелики как будто разрывают их одежды, ибо одежды означают истины.

816. Граждане Гамбурга в духовном мире рассеяны среди немцев различных земель. Причина этого в том, что их ум постоянно стремится за свои пределы, их мысли не ограничиваются их собственным городом. Ведь каково состояние ума человека в природном мире, таково оно и в духовном мире, ибо ум человеческий — это его дух или посмертный человек, который живет после смерти материального тела.

АФРИКАНЦЫ И ДРУГИЕ ЯЗЫЧНИКИ В ДУХОВНОМ МИРЕ

835. В духовном мире язычники, ничего не знающие о Господе, находятся в стороне от всех прочих людей, самый внешний их круг составлен из отъявленных идолопоклонников, почитающих солнце и луну. Но те, кто признают Бога и живут, следуя десяти заповедям, более тесно общаются с христианским центром, поскольку их связь не прерывается мусульманами и римскими католиками. Язычники различаются по своему характеру и способности получать свет через небеса от Господа, в этом отношении некоторые из них стоят выше других благодаря климату, расе, образованию и религии. Африканцы первенствуют над всеми прочими...

837. Поскольку африканцы выделяются глубиной суждений, я говорил с ними о таких сложных темах, как Бог, Господь-Искупитель, внутренний и внешний человек, и кратко вам изложу их соображения на эти темы. О Боге они говорят, что Он некогда снизошел и сделал себя видимым человеком, ибо он их творец, защитник и вождь, а человеческая раса принадлежит Ему. Они также говорят, что Он доставляет благо всем существам на небесах и на земле, ведь он солнце ангельских небес и пребывает так же высоко в духовном мире, как наше солнце в мире природном, и он как солнце взирает сверху и заботится о всех вещах, находящихся ниже. Поскольку же Его божественная любовь является как солнце, то из этого следует, что Он заботится не только о величайших, но и о ничтожнейших из своих творений и изливает на человечество тепло и свет своей любви и мудрости. Если, говорят они, вы образуете идею Бога как солнца вселенной, то вы, конечно, поймете и признаете Его всеприсутствие, всеведение и всемогущество.

838. Что касается Господа, нашего спасителя, то мы согласны с тем, что в своей сущности Бог есть божественная любовь, а божественная любовь в свою очередь — чистейший огонь. И как чистая любовь желает, но не может соединиться с теми, к кому она обращена, так божественная любовь должна стремиться соединиться с человеком и соединить человека с самим собой, чтобы могла быть в человеке, а человек — в ней. Но, как было сказано, божественная любовь является

чистейшим огнем, поэтому Бог как любовь, по-видимому, не может быть в человеке и, соответственно, человек не может быть в Нем, ибо тогда человек будет беспрестанно поедаем пламенем. Чтобы соединиться с человеком, Ему необходимо облечь себя телом, способным быть воспринятым и соединенным с человеком; поэтому Он нисходит и принимает человеческую природу, следуя порядку, установленному им самим при сотворении мира. Случилось так, что Он должен был быть зачат силой, изошедшей из него самого, быть носим в лоне и рожден, а после этого должен был расти в мудрости и любви и так воссоединиться с сущностной божественностью. Таким образом Бог стал Человеком, а Человек — Богом. Этому прямо учит священная книга христиан, называемая Словом; ибо сам Бог, назвавшийся в человеческой природе Иисусом Христом, говорил, что Отец в Нем и Он в Отце, и что тот, кто видит Его, видит Отца гораздо больше, чем Его Самого.

Могут быть также приведены основания, почему Бог, чья любовь как чистейший огонь, не мог иначе соединиться с человеком, а человека соединить с самим собой. Ведь солнечный огонь не может войти в контакт с человеком, тем более проникнуть в него, он должен быть умерен атмосферой и так приспособиться к положению человека. Чистый эфир не может окружить человека, тем более войти в его легкие, если не смешивается с воздухом и так удовлетворяет человеческие потребности. Рыба не может жить в воздухе, она должна иметь родную стихию, служащую ее жизни. Король не может лично управлять всеми делами своего королевства, он должен использовать представляющих его служащих высшего и низшего разряда. Человеческая душа также не может быть видимой другими иначе, как через тело, тем самым войдя с другими в дружеское общение и предъявляя им доказательства своей любви. Мог ли Бог поступить иначе, если бы не принял в себя человеческую природу? Африканцы, будучи в основе своей более рациональны, чем другие язычники, сразу усваивают истину этих положений, как только их услышат, с удовольствием, пропорциональным их умственным способностям.

839. Под конец мы побеседовали о внутреннем и внешнем человеке. Мы пришли к согласию, что люди, воспринимающие вещи внутренне, воспринимают их в свете истины, то есть в свете небес, а люди, воспринимающие внешне, воспринимают их в природном свете. Поэтому внутренние люди обладают разумением и мудростью, а внешние — безумны, и их зрение нарушено. Внутренние люди духовны, поскольку умозаключают от духа, поднятого над телом, и тем самым видят истины в свете, а внешние люди обладают природной чувственностью, поскольку умозаключают от ошибок природных чувств и, следовательно, видят истины как в густом облаке, а заблуждения — как истины. Внутренние люди будто пребывают на горе, на башне или на маяке, а внешние люди подобны тем, кто в долине у подножия горы, или в подвале под башней, или в лодке, причалившей к маяку, не видят ничего, кроме близлежащего.

При этом внутренние люди подобны тем, кто живут в трех-, четырехэтажном доме с множеством окон из прозрачного стекла, из которых открывается широкий вид на город, и они знают в нем каждый дом, тогда как внешние люди подобны тем, кто живут на первом этаже, окна которого сделаны из толстой бумаги, так что они не видят ничего из дома, но только то, что в нем, и то лишь при свете свечи или очага. Кроме того, внутренние люди подобны парящим орлам, видящим под собой далеко вглубь и вширь, а внешние люди как петухи, стоящие на посту и стерегущие своих кур, бродящих в траве. Наконец, внутренние люди осознают, что знают лишь каплю в океане знания, тогда как внешние люди воображают, что знают все. Африканцы, обладающие острым внутренним зрением, знают правду обо всем этом и очень этим довольны.

840. Таков характер африканцев; в настоящее время они получили откровение, которое широко распространяется, но еще не достигло побережья. Они презирают чужестранцев-европейцев, верующих, что человек спасется только верою и потому только мыслью и речью, не зависимой от воли и действия. Они говорят, что религиозный человек должен жить в соответствии со своей религией, а если этого не делает, неизбежно становится тупым и расслабленным, ибо ничего не получает с небес. Изощренное зло они называют тупостью, поскольку в нем пребывает смерть. Несколько раз я беседовал с Августином, бывшим в третьем веке епископом Гиппона в Африке [1]. Он говорил, что пребывает там в настоящее время и вдохновляет жителей на почитание Господа и что там есть надежда на это новое евангелие, которое распространилось в соседних областях. Я слышал, как ангелы радовались по поводу этого откровения, ибо оно осуществляет связь с человеческим разумом, до тех пор закрытую догмой о том, что понимание должно находиться в зависимости от веры.

Перевод с латинского А. ВАШЕСТОВА

---

[1] Аврелий Августин (354—430) — один из крупнейших мыслителей христианства, был епископом Гиппона (Иппона) в Нумидии (Северная Африка).

У книжной витрины

ДЖОН БАРТ.

Последнее плавание Некто-мореходa

John Barth. The Last Voyage of Somebody the Sailor. «Hodder and Stoughton»

Саймон Белер — главный герой этого романа — появляется на свет в 1930 году в штате Мэриленд. Водная стихия, приливы, отливы, океан и суша — все эти понятия мальчик постигает уже в семь лет. А в четырнадцать он с помощью не по годам опытной подружки Дейзи познает иную, любовную стихию, а ее отец, Сэм Мур, открывает Саймону мир сказок Шехерезады, считая, что когда-нибудь это поможет юноше найти себя. Затем главный герой предстает в романе новоиспеченным журналистом, который отправляется на Виргинские острова, чтобы отметить там свое сорокалетие. Однако праздновать Уильяму Бейлору — так зовут теперь Саймона — по сути, нечего: он несчастлив, едва не погибает от руки собственной жены, испытывает сексуальное влечение к дочери Джульетте. И потому его первое дальнее плавание имеет лишь условное сходство с путешествиями Синдбада-морехода: Уильям ищет физический выход из тисков своего душевного кризиса и устремляется в Марракеш.

Десять лет спустя судьба вновь сводит Уильяма с семьей Мур: он налаживает совместную жизнь с младшей сестрой Дейзи, Джулией, профессиональной фотожурналисткой. Она охотно отправляется с ним в экспедицию по маршруту путешествий Синдбада. Однако недалеко от Цейлона их судно тонет: Джулия гибнет, а Бейлору, отнесенному за 1500 миль от места крушения, удается спастись. Он ступает на новую стезю: становится Некто-мореходом — морским пиратом и невольным свидетелем кровавых страстей Востока.

В конце романа флибустьер попадает в Багдад, где, обнищав, находит приют в доме старика торговца. Хозяин и жилец коротают время, вспоминая былое. У главного героя, как у Шехерезады, неиссякаемый запас занимательных сюжетов, так что, погружаясь в бескрайнее море рассказов, он сам порой не ведает, где кончается история Синдбада-морехода и начинается повесть о Некто-мореходе.

ТАХАР БЕН ДЖЕЛЛУН

Слепой ангел

Tahar Ben Jelloun. L'Ange aveugle. «Seuil»

Весной 1990 года один из неаполитанских еженедельников публиковал подборку новелл Тахара Бен Джеллуна, сюжеты которых были основаны на подлинных событиях из криминальной хроники Сицилии, Калабрии, Неаполя и других районов Италии. После творческой переработки эти истории были сведены в четырнадцать глав-репортажей вышедшего недавно романа о мафии, которая безраздельно господствует над судьями, политиками и героями-одиночками, противостоящими ее власти. Однако автора интересуют не столько короли уголовного мира, сколько так или иначе пострадавшие от них люди — чаще всего выходцы из низов, существа бесправные и неприкаянные. Это бродяга, Пьетро: некогда он мечтал стать актером, а кончил тем, что пошел скитаться по белу свету, кляня трусливых и подлых чиновников; это бездетная вдова — сама себе опора; или, например, бессильный перед творимым беззаконием судья, который потерял всякую веру в справедливость. «Теперь уже и дети, сводя счеты, убивают друг друга»,— печально констатирует еще один персонаж — криминолог, размышляющий о том, почему потенциальные жертвы преступлений так покорны своей участи. «А что тут сделаешь?» — такова, увы, соответствующая действительности философия обреченных. Неужели и впрямь ничего нельзя изменить? Не уходит ли корнями мафия (на тосканском диалекте «мафия» означает «нищета») в среду тех самых бедняков, живущих по древним племенным обычаям с извечным культом силы власти? — задается вопросом Гонкуровский лауреат в своей новой книге.

МАРГАРЕТ ДРЭББЛ

Ворота из слоновой кости

Margaret Drabble. The Gates of Ivory. «Viking»

«Блистательный путь» (1987) (см. о нем «ИЛ» 1988, № 8) и «Естественное любопытство» (1989) — так озаглавлены первые две книги

из трилогии М. Дрэббл. Название заключительной части «подсказала» Пенелопа, заявившая в «Одиссее», что неискренние желания проходят через обманчивые ворота из слоновой кости, а истинные — через роговые ворота. Однако в новом беллетристическом произведении многое носит «роговую оправу», и, по собственному замечанию писательницы, может статься, это вовсе не роман, а иная, пока не имеющая определения форма.

Главное действующее лицо — психиатр Лиз Хедлинд — уже появлялась среди трех эмансипированных интеллектуалок в «Блистательном пути». Там же произошла ее первая встреча с другим главным героем — писателем Стивеном Коксом, удостоенным литературной премии «Букер». Стивен отправляется в Камбоджу, чтобы собрать исторические материалы для задуманной пьесы о Пол Поте, и трагически гибнет, а Лиз получает посылку, в которой среди оставшихся после Стивена личных вещей и документов обнаруживает засушенный палец. Какими побуждениями руководствуется Лиз — сказать трудно, однако и она, в свою очередь, отправляется в самое пекло, одну из опасных точек планеты. Дальнейший рассказ героини обо всем увиденном перемежается дневниковыми записями покойного Стивена. Описание кровавых сцен, массовых убийств заполняет страницы романа. Однако именно здесь, среди картин чудовищной жестокости, у Маргарет Дрэббл впервые появляется чисто комический персонаж в лице мисс Порнтип — антрепренера азиатской королевы красоты.

СЕБАСТЬЕН ЖАПРИЗО

Долгая воскресная помолвка

Sébastien Japrisot. Un long dimanche de fiançailles. «Denoël»

Себастьян Жапризо снискал славу прозаика, органично сочетающего в своем творчестве элементы детективного и комического жанров и с равным мастерством изображающего жизнь во всех ее проявлениях. Его последний роман «Долгая воскресная помолвка» сродни киносценарию: сюжет разворачивается стремительно, с быстрым чередованием мизансцен, причем повествование держит читателя в постоянном напряжении почти детективной закрученностью сюжета.

...Идет 1917 год. Пятеро молодых французских солдат в наказание за самострел отправлены в окопы передней линии под немецкие пули и снаряды — на верную смерть. Лишь одному из них чудом удается избежать гибели. Об этом эпизоде узнает Матильда Доннэ, чей жених, воевавший на том же участке фронта, не вернулся домой. Надеясь, что в живых остался именно ее суженый, Матильда упрямо ждет его возвращения, наводит о нем справки, вопреки советам родных забыть о пропавшем. Героиня романа блуждает по запутанным тропинкам жизни, подчиняясь целиком своим чувствам, бросает вызов обществу и в конце концов «вырывается из лабиринта Минотавра — плена предрассудков своей семьи, оказываясь сильнее внешних обстоятельств».

Роман прочно держится в первых строках списков бестселлеров, публикуемых французской прессой.

ПЬЕР КОМБЕСКО

Бульвар Дочерей Голгофы

Pierre Combescot. Les filles du Calvaire. «Grasset»

Журналист Пьер Комбеско в 1986 году получил премию Медичи за книгу «Похороны Сардинки». В 1991 году новый роман принес ему Гонкуровскую премию. «Бульвар Дочерей Голгофы» представляет собой современную версию классического плутовского романа. В то же время он насыщен библейскими мотивами и является довольно сложной художественной структурой, в которой пересекается множество сюжетных линий. Все они объединены личностью главной героини, крещеной еврейки по имени Мод Буляфьер. Дочь мясника и содержательница публичного дома, она вынесла много лишений во время немецкой оккупации. Часто Мод выручает ее приятель, комиссар полиции Шангарье. В романе показан широкий социальный спектр парижской жизни времен второй мировой войны. В небольшой бар на бульваре Дочерей Голгофы заглядывает самая разная публика — от циркачей и проституток до шпионов и предателей. Колоритные образы парижан сороковых годов, забавные сцены городской жизни перекликаются с изображением французской столицы в романах Эжена Сю и Марселя Эме.

ГЕНРИ МИЛЛЕР

Сумасшедший член

Henry Miller. Crazy Cock. «Harper Collins».

Третий роман Генри Миллера «Сумасшедший член» написан им еще в 1927 году, но много лет пролежал в забвении; в 1988 году был обнаружен и только теперь впервые публикуется. Он основан на автобиографическом материале и рассказывает о нелегкой жизни автора в богемном квартале Нью-Йорка. В тот период к Миллеру и его второй жене Джун переехала любовница жены Джин Кронски, которая стала носить одежду Миллера; все трое фигурируют в романе под именами «Тони Бринг», «Хилдред» и «Ваня». Хотя первоначально рукопись имела игриво-сладострастное название «Прелестные лесбиянки», на самом деле герой (и автор) оказался в отчаянном положении, когда вскоре жена и Джин сбежали от него в Европу. Униженный, терзаемый ревностью, без гроша в кармане, он вернулся к родителям в Бруклин и на время был вынужден забыть о литературе.

Любопытно, что столь личное повествование ведется от третьего лица, как бы отстраненно. Однако в этом раннем романе чувствуется тот Миллер, который затем проявится в «Тропике Рака» и других произведениях. Уже здесь автор продемонстрировал много такого, что в дальнейшем сделает его легкой мишенью для критиков, за что в родной Америке его будут преследовать, запрещать, обвинять в порнографии, а во Франции — удостоят Ордена Почетного легиона. Как бы там ни было, вновь найденная книга Генри Миллера привлекла внимание любителей его творчества и литературоведов; кроме того, она прекрасно оформлена и снабжена солидной

вступительной статьей Мэри Дирборн (биографа писателя) и предисловием Эрики Джонг.

ЭНН ТАЙЛЕР

Святое сомнение

Anne Tyler. Saint Mayde. «Knopf»

Энн Тайлер — признанный мастер американского семейно-бытового романа. Эту репутацию она завоевала сразу же после успешного дебюта романом «Блага земные» (1976, русск. перевод — 1980). С тех пор каждая ее новая книга встречает благосклонные отклики критиков и вызывает повышенный интерес у читателей. Не стал исключением и ее последний роман «Святое сомнение», он сразу попал в списки бестселлеров. Как и в предыдущих книгах, действие разворачивается в Балтиморе, крупном городе штата Мэриленд. Время действия охватывает четвертьвековой период — с 1965 года до наших дней.

Дэнни Бедлоу приводит в дом жену Люси с двумя детьми. Младший брат Дэнни, семнадцатилетний Иен, испытывает к Люси тайную страсть и подозревает, что она носит под сердцем ребенка не от Дэнни, а от кого-то другого. Он делится своими подозрениями с братом, что приводит к трагическим последствиям: Дэнни кончает с собой. Узнав об истинных причинах самоубийства Дэнни, Люси, едва успев дать жизнь своему третьему ребенку, тоже накладывает на себя руки...

Эти мрачные события — лишь завязка сюжета. Раскаивающийся Иен (он подозревает, что возвел напраслину на Люси) попадает в религиозную секту, которая называет себя «Церковь второго шанса». Руководитель секты, узнав о трагедии семьи Бедлоу, уверяет юношу, что искупить свой грех он может, лишь посвятив свою жизнь воспитанию трех сирот. Для Иена это означает: поставить крест на своих планах поступить в колледж, бросить любимую девушку и целиком отдать себя в общем-то чужим детям. Но он взваливает на себя это бремя. И совершенно неожиданно обретает счастье и успокоение...

КУРТ ВОННЕГУТ.

Судьбы пострашнее смерти

Kurt Vonnegut. Fates Worse than Death. «Cape».

Эта книга известного американского романиста имеет подзаголовок «Автобиографический коллаж 80-х годов» и представляет собой сборник статей и речей писателя, перемежаемых воспоминаниями и отступлениями. Эпиграф выдержан в духе воннегутовской иронии: «Все перечисленные здесь лица — как ушедшие, так и ныне здравствующие — упомянуты чисто случайно и существенного внимания не заслуживают. Все имена оставлены без изменений, ибо защищать честь невинных не требуется — этим обычно занимается Всевышний». Книгу открывает фотография, на которой сняты смеющиеся К. Воннегут и Г. Бёлль; в предисловии автор раскрывает причину их веселья: «Мы в этот момент спросили, как лучше нанести себе ранение, чтобы дезертировать с фронта. Бёлль сказал, что надо стреляться через хлебный ломоть: тогда не обожжешься порохом».

В публицистическом колчане Воннегута — «набивший оскомину» набор стрел: стремление Америки повоевать, безумие «хирургической» бомбардировки, жестокость «западного империализма». Все приведенные в книге речи автор заканчивает шутливым «Благодарю за внимание». Наиболее интересным в сборнике критики считают раздел «краткой истории американских литераторов». Курт Воннегут именует ее краткой, негодуя на недолгий век большинства американских писателей — в частности Э. Хемингуэя,— а заодно уж и на страну, и с неизменной самоиронией удивляется, что он еще жив. Что в этом автобиографическом коллаже сказано в шутку, а что — всерьез, решить непросто, ибо здесь, как и в беллетристике, К. Воннегут проявляет незаурядную способность озадачивать.

УМБЕРТО ЭКО

Второй мини-дневник

Umberto Eco. Il secondo diario minimo. «Bompiani»

В своем новом публицистическом сборнике, озаглавленном «Мини-дневник» и насчитывающем тем не менее три с половиной сотни страниц, известный итальянский семиолог, романист и критик высказывается по различным проблемам философии, языкознания и литературы, прибегая подчас к весьма оригинальным формам. Так, глава «Философы на свободе», посвященная великим мыслителям — в частности, Аристотелю и Св. Ансельму,— написана шутливыми стихами. В очерке «Звезды и звездочки» Умберто Эко использует фантастический сюжет о межгалактическом обмене военными донесениями, попутно высмеивая непроходимую тупость бюрократов всех мастей. Автор карикатурно изображает чиновников, которые пытаются то распространить действие христианской морали на существ, размножающихся неполовым способом, то отправить в Сахару на промысел нерпы эскимосов-гарпунщиков. В комических тонах выдержан и этюд «Когда вступаешь в масонскую ложу П-2». Серьезна по теме статья «Как организовать общедоступную библиотеку», но в реальности все оборачивается трагикомичной ситуацией, при которой книги становятся совершенно недоступными.

Великобритания

МУЖЧИНА — СУЩЕСТВО ТРАВМИРОВАННОЕ

Почему женщина и мужчина так несхожи? Почему женщина не может уподобиться мужчине — и наоборот? Оригинальную точку зрения на эту будоражащую умы тему высказывает в своей новой книге профессор Лайэм Хадсон, который уже более полувека занимается вопросами психоанализа и экспериментально-клинической психологии. Исследование «Мужской образ мыслей» написано им совместно с женой — художницей и психологом Бернадиной Жако.

По мнению авторов, истоки различия мужской и женской природы кроются в том, что мужчина — существо изначально травмированное. В самом деле, детей обоих полов и вынашивает, и производит на свет, и выкармливает женщина. Поэтому мальчики, дабы стать взрослыми, должны отвергнуть женское попечительство, позволявшее им, однако, жить спокойно и беззаботно. Этот процесс мучителен и наносит ребенку психологическую травму, которая, в свою очередь, порождает женоненавистничество, страх оказаться «под каблуком», агрессивность и вынужденное сдерживание чувств. По этой же причине мужчины склонны относиться к людям как к вещам, а к вещам — как к людям. У девочек же психологическое начало жизни гармоничнее, поэтому, независимо от последующих превратностей судьбы, у них одной проблемой меньше.

Однако, как считают авторы, болезненный разрыв с женщиной имеет для мужчины и весьма положительные стороны, ибо побуждает искать замену утерянной связи: действовать, созидать, размышлять, изобретать. Не случайно мужчины по сути монополизировали науку, технику, искусство.

Приведенные в книге многочисленные факты из биографий художников, мыслителей наглядно показывают, что у творческих личностей самые гармоничные и яркие отношения складываются с миром идей, вещей или механизмов. Так, немало философов предпочло остаться холостяками, а писателей — заменить реальную женщину идеалом. Томас Харди, например, всячески избегал свою жену и лишь после ее смерти воспылал к ней запоздалой страстью. (В этой связи уместно вспомнить Флобера, написавшего одной даме, что любить можно и без физического присутствия возлюбленной.)

Высказанная в книге гипотеза об изначально травмированном мужчине противоположна постулату Фрейда о том, что женщина — это травмированный, кастрированный мужчина, и наводит на целый ряд контраргументов: как же в таком случае становятся учеными или художниками? откуда берутся преданные и любящие мужчины? к чему сводится роль отцов? почему лишения выявляют у одних ущербность, а у других — творческие способности?

Германия

УЛИТКА ВМЕСТО ПЕТУХА

Выходом книги-альбома «Четыре десятилетия» отметил писатель и художник Гюнтер Грасс свое 64-летие. Ровно столько времени прошло между его поступлением в дюссельдорфскую Академию художеств и появлением на книжных прилавках путевых заметок об Индии.

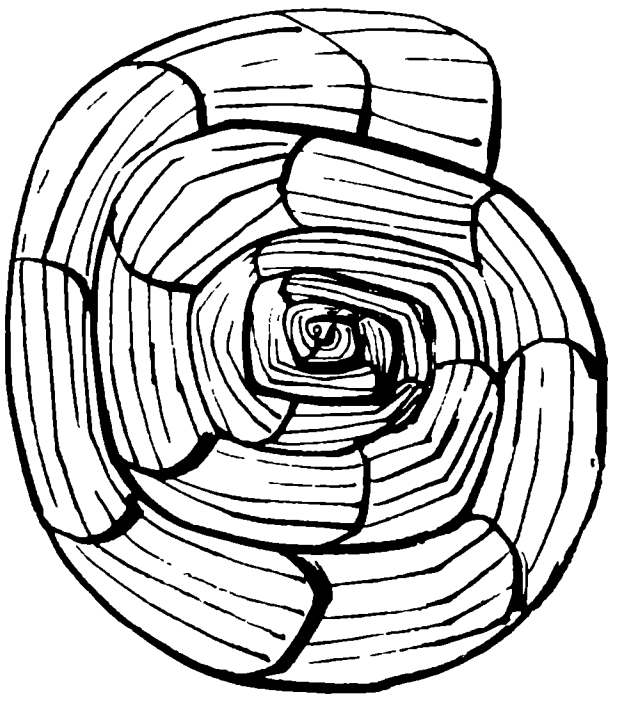


Схема: В раковине улитки, Берлин, 1969

(Журнал «Культуркроник»)

С 1948 года Грасс вел своеобразный протокол противоречивой эпохи. В дневниковых записях, вмонтированных в насыщенный семейными снимками, рисунками, фотографиями изобразительный материал книги, можно прочитать и о том периоде с 1965 по 1972 год, когда писатель был увлечен политикой и чуть было не стал правящим бургомистром Западного Берлина: «Предвыборная борьба. Свою эмблему я придумал сам: петух, который кричит «эсдэ-пэ-гэ!». Лет семь это держало меня в напряжении. Правда, писательская работа не страдала: знакомство со столь низменными политическими реалиями принесло новый опыт, сделало богаче оттенки...»

После того как Грасс отошел от политики, его символом — вместо самозабвенно орущего петуха — становится улитка, а спасительный выход из разочарований и сомнений он находит в мифе о Сизифе: «Только тогда, когда мы сдадимся, когда оставим камень лежать у подножия горы и не захотим больше быть Сизифами,— только тогда мы окончательно погибнем».

Кадр из фильма «Канатоходцы»
(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Греция

У КАЖДОГО — СВОЙ КАНАТ

«Канатоходцы» — так называется новый фильм известного греческого режиссера Никоса Папатакиса. Сюжет его основан на реальных событиях из жизни французского романиста, драматурга, поэта и общественного деятеля Жана Жене. В фильме писатель, по прозвищу Колосок, прославившийся, помимо яркого творчества, многочисленными экстравагантными любовными приключениями, однажды замечает на представлении молодого циркача Франца-Али (в реальности его звали Абдалла). Алжирское происхождение сослужило юноше дурную службу: его хватают во время облавы и избивают в полицейском участке (действие происходит в 1960 году). Колосок выручает парня и решает сделать из него первоклассного канатоходца; начинаются изнурительные, безжалостные тренировки. Однако после рокового падения с каната Франц-Али остается один — Колосок увлекается подающим надежды автогонщиком — и, будучи сломлен физически и духовно, сводит счеты с жизнью, превращая самоубийство в торжественный церемониал.

Гибель молодого акробата потрясла писателя: он долгое время был не способен ни на какое творчество, а три года спустя также попытался наложить на себя руки. Никос Папатакис стремился жестко, без прикрас, рассказать об эгоизме, о трагических страницах биографии одаренного человека, пользовавшегося признанием и популярностью. И режиссеру это удалось еще и потому, что он лично знал Жана Жене, восторгался его пьесой «Служанки» и даже привлек писателя к работе над одним из фильмов.

Фильм «Канатоходцы», при всем его трагизме, полон изящества, странной красоты и возвышенности. Он с успехом демонстрировался на последнем кинофестивале в Венеции; его удаче в немалой степени способствовали прекрасно сыгравшие главные роли Мишель Пикколи (Колосок) и талантливый молодой актер Лилах Дади (Франц-Али).

Италия

ЖАНР, ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ БЕЗ МУЗЫ

28 октября 1892 года, Музей Гревен, демонстрационный зал. Занавес поднялся — и удивленной публике предстало необыкновенное зрелище: на матерчатом экране появились, ожили, задвигались фигурки, созданные волшебным фонарем Эмиля Рейно. Премьера прошла с триумфом, и в последующие дни зрители валом валили в «оптический театр» Рейно. Между тем счастливый изобретатель вряд ли подозревал тогда, что он не просто придумал оригинальное устройство, но открыл дорогу новому киножанру, которому в скором времени суждено было стать популярнейшим...

Имя ему — мультипликация, празднующая нынешней осенью свой столетний юбилей. Миланский журналист и киновед Джанальберто Бендацци решил сделать к этой круглой дате без преувеличения ценный подарок, ибо его книга «Мультфильмы и мультипликация: 1892—1992» является первым историко-энциклопедическим произведением, посвященным этому веселому жанру. В богато иллюстрированном издании автор приводит обширные сведения о режиссерах и художниках-мультипликаторах, их работах и знаменитых персонажах, подробно описывает технику «оживления рисунков» и комбинированных съемок, приводит данные о выходе мультфильмов по странам. Почетное место отведено корифеям мультипликации, среди которых Оскар Фишингер, Уолт Дисней, Вальтер Ланц, Текс Эйвери, Поль Гримо, Александр Алексеев и многие другие талантливые фантазеры, чье искусство вот уже сто лет радует и детей и взрослых.

США

НЕ ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ!

Писатель Николсон Бейкер, несмотря на молодость (он родился в 1957 году), уже достаточно хорошо известен читающей публике англоязычных стран. Причина этого, вероятно, в том, что Бейкер не только высказывает оригинальные мысли, но и находит не менее оригинальные способы их изложения. Основное в его произведениях — интимность в самом широком смысле этого слова. В центре первого романа Николсона Бейкера «Верхний этаж» (1988) — срез внутреннего мира бизнесмена за час его рабочего дня; «Комнатнвя температура» (1990) почти полностью состоит из размышлений молодого отца, пока он кормит своего младенца; в «Ты и я» (1991) автор напрямую обращается к читателям, раскрывая собственные, глубоко личные моменты, связанные с поклонением литературному кумиру — Джону Апдайку. Во всех

трех книгах интимность — в той или иной мере — представлена и в наиболее употребительном, «чувственном» значении. Однако главным мотивом сексуальность, как таковая, стала в новом романе Николсона Бейкера «Голос».

Практически все сто шестьдесят пять страниц книги являют собой диалог — телефонный разговор двух героев, Абби и Джима. Они встретились в эфире, подключившись к специальной линии «секс по телефону», которая и предназначена для интимных бесед добровольно избравших друг друга партнеров. (Вряд ли Александр Белл мог предвидеть подобное применение своего изобретения!) Поскольку авторская речь отсутствует, то и о поведении собеседников, и вообще что-либо о жизни каждого читатель узнает с их слов; оба не обременены семьей, оба работают, оба вполне обеспеченные люди. Абби живет на востоке США, Джим — на западе. Но главная тема их разговора — секс. Признания и личный опыт, эротические фантазии и непридуманные истории — обо всем говорится откровенно и подробно. Джим охотно вспоминает обо всем, что возбуждает его; со своей стороны, Абби делится тем, от чего испытывает волнение она... В отличие от Апдайка, Н. Бейкер стремится не столько изобразить секс, сколько проследить зарождение эротических желаний и импульсов, описать «секс в голове». Такой подход можно считать более утонченным и более современным, однако нравы эпохи все же накладывают на автора свои ограничения: хотя в телефонной связи партнеры равны, в итоге платит за разговор — несмотря на вялые протесты дамы — Джим.

Судя по всему, Николсон Бейкер открыл новый вид эротического романа, сочетающего в себе традиционную любовную историю и достижения технического прогресса. И в данном случае вполне естественна затея издательства «Рэндом хаус»: помимо книги оно выпустило в свет кассету с записью телефонного разговора двух персонажей, благодаря чему «Голос» получил идеальное воплощение.

Франция

СИМЕНОНОМАНИЯ

Большинство романов Жоржа Сименона (многочисленные похождения комиссара Мегрэ) постоянно переиздаются. В издательстве «Жюллиар» готовится к выпуску сериал «Вторая попытка», куда войдут самые известные его произведения, публиковавшиеся при жизни писателя под псевдонимами, а их у Сименона было более двадцати.

Если продолжить статистические выкладки, можно напомнить, что в мире продано 500 миллионов экземпляров книг Сименона, изданных на 55 языках. Его производительность составляла шесть романов в год, причем работа над некоторыми занимала менее двух недель.

Конечно, истинных ценителей и собирателей произведений Сименона интересуют прежде всего первые издания, которые уже стали библиографической редкостью. Иные из них не имеют особых достоинств, кроме одного — они были созданы Сименоном (иногда всего за несколько часов работы за машинкой).

Как известно, истовые коллекционеры собирают все, что касается избранного предмета. Многие готовы платить большие деньги за маленькие, плохо изданные и неудобочитаемые книжки. Например, так обстоит дело с «первенцем» Сименона. Роман «На Арочном мосту», написанный им в 17 лет, был издан за счет автора в 1921 г. в одной из типографий города Льежа, где родился Сименон, под псевдонимом Жорж Сим. Легко догадаться, насколько желанна эта книга для библиофила. Хотя большинство экземпляров выполнено со многими дефектами, цена на нее поднялась до рекордной высоты — 4 тыс. франков.

Интересно, что редкостью в наши дни стали многие прижизненные издания Сименона. Это объясняется, в частности, тем, что его произведения печатались в журналах с продолжением. Сейчас каждый из выпусков оценивается в 600 франков.

И в этом нет ничего удивительного. Писательская слава рано или поздно трансформируется в рыночную стоимость, давая известность и тем произведениям, которые предназначались как «подспорье для ведения домашнего хозяйства».

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Не довольствуясь существующими списками бестселлеров, солидный парижский литературный журнал «Лир» составил собственный традиционный перечень «20 лучших книг года». В него вошли самые разные по характеру, тематике и жанру произведения. Одним из крупнейших событий журнал считает публикацию новой биографии маркиза де Сада, автор которой, Морис Левер, поставил перед собой задачу дать реалистичный портрет скандально знаменитого писателя и тем самым развеять мифы о нем — как очерняющие («чудовище», «преступник», «ненормальный»), так и возвышающие («революционер», «полубог», «предтеча Фрейда и сюрреализма»). В недавнем интервью Морис Левер высказал свою точку зрения относительно возникновения «черного варианта»: «Термин «садизм» был придуман в конце XIX века немецкими психиатрами, поскольку им представился удобный случай связать имя французского философа с названием психического отклонения. В период между двумя войнами (1870—1914) антифранцузские настроения в Германии были очень сильны. Между тем садизм как явление существовал издавна, де Сад был первым и единственным во Франции писателем эпохи Просвещения, кто выступал против смертной казни. Но об этом чаще всего забывают...»

Из произведений известных современных авторов Лир выделяет «Долгую воскресную поволку» — новый роман признанного мастера детектива Себастьена Жапризо (см. о нем в разделе «У книжной витрины»). Другой заметный роман — «Школа на Юге» лауреата Гонкуровской премии Доминика Фернандеза — расска-

Экслибрис Ж. Сименона

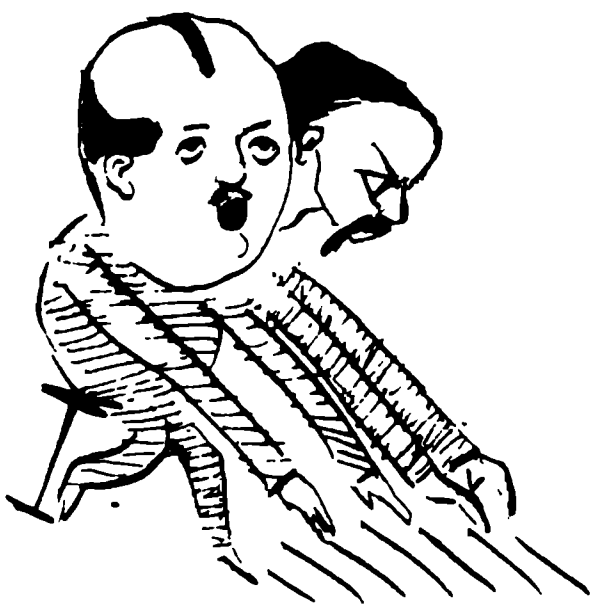
(Журнал «Магазин литтерер»)

зывает о судьбах и взаимоотношениях родителей автора, двух незаурядных личностей, не сумевших, несмотря на взаимное чувство, найти общий язык. Помимо прозы, в двадцатке лучших книг есть и уникальная антология «1100 лет французской поэзии», составитель которой, Бернар Дельвай, уже не одно десятилетие занимается этой темой. В сборнике, насчитывающем почти две тысячи (!) страниц, представлено более 300 как именитых, так и малоизвестных поэтов от 881 года до наших дней. Во Франции впервые опубликован столь солидный и масштабный поэтический обзор.

Популярный во многих странах Запада жанр биографии и автобиографии в двадцатке лучших не ограничивается книгой о де Саде. В частности, Ив Курьер предложил читателям любопытное описание жизненного пути журналиста и литератора Роже Вайяна, личность которого весьма неординарна. Участник французского Сопротивления, восторженный сторонник коммунистических идей и убежденный сталинист все же не вполне отвечал партийным требованиям: знаменитый наркоман, бисексуал и завсегдатай роскошных борделей, «товарищ Вайян» находил будто бы удовольствие в том, что стегал своих дам крапивой! Удивительная судьба молодой француженки Беатрис Собен, описана ею в автобиографической книге «Испытание», получившей премию Веритэ. В поисках приключений и любви скучающая семнадцатилетняя Беатрис уезжает в Малайзию, где встречает китайца Эдди и безумно влюбляется в него. Добрый, симпатичный Эдди обещает жениться на ней, но только во Франции, куда и отправляет девушку, доверив ей небольшой чемоданчик. В нем малайские таможенники обнаруживают пять килограммов героина, и для Беатрис начинается ад: по законам Малайзии ее приговаривают к смерти. Чудом добившись помилования, она проведет десять лет в малайских тюрьмах, откуда выйдет лишь в октябре 1990 года совсем другим человеком.

Поль Верлен «Кадриль в четыре руки»

(Журнал «Лир»)



КОГДА ХУДОЖНИКИ — ПИСАТЕЛИ

Тем, кому любопытно взглянуть, как рисовали С. Малларме и Р. Барт, Г. Уэллс и Г. Миллер, Петрарка и Ф. Пессоа, другие мастера слова, предназначена книга Сержа Фошро «Картины и рисунки писателей» (издательство «Бельфон»).

Художественным оформлением своих произведений занимались многие литераторы; Жюль де Гонкур, например, сам иллюстрировал очерк «Искусство XVIII века». И это естественно, ибо письменность начинается с рисунка. Яркое тому доказательство: не знающий арабского или китайского воспринимает тексты на этих языках как серию рисунков. Показательно также, что почерк или подпись люди оценивают с эстетической точки зрения: «каракули», «как курица лапой», «вензеля».

Особый интерес представляет то, что сделано не на заказ, а для увеселения себя и своих друзей. Шаржи, карикатуры, комиксы открывают новые стороны личности писателя: Жорж Бернанос, оказывается, обладал большим чувством юмора; Альфред де Мюссе был ироничным и наблюдательным. Не стесненные академическими рамками и законами рисовальщики дают волю творчеству, находя подчас новые средства живописи. Верха оригинальности достиг, пожалуй, В. Гюго: эксперты долго недоумевали, чем выполнена его графика, пока наконец не выяснили, что то была смесь чернил с кофейной гущей, пеплом от сигар и прочими экзотическими добавками. Своеобразно пользовался Гюго и техникой ташизма, прикладывая к бумаге смоченные в чернилах листья и кружева.

Среди множества иллюстраций Серж Фошро выделяет небольшую группу эскизов, сделанных в чисто практических целях. В их числе план крепости, который маркиз де Сад начертил, дабы точнее проследить перемещения своих героев; изображения персонажей, которые набросал М. Пруст, стремясь лучше описать их позы; рисунок Г. Флобера — браслет с узорами, принадлежавший Саламбо. Для желающих посмотреть подлинники открыл свои двери новый парижский салон «Галерея»; его владелец Пьер Бельфон уже давно коллекционирует редкостные детища пера и кисти.

Льюис Кэрролл «Автопортрет»

(Журнал «Лир»)

СТРАНЫ, ГОРОДА, ОТЕЛИ, ЛЮДИ...

После посещения «Литературных олимпов Франции» автор одноименной книги Жак-Клод Клебер и издательство «Бордас» приглашают ознакомиться с «Литературными олимпами Европы» по адресам, указанным в произведениях известнейших писателей. Экскурсия проходит по Флоренции Данте, Греции Казандзакиса, Украине Гоголя... Читатель видит Данию глазами Гамлета, живет в Венеции по соседству с Отелло, мчится в «Восточном экспрессе» вместе с Валери Ларбо, попадает в Санкт-Петербург Достоевского, где в доме № 7 по улице Пржевальского ему не миновать встречи с Родионом Раскольниковым. В богато иллюстрированном издании представлены все европейские страны, включая, разумеется, и Прибалтийские государства.

Возможно, это турне частично совпадает с маршрутом, который выбрала Натали де Сен-Фалль в опубликованной изда-

тельством «Кэ Вольтер» книге «Литературные отели: кругосветное путешествие». Он пролегает от Адена до Цюриха. Однако автора интересуют не страны, а... номера в отелях, где некогда останавливались или о которых вспоминали литературные корифеи и их персонажи. Таких эпизодов в книге насчитывается почти столько же, сколько дней в году: в гостинице города Харрогит наслаждается покоем Агата Кристи; в Александрии герой и героиня книги Даррелла равнодушно дают друг другу обещание вступить в брак; в Токио решает поужинать в одиночку Ришар Бротиньян; в Брюсселе, в гостиничном номере, умирает Бодлер; в одном из французских отелей подсчитывает чаевые Марсель Пруст. Некоторые писатели появляются в книге мимоходом, а иные кочуют со страницы на страницу; порою рядом оказываются знаменитость и малоизвестная личность — но ведь в пути именно так и бывает.

О ТОМ, ГДЕ ВСЕ БУДЕМ

Своими лингвистическими изысканиями профессор Мартина Куртуа обратила на себя внимание еще в 1984 году, когда в издательстве «Белэн» вышла ее книга «Высказывания о хмельных напитках и опьянении». Затем вакхическая тема сменилась траурной. «Высказывания о смерти» — такое название получил новый научный труд исследовательницы, выпущенный тем же издательством. Этот том объемом более четырехсот страниц состоит из четырнадцати глав, краткого описания смерти как явления, предметного указателя и библиографического перечня.

Люди испокон веков страшились такого загадочного феномена, как смерть, и поэтому, не всегда осмеливаясь говорить о ней прямо, придумали множество эвфемизмов: «отойти в мир иной», «проститься с белым светом», «отправиться к праотцам»... Но отчего возникли насмешливо-издевательские выражения типа «сыграть в ящик» или «продырявить котелок» (в буквальном переводе с французского, соответственно, «постучать по надгробной плите» и «прочистить голову свинцом»)? В самом деле, от подобных живописных фраз впору умереть со смеху! Видимо, рассуждает М. Куртуа, смех нужен: наверное, грустно было бы жить, если о надвигающемся

вечном покое пришлось бы изъясняться лишь медицинскими терминами: «впал в необратимое коматозное состояние», «приближается к летальному исходу», «агонизирует»... Примеры, подобранные автором, весьма красноречивы; в частности, таковы синонимы к выражению «поплатиться головой», во французском варианте — «нырнуть головой в мешок», который палач надевал своим жертвам. Эта фраза — как и казни — была особенно распространена в 1792 году. Погрузившись в мир палача и его преемницы — Костлявой с косой,— Мартина Куртуа вышла из него целой и невредимой: она не «откинула копыта», ей не пришлось «примерять белые тапочки» и «грызть корни у растущих одуванчиков».

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФРАНЦУЗ ИЗ АРГЕНТИНЫ

На французском литературном небосклоне ярко засияла новая звезда — Эктор Бьянчотти. Его личная и писательская судьба весьма необычна. Эктор Бьянчотти родился 61 год назад в Аргентине, в семье итальянских переселенцев из Пьемонта — бедных, полуграмотных крестьян. Необозримые поля пампы, на которых трудились шестеро братьев и сестер Эктора, однако, не только не манили его к себе, но и пугали. Твердо вознамерившись вернуться в Европу, он смог осуществить эту мечту годы спустя. Еще в Аргентине, перепробовав множество профессий, Эктор в конце концов избрал литературное поприще. Поначалу писал на испанском (хотя, в сущности, его родным языком следовало бы считать итальянский), но затем, переехав в Париж, решил — в 1984 году — писать на языке Мольера; и уже через год выходит в свет «Без милосердия Христа» — первый роман, написанный по-французски. К тому моменту Эктор Бьянчотти был известен во Франции и тепло принят критикой (в 1977 году — премия Медичи за лучший иностранный роман), но — как испаноязычный автор, что, впрочем, не помешало французам приветствовать еще одного «своего» писателя, явившегося к ним так неожиданно.

Эктор Бьянчотти не просто пишет по-французски, а пишет превосходно, и это подтверждается высокой похвалой литературоведов в адрес его последней книги «О чем ночь рассказывает дню». Она повествует о первых двадцати пяти годах жизни автора в Аргентине, однако Эктор Бьянчотти не столько отдал дань модному сейчас на Западе жанру мемуаров о детстве, сколько проследил процесс рождения писателя. Интерес к литературе проявился у него еще в семинарии и креп в последующее время, когда он был рабочим, общественным писарем, помощником нотариуса. С самого начала он оказался весьма прилежным учеником: чтобы написать одну хорошую фразу (на испанском, а позднее — на французском), приходилось справляться по трем словарям. Он и ныне столь же требователен к себе, этот синеглазый представитель племени двуязычных литераторов, последовавший примеру Уайльда, Набокова, Беккета и Бродского. Но индивидуальности всегда остается место: если, скажем, Набоков увлекался бабочками, то Эктору Бьянчотти нравятся врачи (и у него много друзей-медиков) и классическая музыка, особенно Шопен. «Родись я музыкантом, я стал бы Шопеном. Хотя вершина — это Бах, Шопен сильнее трогает душу»,— сказал писатель в недавнем интервью журналу «Лир».

По материалам журналов «Культуркроник» (Германия), «Лир», «Магазин литтерер», «Нувель обсерватёр» (Франция), еженедельника «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания)

Авторы этого номера

АБЕЛЬ ПОССЕ (ABEL POSSE; род. в 1936 г.) — аргентинский писатель, дипломат. Работал в СССР, Италии, Франции, Перу, Израиле, в настоящее время — посол Аргентины в Чехо-Словакии. Автор романов «Морской рак» («Los Bogavantes», 1969), «Пасть тигра» («La Boca del Tigre», 1971), «Даймон» («Daimon», 1978), «Тайные демоны» («Los Demonios Ocultes», 1987), «Путешественник в Агарту» («El Viajero de Agartha», 1989), «Королева Платы» («La Reina del Plata», 1989). Роман «Райские псы» вышел в Испании в 1983 году («Los Perros del Paraiso», Barcelona, Argos Vergara, 1983); в 1987 г. удостоен крупнейшей в Латинской Америке литературной премии — имени Ромуло Гальегоса. На русском языке Абель Поссе публикуется впервые.

ЭДУАРДО ГАЛЕАНО (EDUARDO GALEANO; род. в 1940 г.) — уругвайский писатель, журналист, публицист. После установления в 1973 г. в Уругвае военной диктатуры эмигрировал в соседнюю Аргентину. Впоследствии жил в Испании и других странах. После восстановления в Уругвае в 1985 г. демократической формы правления вернулся на родину. Автор книги «Дни и ночи любви и войны» («Dias y noches de amor y de guerra»), вышедшей на русском языке в Библиотеке «ИЛ» (1985), романа «Наша песня» («La canción de nosotros», 1975), сборника рассказов «Скиталец» («Vagabundo», 1973), ряда публицистических произведений, среди них завоевавшая мировое признание книга «Вскрытые вены Латинской Америки» («Las venas abiertas de America Latina», рус. пер. 1986). «Первые голоса» взяты из трилогии Э. Галеано «Огонь воспоминаний» («Memoria del fuego.» I. Los nacimientos. Montevideo, Ed. del Chanchito, 1990).

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ (JAMES PATRICK DONLEAVY; род. в 1926 г.) — американский писатель, живет в Ирландии. Автор шести романов, в том числе книг «Человек с огоньком» («The Ginger Man», 1955), «Уникальный человек» («A Singular Man», 1963), «Едоки лука» («The Onion Eaters», 1971), «Шульц» («Schultz», 1979). В «ИЛ» печатались его юмористические рассказы «Кодекс без изъятий и сокращений. Полный свод правил выживания и поведения в обществе» (1978, № 6) и «Камо грядеши», «Два письма» (1981, № 11).
Рассказ «Франц Ф» взят из сборника «Встреться с Создателем, сумасшедшая молекула» (J. P. Donleavy. «Meet my Maker, the Mad Molecule» London, The Bodley Head, 1965).

МАРЕК ХЛАСКО (MAREK HŁASKO; 1934—1969) — польский прозаик и публицист. С 1958 г. жил в эмиграции — в Германии, Израиле, США. Умер в Висбадене. За рубежом вышли впервые сборники его повестей и рассказов: «Кладбища», «Следующий в рай» («Cmentarze», «Następny do raju», 1958), «Все отвернулись», «Грязные дела» («Wszyscy byli odwróceni», «Brudne czyny», 1964), «Обращенный в Яффе» («Nawrócony w Jaffie», 1966), роман «Сова, дочь пекаря» («Sowa, córka piekarza», 1968), литературные мемуары «Красивые, двадцатилетние» («Piekni, dwudziestoletni», 1965). Многие его произведения экранизированы. С середины 80-х годов Хласко широко издается в Польше. В «ИЛ» напечатаны его рассказы (1991, № 9).

Повесть «Петля» («Petla») впервые была издана в Польше в сборнике «Первый шаг в облаках» («Pierwszy krok w chmurach». Warszawa, Czytelnik,1956).

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС (TENNESSEE WILLIAMS; 1911—1983) — американский драматург, прозаик, поэт и эссеист. На русской сцене поставлены его пьесы «Орфей спускается в ад», «Трамвай «Желание», «Стеклянный зверинец», «Сладкоголосая птица юности», «Кошка на раскаленной крыше», «Татуированная роза», «Ночь Игуаны». На русском языке вышли также повесть «Римская весна миссис Стоун», рассказы и эссе, (М., 1978), сборник пьес (М., 1967), в «ИЛ» были напечатаны пьеса «Орфей спускается в ад» (1960, № 7), рассказы (1978, № 3), эссе (1974, № 5), стихи (1983, № 9).
Предлагаемые рассказы взяты из сборника Т. Уильямса, вышедшего посмертно (Collected Stories. New York, Ballantine Books, 1986).

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ (ISMAIL KADARE; род. в 1936 г.) — албанский поэт, прозаик, эссеист, лауреат литературных премий, член Французской академии. Окончил историко-филологический факультет Тиранского университета, Литературный институт в Москве. Начал печататься с середины 50-х годов. Автор поэтических сборников «Мой век» («Shekulli im», 1961), «О чем задумались эти горы» («Përse mendohen këto male», 1964), «Время» («Koha», 1977), романов «Генерал мертвой армии» (опубликован в «ИЛ», 1989, № 6), «Хроника в камне» («Kronikë në gurë», 1970), «Суровая зима» («Dimri i madh», 1977), «Загубленный апрель» («Prilli i thyer», 1978), «Досье Г» («Dosje H», 1990) и др., сборников рассказов «Трехарочный мост» («Ura me tri harqe», 1978), «Обманчивый сон» («Endrra mashtruese», 1991) и эссе.

Новелла «Вестник беды» была опубликована в албанском журнале «Нентори» в 1984 г. («Sjellësi i fatkeqsive». «Nentori», 1984, № 4)

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (CZESŁAW MIŁOSZ; род. в 1911 г.) — польский поэт, прозаик, литературовед, публицист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года. Профессор славянских языков и литератур в Калифорнийском университете в Беркли. В «ИЛ» напечатана подборка стихов из его сборников разных лет и речь в Шведской королевской академии в 1980 г. (1991, № 5). Статья Ч. Милоша «Достоевский и Сведенборг» получена от автора в рукописи.

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.) — переводчик с испанского и французского языков, автор статей по социологии культуры. В «ИЛ» напечатаны его переводы стихов Хорхе Луиса Борхеса (1984, № 3 и 1990, № 12), Мануэля Диаса Мартинеса (1987, № 4).

ЭМАНУЭЛЬ СВЕДЕНБОРГ (EMANUEL SWEDENBORG; 1688—1772) — шведский ученый-натуралист, впоследствии мистик и теософ. Известен своими трудами по математике, механике, астрономии, горному делу, был почетным членом Петербургской академии наук. Основные произведения: «Небесные тайны» (1749—1756), «О небе, аде и мире духов» (1758).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — литературный критик, переводчик. Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ» (1989, № 6). В ее переводах издавались произведения Х. Л. Борхеса, И. Альенде, О. Паса («ИЛ», 1991, № 1). Лауреат премии «ИЛ» за 1991 год.

ВАННИКОВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (род. в 1931 г.) — лингвист, кандидат филологических наук, переводчик с испанского. В его переводах издавались романы Э. Аморима «Хозяин Агиляр», А. Нуньеса Кабесы де Вака «Кораблекрушения», повести Г. Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», Х. К. Онетти «Это было, когда...» («ИЛ», 1991, № 4), эссе Х. Л. Борхеса, рассказы М. Бенедетти, Х. Риччи, М. Арреги и др.

БОШНЯК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1949 г.) — переводчик с английского. В его переводах публиковались романы Э. Л. Доктороу «Всемирная выставка», Э. Бёрджесса «Заводной апельсин», Тома Вулфа «Костры амбиций» («ИЛ», 1991, № 11), рассказы У. Фолкнера, У. Стайрона, Т. Вулфа, Дж. Леннона и др.

ТВЕРДИСЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА — литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с польского. Автор статей о творчестве польских и чешских писателей, в том числе Я. Корчака, Б. Шульца, В. Гавела. В ее переводе в «ИЛ» напечатаны рассказы М. Хласко (1991, № 9).

ПАДАЛКО НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА — переводчик с английского и норвежского языков. В ее переводах с английского печатались рассказы Р. Шекли, В. С. Найпола, С. Уорнер, Р. Брэдбери и др., с норвежского — повесть Осты Холт «Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись» («ИЛ», 1991, № 11).

КОЛПАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА — специалист по албанской литературе, переводчик. В ее переводе вышел сборник рассказов «Когда начинается другая жизнь», куда вошли рассказы Н. Прифти, Т. Лячо, Б. Мучо, Н. Леры, Д. Чули, А. Исаку (М., «Художественная литература», 1988).

КАРЕЛЬСКИЙ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (род. в 1936 г.) — литературовед, критик, переводчик. Автор книги «От героя к человеку. Два века западноевропейской литературы» (1990), многих работ по немецкой, австрийской и французской литературам XIX и XX веков. В числе переводов: трагедии Хеббеля «Агнеса Бернауэр», «Гиг и его кольцо», повести Х. Додерера «Последнее приключение», У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.» («ИЛ», 1973, № 12), Р. Музиля «Тонка» («ИЛ», 1970, № 3), М. Вальзера «На полном скаку» («ИЛ», 1983, № 8), стихи Эйхендорфа, Рильке, Бенна, Ницше, Ламартина, Вордсворта и др.

THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT

For 90 years The TLS has given its readers consistently high standards of critical judgement on literature and the arts — earning from Le Monde the following praise: «The TLS has no rivals. Everyone is happy to acknowledge its influence, its fame and its authority»

It attracts top scholars, writers, and intellectuals of international reputation who contribute every week — Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, Gore Vidal, Jonathan Raban, Seamus Heaney, Eric Hobsbawm among others

It is read by the leading academics and thinkers from around the world — over 27.000 people read The TLS each week with subscribers from 130 countries

The TLS, published every week, offers:

Commentary, essays, and reviews on literature and the arts
In-depth book reviews on the major publications in each academic field

Reviews on the latest exhibitions and productions of painting, sculpture, opera, music, films and broadcasting

Special issues covering fresh academic work and new books on specialist subjects — from women's studies to children's books

A listings page of all the most important books by category published every week with full publication details

A letters page which has reputable academics engaged in lively debates

Occasional literary discoveries published for the first time — unknown poems by Dryden and Blake, short stories by Byron and Virginia Woolf, articles by RL Stevenson

THE ONLY **WEEKLY** INTERNATIONAL JOURNAL ON LITERATURE AND THE ARTS

QUADRANT SUBSCRIPTION SERVICES LTD
OAKFIELD HOUSE
PERRYMOUNT ROAD
HAYWARDS HEATH
WEST SUSSEX
RH16 3DH
UK

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Номера журнала «Иностранная литература» за второе полугодие 1992 года, а также Альманах немецкой литературы и выпуски «Библиотеки ИЛ» (включая роман Генри Миллера «Тропик Рака») вы можете приобрести в магазине «Мультимедиа» культурного центра Всероссийской библиотеки иностранной литературы. Иногородние читатели могут получить номера журнала на условиях предварительной оплаты.

Обращайтесь по адресу:
109189, г. Москва, ул. Ульяновская, д. 1
Телефон для справок: 297-75-37

Subscription Rates
effective from January 1992
Please send me

The Times Literary Supplement
for 12 months (52 issues)

Please tick

- ☐ **UK** £69.50
- ☐ **Europe & Eire** £90.00
- ☐ **USA & Canada** (Air Freight) US$110.00
- ☐ **USA & Canada** (Air Mail) US$176.00
- ☐ **Rest of World** (Air Saver) £89.00
- ☐ **Rest of World** (Air Mail) £105.00

The Times Literary Supplement

a) I enclose a cheque for £ made payable to **The Times Supplements**

b) Please charge my credit card £

signed date

Card No ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Please tick. VISA ☐ ACCESS ☐ AMEX ☐ DINERS ☐ expiry date of card

Name

Address

Postcode

Please send this coupon to the address overleaf or fax through the coupon to 0444 440619

Keep your copies safe and in good condition in TLS binders @ £10 each. Phone 071 253 3000 for more information

Please tick this box if you do not want to receive direct mail from other companies ☐

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

Если Вы хотите быть в курсе новинок сегодняшней иностранной прозы, поэзии, драматургии, литературной критики, выходящих за рубежом, подписывайтесь на журнал «ДИАПАЗОН. ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (прежнее название — «Современная художественная литература за рубежом») на 1993 год, издаваемый Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы.

Журнал содержит информацию — в виде рецензий, статей, обзоров, текстов, хроники,— которая интересна всем, кто следит за современной художественной литературой: читает, исследует, переводит ее.

«ДИАПАЗОН» выходит ежеквартально (объем номера — 22,5 а. л., т. е. общий годовой объем — 90 а. л.). Цена одного номера — 12 руб. Стоимость годовой подписки — 48 рублей. Подписка принимается в течение всего года.

В связи с тем, что редакция журнала не считает возможным пользоваться услугами «Роспечати» в 1993 году, для оформления подписки нужно перечислить деньги по реквизитам ВГБИЛ:

109147, г. Москва, р/с 601916 в Таганском филиале МИБ, МФО 201155, код 9201158;

для учреждений — платежным поручением, для индивидуальных подписчиков — почтовым переводом. Для всех — с обязательным указанием: «За «Диапазон». Копию платежного поручения или квитанцию о почтовом переводе с четким и подробным своим адресом необходимо выслать в редакцию по адресу:

109189, г. Москва, Ульяновская ул., д. 1,
ВГБИЛ, редакция журнала «Диапазон».
Телефоны для справок: 227-88-85, 227-88-93.

ПОДПИСКА-93

Дорогие читатели

В 1993 ГОДУ ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА С ОБНОВЛЕННОЙ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ»

В последние годы нами опубликовано немало произведений, которые по цензурным причинам прежде не могли быть напечатаны в Советском Союзе. Мы возвращали долг мировой литературе и отечественному читателю. Раздел литературного наследия и современной классики сохранится в «ИЛ» и впредь. В будущем году вы прочтете на его страницах не переводившиеся ранее произведения ГЕРМАНА ГЕССЕ, ЭЛИАСА КАНЕТТИ, ОЛДОСА ХАКСЛИ, ВЛАДИМИРА НАБОКОВА, ЖАНА ЖЕНЕ, ТРУМЭНА КАПОТЕ, ФИЛИПА РОТА, АНДРЕ МОРУА и других.

Однако в фокусе внимания редакции будет творчество дня сегодняшнего, живой литературный процесс. Мы хотим, чтобы новые произведения, отмеченные престижными литературными премиями либо вызвавшие повышенный интерес у зарубежных читателей и критиков, приходили к нашему подписчику с минимальным опозданием.

ГДЕ БЫ ВЫ НИ ЖИЛИ, СТАВ ПОДПИСЧИКОМ «ИЛ», ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ В ЦЕНТРЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО МИРА.

Редакция ведет переговоры с владельцами прав на перевод новых книг ПАТРИКА ЗЮСКИНДА, МИЛАНА КУНДЕРЫ, АЛЬБЕРТО МОРАВИА, МИШЕЛЯ ТУРНЬЕ, ТОНИ МОРРИСОН, АКИРЫ КУРОСАВЫ, ДЖУЛИАНА БАРНСА, ИТАЛО КАЛЬВИНО, ПИТЕРА АКРОЙДА, СТИВЕНА КИНГА. Кроме того, мы будем знакомить вас с новыми талантливыми писателями, которые пока неизвестны у нас, но успели завоевать признание у себя на родине.

Продолжится и поиск новых журнальных форм. В нынешнем году мы подготовили четыре пробных спецвыпуска: два из них — «Сверхъестественное, инфернальное и мистическое в литературе XX века» (№ 3) и «Английская литература наших дней» (№ 7) — читатели уже получили; еще два спецномера, посвященные один — американской литературе, другой — прозе криминального жанра, выйдут до конца года.

В 1993 году в большей части номеров «ИЛ» — помимо традиционных разделов и романов с продолжениями — читатель найдет специально подготовленный блок художественных, критических и публицистических материалов, посвященный определенной теме: одной из ведущих литератур современности, направлению в культуре или литературному течению. В такой углубленной, концентрированной форме мы предполагаем представить вам наиболее примечательные явления культурной жизни планеты.

В будущем году предполагается, в частности, выпустить следующие тематические выпуски (последовательность условная):

СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«ЦВЕТЫ ЗЛА»: ИММОРАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО БЕСТСЕЛЛЕРА
ПИСАТЕЛЬ В ИЗГНАНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ ФЕМИНИЗМА
СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Стоимость подписки
на первое полугодие — 198 рублей

ДЕСЯТАЯ КНИЖКА «ИЛ» ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРЕ США

В разделе прозы мы публикуем два крупных произведения: роман «Жильцы» БЕРНАРДА МАЛАМУДА — лауреата многих престижных премий, посвященный нью-йоркской литературной среде, поднимает глубинные проблемы духовной жизни человека XX века; книга ГЕНРИ МИЛЛЕРА «Время убийц», повествующая о трагической судьбе А. Рембо, в котором писатель увидел своего двойника, поможет читателю глубже понять автора «Тропика Рака».

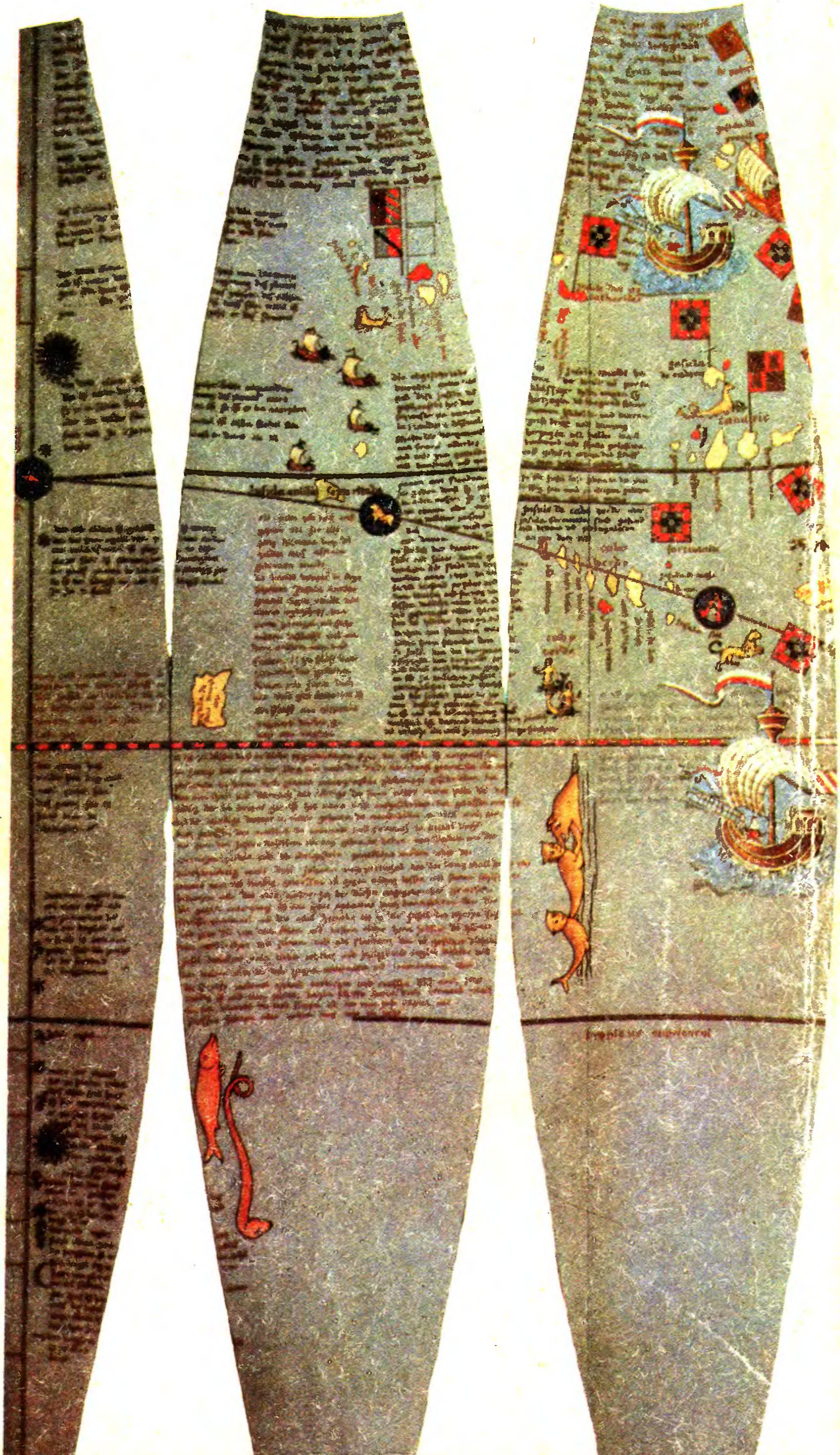
Широко представлена новеллистика, от маститых писателей — ДЖ. АПДАЙК, К. ЭЙКЕН — до молодых, и поэзия: А. ГИНЗБЕРГ, Э. МИЛЛЕЙ.

В разделе документальной прозы вы прочтете произведения из серии «Лучшие американские эссе». Впервые на русском языке публикуется известное эссе ИОСИФА БРОДСКОГО «Меньше единицы». Критика представлена обзорной статьей АЛЕКСЕЯ ЗВЕРЕВА «Распавшийся ансамбль. Знаем ли мы американскую литературу?»

Для читателей представят интерес автопортреты многих известных американских писателей, собранные БЕРТОМ БРИТТОНОМ, а также краткая библиографическая справка «Литература США на страницах «ИЛ» (1955—1992)».

ИНДЕКС 70394

Глобус Мартина Бехайма 1492 г.



Martin Behaim's Erdapfel. 1492.

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1992, № 8—9 1—320